

ISSN 0130-7673

# Н О В Ы Й М И Р

11

---

1991

11

Н О В Ы Й М И Р

1991



# Н О В Ы Й М И Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11 (799)

Ноябрь, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ОЛЬГА ГРЕЧКО — Мне на плечи садились бабочки, стихи	3
ЛЕОНИД БЕЖИН — Калоши счастья, записки случайного философа	5
СЕРГЕЙ КАЛЕДИН — Поп и работник. Сцены приходского быта	87
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Бушует черноморский вал, стихи	117
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни	119
АЛЕКСАНДР ЗОРИН — Прощание, стихи	147
ФЕЛИКС СВЕТОВ — Отверзи ми двери, роман. Продолжение	148

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС БОЖНЕВ — Из книги «Борьба за несуществование», стихи	219
--	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Трифонов, Шукшин и мы	221
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ШРЕЙДЕР — Синдром освобождения	231
-----------------------------------	-----

(См. на обороте)

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

243

Андрей Немзер. Странная вещь, непонятная вещь.  
 Марк Липовецкий. Поэтика без компромиссов.

## КОРОТКО О КНИГАХ:

В. Вахрушев.— I. Уильям Фолкнер. Притча. Роман.  
 II. Генри Миллер. Тропик рака. Роман. III. Дэвид Герберт Лоу-  
 ренс. Любовник леди Чатгерли. Роман

253

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

256

## В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом. Очерки  
 литературной жизни. Пятое дополнение. Невидимки. Окончание.

ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери. Роман. Окончание.

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. Записи. 1955—1962.

БОРИС ФИЛИППОВ. Три рассказа.

П. КРАСНОВ. Рубаха. Быль.

ВЛАДИМИР АДМОНИ. К себе домой бредущий человек. Стихи.

ИГОРЬ ЧИННОВ. Заморские земли. Стихи.

ЛЕВ ЛОСЕВ. Из новых стихов.

А. АВТОРХАНОВ. Еще раз о загадке смерти Сталина.

П. И. НОВГОРОДЦЕВ. На путях к правовому государству.

В. КАМЯНОВ. В тесноте и обиде, или Новый человек на земле и под  
 землей.

## К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме СССР) принадлежат германской фирме «A. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel.: 089/26 30 76, FAX 26 30 77.

---

---

## ОЛЬГА ГРЕЧКО

\*

### МНЕ НА ПЛЕЧИ САДИЛИСЬ БАБОЧКИ

\* \*  
\* \*

Глаголом жги...

*Пушкин.*

О чем мычишь, народ глухонемой?  
Каким себя раскачиваешь вечем?  
Глагол истлел, нам жечь друг друга нечем,  
Забывла речь, что значит быть прямой.  
Теперь хоть раздевайся догола —  
на сцене погорелого театра.  
Нам дали слово, но колокола  
давным-давно перелиты на ядра!  
Нам дали слово, но, говоруны,  
самих себя дотла перемолчали.  
С нас взяли слово — мы ему верны,  
а не тому, которое в начале...

\* \*  
\*

Как ласточки снуют поверх причин и следствий  
и лепятся к тому, что рухнет через час,  
так зябко льнем и мы друг к другу среди бедствий.  
Ничто уж не спасет, не образумит нас.  
Чуть впереди пора цветов, грибов и ягод.  
Всегда чуть впереди свидание с тобой.  
Не сглазь же, не спугни, загадывая на год,  
и зданье на песке не называй судьбой.

#### Лето в сарае

Донник мерцает в углу сарая.  
Светло, хоть нитку вдевай в иглу.  
В радужной пене белье стирая,  
вижу, как донник улыбается в углу.  
Ни окна, ни лампы, скребутся мыши,  
за дровяной пирамидой — коза.  
И, рассыхаясь, стреляют лыжи.  
А донник в зените — и бьет в глаза!  
Когда не мигая смотреть на донник  
минуту и две — до ломоты век, —  
сарай превратится в опрятный домик,  
в котором тебе припасен ночлег.  
На керосинке варю минтая:  
в Оке отравили всех царских рыб!  
Пучком полыни пол подметая,  
слышу калитки воскресный скрип.

Держи карман шире: к хозяйке гости!  
 В хрустальную обувь весь мир обут.  
 А зато растут за сараем на компосте  
 Золушкины тыквы — каждая в пуд...

### На Москве-реке

На перевернутой лодке сушилось белье.  
 За лодкой волнами гуляло былое, былье:  
 экзамены, сад — весь в завязках запретных плодов,—  
 разбитое зеркало двух салтыковских прудов.  
 И в ус-то не дую — учебник раскрыт ветерком  
 на пятой странице, а дальше бегом, вверком...

На перевернутой лодке сидел да глядел.  
 А было у нас с тобой несколько будничных дел:  
 проветрить палатку, нарвать на обед щавеля...  
 Сидел да глядел, лишь губами в ответ шевеля.  
 И сладок был полдень в меду, то зудел, то жужжал,  
 и пчелы ласкались, не тратя единственных жал.  
 И — близкое-близкое, ближе, чем кожа костям...  
 Мы вместе, мы дома, устала ходить по гостям!

На перевернутой лодке, где ссадины дна...  
 Я садилась на мель, а не ты, — я одна, я одна!

### Женская память

Что за память: как поезд, тянется,  
 а за поездом синий дым.  
 Ну и пусть мне одной достанется,  
 что Господь посылал двоим!  
 ...Эту станцию, башню, улицу.  
 Спуск к реке мне лицо студил.  
 К моему лицу —

к моему лицу

жар —

как будто бы кто стыдил!

Мне на плечи садились бабочки,

спутав с таволгой — мне до плеч.  
 Обувать свою душу в тапочки,  
 экспонаты свои беречь?!  
 Человечество исцеляется,  
 в голубином парит пуху.  
 Что за память: вьонком цепляется  
 за какую-то чепуху.  
 Перемена грядет великая,  
 ждут еще одного Христа.  
 ...А кузнечик, весь день пиликающая,  
 научился читать с листа.

### Красный день календаря

В самом черном, по горло, платье.  
 Божьи лики и те бледны.  
 Дочка просит испечь оладьи,  
 но седьмого пекут — блины.  
 Да, я помню красные флаги,  
 еще теплых вождей — с одра.  
 В честь похожей на клюкву влаги  
 пирогом надышусь с утра.

Мамка — глазки на мокром месте.  
 Папка — в стопочку, и до дна.  
 Я у Гоголя в «Страшной мести»  
 прочитала про колдуна.  
 До мурашек, тоска и робость.  
 Додержаться бы молодцом.  
 Я-то знаю: не дно, а пропасть  
 под ногами у них с отцом...



ЛЕОНИД БЕЖИН

\*

## КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

*Записки случайного философа*

Почему я люблю так детство? Я  
безумно люблю его, мое  
страдальческое детство.

*В. В. Розанов.*

... **Т**еперь-то я вижу, что во всем этом была некая странность, некая причудливость, некая, я бы даже сказал, экзотичность, хотя никто не удивлялся тем сбивчивым объяснениям, которые я приводил в оправдание своего визита, и не спешил заподозрить во мне бродягу, ночующего на чердаке брошенного дома, или квартирного вора, замышляющего очередную кражу. Никого не настораживало то, как заискивающе я улыбался, пританцовывал на месте и приподнимал над головой шляпу, называя свое имя и тем самым стараясь произвести должное впечатление на хозяина квартиры, призванное внушить, что мой визит не имеет ничего общего с попыткой взломать чужую дверь и унести в потертом бауле мраморное пресс-папье, бронзовые подсвечники и столовое серебро. Да и сам факт, что человек с записной книжечкой поднимался по лестнице, стучался в двери и, неуклюже представившись, задавал нелепые и невразумительные вопросы, тоже не вызывал удивления, хотя странность, причудливость, экзотичность были вроде бы налицо и вопросы имели особое свойство. Совершенно особое, уверяю вас, — потому-то все с такой готовностью принимались на них отвечать и даже как бы опережали меня, предупредительно забежали вперед: я еще не спросил, а они уже ответили. Значит, они не столько стремились удовлетворить мое любопытство, сколько им самим хотелось выговориться и облегчить душу, ведь я расспрашивал о таком затейливом предмете, как их собственная жизнь, а это не могло не льстить и не вызывать ко мне чувства стыдливой благодарности, столь свойственного людям, не привыкшим тревожить свое тщеславие.

Таким образом, меня не подозревали, и вскоре я сам стал приравнивать свои визиты к обычному хождению на службу, не обнаруживая в них ничего детективного, но усматривая нечто... ну, скажем, литературское: вот, мол, изучаем жизнь, собираем материал, копим наблюдения. Через годик-другой, глядишь, и порадуем вас пухлым романом с эпиграфом из Шекспира, именем главного героя в заглавии и подзаголовком — «семейная хроника». Как это там рифмуется: «Не муки тайного злодейства... изображу... преданья русского семейства!» Да, если бы все так просто... русского семейства! Изобразу — перескажу. Какое почтенное занятие для литератора старой закваски, породистого и картинно-классического, как двойное «л» в фамилии Соллогуб! Для такого литературного льва — массивная, горделиво откинута голова со скобкой прямых волос, закрывающих большие мясистые уши вегетарьянца, мягкие белые руки, сложенные на набалдашнике трости, цепочка карманных часов, свисающая из жилетного кармана, и посверкивающее стеклышками пенсне на переносице крупного насморочного (петербургская сырость!) носа! Почтенное занятие — запереться дома и засесть за свой «Тарантас» или «Историю двух калош», но в том-то и штука, что сам я не лев, и некая призрачная странность клонила меня в совсем иную сторону — клокила так же, как болотные огоньки заманивают путника в дебри волшебного леса. Сторону не литературную, а скорее фи-ло-со-фи-ческую. Извините, чуть было не сказал — фосфорическую, но если и сказал бы, то не очень бы и ошибся, потому что философия здесь особая, и мерцание, свечение (болотные огоньки) — ее вернейший признак.

И Сологуб здесь не тот картинно-классический, а помельче, без двойного «л», и из-за плеча у него выглядывает не златокудрый ангел, не муза с оливковой ветвью, а мелкий бес. Да и обстановочка вокруг отнюдь не литературская — не та, которую любят создавать жены преуспевающих писателей, усаживающие своих мужей за дубовые письменные столы с бронзовой лампой и мраморным чернильным прибором, укутывающие им ноги клетчатым пледом, устилающие пол кабинета толстым ворсистым ковром и увешивающие стены картинами в золоченых рамах. Нет, вместо дубового стола — убогая конторка со следами засохших чернил, вместо ковра и пледа — засаленный халат и стоптанные шлепанцы, вместо картин — пара пожелтевших фотографий под пыльным, надтреснутым стеклышком.

И какой там, собственно, кабинет, кабинет — комнатка под крышей, сырые углы, желтые обои в цветочек и жена — сварливая старуха, гремящая сковородами, шаркающая веником по крашеным доскам пола и потчующая мужа увесистыми тумачами за каждый лишний пятак, потраченный на квас или махорку. «Станешь умываться, снимешь очки, а она подойдет и по морде трах!» Да, да, именно так, именно в этом роде — по морде. Пользуясь тем, что очки не разобьются (бережливость!), — значит, можно! Закатать рукав, размахнуться и... Вот тут-то и рождается философия, и конторка, желтые обои, сварливая жена обретают вдруг таинственное фосфорическое свечение, именуемое экзистенцией.

Хотя это слово звучит на иностранный манер, смысл его самый что ни на есть русский, ведь оно обозначает некую болезненность жизни, болезненность существования, а ничто так мучительно не переживалось русским человеком как жизнь, каждодневное, будничное существование. Переживалось и пережевывалось, словно корка черного хлеба, и поэтому все мы, жующие свою корку, сплошь экзистенциальные философы, хотя, быть может, и не догадываемся об этом. Не догадываемся, не подозреваем, но куда ни глянь — отовсюду выставляет свою плаксивую рожищу жизнь. И так у нас всегда: хотим по-ли-ти-ки (это слово произносится у нас со значительным выражением лица и опасливым взглядом по сторонам), мудрим над экономикой, мечтаем о философии, а получаем все ту же нашу... привычную... русскую... в которой тонут все концепции, реформы и нововведения. И более того — чем смелее реформы, чем радикальнее нововведения, тем эта жизнь хуже, и наша печальная экзистенция — круглая буфетная стойка, скудный ужин на бумажной салфетке, вокзальная толчея вокруг и полное одиночество человека, попавшего ночью в незнакомый город.

Одиноким человеком у буфетной стойки — вот наша экзистенциальная драма, разыгрывающаяся почти без слов, без жестов и движений по сцене, но куда более кровавая и страшная, чем драмы Шекспира. Кровавая — хотя на сцене не льется кровь, и страшная — хотя злодеи не вливают яд в ухо своим жертвам и призраки умерших отцов не являются детям, чтобы поведать тайну собственной смерти. Но в том-то и ужас, что все это — без слов, без жестов, без движений и даже без страстей — в безмолвии и бесстрастии. Никаких леденящих душу криков, воздетых к небу рук, проклятий и заклинаний — просто человек у буфетной стойки. Один. И ничто не спасет его от одиночества, не заслонит от ужаса собственного существования, и если говорить о том единственном чувстве, которое испытано им сполна, изведено до последних глубин, до самого доньшка, то это — мучительное чувство жизни, преследующее его даже тогда, когда он жует засохший сыр на черством ломтике хлеба и вычерпывает ложкой жидкую сметану из картонного стаканчика. Он думает не о вкусе торопливо поглощаемой пищи, а о том, что он в данный момент живет, и собственная жизнь представляется ему в виде непромытого стекла с мутными дождевыми потеками, которое он упрямо корякает ногтем, или пористого шершавого вещества вроде пемзы, назойливо раздражающего подушечки пальцев. И так всегда: идет ли он по улице или сидит в трамвае — под ногтем скользящее стекло, под подушечками пальцев ноздреватая пемза, а в сознании одна и та же мысль: жизнь... жизнь... Если раньше ее вещество было как бы рассеяно, растворено в воздухе, носилось мельчайшими пылинками, похожее на пух одуванчиков или облачко цветочной пыли, и люди словно не замечали собственной жизни, не задумывались о ней, то сейчас вещество жизни сгустилось, откристаллизовалось, закаменело, обуглилось, как доисторический папоротник, пролежавший в земле миллион лет, и, вместо того чтобы жить, люди лишь постоянно думают о собственной жизни, каждое утро проверяют — беспокояно нашаривают, — здесь ли она, цела ли! Жизнь, жизнь, жизнь — это становится похоже на навязчивую идею. Обо всем прочем люди давно забыли и лишь страстно хотят жить. Хотят — и не живут, хотят — и не живут. Появилось огромное множество неживших — жуткая, знаете ли, вещь! Просыпаться, завтракать, спешить на службу — и не жить! Не

чувствовать этого рассеянного, растворенного в воздухе, именуемого счастьем, а износить свое счастье, как пару стоптанных калош...

Ради экзистенциального постижения жизни я и совершал свои визиты: поднимался по лестнице, стучался в двери, расспрашивал и записывал в книжечку. Мне хотелось узнать не то, чего я не знал, а то, что я очень хорошо знал, но в том-то и смысл избранного мною метода (социалистический экзистенциализм!), чтобы заново узнавать узnanное и описывать уже описанное. Поэтому я и спрашивал, кто жил в этом дворе, в этом подъезде, в этой квартире, хотя любой из собеседников мог мне ответить: «Да ведь вы-то и жили, Николай Серафимович!» Да, я и в самом деле — жил, и, казалось бы, чего уж там спрашивать, но меня преследовало желание услышать от них, не знавших того, что я знаю: «Какая-то семья. Мать, отец и двое детей. Фамилии только не помним...»

— Может быть, Павловы? — подсказывал я с выражением безразличной заинтересованности на лице и тяжелыми, глухими, ватными ударами сердца в груди.

— Может быть, и Павловы, — соглашались они, и передо мною возникал мгновенный мерцающий ответ прошлого, ответ прожитой жизни.

Вот об этой-то жизни — в ее экзистенциальных ответах — мне и предстоит рассказать, и я чувствую себя летописцем семейства, одного из многих и почти случайного, по словам писателя-классика, ближайшего предшественника экзистенциального метода. Согласитесь, ведение подобных летописей — занятие не менее почтенное, чем пересказ семейных преданий, забытых нами настолько, что мы вправе сказать: большинство наших семейств — без преданий, без родословной, а это и есть первый признак случайности. Собственно, я и отношу себя к летописцам такого семейства, состоящего из матери, отца и двоих детей, и надо заметить, что летописец я весьма обстоятельный, придирчивый и дотошный — из тех, кого на мякине не проведешь, — и помимо ответов моих собеседников, подчас уклончивых и противоречивых, полагаюсь на такие испытанные и надежные источники, как сочинения экзистенциальных философов и книги четырех евангелистов. Иной раз я и сам не прочь пофилософствовать, блеснуть профессорской остротой или метким ученым словом, и порою мне кажется, что из-под моего пера родится труд, вполне достойный докторской степени. Кажется, кажется — чего там скрывать, но я тотчас вспоминаю о моем случайном семействе и ловлю себя на том, что и сам я такой же случайный и несуразный философ. Какие там труды, какие докторские степени, если меня настойчиво преследует... да, да, вещество жизни, его цвет, форма, запах! Поэтому мое сочинение — не семейная хроника, не философский трактат, не затейливый роман с эпиграфом из Шекспира, а роман-существование, роман-жизнь, отличающийся от обычного романа тем, что автор должен описать эту жизнь не в событиях, а в ответах, экзистенциальных и евангелических.

Единственная сложность заключается, пожалуй, в том, что автор и герой — одно и то же лицо и я сам принадлежу к этому случайному семейству; поэтому к бесстрастию изобразителя у меня примешиваются и радость, и грусть, и странная жалость, словно и сам я потерял — износил до дыр — калоши счастья. Я задаю вопросы собеседникам, прошу их рассказать о тридцатых, добавить что-то о сороковых, аккуратно заносу в книжечку их рассказы, но при этом мне больше всего жаль моих не прожитых пятидесятих. Я брожу по старым улицам, заглядываю в окна двухэтажного дома, где прошло мое детство, открываю рассохшуюся дверь на скрипучей пружине и спрашиваю себя: а было ли? Было ли у меня то, что можно назвать жизнью, праздником, счастьем? И тот явившийся из прошлого конопатый мальчишка в шапке-ушанке, длинном пальто навырост и валенках с калошами (счастьем?), который вместе со мной протягивает руку к заржавленной дверной скобе, эхом повторяет мой вопрос: а было ли?.. было?..

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Признаться, я не собирал подробных сведений об угловом восьмиэтажном доме, поэтому могу лишь заметить, что построен он в начале века и принадлежит к числу многоквартирных доходных домов, запечатлевших в тяжелых створках парадных дверей, обитых понизу медью, мозаичных полах с египетским орнаментом, наведенных на стенах античных профилях, застекленных врезках крыш, пропускающих потоки света, широких лестницах, спиралью обвивающих шахту лифта, и зеркальных кабинках с перламутровыми кнопками на дубовой панели



промышленный дух молодого русского капитализма. Архитектура же дома — об этом я тоже упомяну лишь вкратце — выдержана в стиле модерн, о чем свидетельствуют бронзовые фигуры рыцарей на фасаде, облицованном ноздреватым серым камнем, причудливые лепные гирлянды, протянувшиеся вдоль карниза, декоративные вазы в глубоких арочных нишах, большой венецианский балкон посередине и маленькие балкончики по углам, овальные медальоны с гербами и каменные львы у подъезда.

Эти львы с ошеренной пастью и грозно поднятыми лапами, водруженные на гранитные плиты, до сих пор производят внушительное впечатление, хотя облупленные морды и отполированные мальчишескими задами спины выдают их почтенный возраст. Жители дома наряду с обиходным названием — дом номер восемь или просто дом восемь — называют его также домом со львами. От таких названий, считающихся не меньшей достопримечательностью старой части города, чем сами дома, обычно веет чем-то обжитым и уютным, однако не скажу, чтобы внешний облик дома вызывал подобные чувства — для этого он слишком высок и мрачен. Трудно объяснить, откуда берется, сквозь какие щели просачивается эта мрачность, ведь не заказчик же и архитектор заложили ее в свой проект! Видно, вмешательство неких фатальных сил приводит к тому, что построенный для увеселения дворец, павильон или охотничий домик в нашем отечестве приобретает вдруг такое неистребимо мрачное и гнетущее выражение, что из него бегут все обитатели, а затем он долго наводит страх на случайных прохожих своими заколоченными окнами, проросшей сквозь ступени травой и скрипучими флюгерами.

Вот и угрюмая громада восьмизэтажного дома, нависающая над узенькой улочкой, явно напоминает Бастилию или иное сооружение с такой же сложившейся репутацией; в правоте этого сравнения убеждают и серый ноздреватый камень, которым облицован фасад, и кирпичный колодец двора, куда редко заглядывает солнце, и сырые подворотни с помойными баками, и кучи угля, сваленного возле котельной. Нечто гнетущее, давящее, пригибающее к земле, как своды тюремного каземата, незримо исходит от стен дома, и застывшие каменные истуканы с облупленными мордами не столько украшают парадные двери, сколько сторожат невидимых узников.

Таков угловой восьмизэтажный дом-великан, протянувшийся на целый квартал вдоль узенькой улочки с названием Малая Ржевская и выходящий боком в соседний переулок, именуемый Борисоглебским, и таково внушаемое им чувство высоты, огромности и мрачной, каменной тяжести, что ни у кого не возникает сомнения в его вечном и неизбежном праве на это место. А теперь вообразим рядом с восьмизэтажным домом двухэтажный деревянный домишко со скрипучей дверью на ржавой пружине, пыльным войлоком и drankой, выглядывающими из-под осыпавшейся штукатурки, бродячими черными криками на печной трубе и причудливо выросшим на карнизе деревцем. За ситцевыми занавесками окон — горшки герани, раструб старинного патефона и затянутая марлей банка с настоем гриба. Словом, не домик, а времяночка, хибарка, терем-теремок. Архивные источники утверждают, что построили его для прислуги, убиравшей в доходном доме-великане, поэтому у него не только своего названия, но и номера-то собственного не было, и числился он под тем же номером восемь, по которому почтальоны носили письма в соседний дом, и лишь только приписка «двухэтажный флигель во дворе» позволяла им не спутать адресатов.

Иначе говоря, незаконнорожденный. Прилепился, знаете ли, пустил корни — и не оторвешь. И что самое удивительное: лишенный лепных гирлянд, декоративных ваз, балконов и балкончиков, двухэтажный домик совсем не кажется мрачным. Скорее наоборот — веселеньким. Да, да, горшки герани, раструб патефона, банка с настоем гриба придают ему такую отчаянно-бесшабашную веселость и легкомысленность, какой архитектор восьмизэтажной Бастилии не сумел бы добиться при всем желании. Порою даже непонятно, кто к кому прилепился — деревянный к каменному или каменный неуклюже придвинулся к деревянному, чтобы слегка заразиться его веселостью. Подчеркиваю: именно отчаянно, надрывно бесшабашной, а это уже не веселие от полноты жизни, от избытка душевных сил, а некое ее иставивание, оголение, разлом и распад, навевающие зыбкий бытийственный холодок. Иными словами, экзистенция.

В этот двухэтажный домик и загнал моих деда и бабушку новый порядок, явившийся на смену молодому русскому капитализму: они приехали издалека и поселились здесь навсегда. И родилась девочка — моя будущая мать. Девочка вышла замуж за угодливого и нескладного парня, каждое воскресенье исправно подпивавшего притолоку в комнате ее общежития, пока она причесывалась, пудрилась и душилась дешевенькими духами, сидя за шатким овальным столиком, заставленным коробочками, флакончиками и пузырьками, и держа перед

собой маленькое зеркальце, влажное от ее горячего и нетерпеливого дыхания. У девочки и парня родились дети — сначала я, рахитичный ребенок с лицом, запекшимся от кварцевой лампы, а затем моя болезненная и молчаливая сестра. Броне бы чем не эпос, чем не родовая сага, но в том-то и дело, что мои дед и бабка мало похожи на седовласых зачинателей рода, коммунальная квартирнка в двухэтажном доме не годится для эпоса и новый порядок создал новые саги. Саги не столько эпические, сколько экзистенциальные: от отцов к детям передавался бытийственный холодок, воспитавший в нас, живущих, чувство нежности, несуществования, нелюбви к самим себе. Вот почему мы такие хмурые, встревоженные, озабоченные, вечно охваченные неким неопределенным и беспричинным страхом, проникающим в нас, словно назойливая мошкара сквозь марлеву ю занавеску. Вот почему в нас так мало достоинства и самоуважения. Вот почему мы исполнены пренебрежения к слабому и рабской униженности перед сильным — иными словами, наделены всеми свойствами человека нового строя...

Мне, как и каждому, передалось это чувство, этот зябкий бытийственный холодок, и в странном соседстве двух домов — каменного и деревянного — я увидел истаивание, оголение, разлом и распад.

## 2

Зябкое чувство нежизни с детства было одним из самых сильных моих чувств, но не скажу, чтобы оно преследовало меня постоянно, — нет, нет, оно появлялось лишь время от времени и всегда неожиданно. К тому же оно было весьма прихотливым и — как многие чувства в русском человеке — зависело даже от погоды. К примеру, оно полностью исчезало в пасмурные дни, во время дождя или снега, хотя многие склонны думать, что именно осеннее и зимнее ненастье должно быть порой расцвета для экзистенциальных чувств. Мое же чувство, напротив, расцветало при солнечной погоде, но стоило обозначиться в небе низким лиловым облаком, похожим на расплывшиеся по суконному врезу письменного стола чернила, зарядить дождю, клубящемуся в воздухе роем колючих мелких иголок, или повалить хлопьям мокрого снега, и я переставал быть экзистенциалистом и превращался в обычного скучающего ребенка. Этот ребенок беспечно слонялся по комнатам, волоча за собой рыжего плюшевого медведя с оторванным ухом, подаренному на прошлый день рождения, и таская на веревке железный самосвал, роняющий из кузова обклеенные картинками кубики, за которыми не хочется нагибаться, а хочется зашвырнуть их ногой под диван.

Из комнаты — в кухню, из кухни — в комнату, и так без конца, пока мать не скажет с бессильным укором: «Перестань! У меня голова болит. Лучше сядь в кресло и почитай». Но читать также не хочется, и страницы словно слипаются, и лень их переворачивать по одной, а хочется перевернуть все сразу и с досадой захлопнуть книжку. «Господи, ну что мне с тобой делать!» — отнимая у меня книжку, воскликнет мать, но сделать ничего нельзя, потому что виною всему бесконечный дождь, из-за которого с утра не выйти на улицу, и ей остается лишь с моdBьбой смотреть на меня и с отчаяньем в голосе пытаться меня образумить.

Но вот сплошной шум дождя сменяется редким стуком капель, падающих с карниза, и мать, выглянув в окно, с облегчением произносит: «Наконец-то!» — и начинает меня одевать, чтобы выпустить во двор. Я нехотя просовываю голову в ворот застиранной, пахнущей мылом рубашки, натягиваю толстые чулки, за резинки пристегивающиеся к поясу, который кажется мне постыдно девчоночьим, надеваю короткие вельветовые штаны с ремешками крест-накрест и зашнуровываю ботинки, чувствуя на них тяжесть вечных резиновых калош. «Ну, отправляйся», — мать целует меня в макушку, прижимая к полосатому переднику мою стриженую голову, и легоныко подталкивает в спину. Я распахиваю тугую, скрипучую дверь, выбегаю во двор и, уже заранее зная, что сейчас возникнет это, нарочно не смотрю в сторону серой каменной стены. Нарочно не смотрю, не поворачиваясь и держа голову так, как будто передо мной пропасть и мое единственное спасение — не поддаться жгучему желанию заглянуть в нее. И вот я озабоченно измеряю калошами глубину луж, опасаясь промочить ноги и в то же время бесстрашно поддразнивая себя тем, что вода просачивается мне в ботинок, затем ставлю ногу поперек ручья, чтобы направить его в новое русло, и высверливаю каблук воронки в хлопающей и чавкающей жиже, но навязчивое это все равно возникает, и после беспомощных попыток себя обмануть я обреченно поворачиваю голову туда, где высится серая стена, и с замиранием сердца смотрю на нее, словно заглядывая в бездонную пропасть. Ее высота, огромность и мрачность завораживают меня так же, как обрывающийся в глубину

край пропасти, и я смотрю вверх с тем восторгом, ужасом и отвращением, с какими люди падают вниз.

Те последние судорожные усилия зрения, с которыми я добираюсь до вершины стены, вызывают во мне приступ тошноты и головокружения, я покачиваюсь от слабости, в глазах у меня плывет, и стена в ответ на это как бы предательски раскачивается и кренится. Я вздрагиваю от мысли, что стена упадет и раздавит меня, и эта угроза заставляет втянуть голову в плечи, сжаться в комок и еще сильнее возненавидеть стену. Я, такой маленький и жалкий, ненавижу ее всей душой, я не хочу, чтобы она меня раздавила, но в то же время испытываю необъяснимую любовь к ней, означающую, что я х о ч у. Хочу испытать на себе ее высоту, огромность и мрачность, хочу даже погибнуть под обломками обрушившейся стены, потому что это будет блаженная гибель — блаженная от сознания моей любви.

Всем этим чувствам, необъяснимым для меня в детстве, я сейчас нахожу объяснение в том, что за те короткие пять лет, которые я прожил на свете, я ничего не встречал выше этой стены, и поэтому ее ноздреватый серый камень, покрытый мелкими трещинками, как бы представлялся мне веществом самой жизни. Да, да, стена-жизнь: именно это неосознанное чувство вынуждало меня украдкой приближаться к стене, гладить ее шершавую поверхность, неприятно покалывающую подушечки пальцев, прижиматься к ней щекой и тихонько плакать от невыразимой, мучительно сладкой грусти. Была ли это грусть оттого, что я живу? или грусть оттого, что я когда-нибудь умру? или просто грусть без всякого повода? — не знаю, и скорее всего я плакал от непреодолимой потребности плакать, какая бывает лишь в детстве, и каменная стена-жизнь с безразличием прислушивалась к моим слезам.

При этом солнце, проглядывавшее после дождя, всегда оставляло ее в тени, и за весь день она ни разу не была освещена хотя бы наполовину. Может быть, это случалось ранним утром, когда я еще спал, крепко зажмурившись от утреннего света, проникавшего сквозь веки и вызывавшего во мне упрямое нежелание просыпаться, но стоило мне встать с кровати, выпить горячего молока, немного подгоревшего по рассеянности матери, наскоро одеться и выбежать во двор, и лишь верхний угол стены слегка розовел под солнцем, а остальная ее часть была погружена в глубокую сумрачную тень, от которой потягивало сырým кирпичом, застарелой кошачьей мочой и кисловатой ржавчиной пожарных лестниц. Вскоре сумрачная тень затягивала и этот последний уголок, и тогда весь дом-великан становился похожим на угрюмый ночной призрак.

Зато маленький двухэтажный домик, наоборот, весь раскрывался, распаивался навстречу солнцу, и я не помню случая, чтобы его покрывала тень. Выбегал ли я во двор утром, днем или вечером, он всегда успевал выставить на солнце фасад или одну из боковых стен, отчего в окнах жарко краснела герань, разлущив патефона сверкала, как пожарная каска, и в стеклянной банке горчично светился мутный настой гриба. Иными словами, веселенький домик в отличие от своего мрачного соседа под солнцем становился еще веселее, и это странным образом роднило меня с ним. Роднило не потому, что я чувствовал себя таким уж завзятым весельчаком, — нет, нет, в детстве я испытывал гораздо большую склонность к слезам («Плакал из-за каждого пустяка» — по отзывам близких), чем к веселому смеху, а потому что — роднило, и все тут, и никаких других объяснений я привести не могу. Теперь-то я знаю, что порою окружающие нас предметы — кресла, диваны, шкафы, дома — как бы запечатлевают в себе наше внутреннее в ы р а ж е н и е, нашу скрытую физиономию, но тогда я просто не отличал себя от домика. Мне не удавалось внушить себе, что он — это вовсе не я, а я — вовсе не он, и если стена дома-великана была моей жизнью, то двухэтажный домик бы л как бы мною самим. Я безошибочно угадывал, распознавал в нем себя, и это, при всей моей экзистенциальной мнительности, еще раз подтверждало, что я живу — существую — на свете.

Соединение же домика со стеной, а меня — с жизнью рождало во мне догадку о существовании и некоей третьей субстанции, для которой у меня не находилось названия, и лишь теперь я понимаю, что это — время. Конечно, я слышал от взрослых, разговаривающих за обеденным столом над моей головой, склонившейся к тарелке: тридцатые, сороковые, пятидесятые, — но я был уверен, что эти слова обозначают нечто не существующее, пустое, словно внутренность старой шляпной коробки, спрятанной про запас в диван, но оказалось, что время существует и его существование таинственным образом связано и со мной, и с моей жизнью, и с жизнью моих близких.

По признанию дедушки, железнодорожного инженера, много лет прокладывавшего узкоколейки, побывавшего в исправительно-трудовых лагерях и лишь

под конец жизни вернувшегося домой, при упоминании тридцатых годов его постоянно преследовало ощущение ослепительного солнечного света, накаляющего желтый песок, и затхлой могильной сырости.

— Представь себе, как будто в жаркий, солнечный день тебя затаскивают в холодный каменный склеп, и вот эта теплая, смрадная гнильца, которой потягивает из сырых углов... — говорил он мне, досадливо щелкая пальцами от неумения схватить, поймать — накрыть ладонью, как ящерку, ускользавшую от него мысль, но уж я-то его понимал.

Хотя я и не застал тридцатые годы, а преданий о них в семье сохранилось не так уж много, я еще в детстве постиг экзистенциальную загадку времени, и поэтому веяние тридцатых («...потягивает из сырых углов...») словно забилось для меня в трещины штукатурки, осыпающейся со стен нашего дома, щели подслеповатых окон с ситцевыми занавесками, под кору проросшего на карнизе дерева, и меня часто тревожит мысль, ускользающая, как ящерка между камнями: а вдруг это веяние, это неразличимое потягивание, дразнящее ноздри запахами прошлого, и есть мое единственное предание, моя родословная?

## 3

Возвращения дедушки мы ждали со странной тревогой и беспокойством, и у взрослых неделю подряд все падало из рук, они замечали в жестяной совок черепки разбитых тарелок, собирали с пола раскатившиеся по углам стеклянные бусы, смахивали со скатерти рассыпанную соль и отскабливали керосинку от засохших следов выкипевшего молока. По утрам каждый из них с рассеянностью отвечал на приветствия соседей, оставлял включенным свет в туалете и забывал придержать дверь, с шумом захлопывавшуюся после его ухода. И тревога и беспокойство отчасти были вызваны мнительной боязнью поверить, что дедушка — после стольких лет отсутствия («...столько лет! Столько лет!») — наконец вернется, отчасти же объяснялись тайным, скрываемым друг от друга и от самих себя нежеланием, чтобы он возвращался. Нежелание это как бы распространялось не на то, что домой вернется он, дедушка, для всех дорогой, любимый и близкий, хотя и несколько отдалившийся за время своего отсутствия, а на то, что он вернется оттуда, из тех страшных мест, и, значит, принесет с собой нечто совершенно не укладывающееся в привычную обстановку наших комнат с наброшенной на спинку дивана вязаной шалью, горой сервизных чашек за застекленными дверцами резного буфета и уютным оранжевым абажуром над круглым обеденным столом, застеленным вышитой скатертью.

Да, да, привычная обстановка начала пятидесятых, и в нее-то не укладывалось, не умещалось нечто такое, что дедушка — наш любимый дедушка — мог принести на подошвах ботинок, в складках пиджака, под воротником пальто. Нечто вроде бы совсем незначительное, сущий пустяк — прицепилось, знаете ли, как нитка к рукаву пиджака, смешалось с крошками табака в кармане — не стоит обращать внимания. И никто не обращал бы, если бы в этой незначительности не проскальзывало нечто слегка отталкивающее, обескураживающее, чужое, похожее на мокрый расплывшийся след с грязными потеками: в доме вымыли пол, а кто-то, не снявший ботинок, оставил на паркете, и вот хозяевам приходится делать вид, что они не замечают этого следа и вовсе не собираются упрекать за него гостя. Напротив, они полны к нему самой искренней доброжелательности и сочувствия, но в выражении их лиц невольно сквозит — не осуждение, нет, а легкая натянутость и принужденность, тоже оставляющие след в душе.

Как сейчас понимаю, домашним не хотелось оставлять такой след в душе дедушки, который не был ни в чем виноват, но в то же время они чувствовали себя не в силах избавиться от невольной принужденности и поэтому говорили себе, что дедушку прост и ли. Виноват или не виноват — об этом предпочитали умалчивать и лишь громко радовались полученному дедушкой прощению. «Слава Богу, он отсидел свой срок и теперь вернется», — повторяли они с облегченными вздохами, стараясь заняться перестановкой посуды в буфете, разбором ниток в железной коробочке из-под халвы и избегая смотреть друг другу в глаза, чтобы не признаваться в своих сомнениях. Сомнения эти касались невинности дедушки, о которой вроде бы и было сообщено, но как-то уклончиво и невнятно: не оправдан, а освобожден в связи с окончанием срока. Поэтому к ожиданию дедушки у взрослых примешивалась некая жертвенная готовность смириться с его пребыванием здесь, среди заведомо невинных и ангельски непорочных, мне же — как самому невинному и непорочному — вообще запрещалось его ждть, и стоило забраться на колени к отцу или матери, обхватить за ноги бабушку, в

нетерпению спрашивая: «Когда?...» — или: «Скоро?...», — меня тотчас же с досадой обрывали: «Замолчи! Тебя это совершенно не касается!»

Совершенно не касалось это и наших знакомых, сослуживцев матери и отца, соседей по квартире — особенно соседей, по отношению к которым принимались самые тщательные меры предосторожности, чтобы они окольными путями не выведали нашу семейную тайну. Поскольку первым на этих путях им встретился бы я, самый ненадежный хранитель тайны, каждый из взрослых считал своим долгом сесть в кресло, поставить меня перед собой, сначала погладить по голове, а затем строго посмотреть в глаза, погрозить пальцем и произнести: «Ты хороший мальчик, только никому не говори о возвращении дедушки. Ни во дворе, ни на кухне. Обещаешь?» Разумеется, я обещал, особенно хмурясь в знак того, что этим заранее сделанным предупреждением взрослые отнимают у меня часть тех заслуг, которые по праву принадлежали бы мне в том случае, если бы я доказал полную самостоятельность своего намерения сохранить семейную тайну. Да, да, я обещал, и тогда взрослые, чувствуя себя слегка обязанными мне за мое послушание, доставшееся им по столь невысокой цене, еще поощрительнее гладили меня по голове, называли хорошим мальчиком и отпускали играть.

Подобные внушения повторялись настолько часто, что, издали завидев мать, отца или бабушку, усаживающихся в кресло и подзывающих меня к себе, я уже заранее готовился к тому, чтобы быть хорошим и ничего не говорить. Быть хорошим — и не говорить. Я так затвердил, вызубрил наизусть эту формулу, что мне искренне хотелось оправдать ожидания взрослых. Меня просто-таки распирало от этого желания, как накачанный воздухом футбольный мяч с туго стянутой шнуровкой и дольками свиной кожи, обметанными стежками суровых ниток. Не сказать, не сказать, не сказать — я крепился из последних сил и, конечно же, не выдержал и обо всем рассказал соседям, а через несколько дней и весь двор узнал о том, что к Павловым возвращается дед.

Мои родители и бабушка были очень огорчены коварным предательством, вынуждавшим их давать уклончивые объяснения: «Да, да, возвращается... в связи с окончанием срока... считают, что никакой вины за ним теперь нет». Последнее добавление делалось как бы в расчете на тех, кто еще тогда, много лет назад, предупреждал — и вот пожалуйста, оказался прав: не зря же забрали дедушку! У нас невиновных не сажают. Значит, что-то было! А иначе бы не упекли человека на пятнадцать-то с лишним лет! Именно это — недоговоренное — прочитывалось в выражении лиц, паузах, многозначительных вздохах, и заветным стремлением всех домашних было это опровергнуть — с сознанием своего торжества д о г о в о р и т ь в лицо: невиновен, а посадили... значит, зря... и предупреждали вы зря, и упекли на пятнадцать с лишним лет тоже зря. «Зря, зря, зря!» — вот вам, предупреждавшим!

Но, к сожалению, бросить это в лицо было нельзя: не позволяла некоторая уклончивость и невнятность полученного сообщения, а главное, отсутствие полной уверенности у самих домашних, которые — чего там скрывать! — отчасти разделяли озабоченность предупреждавших дедушку соседей, отчасти и сами готовы были предостеречь, образумить, напомнить о возможных последствиях. Конечно, не они сообщили куда следует о пагубных пристрастиях дедушки — сообщил вездесущий Колидор Николаевич, как благодаря моей невольной подсказке (в детстве я плохо выговаривал букву «р») шутливо окрестили у нас в семье хромого, толстого и лысого домового, мифического предводителя коллективного мнения нашего коридора.

Именно он, Колидор Николаевич, приставил ухо к замочной скважине, подслушал разговор дедушки с бабушкой, содержавший разоблачающие его подробности, и, прихрамывая на одну ногу, побежал стряпать свой донос. Они же сначала ни о чем не подозревали, а затем ничего не могли предпринять. Ровным счетом ничего, если не принимать всерьез робких попыток выяснить, разузнать, навести справки. Ну, выясняли... ну, разузнавали... ну, наводили эти самые справки, убеждая друг друга, что произошло недоразумение, трогательно утешая, ободряя и — ради того, чтобы успокоить ближнего, — скрывая собственную тревогу. «Явное недоразумение... конечно же, они не могут... вскоре все разрешится». Так они говорили друг другу уже после той страшной осенней ночи, когда скользнули по окнам полоски света от зажженных фар, прозвучали отрывистые шаги по коридору, распахнулась дверь, дедушку подняли с постели, велели одеться и увезли в закрытой машине. Бабушка даже не успела собрать ему узелок с бельем, а дедушку уже увезли как преступника, злоумышленника, врага народа — разве это не недоразумение! Вот оно-то и должно было вскоре разрешиться, но — мучительно тянулись дни, а оно не разрешалось. Не разрешалось недоразумение-то и должно было вскоре разрешиться, но — не разрешалось. Не разрешалось, знаете ли, и все тут, хотя и утешали, и ободряли, и

успокаивали. Оно же, наоборот, стягивалось в еще более тугой узел. Такой тугой и крепкий, что и не развязать.

После ночи наступило утро, потянулись мучительные дни. Бабушка стучалась в окошечко особой справочной, перед которой по утрам выстраивалась жалкая цепочка людей, и, получив привычный ответ: «...согласно решению Особого совещания... пятнадцать лет исправительных работ...» — высидывала длинные очереди на кожаных учрежденческих диванах, пахнущих табаком, духами и сердечными каплями, — очереди к должностным лицам, монотонно повторявшим одну и ту же фразу: «Не уполномочен давать разъяснения по вашему делу».

## 4

Как добросовестный летописец семейства, потративший немало времени на архивные разыскания и опросы тех, кто сохранил о дедушке хотя бы самые отрывочные воспоминания, хочу заметить, что пагубные пристрастия, в которых уличал его бдительный Колидор Николаевич, не имели ничего общего с приписываемой ему склонностью к застольям и шумным компаниям. Что касается самой склонности, то после тщательного и детального изучения этого вопроса готов засвидетельствовать: да, дедушка был подвержен. Судя по рассказам близких к нему людей, он и в самом деле любил скоротать вечерок у жарко натопленной печки, под уютным абажуром, слегка кружащимся от потоков теплого воздуха, за овальным столом, уставленным конусами накрахмаленных салфеток, гранеными хрустальными рюмками и фарфоровыми тарелками с розовоцекиными амурами на доньшке и двойным позолоченным ободком по краю, справа от которых лежал тяжелый мельхиоровый нож, а слева — массивная вилка. Во главе стола ютился тихий хозяин, считавший своим долгом ввинчивать штопор в крошащуюся пробку и наполнять вином граненые рюмки, позванивая о краешек дрожащим горлышком пузатой бутылки, напротив же смущенно рдела хозяйка, сидевшая на краешке стула и заполнявшая паузы словами: «Вот вам грибочки», «Попробуйте рыбки», «Можно отрезать вам пирога?»

В разгар такого вечера всегда наступал момент, когда разговоры сами собой обрывались, голоса внезапно стихали и в воздухе обозначалось легкое и смутное движение, именуемое полетом тихого ангела. Это означало, что дедушке пора спеть. Он не заставлял себя долго упрашивать, ловким жестом фокусника, демонстрирующего публике неведомо откуда взявшийся предмет, извлекал из-за спины гитару, задумчиво поглаживал гриф и пробовал струны, озабоченно и придиричиво настраивал ее — не столько ради самой настройки, сколько ради того, чтобы окончательно завоевать всеобщее внимание, — забрасывал ногу на ногу, упирал локоть в колено и раскатистым баритоном пел: «Ямщик, не гони лошадей...»

Те, кто видел дедушку в эти минуты, единодушно утверждают, что он был молодцом, гусаром, душою общества, и — конечно же, не без этого! — за ним водились грешки, доставлявшие немало огорчений бабушке, которая по натуре своей была домоседкой и редко ходила в гости. Казалось бы, именно эти грешки и должны были привести к мысли, что дедушке надо исправиться, и средством исправления такого молодца и гусара может стать лишь трудовая деятельность в лесах Сибири или в окрестностях Магадана, но, как это ни странно, подобная мысль у соответствующих органов вызрела уже тогда, когда дедушка очень изменился, утих, присмирел, раскаялся в грехах и его жизнь осенила некая экзистенциальная загадка, которую я разгадываю до сих пор.

Я мучительно пытаюсь понять, в каком же таком кошмарном обличье явилась ему жизнь, если он из гусара и молодца превратился в т е о с о ф а! Что же привиделось ему в ту минуту, когда жизнь как бы сбрасывает чешуйчатую, глянцевиую, отливающую перламутром кожу и показывает свой обнаженный скелет с остро торчащими ребрами, если дедушка забыл о вечеринках, забросил гитару и стал участвовать в собраниях законспирированного кружка, занимавшегося мистическим истолкованием четырех Евангелий?! Помимо дедушки эти собрания посещали бывшая балерина Большого театра, профессор консерватории с дрожащими от старости руками, полуспившийся художник, писавший плакаты и лозунги для первомайских парадов, и подслеповатый, обсыпанный перхотью библиотекарь, выдававший под залог книги в киоске парка культуры!

Может быть, дедушка уже тогда осознал себя прилепившимся к жизни так же, как наш двухэтажный домик — к серой каменной стене, и тридцатые годы коснулись его неразличимым запахом раскаленного на солнце песка и потягиванием затхлой могильной сырости?! А может быть, дедушке стало страшно за

жизнь близких, на которых надвигалась мрачная тень Стены, а они, не подозревая об этом, упорно старались прилепить к ней свои жизни — доставали билеты в Большой театр, следили за афишами консерватории, брали книги из районной библиотеки и с песнями выходили на первомайские парады?! Так или иначе, но в жизни дедушки появилась Дверь (Стена — Жизнь — Дверь), за которой он исчезал вечерами и которая вызвала немало ревнивых подозрений со стороны бабушки. Женщины-теософки представлялись ей куда более опасными соперницами, чем нарумяненные аптекарши и напомаженные продавщицы, составлявшие компанию дедушке в прежние времена, и вот однажды бабушка решила увидеть их собственными глазами, закуталась в старую, выеденную молью шубейку, в которой редко показывалась на улице, сунула ноги в стоптанные боты, накинула на голову платок, наполовину закрывавший лицо, и отправилась вслед за дедушкой, чувствуя себя в эту минуту бдительной патриоткой, разоблачающей козни врагов народа. Разумеется, не всерьез, но как бы... испытывая не столько само чувство, каким оно бывает в минуты азарта, сколько подбадривающий оттенок, ощущение: выследить и разоблачить!

Думаю, что подобный оттенок, придававший своеобразный криминальный отсвет тридцатым годам, возникал у многих — и у детей, и у взрослых, и у мужчин, и у женщин — и его экзистенциальная подоплека кроется в катастрофическом отсутствии жизни, вынуждавшем не избегать криминальных ощущений (полицейский в доме — это ужасно!), а, наоборот, всячески культивировать их, находя способ самоизживания в том, чтобы преследовать и разоблачать, разоблачать и преследовать. Вот она, замена страстям, которых нам так не хватает! Пусть мы не способны страстно полюбить или страстно возненавидеть — все это не беда, если мы можем страстно заподозрить и столь же страстно уличить! Уличить и заподозрить — вот наши истинные страсти! Так не будем же их скрывать, дадим им вырваться наружу, выпустим их на свободу, словно бумажного змея с намалеванной на нем глумливой рожицей, и тогда — вспарившие ввысь — они вознаградят нас тем, что позволят бежать за ними вприпрыжку, удерживая в руках конец веревки, чувствуя себя готовыми оторваться от земли и с восторгом воскликнуть: «Жизнь!»

Позднейшие рассказы бабушки позволяют представить, как она остановилась перед Дверью, только что захлопнувшейся за дедушкой, тщательно осмотрела дом и отыскала окна той самой квартиры, в которую он тайно проник. Квартира оказалась на первом этаже, хотя окна были довольно высоко, и поэтому бабушке пришлось подтащить валившийся поблизости ящик из-под бутылок и взобраться на него. Все это она проделала с ловкостью, неожиданной для ее грузного тела (вот они, страсти!), и, приподнявшись на цыпочки и слегка подтянувшись, заглянула в щель между оконными занавесками. Каково же было ее разочарование, когда она увидела своих мнимых соперниц — бывшую балерину с морщинистыми старческими ручками, наполовину скрытыми под кружевными манжетами, маленькой покачивающейся головкой и розовой кожей, просвечивающей сквозь седые волосы, и двух нелепых насурьмленных женщин в глухих фиолетовых платьях! И их-то она собиралась разоблачать! Азарт преследователя в ней сразу исчез, вырвавшиеся наружу страсти благополучно улеглись, бабушка неловко (теперь уже неловко) слезла с ящика, отряхнула платье, попутно сравнив его с платьем насурьмленных женщин и с удовлетворением отметив преимущество своего фасона (значит, не все потеряно!), и отправилась домой. Отправилась с облегчением, беззаботной готовностью махнуть на все рукой и беспечным чувством, что очередная попытка жизни окончилась привычной неудачей.

Все это я хорошо себе представляю, и хотя бабушка давно умерла, сохранилась Дверь, до которой она тайно провожала дедушку. Дверь довольно затейливая, с тяжелым кольцом, вставленным в пасть медного льва, зеленоватыми — цвета морской воды — стеклами, круглыми шляпками ввинченных в нее болтов и украшающим ее строгим резным рельефом, да и сам дом, в который ведет эта дверь, — из числа таких же сохранившихся старых доходных домов. Собственно, никто и не помнит о его прошлом, и все проходят мимо, не замечая ни самого дома, ни затейливой двери, ни окон с тяжелыми глухими занавесками, как порою не замечают оборванного нищего на улице, цыганку-гадалку в длинной юбке или безногого калеку на самодельной каталке. Если же такого прохожего остановить и сказать: «Посмотрите!» — то точно так же, как он скользнет торопливым взглядом по нищему, цыганке или калеке, он будет с недоумением всматриваться в зеленоватые стекла двери или ряды окон под арочными козырьками, а затем с понимающим видом кивнет, как бы соглашаясь с вами: да, действительно... старинный дом... и дверь довольно затейливая. Но

ведь у него с этим домом ничего не связано. Ничего, знаете ли, ничего... Так что извините... Приподнимет шляпу — и исчезнет.

И только я один чувствую, что у меня связано, и что в этом доме бывал мой дедушка, и что это та самая Дверь, до которой бабушка... тайком провожала... Странное дело — та самая! Можно даже прикоснуться — вот я протягиваю руку и прикасаюсь к ней кончиками пальцев... Но, может быть, это и не та самая дверь, поскольку ныне она существует в совсем ином времени, а лишь время обладает той единственной подлинностью, которой не обладают вещи. Поэтому не столь уж важно, та или не та, а важно, что — сохранилась. Сохранилась так же, как и часть библиотеки, собранной дедушкой, — эти книги стоят у меня на полке, и я с благоговением разглядываю мерцающие золотым тиснением корешки, поглаживаю сафьяновые переплеты и перелистываю хрустящие пергаментные страницы.

Книги дедушки мало сказать особенные — редчайшие! Об этом наперебой твердили букинисты, с которыми я не раз консультировался, и это единодушно подтверждали перекупщики и книжные спекулянты, всегда оказывавшиеся рядом во время подобных консультаций. Да, да, балагур, весельчак, гусар, дедушка собрал редчайшую библиотеку мистических книг, хотя всю жизнь проектировал прокладку узкоколеек, мотался по стройкам, грелся у одного костра с заключенными спецлагерей, хлебал с ними пустые щи из железной миски — сначала как вольнонаемный, а затем как такой же заключенный с номером С-244.

Впрочем, тут речь уже не о дедушке, а о тех самых тридцатых годах, криминальный отсвет которых смешивается с отсветом мистическим, жизнь припахивает смертью, парады похожи на жертвоприношения, и на светло-бежевом кителе, облегающем стан человека с сутулой спиной, низким лбом и зачесанными назад седеющими волосами, угадывается бархатная мантия Верховного жреца и Магистра. Светло-бежевая, или, точнее сказать, песочного цвета, того самого, от которого потягивает могильной гнильцой. Видно, прав был дедушка, досадливо шелкая пальцами от нетерпеливого желания подобрать слово, выражающее экзистенциальную загадку тридцатых. Кладбищенская ограда, погребальные свечи, бархатная мантия на кителе Верховного, разделившего всех на умерших и неживущих и отслужившего по ним черную мессу, — вот вам и вся экзистенция.

## 5

Несмотря на все запреты, я так ждал возвращения дедушки — особенно того момента, когда он впервые войдет в комнату, — что, конечно же, пропустил этот момент, или, точнее, сам момент я застал, но совершенно не узнал дедушку, приняв его за чужого, незнакомого мне человека. Как это произошло, мне и сейчас очень трудно понять, но я помню, что из коридора постучали в дверь нашей комнаты, причем этот стук показался мне непривычным, грубым, чужим (в нашей квартире так не стучали), и в ответ на удивленно-вопросительное, встревоженное и даже испуганное «войдите!», произнесенное бабушкой, дверь приоткрылась, из коридора скользнул лучик света, пробежавший по пыльному полу, и в комнату вошел незнакомый мне старик в кирзовых сапогах и ватнике, в солдатской шапке-ушанке, с фанерным чемоданчиком в руке.

Ручаюсь, этого старика я никогда не видел, хотя фотография дедушки с недавних пор висела у нас на стене, вставленная в резную деревянную рамку, и я часто забирался на стул, чтобы рассмотреть ее поближе и как бы побыть с ней наедине, пользуясь тем, что никого из взрослых нет в комнате и поэтому не надо думать о том, какое значение они придадут моему рассматриванию. Да, да, фотография висела, и дело даже не в том, что старик был совершенно не похож на дедушку, — это еще не самое страшное, если учесть, как мог измениться дедушка за пятнадцать лет заключения, как он мог осунуться, поседеть, обрасти колючей щетиной, но все же остаться дедушкой. Хотя и не похожим на самого себя, но все же — дедушкой, которого ты не узнаешь, сличая его с фотографией, но все же з н а е ш ь, что это дедушка, именно он, а не какой-нибудь другой, незнакомый тебе человек.

Но дело-то как раз в том, что ни о какой спасительной непохожести не приходилось и мечтать, потому что вошедший старик оказался таким же чужим и грубым, как и его собственный стук в дверь. Поначалу я даже решил, что, наверно, дедушка прислал вместо себя случайного знакомого, чтобы тот сообщил, где он сейчас находится и почему так долго не возвращается (поистратился и задержался в дороге). Это предположение на время успокоило меня и внушило



робкую и стыдливую признательность старику, смешанную с чувством благодарности за то, что он скоро уйдет. Но когда стало ясно, что старик никуда не уйдет и что он-то и есть возвратившийся домой дедушка, я почувствовал внезапное смятение и ужас, и меня обожгла опасливая догадка: чужому старику наверняка захочется взять меня на руки, слегка подбросить, словно бы пробуя, какой я упитанный и тяжелый, пошлепать по задку, как шлепают маленьких детей («Вот какой у нас крепыш!»), сбнять и поцеловать, прижав к своей колючей щеке идохнув мне в лицо чужим, незнакомым дыханием.

Ему захочется, а мне-то этого совсем не захочется, и поэтому придется огорчить и обидеть его своим отказом — иначе желание с нежеланием не примирить, ему же останется лишь сделать вид, будто он вовсе не обижен, хотя скрыть обиду до конца не удастся, и по смущенному покашливанию в кулак, покрасневшим ушам и затылку все заметят его неловкость — одним словом, обозначится вполне экзистенциальная и столь остро осознаваемая в детстве ситуация, именуемая взаимным конфузом.

Так оно отчасти и случилось, и едва только дедушка снял шапку, расстегнул телогрейку и поставил на пол чемоданчик, он сразу шагнул ко мне, поднял на руки, слегка подбросил и прижал к своей колючей щеке. Но вопреки моим мрачным прогнозам никакого конфуза от этого не возникло, и я вдруг понял, что передо мною дедушка — тот самый, с фотографии, похожий, изображение которого я подолгу рассматривал наедине, доводя до своего сознания странную, возгорженную и обманчивую мысль: у меня е с т ь дедушка, но я его ни разу н е видел. Теперь же это е с т ь неким волшебным образом соединилось с в и ж у — да, да, вот он, перед глазами, еще ближе, чем фотография в минуты пристального уединенного рассматривания, и поэтому колючая щека дедушки вовсе не отпугивала меня, в его дыхании я угадывал нечто близкое и родное, такое же, как в привычном дыхании матери, доносящемся до меня с подушки, к которой я прижился щекой, забираясь по утрам к ней в кровать, и мне х о т е л о с ь, чтобы дедушка меня поцеловал. Хотелось страстно, нетерпеливо — еще сильнее, чем материнских и отцовских поцелуев, и было до слез жалко, что я сразу не узнал дедушку, пропустил этот долгожданный миг, но тем отчаяннее я наверстывал упущенное, узнавая его сейчас, закидывая руки ему за щеку и стискивая в объятиях, приставляя глаза к его глазам, щекотавшим меня ресницами, касаясь носом кончика его носа и разглаживая морщины на его щеках.

— Дорогой мой, так нельзя! Ты нашего дедушку совсем замучил! — с укором сказала бабушка, на самом деле благодарная мне за то, что пылким излиянием моих чувств я давал ей минутную передышку, позволявшую справиться с невольной растерянностью и разобраться в собственных чувствах. — Дай ему немного опомниться. Смотри, он едва стоит на ногах.

Дедушка в ответ на это неуверенно улыбнулся, показывая, что такие мучения доставляют ему только радость, еще крепче прижал меня к себе, слегка подбросил, похлопал по задку и как из-за укрытия посмотрел из-за меня на бабушку.

— Здравствуйте. Вот я и вернулся, — сказал он намеренно бодрым голосом, прозвучавшим настолько неестественно, что дедушка сам же нахмурился, спрятал улыбку, неловким жестом руки попробовал исправить впечатление от сказанного и, словно не рассчитав силы, необходимые для переживания столь счастливой минуты, вдруг резко отвернулся, повел подбородком — так освобождает шею от тугого воротника — и издал странный гортанный звук.

— Здравствуй... — Бабушка бросилась к нему, но вместо того чтобы ссадить меня с дедушкиных рук и самой обнять дедушку, почему-то обняла нас вместе и положила голову мне на плечо, хотя это движение предназначалось явно дедушке. — Как же ты там... как же тебе было трудно...

Дедушка досадливо затряс головой, как бы сердясь на себя за слабость, с брезгливой гримасой смахнул некстати навернувшуюся слезу и тоже положил голову мне на плечо, отвечая на робкое движение бабушки.

— Ничего, ничего... не будем об этом...

Тут я самостоятельно сполз с дедушкиных рук, шумно вздохнул и опустил голову, в глубине души надеясь, что мое исчезновение будет замечено и на меня снова обратят внимание, но дедушка и бабушка смотрели друг на друга, меня же они словно и не хотели замечать. Тогда я решил воспользоваться минутой, чтобы попытаться открыть фанерный чемоданчик, стоявший у ног дедушки и давно уже вызывавший мое любопытство. Я с подчёркнуто безучастным видом склонился над чемоданчиком, одной рукой держа его за обмотанную проволокой ручку, а другой поднимая никелированные замки, и тут чемоданчик сам собой открылся, я не успел придержать крышку, и все содержимое — буханка черного

хлеба, кусок хозяйственного мыла, жестяная банка с чаем — с грохотом вывалилось на пол.

От страха я втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас последует грозный окрик, шлепок или подзатыльник, но каково же было мое удивление, когда меня опять не заметили! Не увидели, не услышали, не обратили внимания, словно меня вовсе и не существовало. Я тут, знаете ли, усердную, взламывая чужие чемоданы, устраивая невообразимый шум, а они... Я с обидой и недоумением поднял голову, чтобы уяснить для себя, а что же, собственно, делают они, мои бабушка и дедушка, и вдруг невольно поймал ее взгляд — тихий, кроткий и даже несколько нездешний, пребывавший в ином пространстве и времени и как бы не соприкасавшийся с нашей комнатой, диваном, резным буфетом и абажуром. Взгляд-зависание... Взгляд-свечение... И в этом взгляде — впервые за мои пять лет — меня коснулся новый отсвет жизни. Да, да, я могу поручиться, что это был не тот отсвет, который я угадывал в каменной стене соседнего дома, а совершенно новый, еще не осознанный мною. Разумеется, тогда я не знал, какой это отсвет, и не сумел бы подобрать для него название — и лишь теперь я понимаю, что это был отсвет е в а н г е л и ч е с к и й, всегда тайно сопутствующий жизни. Тайно, незримо, неопознано, и вот я впервые распознал, и с этих пор в моем сознании суровое вещество жизни приобрело смягчающую евангелическую окраску.

Приобрело во многом благодаря бабушке, которая тоже не сразу — не в первую минуту — узнала дедушку, но зато вторая минута вернула ей чувство того, как он дорог и близок, и бабушка словно очнулась после долгого сна, с опозданием вздрогнула от грохота жестяной банки, выпавшей из фанерного чемоданчика, перекрестилась, всплеснула руками, воскликнула: «Ну что за мальчишка!» — наградила меня заслуженным подзатыльником, нагнулась, чтобы поднять и банку, и мыло, и буханку хлеба, но дедушка опередил ее, и тогда бабушка снова выпрямилась, с улыбкой посмотрела на него сверху, и я вновь поймал э т о т взгляд, завороживший меня настолько, что я даже не заплакал от полученного подзатыльника, а как бы внезапно замолк, запнулся, проглотил свой капризный плач, словно он мог ненароком сплутнуть и взгляд и улыбку бабушки.

## 6

Свои последние годы бабушка и дедушка прожили мирно и тихо, под стать его имени и ее отчеству — Т и х о н Петрович и Александра Т и х о н о в н а. Они редко выходили на кухню, старались незаметно проскользнуть по коридору, никогда не сидели на лавочке с соседями, и каждый из них заслуживал прозвища, справедливо распространяющегося на самых чудаковатых и экзотичных обитателей коммунальной квартиры: человек з а к у т к а. Я и сам принадлежу к таким людям и хорошо знаю, что они есть в любой уважающей себя коммуналке. И труппоно-сарайной, похожей на тюрьму или казарму, и пристроечно-дачной, напоминающей голубятню, и чердачной, и подвальной — любой. Живут они часто в одинокой мансарде с выходящими на горбатую крышу окнами, которые вечно покрыты печной сажей от нещадно дымящих труб, отстающими от стен обоями, наклеенными на пожелтевшие газеты времен крепостного права, провисающей паутиной в углах и сырими потеками на потолке. И всегда они поливают из банки чахлый цветок, кормят бездомную кошку, носят войлочные ботинки на «молнии» и пропахшее нафталином пальто с облезлым, выеденным молю воротником.

Вот и бабушка с дедушкой тоже прятались в своем закутке и тоже кормили бездомную кошку, поливали цветок и носили войлочные ботинки — такие же, как у меня. Хотя теософский кружок, который посещал дедушка, давно распался и квартира за таинственной Дверью, некогда принадлежавшая балерине Большого театра, была заселена совсем другими людьми, дедушка по-прежнему увлекался мистикой, целыми днями рылся в книжных шкафах и пользовался репутацией колдуна и чернокнижника. Надо сказать, что и в характере бабушки появилась черта весьма странная и даже и д и о т и ч е с к а я, если употреблять это слово в том значении, в каком употреблял его -уже упоминавшийся нами классик экзистенциального метода. Подобная идиотичность, собственно, и позволяет разгадать в несчастном князе, наделенном каллиграфическим почерком, падучей болезнью и смешной мышью фамилией, человека закутка, а в обтрепанном пальто и войлочных ботинках, которые я ношу, усмотреть навязчивое сходство с гардеробом юродивого. Иными словами, идиотичность тоже оказывается категорией существования, а именно в таких категориях и следует рассматривать любые странные черты.

Любые — включая и ту, которая обозначилась в характере бабушки. Хотя бабушка редко болела и почти не обращалась к врачам, я хорошо помню, что она очень любила п р и л е ч ь , и точно так же, как дедушка целыми днями читал мистические книги, она целыми днями лежала, и вовсе не в какой-то тоске, отчаянии, меланхолической задумчивости, а просто так — калачиком свернувшись на диване, уткнув колени в плюшевый коврик, висевший на стене, укрывшись вязаной шалью и подложив под щеку сложенные ладони. Причем она даже не отдыхала, как отдыхают после трудной работы, а именно лежала, безразлично разглядывая завитки обоев и трещины в потолке.

Сейчас мне уже доступен экзистенциальный смысл ее лежания, но тогда я упорно не мог понять, почему я хнычу, плаксиво вытягиваю губы и тяну бабушку за рукав, упрасывая ее погулять со мной во дворе, она же в ответ улыбается, гладит меня по голове и наотрез отказывается встать с дивана.

— Ну пойдём! Ну пойдём! — продолжаю я хныкать и дергать ее за рукав, исподволь внушая, что согласие — единственный способ избавиться от моего капризного плача.

А она все равно отказывается, как будто необходимость встать и одеваться досаждала ей гораздо больше, чем подергивания за рукав и плаксивые просьбы.

— Попроси лучше маму.

Почему? Почему? Продолжая недоумевать по этому поводу, я уже во взрослом возрасте столкнулся со следующим недоумением и долгое время не мог связать странную склонность бабушки с тем, что в молодости она, по рассказам близких, была писаная красавица, носила модные шляпки, отороченные мехом ботиночки на застёжках, закрывала лицо вуалью и на нее решительно все оглядывались, когда они с дедушкой проезжали в коляске по главной улице. Да, да, стук копыт по булыжнику, широкая спина краснотелого извозчика, угрюмо потрхивающего вожжами, статный красавец дедушка, молодецки распушивший усы, и закрытое вуалькой печальное лицо бабушки, равнодушной к тому, что ее считают первой красавицей города и законодательницей городской моды...

Красавица бабушка, оберегаемая преданным мужем, окруженная поклонниками и воздыхателями, привыкшая к исполнению всех ее прихотей, — казалось бы, у нее-то должна быть счастливая и беспечная жизнь, похожая на вышитую гладью дорожку, и только став окончательно взрослым и умножив на восемь свои пять лет, я нашел объяснение странных черт бабушки в том, что и ее коснулась шершавинка, ш е р о х о в а т и н к а жизни и перед ней обнажилось ноздреватосерое вещество, в безразличном созерцании которого она и провела последние годы.

Вуаль, отороченные мехом ботинки, модные шляпки — это, конечно, двадцатые, о которых — не знаю уж почему — сама бабушка вспоминала гораздо чаще, чем о тридцатых. Может быть, это объяснялось тем, что тогда она еще не испытывала катастрофического отсутствия жизни, восполняемого выдуманными страстями и ложными подвигами, и двадцатые были для нее тем временем, когда она ж и л а ? А может быть, она вспоминала потому, что ей было т р у д н о жить, воспоминания же рождали отрадное чувство облегчения?

Так или иначе, но рассказы бабушки всегда вызывали в моем воображении одну и ту же картину: оствывшая буржуйка с торчащей из ее зева ножкой венского стула, холодный чай в граненом стакане, мигающая керосиновая лампа, отбрасывающая на стены причудливо увеличенные тени, и за столом молодая женщина в накинутой на плечи шубе и мужчина в перелицованном офицерском кителе и брюках со споротым кантом — будущие родители моей матери. Да, да, и прокладка узкоколеек, и мистические книги, и странное нежелание подниматься с дивана — все в будущем; а пока за окнами — мгла, чернеют покосившиеся заборы, со скрипом раскачивается на ветру разбитый фонарь. Слышатся выстрелы и крики — зовут на помощь. Мужчина напряженно прислушивается, а женщина испуганно крестится и прижимает к груди его руку. Словом, нечто похожее, вполне соответствующее нашему представлению о том времени и все-таки — недостаточное, поскольку нас интересует не внешнее течение жизни, а ее евангельские отсветы и экзистенциальная подоплека. Мы хотим застать мужчину и женщину не в ту минуту, когда они собираются затопить буржуйку и согреть чай, а в то непостижимое мгновение, когда они чувствуют таинственное касание жизни, похожее на прикосновение крыльев ночной бабочки.

Именно в темноте... внезапно... прикосновение к лицу шершавых крыльев. И вот тут-то нам открывается, что эта фиолетовая бабочка-жизнь, порхающая над пламенем ночника, и есть как бы мистическая душа двадцатых. Странная, с бархатистой, отталкивающей-красивым тельцем и уродливой непропорциональной головой, она словно обезумела от мигающего пламени и сама не знает, куда она рвется — вверх или вниз. Также и сидящие за столом еще ничего не знают, и их души как бы проносятся в забытии между жарких языков пламени и

холодным звездным сиянием, и неизвестно, что суждено им — сгореть дотла или превратиться в кусочки льда. Поэтому они полны лишь смутных предчувствий и тревожных догадок, и вещество жизни окрашено для них в фиолетовые тона предрассветного неба, едва тронутого утренним солнцем...

## 7

Дедушка умер через несколько лет после своего возвращения, а бабушка — через год после дедушки, и ее похоронили с ним рядом, под тем же деревянным крестом и замшелым могильным камнем, в который были вделаны выпуклые медальоны с их фотографиями, а под ними высечены даты их рождения и смерти. Самих похорон я не помню: это время я провел у крестной, жившей в соседнем восьмизатжном доме. Провел у крестной, потому что родители решили избавить меня от тягостных впечатлений. Провел, ничего не подозревая и в то же время смутно догадываясь о случившемся. В тот день они привели меня за руку, одетого и причесанного так, как ребенка моего возраста обычно одевали и причесывали для гостей: в вельветовых брюках с ремешками крест-накрест, наглухо застегнутой рубашке, сдавливавшей шею жестким воротником, туго зашнурованных и до блеска начищенных ботинках и с мокрыми следами расчески на косо подстриженной мальчишеской челочке, бессмертном изобретении парикмахеров пятидесятых годов. Привели и оставили, уверенные, что я избавлен, что здесь мне будет лучше и они могут быть за меня спокойны, поскольку в гостеприимном доме крестной мне ничего не грозит.

Оставили, а сами ушли, улизнули, незаметно выскользнули за дверь, улучив момент, когда крестная отвлекла мое внимание наспех выдуманной игрой: «Ну-ка закрой глаза, а я от тебя спрячусь!» И я доверчиво отвлекся, заигрался, забыл на время об отце и матери, но сознание, что меня отстраняют, в конце концов оказалось еще более тягостным, и я прожил три мучительных дня в чужом доме, среди чужих вещей, чувствуя себя то ли наказанным, то ли брошенным, то ли похороненным заживо.

Крестная целыми днями курила длинные папиросы, вставленные в костяной мундштук, лежала с книгой на диване, уперев округлый локоть в красную атласную подушку, сидела у большого, наполовину покрытого пылью зеркала (до самого верха домработница никогда не дотягивалась) и с ожесточенной, страшной гримасой всматривалась в него, сжимая подлокотники кресла и наклоняясь почти вплотную к собственному отражению, а затем самозабвенно выдергивала седые волосы, жадно пудрилась, нетерпеливо душилась и пилочкой подравнивала ногти. Ее муж-архитектор, вечерами возвращавшийся домой, снимал в передней профессорские калоши, ставил в угол суковатую палку, не столько помогавшую ему при ходьбе, сколько придававшую всей его грузной фигуре некую законченность и ту неуклюжую грацию, с которой поднимается на задние ноги цирковой слон, вешал на крюк длинное габардиновое пальто с оттянутыми карманами и, нехотя потыкав мельхиоровой ложкой в тарелку, запирался в комнате, включал бронзовую настольную лампу и до самого сна раскрашивал деревянные пасхальные яички.

Раскрашивал любовно, кропотливо, аккуратно, выводя кисточкой затейливые узоры, давая им подсохнуть и наводя на них новые узоры, еще более затейливые и причудливые, и таких пасхальных яичек накопилось уже великое множество — на буфете, на красном кабинетном рояле, медные колесики которого утопали в дагестанском ковре, за стеклами резного книжного шкафа, — и хозяин бдительно следил, чтобы я не покушался на его сокровища. «Смотри, не трогай!» — грозил он мне пальцем, показывая на полки с раскрашенными яичками и как бы предупреждая, что если я не послушаюсь, то даже положение крестника не спасет меня от заслуженной расправы.

Вот я и не покушался ни на пасхальные яички, ни на флаконы с духами, ни на костяной мундштук — ни на что не покушался и даже упрямо отказывался от еды, мне не хотелось ни куриного бульона с гренками, ни бараньей котлеты, утопающей в кружеве луковых колец, ни сладкого дымящегося какао в розовой чашке. Я целыми днями сидел на стуле, а если стул вдруг оказывался кому-то нужным, пересаживался на диван, с дивана — на табуретку, с табуретки — снова на стул, и так без конца, пока крестная не подзывала меня к себе, не брала в ладони мое лицо, не целовала меня в лоб и не произносила: «Бедный мальчик, как мне тебя жалко! Конечно же, дети все понимают!» Да, да, такова была мучительная экзистенция этих дней, что она заставляла еще острее понять и почувствовать то, от чего меня так настойчиво оберегали. Почувствовать, несмотря на все старания, чтобы я не чувствовал, и поэтому я вернулся от крестной

домой, уже заранее готовый к тому, что за время моего отсутствия произошло нечто, не позволявшее мне спрашивать о бабушке, и своим обреченным и покорным молчанием я как бы выполнял взаимный уговор, заключенный со взрослыми.

Молчали взрослые, изредка поднося платок к глазам, глубоко вздыхая и обмениваясь скорбными взглядами, выражающими стремление утешить друг друга и призвать смириться с неизбежным. Молчал и я, кагая по полу машинку, сосредоточенно нагружая ее кубиками, опрокидывая и вновь нагружая, чтобы у взрослых не создавалась видимость, будто я собираюсь их спросить. Я избегал задавать им даже посторонние вопросы, словно опасаясь того, что взрослые заподозрят во мне желание спросить о главном, и если мне хотелось пить, я сам забирался на стул и тайком доставал из буфета чашку. Мне казалось, что даже чашка невидимыми нитями связана с умершей бабушкой и если я открыто возьму ее с полки, то тем самым оскорблю о ней память и вызову негодующее возмущение взрослых.

Поэтому лучше уж было незаметно похитить чашку, самому налить в нее воды с крупинками желтоватой накипи, торопливыми глотками выпить, спрятавшись за буфет, и так же незаметно поставить на место. Таким странным было мое поведение после похорон, значение — экзистенциальный смысл — которых я для себя так и не уяснил, но зато я вскоре постиг на собственном опыте, что означало выражение взрослых «ходить на могилку». «Надо сходить на могилку», — повторяли они с усталым и обреченным вздохом, и мне это представлялось чем-то похожим на хождение в дальний — через три улицы — магазин или вынужденную поездку к родственникам. Представлялось потому, что меня они с собой не брали, обмениваясь по поводу меня взглядами, означавшими непреложное: пусть посидит дома, — и лишь теперь, после смерти бабушки, стали брать, и я наконец постиг истинный смысл этого выражения. Постиг на собственном опыте, потому что по праздникам мать брала меня с собой на кладбище, и я привычно стоял рядом с ней, пока она подкрашивала оградку, сметала в кучу сухие листья тощим соломенным веником и поливала из жестяного ведерка чахлые, бледные, едва выглядывавшие из травы цветы. Поливала старательно, неторопливо, аккуратно, буравя тоненькой струйкой рыхлую землю, я же стоял и с упорным недоумением смотрел на выбитые по граниту имена, цифры с черточкой меж ними и фотографии в выпуклых овальных медальонах. Смотрел, и меня поражало странное несоответствие между улыбающимися лицами бабушки и дедушки и тем, что их фотографии были вделаны в могильный камень. Дедушка и бабушка улыбались здесь, на кладбище, так какими же они были сфотографированы — живыми или мертвыми?! Если на фотографии они живые, то почему же мы считаем их мертвыми?! А если мертвые, то куда же делись живые?! Неужели то, что когда-то было ими, превратилось теперь в замшелый камень, окруженный железной оградкой?! И неужели то же самое произойдет и с моей матерью, поливающей из ведерка цветы, и со мной, стоящим рядом?! Неужели когда-нибудь мы будем улыбаться на фотографиях, а нас самих не будет?!

От этой ужасной мысли я прижимался к матери и, мешая ей поливать, обнимал за спину.

— Мама, а я когда-нибудь умру? — спрашивал я с надеждой услышать то, что разубедит меня в этом страшном предположении.

Мать поворачивалась ко мне лицом, гладила меня по щеке и с улыбкой говорила:

— Ну что ты, сынок! Ты никогда не умрешь, ведь ты же еще такой маленький!

Я успокаивался, мысленно убеждаясь в правоте матери, которая заключалась в том, что по сравнению с умершими дедушкой и бабушкой я был гораздо меньше ростом и едва доставал им до пояса. Значит, смерть не грозила мне до тех пор, пока я не вырасту таким же, как они, и у меня не появятся такие же морщины, седые волосы, слезящиеся глаза и подрагивающие руки. А это произойдет не скоро, через целую жизнь, и кто знает — может быть, пока я буду жить, случится нечто такое, отчего это не произойдет вообще. Поэтому за себя я был спокоен, и только мать вызывала во мне легкое и тревожное беспокойство, ведь у нее уже были заметны морщинки, стяннутые к уголкам глаз, словно прожилки на гусиных лапках (она их так и называла — гусиными лапками), на длинных извилистых зубьях гребенки иногда оставался седой волосок, и, несмотря на свои молодые годы — всего лишь тридцать с небольшим, — она, как бабушка, любила прилечь и вздремнуть.

— А ты когда-нибудь умрешь? — опасливо спрашивал я, еще сильнее прижимаясь к матери, и она снова улыбалась, проводила ладонью по моей щеке и ничего не отвечала.

С тех пор я стал бояться за мать, словно новые морщинки на лице и седые волосы грозили ее отнять, похитить, лишить меня ее постоянного присутствия, сделать так, что ее не будет, и не только сегодня, завтра, послезавтра (так бывало во время ее отъезда), но и — всегда. Поэтому я ревниво следил за матерью — ее движениями по комнате, словами и жестами. Слава Богу, она не курила, как крестная, но зато она тоже подолгу смотрелась в зеркало, причесывалась пожелтевшим костяным гребнем, выдергивала седые волоски, пудрилась и красила ногти, и если она особенно старалась, тщательно и неторопливо совершая свой туалет, я чувствовал робкое удовлетворение, словно тем самым она отодвигала от себя неведомую угрозу.

— Ну как? Я тебе нравлюсь? Красивая у тебя мама? — спрашивала она, поймав в отражении зеркала мой пристальный взгляд, и ее вопрос заставлял меня смутиться, покраснеть, опустить голову и обиженно нахмуриться, словно моя тревога за нее не позволяла ей быть такой, какой позволяла быть ее красота. — Что же ты молчишь? Ну?!

Она вовсе не настаивала на ответе и собиралась уже выйти из комнаты, как я с отчаянием выпаливал ей в лицо:

— Некрасивая! Некрасивая!

— Вот тебе и раз! Почему же?!

Она наклонялась, чтобы разглядеть в моем лице то, чего не удавалось расслышать в голосе, и в этот момент меня охватывали такая любовь к ней и такой страх ее потерять, что я с рыданиями бросался к ней в объятия, а она долго утешала меня, вытирала мне слезы и потом говорила отцу:

— После смерти бабушки он очень изменился. Не надо брать его на кладбище.

## 8

Пока были живы бабушка и дедушка, я не стремился выделить мать из всех остальных домашних, и в моем сознании она как бы сливалась с ними в одно большое лицо, в котором причудливо сочетались черты бабушки, дедушки, отца, матери и даже крестной, часто бывавшей у нас в доме. Это лицо одинаково мне улыбалось, когда бабушка, укладывая меня спать, поправляла подушку и подсовывала под ноги одеяло, чтобы я не раскрывался по ночам, а дедушка гасил свет и, последним выходя из комнаты, по уговору со мной оставлял в двери маленькую щелку, чтобы мне не было страшно. Улыбалось оно и когда мать застегивала мне пуговицы на матроске, засовывала в карман сложенный вчетверо платочек и расчесывала челку на лбу, отправляя меня гулять, а отец ставил мою ногу на скамеечку и нагибался, чтобы завязать мои непослушные шнурки. Улыбалось и когда крестная вручала мне простенькое деревянное яичко, изготовленное ее мужем специально для пасхального подарка, улыбалось и в других случаях, приучая меня к мысли, что я у всех один, а всех у меня — много, и поэтому я и не должен никого выделять, одаривая всех поровну своей любовью.

Но вот дедушка и бабушка умерли, большое улыбающееся лицо исчезло, и тогда я впервые выделил мать, научился распознавать ее черты среди всех остальных, она стала для меня единственной, самой любимой, и мое «кого ты любишь больше?» отныне принадлежало лишь ей одной. Щедрый, великодушный и снисходительный даритель, я превратился в того, кто навязывает, униженно умоляет не отвергнуть, не погнушаться его любовью, и если раньше я лишь награждал своими безучастными поцелуями мать, то теперь ей, вернувшейся с работы, приходилось говорить мне, бросающемуся к ней на шею: «Котенок, ну подожди, дай опомниться. Я так устала!»

В эти минуты я смутно чувствовал, что постепенно взрослею, вытягиваюсь, теряю нежную припухлость овального подбородка, перестаю быть прелестным малышом, которого принято брать на руки, тискать и зацеловывать, и становлюсь мальчиком, угловатым, неловким, не вызывающим прежнего умиления и восторга. Я догадывался, что миновал тот блаженный период детства, когда ты один окружен всеми, и меня уже любят иначе, чем прежде, может быть, даже любят меньше или совсем не любят, как казалось мне в минуты обиды, но сам я от этого не только не переставал любить, но любил еще восторженнее, преданнее, горячее. И если моей любви, словно всем надовешей и загнанней в будку собачонке, не разрешали высунуться наружу, готов был загнать ее еще глубже, в самый глухой и дальний угол, пригрозить, прикрикнуть, топнуть ногой, чтобы она и пискнуть не смела, но отказаться от нее не мог, как никогда не смог бы навсегда лишиться любимой собаки.

Угловатый, неловкий, вытягивающийся мальчик, я носил в себе эту любовь как колдовское заклятие, вынуждавшее меня быть таким, каким я вызывал больше всего упреков, укоризненных взглядов, досадливых жестов и раздраженных восклицаний: «Не так... не туда... не с той стороны... ты снова все перепутал!» Слыша над собой эти возгласы, я весь словно сжимался, втягивал голову в плечи, и меня охватывало то жуткое и блаженное оцепенение, которое заставляет делать именно то, чем ты можешь особенно раздражить, раздрадовать, навлекая на себя все новые и новые упреки, и тебе от этого вовсе не плохо, а наоборот — странно хорошо и спокойно, словно негодование взрослых там отзывается тайной радостью и умиротворением здесь.

Эта тайная радость возникла от сознания, что ты есть и что ты т а к о й, и в те минуты, когда другим ты кажешься невыносимым, сам ты пребываешь в тихом блаженстве единения с самим собой, и хотя они тебя еще не простили, ты их давно простил, и тебя покалывает сладкий холодок любви и к себе и к ним, безучастным хранителям твоего колдовского заклятия.

Я — заколдован. Уверенность в этом овладевала мною, когда мы втроем — мать, отец и я — гуляли по бульвару и я одной рукой крепко держал за руку мать, а за другую руку меня держал отец, немного обиженный тем, что ему досталась такая вялая, холодная и выскальзывающая рука. Поэтому он вовсе старался меня растормошить и раззадорить: «Давай наперегонки! Ну?» — я же упрямо отказывался, еще сильнее прижимаюсь к матери, волосась за нею, как чугунная гиря, и не выпуская ее руку, даже если она хотела погреть ее в кармане или надеть перчатку. В конце концов мать была вынуждена остановиться, вздохнуть и произнести уже тысячу раз произнесенное: «Не висни. Мне тяжело. Какой ты у меня неуклюжий!» То же самое повторялось, когда знакомые мальчишки свистели под окнами, вызывая меня во двор, а я неподвижно сидел возле матери, строчившей на швейной машинке, и замороженно смотрел на ее отставленный в сторону локоть и склонившуюся над выкройкой голову, любясь каждым ее движением и тем самым мешая ей сосредоточиться на своей работе. «Опять я из-за тебя все испортила! Пойдешь ты наконец гулять? Что ты сидишь возле меня как красная девица!» — сокрушалась мать, и хотя сравнение с красной девицей было очень обидным, я не предпринимал никаких попыток доказать его несправедливость и лишь слегка отводил в сторону взгляд и нехотя прислушивался к свисту мальчишек, обозначая обманчивую готовность пойти гулять, чтобы дать ей сосредоточиться, а затем снова посмотреть на нее и, пока она не рассердилась, украдкой полюбоваться ею.

Также я любовался матерью, когда мне удавалось застать ее в минуты рассеянной задумчивости или отрешенного созерцания посторонних предметов, случайно попавших ей на глаза: цветочного горшка на подоконнике, ключика со сломанной бородкой, выпавшего из дверцы буфета, картонной коробки от пастилы, в которой ползала залетевшая в форточку оса, шелестя прозрачной бумагой. В такие минуты и сам я погружался в созерцание, только не предметов, а матери, и лишь когда ей удавалось перехватить мой взгляд, осторожно переводил его на предметы, как бы передавая им ее облик. Мне хотелось, чтобы неуловимые черты матери присутствовали и в цветочном горшке, и в дверце буфета, и в картонной коробке, хотелось, чтобы я угадывал ее выражение во всех вещах — диванах, стульях, столах. И действительно присутствовали, и действительно угадывал, и спинка дивана словно повторяла изгиб ее руки, круглая крышка стола — очертания лица, а резная завитушка стула — косточку на запястье.

Но самое удивительное заключалось в том, что я не только видел отражение матери во всех предметах, но и слышал в их названиях отзвуки ее имени — особенно в названиях, начинавшихся на «а» и как бы таивших в себе волшебный зародыш имени Ангелина... Ангелина Тихоновна... Ангелина Тихоновна Павлова. Имя матери я произносил по тысяче раз в день, произносил с восторгом и обожанием, но это было лишь началом тех экзистенциальных превращений, которые претерпела моя детская любовь к ней, и стоило матери меня несправедливо отчитать, отшлепать, поставить в угол («Стой и не поворачивайся, пока мы тебя не простим!») или даже дать мне ремня, как именовался в нашей семье самый суровый способ наказания, и я оказывался во власти мучительных экзистенциальных сомнений: неужели то самое-самое, материнское, родное — способно исчезнуть?! Пусть не навсегда, а лишь на минуту, полминуты, секундочку, но без нее уже не будет вечности. Что же это за вечность, в которой недостает секундочки!

Вот так же и материнской любви мне теперь не д о с т а е т, и хотя мать сама жалеет о случившемся и старается загладить свою вину, усаживая меня к себе на колени, делая смешные рога из моих непослушных локонов и в знак дружеского

примирения касаясь носом кончика моего носа, я не могу избавиться от мысли, что она уже не самая красивая, добрая, справедливая, и ее отражение в вещах для меня гаснет, и я не слышу отзвука ее имени в предметах, название которых начинается на «а». Я даже завидую другим мальчишкам, у которых другие матери, кажущиеся мне и красивее, и добрее, и справедливее, и я все чаще ловлю себя на том, что мечтаю побыть их сыном. Побыть хотя бы немного, один часок, и поэтому, в то время когда мальчишки бегают по шумному, завешенному сохнувшим бельем двору, гоняют спущенный мяч, обсыпанный кирпичной пылью от ударов об стену, или неистово крутят педали своих велосипедов, радуясь малейшей возможности вырваться из-под надзора, я незаметно подсаживаюсь к их матерям и как бы заменяю им сына. Да, да, я готов отдать все, лишь бы они взяли меня под свой надзор, и меня окатывает волна жгучего и самозабвенного восторга при мысли, что на это время я их сын и поэтому имею полное право любить этих далеких, недоступных и необыкновенных женщин. Мне даже хочется взвизгнуть, залаять, укунить их за руку, так сильна во мне любовь, но я не смею и пошевелиться, опасаясь неосторожным движением выдать, что я их в р е м е н н ы й сын и поэтому никакого права на них не имею.

Так другие матери превратились для меня в ж е н щ и н, моя же мать осталась просто матерью, доступной, близкой и — обыкновенной, и моя восторженная любовь к ней, готовность отстаивать перед всеми ее достоинства сменились трезвым сознанием ее недостатков, и я стал судьей и разоблачителем той, которая недавно вызывала мое обожание и преклонение. Судьей — суровым и разоблачителем — едким, и это продолжалось до тех пор, пока не свершилось еще одно превращение, спасительное для меня, уставшего судить и разоблачать и неспособного вновь п о л ю б и т ь. Когда ко мне, уставшему и ни на что не способному, все настойчивее подступало — подкрадывалось на мягких кошачьих лапах — то самое экзистенциальное отвращение к жизни, которое испытывает человек перед самоубийством, меня внезапно коснулся ее евангелический ответ. Не знаю, кем он был послан — Матфеем, Марком, Лукой или Иоанном, но мне открылось, что мать-то у меня совсем старенькая и поэтому не любить ее теперь надо, а ж а л е т ь.

Не любить, а жалеть — вот ведь какая штука! Помню, в этот момент мы пили чай, и мать сидела напротив меня, под накрытой оранжевым абажуром лампой, высвечивавшей все ее морщинки. Сидела и держала в руке чашку — такую же старенькую, в трещинах, как и она сама. И вот открылось: жалеть, жалеть, — и от души, словно высушенная и затвердевшая корка, отпала мучительная экзистенция. Я посмотрел на мать, слегка вытягивавшую губы, дувшую на горячий чай и отпивавшую его маленькими глотками, на ее туго стянутые и заколотые костяным гребнем (тем самым — с длинными извилистыми зубьями) волосы, на ее руку, державшую чашку, на белую кружевную манжету с болтавшейся, наполовину оторванной пуговкой — и меня пронзила жалость, еще более острая, чем любовь. Жалость к седым волосам, подрагивающей, слабой руке и особенно — к болтавшейся пуговке. Почему-то именно пуговка вызывала во мне особенно острую и даже в о с т о р ж е н н у ю жалость, и мне было страшно, что сейчас, на моих глазах, она совсем оторвется. Оторвется, упадет, закатится под диван — страшно было это представить, словно на такой же ниточке висела и жизнь моей матери. «Только бы она подольше не умирала... только бы подольше...» — думал я, и впервые мысль о смерти не соединялась в моем сознании с привычным отвращением к жизни.

## 9

Расскажу о последнем превращении моей любви и жалости. Последнем и настолько странным, даже загадочным, насколько загадочной и странной бывает самая обычная жизнь. Осознаю ли я до конца смысл этого превращения? Вряд ли, но порою меня охватывает смутная и тревожная догадка, что я когда-то уже жил в этих комнатах под именем моей матери, мое детство было неким заранее предопределенным повторением ее детства и мы с ней близнецы — если не во времени, то в пространстве. Поэтому, слыша рассказы людей, помнивших мою мать таким же пятилетним ребенком, каким и я был когда-то, я чувствую себя ею, и пространство наших комнат, кухни и длинного коридора, где по-прежнему обитает вездесущий Колидор Николаевич, наконец приобретает еще одно таинственное измерение, именуемое временем, и я нынешний причудливо совпадаю с ней тогдашней...

Когда Ангелину, завернутую в пеленку и укутанную байковым одеяльцем (или меня, завернутого и укутанного), впервые положили на диван и над ней



склонились головы счастливой родни, она лишь слегка наморщила красное личико, испуганная возникшим шумом и готовая заплакать, но, углядев в руках отца погрешку, улыбнулась беззубым ротиком и выронила соску. «Этому ребенку меланхолия не грозит», — единодушно признали собравшиеся, награждая новорожденную градом воздушных поцелуев и ответными улыбочками, как бы призванными запечатлеть в ее сознании их восторженную любовь и умиление. И действительно, чем быстрее подрастала Ангелина, превращавшаяся из новорожденной в девочку-бутуза с круглыми, покрытыми комариными укусами коленями, тугими загорелыми икрами, обтянутыми белыми гольфами, резко обозначенным началом пробора над упрямо наморщенным лобиком и розовыми ноготками на пухлых маленьких пальчиках, тем заметнее становилась ее непохожесть на лебежку мать и чернокнижника отца.

Естественно, что при таких наклонностях родителей хозяйством в доме никто не занимался, пыль с мебели почти не стирали, цветы в горшках забывали поливать, а выметенный из углов сор чаще всего заметали в щель пола. Но об Ангелине — куколке, а н г е л о ч к е (недаром ей выбрали это имя), сказочном создании — радели и заботились всей душой. Для нее куповали молоко у самой дорогой молочницы и, усадив на детский стульчик и повязав кружевную салфеточку, кормили манной кашей с озерцом клубничного варенья посередине, поили клюквенным морсом и каждый день давали ложку маслянистого рыбьего жира.

Ее белые гольфы и платья с оборочками мать стирала в большом тазу, погружая по локоть руки в хлопья серой мыльной пены, сушила на протянутых под потолком веревках и гладила громадным железным утюгом, похожим на готический замок с башнями и бойницами. Гулять ее водили не в шумный проходной двор соседнего дома, а в тихий палисадничек, отгороженный от улицы высоким забором, и аккуратная старушка-няня в круглых очках следила за тем, чтобы она дружила только с х о р о ш и м и девочками — такими же чистенькими, вежливыми и послушными.

Куколка, ангелочек, она была любимицей всей коммунальной квартиры, и едва лишь вспыхивали бледным утренним светом лампы под газетными абажурами, начинали коптить примуса на кухне и накаляться докрасна чугунные дверцы изразцовых печей, за которыми потрескивали сухие дрова, в коридоре слышалось ее топотанье, удары мяча об пол и об стену, прыжки через скакалочку и хлопанье в ладоши, и тотчас же тихонько раскрывались двери комнат, и Ангелину п р и г л а ш а л и — погладить по голове, усадить в уголок дивана, задать несколько вопросов, которые обычно задают детям («Это что же, твоя дочка? — показывая на куклу. — И как же зовут твою дочку?»), и угостить карамелькой, присыпанной сахарной пудрой.

Ангелина охотно отзывалась на приглашения, не испытывая при этом ни малейшей застенчивости, и после привычного поглаживания по голове, вызывавшего на ее лице терпеливо-выжидательную мину, бухалась на диван и бойко, задористо — с лукавым жеманством ребенка, знающего, что ему все простится, — отвечала на вопросы взрослых. Отвечала, а сама незаметно косилась на стены, столы и подзеркальники, отыскивая взглядом затейливые вещицы, которые можно было бы взять, подержать в руках, подробно рассмотреть и даже понюхать, если это флакончик из-под духов, аптечный пузырек или картонная коробочка из-под декоративной, обтянутая резинкой. Конечно же, такие вещицы находились, и Ангелина осторожно тянула к ним руку, стараясь не выдать своего нетерпения и не показаться нескромной, невоспитанной, хватающей все руками:

— А можно?..

— Разумеется, можно, деточка, — отвечали ей, и хозяйка затейливой вещицы сама вручала ее гостю. — Вот посмотри-ка... посмотри...

И Ангелина смотрела, трогала, самозабвенно подносила к носу и втягивала незнакомый, загадочный, кружащий голову запах. При этом ее лицо выражало такую восторженную радость, что хозяйка снисходительно улыбалась и спрашивала:

— Нравится? Ну хочешь, я тебе ее подарю?

При этих словах Ангелина вся краснела от удовольствия, блаженно замиралась, замирала с вытянутыми вдоль туловища руками и, не решаясь сознаться в том, что она х о ч е т («Просить чужие вещи невежливо», — всегда наставляла мать), упорно молчала до той поры, пока хозяйка сама не дарила ей вещицу.

— Хорошо, хорошо, бери.

— Спасибо, — лепетала в ответ Ангелина и, чувствуя панический ужас от мысли, что ее могут еще немного задержать и тем самым сделать вынужденным и бесцельным пребывание в гостях, которое до получения подарка было таким желаемым и сосредоточенным на одной цели, выбегала из комнаты.

— Ну что ты у меня за попрышайка! Неужели тебе мало своих игрушек! — стыдила Ангелину мать, встречая ее в дверях запыхавшуюся от бега, с завернув-

шимся кружевным воротничком платья, прилипшим к щеке, и тем выражением озабоченности на лице, которое заставляет, спасаясь от одной опасности, не замечать другую.

Застигнутая врасплох Ангелина прятала за спину руки, державшие новый трофей, переминалась с ноги на ногу, глубоко вздыхала и с усилием морщила лобик, стараясь выглядеть такой, какими и должны выглядеть в глазах взрослых непослушные дети, раскаявшиеся в совершенном проступке.

— Прости, пожалуйста, — шептал я как можно более тихим голосом, и глаза мои часто-часто моргали, словно я готов был разрыдаться, если моя униженная просьба о прощении не заставит мать смягчиться и проявить снисходительность. — Мама, прости, прости, — просил я уже настойчивее, с капризными нотками в голосе, как будто медлительность матери давала мне право требовать и настаивать на своем. — Прости, я больше не буду, — наконец произнесил я привычную и заученную фразу, безошибочно угадывая тот единственный момент, когда ее нужно было произнести, чтобы она произвела на мать безотказное воздействие.

И действительно, после этой фразы наступало недолгое молчание, означавшее, что мать погружена в раздумье, которое обещало разрешиться в пользу сына, а затем она тоже вздохнула и тоже произносила привычную фразу:

— Ладно, горе мое. Прощаю в последний раз.

При этом она примирительно притягивала меня к себе, целовала в макушку и разглаживала на плече завернувшийся воротничок матроски, но строгая искорка во взгляде и чуть-чуть сдержанная улыбка как бы напоминали о моей вине, и я понимал, что несколько дней придется провести в заточении и не беспокоить соседей своими опустошительными набегами.

— Только из комнаты не выходить. Ни ногой, — напоследок предупреждала мать и в знак серьезности своих слов пристально смотрела на меня, как бы не позволив прочесть в своем взгляде ни малейшего намека на снисходительность.

Я безропотно подчинялся, и просыпавшиеся по утрам соседи бывали удивлены тем, что не слышат моих парадных маршей с пластмассовой дудкой во рту и велосипедных пробегов по коридору, тарзаных прыжков через порог кухни и пушечных ударов мяча о стену.

— А почему не видно нашего Коленки? Он, случайно, не заболел? — спрашивали они, и их участливая улыбка заставляла мать слегка встревожиться, представив возможность того, что ее сын действительно мог заболеть (во дворе — ветрянка), суеверно перекреститься, вздохнуть с облегчением и ответить:

— Нет, он у меня просто наказан.

— Как жаль, а я хотела угостить его вареньем, — говорила соседка, чья дверь находилась справа от нашей двери, а та, которая жила за левой дверью, молча кивала головой, подтверждая свое невысказанное намерение угостить, побаловать, обрадовать подарком.

Мать отвечала снисходительным жестом, словно говоря при этом: «Ну вы же понимаете...» — и, как принято между взрослыми, обладающими печальным опытом воспитания детей, легкой улыбкой показывала, что не относится всерьез к собственному запрету и лишь из соображений педагогики заставляет себя быть строгой. «Да, да, мы понимаем...» — как бы отвечали соседки, единодушно признавая значение педагогики и с сожалением поглядывая на дверь, за которой скрывался наказанный.

В это время я слегка приоткрывал дверь, просительно глядя на мать и похныкивая от нетерпеливого желания склонить ее на свою сторону, и к этому взгляду добавлялись просительные взгляды соседок, вынуждавшие мать сначала развести руками, затем с сомнением покачать головой, а затем не выдержать и сдаться:

— Хорошо, хорошо, иди.

Я вырывался из заточения, и меня тотчас подхватывало несколько рук, и, побывав в гостях у соседки справа, я попадал в комнату соседки слева, а оттуда — к следующей соседке, и так до самого конца длинного коммунального коридора. Домой я снова возвращался с подарком — флакончиком, коробочкой или пузыречком, — и мои пальцы были перепачканы шоколадом, и в уголках губ белели следы от сахарной пудры — напоминание о съеденных конфетах, — но мать уже не стыдила и не отчитывала меня, а лишь смотрела с бессильным укором и молча вытирала мне салфеткой губы.

По воскресеньям мать водила меня к родственникам. Чаще всего она держала меня за руку и, чтобы я не отставал и не виснул у нее на руке, старалась

идти медленно, убеждая себя, что нам некуда торопиться, но вскоре не выдерживала и невольно убыстряла шаги, отчего моя рука сразу вытягивалась, и сначала я вприпрыжку догонял ее, готовый заплакать от обиды, а затем нарочно начинал виснуть и отставать. Поэтому иногда она сажала меня в санки, если дворники успевали расчистить тротуары и сгрести к обочинам мостовых выпавший за ночь снег, а чтобы я не замерз от неподвижного сидения, надевала мне перед выходом длинную, купленную навыrost шубу и большие тяжелые валенки с калошами, нахлобучивала меховую шапку с резиночкой под подбородком и укутывала в шерстяной платок, концы которого завязывала у меня за спиной. Платок, закрывавший мне рот, намокал от дыхания и неприятно покалывал щеки, ослонявленный узелок резинки натирал подбородок, шуба давила на плечи, а тяжелые валенки постоянно сползали с ног, но все эти мелкие неудобства были как-бы необходимым — и даже желаемым! — дополнением к тому восторженному чувству, которое я испытывал, скользя на санках по укатанному снегу, глядя на выпнутые концы полозьев и усиленно стараясь понять, почему при движении санок вперед земля под полозьями убегает назад.

— Быстрей! Быстрей! — в азарте кричал я матери и, помогая ей, отталкивался ногами и весь подавался вперед, чтобы ускорить бег санок и — соответственно — обратный бег земли.

Матери приходилось подчиниться моей команде, и веревка в ее руках туго натягивалась, и на поворотах санки наклонялись наборк, поднимая полозьями снежную пыль, и я радостно смеялся, и мать тоже смеялась вместе со мной, делая вид, что из-за этого смеха она не может бежать дальше, хотя на самом деле ей просто хотелось остановиться и перевести дух. Я уже знал, что сейчас она возьмется за сердце и скажет: «Ну ты меня совсем замучил!» — и тогда мне придется слезть с санок и нехотя бежать за ними следом, припадая на отсиженную ногу. Чтобы оттянуть наступление этого момента, я еще некоторое время продолжал громко смеяться, словно не замечая выжидательного взгляда матери, но как только мать собиралась произнести свою фразу, сам безропотно слезал с санок.

— Вот и молодец, а то совсем замерзнешь, — говорила она, испытывая легкие угрызания совести оттого, что вынуждена воспользоваться уступчивостью сына и тем самым лишить его законного удовольствия. — Замерзнешь и заболешь, — добавляла она, и ее легкие угрызания постепенно превращались в мучительные, и мать чувствовала себя все более виноватой, потому что для матерей пятидесятих годов законные удовольствия их детей — предмет болезненного и суеверного культа. — Заболешь, и тебя положат в больницу. — Она тщетно пыталась избавиться от смутного чувства вины, ища поддержку в собственном страхе за мое здоровье, которое было предметом такого же культа; мне же во всем этом слышалось лишь то, что придется еще долго догонять пустые санки, и вот тут-то начинали назойливо досаждать и намокший от дыхания платок, и тяжелая шуба, и ослонявленная резиночка, и казалось, будто мать нарочно не замечает моего обиженного взгляда.

Не замечает — значит, ей все равно. Значит, она совсем и не любит меня, если не видит, с каким унынием я плетусь за пустыми санками. «Не любит... не любит... не любит», — шептал я сквозь слезы, доподлинно зная, что чем настойчивее и непримиримее я отворачиваюсь от нее, тем скорее она повернется ко мне и мы помиримся.

— Ладно, садись. Совсем ты меня не жалеешь, — наконец сдавалась мать, и я с размаху бухался в сани.

Веревка в руках матери снова натягивалась, и мы продолжали наш путь, хотя теперь я уже не кричал: «Быстрей! Быстрей!» — а, наоборот, довольствовался самым медленным движением санок, придававшим шаткую узаконенность моему положению седока.

Добравшись до соседней улицы, свернув в заснеженный двор с едва протоптанной в снегу дорожкой и оставив санки у подъезда деревянного дома, мы поднимались на второй этаж, где жили родственники — моя тетушка с ее старшим братом, которого я никак не решался представить своим дядюшкой, потому что, по словам близких, он был сумасшедшим, и это заставляло меня сохранять некоторую неопределенность в наших родственных отношениях, некоторую дистанцию меж нами, освобождавшую меня от слишком обязывающей роли племянника сумасшедшего дядюшки. Я как бы наблюдал за ним со стороны из надежного укрытия, и, несмотря на то, что он был родственником, меня подчиняла в нем влекущая недосыгаемость незнакомца, распространявшаяся даже на окружающие предметы, и стоило оставить у подъезда санки и подняться на второй этаж, как во мне появлялось чувство д р у г о г о дома, и это тоже было моей экзистенцией. Экзистенцией, как бы расположенной между привычным и непривычным, освоенным и неосвоенным, существующим з д е с ь,

и волшебным возникающим там. Да, да, буквально все вещи в доме тетушки одновременно и были и заново возникали, потому что за то время, пока я их не видел, я успевал от них отвыкнуть, и когда я снова брал их в руки, передо мною обозначался блаженный барьер неизвестности, и бронзовая пепельница, стеклянная вазочка, жестяные коробочки из-под чая, фарфоровые фигурки кошек и собак, отражавшиеся в лаковой стенке буфета, казались мне новыми и тающими неизведанными соблазнами.

Особенно же привлекала меня старая пишущая машинка, с помощью которой тетушка, окончившая курсы машинисток и стенографисток, зарабатывала на хлеб, — черная, скипидарно пахнущая, с грохочущей кареткой и колокольчиком звонка, нежно вздрагивающим в тот момент, когда каретка упиралась в стопор. Привлекала тем, что это был механизм, а значит, нечто таинственное, превращающее одно в другое: ударишь пальцем по белому кружочку клавиши — и на бумаге отпечатается буква, а из нескольких букв вдруг сложится слово. Если же соединить друг с другом слова, то вокруг них образуется нечто воздушное, струящееся, похожее на розовое облако и именуемое с м ы с л о м. Странное дело — вот я подумал о чем-то в голове, постучал по клавишам машинки, и это подуманное перенеслось на бумагу. Из моей головы на бумагу — странное дело! И я удивленно трогал свой лоб, как бы стараясь удостовериться в том, что за ним скрываются мысли, затем стучал по клавишам, переводил взгляд на бумагу, выталкиваемую черным валиком каретки, и с еще большим удивлением перечитывал слова, которые совсем недавно были мыслями. Меня так завораживало это превращение, что иногда я пробовал отыскать дырочку, сквозь которую слова из головы выскальзывали на бумагу. Пробовал отыскать и вроде бы отыскивал, наминал, нащупывал ее в самой середине лба: вот она, похожая на узкую прорезь копилки, которая стояла у нас на зеркале и из которой я частенько вытряхивал трехкопеечные монеты.

Из числа других предметов, находившихся в комнате, столь же непреодолимо притягивала меня обклеенная желтой бумагой трехстворчатая ширма, отгораживавшая уголок дядюшки. Дядюшка целыми днями лежал в кровати со сползшим матрасом, курил дешевый табак, выпуская дым сквозь редкие желтые зубы, надсадно кашлял, кряхтел, ворочался, поскрипывая ржавыми пружинами, и читал смятые газеты с пятнами от пролитого кофе — в этом, собственно, и заключалось его сумасшествие, но меня преследовало жгучее подозрение, что дядюшка за своей ширмой занимается чем-то еще, чем-то таким таинственно запретным, недозволенным, страшным и жутким, что никакой он не сумасшедший, а самый настоящий фальшивомонетчик, торговец похищенными детьми или, на худой конец, просто колдун. И мне мучительно хотелось застигнуть его в тот самый момент, когда он не курит дешевый табак, надсадно кашляет и читает газеты, а печатает на машинке фальшивые деньги, рассовывает по мешкам и заколачивает в ящики плачущих детей или бормочет заклинания на тарабарском языке, призывая нечистую силу.

И вот я незаметно подкрадывался к ширме, находил место, где бумага была чуть-чуть надорвана, и заглядывал в дырочку. Разумеется, подкрадывался я с величайшей осторожностью, ступая так, чтобы не скрипнула ни единая половица, и с такой же осторожностью отыскивал дырочку, нагибался к ней и прикивал глазом, часто моргавшим от прикосновения надорванных краев бумаги, но в ту самую минуту, когда я наконец удобно устраивался на своем наблюдательном пункте, меня подхватывали сзади цепкие руки дядюшки, отрывали от пола, и я беспомощно повисал в воздухе, вертя головой, болтая ногами и поскуливая от жалости к самому себе.

Убедившись в моей полной беспомощности, дядюшка затаскивал меня за ширму, усаживал на шаткий фанерный стул, направлял мне в лицо мигающую лампу и с торжествующим блеском глаз учинял допрос.

— Ага, попался! — говорил он, принимая позу следователя, всеведущего и пронизательного настолько, что любые попытки обвиняемого отрицать свою вину способны вызвать в нем лишь грустное сочувствие. — Попался, турецкий шпион!

Дядюшка суживал глаза до узких щелочек и пристально всматривался в мои глаза, наоборот, округлявшие до размера грецких орехов.

— Я не шпион. Я просто хотел... я думал... — Мне никак не удавалось подобрать слово, доказывавшее, что мои благородные мысли и желания совершенно не совпадали с моими преступными действиями.

— Мне все про тебя известно. Сознаться, какую готовил диверсию! — Дядюшка как бы внушал, что чистосердечное признание необходимо не столько ему, все обо всех знающему, сколько мне, охваченному запоздалым стремлением облегчить свою участь.

— Диверсию?! Никакую, — с честным выражением глаз сознавался я, одновременно забываясь о том, чтобы этим признанием доказать свою полнейшую невинность.

— Говори, а не то... — Дядюшка, который был заинтересован не столько в честности допрашиваемого, сколько в признании им своей вины, угрожающе шевелил в воздухе растопыренными пальцами, то ли намереваясь зашекетать меня до смерти, то ли примериваясь, как бы покрепче схватить меня за бока.

Так из подозреваемого и преследующего я по таинственной прихоти судьбы превращался в пойманного и подозреваемого и тут уж, конечно, не выдерживал, ударялся в позорный рев, не очень-то подобающий турецкому шпиону, и, краснея от натуги, звал на помощь мать. Мать вбегала за ширму, порывисто брала меня на руки, заслоняя собой от разбушевавшегося дядюшки, и уносила в другой угол комнаты, а тетушка, чувствовала себя обязанной всех мирить, ходила из угла в угол, мяла потухшую папиросу в перепачканных синей копиркой пальцах и недоуменно повторяла:

— Вообще-то он тихий, никого не обижает. Но иногда... но иногда...

## 11

Чтобы помирить нас окончательно, тетушка накрывала на стол, доставала из шкафчика связку баранок, ставила вазу с сухариками, распечатывала припасенную с осени банку варенья, заваривала чай в высоком фарфоровом чайнике, и мы усаживались ужинать: я, продолжавший обижено всхлипать и тереть кулаками глаза, моя мать, гладившая меня по голове и целовавшая в макушку, и наш временный враг — сумасшедший дядюшка. Он появлялся из-за ширмы в своем коротеньком пиджачке, похожем на китель школьной формы, таких же коротеньких брючках, едва державшихся на скрученном в жгут ремне, и, шаркая стоптанными шлепанцами, хмуро приближался к столу, обреченно опускался на стул, отвечавший ему жалобным скрипом, и сидел абсолютно молча в неестественно прямой позе.

Сидел и не отрываясь смотрел в окно, словно не желая замечать нас, ничтожных и жалких, посмевших поднять против него голос, и в то же время опасаясь, что, ополчившись на него за недавнюю проделку, мы своими упреками заставим и его превратиться в такого же ничтожного, жалкого и униженного. Тетушка при этом разливала чай, не столько забываясь о том, чтобы у всех были полные чашки, сколько стараясь отвлечь нас от продолжения ссоры и переключить внимание каждого на более невинные и безобидные предметы. «Попробуйте сухари!.. Возьмите баранку!.. Угощайтесь вареньем!» — повторяла она с неумолимой готовностью повторять это снова и снова, пока невинные и безобидные предметы наконец не возобладают в нас над взаимными обидами и обвинениями.

И мы охотно пробовали, брали, угощались, и то, что тетушка находилась как бы по ту сторону нашей ссоры, а мы по эту и нам никак не удавалось перетянуть ее к нам, заставляло нас — словно по узенькой жердочке — перебираться к ней. После нескольких глотков чая на ее стороне оказывалась мать, чье рассеянное выражение лица вдруг проясняла улыбка, вслед за ней по жердочке перебежал я, тоже начинавший улыбаться, с шумом прихлебывая чай и набивая рот сухарями, и последним по жердочке — в такой же неестественно прямой и торжественной позе — переходил дядюшка, все еще сохранявший некоторую враждебность по отношению к нам и в то же время не желавший оставаться один на этой стороне.

Перемирие заключалось, и в знак этого тетушка тоже присаживалась к столу и робким, слегка сожалеющим жестом показывала, что ей тоже хочется чаю. Она неуверенно протягивала руку за чайником, но все тотчас же словно спохватывались, обнаружив свою оплошность, и принимались наперебой отнимать у нее чайник, чашку и блюдце с позванивающей на нем ложечкой, чтобы самим налить заварки, добавить кипятка и бросить в кирпично-красную дымящуюся смесь белый кусочек сахара. Тетушка, конечно же, уступала нам это право и лишь издали — легкими взмахами рук и испуганными возгласами: «Осторожно, не разбейте!» — участвовала в ритуале, а затем со скромным и благочестивым выражением человека, сдерживающего в себе приятное и лестное чувство от оказанного ему внимания, подносила чашку ко рту, отвечая всем заученно-благодарной улыбкой.

Я и сейчас вижу эту улыбку на лице тетушки и вижу нас всех, сидящих за круглым обеденным столом, накрытым клетчатой скатертью: сумасшедшего дядюшку, мать и меня — всех участников и свидетелей сцены, которую я помню в самых мельчайших подробностях, хотя, если признаться, ничего особенного в ней нет. Ну что в ней, этой сцене: ребенок, подглядывающий в дырочку за

сумасшедшим дядюшкой, мать, отнимающая у дядюшки этого ребенка, семейное чаепитие за круглым обеденным столом! Стоит ли все это так подробно описывать, воссоздавать все эти жесты, фразы, словечки!

И все-таки я описываю и все-таки воссоздаю, потому что — и в этом секрет избранного мною метода — сцены никакой нет! Нет всех этих жестов, фраз и словечек, а есть то таинственное, странное, неназываемое, что мы подразумеваем под словом *жизнь*. Я же — как некий ясновидец, улавливающий в человеке мерцание его ауры, — эту жизнь в и ж у. Вижу, и все тут: такой уж у меня дар! Вижу цвет, форму, запах и, вспоминая сцену за обеденным столом, ловлю себя на том, что не столько изображаю ее, сколько вылепливаю из неведомого ноздреватого, пористого вещества некую экзистенциальную фигуру.

Передо мной комок вещества, и я леплю, проминаю в пальцах, сдавливаю в ладонях этакую гигантшу — несоразмерную, грубую и нелепую, как скифская баба. Во время чаепития эта гигантша сидела вместе с нами, и я, вертлявый мальчик, чья стриженная голова едва возвышалась над столом, смутно ощущал ее присутствие. Потому-то мне подчас становилось так грустно, и я куксилса, гримасничал, тер кулаками глаза и тихонько плакал, уперев подбородок в край стола, а взрослые не могли объяснить причину моих слез, принимались меня неуклюже утешать и подсовывать мне под нос игрушки, которые я выхватывал у них из рук и с досадой бросал на пол.

— Не понимаю, что с ним происходит! — говорила мать, страдавшая и из-за моих слез, и из-за своего непонимания.

А происходило со мной лишь то, что во время беспечного поедания сухарей и баранок, похищения из пузатой сахарницы контрабандных кусочков сахара мне внезапно являлась моя гигантша и смотрела на меня пустыми глазницами. «Тетенька, а вы кто?» — беззвучно спрашивал я. «Твоя жизнь, мальчик», — отвечала она, и тут-то меня охватывала грусть — та самая, которую я чувствую и сейчас, хотя никто уже не утешает меня и не подсовывает под нос игрушки. Да и сухари с баранками не вызывают во мне прежнего вожделения, и я давно покончил с контрабандой сахара, но нелепая гигантша жизнь является мне по-прежнему, и я леплю, леплю свои странные экзистенциальные фигуры.

Вот и сейчас мне хочется рассказать о том, как мы с матерью — уже одетые, но еще не успевшие застегнуться на пуговицы, затянуть узлы платков и завязать тесемочки шапок, — стоим на пороге, прощаясь с тетушкой, и она уговаривает нас взять кулечек с баранками, а мы все отказываемся и не берем: какая чепуха! Какая милая, славная, прелестная чепуха — эти баранки, эти старания нам их непременно вручить и наши ответные заверения:

— Нет, нет, не надо... у нас есть! Благодарим! Спасибо!

А тетушка снова:

— Возьмите, возьмите! Дома выпьете чаю!

А мы опять:

— Благодарим! У нас есть!

При этом мы думаем, что кулек держит тетушка, тетушка же думает, что кулек держим мы, и хотя мы все одновременно *думаем*, получается так, что кулек никто не держит, он падает из рук, и баранки раскатываются по полу. Разумеется, взрослые наклоняются, чтобы их собрать, а я, помогая им, даже встаю на четвереньки и ползаю между их рук, но после того, как баранки вновь уложены в кулечек, предлагать их гостям бессмысленно, и мы все с облегчением вздыхаем. Вздыхаем и целуемся на прощание — так, словно расстаемся не на несколько дней, а по крайней мере на месяц. Целуемся страстно, порывисто, пылко — как целовались только родственники, живущие на соседних улицах, и целовались только в пятидесятые годы. Целуемся, обнимаем друг друга, незаметно смахиваем слезы, после чего меня отправляют за ширму — проститься с дядюшкой.

Отправляют как парламентаря — проститься и тем самым как бы закрепить перемирие. И вот я нехотя вхожу за ширму, понуро останавливаюсь перед самой кроватью, на которой с газетой возлежит дядюшка, и, опустив руки, обреченно жду, что же последует дальше. Дядюшка при виде меня садится в кровати, свесив босые ноги с желтыми ногтями на огромных шишковатых пальцах, откладывает газету и тоже ждет. И так мы оба ждем, пока мать и тетушка издали мне не шепнут: «Поцелуй, поцелуй дядюшку!» Слыша этот шепот, дядюшка нахохливается, безнадежно мрачнеет и начинает диковато озираться, как бы подозревая в моем поцелуе некий скрытый подвох, я же робко тянусь губами к его небритой щеке, чувствуя исходящий от дядюшки запах плохого табака и дешевого мыла, и тут... тут происходит нечто необъяснимое: гигантша жизнь, неотступно маячившая передо мною, исчезает как наваждение, и вместо нее возникает бесплотное, зыбкое, голубоватое евангелическое сияние. И я, подневольный

парламентер, посланный лишь закрепить достигнутое перемирие, в этот момент люблю моего сумасшедшего дядюшку — люблю, и жалею до слез, и готов простить ему все, и былую вражду, и учиненные мне допросы, и не потому, что он такой хороший, а потому, что он просто у меня е с т ь.

У меня есть дядюшка, который меня тоже любит и тоже готов мне все простить, и когда я прикасаюсь губами к его колючей щеке, он странно вздрагивает, судорожно прижимает меня к себе и беспорядочно целует в лоб, в виски, в макушку, в щеки.

## 12

Не эти ли поцелуи и не эта ли восторженная любовь к дядюшке заронили в меня догадку, что слепленная из неведомого ноздреватого вещества гигантша с плоским, приплюснутым носом — всего лишь пугающий призрак и что возможна жизнь, лишенная экзистенциальных отсветов?! Возможна в будущем и однажды была прожита в прошлом, и благая весть о ней оставлена нам теми, кого мы называем Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. И вот я открываю книгу третьего из них — Луки, и мне кажется, что именно он незримо стоял надо мною, осеняя меня зыбким голубоватым светом, когда я целовал в небритую щеку сумасшедшего дядюшку, и именно в его невидимой теплой руке восторженно билось мое сердчишко, переполненное любовью. Да, да, мои детские годы принадлежат третьему евангелисту, незримо покровителю пятидесятых, чьи земные следы я отыскивал, листая книги из библиотеки дедушки, книги, как уже говорилось, мистические, но в них попадались факты, имена, даты, придающие хаосу прошлого упорядоченность и гармонию истории, и вот я отыскивал, намывал, просеивал сквозь сито, словно крупинки золота в желтом песке, хотя вроде бы чего там — экзистенциальный метод позволяет обойтись без подобных разысканий, доверившись жизни, как слепой поводырю, но в том-то и дело, что мой метод настолько же экзистенциальный, насколько е в а н г е л и ч е с к и й, и поэтому я вновь доставал свое сито, просеивал и намывал, отыскивая в земном песке крупинки небесного золота.

Итак, следуя евангелическому методу, я установил, что Лука был родом из Антиохии, древней столицы Сирии, именуемой также Царицей Востока, ибо это был город благоухающих садов и виноградников, по утрам окутанный фиолетовой дымкой, нежно лепечущих родников и дремотно журчащих фонтанов, чьи струи мягко падали на мраморные плиты, тихих улочек с расстеленными по обочинам ковриками гадателей и шумных рыночных площадей, где торговали купцы со всего света, утопающих в неге дворцов и языческих храмов, с жертвенников которых сочилась кровь обезглавленных быков и коз. Под сенью садов и пальмовых рощ гуляли с учениками греческие софисты, величественно вынося вперед босые ноги, обтянутые ремешками сандалий, у фонтанов возлежали римские наместники, отпивая из кубков виноградное вино, а в мозаичных ваннах под надзором бесстрастных чернокожих рабов купались их жены, в синагогах молились длиннородные евреи, на площадях же и улицах горланил пестрый восточный люд. Такой была Антиохия, древний город на реке Оронте, третий по величине в Римской империи. Когда наступала весна, рассеивалась пасмурная мгла, усыпавшая землю колючим дождем; и в высоком голубом небе обозначалось зыбкое марево зноя, жители города собирались у могилы юного бога Адониса, чтобы сначала оплакать его смерть, а затем ликующим шествием приветствовать воскресение. Радуйтесь, люди, умерший Адонис воскрес, чтобы вновь соединиться со своей возлюбленной богиней Аштарт! Значит, и во всей Антиохии воскресла жизнь, и дыхание теплого ветра стало напоминать страстный шепот влюбленных! С такой же страстью на деревьях лопнули почки, брызнул сквозь треснувшую кору пенистый весенний сок, и поплыл по садам дурманящий голову запах. Славься, весна! Славься, Адонис! Хвала тебе, богиня Аштарт!

Эти возгласы с детских лет слышал и будущий евангелист Лука. Грек по рождению (его имя было Лукиос), он воспитывался в атмосфере языческих культов, но испытывал в душе совсем иное — духовное томление, заставлявшее сторониться ликующих шествий и с угрюмым безразличием взирать на фигурку бога Адониса, которую жители Антиохии четыре дня носили по городу. Даже весенний треск лопающихся почек, пение птиц в садах и сияние солнца на изломах сбегающего по камням ручья на трогали Луку, а слияние уст в поцелуе и любовный шепот оставляли странную пустоту в душе. Настолько странную, что женщины, с которыми он был близок, считали его больным, хотя сам он получил профессию врача, прочел множество ученых книг, включая медицинские труды Гиппократ и Диоскорида, и, принимая пациентов в маленькой

комнатке, пропитанной запахами лечебных трав и настоек, обещал им полное выздоровление от любой болезни. Обещал и с честью выполнял обещание, получая щедрое вознаграждение в виде золотых монет с чеканными профилями римских полководцев, а вот себя излечить не мог, и пустота пожирала душу, словно раковая опухоль, и иногда он чувствовал себя больным настолько, что, не отзываясь на стук нетерпеливых пациентов, неподвижно сидел в своей комнатке, одинокий угрюмец, первый экзистенциалист среди греков.

Его целитель явился неожиданно, да и трудно было угадать в нем целителя, настолько сам он был худ, невзрачен, маленького роста, с выпяченной нижней губой и торчащим носом — чертами, выдававшими в нем палестинского еврея, — с лихорадочным блеском в глазах и манерой сопровождать свою пылкую речь жестами, одинаково свойственными природенным ораторам и неизлечимым эпилептикам. Собственно, этот пришедший издалека еврей и был подвержен одной из форм эпилепсии, что и заставило его однажды постучаться в комнатку, пропахшую травами и настойками, и, представившись хозяину: «Павел из Тарса», попросить о помощи. Лука внимательно осмотрел больного, по некоторым хорошо известным ему признакам поставил диагноз и прописал лекарство, которое если не до конца излечивало недуг, то, во всяком случае, помогало предупредить тяжелый приступ. После этого он еще раз взглянул на пациента, сидевшего в глубокой задумчивости и отрешенно шептавшего слова неизвестной молитвы, и вот тут-то в его облике неуловимо проскользнуло нечто, на мгновение завожжившее Луку и заставившее почувствовать себя беззащитным и слабым перед этим худым евреем со впалыми щеками и обтянутыми кожей ребрами. Да, да, нечто властно притягивающее, гипнотизирующее, подчиняющее чужой воле. Они разговорились, и после жалоб Павла на тяжкие приступы падучей Лука рассказал о своем застарелом недуге, зловещими признаками которого были пустота в душе и экзистенциальное отвращение к жизни. Павел выслушал его не перебивая и, когда Лука закончил, поведал ему об Иисусе из Назарета, распятом на кресте, воскресшем и вознесшемся на небо. «Так же, как юный Адонис?» — спросил Лука, и тогда в неизлечимом эпилептике проснулся природенный оратор.

То скидывая над собой жилистые руки со сжатыми кулаками, то обхватывая ими лысую шишковатую голову, то прижимая к впалой груди, то распахивая в объятиях, Павел стал говорить о том, что времена языческих богов прошли, что Бог над всеми один и грехи человечества искуплены не той мутной кровью, которая сочится с жертвенников, а той, которая стекает с креста Его распятого Сына — Иисуса Христа, сошедшего на землю в человеческом обличье и принявшего мученическую смерть во имя будущего спасения всех страждущих, больных и униженных, как это и было предсказано пророком Исаией: «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражен, наказуем и унижен Богом». Разве это не об Иисусе из Назарета, который так же взял и понес — наши болезни, немощи, грехи и страдания. Понес, словно собственный крест, и взошел на Голгофу, чтобы умереть с терновым венцом и гвоздями в ладонях, тем самым сделав бессмертными тех, кто в Него уверует. Так говорил Павел из Тарса — говорил долго и страстно, пока не остыли нагретые полуденным зноем камни, не заблестела роса на пальмовых листьях и не опустилась на Антиохию лиловая вечерняя мгла. Только тогда он словно бы очнулся, замолк и с удивлением посмотрел вокруг себя, вспоминая, где он и откуда здесь этот грек, неподвижно сидящий в углу и слушающий его с затаенным дыханием. «Ах да... эта настойка. Сколько я за нее должен?» — спросил он лекаря, но Лука, вместо того чтобы назначить плату, сказал: «Равви, когда я смогу бы снова вас увидеть?» «Ищи меня там, где толпится народ, — на площадях и базарах, в синагогах и языческих храмах. Я послан сюда проповедовать во имя Христово», — ответил Павел, встал, опершись о посох, поправил заплечную котомку и вышел из дома.

Ушел и вскоре исчез за поворотом дороги, а в ушах Луки еще долго звучал его голос. Все, о чем рассказывал Павел, было так не похоже на историю воскресающего Адониса и богини Аштарт и таило в себе неслышанную новизну, угадываемую Лукой по запаху, различимую на вкус и осязаемую в ладонях (на то он и был греком!), словно холодное и пасмурное дыхание горного ледника, пробивающееся сквозь раскаленный от зноя воздух долины. Стояла изнурительная полуденная жара, какая бывает в Антиохии летом, и вдруг — повеяло... Повеяло смутно, неразлично, пронеслось таинственным дуновением, едва качнувшим макушки финиковых пальм с потрескавшимися от зноя листьями, но Лука услышал... Услышал и замер от прикосновения незнакомого пасмурного холода, донесшегося с ледниковых вершин, и ему захотелось вдохнуть как можно глубже, чтобы сохранить в себе эту жизтельную прохладу. Так в сознании



Луки вечерняя прохлада христианства сменила полуденный зной язычества. Сменила, и он почуствовал, как — подобная руслу пересохшей реки — исчезла в душе пустота и экзистенциальное отвращение к жизни рассеялось в сиянии тихой евангелической радости. Луке вдруг стало удивительно легко и спокойно, словно кто-то неведомый взял и понес на себе его горести и беды, — значит, это ради него Иисус из Назарета умирал на кресте, и из ладоней раскинутых рук торчали шляпки ржавых гвоздей, впивались в лоб острия терновых колючек, а с пересохших от жажды губ капал горький уксус! Ради него и таких же, как он, — греков и римлян, евреев и прочих жителей Палестины, будь это цари и полководцы, лавочники и менялы, нищие и бродяги, воры и проститутки, невольники и рабы — всем открыта дорога к спасению. Когда-то в прошлом Лука и сам был рабом и получил вольную от хозяина, который отпустил его на свободу за верную и честную службу, но только теперь он узнал, что такое настоящая свобода — свобода от тяжких оков души, не ведающей Бога и пребывающей во мраке сомнений, и в его темнице словно бы приоткрылась дверь. Приоткрылась там, где только что была глухая стена. Приоткрылась, и он увидел прозрачное синее небо и парящего в вышине голубя, окруженного лучистым сиянием, — посланника Небесного Отца.

На следующий день Лука отправился разыскивать Павла. Он долго бродил по городу, пока не наткнулся на толпу людей, обступивших худого, низкорослого, тщедушного проповедника с клоками волос по бокам голого шишковатого черепа, выпяченной губой и торчащим носом, отмеченным характерной иудейской горбинкой. Проповедник снова вскидывал, прижимал к груди и распахивал в объятиях руки, страстно призывая собравшихся отречься от веры в Адониса ради истинной веры в Христа, но на этот раз Лука опытным взглядом врача уловил в его судорожных движениях, закатывающихся зрачках, конвульсивно подергивающейся голове и пенящейся в уголках губ слюне признаки надвигающейся падучей. Он решительно протиснулся сквозь толпу, и когда конвульсии стали сотрясать все тело теряющего рассудок Павла и он издал странный гортанный звук и качнулся, хватая руками воздух, Лука бережно обнял его со словами: «Почтенный учитель, вам надо немного отдохнуть. Пойдемте, я отведу вас...» Бледный, с выступившим на лбу потом, Павел ничего не ответил, окинул его отсутствующим взглядом, но сразу же подчинился и побрел за Лукой. Они вновь оказались в той же комнате, и Лука быстро сделал все, что требовалось во время приступа: крепко обнял Павла и положил на колени его голову, чтобы она не билась о пол. Вскоре дыхание Павла выровнялось, мышцы разжались, и слюна на губах исчезла. Павел приподнялся на ложе, вытер пот со лба и, коснувшись плеча Луки, сказал глухим, хрипловатым голосом: «Благодарю тебя, мой исцелитель. Какое счастье, что ты был рядом». «Это вы исцелили меня, — ответил Лука, чувствуя волны горячих токов, исходящих от маленькой сильной руки Павла. — И я готов всегда быть вместе с вами».

После этого Павел и Лука совершили вместе не одно миссионерское путешествие, проповедуя во имя Господне и обращая в христианство язычников. Во время путешествий Лука выполнял обязанности и врача, необходимого Павлу в дороге, и секретаря, поскольку он был образован и хорошо начитан не только в медицинской литературе, но и в сочинениях греческих философов, историков и беллетристов. Кроме того, Лука неплохо владел ремеслом живописца и мог оказать услугу учителю в том случае, если требовалось знание римских законов, умение составлять прошения и вести деловую переписку. Одним словом, это был незаменимый секретарь, который ходил за Павлом как за ребенком, опекал и лелеял его, беспомощного в житейских делах. Случалось, что Лука выручал учителя из опасных переделок, в которые тот попадал благодаря своему строптивому нраву и нежеланию мириться ни с какими условностями там, где требовалось защитить христианскую веру. Выручал, рискуя собственной жизнью, и они вместе спасались от преследователей, грозивших побить их камнями или отдать под суд синедриона. Конечно же, они часто беседовали — у ночного костра или под ветвями смоковниц, накрывавших их во время полуденного зноя. Тема их бесед была одна — слова и дела Того, Кто прошел по земле в обличье Иисуса из Назарета. Из рассказов учителя Лука узнал, что Павел не принадлежал к числу ближайших учеников Иисуса, сопровождавших Его на этом пути, и даже более того — поначалу яростно преследовал христиан, разыскивал их повсюду и бросал в темницы, но Иисус сам призвал его к апостольскому служению, явившись ему по дороге в Дамаск, куда Павел был послан синедрионом, чтобы искоренять христианскую веру. Грозный посланник уже приближался к Дамаску, когда внезапно засиял ослепительный свет, заставивший его споткнуться и упасть на землю, и неведомый голос произнес второе — еврейское — имя Павла: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил Павел, еще сильнее прижи-

маясь к земле. «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». — «Господи, что повелишь мне делать?» — «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Так ответил Иисус, в дальнейшем назвавший Павла Своим избранным сосудом и повелевший возвещать Свое имя пред народами, царями и сынами Израилевыми.

Павел выполнил веление Господа, и даже выполнил с лихвой, распространив свою миссионерскую деятельность не только на сынов Израилевых, но и на языческие народы, населявшие Палестину и соседние земли. Обо всех этих событиях Лука рассказал в «Деяниях апостолов» — книге, написанной им уже под старость, после того как он расстался с Павлом. Расстался физически, но не духовно, ибо голос проповедника продолжал звучать в его ушах, диктуя Луке слова, ложившиеся на пергамент. Состарившийся Лука был счастлив тем, что ему довелось увидеть плоды осуществления великих миссионерских идей Павла, и это придавало особый пафос его «Деяниям». Идеи Павла отразились и в первой, написанной непосредственно перед «Деяниями» книге Луки — его поэтичном Евангелии, к которому он приступил со всей основательностью ученого грека и пылким энтузиазмом верующего христианина. Евангелие Луки как бы в слове продолжило то, что Павел осуществлял в действии, и служило единой цели — распространению христианства среди всех народов. Написанное по-гречески, оно обращалось прежде всего к язычникам, до которых Лука заботливо старался донести благую весть о словах и делах Христа. Для этого он употребил все свое умение, весь свой талант. Его нежное, окутанное голубоватой дымкой Евангелие дышит поэзией, пленяет изяществом языка и с неукомпьютеризированностью следует фактам, излагая события жизни Иисуса в строгой исторической последовательности. Но главное в Евангелии Луки — духовная сила любви и сострадания к людям.

Евангелие, написанное Лукой, — это действительно Евангелие сострадания, веры и молитвы, рисующее Христа защитником слабых и униженных, покровителем женщин и детей. «Пустите детей приходиться ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковы есть Царство Божие», — говорит Христос у Луки, и поэтому мои детские годы принадлежат третьему евангелисту. Но если пятидесятые — время Луки, то тридцатые — время Матфея, сороковые — время Марка, а загадочные шестидесятые — время Иоанна. Голубоватый свет четырех Евангелий струится над моей семьей, подобный февральской лазури, и вот уже не так уныла безрадостная жизнь советских людей, не так тяжелы калоши простого человеческого счастья и не так страшна экзистенция, именуемая великой социалистической тоской. Тоской парадов и маршей, побед и рекордов. Великой — поскольку она охватывала всех, и социалистической — поскольку было в ней нечто совершенно особое, присущее только новому строю, только ему одному, и в этом-то, пожалуй, главное отличие: парады и марши, победы и рекорды были и раньше, а вот особого, непередаваемого оттенка тоски не было, и в этом смысле мы первооткрыватели, первопроходцы, создатели новых экзистенциальных категорий. Гигантша жизнь с плоским, приплюснутым носом является нам призрачным видением, маячит перед глазами и исчезает, оставляя после себя ядовито-зеленый экзистенциальный отсвет. Этот отсвет — отблеск, зыбкое фосфорическое сияньице — преследует нас повсюду, и каждый из нас похож на человека, которому мешает заснуть навязчивый электрический свет. Как ни сжимай веки, как ни прикрывай ладонью глаза, как ни утыкайся лицом в подушку, все равно не спрячешься от навязчивого света и не избавишься от сознания, что ты есть, что ты существуешь, что ты подвержен неизлечимому экзистенциальному недугу.

Не спрячешься, не избавишься, не спасешься. Но вот я открываю Евангелие Луки и не нахожу в нем экзистенциальных отсветов. Не нахожу нигде, кроме двух мест, исполненных таинственной земной печали. «С Ним шло множество народа, — пишет Лука, — и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Возненавидеть жизнь — разве не сквозит в этом печаль пережитого. Им когда-то, накануне земного подвига! «И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колена, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо Меня!» Чашу мимо Меня — в этих словах сгустилось, обозначилось, обнажилось ноздреватое вещество жизни, но сразу же и рассеялось в воздухе: «...впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Рассеялось — и снова голубоватый свет, осеняющий меня, мою мать, тетушку и ее сумасшедшего брата — всех, кто сидел тогда за столом, и еще многих не сидевших с нами: дедушку, бабушку, наших соседей и даже вездесущего Колидора Николаевича, прикладывающего ухо к замочной скважине. И снова мое сердце бьется в

невидимой теплой руке, и я вспоминаю, как мы с матерью спускаемся вниз по лестнице, отыскиваем в снегу сани, поблескивающие под луной выгнутыми полозьями, я усаживаюсь в них, вытягиваю перед собой ноги в тяжелых валенках, а мать дергает за веревку, чтобы сани сдвинулись с места, и мы едем домой под желтовато мигающими вечерними фонарями. Едем молча, каждый думает о своем, и лишь иногда мать оборачивается — не свалился ли я с саней, не потерял ли варежки, не отморозил ли щеку, и, убедившись, что со мной ничего не случилось, еще ненадолго задерживает на мне взгляд, и тут я неуверенно улыбаюсь, чувствуя, что наши мысли совпадают и думаем мы об одном: как нам кажется, о тетушке, о дядюшке, о сухарях и баранках, хотя на самом деле о чем-то ином, почти невыразимом в словах и лишь обретающем смысл в ее взгляде и ответной улыбке.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

...а ведь был этот переулочек — был, и начинался он от большой и шумной улицы, кольцом опоясывавшей центр города, узким кошачьим лазом петлял между двухэтажными домами с горбатыми крышами, рядами кирпича, краснеющего из-под осыпавшейся штукатурки, разбитыми слуховыми окнами и выныривал где-то на площади, застроенной такими же двухэтажными... с такими же горбатыми... среди которых, правда, попадались и четырех... и пяти... и над ними торчала пожарная каланча, отчего и площадь-то называлась то ли Пожарной, то ли Каланчевской, а сам переулок — Брандмейстерским. И был в конце переулка дом — такой же, как все, с тем лишь отличием, что снаружи его не заштукатурили, а в елочку обшили досками, которые почернели от времени и приобрели некое странное свойство — гнилового светиться и фосфоресцировать под луной.

Впрочем, местных жителей, возвращающихся домой в ночную пору, это не слишком пугало, и было бы ошибкой утверждать, будто о светящемся доме ходила дурная слава и он пользовался репутацией дома с привидениями. Какие там привидения, если самые обычные люди топили дровами печи, сушили на веревках белье, квасили капусту, а вовсе не вертели столы, не вызывали духов и не гадали на кофейной гуще! И, что для нас особенно важно отметить, в доме был подвальный этаж, или, попросту говоря, п о д в а л, с деревянной лестницей, спускающейся под землю, длинным коммунальным коридором, застеленным выцветшими половиками, двумя рядами крашенных или обитых дерматином дверей и наполовину ушедшими в землю окнами, в которые видны лишь ноги редких прохожих. Признаться, я не располагаю достоверными сведениями о том, когда появился этот подвал с окнами на уровне ног и в какую из исторических эпох — при молодом русском капитализме или значительно позже, во времена нового строя, — был заселен людьми, но, судя по всему, ни архитектор, ни заказчик и представить себе не могли, что в подвальчике будут жить люди. Теперь уже трудно установить, в чем заключался их первоначальный замысел, и мы вправе позволить себе лишь самую робкую догадку по поводу того, что здесь некогда помещалось... ну, скажем, потайные склады, секретные кладовые, чуланы, хотя разгоряченное воображение подсказывает и несколько иную версию: казематы! Эти вросшие в землю комнатенки с низкими потолками и покрытыми плесенью стенами вполне годятся для заточения узников, и если обить железом двери, повесить на них пудовые замки и поставить часовых с ружьями — сходство было бы полным. Тюремные казематы, и все тут! Для полноты картины можно добавить, что осенью в окна летит грязь из-под колес проезжающих мимо машин, а летом заносит в форточки грозди тополиного пуха. Забранные решетками оконные ямы зимой заваливает снегом, а по весне заливают мутной талой водой, в которой плавают дохлые крысы.

Между тем описанный нами подвал вовсе не был местом заточения узников, и жили в нем такие же люди, как и на верхних этажах. Топили печи, сушили белье и прочее, прочее. Словом, самые обычные люди, вовсе даже и не считавшие свою жизнь н а к а з а н и е м. Напротив, они гордились, что живут в центре, рядом с правительственными зданиями и гранитным памятником вождю, указывающему путь к светлому будущему, и ходят по главным — самым просторным и чистым — улицам города. Да, да, именно не в подвале, а в ц е н т р е — экзистенциальное чувство, знакомое лишь тем, кто пережил тридцатые, сороковые и пятидесятые годы. Лишь тем, кто пережил — приобрел неповторимый опыт. Уникальный для мировой истории, которая никогда не развивалась таким странным образом, чтобы этот опыт возник, появился, обозначился в жизни людей. Всякое бывало,

но т а к о г о в истории еще не было, и вот пожалуйста — есть, попался, голубчик, словно сазан на удочку, и я один из тех счастливичков, кто дернул за удочку, подсек, вытащил на берег и схватил за жабры трепещущую, скользкую, жадно раскрывающую рот рыбину. Иными словами, мне довелось, я испытал, я пережил — если не тридцатые и сороковые, то пятидесятые. Поэтому с пятидесятыми годами, обшитым полусгнившими досками домом и похожим на каземат подвалом и связаны мои фантастические воспоминания о будущем и мечты о прошлом. Воспоминания тем более радостные, а мечты тем более печальные, что ни переулочка, ни дома теперь уже нет, а на их месте есть нечто совершенно уродливое и безобразное, именуемое — и слово-то произносить не хочется — новым кварталом.

А раз так, то и спрашивать мне было некого, некому было задавать невразумительные вопросы и не перед кем приподнимать шляпу, оправдываясь за свой визит: все некогда жившие там люди либо поумирали, либо разъехались, а живущие теперь в новых домах — что у них спросишь! Лишь два-три чудом сохранившихся старожила открывали мне дверь, скрипя тугими замками и позванивая проржавевшими дверными цепочками, испытующе-недоверчиво вглядывались в мое лицо, выслушивали мои сбивчивые объяснения и, не пуская меня дальше порога, хмуро отвечали на вопросы: да, да, подвальный этаж с окнами на уровне ног... да, да, жили какие-то люди, и среди них эти самые... как же их... «Павловы?» — подсказывал я, и во мне тяжело и глухо ударяло сердце. Тяжело и глухо — ватными, обморочными, тупыми ударами, и это объяснялось тем, что в подвальчике некогда жили бабушка и дедушка, только не эти, а д р у г и е, как называли их в семье. Признаться, я долго не понимал, почему же их так называют и в чем заключается их отличие от э т и х, — не понимал до той поры, пока мать мне не растолковала, что другая бабушка и другой дедушка приходится матерью и отцом моему отцу, а эта бабушка и этот дедушка — ее собственные мать и отец.

— Видишь ли, сыночек, у твоего папы тоже есть папа и мама и у твоей мамы — тоже. Вот и получается, что мама мамы — твоя первая бабушка, а мама папы — вторая.

Так говорила мне мать, вызывая новую путаницу в моих мыслях и заставляя меня с недоумением уточнить:

— Значит, мама мамы — первая, а мама папы — вторая?

Мать терпеливо и снисходительно улыбалась, обнимая меня за плечи и тем самым как бы стараясь не столько образумить, сколько лишний раз приласкать.

— Не важно, кто первый и кто второй, а важно, что у тебя две бабушки и два дедушки.

На этом я вроде бы успокаивался, хотя неразрешенный вопрос о первенстве продолжал меня смутно тревожить, навевая потребность в недоуменных уточнениях: а все-таки кто же? В конце концов я обрел для себя устойчивую опору в том, что с этими я жил, а к другим я ездил. Именно ездил, ездил — в том-то вся и разница! Ездил вместе с отцом, который брал меня с собой по выходным и по праздникам, и это считалось как бы поездкой в гости, с чем я охотно соглашался хотя бы потому, что приходилось ехать д а л е к о: сначала на маленьком юрком автобусике с номером «69», обладавшим тем примечательным свойством, что его можно было перевернуть, получив при этом ту же цифру, а затем на неповоротливом, неуклюжем, дребезжавшем стеклами и скрежетавшем половинками дверей троллейбусе «Б», который отличался той неповторимой особенностью, что это буквенное обозначение маршрута бывало и черным и красным. Черное — значит, длинный маршрут, красное — короткий. Нам же подходил только длинный, и я всегда издали высматривал, какое покажется «Б» — красное или черное. Это было очень важно — какое: настолько важно, что на тот момент, пока я замороженно всматривался в даль, для меня в этом заключался некий смысл моего существования. Ну какое же... ну... ну!.. Красное «Б» представлялось мне не просто буквенным обозначением другого маршрута, а чем-то бесконечно чужим, враждебным, далеким от моих ожиданий — далеким настолько, что с его приближением на меня надвигалось глухое отчаяние, и я чуть ли не плакал от обиды и разочарования. «Красный. Не наш», — произносил я, обреченно вздыхая, засовывая руки глубоко в карманы и мерно — тяжелой и твердой поступью приговоренного — вышагивая вокруг троллейбусной остановки. При этом мне было совершенно ясно, что мое существование не имеет никакого смысла, и я чувствовал шершавое прикосновение ноздреватого, пористого вещества.

Когда же над передним окном выплывающего из-за поворота троллейбуса вместо тревожного красного смутно обозначался черный цвет, я восторженно кричал отцу: «Наш!» — и, не давая выйти пассажирам, бросался на приступ задней двери. Причина такого буйного восторга, конечно же, заключалась не в

том, что мы дождались наконец троллейбуса, на котором могли благополучно добраться до нужного места, а в том, что этот неуклюжий и неповоротливый троллейбус с черным «Б» над передним стеклом действительно был моим, невыразимо совпадавшим со мною и узнаваемым так же, как я узнавал самого себя в зеркале, случайно и неожиданно оказавшемся перед глазами. Вот вроде бы мелькнуло что-то знакомое, что-то странно напоминающее... батюшки, да это же я! Точно так же и в приближавшемся троллейбусе я словно угадывал свои черты, выражение глаз, неуловимую вытянутость лица и округлость подбородка, а главное, в нем таилось нечто, чем я мог жить. Приближение черного «Б» позволяло мне забыть о навязчивом прикосновении и вместо болезненного сознания, что я есть, что я живу, что я существую, на минуту — блаженную минуту штурма задней двери — предаться жизни, существованию, бытию.

В троллейбусе я, разумеется, старался сесть к окну: это было самой важной задачей — захватить место у окна. Самой важной, от которой зависела вся поездка, или, вернее, заложенная в ней экзистенция, осознававшаяся мною как возможность некоего счастья — сбудется или не сбудется? Если местечко у окна окажется свободным — сбудется, а если перед самым носом его займут другие — не сбудется. А не будет возможности счастья, тугого и крепкого, словно пара резиновых калош, не будет и всей поездки: останется лишь скучное покачивание на сиденье и унылые попытки разглядеть хотя бы что-нибудь в окне из-за заслоняющей его фигуры соседа. Такое не раз случалось, когда троллейбус бывал слишком переполнен, мне приходилось держать отца за руку, чтобы меня не вынесло толпой на остановке, и я чувствовал себя, как щепка в водовороте. Но гораздо чаще заветное местечко мне все же доставалось, я нетерпеливо протискивался к окну, задевая чужие колени, и на время поездки прижимался сплюснутым носом к стеклу, затуманывая его своим горячим дыханием.

## 2

Почему оно так гипнотически притягивало и что это было за особое сладострастие — сидеть со сплюснутым носом и из окна троллейбуса замороженно смотреть на улицу? В чем загадка экзистенциального положения ребенка перед окном, заставляющего затаить дыхание, слегка приоткрыть рот и изредка облизывать пересохшие губы, разглядывая дома на противоположной стороне улицы, круглые тумбы с афишами, деревья со спиленными ветками, догоняющие нас троллейбусы и встречные машины? Мне думается, загадка заключается в том, что я, сидевший у влажного, затуманенного окна, смотрел на улицу именно со стороны, откуда-то сбоку, из иного пространства, и это вызывало особое, неведомое и ни с чем не сравнимое чувство, которое я могу определить только как чувство собственной души. Да, да, именно с экзистенцией окна (Окна!) у ребенка связано первое представление о душе, способной отстраниться, взлететь, подняться над миром, покинув свою брентную оболочку, и увидеть этот мир отдельным от себя. Вот и я, сплюснувший свой веснушчатый нос о троллейбусное стекло, видел дома, деревья, троллейбусы и машины такими, какими их могла бы увидеть отлетевшая душа, и моя отдельность, отъединенность, одинокость созерцателя, сжавшегося в горячий комок, казались мне и могуществом и слабостью, и было до слез жалко покидаемого мира, и хотелось вернуться, и не хотелось возвращаться. Что во мне перевешивало — желание или нежелание, — я не знаю, но иногда я гладил рукой стекло, словно дорожа последней близостью предметов, которые мне уже не принадлежали (...деревья, встречные машины), а иногда еще сильнее и обреченнее сжимался в комок, чтобы совсем не соприкасаться с ними и, разорвав связывавшую нас тоненькую ниточку, стать окончательно отдельным, отъединенным и одиноким...

Вскоре троллейбус остановился, я спрыгивал с подножки, и начиналось наше шествие по Брандмейстерскому переулку: отец крепко держал меня за руку, шагая быстрее меня и обгоняя настолько, что мне приходилось вприпрыжку его догонять, а я пытался при этом оттягивать его руку назад, чтобы, догоняя, изловчиться немного отстать и тем самым обрести ту степенность свободы, которая позволяла украдкой нагнуться, поднять с земли ржавую гайку, осколок разбитой бутылки, уголек или кусочек мела. Иными словами, заняться чем-то не совпадающим с сознанием того, что мы идем — торжественно шествуем! — в гости. Чем-то привычным, знакомым и даже скучноватым, поскольку для ребенка, которого ведут в новое место, скука — это совсем не скука, а ожидание, предвкушение и даже мечта. Почему бы и не пошучить (помечтать!), если ему все равно будет интересно и никто не отнимет у него этого чувства, неизбежного и привычного, как ночной сон за деревянной решеткой детской кровати или

утреннее пробуждение на подушке с выбившимся из наволочки пером и пятнышком слюны, упавшей из уголка сонных губ. Вот если бы его никуда не вели и он целый день сидел дома с обвязанным горлом и пил горячее молоко, сдувая к противоположному краю чашки противную желтую пенку, скука была бы наказанием. Интересная же скука похожа на обещанную ложку варенья, которая кажется еще более сладкой, пока банку с вареньем не достали из буфета, не размотали бечевку, стягивающую хрустящий пергамент, и не опустили в нее узкую лопаточку серебряной ложки, предварительно вытерев ее о вышитое льняное полотенце.

Вот и я, скучая, как бы мечтал о том, что меня ждет в подвале: о громко тикающих ходиках с двумя гирьками на цепочке, пыльном фикусе в деревянной кадке, персидской красавице в прозрачных шальварах, вытканной на плюшевом коврикe, мраморных слониках на кружевной дорожке и множестве прочих необычных для меня вещей. Мечтал я также и о встрече с другой бабушкой и другим дедушкой, которые потому-то так шумно радовались мне, что были друзьями, видевшими меня лишь от случая к случаю и не успевавшими ко мне привыкнуть. Радовались, суетились, пихали мне в рот сладости, поочередно гладили по стриженной голове и говорили, какой я хороший и умный и как похож на отца. «Какой хорошенький! Вылитый отец!» — скажет бабушка и погладит меня по голове жестковатой сухонькой ладонью. «Какой умный! Какой серьезный!» — добавит дедушка и тоже неуверенно погладит. Погладит и посмотрит на бабушку, как бы гораздо больше доверяя ее мнению о достоинствах внука, чем своему собственному. Бабушка же, поймав взгляд дедушки, посмотрит на меня и улыбнется, вкладывая в эту улыбку и свою собственную радость, и ту, которую не решился высказать дедушка... Одним словом, мне было о чем мечтать, и хотя я оттягивал руку отца и всячески старался от него приотстать, стояло ему слегка замедлить шаг, и я сам вырывался вперед, тянул его за руку и нетерпением поторапливал — скорее, скорее!

Вскоре за поворотом показывался угол обшитого в елочку дома, покосившиеся деревянные ворота на кирпичных столбах, заросший лопухами двор, дровяные сараи, поставленное на две табуретки корыто и бельевая веревка на шестах, раскачивающихся от ветра. Я подбегал к оконной яме, садился перед ней на корточки и, просунув руку между прутьев решетки, накрывавшей ее сверху, стучал в стекло: «Бабушка, это мы!» И за стеклом что-то двигалось, что-то мелькало, и я уже мог представить, какой там сейчас переполох: бабушка всплеснула руками, засуетилась, стала разглаживать морщинки на скатерти, поправлять салфеточки на комодe, а дедушка, лежавший на диване, торопливо свесил ноги и сунул их в валенки. «Ну, вот и приехали», — наверняка говорил он, как бы считая своим долгом вслух произнести то, о чем она в хлопотах успевала только подумать. «Да, да», — рассеянно соглашалась она и, забыв о том, что салфеточка на комодe уже поправлена, поправляла ее снова.

Оповестив о своем прибытии, я опростельно мчался к дверям подъезда, накрытым ржавым козырьком, сбегал по ступеням вниз, привычно подсчитывая их и убеждаясь, что их ровно двадцать — не больше и не меньше, — распахивал двери сумрачной коммунальной квартиры, пронесился по коридору, а там в дверях комнаты (последних по счету) уже стояла бабушка, слегка подавшись вперед и расставив руки, чтобы меня обнять и поцеловать в макушку. Поцеловав меня, она так же целовала отца, обнимая его за плечи и шутивыми тычками в спину заставляя чуть-чуть нагнуться, а я смотрел на них и всегда удивлялся, что так же и что мой отец для кого-то — сын, что мы с ним оба сыновья и нас обоих обнимают и целуют. Это странным образом меняло мой обычный взгляд на отца, и мне на минуту приоткрывалось в нем то, что как бы возникло из того времени, когда меня еще не было, а мой отец был таким, как я, был моим посланником в этом мире, глашатаем и провозвестником моего будущего появления в нем. Это загадочное другое время — время моего небытия (уже моего, но еще небытия) — существовало там, где я родился, — на Малой Ржевской улице, в двухэтажном деревянном доме, прилепившемся к серой каменной стене, но оно существовало и здесь, в Брандмейстерском переулке, где жили бабушка и дедушка, и его тайна принадлежала этому дому, обшитому в елочку досками, этим спускающимся в подвал ступеням и этим дверям, за которыми меня любили и ждали.

— Ну наконец-то! Где же вы так долго? Второй раз обед на плитку ставлю, — говорит бабушка, как бы упрекая нас за опоздание, хотя на самом деле мы ни в чем не виноваты и недоразумение заключается в том, что не столько мы опоздали, сколько она сама не утерпела и начала нас ждать гораздо раньше назначенного часа.

Бабушка режет хлеб на фанерной доске, сгребая в горсточку крошки, разливает по тарелкам борщ с оранжевыми кружками моркови, красными

кубиками свеклы и круглой сизой луковицей, вечно попадающей из половника в тарелку, затем приносит сковородку с жареной картошкой, а затем наливает нам густой иссиня-черный смородинный кисель, который змеиными кольцами свивается на дне чашки, и на этом обед заканчивается, хотя все по-прежнему сидят за столом, и тут наступает такой неуловимый момент, когда всем нам как будто становится не о чем говорить и нечего делать. Ну совершенно нечего — в том-то и неуловимая суть момента, и вот мы сидим, как бы заранее зная, что через минуту поднимемся и каждый займется своим делом, но никто не поднимается, дорожа именно этим моментом. И я тоже не поднимаюсь, потому что тоже дорожу. И отец и дедушка — тоже. И даже бабушка не поднимается и дорожит, хотя ей давно пора убирать со стола и мыть посуду. И вот я думаю: что же это был за момент? И что же с нами происходило, пока мы ни о чем не говорили и ничего не делали? А происходило только одно — жизнь, и это был счастливый момент жизни, как бы очищенный от слов и поступков. Да, да, именно очищенный, будто от скорлупы; такие моменты бывают очень редко, и этот момент — был. Был, был — я это точно помню, и его неуловимая суть заключалась в том, что все мы, сидевшие за столом, видели жизнь не ступившей до плотного ноздревато-серого вещества (вроде пемзы), а наоборот — рассеявшейся по ветру, как голубоватый пух одуванчиков. Легкие голубоватые пушинки — тогда-то я их и увидел и с тех пор словно бы гонюсь за ними и пытаюсь поймать. Пытаюсь поймать, а они ускользают: не это ли называется счастьем?..

## 3

Как и все обитатели подвального этажа, бабушка тоже считала, что она живет не в подвале, а в центре, рядом с правительственными зданиями и памятником вождю, и это составляло предмет ее особой гордости, с трудом поддающейся определению, поскольку бабушка одновременно и гордилась и как бы боялась не гордиться, словно отсутствие гордости лишало ее спасительного чувства смещения реальности, возникающего при глубоком сне, и превращало в спящего, который хотя и спит, но при этом трезво сознает себя спящим. Самым краешком сознания, но — сознает, и это в конце концов приводит его к беспощадной мысли, что он не спит. Хочет заснуть, но не спит, а только ворочается с боку на бок, натягивает на голову одеяло, старается покрепче обнять подушку — и ничего не помогает. Ворочается, натягивает, старается покрепче обнять — и ничего! Ничего, хоть смейся, хоть плачь, — поистине экзистенциальное чувство! Вот так же и бабушка покорно гордилась вместе со всеми, что страна ее широка, много в ней лесов и полей и она проходит как хозяйка, наедине же крестилась, протяжно вздыхала и робко сетовала: конечно же, она хозяйка и все прочее, но сегодня ей снова пришлось вытаскивать из оконной ямы дохлую крысу и закапывать во дворе. К тому же от сырости у нее вечно ноет поясница, а из-за низких потолков она привыкла так сутулиться, что скоро превратится в горбунью. Так робко сетовала бабушка — сетовала, вздыхала, покачивала головой и сама утешала себя тем, что раньше было еще хуже, а сегодня не в счет... сегодня уж как-нибудь... зато в будущем для всех хозяев страны наступит счастливая и радостная жизнь.

Надежды эти так и не оправдались, и бабушка умерла в том же подвале, ушедшем в землю, как и ее прожитая жизнь. Умерла сразу, без долгих мучений — заснула и не проснулась. Вроде бы даже ничем не болела — только поясницей маялась, а вот не проснулась однажды, и все тут: словно не захотела. Каждое утро просыпалась, надевала одну и ту же ситцевую юбку и старую шерстяную кофту с разными пуговицами, застилала клетчатым покрывалом железную кровать с никелированными шариками, крестилась перед тусклой иконой в простом окладе, выгребала из печки золу, засовывала поленья и чиркала спичкой — каждое утро, а вот однажды не захотела и сказала себе: хватит! И это оказалась смерть, которая только и поджидала, когда же она остановится, когда она уймется, двужилная старуха! Иначе с ней и не сладишь как только во сне — так и будет сковородами греметь до скончания веков! Одним словом, однажды утром бабушки не стало, и соседские старушки завидовали ее легкой смерти. «Несчастливая так умучилась при жизни, что Господь избавил ее от смертных мук», — повторяли они, и мои родители молча соглашались с этим: да, умучилась, и Господь избавил. И я тоже повторял это про себя, хотя в ту пору еще не читал четырех Евангелий и поэтому толком не ведал, кто такой Господь и как Он избавляет от мук. Но лицо бабушки, лежавшей в маленьком, опрятном, аккуратном убранном гробу, было отрешенным и спокойным — настолько спокойным,

что я не сразу и узнал бабушку, когда меня подвели к ней. Подвели и мягким шепотом, наклоняясь к самому моему уху и глядя меня по голове, стали уговаривать ее поцеловать на прощание, а я уже не узнал и поэтому испугался. Испугался, не захотел и заплакал, отталкивая протянутые ко мне руки.

— Что же ты плачешь? Это же твоя бабушка! Ты ее больше никогда не увидишь! — сказала мать, не решаясь снова протянуть ко мне руку, пока произнесенные с укором слова не вернут ей мое утраченное доверие. — Никогда-никогда! Ты понял?

— Это не бабушка! Это не бабушка! — упрямо повторял я, потому что бабушку я никогда так о й не видел.

Такой иссохшей и желтой — словно ее натерли воском. Такой тяжелой, грузной и как бы одеревеневшей — наподобие дубового гроба. Такой спокойной, величественной и даже надменной — будто она единственная среди нас была взрослой, а все остальные — детьми, на которых она взирала со снисхождением. Детьми беспечными, нерадивыми и непонятливыми, которым ничего не объяснишь. Зато сама она п о н и м а л а, и в этом, собственно, заключалось отличие ее, умершей, от нас, живых, ее, неподвижно лежавшей в гробу, от нас, без конца сновавших вокруг, что-то приносивших, ставивших, сдвигавших и вновь уносивших. Да, да, п о н и м а л а нечто таинственное, страшное и полное необъяснимого блаженства, доступного ей и недоступного нам, и это понимание поглощало ее целиком, отнимая способность двигаться, слышать, смотреть и говорить...

Дубовый, обитый черной материей гроб с телом бабушки подняли по ступеням подвала, вынесли во двор и погрузили в автобус. Погрузили через специальный люк в задней стенке — так, чтобы гроб стоял на полу, а все провожающие сидели вокруг него. Сидели молча, со скорбными и значительными лицами — как провожающие в последний путь. Именно такие лица были у моих родителей, которые поехали на кладбище вместе со всеми, а меня оставили с родственниками, накрывавшими столы для поминок. Оставили, и я словно потерял своих родителей: я, один, вдруг потерял их, словно объединившихся — и слившихся — со всеми. Не то чтобы они обо мне забыли, но они именно принадлежали всем, в то время как я оставался один в подвале и никто меня не замечал. Родственники застлали скатертью сдвинутые столы, расставляли вокруг стулья и скамейки, принесенные от соседей, и там, где не хватало скамеек, на два крайних стула укладывали доску. Укладывали и пробовали сесть — удобно ли, не упадет ли. И убедившись, что не упадет, доставали с полок буфета тарелки с одинаковой голубой каймой, а из ящичков — простые алюминиевые ложки, вилки со сломанными зубьями и шершавые ножи.

Я же сидел, забившись в угол продавленного дивана с завалившейся спинкой, и — смотрел. Но смотрел не на родственников, накрывавших на стол, а в узенькое и подслеповатое окно подвала, которое выходило на улицу и в котором мелькали ноги редких прохожих, полوزья санок (бабушка умерла в конце зимы) и колеса детских колясок. Да, да, мелькали, а я смотрел, смотрел и вдруг п о н я л то же самое, что понимала лежавшая в гробу бабушка. Взгляд из подвального окна — снизу вверх — вселил в меня чувство, которое я не могу определить иначе как чувство смерти. До этого я лишь знал, что люди умирают, но это происходило как бы вдали от меня, за перегородкой, за плотно прикрытой дверью, и не касалось моего сознания. И вот впервые я осознал и почувствовал. Бабушку давно унесли, и на полу лишь краснели лепестки сухих искусственных цветов и валялись обломанные еловые ветки, а я почувствовал, почувствовал, и даже не с этой, а откуда-то с т о й стороны. Это было не чувство испуга, ужаса и отчаяния, а чувство некоей догадки: я смотрел в подвальное окно так же, как смотрел бы из-под земли на покинутый мною мир. Смотрел бы, уже з н а я, что со мною совершилось то, быть может, самое потрясающее, величественное и непостижимое событие, которое люди лишь по неведению называют смертью. И мне, конечно же, хотелось постигнуть загадочную экзистенцию этого события, догадаться о нем до конца, примерить к себе так же, как я тайком примерял пиджаки отца и лакированные туфли матери. И я постигал, догадывался и старательно примерял — вот почему взрослые вскоре заметили мою склонность к странной игре.

— Что это еще за выдумки? — спрашивали они, когда я ложился на диван, обкладывался подушками и накрывался клетчатым покрывалом бабушки. — Во что это ты играешь?

— В могилку, — отвечал я, не подозревая, что простота и убедительность моего ответа заставят их с еще большей настойчивостью не соглашаться со мной.

— В могилку?! Какая неинтересная игра! Кто тебя научил в нее играть?! — Прежде чем объявить виноватым меня, они как бы искали тех, на кого можно было бы возложить и мою и часть своей собственной вины.



— Никто не научил. Я сам. — Гордясь своей самостоятельностью, я отчасти старался обнаружить ее перед взрослыми, но отчасти и прятал ее, потому что в их вопросах мне слышались скрытый подвох и угроза.

— Ах, ты сам! Ну что же, ты у нас большой выдумщик! Только мы тебя очень просим больше не играть в эту игру. — Еще не предвидя моего упрямого сопротивления, они сопровождали свое требование мягкой улыбкой.

— Почему не играть? — Я не столько стремился уяснить для себя смысл их требования, сколько отказывался ему подчиниться.

— Потому что эта игра очень плохая и совсем неинтересная. — Они же не столько разъясняли, сколько требовали подчинения.

— Нет, интересная! — Зная наперед, что они заставят меня согласиться с ними, я пользовался правом капризного ребенка на временную отсрочку.

— Зачем ты споришь? Мы же хотим тебе добра! Дело в том, что мальчики, которые играют в эту игру, сами могут умереть!

Они участливо склонялись надо мною и вздыхали, как бы показывая, что в том случае, если их предостережение на меня не подействует, они уже ничем не сумеют мне помочь.

— Умереть?! И я тоже?!

Чувство той самой догадки, которое владело мною раньше, постепенно сменялось чувством испуга, ужаса и отчаяния.

— Да, мой мальчик. Поэтому никогда-никогда не играй в эту игру. Обещаешь?

Вместо ответа я бросался в объятия матери и замирал у нее на груди, испытывая обморочный и блаженный восторг от мысли, что по случайной случайности я не умер, я есть, я существую — дышу, смотрю, двигаю руками и ногами, и у меня есть мать и отец, столь горячо любимые мною, и есть сваленные в фанерный ящик любимые игрушки, в которые я буду теперь играть, отказавшись от плохой, неинтересной и страшной игры.

## 4

После смерти бабушки, похорон и поминок у нас в доме стали чаще вспоминать о дедушке, который остался совсем один и которого всем было очень жалко и о котором все спрашивали, как бы опережая друг друга в выражении беспокойства, озабоченности и сочувствия: «Ну, как он там? Почему-то долго не звонит — уж не заболел ли? Тяжело ему теперь — все-таки столько лет вместе!» Слыша эти озабоченные вопросы и видя на лицах выражения сочувствия и жалости, относившиеся к дедушке, я тоже жалел его, хотя и не до конца понимал, почему его теперь следует жалеть, если сам он не умер, он е с т ь, в то время как бабушка умерла и ее уже н е т. Нет нигде, где бы мы ее ни искали — в подвальной комнатке с громко тикающими ходиками и мраморными слониками на кружевной дорожке, в заросшем лопухами дворе, где она развешивает на веревках белье, или перед лестницей в погреб, куда она собирается спуститься за квашеной капустой и солеными рыжиками. Нет и никогда не будет, хотя совсем недавно она была — в комнатке, во дворе, перед погребом. Была — и нет: это казалось самой веской причиной для жалости к умершему, но затем мне стало ясно, что живой бывает еще более достоин жалости, чем умерший, и именно это случилось с несчастным дедушкой, который... которого... о котором... Иными словами, он был, но его пребывание там, где не было бабушки, как бы уравнивало его с ней и даже ухудшало его положение, отчего он и повторял с протяжным вздохом: «Наверное, и мне уже пора». Эту фразу часто повторяли взрослые, заговаривая на привычную тему, и она служила испытанным доказательством, что дедушку нельзя оставлять одного в пустой квартире и надо взять его на время к себе. «Пускай поживет с нами», — говорила мать, как бы догадываясь, что отцу мешает сказать то же самое лишь невысказанное желание, чтобы она сказала это первой. «Конечно, пускай», — охотно подтверждал отец, которому всегда было легче согласиться с матерью, чем убедить ее в собственной правоте.

И вот однажды они стали передвигать диван и стулья, освобождая дальний угол комнаты, подметать пол, обтирать тряпочкой пыльные ручки кресел, менять кружевные салфеточки на буфете, и тут я понял, что другой дедушка будет жить здесь. Другой — и здесь: меня это так поразило, что я убежал в соседнюю комнату, спрятался между стеной и шкафом и надолго замер от охватившего меня странного недоумения, с которым я никак не мог справиться. Я настойчиво спрашивал себя, как же это могло получиться, что другой дедушка будет жить здесь, на нашей улице, в нашем доме и в наших комнатах, если я привык, что он живет т а м, далеко от нас, в Брандмейстерском переулке, куда нужно ехать на троллейбусе «Б», и то не на любом, а только на черном! На то он и другой,

чтобы жить там, и потому-то я и люблю его, что он появляется лишь в комнатах подвала с низкими потолками, обитой дерматином дверью и окнами на уровне ног. Если же дедушка появится здесь, то привычный и успокоительный для моего сознания порядок вещей сразу же нарушится, и я буду не любить его, а бояться. Именно бояться, потому что из другого он сразу станет чужим. Чужим и страшным, словно бородатый старьевщик с заплатанным холщовым мешком, постучавшийся в двери нашего дома. И я, конечно же, не брошусь ему на шею, а опротясь убегу и спрячусь — вот так же, как сейчас, и уже никто не заставит меня выйти из-за шкафа, поздороваться и поцеловать дедушку. «Коленька, Коленька, посмотри, кто приехал!» — а я в ответ замру, стисну зубы и еще сильнее прижмусь к пыльной стенке шкафа.

Именно так я представлял себе приезд другого дедушки, и когда он действительно приехал, простучал палкой по коридору и на негнувшихся, прямых ногах вошел в дверь, заботливо поддерживаемый под руки матерью и отцом, я отвернулся, враждебно нахмурился и покраснел — то ли от обиды на взрослых, то ли от смутно осознаваемого стыда за свою обиду. Все-таки дедушка, с палкой, и ноги почти не гнутся, а я тут на него обижаюсь, как бы говорил мне стыд, обжигая кончики ушей, выступая пятнышками на лбу и разливаясь вишневой краской по щекам. А зачем он вздумал здесь поселиться, ведь я же его не звал! — как бы нашептывала обида, и я с еще более непримиримой враждебностью отворачивался, хмурился и краснел.

«Коленька, Коленька, посмотри!..» — хотела было воскликнуть мать, но, заметив выражение моего лица, запнулась на полуслове, негодуя всплеснула руками и произнесла совсем иную фразу:

— Что это у нас за хмурая туча! Отвернулся и ни на кого не смотрит! А ну-ка поздоровайся с дедушкой!

Она развернула меня за плечи и заставила поднять голову, чтобы мне невольно — хотя бы из вежливости — пришлось улыбнуться дедушке.

— Здравствуйте, — выдавил из себя я, растягивая губы в натужной улыбке.

— Здравствуйте, здравствуйте, — ответил он, не называя меня по имени, и я почувствовал, как он смутился оттого, что я неожиданно назвал его на «вы».

После завершившейся церемонии приветствий, поцелуев и объятий мать, отец и остальные домашние усадили дедушку в самом центре большого дивана, подложив ему под спину вышитую подушку и подкатив под локоть круглый тугой валик, а сами устроились рядом на краешке, как бы подчеркивая этим, что дедушке надо отдохнуть с дороги — он, конечно же, очень устал, им же отдыхать совершенно некогда, и хотя они тоже устали, впереди еще столько хлопот, и главная из них — позаботиться о дедушке, накормить его обедом и напоить чаем. Поэтому через минуту домашние дружно поднялись с дивана и, как бы не желая мешать своим присутствием дедушке, тихонько удалились, исчезли, разбрелись по разным углам, а рядом с дедушкой остался один отец, главная задача которого как раз и заключалась в том, чтобы присутствовать. Он справлялся со своей задачей весьма достойно и, присутствуя рядом с дедушкой, то и дело поправлял ему подушку, уминал под его локтем тугой неподатливый валик, предупредительно улыбался и покачивал головой как бы в знак того, что понимает даже невысказанные просьбы и желания дедушки и готов их сейчас же выполнить, стоит ему обозначить их взглядом, жестом или произвольным вздохом. Но дедушка тоже сидел молча и, чувствуя себя присутствующим по отношению к отцу, не рещался позволить себе ни лишнего взгляда, ни лишнего жеста, ни лишнего вздоха и только от смущения поглаживал морщинистыми руками колени, слегка раскачивался из стороны в сторону и робко покашливал.

Я в это время безучастно склонялся над фанерным ящиком, доставая из него те игрушки, которые можно было завести ключом и устроить побольше шума, — мне хотелось всем доказать, будто я занят только игрой и не обращаю никакого внимания на дедушку. Ровным счетом никакого; даже не смотрю на него. Не смотрю и не слышу его робких покашливаний, как будто дедушки вовсе и нет в комнате. Так я убеждал сам себя, и хотя мне казалось, что я не смотрю и не слышу, в действительности я и слышал и смотрел, и все мое внимание неким причудливым образом было устремлено на дедушку, которого я оцениваю сопоставляя с собой и старался втайне соизмерить с окружавшими его людьми и вещами — сидевшим рядом отцом, большим диваном, белой изразцовой печкой, оранжевым абажуром, красными цветами на подоконнике. Соизмерить и при этом выяснить — совпадает или не совпадает. Если совпадает, то, значит, это хотя и другой, но все-таки д е д у ш к а, и после первых минут настороженного и враждебного недоверия можно ему осторожно поверить, улыбнуться и протянуть руку. Если же не совпадает, то от недоверия уже никак не избавиться,

оно надолго останется в душе, и его оттуда ничем не вытащить — ни зацепить, ни поддеть, как не поймать соломинкой льдинку, плавающую в стакане с водой.

И вот я втайне старался — соизмерял, словно подбрасывая на чаши весов чугунные гирьки и добиваясь устойчивого равновесия: да или нет? Дедушка неловко откинулся на подушки дивана, с трудом забросил ногу на ногу и погладил рукою упругий валик — да; встал и, шаркая ногами по полу, подошел к холодной печке — нет. Включил бледный свет в комнате и потрогал бахрому абажура — снова да; отодвинул ситцевую занавеску в окне, чтобы выглянуть на улицу, — опять нет. И чем упорнее я соизмерял, тем сильнее раскачивались чаши весов и не наступало — не наступало! — упрямое равновесие. В конце концов я был вынужден признать: не совпадает, — и, вместо того чтобы протянуть руку дедушке и, как обычно, назвать его на «ты» («Здравствуй, дедушка!»), еще азартнее занялся игрушками, мучительно преодолевая свою безучастность и словно в отместку самому себе делая то, чего мне совершенно не хотелось делать. Я методично извлекал игрушки из ящика, ставил перед собой на пол, садистически-старательно заводил ключом, и они жужжали, скрипели, издавали назойливый треск, а я натянуто улыбался, словно нарочно показывая всем, как мне это нравится, и, безнадежно уверенный в собственной выдержке, с нетерпением ждал, когда же взрослые не выдержат и скажут: «Хватит! Прекрати сейчас же! Ты всем надоел со своими игрушками!»

Но вопреки моим ожиданиям взрослые ничего не говорили, как будто соревнуясь со мной в безнадежной выдержке, и если я исподволь обращал на них внимание, то они никакого внимания на меня не обращали — не видели и не слышали, словно именно меня не было в комнате. Не другого дедушки, приехавшего из далекого Брандмейстерского переулка, а меня, их единственного, самого близкого и дорогого. В этом-то и заключалась обидная, несправедливость: другой для них был, а меня не было! Не было, не было — как ни старался я заявить о своем присутствии! И вот тут-то меня впервые коснулся страх одиночества — необъяснимый детский страх, осознаваемый как боязнь остаться одному со своими игрушками, и недоверчивая враждебность к дедушке стала холодной и скользкой, словно плавающая в воде льдинка.

Короче, жизнь снова явилась мне в ядовито-зеленых отсветах, и под подушечками пальцев обозначилось пористое вещество. Этот ядовито-зеленый свет назойливо проникал сквозь веки и раздражающе слепил глаза, словно не позволяя заснуть именно в тот момент, когда больше всего хочется спать, — так назойливо и так раздражающе, что я внезапно заплакал, бросил игрушки и убежал в соседнюю комнату. Там я уперся лбом в стену, обклеенную желтыми обоями, несколько раз протяжно и шумно вслипнул, затем на мгновение затих, словно сосредоточившись на неожиданно возникшей мысли, жадно облизал соленые от слез губы и решил, что отныне я буду злым. Да, да, иного выхода у меня теперь нет — быть злым и делать только плохое. Воровать сахар из пузатой сахарницы, дразнить беременную кошку, дремлющую на старом сундуке, тайком зажигать спички, любуясь синеватым пламенем, виснуть и кататься на двери, обхватив ее коленями и крепко ухватившись за дверную ручку. А что еще остается человеку, который живет в этих комнатах, но которого для всех словно бы и нет, в то время как незваный пришелец, явившийся сюда из другого, неведомого мне мира, не просто есть, а как бы есть в д о й н е, поскольку ради него все хлопочут, спешат накормить его обедом и напоить сладким чаем!

Одним словом, решено: только зло излечит меня от обиды. И едва лишь я принял это решение, как со мною произошло нечто странное, постыдное и нелепое — в экзистенциальном смысле именуемое скандалом. Я до сих пор помню, как мать позвала меня в другую комнату, вручила мне тарелку с горячим куриным бульоном, приготовленным для дедушки, и сказала с повелительными нотками в голосе: «Подержи, пожалуйста. Мне надо смахнуть со стола». Я, разумеется, подчинился, бережно взял тарелку, склонившись над ней как над величайшей драгоценностью, и вот тут-то... произошло! То ли после долгого плача рот у меня был полон слюны, то ли запах горячего бульона раздражил мои слюнные железы, но я неосторожно приоткрыл рот, произвел судорожное и запоздалое глотательное движение, и — уж не знаю, со зла или не со зла, — длинная капля слюны упала в тарелку. Упала на глазах матери, отца и сидящего на диване дедушки, который своим отсутствующим видом хотел было показать, будто ничего не заметил, но сам же разоблачил себя тем, что смутился и покраснел еще больше меня — виновника всего случившегося.

— Так... — после долгого молчания всех домашних первой сказала мать, как бы почувствовав, что именно ей дано на это право. — Подойди-ка поближе. Сознаться, ты сделал это нарочно?

Она посмотрела на меня холодно и строго, как обязывало положение обвинителя, находящегося на таком близком расстоянии от обвиняемого. Я молчал, прижимая к груди злосчастную тарелку и от боязни совершить еще одно неверное движение не решаясь поставить ее на стол.

— Отвечай — нарочно?! — Мать намеренно не предпринимала попыток забрать у меня опасно накренившуюся тарелку, словно тем самым желая ускорить мое признание.

Я снова ничего не ответил, беспомощно глядя то на мать, то на тарелку.

— Только очень злой мальчик мог плюнуть в тарелку своему родному дедушке! Неужели ты у нас такой злока? — Мать обернулась к остальным домашним, как бы приглашая их в свидетели этого вопроса и заранее убеждая в том, что и теперь на него не последует вразумительного ответа.

— Я не злой, — прошептал я, как бы защищаясь от обвинений тем, что поступал вопреки ожиданиям людей, не скрывавших уверенности в моей вине.

— Ах вот оно что! Злым ты казаться не желаешь, а в тарелку плюешь! — Присутствие обиженного мною дедушки и остальных домашних вынуждало мать добиваться того, чтобы я оправдался не по одному, а сразу по всем пунктам.

— Простите, я не нарочно, — еще более тихим шепотом произнес я, и ядовито-зеленый свет, проникавший сквозь веки, сразу исчез, и над лицами окружающих меня домашних вдруг обозначилось голубое сияние.

## 5

В доставшемся мне по наследству семейном архиве среди наклеенных на толстый картон фотографий, вложенных в надушенные конверты писем, пожелтевших газетных вырезок и множества всяких ненужных бумаг сохранилась тетрадошка — не то чтобы какая-то особенная, в сафьяновом переплете, с золотистым обрезом и краплеными розоватыми страницами, нет, скорее так себе, обыкновенная, ученическая, в коленкоровой обложке, исписанная выцветшими от времени фиолетовыми чернилами. Не знаю, кому принадлежала тетрадошка, каково происхождение записей и кто, так сказать, их подлинный автор: сколько я ни расспрашивал домашних, они лишь неопределенно пожимали плечами и строили самые невероятные предположения, обоснованные лишь одним желанием хотя бы что-нибудь произнести по этому поводу. Наверное, писал такой-то... а может быть, такой-то... а может быть... Мне приходится довольствоваться этими сбивчивыми предположениями, потому что единственного человека, способного ответить на мой вопрос, давно уже нет в живых, а, как ни крути, иметь ошибочную версию все-таки лучше, чем не иметь никакой. Особенно если мы пользуемся экзистенциальным методом. Тут и ошибочка иной раз оказывается верней самого правильного ответа, и случайно сорвавшаяся с языка оговорка точнее попадает в цель, чем тщательно выстроенная фраза. Собственно говоря, мы и пишем роман оговорок, проговариваний, случайных обмолвок, из которых и сплетается таинственная материя, именуемая нами жизнью. Поэтому не будем гнущаться невероятными предположениями: такой-то... такой-то... а может, такая-то... Не будем, не будем, знаете ли, и лучше уж разом примем все версии и вообразим, что не один, а несколько самых разных людей заполняли убористым почерком эту тетрадошку. Скажем, сначала Иван Иваныч, затем Иван Петрович, затем Иван Васильевич... Тем более что и почерк временами меняется, и в подборе слов заметно разнообразие, позволяющее говорить о различных стилях изложения. Короче, несколько... и не только заполняли тетрадошку, но и писали мой роман, хотя позволю себе заметить, что я имею все основания считаться его автором. Я — автор, но ко мне словно бы добавлен кто иной, живущий в моем обличье сейчас или живший раньше, точно так же как и к каждому из моих героев добавлено нечто, таинственно прожитое другими людьми и лишь случайно (на короткое время повествования) совпавшее с их жизнью.

Теперь становится понятно и происхождение самой тетрадошки, и экзистенциальный смысл встречающихся в ней выцветших и полустертых записей — экзистенциальный потому, что они имеют прямое отношение к жизни того единственного человека, который мог бы ответить и которого я не успел расспросить, — другого дедушки. Все дело в том, что дедушку, особенно в последние годы, преследовало странное и необъяснимое для окружающих желание — записать свою жизнь, а поскольку сам он был не слишком грамотен и пером владел отчаянно плохо, то он и просил самых разных людей записывать его рассказы. Ивана Иваныча, Ивана Петровича, Ивана Васильевича — самых разных... Так, собственно, и появилась ученическая тетрадошка, сначала хранив-

шаяся у дедушки в сундуке, а затем доставшая мне по наследству. Признаться, я долго ее не раскрывал. Причина этого заключалась вовсе не в том, что мне не было интересно... и не хотелось прочесть... Нет, нет, и было и хотелось, но как бы это выразиться... с детства привыкнув к тому, что у меня есть дедушка, я не мог приучить себя к мысли, что у дедушки есть история. Детское сознание всегда противится истории, ему враждебна строгая последовательность событий, и оно стремится пережить их разом как некий миф. Вот и другой дедушка был для меня таким ветхозаветным мифом, облаченным в стоптанные и залатанные валенки, подпоясанным простым солдатским ремнем и окутанным едким табачным дымом. Но тут выяснилось, что дедушка-то, оказывается, не просто был, а сначала родился у себя в деревне, долго бегал босиком по двору, лазил через плетень, обдирая голый живот об острые колья, собирал в лесу грибы и малину, купался в маленькой тихой речке с камышовыми заводьями, а затем вырос, окреп, возмужал, стал помогать отцу по хозяйству, пасти коров и торговать картошкой на рынке, затем женился и получил от отца половину дома, затем — когда вот так же вырос, окреп и женился младший брат — уступил ему свою половину, а сам поставил новый дом на краю деревни и переселился туда с женой и детьми.

Славный вышел дом — просторный, светлый, с затейливыми наличниками и резным крыльчком. И зажил в нем дедушка на славу — спокойно и счастливо, как сказано в одной из записей, помещенных в тетрадке, а на соседней странице даже добавлено: и с достатком. Одним словом, в жизни другого дедушки обозначилось то самое былинное, эпическое, родовое, чего нам так не доставало в жизни этого дедушки. Обозначилось, но сразу же и исчезло, поскольку старая жизнь сменилась новой, а новая принесла новые порядки, удивительные тем, что они избавили людей и от бедности и от достатка одновременно. Поэтому просторным домом дедушки уже никто не любовался, а затейливые наличники и резное крыльцо стали не столько радовать, сколько колоть глаза. Об этом тоже говорится в тетрадке, но мы не будем спешить переверачивать страницу и постараемся остановить тот миг, пока еще не исчезло, не рассеялось, не кануло в вечность, и сам дедушка, расхаживающий по крыльцу своего дома, был похож на эпос, былинку, родовую сагу. Постараемся — а ну как получится, а ну как повезет — и, засунув руку в дупло, зачерпнем пригоршню душистого клейкого меда! И вот мы читаем в заветной тетради, как дедушка впервые встретил бабушку, которая понуро сидела на передке телеги, грохотавшей колесами по замерзшей — была ранняя осень, но с утра подморозило — проселочной дороге. Дедушка же сидел на задках другой телеги, тоже всюю грохотавшей и подскакивавшей на колдобинах, и поскольку телега дедушки была нагружена не доверху, то и мчалась она быстрее, а тут еще и его отец, державший вожжи, гикнул, свистнул, весело прищелкнул языком: «Н-но, милые! Но-но, залетные!» — и уж, конечно, лошади понеслись, и вторая телега на повороте обогнала первую, и дедушка со своих задков увидел бабушку, сидевшую на передке.

Судя по записям, сделанным насчет на страницах тетради, бабушка была в новом платке, высоких зашнурованных ботинках и длинной юбке с кружевными оборками, а дедушка — в новом картузе, из-под которого выбивался рыжеватый чуб, подпоясанной ремешком алой косоворотке и заправленных в сапоги брюках. Ни дать ни взять — кавалер с картинки, да и бабушка — красавица хоть куда, и вот он ее увидел. Увидел и запомнил на всю жизнь, и поскольку в любом эпосе всегда участвует судьба, то и дедушке с бабушкой суждено было встретиться на ярмарке, куда они оба и ехали продать поросят, гусей и прочую живность, а на вырученные деньги обзавестись кое-какой хозяйственной утварью — хомутами, подпругами, седлами, дышлами, — купить сластей и подарков для всей семьи. Ну и, как водится, обзавелись, купили — выполнили все просьбы, указы и поручения, и по этому случаю их отцы заглянули в трактир, чтобы пропустить по стаканчику рябиновой, по стаканчику лимонной, по стаканчику анисовой и закусить насаженным на вилку скользким соленым грибом, ломтиком балыка с лимоном, куском холодного поросенка с розовым хреном, а затем основательно пообедать стерляжьей ухой, расстегаем, гурьевской кашей и жареными мозгами. Сами же они, посидев для приличия с батюшкой и отведав немного закусок, отправились гулять по ярмарке, и каждый независимо от другого купил себе печатный тульский пряник (первое совпадение), и они оба долго смотрели на привязанного к цепи медведя, кувыркавшегося на потеху публике (второе совпадение), а затем нарумяненный зазывала на длинных ходулях увлек их под шатер бродячего цирка (третье совпадение), и вот тут-то они оказались рядом, на одной скамье — разумеется, сразу же узнали друг друга и, сличив два одинаковых пряника в своих руках, поняли, что проживут вместе целую жизнь.

Так говорится в тетрадке, доставшей мне по наследству от дедушки и словно бы сохранившей отсветы его жизни — едва мерцающие, будто

фитилек свечи в расплавленном воске. Да, да, другого дедушки давно уже нет на свете, и только фитилек все никак не погаснет, мерцая в темноте прощальной голубой искоркой, и я бережно подношу ладонь, чтобы защитить ее от ветра. Прощальная искорка в моей ладони — прожитая жизнь дедушки, и я снова листаю страницы, снова вчитываюсь в полустертые записи и разбираю неразборчивые почерки. Ну что там еще, в этой тетрадошке? И вот мне встречается рассказ о том, как дедушка и бабушка крестили первого ребенка — моего будущего отца, и молодой длиннорукий священник с редкой бородкой и румяным нежным лицом окунал его в купель и читал над ним молитвы, и перед алтарем сухо потрескивали свечи, тускло сияли лампы, светлый лик Богородицы таинственно проступал на потемневших досках икон, вставленных в золоченые оклады, и нечто невыразимо церковное невидимым движением обозначалось в воздухе, будто бы выдавая присутствие того, что скрывалось под словом «Бог». После купели ребенка завернули в пеленку и укутали одеяльцем, и мать прижала его к груди и поцеловала в лоб, и ребенок сначала заплакал, а потом успокоился, затих и присмирел, словно и его коснулось невидимое движение воздуха, отозвавшееся в душе чем-то знакомым, узанным еще до рождения.

Укутанного в одеяльце, его унесли домой, и, конечно же, на крестины был накрыт стол, и выставлено угощение, и приглашены гости со всей деревни, и молодой длиннорукий священник усажен во главе стола, и налито вино, и подняты рюмки, и произнесены подобающие случаю здравицы — одним словом, как это и бывает в жизни, еще не потерявшей того первоначального, былинного, эпического, что обрывается с руки тяжелыми медовыми каплями. Не потерявшей, не утраченной — потому и вино пьянит, и рюмки сталкиваются со звоном, и дедушка распахивает гармонь, роняя чуб на перламутровые пуговицы клавишей, и голоса подхватывают: «Когда б имел златые горы...» — и кажется, что сбудутся все здравицы, все посулы и все пожелания и собравшихся за столом ожидают в жизни покой и счастье. Счастье, покой и достаток, добавлено в тетрадошке, где встречаются и другие рассказы — о том, как у дедушки с бабушкой родился второй ребенок и умер третий, о том, как первого отправили в школу, а родившийся к тому времени четвертый заменил третьего. Словом, как это и бывает, как это и случается в жизни: рождение, смерть, рождение, крестильная купель на церковной скамье и опущенный в могилу гробик. И что там еще в тетрадошке? Можно было бы рассказать и о том, как звенели бубенцы под дугой и скрипели полозья по первой пороше, как бегали смотреть на тронувшийся по весне лед и ломали черемуху в глубоком лесном овраге. Но стоит ли рассказывать, если на волшебном зеркале жизни постепенно тускнеет эмаль, и оно превращается в прозрачное стекло, в котором не возникает никаких отражений! Совершенно никаких, знаете ли, — одна только холодноватая пуста перед глазами и унылый однообразный звук в ушах, как будто по стеклу упорно скребут ногтем или упорно, с нажимом проводят пальцем...

## 6

Вскоре после смерти другой бабушки умер от рака и другой дедушка, но умер он вовсе не у нас дома и даже не в своем подвале, куда он вскоре вернулся, стосковавшись по насиженному углу, по большой железной кровати с никелированными шариками, по сонно тикающим ходикам и подслеповатым окнам на уровне ног. В день возвращения мы заранее заказали такси, а для пятидесяти лет это целое событие — такое же, как купленный в кондитерском магазине бисквитный торт в картонной коробке, перевязанной розовой ленточкой и измазанной изнутри кремом, или откупоренная к празднику бутылка шампанского с обклеенным серебристой фольгой горлышком и проволочной рубашкой, смиряющей шумную пробку. Событие, но мы — заказали, стараясь тем самым показать свою заботу о дедушке и втайне рассчитывая, что и он сумеет оценить оказанное ему внимание и постарается проявить ответную благодарность, заключающуюся в словах: «Ну что вы... спасибо... как я рад!» — но, к нашему удивлению, дедушка не только не произнес подобных слов, но наотрез отказался сесть в такси, взял свой чемоданчик и отправился на троллейбусную остановку. Там мы и простились — дедушка запретил садиться с ним в троллейбус и провожать до дома. Мы лишь помахали ему рукой, а он хмуро кивнул, стесняясь на глазах всего троллейбуса махать нам в ответ. Наверное, и сесть в такси он также постеснялся, как затем постеснялся умереть в комнате дочери, а умер в совсем ином месте, название которому — коридорчик. Коридорчик не потому, что сам по себе он был таким уж маленьким и узким, а потому, что он весь был заставлен шкапами, комодами, пыльными зеркалами и прочей старой мебелью,

которую в конце пятидесятих годов — вот мы и снова заговорили о моих пятидесятих! — начали лихорадочно менять на новую. Новую мебель хозяева ставили в комнаты, а старую выносили в коридор: вот и получалось, что от коридора оставался лишь утесненный, зажатый между громадами пыльных шкафов, комодов и зеркал коридорчик с узеньким — в несколько локтей — проходом.

В таком коридорчике и умирал от рака другой дедушка, которого после нас забрала к себе его средняя дочь, приходившаяся моему отцу родной сестрой, а мне — дорогой и любимой тетушкой. Тетушка жила у Преображенской заставы, в огромной мрачноватой квартире из трех затененных тяжелыми портьерами комнат и множества всяких кладовок, западающих в стены ниш, таинственных переходов и закоулков. Квартира была получена ее мужем-полковником за долгу и безупречную службу в рядах НКВД, к тому времени уже переименованного в КГБ, поэтому и восьмизэтажный дом, в котором находилась квартира, был домом особенным — что называется, сталинским, не столько построенным во времена вождя, сколько запечатлевшим в своей мрачной окаменелости его незримые, но неким непостижимым образом узнаваемые черты. Запечатлевшим даже до некоторого портретного сходства, до нетерпеливого желания воскликнуть при виде похожей на каменный мундир облицовки, возвышающейся наподобие маршальской фуражки башенки над крышей и накладных карманов-балкончиков: «Он!» Да, конечно же, он — вот и глаза, и усы, и брови! Во всем угадываются его черты, и кажется, что сейчас он очнется, вздрогнет, словно гора от подземных толчков, в неимоверном усилии разорвет сковывающие его путы, мерной и грозной поступью двинется вслед за вами, и тогда — не убежишь, не спрячешься.

Особенный, непостижимым образом узнаваемый дом, слегка напоми-навший восьмизэтажную Бастилию, к серой стене которой прилепился наш двухэтажный домик, но и отличавшийся от нее тем, что был начисто лишен декоративных ваз, лепных гирлянд и прочих легкомысленных излишеств буржуазной эпохи. В архитектурном убранстве дома сохранялось лишь то, что могло подчеркнуть суровую аскетичность нового строя: высокие — в четыре этажа — арки с железными воротами, строгий гранитный фриз на фасаде, лаконичные украшения в виде бронзовых рыцарских щитов со скрещенными мечами и овальные медальоны с пятиконечными звездами и гербами нерушимого союза. Во дворе же особенного дома гуляли самые обычные дети с простыми бабушками, закутанными в шерстяные платки, и уважаемыми — в духе пятидесятих — мамами, пахнувшими духами «Красная Москва», напомаженными и напудренными по моде, узаконенной партером Большого театра, лукаво приподнимающими вуаль над шляпкой и небрежно придерживающими на воротнике добротного пальто черно-бурую лису с усохшей когтистой лапкой. Одним словом, дети гуляли, мечи грозили, щиты защищали, союз нерушимый требовал от всех бдительности, и хмурые дифтерши в комендантских гимнастерках, сидевшие за списанными учрежденческими столами, у каждого незнакомого спрашивали: «Вы к кому?»

И вот что было самым особенным в особенном доме. От всех наших хибарочек, времяночек, теремков и двухэтажных домишек, разбросанных по городу, восьмизэтажный отличался своими удобствами, как на коммунальном языке пятидесятих именовались ванна с горячей водой, подаваемой в краны по системе парового отопления, выложенные кафельной плиткой стены, светильник под матовым стеклом и прочие признаки зарождавшегося социалистического комфорта, и у нас в семье считалось чем-то вроде ритуала: поехать помыться в ванне. Отец очень любил эти поездки и, собираясь в дорогу, словно бы предвкушал некое редкостное и загадочное наслаждение, доступное только для посвященных. И хотя я к числу посвященных явно не принадлежал и отчаянно ненавидел мытье еще с той поры, когда меня купали в детской ванночке и лили на голову противную мыльную воду, попадавшую в нос, рот и уши, отец по воскресеньям брал меня с собой — одевал потеплее, чтобы я не простудился на обратной дороге, затягивал на мне истертый и скрученный ремешок с проколотыми в нем дырочками, завязывал под подбородком тесемки зимней шапки — и мы ехали. Ехали через весь город — сначала в синем заиндевевшем троллейбусе, подолгу дремавшем на остановках, затем в красном вагончике трамвая с залепленными снегом стеклами, через которые ничего не было видно, кроме тусклых вечерних фонарей, и все это ради того, чтобы окунуться в наполненную горячей водой ванну, докрасна натереться намыленной губкой и окропить себя жиденькой колочей струйкой из душа: истинное счастье, знаете ли...

Распаренные и слегка оглушенные сознанием чистоты и некоей странной новизны всего своего тела, постепенно остывающего после купания, мы пили чай из высокого фарфорового чайника с подвязанной мокрой веревочкой

крышкой и шербатым носиком. Этот чайник раньше был частью праздничного сервиза, извлекавшегося из недр буфета лишь по случаю приема важных гостей, а теперь — шербатый носик и треснувшая крышечка! — служил не гостям, а своим, как называла тетушка брата и племянника, приезжавших к ней по воскресеньям. И уж свои-то не заставляли себя угощать и упрасивать — наливали из чашки в блюдце, медленно поднимали дымящееся блюдце ко рту, старательно дули в него, остужая горячий чай, с хрустом надкусывали кусочек колотого сахара и с шумом прихлебывали: истинное, знаете ли, наслаждение...

Во время таких чаепитий тетушка обычно сидела вместе с нами — вернее, не сидела, а присаживалась, как хлопотливая хозяйка, в чьи обязанности входит не столько самой напиться чаю, сколько напоить всех желающих, и тетушка старалась как могла — подкладывала нам клубничного варенья, в котором я всегда находил осу, подсыпала в вазочку конфет, сухарей и баранок, а отцу наливала домашней настойки из огромной пыльной бутылки. Мы же должны были рассказы в а т ь, развлекать тетушку разговорами, и мы, конечно же, тоже старались, развлекали, рассказывали разные смешные случаи из жизни нашей коммунальной квартиры, лишенной даже самых робких признаков социалистического комфорта, — как лопнула труба на кухне, как засорило унитаз, как отвалилась штукатурка в коридоре, — и тетушка откидывалась назад, как бы обозначая веселый смех, но смеха у нее никогда не получалось, и вместо него слышались то ли взятые фальцетом ноты, то ли отрывочный писк, то ли сдавленное икание, то ли жалобные всхлипы, она сотрясалась всем своим телом, выпиравшим из ситцевого платья с короткими рукавами и большим полукруглым вырезом на груди, словно опара из квашни, доставала из кармана платочек и прикладывала к уголкам глаз.

В коридорчике же тем временем умирал дедушка: мы на кухне, а он в коридорчике, где ему отгородили угол, поставили кушетку, придвинули тумбочку с лампой, и вот он, неизлечимо больной раком, умирал. Умирал среди сломанных стульев и старых шкафов — ведь не в комнате же ему умирать! В комнате дети готовят уроки на противоположных концах большого раздвижного стола, смотрят маленький телевизор с выпуклой линзой, наполненной дистиллированной водой, и играют на новом черном пианино, в лаковой крышке которого отражаются их пальчики, проворно бегающие по клавишам. Дети — две маленькие девочки в одинаковых школьных фартуках и с одинаковыми косичками, — конечно же, боятся дедушку, да он и сам стесняется, что его пришлось забрать из подвала. Пришлось забрать — не оставлять же одного в пустой комнате, хотя у них самих теснота и место ему нашлось лишь в коридоре. Это не означает, что им все равно, — нет, скорее уж дедушке все равно, если ему два раза в день колот морфий, он успокаивается и засыпает. Им же его очень жалко, несмотря на то, что муж служит в т а к о й организации, и еще неизвестно, как к этому отнесутся. «Во всяком случае, это никого не обрадует», — часто произносит тетушка, наклоняясь к самому уху моего отца, чтобы ее не слышали ни я, вычерпывающий из блюдечка клубничное варенье, ни ее муж, сухо покашливающий за стеной, ни умирающий в коридоре дедушка.

И если дедушка и муж при всем желании не могли ничего услышать, то я все-таки слышал и понимал, что с дедушкой связано нечто недоговариваемое, утаиваемое и неудобное для всех — такое же неудобное, как вскоробившаяся планка паркета, о которую все спотыкаются. Споткнутся, чертыхнутся от досады, скажут, что надо бы наконец починить эту злосчастную планку, а на следующий день забудут и снова споткнутся. Вот так же и о дедушку спотыкались — вернее, спотыкались на том, что дедушка-то, оказывается, был к у л а к. Да, да, оказывается, был, и об этом тоже говорится в тетрадошке, из которой я, собственно, и узнал, что в начале тридцатых дедушка попал в списки на раскулачивание, но не стал дожидаться, пока его отправят в Сибирь, а сам продал за бесценок свой дом, посадил семью на телегу и уехал прочь из деревни. Уехал из деревни и приехал в город, устроился столяром на мебельную фабрику и получил квартиру в подвале. Получил квартиру, и зажили они на новом месте. Фабричное начальство дедушку уважало, ставило в пример, награждало грамотами, а какие штуковины он на токарном станке выгачивал — залюбуешься!

Так, собственно, и появился этот подвал, где вырос мой отец и куда он возил меня в гости, — подвал в Брандмейстерском переулке с низкими потолками, покрытыми плесенью стенами, окнами на уровне ног, ну и прочее, прочее, о чем я вспоминаю как о величайшей потере, хотя чего там особенно терять — низкие



потолки, сырые стены, подслеповатые окна... но я вспоминаю, хотя чего там!.. И не в этом ли загадка странного экзистенциального чувства, преследующего меня в минуты воспоминаний, — чувства любви к своему несчастью? Не то чтобы я себя, несчастного, любил, это как раз понятно, но я именно несчастье свое люблю, и вы это понять попробуйте! Несчастье мое — хлебное, теплое, парное, словно нацеленное в подойник молоко. Оно, знаете ли, так греет, так ласково обжимает душу, что и отказаться-то от него становится совершенно невозможно. Совершенно невозможно, знаете ли, м-да... Вот почему — несмотря на свои весьма уже почтенные годы — я до сих пор не женат, неустроен и у меня нет детей, которым я мог бы передать по наследству альбом с фотографиями, шкатулку с письмами, картонную коробку со всякими ненужными бумажками, а заодно и эту семейную хронику. Бывший навсегдай подвала, я привык ютиться на дырявом чердаке, со всех сторон продуваемом ветром, целыми днями сидеть на скамейке бульвара, кроша голубям горбушку белого хлеба, а вечерами ужинать в вокзальном буфете. Собственно говоря, я и есть тот самый одинокий человек у буфетной стойки, и на мне обтрепанное пальто с болтающейся пуговицей, старая пыльная шляпа и войлочные ботинки на «молнии».

Эти ботинки, признаться, мне особенно дороги. Да, да, они дороги мне настолько, что однажды, когда представилась возможность взять в жены честную и порядочную девушку из хорошей семьи, и бросить свой чердак, и переселиться на средние этажи добротного каменного дома с колоннами и застекленной верандой, я со страхом подумал: неужели я женюсь, расстанусь с войлочными ботинками и перестану быть несчастным?! И вот тут-то меня охватила жалость — жалость к себе счастливому, и стало грустно при мысли, что преданная жена будет обо мне заботиться — гладить брюки и стирать рубашки — и не придется больше затыкать дыры на чердаке, просиживать дни на скамейке бульвара, глубокомысленно разглядывая носки войлочных ботинок, выдавливать из горбушки хлебный мякиш и крошить голубям.

Так я и не женился, по-прежнему латаю дыры на чердаке и утешаю себя тем, что мое одинокое несчастье — лучшая замена семейному счастью. И насколько я свыкся со своим чердаком, настолько же мне привычен и подвал в Брандмейстерском переулке, и иногда я даже чувствую, будто живу в нем не своей собственной жизнью, а жизнью отца, его братьев и сестер, бабушки и дедушки, и они для меня не другие, а — эти... Я словно бы начинаю быть ими и отгадываю в их жизни то, что кажется мне таким же единственным и неповторимым, как моя собственная жизнь. Да, да, топили дровами печь, сушили на веревках белье, квасили капусту. И еще спускались по шаткой приставной лесенке в погреб, где тянуло из углов сыростью, плесенью, запахом заиндевелоого кирпича. Спускались и, светя себе карманным фонариком, набирали из бочек соленых огурцов, мороженой клюквы, маринованных грибов. Набирали и несли в дом, чтобы подать к столу, разложить по тарелкам и слобрить ласковой присказкой: «Угощайтесь, гости дорогие!» А под такое угощение не грех и чокнуться — откупорить бутылку, запечатанную тугой бумажной пробкой, и разлить по граненым рюмкам домашнюю настойку. И откупоривали, и разливали, и чокались, и все это была жизнь, единственная и неповторимая, над которой еще не успели обозначиться тревожные экзистенциальные отсветы. Правда, дедушке приходилось скрывать, что когда-то он попал в списки, но уж это не вина его, а беда, и никто за это дедушку не осуждал. Лишь с замужеством средней дочери о бедах дедушки стали меньше говорить и больше недоговаривать, и его жизнь превратилась в сплошную кошмарную экзистенцию.

Все началось с того, что полковник перестал бывать в подвале и попросил жену, чтобы ее отец как можно реже появлялся у них дома. Как можно реже, лишь в самых крайних случаях, выговаривал он монотонным, ровным голосом, без всякого выражения на бескровном лице, и его тонкие — в ниточку — губы едва заметно шевелились, брезгливо отцеживая слова, предназначавшиеся для дедушки. Да, да, в самых крайних: если нужно сообщить нечто, о чем нельзя говорить по телефону; или что-нибудь передать из рук в руки; или даже дать денег. Денег — разумеется, в разумных пределах — он всегда даст: только бы не создавалось впечатление, что дедушка часто у них бывает и они поддерживают с ним родственные отношения. Какие могут быть отношения с бывшим кулаком! Поэтому главное условие, поставленное им жене, — реже, как можно реже... А если жена с ним не согласна и считает возможным поступать по-своему, он запретя у себя в кабинете, не будет выходить к ужину, и пусть она лишь слышит из-за стены его сухой отрывистый кашель.

Этот кашель мы слышали постоянно, и адресован он был не только умиравшему дедушке, но и нам. Мало того что в коридоре стонет умирающий старик, так еще в ванной моются чужие люди, а жена угощает их чаем с

клубничным вареньем, как бы говорили сухие отрывистые покашливания. А однажды полковник широко распахнул дверь на кухню, где мы пили чай, и, в свою очередь тоже широко распахнувшись и заняв собою весь дверной проем, с прищуром осмотрел всех сидевших за столом, язвительно ослабил, произнес несколько самоуничижительных фраз: «Виноват... прошу прощения... извините, что помешал», а затем поугрюмел, отшвырнул ногою стул и так меня напугал устроенным на моих глазах грубым и нелепым скандалом, что я от страха и ненависти его мысленно убил. Да, да, убил, как убивают злодеев из книг: просто мне захотелось, чтобы он упал замертво, и полковник сейчас же побагровел, схватился за сердце, тяжело привалился к стене и стал медленно сползать на пол. Машина «скорой помощи» увезла его в ведомственную больницу, где он умер под капельницами, так и не приходя в сознание. Зато дедушка вскоре поправился, вернулся в подвал, и мы с отцом по-прежнему ездили к нему в гости. Повторяю, мы с л е н н о ездили, поскольку после скандала, устроенного на кухне полковником, со мной было нечто вроде затяжного обморока, у меня тряслись руки и дергалась шея, и я твердил всем подряд, что полковник умер, а дедушка остался жить.

Вы представляете... он умер, а дедушка остался... да, да, вы представляете... да, да, да! Меня лечили, на месяц отправили в санаторий, где я каждый день ложился на живот, приспускал больничные штаны цвета вываренной моркови, и медицинская сестра с закатанными по локоть рукавами халата колола мне лекарства, вселявшие в меня вялость, спокойствие и безразличие. Когда же я наконец выписался, все встало на свои места, и я понял, что на самом-то деле умер дедушка. Умер через несколько дней после скандала, а полковник остался жить, прослужил еще четыре года и перед уходом в запас получил участок на камышовом берегу мелкой речки, окружил его решетчатой оградкой, поставил дом на каменном фундаменте, посадил яблоневый сад, разбил у крыльца цветник и стал каждое утро поливать грядки из резинового шланга с леечной насадкой, подстригать кусты и опиливать ветки на садовых деревьях. Тогда-то и обнаружилось, что и с полковником связано нечто недоговариваемое и утаиваемое. Обнаружилось и этак, знаете ли, прояснилось — как проясняется в замерзшем окне, если внезапно ударит оттепель, начнет припекать солнце и закапает с крыши. Такая оттепель вдруг и ударила, и тут выяснилось, что если дедушка был кулак, то полковник-то, оказывается, был п а л а ч. Да, да, в те самые годы, когда КГБ еще именовался НКВД, он зубы выбивал на допросах и каблуком наступал на руки тем, кто падал на ковер кабинета.

Случалось, что и зубы... м-да... наш полковник; да и всякое бывало в те глупие и смутные годы, именуемые тридцатыми, а тут — к концу пятидесятых — слегка прояснилось, оттаяли окна, и полковником овладела та самая экзистенциальная тоска, которая бывает только весной. Только весной и только у избранных натур — праведников и злодеев, испытывающих одинаковую тягу к затворничеству. Вот и полковник заперся у себя на у ч а с т к е, как в пятидесятые годы называли дачу, стал просыпаться поздно утром, нехотя брызгать себе в лицо водою из ручного умывальника и озирается затравленным взглядом покинутого всеми одиночки. Покинутого и забытого, но вскоре наступил день, когда его экзистенциальная тоска исчезла и тяга к затворничеству сменилась стремлением к людям. Полковник тщательно побрился перед зеркалом, смыл мыльную пену с лица, вытерся сухим махровым полотенцем и с наслаждением опрыскал себя из пульверизатора, насаженного на голубоватый флакон одеколона. После этого он затянул на шею широкий старомодный галстук, развел громыхнувшие листовым железом и скрипнувшие петлями дверцы гаража, сел в старенькую машину марки «Победа», по шуршащей гравием проселочной дорожке выбрался на шоссе и, обгоняя попутные грузовики, поехал в город. В городе он покружил по центральным улицам, купил в киоске пачку дорогих папирос и целую кипу газет, прошелся по бульвару, заложив руки за спину, снова сел в машину и скомандовал себе, как воображаемому л и ч н о м у шоферу: «А теперь, братец, домой!» Дома он сбросил пальто, снял высокие офицерские ботинки и, по-хозяйски заглянув на кухню, обошел все комнаты, зачем-то поднял крышку черного пианино и поправил вышитую дорожку на пожелтевших клавишах. Когда в квартире зазвонил телефон, жена растерянно посмотрела на него, как бы спрашивая, подзывать ли его, но полковник сам — уверенно и спокойно — взял трубку. Поговорив по телефону, он устроился у себя в кабинете с кипой непрочитанных газет и затянулся длинной папиросой, вставленной в костяной мундштук. В газетах он сразу же нашел самое важное и отчеркнул карандашом — жирной красной чертой. Затем он выпустил колечко дыма, подошел к окну и стал задумчиво смотреть на причудливые морозные узоры.

Вместе с чувством потери, вызванным смертью бабушки и жалостью к опустевшему подвалу, через несколько дней после похорон у меня появилось другое чувство, относящееся не столько к бабушке, сколько к отцу, и заключающееся в том, что бабушка умер и это, конечно, большая потеря, но ведь отец-то у меня остался. Остался и даже стал мне ближе, хотя бабушка его вовсе не заслоняла собою и не отдаляла от меня, но тем, что он когда-то был, он словно бы отнимал частичку бытия у отца, и моему сознанию приходилось раздваиваться между отцом и бабушкой, чтобы вместить в себя — вобрать, втянуть, будто глоток воздуха сквозь стиснутые зубы, — бытие обоих. Теперь же бабушки не стало, и поэтому частичка его бытия слилась с бытием отца, так же как сливаются контуры изображения в глазке фотоаппарата, стоит лишь получше навести объектив на резкость: покрутишь, покрутишь — и контуры сольются. Вот и два бытия теперь слились, и умерший бабушка стал для меня отцом, а отец — бабушкой.

Мне же — как опытному фотографу — предстояло лишь вовремя нажать на кнопку и сделать снимок. Иными словами, я должен был как бы узаконить и зафиксировать в сознании домашних и в своем собственном сознании то, что отец у меня теперь единственный и последний, а значит, и любить его надо иначе, чем прежде; — и любить, и жалеть, и показывать, как я его люблю и жалею. Но если выполнить первое условие мне было довольно легко и я постоянно чувствовал тайное стремление к отцу, доказывавшее, что он любим и жалею мною, то второе условие казалось мне совершенно невыполнимым, и все попытки показать свою любовь и жалость оканчивались полнейшей неудачей. Да, да, я любил и жалел без всяких заранее предпринимаемых попыток, но стоило мне именно попытаться — и для меня сразу возникало некое препятствие, преодолеть которое я никак не мог. Иначе говоря, опытный фотограф усиленно нажимал на кнопку, краснел от натуги, с извиняющейся улыбкой поглядывал на застывших перед объективом людей, но упрямый затвор не срабатывал, п т ч к а не вылетала, и уставшие от неподвижного стояния люди начинали переминаясь с ноги на ногу, шевелить руками, вертеть головой и подшучивать над фотографом: «Ну что, приятель, не стреляет твоя пушка!»

Вот и мои попытки заключались в том, что я неловко приближался к отцу, сидевшему на диване с газетой, и заискивающе смотрел ему в глаза, почему-то считая этот взгляд исполненным особого значения и наиболее подходящим для выражения моих самых сокровенных и глубоко запрятанных чувств, о которых нельзя сказать прямо, а можно лишь невзначай, окольным путем намекнуть. Намекнуть и тем самым как бы загадать предмету этих чувств некую лукавую загадку, позволяющую неуклюже подсесть к нему, оттесняя в угол дивана, одеревенелой рукой погладить по плечу и фальшиво поцеловать в щеку. После того как я все это старательно и невозмутимо проделывал, отец окидывал меня удивленным взглядом, откладывал в сторону газету и — раз уж ему был подан пример такой трогательной и нежной любви — тоже обнимал меня за плечи, притягивал к себе и целовал в макушку. После этого нам обоим становилось неловко — отцу потому, что он не решался снова взять в руки газету и в то же время не знал, как ему вести себя дальше, а мне потому, что я чувствовал себя виноватым в растерянности отца и от этого впадал в еще большую растерянность. В конце концов я не находил ничего лучшего как снова погладить и поцеловать, а отец — посылнее обнять и притянуть к себе. При этом и в его руке появлялась некая одеревенелость, а во взгляде — заискивающее стремление показать, как он меня любит.

— Ты о чем-то хотел попросить? — тихонько спрашивал он, наклоняясь к моему уху и тем самым подчеркивая, что нас с ним объединяет секрет, который мы обязуемся хранить не столько ради самого секрета, сколько ради нашей любви друг к другу.

— Попросить? Тебя? — переспрашивал я, лихорадочно стараясь вспомнить свои опрометчивые слова и жесты, в которых могла содержаться подобная просьба.

— Говори. говори... Может быть, тебе что-нибудь к у п и т ь? — Отец выделял голосом последнее слово, как бы великодушно подставленное им под мое невысказанное желание. — Пистолет с пистонами или оловянных солдатиков?

В предложенном мне наборе подарков смутно угадывались сороковые, совсем недавно перешедшие в пятидесятые.

— Нет, нет, не надо... У меня есть, — отказывался я, со всей безнадежностью чувствуя, что решительный отказ лишь подтверждает в глазах отца мое безвольное согласие.

— Ладно, договорились, — останавливал меня отец, подчеркивая этим, что с того момента, как он принял решение, ему не нужны ни мой отказ, ни мое согласие. — Завтра отведу тебя в магазин, и ты сам выберешь себе игрушку. Самую лучшую. Какую захочешь.

После этих слов он еще раз целовал меня в макушку, аккуратно выстриженную ручной машинкой, и осторожно протягивал руку за газетой. Осторожно и как бы слегка неуверенно — опасаясь обидеть меня и в то же время чувствуя, что теперь он отчасти имеет на это право. Имеет, хотя и не пользуется им — не обижает, а ждет, когда я сам потихоньку слезу с дивана и дам ему возможность дочитать газету. Ведь мы же договорились завтра пойти в магазин игрушек! Ведь договорились же — завтра, а сейчас он может спокойно дочитать. Вот только я слезу, и он спокойно — с сознанием своего полного права — развернет газету и дочитает ее до конца, до последней страницы. Вот только я слезу...

И тут я понимал, что предложение купить мне игрушки есть предложение о некоем безобидном предательстве — предательстве в духе пятидесятых, совершив которое я уже никогда не сумею преодолеть барьера между отцом и мною и, вместо того чтобы любить и жалеть, буду лишь неуклюже показывать свою любовь и жалость. Я понимал это, и мне становилось страшно — страшно настолько, что хотелось кричать: «Не надо мне никаких игрушек!» — но рука отца уже тянулась за газетой, а я в растерянности смотрел на него и улыбался беспомощной, жалкой улыбкой.

— Значит, завтра, — уточнял он напоследок, тем самым как бы внушая, что, несмотря на нетерпеливое стремление добраться до газеты, он продолжает помнить и о нашей договоренности. — Завтра ты выберешь себе игрушку. Хорошо?

— Хорошо, — безучастно отвечал я, останавливаясь перед непреодолимым барьером.

Так в моем отношении к отцу возникла, обозначилась и стала причинять мне боль, словно распухшая миндалина, навязчивая экзистенция, рождавшая меж нами неуловимый холодок неловкости, отчуждения, взаимного неудобства. Да, да, миндалина припухла и мешала глотать — вот так же и нам с отцом словно бы что-то постоянно мешало, и если я с радостным криком бросался на шею матери, возвратившейся вечером с работы, а затем барахтался у нее на коленях, пока она снимала туфли и переобувалась в домашние шлепанцы, то к отцу я приближался слегка недоверчиво, опасливо и, может быть, даже неохотно, и когда он брал меня на руки и подбрасывал под потолок, я старательно и добросовестно смеялся, но одновременно с этим чувствовал странное желание заплакать.

Иногда мне казалось, что это желание появляется от слишком пылкой и восторженной любви к отцу, такому большому и сильному, способному меня так высоко — под самый потолок — подбросить, а затем поймать и поставить на пол. Сила и ловкость, которые я угадывал в руках отца, а также его высокий — в несколько раз больше моего — рост вызывали во мне смешанное чувство подавленности, зависти и невозможности с ним сравниться, придавая моей любви нечто женственное, затаенное, близкое к запретному обожанию. Такое обожание выплескивается лишь в беспричинных слезах — вот почему и мне хотелось заплакать в тот самый момент, когда, подбрасываемый отцом, я с таким старанием выдавливал из себя натужный и притворный смех. Иногда же желание это я как бы считал продолжением своей мстительной нелюбви к отцу, рождавшейся от неверия в то, что я его люблю, и словно заполнявшей пустую выемку, которая образовывалась на том месте, где должна была быть любовь.

Одним словом, в моем самолюбивом противоборстве с отцом, в моей восторженной любви к нему, смешанной со мстительной нелюбовью, обнажалось нечто ноздреватое, пористое, как пемза... вещество жизни. Именно его шероховатое прикосновение заставляло меня испуганно вздрогнуть, обидчиво нахмуриться и сердито отвернуться, когда отец незаметно подкрадывался ко мне сзади, обнимал за плечи и — шутки ради — просовывал палец за ворот моей рубашки и начинал щекотать, корябая мне шею грубо подстриженным ногтем.

— Хватит! Уйди! Не хочу! — кричал я, вырываясь из его цепких объятий, но он и не собирался выпускать меня, охваченный упрямым азартом, и тогда я упавшим голосом — в предвидении неизбежных последствий — произносил: — Дурак!

Отец словно бы ждал этого слова.

— Что ты сказал? — спрашивал он, опуская руки и глядя на меня с укором человека, оскорбленного в своих лучших чувствах.

Я отказывался снова произнести то, что давало ему повод считать себя более оскорбленным и униженным, чем я.

— Что ты сказал? Повтори! — требовал он, настаивая на своем жертвенном праве еще раз услышать слово, столь болезненно уязвившее его самолюбие.

— Ничего... — Подчиняясь требованию отца, я соглашался отвечать не за слово, а за свой отказ его повторить.

— Нет, ты сказал. Повтори, пожалуйста. Я жду. — Отец повышал голос, как бы добываясь уважения в том, чтобы ему позволили до конца испытать чувство справедливой обиды.

Я снова отказывался и ничего не произносил.

— Вот видишь! Значит, ты сам понимаешь, что был неправ! Разве можно называть своих родителей такими словами! — Отец с облегчением вздыхал, радуясь, что выиграл сражение, которое вовсе не доказывало его превосходства в силе.

После этого мы целую неделю бывали особенно предупредительны друг с другом, особенно отзвучивы на самые мелкие просьбы и усиленно старались не повторить того, чем была вызвана недавняя ссора. Старались так же, как поскользнувшийся на навощенном паркете человек старается не поскользнуться снова и осторожно — мелкими шажочками — продолжает свой путь. Вот и мы с отцом предупредительно мельчили свои шажки. Стоило мне появиться в комнате, и он всем своим видом показывал, что у него не осталось никаких намерений подрастать ко мне сзади, просунуть палец за ворот рубашки и начать меня щекотать, я же, обращаясь к нему с благопристойной миной воспитанного ребенка, всячески избегал опасных слов, заквашенных на начальной букве «д».

Иногда мое слишком примерное поведение заставляло его исподволь мне внушить, что я вполне могу позволить себе невинную шалость, за которую он не будет меня упрекать, а напротив — снисходительно улыбнется или даже сам охотно пошалит со мною вместе. Мне же, охваченному ознобом восторженного беспрекословного послушания, хотелось именно упреков — пускай даже упреков незаслуженных и напрасных, которые я принял бы без всякой обиды. Вот почему я стойчески отказывался шалить вместе с отцом и на все его попытки раззадорить и развеселить меня отвечал унылой гримасой, неуклюжим перемином с ноги на ногу и застенчивой улыбкой ребенка, которому стыдно за неуместную веселость взрослых. Отца это слегка обижало, и он снова пытался меня развеселить — уже упорнее и настойчивее, — но я с таким же упорством и настойчивостью ему не поддавался, и меж нами снова проскальзывало нечто экзистенциальное, похожее на ноющую боль в распухших миндалинах.

## 9

...и мы перестали бывать у тетушки, хотя она нас приглашала и даже упрашивала приехать к ней помыться, сознаваясь при этом в своем давнем желании по в и д а т ь с я, как именовались на языке пятидесятых годов обязательные родственные посещения, и вот она приглашала, сулила щедрое угощение, обещала нажарить обваленных в муке окуньков, замесить тесто и испечь большой пирог с вязигой, но отец ссылался на то, что тетушка живет очень далеко и нам приходится ехать к ней через весь город, и этот довод, в такой же степени существовавший и раньше, теперь оказывал на всех странное, затормаживающее воздействие, и все обреченно соглашались: а ведь действительно далеко... действительно через весь город. Соглашались — и не ехали, и, вместо того чтобы вымыть меня в белоснежной, отделанной глянцевым кафелем ванной, отец вел меня в маленькую одноэтажную баньку с закрашенными белилами стеклами, одиноко торчавшую в соседнем переулке, раздевал на большой деревянной скамье, вешая одежду на вделанный в спинку крюк, затем раздевался сам, сдавал часы и кошелек с деньгами хмурому банщику, который прятал их в зеркальный шкафчик, и, зябко поеживаясь, мы пробегали по холодному, грязному, истоптанному полу в банный зал, наполняли водой жестяные шайки — одну для головы, другую для ног — и ныряли в парилку, где я выдерживал не больше минуты: так обдавало нас сухим жаром докрасна раскаленных камней, так окутывало ватной, глухой тяжестью прогретого воздуха, так перехватывало дыхание и ударяло в нос запахом березового листа, что у меня кружилась голова, слезились глаза, и я пулей вылетал из парилки, да и отец еще минуту покашливал, покрывал, похлопывал себя по бокам и тоже выскакивал из этого ада.

Выскакивал и некоторое время старался не смотреть на меня, озабоченно наполняя водою шайку и смывая мыльную пену с освободившегося банного полка. Старался не смотреть и при этом — смотрел, поглядывал искоса и тотчас отводил глаза в сторону, лишь только возникала опасность встретиться с моим ответным взглядом. Отводил глаза в сторону — и пробовал воду, пробовал воду. — и снова смотрел. Заметил я или не заметил, что он сплеховал? И есть ли в моем взгляде частичка осуждения или насмешки: что ж ты, мол, батя...

Да, да, он вовсе не был храбрецом, мой отец, и хотя пришлось ему повоевать и побывать в плену, войны он боялся еще больше, чем парилки. Боялся целиться и стрелять в людей, боялся, что его застрелят и это может случиться в любую минуту: вот ты сидишь и вычерпываешь из котелка кашу с тушенкой, а через минуту тебя уже нет — такая вот забавная экзистенция! Ты даже не успел приготовиться, даже не успел испугаться — и это самое страшное, — а над тобой уже сомкнулось, как над утопленным в ведре котенком. Испугался бы — и было бы не так страшно, а тут — не успел, и тебя уже нет, и только котелок с недоеденной кашей валяется рядом, и по нему ползают большие рыжие муравьи. Экзистенция, знает ли...

Впрочем, отец всегда успевал испугаться — поэтому, собственно, и попал в плен, а после освобождения прошел фильтрационный проверочный пункт и советские лагеря. Успел, поднял руки, а что ему было делать, ведь он вовсе не герой! Ну не герой он вовсе, а просто мой отец, и поэтому я люблю его, и мне становится до слез его жалко, когда я думаю о том, как он там, в этом лагере... Дробил киркою камни и впрягался в вагонетку, вытряхивал клопов из подстилки и вычесывал вшей из волос — неужели с ним все это было, именно с ним, моим отцом, читающим на диване газету, отпивающим осторожными глотками горячий чай и искоса поглядывающим на ложечку, двоящуюся в граненом стакане. Сам отец за чаем, как всегда, молчал, и только мать рассказывала мне, как они с бабушкой ездили к нему на свидание. Такое ему выпало счастье — разрешили свидание с женой, и они ездили. По словам матери, было это поздней осенью, ну и соответственно пейзаж: по утрам замерзшие лужи, хрустящие тонким ледком под колесами телеги, морозная сухость в воздухе, пустые пространства с чернеющей у горизонта ниточкой леса и белые мухи. Почему-то они ей особенно запомнились, эти странные осенние снежинки, тающие в себе некую завораживающую экзистенциальность, некую невыразимую тоску осени.

Впрочем, это я уже добавляю от себя. Ангелина же скорее всего просто сидела на краю телеги, свесив худые ноги в туго зашнурованных ботинках, подставляла ладони падающим снежинкам, и они цеплялись за шерстяные волоски вязаной рукавички. Но тоска замерзших луж, пустынной равнины и белых мух неслышно кралась за нею и мягко обжимала ей сердце — иначе бы она не твердила так настойчиво про этих мух. Странная, экзистенциальная тоска, которую мы в юности чувствуем еще острее, чем в поздние годы. А тут еще ровные, монотонные удары по обломку стального рельса, которыми заключенных сзывали на обед. Ровные, монотонные, не глухие, не звонкие, а как бы глуховато-приглушенные — издалека... И там, вдали, — серая каменная стена с колючей проволокой, сторожевые вышки с охранниками и еще нечто такое, отчего Ангелина вдруг слабо взмахнула рукой, прижалась к матери и пробормотала: «Я боюсь... нет!» Слабо взмахнула, словно отгоняя кого-то невидимого, и пробормотала бессвязно, как бы заговариваясь и неизвестно к кому обращаясь. Оттого-то и мать, испуганная не меньше ее, стала гладить Ангелину по голове и спрашивать, что с ней случилось. И даже старик, погонявший лошадей, несколько раз обернулся и с удивлением посмотрел на Ангелину.

Но Ангелина так ничего и не ответила — ни тогда, ни через много лет, хотя я часто напоминал ей о давнишнем случае и пытался осторожно выведать, что же ей померещилось в ту минуту. «Скажи, скажи — что же?!» — вкрадчиво допытывался я, но она лишь зябко поеживалась, поправляя на плечах шерстяной платок, прихлебывала чай из надтреснутой голубой чашки, шурилась на тусклый свет оранжевого абажура и молчала с грустной полуулыбкой, словно кто-то невидимый зорко следил за тем, чтобы она хранила свою тайну...

Зато обо всем остальном Ангелина рассказывала очень охотно, и я в мельчайших подробностях знаю, как они с бабушкой доехали до деревни, остановились в какой-то избе, где им выделили угол за красной ситцевой занавеской, и вот туда-то — за занавеску — к ним пожаловал отец. В телогрейке с номером, в кирзовых сапогах, он сел на стул, снял шапку и положил на колени: «Здравствуйте...» Отощавший, небритый, странно вытянувшийся, с остро торчащим кадыком и впалыми щеками — такой, каким и надлежало быть, по их бесхитрым представлениям, человеку, проходящему суровую школу трудового перевоспитания.

Суровую, но — школу: так привыкла считать Ангелина, случайному же философу вроде меня следует иначе выразить ее бесхитростные предствления. Пожалуй, в экзистенциальном смысле отец действительно перевоспитался, если понимать это как замену одной экзистенции на другую. Экзистенции коммунальной квартиры, длинного коридора с большим кованым сундуком, маленьких комнат с белой изразцовой печью, болтающейся на витом шнуре лампочки под бумажным абажуром, черной тарелки радио, дивана с упругими валиками, пыльных шкафов с книгами и заколоченной двери черного хода, угадывающейся под старыми обоями, — на экзистенцию барачков, нар, сторожевых вышек и колючей проволоки. Иными словами, отец перевоспитался, как перевоспитываются люди, осваивающие новый способ существования, но в то же время я, как случайный философ, могу заметить, что и не в способах дело. Совсем, знаете ли, не в способах, хотя наша жизнь насквозь экзистенциальна и русского человека хлебом не корми, а дай ему изобрести некий особый, заковыристый способ.

Не в способах, не в способах, поскольку упомянутая нами замена объясняет собою нечто более стихийное, таинственное и непредсказуемое — метаморфозу самого жизненного вещества, из которого состояла незадавшаяся жизнь отца. Скажем, из ноздреватого и пористого, как пемза, оно превратилось в литое, тяжелое, с бугристыми вздутиями и рваными краями цвета запекшейся бычьей крови, каким бывает оплавившееся железо. И вместо раздражающего прикосновения шершавой поверхности — нестерпимая, мучительная, адская боль, как будто этим железом с тебя сдирают кожу. «А ну навались, ребята!» И словно наждаком, заржавленным рашпилем — по живому!..

Отец, по словам Ангелины, недолго побыл на свидании и вскоре вернулся в барак, а Ангелина с матерью переночевали в избе и утром уехали, заплатив хозяевам за ночлег и купив на дорогу хлеба, сала и соленых огурцов. И снова Ангелина сидела на краю телеги, свесив тоненькие ноги в туго зашнурованных ботинках (так ее в детстве учила зашнуровывать мать — чтобы шнурки не развязывались и ботинки не сваливались), а в воздухе кружились белые мухи, но они не вызывали в Ангелине прежней необъяснимой тоски, и она смотрела на них просто и спокойно, хотя и без обычной своей веселой улыбки. Улыбка появилась тогда, когда стена с колючей проволокой и сторожевые вышки стали отодвигаться все дальше и дальше и вскоре совсем исчезли за линией горизонта. Вот тогда-то Ангелина окончательно успокоилась и даже повеселела, попросила у матери хлеба, сала и огурцов, вытерла их о подол застиранной юбки и с аппетитом принялась за еду. Мать, глядя на нее, вздохнула и тоже отломала кусочек.

И тут стало ясно — не им, а некоему постороннему наблюдателю, допустим, старику, погонявшему лошадь и обернувшись, чтобы посмотреть на них, — этому старику стало ясно, что они обе испытывают сейчас облегчение. Старик обернулся, посмотрел и сразу же все понял, потому что не в первый раз возил он людей на такие свидания и уже привык: как только скроются из виду стена и вышки, люди словно бы освобождаются, сбрасывают с себя некую тяжесть. Иные принимают за еду, как Ангелина с матерью, иные — за разговоры, а иные беззаботно что-то насвистывают или напевают. Одним словом — облегчение. Но не от чувства выполненного долга (побывали, навестили, наведались), а оттого, что избавились от некоторого недоумения — надо признать, весьма досадного, похожего на выпирающую из дивана пружину: как ни повернешься, а все покалывает. Покалывает, и никак не усядешься, не устроишься так, чтобы было удобно, не найдешь себе места. Сдвинешься вправо, влево — никак... Подложишь подушку — покалывает и покалывает...

Недоумение, собственно, и заключается в таком досадном неудобстве: привыкли, что в жизни все так, а оказывается-то — нет, не все... и есть нечто такое, что в это самое так упрямо не вмещается. Не вмещается, и все тут — страшное дело! Выходит, у других все так, а у тебя на самую малость — на мизинчик — не так, и сам ты не такой, как все остальные. Быть же не таким в обществе, где все так и е, — весьма опасно, поэтому забудем скорее о досадном недоумении. Забудем и попытаемся не вспоминать — как будто его и не было. «Здравствуйте». — «Здравствуйте». — «Ну и как же? Разрешилось ваше недоумение?» — «Недоумение? Какое недоумение?!» — «Да вы там что-то про бараки, нары, сторожевые вышки, колючую проволоку...» — «Извините, не припоминаю...» — «Странно, но вы же сами недавно...» — «Нет, нет, извините...»

Вот и Ангелина с матерью — стоило им проститься с отцом — почувствовали облегчение людей, возвращающихся к мысли, что в жизни все так, как и должно быть, и никаких досадных недоумений у них на этот счет не осталось. Недоумение вроде бы и возникло... м-да... возникло, возникло, чего уж там скрывать! И эта стена со сторожевыми вышками... и удары в обломок рельса, сзывающие к обеду... и сумасшедший барак, о котором рассказывал отец... и многое-многое

другое, о чем он не рассказывал, но они догадывались... все это не слишком укладывалось в их прежние представления о трудовом перевоспитании, но стоило проститься и отъехать — и никаких недоумений. «Здравствуйте». — «Здравствуйте». И — никаких.

## 10

Когда отец вернулся из лагеря, мне было четыре года, и я бегал по холодным комнатам дома, гладил ладонями белые изразцы печки, успевавшей остынуть за ночь, взбирался на шаткие, скрипучие стулья, обнимавшие мне плечи выгнутой фанерной спинкой, прятался под накрытым скатертью столом, усаживаясь верхом на истертую ногами перекладину, или обкладывался упругими диванными подушками, превращавшими меня в узника глубокой пещеры, — бегал, взбирался, прятался с тем удрученно-опасливым недоверчивым чувством их единственного хозяина, к которому привыкает ребенок, воспитанный без отца. Вот и я — воспитанный без отца — привык, что всеми этими подушками, стульями, столом и печкой, составлявшими скудное богатство наших комнат, я владел один и поэтому был так беззащитен в своих правах владельца, готовый отказаться от них сразу же, как только возникнет угроза посягательства со стороны матери, запрещающей забираться на стул, если на спинке стула висит ее платье, бабушки, вечно выгонявшей меня из-под стола, или совсем чужих людей, которые войдут и скажут: «Отдай, это теперь мое». Эти люди могли появиться так же, как какой-нибудь уличный мальчишка мог отнять у меня игрушку, пользуясь тем, что матери и бабушки нет рядом, — отнять, выхватить из рук и еще пригрозить кулаком на тот случай, если я вздумаю пожаловаться, крикнуть, позвать на помощь. Испуганный угрожавшим мне кулаком, я не звал, не кричал, не жаловался, а покорно и униженно дожидался, пока обидчик не найтрется в мою игрушку и она не надоеет ему настолько, что он со скачущим видом зевнет, безучастно-скептически осмолит ее, как бы не оставляя надежды выжать еще хотя бы капельку удовольствия, и брезгливо вернет мне: «Держи...» Точно так же и мое чувство единственного хозяина допускало, чтобы в комнатах поселились чужие люди — заняли стулья, стол и диван, а меня отеснили в угол, сунули узелок с моими пожитками и приказали молчать.

Приказали, и я молчал бы, сознавая себя единственным не потому, что был сильнее всех, а потому, что был самым слабым и беззащитным и мое положение единственного оказывалось положением одинокого. Одинокого не столько хозяина, сколько временного владельца, хранителя, добровольного сторожа, который вызвался присмотреть за вещами, пока не вернется их настоящий хозяин. Вот и я лишь присматривал, уныло бродя по комнатам, переставляя с места на место вещи и дожидаясь отца, чье возвращение и должно было защитить меня и сделать сильным. Сильным настолько, чтобы не слушаться матери, которая запрещала забираться на стул, и не подчиняться бабушке, которая выгоняла из-под стола. Сильным и лишенным страха по отношению к чужим людям, которые захотели бы отнять то, что отныне принадлежало мне. Да, да, раньше я лишь присматривал, а теперь — принадлежало. Принадлежало потому, что рядом был отец, истинный и постоянный владелец всего в доме. Пока он существовал лишь на фотографии, хранившейся под пухлой обложкой семейного альбома, в рассказах матери, гладившей меня по голове и привычно повторявшей ответ на мои настойчивые вопросы: конечно, сынок, самый сильный, самый храбрый, самый добрый, — и в ее неуверенном, уклончивом, дразнящем обещании: скоро, — похожем на недосыгаемо желанный выступ стены, до которого я должен был дорасти через пять лет. Недосыгаемо желанный — и вот я каждый день вставал на цыпочки и тянулся изо всех сил, стараясь достать головой до выступа, и в какой-то момент мне казалось, что он уже близок, что осталось совсем немного, чуть-чуть — и я... Точно так же и недосыгаемое скоро приближалось ко мне с каждым днем, и — вставший на цыпочки — я отчаянно тянулся к нему круглой головой с белобрысой челочкой и стриженной макушкой.

В конце концов меня охватило такое нетерпение, что я перестал слушать рассказы матери, разглядывать фотографию в альбоме и целиком отдался лихорадочному ожиданию — когда же?! Когда же немое и неподвижное существование отца, заключенное в пространство маленького снимка и очерченное зыбким пунктиром привычных слов матери, превратится в нечто большое, устойчивое, плотное, способное говорить и двигаться?! Когда же я смогу убедиться, что отец у меня действительно е с т ь , и не где-то далеко, а совсем рядом — протяни руку и потрогай?! Когда же наконец распахнется дверь, он войдет, раскинет руки, как бы собираясь обнять всех сразу, и скажет: «Здравствуйте! Вот я и вернулся!»?



Когда же... когда... когда? Этот вопрос не давал мне покоя, словно застрявшая в зубах виноградная косточка, и я вновь и вновь задавал его матери, которая устало и обреченно вздыхала в ответ, тем самым показывая, что не может без конца повторять одно и то же:

— Я же тебе сказала...

— Значит, скоро? — Я тоже вздыхал, как бы вынуждая себя удовлетвориться тем, что эти слова не добавляли ничего обнадеживающего к ее прежнему ответу.

— Скоро, скоро... Доберяги, — произносила она то, что не столько убеждало меня в выполнимости ее обещания, сколько пополняло запас терпения.

— Скоро — это завтра? — спрашивал я, старательно распределяя по дням свой скудный запас.

— Кто это может знать! Скоро — это скоро, — отвечала мать, не решаясь привязать свое обещание к конкретному сроку.

— А завтра? — Я нуждался в дополнительных сведениях о том дне, на который могло упасть столь важное для меня событие.

— Завтра — это завтра. — Мать искусно лишала меня сведений, которые могли дать повод для новых вопросов.

— Почему же тогда скоро не может быть завтра?! — умудрялся снова спросить я, устанавливая тождество двух понятий, отвечающих одному определению.

— Может, может, сынок, но это случается очень редко, — вновь отвечала мать, как бы сочувствуя мне в том, что мое тождество так быстро превратилось в случайное совпадение.

И вот однажды после очередного вырванного у матери признания, что скоро — это завтра, послышались незнакомые, тяжелые и гулкие шаги по коридору, чей-то глуховатый голос произнес: «Здравствуйте!» — обращаясь к соседям на кухне, а затем широко распахнулась дверь и на пороге возник отец. Возник и раскинул руки, как бы собираясь всех сразу обнять. Раскинул и сказал: «Вот я и вернулся!» — тем самым убедив меня, что это именно он, мой отец, которого я так долго ждал, и поэтому я первым бросился к нему, обнял и повис на шее. «Узнал! Смотрите, узнал!» — воскликнула мать, удивляясь не столько внезапному появлению отца, сколько моему безошибочному узнаванию того, кого я ни разу в жизни не видел. «Да, да, смотрите! Смотрите!» — подхватила бабушка, тем самым подчеркивая, что она-то видела, и не один раз, поэтому и удивляется скорее не за себя, а за меня, не видевшего, но — узнавшего. Да и удивление отца относилось ко мне одному, словно с матерью и бабушкой он успел заранее — во время их прежних встреч — условиться о своем возвращении, меня же видел впервые и поэтому испытывал ту же радость узнавания, с которой и я бросился к нему на шею.

Так для меня впервые приоткрылась тайна моего появления на свет, которую я еще не мог осознать в ту пору, а мог лишь догадаться о ее существовании: так по неуловимому движению воздуха, проскальзывающему в вещах выражению смутного беспокойства и некоей разлитой вокруг тревоге догадываются, что кто-то стоит за спиной или прячется за портьерой. Вот так же и мое узнавание отца, которого я до этого никогда не видел, выдавало мою готовность к тайне, обещавшей раскрыться лишь в будущем, хотя, быть может, никакой тайны и нет, а есть лишь одно не совсем обычное и вполне заурядное обстоятельство, заключающееся в том, что я тоже добывал в лагере. Да, тоже, знаете ли, поскольку мое появление на свет было predeterminedено на том самом свидании — в углу избы за ситцевой занавеской. Предeterminedено в том смысле, что там-то меня и зачали родители, чтобы ровно через восемь с половиной месяцев (я родился слегка недоношенным) флегматичная акушерка в клеенчатом фартуке приняла мое красное тельце из растерзанного лона матери, взвесила на весах, укутала в байковую пеленку и привязала к запястью бирку.

Мне кажется, что этот момент я запомнил и именно с него начались мои экзистенциальные переживания. Каким-то непостижимым образом моя память сохранила не столько предметы, сколько первое чувство от соприкосновения с ними, и я до сих пор испытываю странное неудобство от холодных и жестких рук акушерки, прижимающей меня к фартуку, от натирающего мне щеку завернувшегося уголка пеленки и покалывающего ворсинками шнурочка с биркой, на которой обозначены фамилия и имя матери. Главное же, меня преследует необъяснимая грусть оттого, что из какой-то блаженной, теплой, обволакивающей темноты меня извлекли на враждебный и неудобный свет. Извлекли безжалостно, грубо, бесцеремонно, хотя я этого не хотел и сопротивлялся, но они все равно извлекли, и вот я, испуганный и оскорбленный тем, что со мной случилось, страдальчески сморщился и заплакал, как бы навсегда прощаясь с покинувшим меня безмятежным блаженством. Неудобный желтый свет электрической лампы, висевшей под потолком, проникал в меня отовсюду,

слепил мне глаза, опалил ресницы, покалывал мелкими иглами щеки, и я понимал, что от него не спрятаться, не заслониться ладонью и теперь это будет всегда — электрический свет, проникавший сквозь меня, и я, беспомощный и жалкий, барахтающийся в руках акушерки. И если флегматичная акушерка в клеенчатом фартуке похитила меня из рая, то этот свет заронил в меня экзистенциальное сознание того, что я уже не пребываю в вечном блаженстве, а живу, постигая тем самым болезненную твердость, выпуклость и шероховатость мира.

Свидания, предопределившего мое появление на свет, я, конечно же, не помню, хотя и могу представить, как это происходило. Могу представить не потому, что обладаю таким уж легким и счастливым воображением, а потому, что и я, собственно, там был, в этой избе, за этой занавеской, — был своей мельчайшей частичкой, пылинкой, смутной завязью сознания, и поэтому мне передало сь. Представить, как хмурого и небритого отца, нетерпеливо откинувшего занавеску, усадили на стул и стали кормить, доставая из узелка яйца, хлеб, масло, печеную картошку и раскладывая все это на дощатом, изрезанном ножом столе с черными кругами от горячего чугунок; когда же накормили и дали выпить водки из завернутой в тряпицу бутылки, бабушка деликатно вышла на крыльцо, чтобы оставить мать и отца вдвоем, и вот он неловко обнял ее — вернее, положил ей на плечо руку, потому что давно уже забыл, как обнимают. Она же, вместо того чтобы прижаться, недоверчиво приблизилась к нему, понимая, что это надо сделать, но не чувствуя к этому никакого желания. Все ее желания были заслонены страхом, тревогой и опасением, что кто-то войдет, кто-то появится, кто-то случайно заглянет за занавеску и застанет мужа и жену за таким неподобающим занятием. Такое вот опасение — в духе тридцатых, но мне передалось, и я могу представить. Представить настолько, что словно бы и сам испытываю его и все остальное тоже происходит со мной, а мать и отец — лишь безучастные свидетели происходящего...

## II

О своем лагерном прошлом отец мало кому рассказывал даже из близких знакомых, а среди дальних — знакомых, приятелей, родственников и соседей — предпочитал не распространяться вовсе, но вездесущий Колидор Николаевич, любивший прикладывать ухо к замочной скважине, вскоре узнал, что отец побывал в плену, вслед за ним узнали соседи, а вслед за соседями — родственники, приятели и знакомые. Для них эта новость оказалась настолько важной, что они не упускали случая ее обсудить, и лишь только речь заходила об отце, тотчас делились друг с другом и узнанной новостью. При этом их лица принимали такое серьезное и значительное выражение, словно отец превосходил их в чем-то, и, признавая его превосходство, они даже и не помышляли о том, чтобы попытаться догнать его, хотя на самом деле каждый считал превосходящим себя и новость позволяла ему предаться тайному тщеславию. Да, отец побывал, и им искренне жаль его, но они-то не побывали и поэтому, жалея отца, могут собой гордиться. Гордиться и исподволь спрашивать себя: а не означает ли это, что побывавший отец не слишком хорошо воевал? Хотя бы по сравнению с ними — не побывавшими. Одним словом, отца подозревали, и эти подозрения он собственноручно вписывал в свои анкеты, добросовестно указывая в них, что он, такой-то, с такого-то по такое-то время находился в плену... на оккупированной врагом территории, а когда мне исполнилось шестнадцать лет, то и я стал указывать, что мой отец... с такого-то по такое-то... находился... и если я когда-нибудь женюсь и у меня будут дети, то и им придется указывать, что их дед... если же появятся внуки и правнуки, то и им тоже: прадед и прапрадед... с такого-то по такое-то... на оккупированной врагом...

И вот тут-то жизнь словно бы сбрасывает некую оболочку — событий, разговоров, чувств и мыслей, — и передо мною обнажается ее потайная сердцевинка, похожая на нежное семечко молодого яблока. Я начинаю понимать, что события, разговоры, мысли и чувства — это и не жизнь вовсе, и глубоко заблуждаются те, кто, описывая и воссоздавая их, думает, будто они описывают и воссоздают жизнь. Какая чепуха! Какая детская наивность! Воссоздать жизнь можно лишь одним-единственным способом — проникнув в сердцевинку яблока и уловив то странное, потайное, скрытое, словно нежное семечко, под полупрозрачными чешуйками, что мы именуем экзистенцией. И я проник, я уловил, и вот передо мною возникает ответ сороковых годов, и когда я пытаюсь выразить их экзистенцию, мне вспоминаются слова отца, сказанные им в ответ на мои настойчивые — может быть, даже слишком настойчивые — просьбы объяснить наконец, а что же это такое — сороковые! И можно ли их с чем-нибудь

сравнить, как подыскивают сравнение для причудливой лесной коряги или сросшихся корней, напоминающих то голову медведя, то обросшего мхом лешего, то бабу-ягу в ступе. Поворачивают то так, то этак, разглядывают с разных сторон, покачивают головами, дивятся — и подыскивают: медведь, леший, бабу-яга?! Так же и сороковые мне мучительно и непреодолимо хотелось сравнить — да так сравнить, чтобы почувствовать: хоть я тогда и не жил, хоть меня тогда еще не было, но вот она, экзистенция! Вот она, голубушка, — у меня в кулаке!

— Представь себе черный, ноздреватый весенний снег, — глуховатым голосом сказал мне отец, откидываясь на подушки дивана, одной рукой обнимая меня за плечи, а другой поглаживая медный медальон в форме львиной морды, оттягивающий обшивку тугого валика. — Снег, сначала растаявший, смешавшийся с сором и грязью, а потом затвердевший до ледяной хрустящей корки, — это и будут сороковые!

Сказал — и я представил. Да, да, представил эту смешанную с грязью и сором, истончившуюся ледяную корку, и в моем крепко сжатом кулаке округлилась и набухла экзистенция. Я почувствовал себя словно живущим в те самые сороковые годы — почувствовал настолько, что под ногами как будто захрустела и посыпалась ледяная крупа, и ноги заскользили, теряя опору, я упал и стал скатываться вниз, на дно глубокой ямы, где ждал меня отец, но не такой, каким он был теперь — с морщинами и седыми висками, — а еще молодой и черноволосый, правда, пораженный своей дистрофической худобой, со следами ожога на лице и негнушимися обмороженными пальцами. И получилось так, что я, заполняющий последнюю графу анкеты, на минуту словно бы слился с отцом, допрашиваемым на фильтрационном пункте: «Повторите, при каких обстоятельствах вы попали в плен... повторите... при каких обстоятельствах... вы...» И перо моей самописки словно бы превратилось в его заржавленное перышко, вставленное в ученическую ручку, и его ответы: «Я, такой-то, с такого-то по такое-то...» — стали теперь моими ответами, аккуратно вписываемыми в канцелярскую графу. Да и все вещи в доме, которые я с детства считал своими и как бы даже не существующими отдельно от меня, приобрели вдруг выражение, таинственно совпадавшее с тем, что заключалось в самом имени отца — Серафим Иванович.

И точно так же, как я угадывал черты матери, я угадывал черты отца в застекленных дверцах резного буфета, оранжевом абажуре с бахромой, спинке дивана с наброшенной на нее вязаной шалью и круглой крышке обеденного стола с вышитой дсрожкой посередине, на которой — до того времени, пока не грянет торжественный час воскресного семейного обеда, — покоились неуклюжие хрустальные вазы и фарфоровые безделушки. Странное дело: в дверцах, абажуре, спинке дивана и крышке стола, но — угадывал, угадывал, словно невидимые крылья серафима (Серафима!) осеняли их своим прикосновением. И, открывая буфет, зажигая свет под абажуром, прислоняясь к спинке дивана или садясь за обеденный стол, я словно повторял собою то, что когда-то совершал отец, я заполнял обозначенное им пространство, вливался в его распавшуюся форму, и так было во всем — я действительно осознавал себя его п р о д о л ж е н и е м, а сам он словно окутывал меня невидимым дуновением и оберегал, как серафим, мой верный ангел-хранитель. Поэтому черные, ноздреватые, осевшие, как подтаявший снег, и зияющие провалами мерзлой земли сороковые — это тоже мои годы, и я пережил их в ту пору, когда еще не был собою, а был своим собственным отцом и моя жизнь еще не успела затвердеть и сгуститься до плотного материального ядра, а лишь струилась эфирными отсветами: красным — экзистенциальным, и голубым — евангелическим.

## 12

«...голубым — евангелическим». Следуя избранному методу повествования, я должен привести краткие сведения о евангелисте Марке, мистическом покровителе сороковых годов, чья таинственная воля спасла моего отца в лагере и на фильтрационном пункте и подарила жизнь мне на том свидании, за той занавесочкой... И вот я снова достаю с полки книги, слухаю с них пыль, поглаживаю мерцающие золотым тиснением корешки и листаю пергаментные страницы. Судя по сохранившимся на полях пометкам, дедушка пытливно вчитывался в страницы, повествующие о земном пути евангелиста Марка. Вчитывался, словно сверяя их со страницами другой — читаемой с закрытыми глазами — книги, в которую вписана его небесная судьба.

Итак, собранные дедушкой факты свидетельствуют, что Иоанн Марк (римское имя Маркус) был родом из Иерусалима и его детство прошло на улицах

священного города, древние стены которого помнили Давида и Соломона, а новые хранили память о царе Ироде и императоре Адриане. Этими улицами, по утрам нежно розовевшими на солнце, в полдень до иступленной белизны накалявшимися от зноя, а вечерами погружавшимися в лиловые лунные сумерки, родители водили его в Храм, минуя крепость Антония, где размещались римские легионеры, с дозорных башен следившие за порядком, и поднимаясь по лестнице во двор, заполненный толпой благочестивых иудеев. Великий Храм, главная святыня города, — Иоанн Марк с испугом взирал на сверкающий купол, вознесенный под самое небо, гладил ладонью шероховатую поверхность каменных стен, слушал доносившиеся из распахнутых дверей слова молитвы и чувствовал себя маленьким комочком, сжавшимся под испытующе-суровым взором Яхве. От этого взора, проникавшего в самое сердце, не могли укрыться греховные помыслы, и невидимый перст грозил тому, кто осмеливался нарушить запреты, налагаемые Торой. Родители Марка, конечно же, не хотели, чтобы он стал нарушителем запретов, и поэтому мать, благочестивая и умная женщина, прежде всего стремилась дать ему строгое религиозное воспитание, донося до него мудрость священных книг и приучая соблюдать заповеди, завещанные пророками. Иоанн Марк оказался прилежным учеником и хорошо усвоил эти уроки: благодаря матери он с детских лет почитал субботу, воздерживался от употребления в пищу жертвенного мяса и — дабы не осквернить себя — избегал сидеть за одним столом с необрезанными.

Благочестивая и — умная. Иными словами, мать Иоанна Марка старалась сделать из сына не только правоверного иудея, но и образованного человека — образованного хотя бы по тем меркам, которые были приняты в Римской империи. Поэтому теми же улицами она водила его в домик учителя — подслеповатого старичка с седыми клоками волос и сократовской шишкой на лбу, под надзором которого он постигал глуховатые созвучия греческого языка, словно выдуваемые из камышовой дудочки, и вслушивался в трубные октавы латыни. Мать оставляла их вдвоем, замечая по солнечным часам время, и маленький Иоанн Марк отвечал урок, а учитель либо благосклонно покачивал головой, либо сердито бил его тростью по кончикам пальцев, исправляя сделанные им ошибки. В назначенное время мать возвращалась, чтобы забрать его, и они вместе гуляли за стенами города, доходя от Ворот Источника до Яффских Ворот, покупая горсть фиников у уличной торговки и разглядывая хмурые лица стражников, охранявших дворец Ирода. Дома их ждала вечерняя трапеза, состоявшая из нескольких скромных блюд, после чего Иоанн Марк читал молитву и укладывался спать, а мать ненадолго забегала к соседям, чтобы попросить в долг пряностей и обсудить последние городские новости.

Так они и жили до той поры, пока в их доме не появился Тот, Кто называл себя Иисусом из Назарета, одним лишь прикосновением рук исцелял больных, даруя зрение слепым и отнимая костыли у парализованных, поднимал со смертного одра умерших и совершал прочие чудеса с помощью неведомой силы, знамением которой была голубая искорка, проскальзывавшая у него меж пальцев, и окружавшее его голову лучистое сияние. Появился, попросив приюта для себя и своих учеников, следовавших за ним из Галилеи. Попросив приюта и назвав по имени мать Иоанна Марка, хотя она видела его впервые: «Мария, позволь остановиться у тебя». Назвав по имени и при этом улыбнувшись так, словно он прочел это имя в ее глазах. Благочестивая женщина ничего не ответила и лишь жестом пригласила странников в дом. Она отвела им лучшую комнату, сама принесла воды, чтобы они могли умыться, велела повару приготовить для них ужин и приказала слугам выполнять любые их желания. Поужинав, странники стали располагаться на ночлег, а их вожатый поблагодарил Марию за ее доброту. «А где сын твой, Иоанн Марк?» — спросил он голосом человека, привыкшего не удивляться тому, что вызывало такое удивление у других. «Сейчас я позову его», — ответила Мария, убеждаясь, что имя сына известно незнакомцу так же, как и ее собственное. Она выглянула в сад, где сынишка охотился за светлячками, и привела его в дом. Так Иоанн Марк впервые увидел Того, Кто называл себя Иисусом из Назарета.

Впервые увидел, а затем было еще несколько встреч — и с самим Иисусом, и с его учениками, часто появлявшимися в доме благочестивой Марии. Ученики устало опускались на ложе, приготовленное для них в комнате, снимали с ног пыльную обувь, опускали руки в чашу с водой и, размачивая принесенный на блюде хлеб в верблюжьем молоке, рассказывали о новых чудесах Иисуса, о приветствующих его толпах городской бедноты, о римских солдатах, хмуро поглядывающих в его сторону, и первосвященниках иерусалимского Храма, призывающих побить его камнями. И вот однажды, накануне праздника Пасхи, ученики попросили Марию накрыть стол, пообещав, что в день праздника они

явятся к ней вместе с учителем. Мария обрадовалась, услышав об этом, и долго готовилась к встрече, убирая к празднику комнату, посылая слуг за лучшим вином и следя за тем, чтобы повар как следует сдобрил пасху. В назначенный день Тот, Чье имя было Иисус, явился, и Мария вместе с Иоанном Марком, повзрослевшим со времени их первой встречи, видела, как он возлег с двенадцатью учениками, преломил хлеб и налил в чашу вина. Глаза его были грустны, а слова — печальны. Вино и хлеб он назвал своей кровью и телом, завещанным тем, кто будет в него верить. Помолчав же немного, добавил, что конец уже близок и один из учеников — тех, кто возлежал рядом, — предаст его. Среди учеников послышался глухой тревожный ропот, и они наперебой стали спрашивать, кто же предатель, но он им ничего не ответил и лишь, глядя перед собой в покрытый коврами пол, повторил, что один из двенадцати предаст, а остальные бросят, и, покинутый всеми, он взойдет на Голгофу, неся на спине свой крест.

После этих слов Тот, Чье имя было Иисус, поднялся с ложа, поблагодарил Марию и вместе с учениками покинул дом. Иоанн Марк бросился за ними следом, но мать не пустила его, сказав, что уже поздно, что близится ночь и не следует в это время бродить по улицам. Лучше всего раздеться и лечь спать, а утром... Да, согласился Иоанн Марк, привыкший никогда не перечить матери, утром он отправится искать Того, Кто называет себя Иисусом из Назарета, но тогда-то и будет поздно, поэтому он, привыкший не перечить, лишь сделает вид, что раздевается и ложится спать, но как только мать задует свечу у него в изголовье и выйдет из комнаты, он завернется в покрывало и тайком выскользнет на улицу. В ту ночь Иоанн Марк так и поступил, и лишь только мать задула свечу, он выскользнул из дома через заднюю дверь и к утру отыскал Иисуса в Гефсиманском саду, но подойти не осмелился и лишь издала слышал, как он молился, повторяя: «Авва Отче!.. прнеси чашу сию мимо Меня...» — и трижды будил учеников, уснувших неподалеку. Трижды будил, но они не вставали, усыпленные вином и усталостью, и тогда он произнес с горечью: «Кончено, пришел час. Вот уже приблизился предающий меня». Произнес, и сейчас же его окружила толпа людей с мечами и кольями, и один из учеников — Иуда — поцеловал Иисуса на глазах у всех, и это было знаком для того, чтобы схватить его. Иисуса связали и под охраной отправили к первосвященникам. Воины хотели схватить и Иоанна Марка, прятавшегося за освещенным луною камнем, но он вырвался и нагой убежал от них, оставив в их руках покрывало.

Об этих событиях на следующее утро говорил весь город, но никто не знал имени юноши, оставившего в руках солдат вышитое покрывало. Ничего не знала и мать Иоанна Марка, хотя утром ее удивило бледное лицо сына, синева под глазами, слегка покрасневшие веки и прочие следы бессонницы, но она объяснила это его впечатлительностью, обострившейся после последних посещений Того, Кто называл себя Иисусом. И лишь только одному человеку Иоанн Марк рассказал обо всем случившемся той ночью, да и то не сразу, а через несколько лет после того, как свершилась казнь на Голгофе. Этим человеком был Петр, один из учеников казненного. Он по-прежнему часто бывал в доме, где учитель провел последнюю пасхальную ночь, и подолгу беседовал с Иоанном Марком, вспоминая о том, как однажды он — простой рыбак из Галилеи — отправился вслед за учителем и с той поры стал его верным спутником и преданным другом. Много дорог они исходили вместе, и многое хранила память Петра из того, что было сказано и сделано Иисусом. Жаль только, не было времени записать все это — один из двенадцати ближайших учеников и сподвижников Иисуса, Петр целиком посвятил себя апостольскому служению. Да и не слишком владел он грамотой, если признаться, и, несмотря на высокий духовный сан и возложенную на него миссию, до конца дней оставался простодушным галилейским рыбаком. Вот если бы Иоанн Марк записал его воспоминания, последовательно изложив все то, о чем рассказывал Петр, это было бы поистине добрым делом, которое прославало бы Марка среди потомков. Ведь не случайно же судьба свела его с Иисусом и он оставил свое покрывало в руках стражи, окружившей Гефсиманский сад. Значит, и на Марка возложена миссия, и он должен выполнить ее, потрудившись с честью во имя распятого Иисуса.

Так говорил Марку апостол Петр, проводя с ним вечера в неторопливых беседах, и Иоанн Марк мысленно соглашался со своим наставником: да, возложена... и ему предстоит выполнить... Поэтому он не только записывал рассказы Петра, но и подробно расспрашивал всех, кому доводилось видеть и слышать Иисуса. Много лет было отдано упорной черновой работе, и когда Марк и Петр снова встретились — это произошло уже в Риме, — Иоанн Марк приступил к написанию Евангелия. Приступил при поддержке и участии Петра, который помогал ему советами, хотя и не мог прочесть Евангелие в оригинале, и Марку приходилось переводить для него законченные отрывки. Не слишком

грамотный и неискушенный в науках Петр, ставший апостолом после того, как он много лет прорыбачил на Генисаретском озере, конечно же, не знал греческого языка, Марку же хотелось, чтобы о жизни Того, Кто называл себя Иисусом, слышали не только в Иерусалиме, но и во всей Римской империи, поэтому Евангелие писалось по-гречески, и даже встречавшиеся в нем выражения на арамейском языке снабжались переводом. Стремление Марка донести благую весть об Иисусе до всех народов, пользовавшихся разговорным греческим языком, удерживало его и от частых ссылок на Ветхий завет, книги которого оставались почти неизвестными эллинскому миру. Имена еврейских пророков ничего не говорили портовым грузчикам, морякам, уличным торговцам, гладиаторам, рабам и проституткам, а именно к ним, к людям городского дна, в первую очередь и обращался Марк, хорошо помнивший о том, что и Иисус проповедовал среди бедноты. Обращался на простом и доступном языке, похожем на мелодию камышовой дудочки, на которой играет погонщик быков, везущий свой товар на рынок. Простая мелодия, но проникает в самое сердце — вот так же и слова Марка проникали в сердца его первых слушателей и читателей.

Так же проникают они и в мое сердце, и, открывая книгу второго евангелиста, я не нахожу в ней экзистенциальных ответов. Не нахожу нигде, кроме одной сцены — той самой, свидетелем которой был сам Иоанн Марк, завернувшийся в покрывало и спрятавшийся за камнем. «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь, и бодрствуйте. И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты». Да, был Гефсиманский сад, одетый легким весенним туманом, были Петр, Иаков и Иоанн, оставшиеся неподалеку, и была последняя молитва, и было красное экзистенциальное — сознание скорби, тоски и ужаса, и было голубое евангелическое: «...не чего Я хочу, а чего Ты».

Не Я, а — Ты. И моя жизнь словно бы обращалась вспять, как река к собственным истокам, и пятидесятые сменялись сороковыми и тридцатыми, и я вновь оказывался там, среди старых домов с подвальными окнами, безучастно разглядывающими мои ноги, фанерных будок приема стеклотары, дровяных сараев с прохудившимися крышами и обгоревшими балками, напоминающими о недавних пожарах, узеньких тротуаров с каменной коновязью и трамвайных рельсов, проложенных по брусчатой мостовой. И я снова видел дедушку в начищенных мелом ботинках, белых парусиновых брюках и рубашке апаш, и видел бабушку, на которой было синее вуалевое платье, вышитое серебряными ирисами, и видел мать в белых гольфиках и клетчатой юбке с кружевными оборками, о которую она — грязнуля и неряха, по определению рассерженных взрослых, — вытирала перепачканные шоколадом пальцы.

— Как она неаккуратна! Как не приучена к порядку! — говорят они с выражением бессильного упрека и беспомощного сетования на то, что исправить уже невозможно и с чем остается лишь раз и навсегда смириться. — Даже игрушки за собой не уберет!

И в самом деле — даже игрушки, даже своих куколок, одеяльца, посуду, фантики от конфет не уберет, не сложит в коробочку, не спрячет в заветное местечко, и это, разумеется, никуда не годится, и они готовы вознегодовать, упрекнуть и посетовать, но их сетования беспомощны, упреки бессильны, негодование же и вовсе кажется напускным, и Ангелина это чувствует и поэтому даже не старается оправдываться, не делает виноватое лицо, а лишь ждет, когда мать сменит ей юбку и сама вымоет руки, по очереди подставляя под струю воды перепачканные шоколадом пальцы.

— Скорей же! Скорей! — нетерпеливо подпрыгивает она на месте, как бы показывая, что медлительность матери дает ей право на каприз.

И мать устало встает с дивана, подходит к старому комоду, выдвигает длинный и тяжелый ящик, где хранится детская одежда, достает оттуда такую же клетчатую юбку с оборками и подзывает к себе Ангелину:

— Ну где же ты, горе мое!

Ангелина нетерпеливо подпрыгивает, а мать устало встает, подходит и выдвигает, хотя ее давно уже нет на свете, и дедушки тоже нет, и сама Ангелина — давно уже не Ангелина, а седенькая старушка с узлом заколотых гребнем волос на затылке, которая целыми днями носит на руках ленивого кастрированного кота, смотрит в мигающий телевизор и лежит на диване с газетами. Да, носит кота, смотрит в телевизор и лежит на диване. Носит, смотрит и — лежит. И никто ей теперь не скажет, как она неаккуратна и не приучена к порядку, потому что тридцатые сменились сороковыми, а сороковые — пятиде-

сытыми и то, что было в жизни красным, экзистенциальным, стало голубым, евангелическим...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

...конечно же, никакая не дача, если подразумевать под этим словом бревенчатый дом на каменном фундаменте, какие строили в пятидесятые годы, — с крылечками, балконами, террасками, украшающими окна резными наличниками... Если подразумевать именно это — конечно же... Никакой дачи в привычном смысле слова, собственно, и не было, а была, если можно так выразиться, п о л о в и н к а. Половинка неказистого, местами залатанного фанерой, похожего то ли на сарайчик, то ли на голубятню дачного дома с замшелым валуном вместо ступеней крыльца, марлевыми занавесочками на окнах и дубовыми листьями в желобках прохуdivшейся шиферной крыши. Строился этот домик, что называется, на паях — большую часть суммы внесли мы и оставшуюся часть родственники не то чтобы близкие и не то чтобы дальние: одним словом, третья или четвертая вода на киселе. Дальними они считались лишь в том смысле, что жили от нас далеко, на противоположном конце города, и встречались мы не очень часто. Жили в таком же двухэтажном, деревянном, веселеньком, что и мы. Ни ванны с горячей водой, ни прочих признаков зарождающегося социалистического комфорта у них не было, поэтому и — не очень... от случая к случаю, а если и случая не выпадало, то обменивались открытками по праздникам: «Здравствуйте, дорогие Полина, Аркадий и Шурочка! Поздравляем вас с тридцать седьмой годовщиной советской власти! У нас все здоровы, мы живем хорошо, много работаем. Напишите, как вы, много ли приходится работать, все ли здоровы?»

Так обычно писала мать на обратной стороне праздничной открытки с серпом и молотом, красными флагами, профилями основателей и вождей и цифрой «37», как бы поднимающейся в зареве салютов. Открытку она для верности запечатывала в конверт, аккуратным ученическим почерком надписывала адрес и, не доверяя почтовому ящику, висевшему на стене нашего дома, относила на почту и опускала в главный почтовый ящик. Ответные же открытки приходили без конверта, с нацарапанным наспех адресом, и писали в них родственники, что живут они плохо, без конца болеют, едва-едва сводят концы с концами и надежд у них никаких. Да, да, так и писали: «Дорогие Серафим, Ангелина и Коленка! Живем мы по-прежнему плохо, часто бодем, сидим без копейки денег и даже не надеемся на лучшее». С годовщиной советской власти не поздравляли — то ли забывали, то ли не хотели поздравить. И сразу, с самых первых строк жаловались, что плохо живут. Очень плохо, знаете ли: тридцать седьмая годовщина, а они ютятся в своем веселеньком, как мыши в норе. Поэтому, читая вслух открытку, мы жалели наших бедных родственников. Третья или четвертая вода, а мы все равно жалели и вечно думали, чем бы им помочь. Так и получилось, что мы заплатили большую, родственники же — меньшую часть суммы: вот кисель и варился медленно. Варился, ворчал, попыхивал паром из-под пляшущей крышки и все никак не мог свариться, мы же знай подбрасывали в кастрюлю то крахмал, то сахар, то смородину, то малину...

Плотники, с которыми мы договорились вначале, на второй день исчезли вместе с авансом, оставив нам лишь пару молотков, шербату пилу и кучу ржавых гвоздей. Сменившую их бригаду мы сами выгнали за то, что, выпив поставленные им по случаю заключения контракта три бутылки водки, они выпили и весь одеколон, хранившийся на прибитой к старому дубу — рядом с ручным умывальником — фанерной полочке, и похитили из аптечного шкафчика дюжину пузырьков со спиртовыми настояками.

Зато следующая смена плотников, в которых мы, наученные горьким опытом, заранее заподозрили и пьяниц, и воров, и даже убийц (заподозрили и смирились: будь что будет), тихо-мирно взялась за дело, и вскоре на доставшемся нам участке земли появился сарайчик-кухонька, где мы ели, пили и спали, а затем, как гриб из земли, стал выпирать дом, обрастая балкончиками, крылечками и террасками.

Правда, мирная тишина у нас на участке вскоре была нарушена, и наши подозрения подтвердились совершенно неожиданным образом: хотя среди нанятых нами плотников убийц, слава Богу, не нашлось, но зато нашелся самоубийца, повесившийся однажды утром в дачной уборной. Самоубийцей оказался самый тихий и молчаливый из плотников, бледный, с нездоровым лицом и задумчивым, отрешенным, странно застывающим на случайных предметах взглядом. Он

никогда не раздевался на жарком июльском солнце, носил наглухо застегнутую робу, вечно смолит крепкую и едкую самокрутку, оставлявшую в воздухе желтоватый дымок, постукивал молотком где-то в сторонке, поодаль от своих товарищей, и даже обедать приходил на кухню последним, после всех. Приходил и садился на краешек стула, нехотя пододвигал к себе тарелку, брал ложку, отламывал хлеб, и задумчивый, отрешенный взгляд его голубых глаз, отыскав случайный предмет — хлебницу, перечницу или солонку, — так и застывал на нем до конца обеда. Застывал и никогда не передвигался на другие предметы, не блуждал по стенам, не останавливался на лицах тех, кто сидел рядом. После обеда молчаливый плотник снова сворачивал самокрутку, чиркал спичкой о коробок с этикеткой «Золотой колос», равнодушно и вяло закуривал, выпускал колечко желтоватого дыма и до вечера постукивал молотком в стороне от товарищей.

Постукивал, постукивал — удары молотка разносились по всему участку, и нам казалось, что работа спорится, что скоро у нас будет дом, и мы заранее предвкушали, как переедем на дачу (переедем на дачу — это звучало сладко и завораживающе!), и беспечно радовались жизни, словно бы лишенной экзистенциальных отсветов. Да, да, бывает, что жизнь словно бы лишена их, тревожно-красных или ядовито-зеленых, и мы — радовались. Радовались и предвкушали, как переедем, расставим в комнатах вещи, откроем окна в сад и почувствуем: вот оно, свершилось, мы на даче! Радовались тою непосредственной радостью, которая окрыляла в начале пятидесятых открывателей новых кооперативных земель, пионеров дачных колоний, и только наш молчаливый плотник ничему не радовался, а просто постукивал молотком, чтобы занять руки и не поддаваться навязчивым мыслям. Навязчивым и беспокойным — тем самым, которые выдавал его застывший взгляд. Постукивал с неким, я бы даже сказал, экзистенциальным упорством: стук, стук, стук. Постукивал, постукивал, а однажды утром взял да и повесился на тонком шнурке от плотничьего отвеса, привязанном к крюку дачной уборной.

Повесился, хотя, по отзывам товарищей-плотников, никаких особых причин у него для этого не было. Жил, как и все, — вот единственная причина. Жил, пока нелепая и уродливая гигантша не заглянула в лицо, не состроила рожу, не ткнула крючковатым и заскорузлым пальцем и не обдала теплым и смрадоватым дыханием. Так и получилось, что отец, первым открывший дверь в уборную, увидел висевший на веревке труп с вытянутыми вдоль туловища руками, головою, повернутой набок, и согнутыми в коленях ногами (потолок в уборной был низким, вот и пришлось подкоротиться). Разумеется, мы сразу же заявили обо всем в милицию, и нас долго допрашивали — сначала уполномоченный уголовного розыска, а затем следователь районной прокуратуры. В гигантшу жизнь они, понятно, не верили, но поскольку и иных версий у них не возникало, дело закрыли и нас оставили в покое — мало ли дураков накладывает на себя руки! С этим мы не спорили, хотя и думали про себя, что дуракам все же проще: наложил на себя руки — и никаких забот, но как прикажете быть нам, умным! Снова искать плотников, договариваться о цене? Нет, пожалуй, хватит! Сами построим как сумеем — где досочки прибьем, где фанерку! Главное, чтобы крыша не текла и из щелей особо не дуло, а остальное... ладно... чего там!

Ладно... чего там... как-нибудь, говорили мы, выпрямляя загибавшиеся гвозди, колотя молотком по шляпке, снова загибая их и снова выпрямляя. Вот так и вышло, что вместо большого деревянного дома, какие строили в пятидесятые годы, мы выстроили неказистый, покосившийся, местами залатанный фанерой, похожий то ли на сарайчик, то ли на голубятню. К тому же и досталась-то нам всего половинка — вторую половинку заняли родственники. Заняли, и слава Богу — мы были только рады, что у нас есть соседи, что за стенкой слышны голоса, что всегда можно одолжить соль или сахар, а не бежать в палатку. Да и детям вместе веселее — Коле и Шурочке. Привезли машину песка для огорода, выгрузили у калитки, и вот они весь день копаются, строят замки, роют ходы, прокапывают рвы и заливают водой. Или сидят в своих комнатах и перестукиваются через фанерную перегородку. Или ходят друг к другу в гости с горсточкой крыжовника, кружкой смородины и тарелкой клубники. Одним словом, половинка так половинка — главное, что мы родственники, и не важно, кто победней, кто побогаче. Родственники, а не чужие люди, поэтому наши половинки легко складываются вместе, и никаких заборов нам не надо.

Шаткий дощатый заборчик, разгораживающий наш участок, появился уже не в пятидесятые, а в начале шестидесятых годов. Во всяком случае, на одной



из фотографий, хранящихся в альбоме и помеченных июлем 1962 года, он уже достаточно хорошо заметен, этот заборчик, хотя еще и не до конца ясно, разгораживает он участок или просто поддерживает отяжелевшие (год-то был яблочный, урожайный) ветки яблонь. Такой, знаете ли, шаткий, дощатый — скорее всего просто поддерживает. Ну чего там разгораживать — участок небольшой, и без того ступить некуда! Так что скорее всего — просто! Поддерживает, и все тут! Но вот на фотографии, помеченной следующим, 1963 годом, заборчик выглядит уже несколько иначе: подновлен, починен, — и ни у кого не остается сомнений в том, что он все-таки разгораживает. Как ни крути, как ни верти, с какой стороны ни приглядывайся, а разгораживает, так что получается половинка к половинке, а между ними — заборчик. Заборчик, а по обе стороны от него — половинки.

Именно такой запечатлена наша дача на фотографиях, которые я часто разглядываю, листая твердые, картонные, с синеватым крапом страницы альбома, переложенные хрустящим пергаментом, и во мне причудливо оживает давнее — знакомое, как привкус касторки или рыбьего жира на кончике серебряной ложки, — экзистенциальное чувство.

Половинки не соединяются, не складываются вместе — между ними заборчик, и вот у меня, запечатленного на фотографиях рядом с дачей ребенка, появляется чувство некоей утесненности, половинчатости жизни. Я вроде бы и живу — бегаю, прыгаю, раскачиваюсь на скрипучих качелях, привязанных к старой елке, лазаю по кривой березе с ромбиками моха в трещинах коры, но в то же время меня словно бы что-то теснит, что-то мне мешает. Я бегаю, прыгаю, раскачиваюсь на качелях и лазаю по березе здесь, перед своим забором, а туда, за заборчик, мне нельзя — там чужая половинка.

Нельзя, нельзя — как бы мне ни хотелось думать, что можно. Стараясь себя обмануть, я, однако же, позволяю себе подумать, как бы невзначай приближаюсь к забору, ставлю ногу на камушек, чтобы легче было перелезть через забор, но при этом я все-таки знаю, что нельзя, — и не перелезаю. Не перелезаю и делаю вид, что мне хотелось просто подойти и поставить ногу. Просто подойти и поставить — бывает же такое желание! Бывает, конечно, бывает, и вот я делаю вид. Надо сказать, что у меня это очень хорошо получается, и мне не требуется подсказок в том, с чего начать и чем закончить. Начать — с безразличного и скучающего выражения лица, присущего ребенку, который вечно томится от безделья, а закончить — вздохом полнейшего разочарования: и это оказалось неинтересным! Иными словами, я человек искушенный: научился, натренировался, поднатерел, а сделать вид для ребенка — это уже экзистенция, и вот я делаю, делаю, делаю, как бы ошупывая кончиками пальцев ноздреватое, пористое вещество...

— Ну что ты сторожишь весь день этот забор! Никто его не украдет! Шел бы лучше на солнышко, — говорит мне мать, тоже отчасти делая вид, что сама она словно и не замечает нового забора и озабочена лишь тем, чтобы я побольше бывал на солнце. — Ты меня слышишь?

— Слышу, — отвечаю я тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к ней, чтобы эти слова не были истолкованы как готовность выполнить ее приказание.

— А раз слышишь, так иди... — произносит она на той неуверенной ноте, которая выдает некую уклончивость ее приказания, возникающую от сознания того, что она все-таки понимает меня лучше, чем пытается изобразить. — Иди, малыш. Поиграй на солнышке. Там тебя Шурочка ждет.

Это уже не приказание, а просьба, смягченная робкой ссылкой на Шурочку. Я молча и решительно качаю головой.

— Ты мне не веришь? — удивленно спрашивает мать, озадаченная моим отказом, означаящим, что по поводу высказанного ею предположения я мог бы сказать гораздо больше.

— Шурочка меня не ждет. Она больше не хочет со мной играть, — говорю я, как бы и не собираясь скрывать, что это вовсе не предположение, а самая беспощадная истина.

— Почему не хочет? Вы с нею поссорились? — Заранее подсказывая мне ответ, мать как бы невольно выдает то, что осторожное предположение для нее желательнее, чем истина.

— Нет, мы не ссорились. — Отвергая подсказку, я упрямо предпочитаю желаемому нежелаемое. — Просто Шурочка сказала, что мы бедные и ей со мною неинтересно...

Не знаю, как мы превратились в бедных, если никогда не были богатыми и к тем вещам, которые мы имели — абажуру, диванчику с валиками, круглому обеденному столу, — так ничего и не добавилось за то время, пока пятидесятые сменялись шестидесятыми. У других добавилось, а у нас — ничего, и мы

постепенно забывали о том, что имели вещи, и лишь смутно помнили, что они у нас е с т ь. Поэтому наш зеленоватый пыльный графин с треснувшей пробкой вдруг оказывался у соседки справа, которая наливала в него клюквенный морс, а давно пропавшие стенные часы с погнутыми стрелками мы неожиданно обнаруживали у соседки слева, принимавшей по ним гомеопатические шарики. То же самое происходило и с соседскими вещами, и мы годами сидели на одолженных нам стульях, ели из чужих тарелок и пили из чужих чашек. «Я сегодня блинов испекла. Угощайтесь, пожалуйста», — говорила соседка с противоположного конца коридора, заглядывая к нам со стопкой дымящихся блинов, приправленных густой сметаной. «Спасибо, дорогая. Подождите, мы тарелочку вам вернем», — отвечала мать, доставая из буфета с в о ю тарелку, чтобы переложить в нее блины, но соседка уже исчезала за дверью: «Да после вернет».

И с тарелками и с чашками то же самое. «Попробуйте, какой у меня квасок настоялся». И большая синяя чашка с золотистыми ободками на целый год поселялась у нас в буфете. Поэтому наше постепенное превращение кажется мне загадкой тем более, что и превращения-то никакого, собственно, и не было, и мы остались теми, кем были, и к имевшимся у нас вещам ничего не добавилось, а вот на тебе — бедные! Такие бедные, что хоть плачь — даже дети говорят об этом! Родственники же наши, чьи голоса доносились из-за перегородки, стали незаметно богатеть. Очень незаметно, знаете ли, но по голосам это слышалось: раньше у них были тихие и робкие голоса, теперь же в них словно бы обозначился призыв металла и что-то зазвенело, как звенят медные деньги в сложных коробочкой ладонях. Сложишь, потрясешь — и зазвенит. Таинственно, невнятно, глуховато, глуховато. Вот так же и в голосах — звенело, и началось это после того, как родственники перестали собирать крыжовник по горсточке, смородину по кружке и клубнику по тарелке, и произошло это в ту пору, когда годы таких горсточек, кружек и тарелок — пятидесятые годы — сменились шестидесятыми. Сменились годы, а значит, и собирать можно было больше — ведрами и тазами. Для этого родственники вскопали новые грядки под клубнику, удлиннили ряды смородины и крыжовника. Потому-то и зазвенело сначала в ладонях, а потом и в голосах, и бывшие бедные родственники вдруг стали богатыми, мы же, и не бедневшие и не богатевшие, оказались среди бедных, как будто именно здесь нам и место.

Оказались, хотя и нам хотелось разбогатеть и мы могли бы вскопать, удлинить, застеклить. Могли бы, но что-то удерживало, что-то не позволяло — некая досадная помеха, некое стеснение в груди, обручем сжимавшее легкие и не давшее глубоко вздохнуть. Вот вроде бы и вздохнул, набрал полную грудь воздуха, а до конца все равно не получается — недобираешь частичку. Так же и мы, берясь за молотки и лопаты, словно бы ждали, что нам скажут: «А ведь дедушка-то у вас был кулак!» Скажут, и нам снова придется подкоротиться, вытянуть вдоль туловища руки и уронить набок голову, как молчаливому плотнику, повесившемуся в уборной. Родственникам же нашим повезло — их дедушки и бабушки не были кулаками, а, напротив, сами раскулачивали и ссылали. В те самые — именуемые тридцатыми — годы они, надев пролетарские косоворотки и повязав комсомольские косынки, ходили по деревне с лозунгом «геть куркуля!» и вывозили на телегах конфискованное имущество. Поэтому их внукам не надо было укорачиваться — они могли удлиниться.

Удлиняться даже за счет нашей половинки — наша-то все равно пустова-ла, — и вот однажды родственники словно по ошибке посадили цветы у нас на клумбе, поставили шкафчик и зеркало у нас в комнате и вынесли диванчик к нам на террасу. Мать и отец попытались им напомнить, что когда-то именно мы заплатили большую часть суммы за постройку дачи, но они ответили, что те годы давно прошли и наша большая часть постепенно превратилась в меньшую. Превратилась так же, как превращается в приземистую коротышку пожарная каланча, окруженная высокими домами. Одним словом, диванчик остался стоять на террасе, и всякий раз, когда я на него забирался, мать мне говорила: «Нельзя. Испачкаешь. Это чужое». То же самое повторялось, когда я украдкой заглядывал в шкафчик, надеясь обнаружить там бумажный кулек с конфетами, купленными в пристанционной палатке, или рисовал пальцем на пыльном зеркале. «Это чужое. Нельзя. Сколько раз тебе повторять!» — сокрушенно вздыхала мать, плотно закрывая передо мной дверцы шкафа и отнимая мои руки от зеркала. И когда рвал цветы — то же самое. И когда не рвал, а просто ловил бабочек на клумбе: «Нельзя... нельзя... нельзя...» «Почему же нельзя?! Ведь раньше было можно!» — с обидой спрашивал я мать, как бы внушая ей, что заключенное между раньше и теперь время — недостаточный повод для такой несправедливости. Мать ничего не произносила в ответ, хотя улыбка на ее лице означала, что она признает мою правоту и даже готова со мной согласиться, но — сделать

ничего не может. Может только вздохнуть и виновато развести руками: мало ли что было р а н ь ш е! Ты уж не обижайся, дружок!

Так появилось во мне чувство, что можно — это на самом деле нельзя, и то, что мне принадлежит, — не мое, и моя жизнь — всего лишь маленькая половинка, доставшаяся мне после того, как целую жизнь несколько раз согнули и разогнули, словно крышку жестяной банки, а затем разорвали на две части: «Вот тебе, мальчик, держи! Только не оцарапайся!» И протянули мне половинку с острыми, рваными, зубчатыми краями. Протянули, и я — держу. Крепко держу жестянку, царапающую мне пальцы. Держу так, что по руке сочится кровь, затекающая в рукав рубашки. Держу, похныкиваю, плаксиво кривлюсь от боли, но не выпускаю, потому что это — половинка моей единственной жизни и другой у меня никогда не будет.

## 3

Так о чем я, собственно? О чем я тут рассказываю, стараясь не упустить ни одной подробности, ни одной мелкой детальки — словно бережливая, скуповатая хозяйка, у которой и крошки не пропадет, — все сгребая в горсточку и крепко зажимая в кулак? А ну попробуй разожди — не выйдет, потому что каждой крошке я знаю цену, каждая у меня на счету и каждая пригодится: курам брошу или кобыла языком слизет. Из деталек же — и того пуще! — роман слепить можно. Замесить покруче, дрожжей добавить и в печку сунуть. Вот и получится сдобный Роман Романыч с масляными глазками-изюминами, хотя ни сюжета, ни героев в нем нет да и философия-то, если признаться, случайная... Но что поделаешь — такие уж скудные времена настали, что ни сюжета, ни героев, ни философии и нужна очень бережливая хозяйка, с крепким кулачком, чтобы нечто замесить и испечь.

Я и есть такая хозяйка, собирающая в кулачок подробности, мелкие детальки и бережливо распоряжающаяся ими. Одну — сюда, другую — туда: глядишь, и тесто уже подымается, и в печь ставить пора. Одним словом, Роман Романыч... И собственно, о чем я рассказываю, или, говоря на старый лад, повествую? Да все о том же — о жизни, о своей единственной половинке. И вроде бы иногда повествую так, что возникает и сюжет, и герои, и некая, знаете ли, философия, и мне кажется, будто я и не повествую вовсе, скупно расходуя согретые в кулаке, размякшие и слипшиеся, словно дешевые конфеты из бумажного кулька, детальки, а жи в у, и пух одуванчиков плывет надо мною голубым облаком. Возникает — и тотчас же нет ее, моей философии, и то, что казалось, исчезает, словно мираж, и голубой пух рассеивается в воздухе, и я снова — повествователь, спотыкающийся об извечное экзи... экзистен... Ни философии, ни героев, ни сюжета нет и в помине, а есть все та же жизнь в ее экзистенциальных ответах и под пальцами — ноздреватая и пористая пемза. «Да хватит вам про пемзу! Сколько можно!» Ага, не выдержали! Значит, и вы теперь экзистенциалист, раз подушечки ваших пальцев покалывает при каждом упоминании о ноздреватом и пористом веществе! И не пытайтесь сослаться на то, что вы просто не выдержали однообразного повторения: пемза, пемза, пемза. Преследующий вас страх однообразия и есть начало болезни, и коли уж вы заболели, батенька, то лучше поймете меня в том, что мне сейчас хочется сжать в комок слипшиеся крошки жизни, размягчить, размять их в пальцах и слепить уродливую экзистенциальную фигурку под названием пятидесятые годы.

Что же это были за годы — мои пятидесятые? Чем больше я думаю об этом, тем чаще мне приходит на ум сравнение — вот я, извалявшись в снегу, возвращаюсь домой, и на шерстинках черных валенок намерзли крошечные ледяные комочки. Счистить их венником не удается, и я отрываю их по одному — долго-долго. Дергаю за льдинку, и она отрывается вместе с кусочком черной шерсти. Дергаю, и отрывается. Дергаю, дергаю, дергаю, пока не надоест и я не догадаюсь поставить валенки поближе к горячей печке, чтобы они сначала намокли от растаявшего льда, а затем высохли и запахи пригоревшим хлебом. Эта вмержшая в ледяные шарики черная шерсть от валенок и есть мои скудные пятидесятые, вызывающие во рту привкус зимнего двора, помоек, голубятен, ржавых и скрипучих ворот на столбах с облупившейся штукатуркой, дровяных сараев с заснеженными крышами, с которых мы прыгали — легишь, и ветер свистит в ушах — в горбатые сугробы. Впрочем, обо всем этом можно не говорить — достаточно черных шерстинок. Ни о чем не рассказывать, ничего не описывать — только шерстинки, вмержшие в ледяные шарики, и это будут пятидесятые годы, и это будет моя жизнь, моя единственная половинка...

Рассказать, пожалуй, стоило бы лишь о студебекере и любви к Шурочке. Стоило хотя бы потому, что в этом заключалось нечто про ж и в а е м о е мною — заключалось так же, как и в слобно пахнувших валенках, поставленных к печке, лужице от растаявших льдинок и снятых с валенок калошах, красных изнутри и черных снаружи. В самом конце мая, когда хромая дворничиха в брезентовом фартуке и рукавицах начинала поливать двор из резинового шланга, змеившегося по мокрой земле, мы заказывали грузовик для перевозки вещей, грузили в него старенькие, расшатанные стулья, столы и шкафы, пару закоптившихся кастрюлек, чайник с отбитым носиком — не новое же грузить! — и ехали на нашу половинку. Хромая дворничиха поливала двор, на окнах просушивали подушки, на суку большого тополя вешали качели, а под тополем вкапывали столик для дымо, но все это для меня словно и не существовало, словно не доходило до моего сознания, как не доходят до нырлящика звуки с поверхности воды, и я всецело находился под властью одной лишь жгучей, лихорадочной, почти маниакальной мысли: когда же? Когда же я наконец проснусь утром, зная, что сегодня за нами приедет студебекер?!

Это магическое слово вот уже несколько дней произносилось у нас дома на все лады, с разными оттенками голоса, с разными выражениями лица и жестами такими же разными, то подчеркивающими значительность предстоящего события: «Да, да, мы скоро переезжаем! На среду уже заказан студебекер!» — то призывающими отрешиться от всех прочих забот и целиком посвятить себя переезду на дачу: «Нет, нет, мы скоро переезжаем... на среду... уже заказан...» Да, да... нет, нет... — все причудливо смешивалось, и распоряжения, отданные на субботу, отменялись в воскресенье, и то, что было полностью готовым к понедельнику, оказывалось вовсе не готовым во вторник, и приходилось снова распаковывать коробки и развешивать тюки, снова все пересматривать и пересчитывать, докладывать недостающую ложку, чашку или тарелку и — в который раз! — запаковывать и завязывать, принося тем самым еще одну жертву грозному и ненасытному идолу с языческим именем студебекер.

Но если взрослые вскоре безнадежно уставали от жертв и, мечтая избавиться от ненасытного идола, произносили с обреченным вздохом: «Когда же все это кончится!» — то я без устали шептал его имя, и оно звучало во мне как молитва: студебекер... студебекер... студебекер... Это было очень важно, что за нами приедет не просто грузовик, а именно он, грозный и величественный, загадочный и непостижимый студебе... Порою мне даже не хотелось произносить это слово, чтобы спрятать его, утаить, заставить принадлежать лишь мне одному, и тогда — не произнося ничего вслух — я, словно фокусник с волшебной палочкой, неким мысленным прикосновением превращал в студебекер мать, кормившую меня манной кашей, и отца, читавшего рядом газету, превращал скрипевший подо мною фанерный стул, белую изразцовую печку с чугунной дверцей, окно с серыми ключьями ваты, оставшимися после зимы, завалившийся набок диван, покрытое плюшевым ковриком кресло — все было студебекером, а сам я, слизывавший остывшую манную кашу с тяжелой мельхиоровой ложки, одновременно превращался и в лихого шофера, и в натужно ревуший мотор, и в крутящиеся колеса.

Наконец наступала среда — тот самый долгожданный день, когда, проснувшись утром, я уже знал: сегодня! Именно сегодня произойдет то, к чему стремились, к чему готовились, чего с таким нетерпением ждали, а сегодня оно произойдет. Произойдет, произойдет — немисливо себе представить. Настолько немисливо, что даже думаешь: а может быть, лучше, чтобы оно не происходило?! Зачем ему происходить, если оно и так есть и то, что тебя переполняет, радует и мучит, от чего тебя лихорадит и бросает в жар, — это именно оно, уже существующее в тебе и не требующее воплощения в мире реальных предметов. Воплощение же только похитит твой восторг, отнимет частичку того блаженства, которое ты испытываешь, и ты почувствуешь себя счастливецем, обманутым собственным счастьем.

Конечно, возможность обмануться меня пугала, и поэтому с утра я бывал раздражителен, капризен и даже плаксив, чем навлекал на себя упреки взрослых, но точно так же, как я не удержался бы от соблазна заглянуть в таинственную и страшную дверцу, случайно обнаруженную в стене под обоями, я не мог устоять перед желанием, чтобы э т о наконец сбилось и студебекер с пирамидой вещей, покачивающейся под брезентовым верхом, отвез нас на дачу. Пускай я даже разочаруюсь, но лишь бы заглянуть в дверцу. Лишь бы заглянуть, а там не важно, что за нею не окажется ничего, кроме входа в соседнюю комнату, совсем не страшную и не таинственную, а, напротив — совершенно привычную и обыкновенную. Пускай — я не пожалую, потому что разочарование наступит после, до этого же будет миг — всего один миг, — когда я буду медленно тянуть на себя

дверцу, с трудом отрывая ее от дверного косяка, и с замиранием сердца думать: а что же за ней?! Потайной лаз, заваленный замшелыми камнями, или обрывки веревочной лестницы, покачивающейся под потолком, — не важно: можно думать все что угодно! Главное — в самом этом миге заключена награда за разочарование и она дается раньше. Сначала — награда, а потом — разочарование, поэтому пускай сбывается то, чего я так нетерпеливо жду, и пускай сбывшееся сиротливо перекачивается в ожидаемом, как маленький шарик на дне большой коробки.

Иными словами, с утра я бывал капризен и плаксив, но при этом старался таким образом перемещаться по комнатам, чтобы с любого места видеть окно. Это было моей постоянной заботой — непременно видеть окно и в раздвинутые занавески — двор, дощатый забор палисадника, окружающий взрыхленные грядки, выгнутую решетку ограды и ворота на кирпичных столбах, в которые должен был въехать он, студебекер. Въехать задним ходом и осторожно подрулить к подъезду. Он, он, он, грозный и величественный, загадочный и... Разве мог я пропустить такой момент! Поэтому я одевался, стоя лицом к окну, и завтракал, сидя лицом к окну. И перемещался по комнатам... И разговаривал со взрослыми... «Повернись же ты ко мне наконец! Куда ты все время смотришь?» — негодовала мать, разворачивая меня за плечи и заставляя смотреть ей в лицо в подтверждение того, что я ее слышу и обещаю выполнить все ее приказания. Я подчинялся, но даже глядя в лицо матери, умудрялся не упускать из виду окно, удерживая его краешком глаза, присматриваться, принохиваться и сторожить, как лисица до наступления сумерек сторожит пролом в заборе, сквозь который можно проникнуть в курятник.

И вот ожидаемое случалось, и сначала я слышал — улавливал воспаленным слухом звук, который нельзя было спутать ни с чем, кроме приближающегося шума мотора, а затем в моем сознании обозначалась мысль, что это не просто шум проезжающей мимо машины, а мотор студебекера, который разворачивается и задним ходом подруливает к подъезду. Именно так, как я себе и представлял: разворачивается и задним ходом... Боковая дверца при этом, конечно же, приоткрыта, и шофер, чья правая рука лежит на баранке, выглядывает из кабины, чтобы не задеть за столбы ворот, забор палисадника и шести, поддерживающие бельевые веревки. Именно, именно не задеть и остановиться прямо у подъезда. Остановиться, опустить задний борт и сказать хозяевам: «Ну что? Будем грузить?» И хозяева ответят: «Будем, будем!» — и сейчас же возьмутся за тюки и чемоданы, стаскивая их вниз по деревянной лестнице, тараня ими забухшую, с трудом поддававшуюся дверь и подавая в пыльный кузов шоферу, и я буду так настойчиво им помогать, суетиться, хвататься за все подряд и вырывать из рук, что они не выдержат и скажут: «Ах, не мешай ты, ради Бога!» Они скажут, а я с удивлением подумаю: когда же моя помощь успела превратиться для них в помеху?! Подумаю и даже немного обижусь: когда же? Не тогда ли, когда я пытался и отдувался, вместе с ними волоча по ступеням большой, обвязанный ремнями чемодан? Обижусь, отойду в сторону и даже отвернусь к стене, чтобы мой несчастный вид служил для них укоришной, но тотчас и забуду о своей обиде, такой ничтожной и мелкой по сравнению с тем, что долгожданный день наконец настал и студебекер отвезет нас сегодня на дачу.

## 4

Я полюбил Шурочку после того, как она перестала со мной играть. До этого я не испытывал к ней никакой любви и относился весьма сдержанно, с сознанием своего превосходства и даже некоторой заранее заготовленной насмешливостью, с которой и следовало относиться к соседской девочке, участвующей в твоих играх и отстающей от тебя ровно настолько, насколько она — девочка, а ты — мальчик. Насмешливость, заранее заготовленная и спрятанная под терпеливо-выжидательной и оценивающей улыбкой, проявлялась всякий раз, когда отставание становилось особенно заметным и победа над отставшим давалась слишком легко для того, чтобы приносить удовлетворение. Вот тогда-то вместо гордости за свою победу я проникался насмешливым презрением к проигравшему, который был виноват лишь в том, что на его месте не оказался другой, способный осчастливить меня возможностью и побеждать и гордиться. Поэтому в моем презрении было больше досады, а в насмешливости — обиды и разочарования, и я чувствовал себя заранее обреченным на выигрыш, заключающийся в сомнительном праве дать боязливый шелчок тому, кто проиграл. Боязливый — потому что иначе проигравший заплачет, и тогда виноватым окажусь я, от моего выигрыша ничего не останется, и он превратится в позорный проигрыш.

Превратится потому, что мне станет жалко плачущего, а плачущий получит несомненное право на ответную неприязнь. Значит, между выигрышем и проигрышем вообще нет границы, как нет ее между презрением и жалостью, жалостью и любовью, и главное не в том, кто проиграл и кто выиграл, а в том, что один из нас мальчик, а другой — девочка, и поэтому презрение так легко переходит в жалость, а жалость — в любовь.

— Ну что? Испугалась Трусиха! — поддразнивал я Шурочку с верхнего сука старой ели, на которой она никак не могла забраться и лишь беспомощно карабкалась по стволу, пачкая голые колени смолой и отчаянно пытаюсь подтянуться на худеньких — с синевой — руках.

— Тебе хорошо! — упрекала Шурочка, глядя на меня снизу вверх, и на ее личике обозначалась обиженная гримаса.

— Я же говорил тебе, что ты не сможешь! Говорил? — спрашивал я с торжествующим видом человека, выбравшего лучшее место и время для подобных уточнений.

— Говорил... — Шурочка признавала мою правоту в той степени, в какой это позволяло рассчитывать на снисходительность к ее неправоте.

— И ты не верила? — продолжал я спрашивать, находя в этих уточнениях новый повод для торжества.

— Не верила...

— А теперь будешь?

— Буду...

— Ладно, давай помогу... — Спустившись с верхнего сука на нижний, я терпеливо подсаживал — подталкивал, подпихивал — Шурочку под обтянутый ситцевыми трусиками задик с красными полосками от тугой резинки, и она казалась мне еще более неуклюжей, угловатой, похожей на лягушонка.

То же самое повторялось и в игре, в которой я убегал, а она догоняла и никак не могла догнать, спотыкалась, падала, ушибала до синяков колени и затем долго ходила прихрамывая, с ослонявленным подорожником на ушибленном месте. «Эх ты, черепаха! — подсмеивался я над Шурочкой, выглядевшей в этот момент такой жалкой и отталкивающе смешной, что я снова не чувствовал радости от своей победы и на униженные просьбы Шурочки с ней поиграть презрительно отмахивался: — Да ну тебя!» Сам я при этом думал, что Шурочке понадобится еще много лет, для того чтобы, сравнившись со мною в ловкости и силе, заслужить мое расположение, доверие и любовь. Мне хотелось полюбить Шурочку, но сейчас это было так же невозможно, как невозможно обогнать собственную тень, и от этого мне становилось грустно — не столько за себя, сколько за Шурочку, которой предстояло много лет прождать и выдержать суровые испытания, прежде чем ей достанется моя любовь, доверие и расположение.

Получилось же так, что Шурочке вовсе и не пришлось со мной сравниваться, и хотя моя ловкость и сила остались для нее недостижимыми, она — в отличие от меня — восприняла это не с грустью, а с беспечной радостью и мстительным, едким весельем. После того как на участке обновился заборчик, Шурочка несколько дней не появлялась на нашей половинке, а когда я сам — робко и нерешительно — постучался к ней на террасу, она ответила, что ей со мной неинтересно и играть мы вместе больше не будем.

— Почему? — спросил я с видом человека, чей нелепый вопрос вызван не столько любознательностью, сколько растерянностью.

— Потому что все мальчишки дураки и игры у них глупые, — сказала Шурочка, заботливо приставляя к вырезанной из картона куколке бумажное платьице на магните.

— И у меня тоже? — уточнил я, чувствуя себя беспомощной жертвой чужого торжества.

— Конечно, ведь ты же мальчишка! — с насмешливой улыбкой произнесла Шурочка, посмотрела на полуодетую куклолку и вздохнула с нескрываемым сожалением по поводу того, что мое назойливое присутствие мешает ей целиком отдаться умной и интересной игре.

После этого я вернулся на свою половинку, сел на стул, положил на колени руки, обвел недоуменным взглядом бревенчатые стены комнаты, как бы вспоминая, где я нахожусь, и почувствовал себя совершенно не принадлежащим тому привычному, что было комнатой с бревенчатыми стенами, занавешенным окном, дверцей старого шкафа с надтреснутым зеркальцем, а принадлежащим чему-то иному, новому и непривычному, что само находилось внутри меня, словно я был комнатой, оно же — некоей странной, драгоценной и хрупкой вещью, доверенной мне на сохранение. Иными словами, я безнадежно влюбился в Шурочку, неуклюжую, угловатую, похожую на лягушонка, — вот какая странная вещь! Влюбился, и это было так же очевидно, как и то, что я сидел на стуле, положив

на колени руки, и недоуменно разглядывал стены. Да, да, шаткий стул на выгнутых ножках, и я безнадежно влюблен. Влюблен, и руки на коленях, и мой недоуменный взгляд никак не может связать с этой любовью комнату, окно и дверцу старого шкафа.

Так просидел я очень долго, когда же наконец вышел из комнаты, то это был уже не я, а совершенно новый — не похожий на прежнего — человек. Различные заключалось в том, что если раньше я пренебрежительно отмахивался от Шурочки, униженно просившей меня с ней поиграть, то отныне я просил, а она — отмахивалась. Просил и даже умолял, считая, что уж мольбы-то должны ее разжалобить, если не могут разжалобить просьбы. Ведь умолял не кто-нибудь, а я, никогда раньше не опускавшийся до такого позора! Она же все равно отмахивалась... Я умолял, а она — все равно... Отмахивалась, несмотря на то, что я согласен был мириться с унижительным положением отстающего участника ее игр, в которых она, конечно же, опережала, главенствовала, верховодила, гордилась своей ловкостью и смеялась над моей неуклюжестью. «Да ну тебя! Все равно не сумеешь!» — говорила она, выхватывая у меня из рук картонную куклу, которую я безуспешно старался одеть в намагниченное платье.

Я безропотно подчинялся, лишь бы меня не прогнали совсем, и вскоре — после нескольких минут молчания, затраченных Шурочкой на рассерженное доодевание кукол, а мною на неловкие попытки загладить свою вину и оправдаться в ее глазах, — становилась окончательно ясна моя участь, заключающаяся даже не в том, чтобы быть отстающим участником, а в том, чтобы быть безмолвным свидетелем девчоночьих игр. Большого мне с моими непропорционально длинными и грубыми, негнушимися пальцами, не приспособленными для одевания куколок, никогда не позволили бы — как ни проси, как ни умоляй! Не позволили бы, несмотря на готовность смириться с любым позором. Не позволили бы, и все тут, но я не обижался на Шурочку. Не обижался потому, что любил ее, и эта странная, драгоценная и хрупкая любовь-вещь хранилась во мне как в комнате. Человек-комната, я словно бы обнимал эту вещь собой, бережно заключал ее в своем пространстве и боялся сделать неосторожное движение, чтобы она — не дай Бог! — не упала и не разбилась.

Мне хотелось лишь одного — отдать, подарить, преподнести на протянутых руках эту вещь Шурочке, чтобы она принадлежала нам обоим, чтобы мы держали ее с разных сторон, словно драгоценный сосуд за хрупкие стенки. Но случилось так, что Шурочка не приняла мой подарок. Когда я протянул его ей, она досадливо сморщилась, построила капризную мину и брезгливо разжала пальцы, словно желая поскорее от него избавиться. Сосуд упал и разбился, и у меня в руках остался лишь жалкий осколочек-половинка. Жалкий, неказистый, с зазубринами — это и была моя безответная любовь к Шурочке. Любовь-осколочек, любовь-половинка, я и сейчас вспоминаю о ней, и то далекое время кажется мне самым счастливым на свете, когда я поднимаюсь по скрипучим ступеням моего одинокого чердака, открываю дверь, обитую клеенкой, сбрасываю стои́танные войлочные ботинки и ложусь на продавленный, пыльный диван с выпирающими ребрами пружин и отваливающейся боковинкой. Ложусь и смотрю в потолок, на котором — от прикосновения моего воспаленного взгляда — возникают причудливые тени, и я снова вижу Шурочку, samozабвенно меняющую платяница на картонной куклке, вижу залатанный фанерой дачный домик с замшелым валуном вместо ступеней крыльца и марлевыми занавесками на окнах, вижу забор, разгораживающий наш участок, и вижу шестидесятые годы...

Те самые шестидесятые, которые дедушка считал временем Иоанна, чье Евангелие особенно старательно и пылливо изучалось в его кружке, собиравшемся за таинственной дверью. И вот я открываю книги и листаю страницы, хранящие наполовину стертые карандашные пометки, и мой евангелический метод впервые оказывается бессильным перед тайной, которую — судя по пометкам и подчеркиваниям ногтем — тщетно пытался разгадать дедушка. На тех страницах книг, где приводятся отрывочные сведения о четвертом евангелисте, почерк дедушки становится совсем неразборчивым, а нажим карандаша настолько слабым, что прочесть ничего невозможно. Ничего, кроме многоточий и вопросительных знаков, выдающих смутную растерянность дедушки перед тайной четвертого евангелиста. Эта растерянность передается и мне, листающему книги на шаткой библиотечной лесенке, и, когда я с лесенки пересаживаюсь за разошедшийся стол, моя рука тоже выводит лишь многоточия и вопросительные знаки.

Что же мы знаем о земном пути Иоанна, таинственного покровителя шестидесятых? Отрывочные сведения о нем сводятся к тому, что Иоанн, написавший четвертое Евангелие, был учеником Иоанна Крестителя в то самое время, когда тот, облаченный в одежду из грубошерстной верблюжьей ткани и подпоясанный кожаным ремнем, проповедовал на реке Иордан и, таким образом,

впервые увидел Иисуса еще до начала его общественного служения. На глазах Иоанна произошла встреча Крестителя с Иисусом, закончившаяся крещением Иисуса и сошествием на него Святого Духа, а затем — через много лет — Иисус встретил будущего евангелиста на берегу Тивериадского озера, где он рыбачил вместе с отцом и братом. «Встретил и тотчас призвал их, — пишет об этом евангелист Марк. — И они, оставив отца своего Зеведа в лодке с работниками, последовали за ним». Так началось ученичество Иоанна и его брата Иакова у Иисуса, который вскоре оценил их преданность и пылкую приверженность вере и, отдавая должное их кипучим натурам, наградил обоих братьев прозвищем Воанергес — Сыны Громы. В дальнейшем они не раз подтвердили свое право на это прозвище, и в одной из книг, доставшихся мне в наследство от дедушки, я прочел о том, как братья грозились свести огонь с неба на самарянское селение, враждебно относившееся к их учителю. Особенным рвением, упорством и неутомимостью в проповедовании новых духовных истин отличался Иоанн, обладавший таким запасом энергии, что Иисус однажды сказал о нем: «Ученик сей не умрет». Это предсказание оправдалось в буквальном смысле: по некоторым сведениям, почерпнутым мною из книг, Иоанн дождался глубокой старости и, не дождавшись смерти, сам лег в могилу, и проходившие мимо люди видели, как земля поднималась от его дыхания.

Свое Евангелие Иоанн создал уже глубоким, седобородым стариком — ему было около ста лет. Создал, поселившись в Эфесе, одном из крупнейших городов империи, соперничавшем в своем великолепии и богатстве духовных традиций с Антиохией Луки и Римом Марка. Главной святыней города считался величественный Артемизион — храм, посвященный богине Артемиде. За много веков до Иоанна в Эфесе жил философ Гераклит, пользовавшийся огромным уважением в городе и передавший на хранение жрецам храма свой философский трактат «О природе», — передавший с условием, что он будет опубликован лишь после его смерти. Именно Гераклит впервые разработал учение о Логосе — духовном первоначале мира, с которым Иоанн отождествил Иисуса Христа: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Так писал Иоанн в своем Евангелии — Евангелии Слова и Любви, единственном, в котором я не нахожу экзистенциальных ответов. Не нахожу нигде, ни в одной строке, как будто и нет зеленовато-красных, и лишь голубое сияние струится надо мной, и я снова вижу мои шестидесятые годы, забор, разгораживающий наш участок, марлевые занавески на окнах и замшелый валун перед крыльцом...

Вот мы встаем рано утром, чтобы идти за грибами, выливаем воду из ведер, примериваясь, какое же взять с собой — побольше или поменьше. Возьмешь поменьше — грибы не поместятся в ведерке, и придется нести их за пазухой, а возьмешь побольше — спугнешь удачу и вернешься домой с едва закрытым доньшком. Поэтому лучше всего взять не большое и не маленькое — среднее ведро, которое и нести нетяжело и в котором достаточно места для сыроежек и опят. Мы с Шурочкой так и поступаем — оба берем по среднему. Берем и выбегаем за калитку, чтоб, обогнав всех взрослых, первыми ворваться в лес. Нам мерещится, что грибы ждут нас под каждым кустом — только успевай нагибаться и срезать их кухонным ножиком с длинной деревянной ручкой и коротким скошенным лезвием. Но вскоре оказывается, что никто нас не ждет, да и вообще грибы такая штука, которую с набега не возьмешь, и ради них приходится подолгу топтаться на одном месте, приподнимая палкой стелющиеся по земле еловые ветви и раздвигая кусты орешника, а это скучно, это быстро надоедает, и поэтому я перестаю искать грибы и просто хожу за Шурочкой. След в след, как собачонка. Хожу и молча разглядываю ее спину с жиденькой косичкой между худых лопаток, запавшую ямку затылочка, искусанные комарами ноги. Разглядываю и даже как бы вдыхаю, вбираю в себя, вытягиваю струйкой душистого дыма, и у меня — словно при глубоком вздохе — счастливо кружится голова от сознания того, что я есть, и мы с Шурочкой вместе идем по лесу, и я так люблю эту жиденькую косичку, запавший и нежный затылочек, припухшие комариные укусы на ногах.

Люблю и с робкой надеждой думаю, что и Шурочка — любит. Правда, я не уверен в этом, но на то и надежда, чтобы в неуверенности была щелочка — тайная дверца, за которой скрывается загадочная и необъяснимая у в е р е н н о с т ь, что с тобою может быть лишь то, чего не может быть. Поэтому я и думаю о любви ко мне Шурочки, как бы пряча эти мысли за тайной дверцей. Думаю до тех пор, пока она не оборачивается, почувствовав себя неудобно от моего взгляда, и не произносит с досадой и нетерпением: «Ах, опять ты здесь! Ну сколько тебе повторять, чтобы ты не ходил за мною!» Но и после того как она оборачивается и произносит, я снова думаю, хотя и обещаю себе не думать, и моя тайная дверца слегка приоткрывается и поскрипывает на обманчиво теплом ветру.



И вот мы купаемся в пруду с горчичной, глинистой, мутной водой, и Шурочка делает вид, будто она плавает, старательно надувая щеки и вовсю болтая ногами, но я-то знаю, что, не умея плавать, она просто перебирает по дну, но не показываю этого и словно бы верю, словно бы не догадываюсь об ее уловке, словно бы воспринимаю всерьез ее старания и даже удивляюсь: как ты хорошо плаваешь, как у тебя замечательно получается! А поскольку я верю, то и Шурочка всерьез начинает верить и гордиться своим умением. Она считает себя замечательной пловчихой и всячески показывает, что ее мнение совершенно не зависит от моего мнения и даже если бы я не считал, она все равно считала бы.

Все это продолжается несколько минут и заканчивается самым неожиданным образом. Из-за своей уверенности и стремления показать Шурочка забывает о том, что ей нужно постоянно перебирать руками, ее руки отрываются от дна, она теряет равновесие и с головой погружается в воду. Погружается и, наглотавшись воды, с ужасом выныривает, встает на ноги (вода оказывается ей по пояс), ошарашенно смотрит вокруг себя и долго откашливается, осматривается и отплеывается. «Это из-за тебя! Ты меня хотел утопить! Я все расскажу родителям!» — сквозь слезы выкрикивает Шурочка, совершенно не смущаясь тем, что я стою на берегу, а она — в воде и от меня до нее шагов двадцать. И хотя ее слова до обидного несправедливы, я не обижаюсь, не оправдываюсь и ничего не произношу в ответ. Я просто зачарованно смотрю на Шурочку, на ее искривленный от испуга ротик, размазанные по щекам слезы и перепачканные глиной руки. Смотрю — и в меня нежно впирается мой осколочек. Я снова люблю Шурочку, хотя и знаю, что она пожалуется на меня родителям, а ее родители пожалуются моим родителям, мои же родители будут долго меня отчитывать, повторяя, что баловство до добра не доводит, а я буду молчать и снова думать о Шурочке, чувствуя нежное покалывание моего осколочка...

А вот мы возвращаемся с пруда, и в лесу нас застает гроза, фосфорно-лиловые молнии рассекают небо, создавая на мгновение странный и нездешний полусвет, и в воздухе улавливается кислый привкус металла... и вот мы прячемся под дубом, прижимая локти к бокам... и вот... Впрочем, зачем я об этом рассказываю, если всего этого уже нет и в моих руках — лишь жалкая, слепленная из поздравителю, пористого вещества фигурка! Я лежу на своем диване, опасаясь лишний раз повернуться, чтобы не отпала шаткая боковинка, по горбатой крыше стучит дождь, капли падают в облупленный таз, и я не знаю, где я — то ли в лесу, застигнутый грозой (значит, все-таки е с т ь?), то ли у себя на чердаке. И живу ли я на самом деле, или вся моя жизнь умещается в жалкий обрывок слова: экзи... экзистен...?

Экзистен... экзи... и нет никакой жизни, а есть лишь обманчивый зеленоватый отсвет. Обманчивый, зеленоватый, странно колеблющийся, словно сотканный из зноя мираж — неужели это и есть моя жизнь, моя любовь, моя единственная половинка?! Лишь это — неужели?! Так я спрашиваю, мучительно допытываясь у себя ответа, и когда к горлу подкатывает тошнота, именуемая экзистенциальным отвращением к жизни, меня внезапно окутывает голубое сияние и слова четвертого евангелиста, апостола Любви, звучат надо мною: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас: пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

## 5

...но все это я узнал потом, через много лет после того, как навсегда простился с красным кирпичным зданием школы, обнесенным решетчатой оградой, и с тех пор лишь изредка окидывал его взглядом прохожего, случайно оказавшегося в местах своего детства. В такие минуты я либо спешил на встречу, назначенную мне на углу соседнего переулка, либо торопился по неотложным делам в одно из муниципальных учреждений, находившихся неподалеку, либо возвращался на свой чердак с единственным желанием поскорее раздеться, сесть в глубокое кресло и забытья от всяких дел. Поэтому я никогда не останавливался у здания школы, и даже произвольная попытка слегка замедлить шаги обычно заканчивалась тем, что я озабоченно поглядывал на часы, прикидывал, сколько времени осталось в запасе, и, вздрогнув, словно прищипоренная лошадь, от колынувшего меня страха — а вдруг опоздаю?! — переходил с шага на мелкую рысь. Правда, однажды я все-таки остановился и даже достал из кармана истрепанную записную книжечку, намереваясь приступить к моим обычным

расспросам, но тотчас же подумал о том, что ни прежних учителей, устраивавших мне нагоняя когда-то, ни строгого завуча, ни грозной директрисы я уже не встречу, а новые — совсем не грозные и не строгие — мне ничего не скажут. Только посмотрят с недоумением на странного человека с бородкой, седыми висками и морщинками в уголках глаз, называющего себя бывшим учеником, и со свойственной им либеральной терпимостью вздохнут, улыбнутся и разведут руками:

— К сожалению, не можем ничем помочь...

— Ну что ж, извините, — произнесу я в ответ, неловко сминая в руках черную фетровую шляпу и стараясь показать, будто я ничуть не разочарован. — Приятно было познакомиться...

— А в какой вы учились школе? — участливо уточняют они напоследок.

— В девяносто четвертой.

— Вот видите, а это двести сорок пятая. Наверное, вы ошиблись...

Даже номер школы и тот изменился, у входа так и обозначено: «Средняя школа № 214», — и к этому номеру мне привыкнуть не легче, чем к другому имени матери или отца. Девяносто четвертая — моя, родная — стала теперь какой-то двести сорок пятая. Уверяю вас, это так же нелепо, постыдно и оскорбительно, как если бы мою родную мать перестали звать Ангелиной, а отца — Серафимом.

Да и внутри школы все перестроили, перекрасили, заново побелили потолки, настелили полы, и стоит лишь приоткрыть дверь, как в нос ударяет совершенно чужой запах. Совершенно чужой и резкий — как в аптеке, на вокзале или в других экзистенциальных местах, вызывающих тревожные предчувствия, беспокойство за будущее и страх перед новым жизненным состоянием. А ведь это та же самая школа — значит, и запах должен быть тот же самый, и предчувствие должно возникать такое же, как и раньше: знакомых стен, пола и потолка. Но — не возникало, не возникало, поэтому, потоптавшись возле двери, я так и не решился зайти внутрь, а вместо этого стал бродить по школьному дворику, засаженному цветущей черемухой, мять в пальцах белые лепестки, растирая их до душистой кашицы, и разглаживать на ладони сорванные листья. Мой взгляд скользил по знакомым окнам, и я привычно вспоминал, что угловое — это класс литературы, два средних — географии, а дальше — классы математики, физики и ботаники, за черными партами которых я просидел одиннадцать лет.

За черными партами с откидывающимися крышками и жесткими деревянными скамьями — одиннадцать лет. Целых одиннадцать — штука ли сказать! Потому-то мне и знакомы так известково-белые, неряшливо-уродливые барельефы с профилями великих: Пушкин и Толстой — дореволюционный период, Горький и Маяковский — послереволюционный период. И эти неуклюже-парадные двери, открывавшиеся лишь 1 сентября, когда на ступенях выстраивались горнисты и барабанщики, вдувавшие в медные мундштуки натужные звуки пионерских фанфар и выбивавшие палочками дробь на натянутой свиной коже, а по заасфальтированному плацу школьного двора в алфавитном порядке маршировали шеренги: 1«а», 1«б», 1«в»... И эта узенькая боковая дверца, в которую мы протискивались каждое утро, стараясь не попадаться на глаза грозной директрисе по имени Дора Дормидонтовна, следившей за нашими прическами (непреренно с челочкой или под н о л ь), пришитыми к кителям и гимнастеркам пуговицами и выстиранными воротничками, и ловко ускользя от дежурных с повязками, проверявших, чтобы у каждого в портфеле был дневник и черный сатиновый мешок со сменной обувью. Красное кирпичное здание, окна учебных классов, черные, сатиновые школьные годы...

Впрочем, уродливость и неуклюжесть я тоже разглядел потом, через много лет, а до этого школа казалась мне храмом. Да, да, с того самого дня, когда меня впервые поставили в шеренгу, выстроенную перед парадными дверями, и из медных раструбов вырвались натужные звуки фанфар и по натянутой свиной коже застучали барабанные палочки, я был убежден, что столь часто произносимое взрослыми слово «храм» относится именно к школе и никаких других храмов на свете не существует. Какие еще могут быть храмы, если я каждый день слышу, что школа — это совершенно особое, предназначенное для благоговеющего поклонения, святое место, уступающее по своему значению, пожалуй, только Кремлю или Мавзолею. Уступающее — понятно, уступающее, поскольку в Кремле заседает правительство, а в Мавзолее покоится прах вождя, но в то же время про Кремль и Мавзолей не говорится, что это храм, а про школу — говорится. «Дорогие дети, сегодня вы переступаете порог школы. Все вы должны помнить, что школа — это храм науки, храм знаний, и ваша задача овладеть этими знаниями, учиться, учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич», — произносит наша директриса, обращаясь к застывшим на плацу шеренгам, и

точно так же, как по особому, благоговейно-назидательному оттенку ее голоса я догадываюсь, что Владимир Ильич — это не какой-то Владимир Ильич из соседнего дома, а тот самый вождь из Мавзолея, точно так же я ни минуты не сомневаюсь в том, что настоящий храм и должен выглядеть как красное кирпичное здание с барельефами.

Ни минуты не сомневаюсь и верю: храм — это школа, школа — это храм. Верю и не допускаю даже мысли, чтобы вдруг обнаружился еще какой-нибудь храм-самозванец, — не допускаю, так же как мысленно не допустил бы, чтобы человека из соседнего дома звали Владимиром Ильичом. Ходит с палочкой по краешку тротуара — седой, сутулый, шаркающая походка, на ногах ботинки с калошами, на голове тубетейка, в авоське болтается буханка черного хлеба, из бидончика выплескивается молоко, и пожалуйста вам — Владимир Ильич! Нет уж, братец, нас не обманешь — в такого Владимира Ильича все равно не поверим! И уж тем более не поверим в то, что какое-нибудь здание — кроме красного кирпичного — именуется храмом. Храм, как и Владимир Ильич, может быть только один, и название его — школа.

Так размышлял я, стоя в шеренге и слушая дробь барабана, с этими же мыслями ступал на военный паркет, поднимался по лестнице, усталенной ковровой дорожкой, входил в узкую комнату класса, пахнущую засохшими чернилами, мокрым мелом и пыльными фикусами, и садился за черную парту с откидывающейся крышкой. С этим же — все одиннадцать, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что красное кирпичное здание, обнесенное решетчатой оградой, было построено на месте разрушенной церкви и что эта церковь и есть настоящий храм!

Я прочел об этом в заметке, вырезанной из старой, пожелтевшей, крошащейся на сгибах газеты, — прочел, разбирая свое наследство, состоявшее из фотографий, писем и всяких ненужных бумаг. Там же в бумагах попала и открытка с изображением разрушенного храма — вот вам кресты на золоченых маковках, кокошники и теремные оконца, печатные изразцы, опоясывающие главный купол, и иконка Богородицы в божнице! Хотя изображение на открытке наполовину стерлось и выцвело — вот вам, пожалуйста, можете часами разглядывать, пока вам не станет жутко от мысли, что на месте храма построили нечто красное, кирпичное... с неряшливо-уродливыми барельефами, с неуклюже-парадными дверями! Вот и я разглядывал, и мне — становилось. Становилось настолько, что пожелтевшая открытка с наполовину стертым и выцветшим изображением выпадала из рук и газетные строчки обморочно пылили перед глазами. Барельефы и парадные двери на месте маковок, кокошников и изразцов! Красное, кирпичное, экзистенциальное — вместо голубого, евангелического!

Так я думал, склонившись над своим наследством, и от одиннадцати лет моей прежней жизни в памяти оставались лишь кирпично-красные отсветы. Событий этой жизни я не помнил — их словно бы и не было, а было лишь это, похожее на тусклый свет электрической лампы, лучи которого пронизывают оседающую кирпичную пыль. Оседающую пыль — как на стройке, где дробят молотком обломки старого кирпича, и при этом на шнуре болтается лампочка, создающая вокруг странный мутно-красный полусвет. Тусклая лампочка, мигающая в пыли, — вот мои школьные (шестидесятые!) годы, и только теперь эта пыль рассеялась, и я увидел то, чего не видел раньше. Я понял, что Владимир Ильич из соседнего дома, шагающий с бидончиком и авоськой по краешку тротуара, — не какой-нибудь, а самый настоящий, и самозванцем оказался не разрушенный бульдозерами, а заново построенный храм. Храм науки, храм знаний — и оказался... «Дорогие дети, сегодня вы переступаете порог...» М-да...

Но самое жуткое заключалось в том, что с тех пор я и сам стал представлять себе самозванцем, чья жизнь словно бы прожита на месте другой жизни, настоящей, но не прожитой, так же как не прорастает пшеница, задушенная сорняками. Зерна пшеницы зачерпнули пригоршней, бросили в распаханную борозду, присыпали сверху землей, чтобы их не склевали птицы, и стали ждать первых всходов, но так и не дождались, поскольку первыми поднялись сорняки и не дали взойти пшенице. Вот и я такой, знаете ли, сорнячок... Выпер из земли, расправил листья и потянулся к солнышку, красуясь своими колючками и впитывая корнями влагу из жирной почвы. И невдомек сорняку, что под ним — пшеничные зерна, которые могли бы взойти и заколоситься, если бы не его прожорливые корни. Но не заколосились, лишенные влаги, и слава Богу, что сорняку об этом невдомек, иначе бы застыдился он своих колючек и усох от тоски. Куда его колючкам до золотых колосьев, да и сам он жалок по сравнению с пшеницей. Поэтому слава Богу, слава Богу... Расти, сорнячок!

Сам не знаю почему, но в школе у меня не было любимого учителя, и я одинаково любил всех учителей. Едва лишь я ступил на вощенный паркет, поднялся по ступеням и вошел в узкую комнату класса, меня охватило восторженное любовное чувство, распространявшееся на пыльные фикусы в дощатых кадках, кусочек мокрого мела в желобке черной доски, засохшие чернильные кляксы и потеки, покрывающие покатуго крышку парты, и фигуру учителя, одетого в педагогически скромный костюм и рубашку со строгим галстуком — серым в мелкую крапинку, — аккуратно подстриженного за сорок копеек и привычно причесанного на прямой пробор, а несколько прядей непременно падают на лоб, и их приходится поправлять рассеянным жестом. Ну как не полюбить такого! Как не проникнуться к нему восторженным чувством, если он по всем статьям — учитель, такой, каким ты его представлял, похожий на других — таких же! Стоило из одной узкой комнаты перейти в другую, и там тебя тоже встречали пыльные фикусы в кадках, мокрый мелок, засохшие кляксы и такая же фигура — такая же до безнадежности, в таком же скромном костюме, с такой же копеечной прической и такими же падающими на лоб прядями. И я снова любил и снова проникался. Затем переходил в другую комнату — и снова... Может быть, моя восторженная любовь была вызвана словами родителей, настойчиво внушавших мне, что всех взрослых надо слушаться и всех учителей надо любить. Бедные родители — почему-то их очень пугало, что их маленький сын способен не послушаться какого-нибудь взрослого и не полюбить какого-нибудь учителя. Они словно бы не чувствовали себя вправе позволить ему быть настолько маленьким, чтобы не послушаться и не полюбить. «Взрослый всегда прав, и если тебе делают замечание, никогда не спорь, а лучше извинись и пообещай, что этого больше не повторится», — говорили они, испытующе глядя мне в лицо и как бы доводя до моего сознания особый смысл этих слов, призванных уберечь меня от неведомой опасности, но неуверенная нотка в голосе убеждала, что и сами они не столько взрослые, сколько такие же маленькие, как их собственный сын, и своими внушениями не столько защищают его, сколько защищаются от грозного взрослого.

То же самое убеждение возникло во мне и тогда, когда родители произносили фразу, относившуюся уже не ко всем подряд взрослым, а как бы к лучшей их части — учителям. «Плохих учителей не бывает, — говорили они с тем же испытующим взглядом и выражением особой значительности в лице. — Бывают только хорошие, поэтому всех учителей ты должен любить так же, как ты любишь папу и маму». Признаться, это слегка настораживало: всех — как папу и маму, — и я с беспокоеством спрашивал себя, не собираются ли родители отказаться от моей любви к ним ради любви к учителям, завучу и директору, не собираются ли уступить им мою любовь, как уступают дорогую и ценную вещь в обмен на другую, еще более дорогую и ценную. Возможность такого несправедливого обмена меня пугала, и после слов родителей я долго ничего не отвечал, обреченно разглядывая угол комнаты и покусывая дрожавшие от обиды губы, а затем бросался к ним со слезами. «Не хочу, не хочу, как папу и маму!» — кричал я, дергая их за складки одежды, хватая за руки, обнимая за шею и целуя в лицо. «Хорошо, хорошо, — успокаивали они меня с улыбками и ответными поцелуями. — Можешь немножко меньше, но только люби обязательно». С этим условием я соглашался, и моя любовь к учителям, завучу и директору как бы начиналась там, где заканчивалась любовь к матери и отцу. Начиналась и словно бы заимствовала немного от той — привычной — любви. Заимствовала украдкой, как украдкой прячут за щеку сахар, похищенный из сахарницы: р-раз — и во рту стало сладко! Вот и мою любовь к директору, завучу и учителям подслащивало то, что они напоминали мне мать и отца. Напоминали, хотя совершенно не были на них похожи, но я любил их, потому что они у меня были, заменяя на время пребывания в школе родителей, которых не было.

Просто были, и я — любил. Любил, не различая и не выделяя того, кто заслуживал бы большей любви, чем все остальные. Может быть, причина заключалась в том, что любимый учитель не возник, не появился среди остальных, и мне некого было любить той любовью, которой можно любить одного и нельзя любить всех. Может быть, но не знаю. Знаю только, что вместо любимого учителя я часто навещал хромого дворника, подметавшего школьный двор и жившего рядом со школой, — дядю Кузю.

С дядей Кузей водились многие мои одноклассники, собиравшиеся вокруг, когда он жег костры из сухих листьев, запекал в золе картошку или поливал размолвевший от жары двор из резинового шланга, но только меня одного дядя

Кузя выбрал в друзья и приблизил к себе настолько, что иногда вручал мне подрагивавший от напора воды и рвущийся из рук шланг, чтобы я окатывал холодными брызгами всех желающих и просящих: «Дядя Кузя, облей, облей!» — или для меня первого выкатывал испекшуюся картофелину, разламывал пополам, очищал от обуглившейся шкурки и слегка присаливал крупной синеватой солью, после чего по такой же картофелине получал каждый: «Налетайте, огольцы!» Мое особое — привилегированное — положение при дяде Кузе объяснялось вовсе не тем, что дядя Кузя меня любил, а тем, что он меня случайно заметил, когда я слонялся по двору после уроков, обламывал намерзшие на водосточные трубы сосульки или выбеливал снежками кирпичные столбы ограды. Заметил и почему-то запомнил, а запомнив, уже из упрямства не желал забывать.

Так, собственно, и началась наша дружба, с моей стороны отличавшаяся тем, что я любил дядю Кузю и гордился своим положением приближенного, дававшим мне немалые выгоды и возвышавшим над прочими учениками класса, которые не могли и мечтать о подобной дружбе, потому что при таком слабом зрении и памяти, какие были у дяди Кузи, трудно вообразить, чтобы он заметил и запомнил еще кого-нибудь, кроме меня. К тому же дядя Кузя частенько выпивал, о чем свидетельствовала катавшаяся по земляному полу дворницкой пустая четвертинка, и при этом память и зрение и вовсе ему отказывали. Тут уж и мне приходилось изрядно побеспокоиться, потому что состояние рассеянной слепоты, отрешенной забывчивости и угрюмой сосредоточенности, овладевавшее им во время запоя, было наиболее опасным для моей репутации приближенного: дядя Кузя меня начисто забывал, и стоило мне появиться в дверях, он грозил заскорузылым пальцем и кричал силным голосом: «А ты, паршивец, что здесь делаешь?! Метлы воруеть?!» Если при этом находились свидетели из числа моих одноклассников, ревновавших ко мне дядю Кузю и завидовавших нашей дружбе, мне стоило немалых стараний убедить их, что не следует удивляться подобному крику, что так уж принято между закадычными друзьями — кричать и грозить пальцем, выражая тем самым особую любовь и расположение. Что же касается «паршивца», то это невинная шутка, которую лишь непосвященный способен понять в буквальном смысле. На самом же деле это дружеское обращение наделено не буквальным, а переносным смыслом, и посвященный знает, что паршивцем из суеверия называют особенно близкого и дорогого человека.

В подтверждение своих слов я храбро переступал порог дворницкой и, подойдя к ржавой железной кровати с проволочной сеткой, провисавшей под тяжестью дяди Кузи, обнимал его за шею и прижимался к небритой щеке. Дядя Кузя оторопело вздрагивал, вскидывал руки, словно человек, оступившийся на скользком месте, и трясина железной кровати начинала под ним раскачиваться, поскрипывая ржавыми пружинами и шелестя проволочными кольцами. «Малый, ты чего?» — спрашивал он испуганным шепотом, пытаясь выбраться из трясины. «Ничего, дядя. Я так...» — шептал я в ответ, и его лицо осеняла некая догадка, он понимающе кивал и, не в силах справиться с опасливо-блаженной улыбкой, застенчиво кашлял в кулак и бормотал себе под нос что-то бессвязное. Моему однокласснику, ревниво следившему за этой сценой, оставалось лишь разочарованно вздохнуть и удалиться, признавая тем самым свое поражение, я же садился на железную кровать рядом с дядей Кузей, слушал его бессвязное бормотание, смотрел на пустую четвертинку, катавшуюся по земляному полу, и не чувствовал себя победителем.

Победителем, счастливым от сознания своей победы, я не чувствовал себя ни на грош. Напротив, мне было обидно, что дядя Кузя меня не узнал, спяну обозвал паршивцем и погрозил пальцем, словно воришке, крадущему метлы. Эдакий шкодливый воришка — собирался сгрести их в охапку, вынести из дворницкой и продать за углом! Шкодливый и юркий, с бегающими глазками и оттопыривающимися карманами! Воришка, плут, жалкий шпаненок — и им оказывался я, не просто заметивший и запомнивший, но и полюбивший дядю Кузю! Дядю Кузю вместо учителя, которого в моей жизни так и не появилось. Учителя — были, а единственного учителя — не было. Зато дядя Кузя — единственный — был, вот и пришло его полюбить. Полюбить, и это самое обидное. Полюбить настолько, что теперь хочется стукнуть его кулаком, побольнее ушипнуть или дернуть за спутанные волосы.

Сам не знаю, почему я влюбился в Галю Кондратьеву, хотя она была ничем не лучше всех прочих девочек из нашего класса. Ничем не лучше — могу

поручиться с полной уверенностью человека, который осознал это не только сейчас, но и сознавал тогда. Сейчас и тогда — большая, надо заметить, разница, но я именно сознавал всем моим существом, что Галя ничем не лучше прочих, что она т а к а я же, как все, совершенно такая же, с худыми, покрытыми ссадинами коленями, жидкими белобрысыми косичками, в которые ей вплетали розовые ленты, завязанные на бантик, с острым веснушчатым носиком на анемично-бледном личике ребенка, взращенного под кварцевой лампой, но я любил ее, а почему — не знаю. Это было для меня загадкой тогда, это остается загадкой и поныне, и я постоянно ловлю себя на том, что о Гале я думаю иначе, чем обо всех прочих девочках, хотя они совершенно одинаковые, Галя и все прочие, с одинаковыми коленями, косичками, веснушчатыми носами, но я все-таки думаю иначе, и в этом крошечном зазорчике, впадинке, щелочке между досками пола и заключалась моя любовь, похожая на закатившуюся в щель стеклянную бусинку. Тускло поблескивающая любовь-бусинка, она начиналась с того, что я каждое утро вбегал в класс, усаживался за свою парту, четвертую от окна, вываливал из портфеля учебники и тетрадки и, делая вид, будто старательно готовлюсь к уроку — раскладываю ровными стопочками все вываленное на парту, — отыскивал опасливым взглядом Галю Кондратьеву: пришла или не пришла? Если Галя, как обычно, сидела за своей партой — второй от двери — и из множества коричневых платиц с белыми кружевными воротничками и отутюженных черных фартуков мой взгляд безошибочно выбирал ее единственные платице и фартук, неуловимо выделявшиеся из всех остальных, я успокаивался, и в моем сидении за партой обнаруживался тайный, доступный лишь мне одному смысл, которого хватало надолго, до конца последнего урока. Если же вместо единственных платица и фартука мой взгляд утыкался в безнадежную пустоту, означавшую, что Галя не пришла (либо заболела, либо получила большое задание по музыке и родители оставили ее дома), этот смысл бесследно исчезал, и я чувствовал, что не только зря нахожусь в классе, но и напрасно живу на свете.

Сидение за партой превращалось для меня тогда в пытку, от которой не спасало ни блуждание взглядом по потолку, ни глубокомысленное разглядывание паутины в углах, ни сокращенные вздохи, ни протяжные стоны. «Павлов, почему ты стонешь? Может быть, у тебя зубы болят?» — язвительно спрашивал учитель, неожиданно появляясь за моей спиной и осуждающе опуская мне на плечо тяжелую руку. «Нет, нет, не болят», — испуганно отвечал я, хватаясь за щеку, как пойманный воришка хватается за карман, в котором спрятан украденный кошелек. «А я вижу, что болят. Ступай-ка ты, братец, к врачу. Пусть тебе положат мышьяк и поставят пломбу». Учитель убирал с моего плеча руку и удалялся с величественным видом судьи, назначившего справедливое наказание за украденный кошелек. Понимая, что меня выгоняют с урока, я притворно вздыхал, чтобы скрыть свою радость, засовывал в портфель учебники и тетрадки и под завистливыми взглядами всего класса понуро выходил за дверь. В коридоре я снова вздыхал, но на этот раз с нескрываемым облегчением, радуясь, что окончилась моя пытка, и чувствуя себя счастливым по сравнению с теми, кто остался в классе, и — по стеночке, по стеночке (только бы не столкнуться с завучем или директором!) — пробирался к выходу. Пробирался и выскальзывал во двор через узкую боковую дверь. Выскальзывал в тот момент, когда сторожившая дверцу нянечка первого этажа, широко расставив ноги в обрезанных резиновых сапогах и согнувшись в пояснице, выжимала над ведром холщовую тряпку, чтобы мыть пол, а я в этот момент — выскальзывал. Выскальзывал незаметно, потому что, кроме нянечки, никого в коридоре не было. Выскальзывал, но — уже не счастливым, охваченным восторженной радостью, а самым несчастным человеком, который избежал одной пытки лишь ради того, чтобы найти другую.

Другая же, еще более мучительная пытка заключалась в том, что и во дворе мой взгляд натывался на ту же безнадежную и унылую пустоту. В огромном, со множеством закоулков дворе — на ту же, означавшую, что рядом нет Гали. Как ни ищи, как ни заглядывай во все эти закоулки — нет ее, и все тут, и какая тебе радость с того, что сам ты при этом е с т ь! Да совершенно никакой тебе с этого радости, потому что ты для себя — обуза, крест, чугунная гиря, которую приходится перетаскивать из угла в угол. Бросить эту гирю нельзя (все-таки г и р я!), и вот ты перетаскиваешь ее, круглую, как шар! Из угла — в угол, из угла — в угол! Перетащил в один — перетаскиваешь в другой, перетащил в другой — перетаскиваешь в третий, и эта чугунная гиря — ты сам, но не тот, какой ты есть, если рядом Галя, а как бы отнятый от нее, отслоившийся и отпавший.

Таким отслоившимся и отпавшим я и чувствовал себя, слоняясь по двору, и моя любовь-бусинка тускло поблескивала в щели пола: Маленькая, стеклянная — в щели между досками: может быть, тогда-то мне и открылся в любви этот

странный экзистенциальный ответ, похожий на болотное зарево, на блуждающий огонек, на пляшущую в воздухе искорку. Открылся, чтобы затем дразнить, показываясь то справа, то слева, заманивая и зазывая: иди, иди, не бойся. Если послушаешься и пойдешь, то и конец тебе: назад уже не вернешься — сгинешь в топких болотах, завязнешь в зыбкой трясине, и даже следов твоих никто не найдет. Если же не послушаешься, то задразнит, засмешит, заморочит, и какая там любовь — рассудок бы не потерять!

Признаться, и я терял рассудок, и всякий раз это случалось не от любви, а от поддразнивающих сомнений: вот вроде бы и влюблен, и счастлив, и с нетерпением ждешь назначенной встречи, но в то же время все происходящее с тобой, влюбленным и счастливым, словно бы отбрасывает некий ответ, который тревожно высвечивает в тебе — на самом доньшке сознания — обманчивую мысль, что не очень-то ты и влюблен, и не особенно счастлив, и не с таким уж нетерпением ждешь, и назначенная встреча вызывает в тебе бредовое желание убежать и спрятаться за угол дома. Мысль, повторяю, обманчивая, и от бредового желания вроде бы так легко отмахнуться, что ты пойман, что ты в ловушке и пропала твоя буйная головушка. Убежишь как миленький и спрячешься за угол дома. Спрячешься и еще этак незаметно выглянешь и посмотришь: а что поддельвает любимый человек? Очень уж тебе любопытно — что? Стоит, прислонившись спиной к фонарному столбу, или кружит по площади, сверяя маленькие ручные часы с большими уличными часами? И какое у нее при этом лицо — удивленное, озабоченное или спокойное? Очень уж любопытно — какое? А главное, касается ли его загадочный ответ — тот же самый, которым отмечено и твое лицо? Да или нет — для тебя это очень важно! Настолько важно, что ты готов выбежать из-за своего угла и броситься к ней в объятия, осыпая поцелуями ее руки и вымаливая прощение за пятиминутное опоздание; если же нет, то опоздавший так и будет подпирать угол дома, уткнувшись лицом в холодный камень, пока любимый человек не сверит напоследок часы, не вздохнет с безнадежным унынием и не канет в провал метро.

Вот что такое ответ — в нем-то, уверяю вас, и таится загадка любви или того самого избирательного сродства, которое властно влечет вас к любимому человеку. Да, да, мы выбираем людей, зацепившихся за жизнь тем же способом, что и мы сами, — в этом, собственно, и родство. Родство пожелтевших дубовых листьев, упавших с дерева и — зацепившихся. Зацепившихся и повисших на лесной паутинке — вот вам и вся любовь! Давайте говорить проще — не любовь, а экзи... экзистен... Экзистенция, милостивые государи, ядовито-зеленый ответ! Вот почему вдвоем вам бывает так одиноко, отовсюду корчит плаксивые рожицы тоска, и хочется подпереть собою какой-нибудь угол и уткнуться лицом в холодный камень. Холодный и ноздреватый — как сама жизнь. Уткнуться и никого не видеть. Не видеть и не слышать. И в тот самый момент, когда действительно — никого, почувствовать, как вам х о р о ш о. Хорошо оттого, что плохо и хуже быть не может. П р е д е л ь н о х о р о ш о, а уж это чувство — будьте уверены! — истинное...

Но бывает и так, что в одиночестве вы совсем не одиноки, и тоска не корчит плаксивые рожицы, и вам не хочется подпирать собою угол, и все происходящее с вами отбрасывает совсем иной — голубоватый — ответ. Голубоватый, струящийся, похожий на бледное зарево рассвета. Тот самый ответ, который мы называем евангельским. Он касается вас, милостивые государи, и ваше одиночество скрадывается, словно клочковатая ночная тьма, и вам становится так хорошо, что от этого даже делается плохо. Плохо оттого, что хорошо и лучше быть не может, — тоже, знаете ли, предельное чувство. Предельное и истинное, оно знакомо всем экзистенциалистам — в том числе и мне, слоняющемуся по двору в безнадежном сознании того, что Галя Кондратьева сегодня не пришла в школу.

Сегодня не пришла... сегодня не пришла, говорю я себе, и вдруг — голубоватый ответ! — мое безнадежное сознание рассеивается, и я понимаю, как это х о р о ш о, что не пришла сегодня. Не пришла сегодня — значит, придет завтра, а сегодня я сам к ней приду. Возьму и приду — как это просто, ведь Галя Кондратьева живет в соседнем восьмизэтажном доме, и я могу подняться к ней в зеркальной кабине лифта с перламутровыми кнопками на дубовой панели, позвонить в высокую дверь с начищенной медной ручкой, терпеливо дожидаться, когда шелкнет замок и звякнут цепочки, вежливо поклониться в ответ на недоверчиво-хмурый взгляд из дверного проема и с выражением скромного достоинства произнести, что хочу сообщить ей, какие нам заданы уроки.

Сегодня она пропустила, и я хочу сообщить — вполне объяснимое желание для товарища по классу. Объяснимое и даже весьма похвальное — так и должны поступать примерные товарищи. Поэтому, послонявшись по двору, я поднима-

юсь на лифте, звоню, вежливо кланяюсь и говорю. Говорю и в этот самый момент вспоминаю, что завтра — праздник и поэтому никаких уроков нам не задали. Вспоминаю с паническим ужасом, с обморочным кружением головы и ватной слабостью в ногах, но все равно говорю. Говорю и даже для убедительности расстегиваю портфель, собираясь достать дневник, в котором записано домашнее задание. Расстегиваю и шарю в нем дрожащими руками, извиняющейся улыбкой показывая, какой у меня там беспорядок. Беспорядок, знаете ли, мне и самому стыдно, но я шарю, шарю, покрываясь каплями пота, и моя извиняющаяся улыбка обреченно застывает на лице. Я выпрямляюсь, бормочу что-то бессвязное и опрометью выбегаю вон, слыша за собой недоуменный возглас Гали: «Сумасшедший какой-то!»

Выбегаю, скатываюсь с лестницы, дымящимся пушечным ядром вылетаю из жерла подъезда и в трезвом сознании своего сумасшествия пишу крошащимся, стертым, выпадающим из рук мелком на серой каменной стене восьмизэтажного дома: «Гая, я тебя люблю!»

## 3

Эта надпись цела и поныне, и я каждый раз смотрю на нее, совершая свои визиты и записывая в книжечку ответы тех, кто некогда жил по соседству с нами. Смотрю и думаю: надо же, прошло столько лет, а вот она, надпись, цела-целехонька, хотя выцвела и поистерлась, конечно, но все равно при желании можно прочесть: «Гая... я тебя... люблю!» Можно, можно — при желании, — надо только подойти поближе и вплотную наклониться к стене: тогда и различишь следы крошащегося мелка на ноздреватом сером камне. И до головокружения странно станет от мысли, что это тот же самый мелок, который когда-то выпадал из твоих рук, и стена восьмизэтажного дома — та же самая, правда сам ты уже не мальчишка, пушечным ядром вылетевший из подъезда, а человек с бородкой, седыми висками и морщинками в уголках глаз. Да, собственно, и годы сейчас не те, шестидесятые, а о-го-го какие, и выговорить-то страшно! Не шестидесятые, не семидесятые, не восьмидесятые, а — о-го-го! Шестидесятые же остались там, вдалеке, где дымится жерло распахнутого подъезда и ты, мальчишка, выцарапываешь крошащимся мелком: «Гая, я тебя...» Выцарапываешь с бесстрашной решимостью — чтобы все видели и каждый мог прочитать. Каждый, кто проходит мимо, и в том числе сама Гая, в присутствии которой я бы никогда не решился произнести: «...я тебя люблю!» — даже самым тихим шепотом, почти неслышно раскрывая губы, даже не произнося, а лепеча, немо обозначая эти слова обморочным шевелением губ, написать же, да еще на стене соседнего дома, — пожалуйста!

Пожалуйста — пусть она прочтет! Прочтет и у з н а е т, что я ее люблю, иначе мне этой любви уже не вынести, не удержать в себе, и она вот-вот вырвется из рук и улетит, подхваченная ветром, словно голубой воздушный шарик на розовой нитке. Да, да, пусть узнает, но только не от меня, запинаящегося и краснеющего, отчаянно пытающегося выкарабкаться из неловкого положения и на каждом слове со сладким ужасом падающего в бездну, а от стены, холодной и неподвижной, не испытывающей ни ужаса, ни отчаяния. От стены и в то же время от меня, но не такого, какой я есть — краснеющий и запинаящийся, — а как бы превратившегося в стену. От меня и в то же время — от стены, за которой я спрячусь в блаженном и нетерпеливом ожидании того момента, когда Гая Кондратьева выйдет из подъезда, привычно посмотрит по сторонам и случайно заметит мою надпись. Заметит и прочтет с неприятным удивлением, досадой и тайной гордостью: «Гая, я тебя...» Прочтет и притворно задумается, кому это адресовано, — уж не ей ли? Возмутится, схватится за скомканный носовой платочек в торпливом стремлении стереть написанное, но убедившись, что — не стирается, вздохнет, спрячет платочек в карман и обернется невидимому шутнику, затаившемуся за углом дома: вот я тебе покажу! Шутник же при этом вздрогнет, отпрянет, прижмется спиной к холодному камню и в таком положении замрет, чтобы себя не выдать, но через несколько секунд не выдержит — и посмотрит. Посмотрит с любопытством мыши, заглядывающей в мышеловку: а как там Гая? По-прежнему ли грозит ему острым, маленьким, побелевшим от напряжения кулачком или с презрением покидает поле боя? Посмотрит, опасно высунется на полголовы и тем самым сразу же выдаст себя: мышеловка захлопнется. «Ах вот ты где! Берегись!» — и Гая бросится его догонять, выгнув спину и ошестинившись, как дикая кошка, — незадачливый же шутник от растерянности даже не успеет спрятаться, нырнуть в какую-нибудь подворотню, забиться в щель между сараями. Не успеет, замешкается, потеряет несколько



драгоценных секунд, и вот уже Галя настигла его, схватила за шиворот и так больно вцепилась в волосы, что на глазах у несчастного шутника выступили слезы.

— Сознавайся, Павлов, ты написал? — Галя пристально глядит мне в лицо, искаженное гримасой боли, и при каждой попытке вырваться еще ближе подбирается пальцами к корням волос.

— Не я, — отвечаю я, отчаянно морщась и жестикулируя не столько ради того, чтобы выразить свои муки, сколько ради того, чтобы этими увертками скрыть свою ложь.

— Врешь, Павлов. Покажи руки, — требует Галя, как бы великодушно предоставляя мне право самому себя разоблачить.

Я неуверенно протягиваю ей ладони.

— Пожалуйста...

— Видишь, испачканы мелом. Значит, ты! — говорит Галя с насмешливым презрением к тому, кто так опрометчиво воспользовался предоставленными ему правами.

— Нет, не я, — продолжаю я отрицать, противопоставляя неопровержимым уликам Гали свое непробиваемое упрямство.

— Испачканы — значит, ты, — настаивает Галя, которую раздражает не столько моя вина, сколько упрямое нежелание ее признать.

— А у меня не испачканы, — говорю я, вытирая руки о штаны и показывая Гале чистенькие ладони. — Не испачканы — значит, не я.

Галя не знает, что ответить человеку, присвоившему себе ее правоту.

— Но ведь у тебя были...

Я молча покачиваю головой, как бы не желая тратить слова там, где очередные траты предстоят Гале.

— Были же... — с обидой произносит Галя, ревниво сравнивая очевидность того, что было в прошлом, с очевидностью того, что есть сейчас.

Я неопределенно развожу руками, словно бы обращаясь к несуществующему свидетелю, который мог бы подтвердить ее правоту.

— Значит, ты ничего не писал? — спрашивает Галя, снова глядя мне в лицо и с надеждой отыскивая во мне несуществующего свидетеля.

Я показываю, что в моих силах лишь молча качнуть головой и неопределенно развести руками.

— Ничего-ничего?! — Удваивая произносимое слово, Галя удваивает и свою надежду.

Всем своим видом я по-прежнему изображаю молчание и неопределенность.

— Не писал, что ты меня любишь? — спрашивает Галя с нескрываемым разочарованием человека, лишенного последней надежды.

После этих слов мы расходимся в разные стороны, и я стараюсь доказать себе, что горжусь своей хитрой уловкой, благодаря которой мне удалось спастись от расправы, учиненной Галей, сохранив остаток волос и надорванный воротничок рубашки. В доказательство своей гордости я даже издали поддразниваю Галю, выкрикиваю ей вслед: «Катись колбаской!..» — неумело свищу в два пальца, гримасничаю и выделываю всяческие выкрутасы, чтобы заставить ее обернуться, но она не оборачивается. Не оборачивается и уходит, а я все равно стараюсь доказать себе, что горжусь, и от этих стараний мне становится вдруг так грустно, словно я — великий хитрец и обманщик — сам себя обхитрил и обманул. Но чем грустнее у меня на душе, тем упорнее я стараюсь и тем дальше уходит от меня Галя. Вот ее уже и совсем не видно — скрылась в арке дома, — а я все стараюсь и стараюсь. Поддразниваю, выкрикиваю, свищу в два пальца, всеми силами сдерживая подступающие слезы, и когда чувствую, что уже не сдержать и я сейчас позорно расплачусь, подхожу к стене и утыкаюсь лицом в исчерканный мелом камень...

Следы крошащегося мелка на серой каменной стене — это и есть мои шестидесятые, вспомниная которые я, человек с седыми висками и морщинками в уголках глаз, словно бы пишу размашистым почерком: «Галя, я тебя люблю». Пишу, отчаянно царапая мелом ноздреватый камень, и то летучее и неуловимое, что мы называем прожитой жизнью, возвращается ко мне, и во мне вновь оживают мои шестидесятые, а вместе с ними — пятидесятые, сороковые и тридцатые годы. Я люблю наш двухэтажный дом с причудливо выросшим на карнизе деревцем, люблю подвал с окнами на уровне ног, люблю красное кирпичное здание школы с неряшливо-уродливыми барельефами и неуклюже-парадной дверью, люблю грозную директрису по имени Дора Дормидонтовна и люблю Галю Кондратьеву, которая сегодня не пришла на урок. Люблю — и недавняя тоска покидает меня, и ядовито-зеленые отсветы жизни рассеиваются в голубом сиянии. Я вновь листаю книги с пометками дедушки и отыскиваю в них сведения о первом евангелисте, служившем на римской таможне в Капер-

науме и собиравшем пошлину с иудеев до тех пор, пока мимо не прошел человек с лучистым нимбом вокруг головы и искоркой, проскальзывающей меж пальцев. «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он встав последовал за Ним». Да, так это все и было — и нимб, и искорка, и слова, обращенные к утомленному зноем, скрипом повозок и голосами людей таможеннику, который сидел под навесом, вытирал со лба пот и задумчиво выкладывал столбиками римские динарии, греческие драхмы и еврейские сиклы. Выкладывал, добавляя монетку к монетке, тремя разными столбиками — один повыше, два других пониже, — чтобы затем разрушить и снова начать выкладывать. И думал, что так будет завтра, послезавтра, всегда, что ему суждено состариться на этой таможне, и вот — слова, и он встает, подчиняясь их гипнотической силе, бросает все и уходит...

Так мытарь Левий стал апостолом Матфеем, а затем и первым евангелистом, покровителем тридцатых, чьи пальцы были в кровь стертые ноздреватым веществом жизни, из которого неведомая воля создавала то распятого человека с нимбом, то разрушенный иерусалимский Храм, то ликующих демонстрантов на площади, то мурых дозорных на сторожевых вышках. Да, да, причудливые экзистенциальные фигурки, выстроенные в ряд, но вот я открываю книгу и не нахожу знакомых красноватых отсветов — нигде, кроме одной страницы. «И отошедши немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша эта; впрочем не как Я хочу, но как Ты». «...да минует Меня чаша» — возникло, «...не как Я хочу, но как Ты» — исчезло. Исчезло — и вновь голубое сияние, и я люблю Галло Кондратьеву, люблю красное кирпичное здание школы, люблю подвал с окнами на уровне ног и люблю наш двухэтажный домик. Люблю, покрываемый ласковой сенью евангелиста-покровителя, и мое сердчишко бьется в невидимой теплой руке...

## 9

...и не то чтобы был двор, особый, необыкновенный, не похожий на остальные дворы, а просто был двор, самый обыкновенный, похожий на все остальные. С покосившейся створкой железных ворот, царапающей землю, с обуглившимися балками сгоревшего дровяного сарая, торчащими над пепелищем, с бачками помойки, похожими на брошенных языческих идолов, и обложенной беленым кирпичом клумбой, на которой цвели незабудки. Двор, заваленный мусором и заросший лопухами. Пахнувший мокрыми простынями, качающимися на веревках, и оглушенный звуками радиолов, выставленной на подоконник распахнутого окна. Двор-пяточок, двор-простеночек между двумя соседними домами, он, собственно, и не считался настоящим двором, но при этом настолько же был для меня, насколько сам я есть, живу, существую.

Был двор, и были его жители, которых именно так и следовало называть, поскольку их беденная и неприметная жизнь проходила отнюдь не дома, а во дворе: хромая дворничиха в брезентовом фартуке и рукавицах, по утрам подметавшая тротуары, старик татарин с заплатанным мешком, кричавший под окнами: «Старье берем!» — парализованная старушка в креслице на колесах, с утра до вечера дремавшая у подъезда, дурочка Манюня, ходившая в стоптанных ботах на босу ногу и обтрепанном пальто без верхней и нижней пуговиц, и местный хулиган Ленька Парамонов, за курчавые волосы прозванный Пушкеным. Не дома, а во дворе, и поэтому о хромой дворничихе знали, что в кармане фартука у нее хранится заткнутая тряпичной пробкой четвертинка, о парализованной старушке — что она скоро умрет, о дурочке Манюне — что ребята затащили ее на чердак соседнего восьмизэтажного дома, где она в кровь изранилась осколками разбитого стекла, а о Леньке Парамонове — что его грозили отправить в колонию, если у него еще раз увидят нож и отнимут самодельный кастет. Знали, потому что все это было — и двор и каждый из его жителей — для всех так же, как и для меня. Было настолько же, насколько сам я есть; в этом и заключается экзистенция того самозабвенного чувства, которое охватывало меня во дворе, стоило лишь развязать извечные подозрения родителей, что у меня болит горло, что я не сделал уроки, что я опять подерусь с соседскими мальчишками, и после долгих просьб, заверений и клятв вырваться из дома, произнеся наполовину вопросительное, уклончивое, неуверенное, наполовину капризно-настойчивое и обиженное:

— Ну, я пошел?..

— Ладно, но только гуляй под окнами и в восемь часов возвращайся, — соглашается мать, глядя на меня с нескрываемым сомнением, означающим, что она не слишком верит моим клятвам.

— Хорошо, мамочка, в восемь, — отвечаю я, балансируя на жердочке, соединяющей ее строгость с ее снисходительностью.

— А чтобы не опоздать, почаще подходи к взрослым и спрашивай, который час, — напоследок добавляет мать, довольная тем, что своевременное внушение освобождает ее от последующего беспокойства за сына.

И вот я уже одет, не взрослеющий мальчик конца пятидесятых, застегнут на все пуговицы моего коротенького пальто, из которого я давным-давно вырос, опоясан туго затянутым ремешком с проколотыми в нем дырочками и выпущен во двор, где царапает землю створка железных ворот, торчат над пепелищем обгоревшие балки, грохочут ведра о стенки помойных бачков, дворничиха сметает в совок сухие листья, старик татарин кричит под окнами: «Старье берем!» — и дремлет в креслице парализованная старушка. Двор-пяточок, двор-колодец, двор-простеночек, где — несчастный домашний ребенок — я чувствую себя уличным, бездомным и счастливым. Да, да, именно счастливым своей бездомностью, своей оторванностью от глухих, затененных тяжелыми занавесками, заставленных пыльной мебелью комнат, привычного поскрипывания половиц и протяжного стога дверей, потрескивания березовых дров за печной заслонкой, скрежета кочерги, ворошащей потухшие угли, шарканья ног, звона посуды и знакомых голосов, произносящих одно и то же: «Вставай, пора завтракать», «Мой руки и садись обедать», «Ужин уже не столе», «Убирай игрушки и ложись спать». Завтракать, обедать, ужинать, спать — все это сливалось в однообразную и томительную череду дней, похожих друг на друга, словно отштампованные на обоях цветы, завитки которых я разглядывал, отворачиваясь к стене, после того как меня отправляли в постель. Похожих настолько, что иногда, проснувшись, я забывал, где нахожусь — уже в сегодня или еще во вчера. Все мои мысли да и сам я, проснувшийся, вроде бы были такими вчерашними, но в то же время мое пробуждение говорило о том, что наступило сегодня, и вот я обо всем забывал, поднимаясь с кровати так, словно я только что в нее ложился, накрывался стеганным одеяльцем, заправленным в накрахмаленный пододеяльник, и отворачивался к стене, покрытой желтыми завитками.

Так было дома, и лишь во дворе я освобождался от своего домашнего несчастья и становился счастливым. Охватывавшие меня одиночество и бездомность таили ту странную притягательность, которая заставляла враждебно и непримиримо коситься на окна наших комнат и, вместо того чтобы гулять неподалеку — под самыми окнами, — убегать далеко, как можно дальше, где меня не видно и не слышно. Как можно дальше — за сараи, за бачки помойки, за кучу мусора, похожую на разрушенный Вавилон, за кирпичную стену с проломом в соседний двор. Убегать и прятаться в лопухах, с бесстыдным самозванством заполонивших углы нашего двора и словно незваная рать перекинувшихся в соседней. Прятаться, садясь на корточки, наклоняя голову так, чтобы подбородок прижимался к коленям, и испытывая мстительный восторг от мысли, что уж здесь-то не найдется ни одного взрослого, у кого можно спросить: «Который час?»

Правда, иногда эта же мысль вызывала во мне легкое чувство страха и отращения к самому себе, не подозревавшему, какая опасность грозит ребенку, оставшемуся без присмотра взрослых. К себе беспечному и неосмотрительному настолько, чтобы радоваться этой опасности, даже поддразнивать ее: а ну-ка!.. Поддразнивать, словно не догадываясь о том, что с нею шутки плохи, и если она внезапно нагрянет, то уже не кинешься наутек с криком «мама!», и спасти тебя будет некому. Некому — потому что ты сам не захотел, чтобы тебя спасли. Не захотел и сдался перед опасностью, как будто в ней заключалось нечто притягательное, обманчиво-сладкое, укутывающее призрачным, одурманивающим теплом. Отсюда и обреченная готовность: пускай со мной случится то, что может случиться с убежавшим, даже самое страшное — я лишь зажмурю глаза и еще сильнее прижму подбородок к коленям. Пускай — все равно не вернусь домой, а останусь здесь, как останутся и засыпают в сугробе люди, попавшие в метель, сбившиеся с дороги и потерявшие последние силы. Вот они ложатся на бок, сворачиваются калачиком и проваливаются в глубокий сон, уносящий их в обманчиво-сладкий омут, — так же и я остаюсь, укутанный призрачным, одурманивающим теплом своего одиночества, и мне до слез не хочется вставать, распрямляться, высовывать голову из лопухов, чтобы меня снова видели и слышали.

Видели, слышали — и любили. Да, да, пусть даже и не любят — все равно мне здесь лучше, чем там, словно, лишенный любви родных и близких, я приобретаю взамен нечто большее — любовь и ласку Бога, которого я представляю в виде большого, склоненного надо мною лица. Большого и как бы заполняющего собою все пространство. Склоненного и как бы покрывающего меня невидимым, прозрачным покрывалом, которое колыхнется на ветру, посы-

лая мне дуновения нездешнего тепла и ласки. Лица доброго и светлого, как бы состоящего из одной небесной голубизны. Е д и н с т в е н н о г о, под присмотром которого мне делается так легко и хорошо, что исчезает отвращение к себе маленькому и слабому, заискивающему перед уродливым великаном собственного будущего, и появляется любовь к себе такому же большому и сильному, как великан, но только пришедшему не из будущего и не из прошлого, а бывшему в с е г д а и навеки объединившему себя с Богом.

Странная вещь, но в детстве я очень хорошо знал, что надо мною есть Он, всемогущий и всемогущий, и, убегая от матери — подальше от окон, в которые она могла меня видеть, — убегал к Нему, смотревшему на меня отовсюду и оберегавшему как свое собственное творение, свое собственное дитя. Отовсюду — из-за сараев, бачков помойки, кирпичной стены с проломом в соседний двор, и мое сидение в лопухах было сидением в самом центре мира, в той единственной точке, где сходились все лучи, земные и космические, и сливались все отсветы жизни, экзистенциальные и евангелические. И я, спрятавшийся и затаившийся от матери, был открыт перед этим миром, сквозь покровы которого проступали черты большого и доброго лица, узанного и угаданного мною настолько, что мои побеги во двор — за бачки и сараи, в разросшиеся по обе стороны от кирпичной стены лопухи — были попыткой лишний раз испытать это знание, суеверно опробовать на себе, заручившись уверенностью в том, что оно есть, что оно никуда не исчезло и навеки пребудет со мной.

## 10

Впрочем, это знание было не единственным, которое мне хотелось опробовать, и в детстве я опробовал на себе множество самых разных знаний, чувств и догадок. Опробовал так же, как чужой велосипед со звонком и ручным тормозом, получив великодушно-презрительное разрешение хозяина прокатиться до ворот и обратно. «До ворот и сейчас же обратно», — приказывал он с надменно-строгим выражением лица, не позволявшим заподозрить его в сочувствии и расположении ко мне, которыми можно было бы воспользоваться в том случае, если бы я захотел нарушить полученное приказание. Приказывал, и вот я ставил одну ногу на педаль, а другую, оттолкнувшись от земли, переносил через раму и начинал крутить обе педали. Крутить и одновременно нажимать на тормоз, отчего велосипед дергался и спотыкался, всячески норовя выбросить меня из седла, но ведь надо же было опробовать, и я опробовал — и педали, и тормоз, и звонок, в котором что-то с трудом проворачивалось и не столько звонило, сколько скрипело и скрежетало, как и должны скрипеть и скрежетать заржавленные зубчатые колесики под туго навинченной никелированной крышкой. «Ладно, ладно... Покатался, и хватит», — говорил хозяин велосипеда, которому давно наскучило кататься и поэтому он не хотел, чтобы другие опережали его в желаниях, недоступных ему самому. Я снова переносил ногу через раму и спрыгивал с педали, возвращая велосипед законному владельцу, и хотя желания были для меня доступнее, чем сам велосипед, не успевший мне наскучить, я не жалел об этом, потому что уже з н а л, как на нем катаются, и за короткое время (до ворот — и обратно) ухитрялся опробовать и педали, и тормоз, и звонок.

Точно так же я, глядя на большой живот матери, знал, что у нее должен кто-то родиться, догадываясь, что это произойдет уже очень скоро, и ухитрялся опробовать охватившее меня чувство недоумения, опасливого ожидания и любопытства на тех новых предметах, которые с некоторых пор стали появляться в доме, — кровати, колясочке, ванночке, множестве всяких пеленок и распашонок. Ухитрялся, и эта уловка всякий раз вселяла в меня тайное удовлетворение, похожее на то, с которым удается накрыть ладонью жука, карабкающегося по стебельку: ага, есть! Вот и я с таким же удовлетворением связывал с каждым из новых предметов появление того, кого из суеверия еще никак не называли, а лишь неопределенно улыбались и загадочно пожимали плечами, словно к нам должен был явиться неожиданный гость или дед-мороз с целым мешком подарков. Я же, видя неопределенную улыбку и загадочные жесты взрослых, упрямо отказывался верить в деда-мороза и уменьшал воображаемого гостя до размеров связанных с ним предметов. Деревянная кровать на колесиках — значит, его будут укладывать спать, колясочка с поднимающимся верхом — вывозить во двор, ванночка — намыливать губкой, приговаривая: «С гуся вода...» — пеленки и распашонки — одевать и укутывать после того, как его распаренное тельце обольют теплой водой, насухо вытрут махровым полотенцем и из банной дутьцы наглухо закупоренной кухни с кислотатым привкусом прогоревшего газа отнесут в опустошенную прохладу комнаты, вызывающую счастливое изнеможение.

Так из очертания предметов возникали смутные очертания будущего пришельца, и мне хотелось заранее опробовать свои чувства к нему, чтобы заручиться спасительной уверенностью, что он из пришельца не превратится в завоевателя и принадлежащие ему предметы не посягнут на то место в комнате, которое безраздельно принадлежало мне. Не посягнут и не вытеснят меня, поэтому я ревниво следил, куда поставлена кровать и куда — колясочка, и если чужая ванночка оказывалась чуть-чуть сдвинута в мою сторону, меня охватывали мнительные подозрения, что теперь меня любят меньше, что я всеми забыт и никому не нужен. Да, да, такова была странная экзистенция, заставлявшая меня хмуриться и обиженно тереть глаза, выдавливая из них упрямые слезы, которые должны были внушить родителям, как они несправедливы ко мне и как пагубна их ошибка, заключающаяся в том, что они потеряли во мне единственного сына, опрометчиво разделив свою любовь между мною и будущим соперником. Если бы они при этом разделили поровну — это было бы не так обидно, но мне достался лишь жалкий остаток их любви, и поэтому я хмурился и тер глаза, в конце концов добиваясь, чтобы у меня защищало в уголках глаз и по щекам покатались слезы.

— Почему ты плачешь? У тебя что-нибудь болит? — спрашивала мать.

Я молчал.

— Может быть, горло? — спрашивала она уже мягче, как бы винясь за свою досаду. — А ну-ка открой рот...

Она придирчиво осматривала мое горло, заранее зная, что не обнаружит ни малейших признаков простуды.

— Все в порядке. Может быть, живот?

Терпеливо выждав положенное время с открытым ртом, я обреченно задира л на груди рубашку.

— Не надо. Лучше скажи мне сам, почему ты плачешь. — Она улыбалась, как бы оставляя за мной право не произносить слова, известные ей заранее. — Ты плачешь потому, что тебе себя очень жалко? Вот оно что... — Она легонько притягивала меня к себе, и как только я готов был броситься ей в объятия, легонько отталкивала. — Значит, себя тебе жалко, а маму не жалко! Ведь маму у тебя скоро заберут в больницу!

Я смотрел на нее широко раскрытыми глазами, не зная, верить ей или нет.

— Да, дорогой мой, в больницу, ты же останешься дома с твоим папой.

Я по-прежнему смотрел на нее не мигая, и моя недавняя жалость к самому себе превращалась в такую острую жалость к ней, что я цепко хватал ее за подол платья и весь день ходил за ней словно привязанный, не помышляя ни о каких жалобах и мечтая лишь о том, чтобы ее никуда не забирали.

## 11

Мечтал, выпрашивал, вымаливал у того, в чьей это было власти, но — мать забрали. Забрали через несколько дней, а я — остался. Остался вместе с отцом, который каждый вечер водил меня к родильному дому, обнесенному сиротливой больничной решеткой, и мы стояли под желтым квадратом окна, казавшегося еще более забким и неуютным, чем окружавшая его темнота, и после долгих криков «Ангелина!» выглядывала мать — бледная, осунувшаяся, в блеклом халатике, и мы махали ей рукой, улыбались и чертили в воздухе какие-то знаки. И вот однажды на наши крики никто не выглянул, и сухопарая дежурная с надменно-строгим лицом, сидевшая за окошечком справочной, сказала отцу, что у него родилась дочь, и сообщила вес новорожденной — пугающе маленький, неполных три килограмма. Отец слегка остолбенел от растерянности, неуверенно улыбаясь, заискивающим кивком обозначил полнейшее удовлетворение словами дежурной и тут же переспросил: «Как вы сказали?» Переспросил и, услышав терпеливое и великодушное разъяснение: «Папаша, у вас дочь. Вес два восемьсот. Рост тридцать девять», выбежал вместе со мной во двор, бросился к воротам, но затем остановился и с недоумением посмотрел на двери роддома: «Девочка! Но почему такая маленькая?!»

С этим счастливым недоумением, застывшим на лице, он несколько раз обошел вокруг трамвайных путей, на которых разворачивались грохочущие красные вагоны, купил на остановке желтые цветы в хрустящем целлофане, написал записку, состоящую из одних восклицательных знаков, и попытался послать матери, но цветы у него не приняли, и тогда, неумело и застенчиво держа в руках букетик, он отправился искать ей подарок. Отправился вместе со мной, едва поспевавшим за ним и похныкивавшим от досады на то, что расстояние, отмеренное одним его шагом, мне приходилось преодолевать в три маленьких

шажка. Похныкивавшим, но не сдававшимся, потому что подарок есть подарок и его нужно было найти. Не какой-нибудь, а особый — память на всю оставшуюся жизнь. И вот в подвале ювелирного магазинчика, тускло освещенного электрической лампой, отец выбрал серьги, брошь и цепочку, покоившиеся на бархатном ложе черной лакированной коробочки, которую услужливый и юркий продавец подчеркнуто аккуратно — с уважением к дорогой покупке — завернул в прозрачную бумагу, крест-накрест обвязал розовой лентой и увенчал пыльным бантом. Накануне возвращения матери отец вымыл полы в комнатах, вытер пыль с буфета, навел глянец на зеркало и, довольный приготовленным сюрпризом, выложил подарки на стол, поместив рядом цветы и праздничную открытку.

В назначенный день мы заказали машину, которая привезла нас домой вместе с матерью и еще чем-то непонятным, сморщенным, красным, завернутым в одеяльце, — моей новорожденной сестрой, чье лицо мне разглядеть никак не удавалось, потому что меня к ней не подпускали, опасно заслоняя ее всякий раз, когда я собирался чихнуть или высморкаться. Едва переступив порог комнаты, отец стал распеленывать дочурку, а мать устало улыбнулась знакомым вещам и, удивленная нашим сюрпризом, примерила перед зеркалом серьги, приколола брошь и надела цепочку. «Спасибо тебе за подарки, — сказала она отцу, подкрашивая помадой губы и трогая напудренной ваткой осунувшиеся после мучительных родов щеки. — Только когда мне это носить?» Сказала, и я почувствовал, что со странным вниманием смотрю, как отец меняет пеленки, мать примеривает у зеркала серьги, брошь и цепочку, а сам я пытаюсь разглядеть личико новорожденной сестры. Да, да, пытаюсь разглядеть и при этом смотрю на себя, пытающегося... и это странно, хотя, казалось бы, ничего в этом странного нет и передо мной лишь случайный момент жизни — отец пеленает, мать примеривает, я пытаюсь разглядеть, но в том-то и дело, что жизнь в этот момент отбрасывает едва различимый экзистенциальный отсвет, похожий на отсвет зеркала, которое выносят из мебельного магазина, чтобы погрузить в машину. Выносят, переворачивают, ставят в кузов, стараясь не поцарапать, и возникает отсвет отраженного в зеркале пасмурного неба и спрятавшегося за облаками мутного солнца. Такой же отсвет отбрасывала и жизнь в тот момент, когда я со странным вниманием смотрел на отца и мать. Смотрел, и мне становилось жалко самого себя, живущего на этом свете, и хотелось плакать от необъяснимой грусти, но в то же время за этой жалостью и этим желанием таилась такая отрада, словно передо мной наклонили зеркало и меня ослепил отсвет голубого неба и весеннего сияющего солнца.

## 12

...теперь-то я понимаю, что никакой странности, причудливости, экзотичности в этом не было, хотя все удивлялись сбивчивым объяснениям, которые я приводил в оправдание своего визита, и спешили заподозрить во мне бродягу, ночующего на чердаке брошенного дома, или квартирного вора, замысляющего новую кражу. Всех настораживало, как заискивающе я улыбался, как игриво пританцовывал на месте и приподнимал над головой шляпу, называя свое имя и стараясь произвести должное впечатление на хозяина квартиры, внушить ему, что мой визит не имеет ничего общего с попыткой взломать чужую дверь и унести в потертом бауле мраморное пресс-папье, бронзовые подсвечники и столовое серебро. Да и сам факт, что человек с записной книжечкой поднимался по лестнице, стучался в двери и, неуклюже представившись, задавал нелепые и невразумительные вопросы, тоже вызывал удивление — знаете ли, вызывал, и все тут, хотя никакой странности, причудливости, экзотичности вроде бы и не было и вопросы мои никаких особых свойств не имели. Совершенно никаких, уверяю вас, — ведь расспрашивал я о таком обычном предмете, как жизнь, и всего лишь пытался составить летопись семейства, состоящего из матери, отца и детей. Для этого мне пришлось воспользоваться семейными и запросить муниципальные архивы, а также прибегнуть к помощи философов и евангелистов. И вот теперь остается лишь сопроводить мое сочинение эпилогом, представляющим собой краткую летопись еще одного семейства, тоже, впрочем, состоящего из матери, отца и детей, среди которых особенно выделялся младенец, чье рождение было ознаменовано многими загадочными событиями — явлением ангелов, падением звезд и приношением в дар младенцу золота, ладана и смирны. Приношением от волхвов, пришедших в Иерусалим с востока, однако не будем торопиться и, прежде чем назвать имя младенца, назовем имена его матери и отца и приведем о них те краткие сведения, которые сохранил пергамент и запечатлела бумага. Приведем не столько ради самих фактов, известных или

неизвестных читателю, сколько ради тех отсветов, которые они оставляют в сознании, и если пролог нашего романа был экзистенциальным, то эпилог пусть будет евангелическим.

Итак, сохранившиеся факты свидетельствуют, что у почтенных жителей Иерусалима Иоакима и Анны, долгое время пребывавших в браке, но не имевших детей, наконец родилась дочь, которую назвали Марией, — маленькая, тихая, с печальными голубыми глазами. Она почти не плакала, не просила есть, а лишь задумчиво смотрела на мать, теребила ручонками складки ее одежды и улыбалась, показывая красные, припухшие от намечающихся зубов десны. «...почти как ангел», — говорили Иоаким и Анна, невольно сравнивая ее с тем самым ангелом, который явился им после долгих молитв о ниспослании потомства и предсказал рождение дочери. Явился ангел — значит, их дочь послана в этот мир для служения Богу, и когда Марии исполнилось три года, родители отдали ее на воспитание в иерусалимский Храм, где жрецы читали ей священные книги, брали с собой на службу, учили кланяться и молиться. Находясь на воспитании, Мария оставалась такой же тихой и задумчивой, никому не докучала просьбами, и если ее забывали покормить, безропотно терпела муки голода, пока ангел-хранитель не приносил ей еды и не утешал ее ласковым словом. Когда Мария повзрослела, из угловатого подростка превратилась в девушку — худенькую, легкую, с тоненькими предплечьями, пульсирующей голубоватой жилкой на шее — и настала пора выдавать ее замуж, жрецы, помня о ее призвании, стали искать ей такого мужа, который сохранил бы ее невинность. Выбор пал на Иосифа, пожилого вдовца, благочестивого и скромного человека. Зная о том, что воспитанная при Храме Мария должна сохранять девственность, Иосиф обещал не прикасаться к ней и заключить духовный брак, основой которого будет взаимное уважение, помощь и поддержка. Дети? У Иосифа их и так было шестеро — четыре мальчика и две девочки, — и он надеялся, что Мария станет им хорошей матерью.

Так оно и пошло поначалу — Мария хлопотала по дому, готовила обед, стирала одежду, а Иосиф уходил на весь день плотничать и возвращался лишь под вечер усталый, в запыленной одежде. Мария приносила глиняный тазик с водой, и он опускал в него красные от загара руки, покрытые морщинками, ссадинами и опухшими рубцами. Затем они ужинали за большим столом — шестеро детей, их пожилой отец и юная, застенчивая мать, — и так было до тех пор, пока ангел не явился Марии и не сказал ей о том, что в скором времени она родит собственного сына, но не от мужа своего Иосифа, а от Духа Святого. Предсказание сбылось, и Мария забеременела, о чем немедленно узнали жрецы, заподозрившие ее в нарушении священного обета. Состоялся суд, на котором жрецы — в присутствии первосвященника — провели дознание и после многочасового допроса Марии и особого ритуального испытания Иосифа, призванного подтвердить правдивость его слов, признали их невиновными. Признали и отпустили с миром, заметив над ними нездешнее голубое сияние, то принимавшее очертания ангела с раскинутыми крылами, то парившее над ними, как голубь, то окутывавшее их словно облако, на котором они готовы были подняться ввысь...

То, что было в дальнейшем, хорошо известно, и мы не будем говорить об этом подробно. О чудесном рождении младенца — сына Марии и Иосифа, — его детстве, первых посещениях иерусалимского Храма, а также о последующей судьбе Того, Кто называл себя Иисусом, рассказывают Матфей, Марк, Лука и Иоанн, описавшие и тайную вечерю, и молитву в Гефсиманском саду, и казнь на Голгофе. Мы же добавим лишь несколько фактов, о которых упоминается в книгах дедушки и которые вполне годятся для эпилога. Годятся потому, что относятся к тем временам, когда Иисуса уже не стало — он умер, воскрес и вознесся на небо, — семейство же его осталось на земле, и вот мы узнаем из книг, что Мария дожила до глубокой старости и восьмидесяти лет от роду умерла в Эфесе, а один из сводных братьев Иисуса, Иаков, возглавил иерусалимскую общину назареев. Об остальных братьях и сестрах мы ничего не знаем. Ничего не известно и о судьбе Иосифа — скорее всего он умер задолго до своей жены, и ему не пришлось стоять у креста, на котором распяли Того, Кого он назвал Иисусом.

## СЕРГЕЙ КАЛЕДИН

\*

# ПОП И РАБОТНИК

*Сцены приходского быта*

Да будут отверсты очи твои на  
храм сей.

*Книга.*

— А кто такие?  
— Брат с сестрой. Идем на  
богомолье.

*Н.А. Некрасов.*

### 1

**В**ера Ивановна Князева, староста церкви Покрова Божьей Матери, притоптала крохотным кулачком пружинящие деньги: трехлитровая банка была набита почти доверху, — соскребла со стола вместе с хлебными крошками оставшуюся мелочовку и доложила в банку аккурат под самый зев. Достала машинку для закатки, новую, ненадеванную крышку, пальцем проверила, не выпала ли резинка, и, перекрестясь, закатала деньги тремя оборотами. Пересчитать так и не успела. Да и чего попусту считать: на Успенье шестьдесят тысяч было, с той поры ну еще пара-тройка тышчонок набежала.

Вера Ивановна обеими руками прижала к груди потяжелевшую банку и, нащупывая ногой в обрезанном сапоге выбившиеся половицы — не споткнуться бы в полумраке, — шагнула в прируб: прятать черную кассу. Но далеко не ушла — задребезжало оконное стекло.

— Э!.. На катере!.. Подъем!..

Вера Ивановна застыла на месте с поднятой для следующего шага ногой, но не испугалась, а только прикинула в уме: плотные занавески в сторожке? Видно снаружи или нет?

— Толька, что ль, Маранцев?.. — проговорила она, заталкивая банку под кровать.

— Открой человеку!

— Ты мне попусту не стучи! Днем приходи, как все люди.

— Сказать надо.

— Чего говорить — известные твои слова. Спать иди.

А про себя уже соображала: бутылку белой дать — повадится, а денег — опять не вернет. Балды если плеснуть?.. Так ведь тоже повадится. Лучше уж денег...

— Тебе сколько требуется-то?

— Сколько, сколько, на бутылку... Отработаю...

— Знаю я вашу работу. — Вера Ивановна запустила руку под тюфяк. — Работнички... Били-били, кошке чуть жопу не прибили, а крыша все равно текет... Где ты в такую рань вина-то добудешь?

— Чего ты там чухаешься? — просипел снаружи Толька Маранцев. — Даешь, что ль?

Вера Ивановна вышла в сени и сунула деньги под дверь.

— Из пенсии своей даю, понял? Ни с чем осталась.

— Не гони пургу! Отработаю!

— Елей когда добудешь, который раз обещаешь! — проворчала Вера Ивановна, изображая строгость.

Спрятав банку с деньгами, Вера Ивановна включила свет, нацепила очки, потерявшие от времени силу, достала молитвенник и, закрыв глаза, зашептала:



— «...От сна восстав, полунощную песнь приношу Тебе, Спасе, и припадая вопию Тебе: не даждь мне уснуть во греховной смерти, но ущедри меня...»

Она тужилась прочесть молитву со тщанием, но каждый раз, доходя до середины, сбивалась и начинала снова: Толька Маранцев, тюремщик беспробудный, не шел из головы. В который раз отогнав от себя дурную мысль, Вера Ивановна обратилась к Господу Богу с извинениями за непотребную суету разума, но поверх очков заметила ползущего по иконе таракана и хлопнула нечисть грязным полотенцем.

— Пропади ты пропадом! — соскоблив таракана с иконы, она потянула шнур — включить чайник. Шнур не поддавался.

— Ох, ох... — раздалось с сундука.

— Чего заохала? Спи лежи, — пробурчала Вера Ивановна, взглянув на кучку тряпья под иконой. — На шнур улеглась... Спи! Рано еще.

Но кучка тряпья на сундуке заворочалась, ожила, из нее выпросталась Шура, глухая нищенка, за которой охотился собес, чтоб упрятать в районную богадельню; вот уж месяц как полдурка сбежала оттуда без паспорта.

— Ох, ох! Шура, не балуй, не озоруй, — причитала нищенка, заправляя седые волосы под грязную косынку. Она сбила одеяло в сторону и села на сундуке, свесив ноги, уже готовая к жизни, — в зеленом засаленном пальто, перехваченном тряпичным пояском. Усаживаясь, Шура всколыхнула воздух, и крохотную сторожку наполнил тяжелый немывтый запах.

— Шу-ра! — в два приема прокричала ей в тугое ухо Вера Ивановна, включая чайник в розетку, — давай тебя помою!

Шура замахала руками.

— Ничего не буду, ничего не слышу, ничего не знаю!..

— Ты на меня руками-то не молоты! — затормозила ее Вера Ивановна. — Давай, говорю, головку помоем. И ножки. Воды в печке нагрее — и будешь как новая! Дух от тебя, Шура, чижелый, не всякий человек выносит.

— Не трог меня, уйди от меня! — отбивалась Шура. — Сами все чумазые ходите...

Вера Ивановна махнула рукой.

— Тыфу ты, Господи! Ишь расстроилась, как худая балалайка!.. Здесь когда нищенки после войны приходили, они послушно жили... И домик соблюдали... Э-эх...

Вера Ивановна оставила затею с помывкой Шуры и полезла за мукой — тесто для просфор ставить. Затопила печь и, пока та разгоралась, поспешила в батюшкин дом — тоже надо протопить, батюшка под обедню с ночевкой приедет.

У паперти на боку лежал кот. Вера Ивановна потрогала его: зачоченел Барсик, стало быть, помер. Чего уж... старый... Она сходила в сарай за снежной лопатой и на лопате вынесла кота за дорогу подальше: птицы разберут, а нет, так собаки возьмут.

Батюшкин дом немногим отличался от ее халупы. Разве что попрямее, почтие да обоями вместо газет оклеен. И две комнаты — одна сквозь другую. Да холодильник. А так — та же продува, не натопишься: на ночь истопишь, к утру все ветром вынесет...

Кровати батюшки и матушки были не засланы; матушкина кофта свешивалась со стула, ночная рубашка на телевизоре. Горшок и тот не прикрытый. Вера Ивановна подошла поближе: и не вынесенный. Тыфу, прости мою душу грешную! Она повернулась к огромной, в подроста иконе в углу за аналоем и заизвнялась перед Богом за недовольство батюшкой, а самое главное, матушкой, Ариадной Евгеньевной. И имя-то какое не православное. Тыфу ты, Господи! Спаси, Христос!

Кофту — в шифоньер, рубашку с телевизора долой, тапки — рядышком; конфеты, яблоки, печенье — в сервант. А горшок нарочно выносить не буду. Для принципа: пусть сама.

Вера Ивановна сдернула со спинки кровати тяжеленную черную рясу, перекинула через плечо — ох, длинна! Вот уж уродился батюшка так батюшка, ничего не скажешь, солидный мужчина. Здорова Федула... Вовремя спохватясь, Вера Ивановна истово закрестилась. «Что ж это я в озлоблении таком, Господи?! Пряма вся нервная стала: плюнь в рот — драться лезу!..»

Шура сидела на сундуке в первоначальной позе: недовольная, скрестив руки на животе.

Вера Ивановна пошебаршила в печке кочергой и отвалилась на табуретку: от низкого нагиба помутнело в глазах — давления не хватает.

— Что исть будешь, Шура, — вяло спросила она, — яйцо или картошки с салом?

Шура поглаживала серую кошку.

— Ишь какая головка махонькая... А у людей с ведро, а ума нет...

— Что исть, говорю, будешь? — уже с напряжением в голосе повторила Вера Ивановна.

— Как вы, — поджав губы, прогундосила Шура, — ваша воля... Что ж я чужим распоряжаться...

— Ишь ты! — всколыхнулась Вера Ивановна. — Поджала губы курьей гузкой! На! Яйцо крутое колупай, молоко бери! Обиделась, старая беда!.. А кошку брось! Чего к столу тащишь?!

Шура осторожно поставила кошку на пол, передвинулась к столу и брезгливо повертела вилкой в кружке с молоком.

— Колхозное? Не буду, там говны одни.

— Откуда ж они там взялись, интересное дело? Молоко на ферме в кишки резиновые льют, прям из сисок.

— И яйцо мне круто, мне бы мяконького, — капризничала Шура.

Вера Ивановна стукнула по столу черной высохшей ладошкой.

— Повар издох — мягкое варить! Ешь чего дают, не то в больницу сдам! Не доводи до греха, Шура! Слушайся, покудова я здесь хозяйка! Мне с тобой бодаться не под года.

— Батюшка приедет, пожалуюсь, — захныкала Шура. — Житья нету...

— Ты лучше матушке пожалься, — посоветовала Вера Ивановна, околавивая Шурино яйцо о стол. — Матушка у нас жалостливая, до чего жалостливая... Ешь яйцо, молоко пей! Кому сказано! — И, смягчившись, добавила: — С-под Катинной коровы, не колхозное.

Только сейчас Вера Ивановна заметила, что сама-то на ногах, присела на табуретку.

В сторожке стало тепло. Чего ж поесть? Хотелось ей открыть баночку ветчинки зарубежной, ветеранской, желеем залитой, тем более что мясо ей Димка-регент — детский врач — велел есть для давления, чтоб выше набиралось, да ведь какая в пятók ветчина! В пятницу лучше на рыбе ехать. Она встала на колени, раскрыла обшарпанный кухонный шкафчик, который был в сторожке за стол. Банок внутри стояло много, да все не то: икра кабачковая, икра баклажановая, сгущенка, шпроты, — да и колбаска кооперативная по одиннадцать рублей — полешко залежалась. Рыбы в шкафчике не было. Вера Ивановна подвигала банки... неужто всю сожрали?.. Выходит, всю... А-а, не-ет, вона икра минтай! С чайком пойдет за милую душу, скользкая и зуб не надо. Вера Ивановна отрезала ломоть хлеба, корки обломилла, намазала икрой. Пospel чайник. Она кинула в чашку четверть ложечки бразильского, в катышках, растворимого кофе — тоже для давления — и туда же свежей заварки со слонем.

Шура тем временем уже поела и долизывала блюдце из-под молока, чем растрогала Веру Ивановну.

— Еще попей молочка.

Но Шура демонстративно отсела подальше от стола. Вера Ивановна выждала и как бы незаинтересованно напомнила:

— А чего ж помянуть-то не помянула, отсела, ровно гостя? Помяни, раз покушала.

Шура не реагировала, прикрываясь глухотой. Вера Ивановна усилила голос:

— Слышь, чего говорю-то?! Шу-ра! Помяни давай!

Шура нехотя встала, повернулась к иконам, замерла.

— Ну, чего стоишь попусту? — Вера Ивановна слегка ткнула нищенку в спину. — Чего молчишь?

Шура повернула к старосте сморщенное в злобе лицо, забурчала под нос что-то грубое, вроде как даже по-матери.

— Ишь ты, — ухмыльнулась Вера Ивановна. — Дуется, как пузырь дождевой. Ну-ка мне!

Шура повернулась к иконам.

— Помяни, Господи, усопшую Акулину, вечная память, вечный покой!.. (Это про мать Веры Ивановны.) Помяни, Господи, усопшего Ивана, вечная память, вечный покой. (Про отца.) Помяни, Господи, убившего Иоанна...

— Не убившего — убиенного. Сколько раз говорено!

— Убиенного Иоанна, вечная память, вечный покой... Все, — не оборачиваясь к ненавистной хозяйке, проворчала Шура. — Помянула.

Рукавом офицерского кителя Вера Ивановна смахнула слезу с глаз, которая всегда выползала на словах «убившего Иоанна», потому что то был ее сын Ваня, разбившийся несколько лет назад по пьяному делу на грузовике в день своего пятидесятилетия. После похорон она уже на постоянно переселилась в церковь.

— Ивановна-а!.. — послышалось за дверью.

Катя-телефонистка, заместительница Веры Ивановны, прибыла для помощи — печь просфоры.

— Шура, иди в трапезную!.. — засуетилась Вера Ивановна. — Катерина вон приехала, мешать нам будешь.

— Все гонют, гонют...— заныла Шура, собирая манатки в узелок.— Никакого покою... Повешаюсь, а там как знаете... Три поклона — и повешаюсь, и сами тогда разбирайтесь...

Шура, набычившись, головой вперед подалась из сторожки, чуть не сбив с ног входящую Катю.

— Шурка-то прям как гоночная стала,— усмехнулась та, стягивая телогрейку.— А я, дура, таблеток от головы нажралась, да не тех сослепу, все тело разнесло, распухла, как квашня, думала, не встану. Аллергия вдарила.— Она перекрестилась и поцеловала Веру Ивановну.— Тесто-то как?

— Готово.

Катя достала с печки фанерный круг, переложенный от грязи старыми газетами, положила его на стол, уставилась в старую газету, шевеля про себя губами. Вера Ивановна принесла печатки, завернутые в чистые тряпицы. Печатки были с незапамятных времен: металл истончился и с краев был как фольга конфетная.

— Чего ты там вычерпала?

— Паренька германского отпустили — помнишь, на Красную площадь залетел? Куда ему в Сибири сидеть!.. Чахлый весь... Его по телевизору показывали, прыщеватенький такой... Мамка к нему еще на суд приехала. Паршивенький немчонок. Помнишь, у нас в деревне какие стояли: один к одному, один к одному!..

Катя содрала газету и потрусилась над фанерным кругом мукой.

— А Тоня-то Колюбакина, слышь, Вер, померла. В огороде ковырялась — и башкой в грядку. Удар зарезал. Привезти должны.

— Пускай везут,— сдержанно кивнула Вера Ивановна.— Она свое погуляла... И с тем и с этим... Даже Петрова не обошла, невзирая, что старик...

— А ты не ревнуй,— выкладывая тесто, рассудительно сказала Катя.— Чего тебе Петров? Петров вон сколько пользы принес, вся церква по сей день на нем...

Вера Ивановна вдруг застыла.

— Старая кокура! Храм-то не топлени! Из башки вон!..

— Тоже мне ктитор!..— покачала головой Катя.— Котлы топишь, пола моешь!.. Тем ли церковный староста заниматься должен?

Вера Ивановна отряхнула руки от мучного налипа и побежала в котельную — глубокий подвал под правым приделом церкви.

Оба котла выстыли, да как им не выстыть, если два дня не топлени. Вера Ивановна проковыряла шуровкой колосники от угольного спёка, вычистила поддувала, запалила масляную рвань, сверху положила чурочек и угольку помельче, чтобы схватилось. От возни снова застучало в голове, она присела перевести дух. Сверху с поленницы, не выдержав угарной вони, мягко шлепнулась старуха Машка и, мяукнув, полезла из котельной вверх по обитому кровельным железом желобу для подачи угля. Крутые ступеньки, ведущие в котельную, ей были уже не под силу.

А весной еще по ступенькам прыгала, подумала Вера Ивановна, наблюдая, как Машка с трудом выбирается по скользкому железу. Ей не под силу, а мне каково?.. Зима на носу. Кто храм топить будет? Размерзнут трубы, котлы встанут, роспись в храме попадает... Думать страшно! А ведь когда гнал батюшка Левку-кочегара, не думал! Выгнал — и с глаз долой!.. Кто теперь в котельной управлять будет, воду носить, дрова?.. Главное — еврей ему Левка! А он и еврей-то всего на четвертушку, если на то пошло. А хоть бы и целиком еврей, что с того? Иисус-то наш Христос кем был?.. Русским, что ль?!

Катя уже сажала на противень напечатанные просфоры.

— Холодильник бы надо. Одним разом напечь — на две недели. А то — мудохайся каждый раз!

— Я бы свой с Кирпичной привезла,— вздохнула Вера Ивановна,— да как привезешь?

— На санках если?

— На санках-то зимой, а зимой на кой ляд мне холодильник?

— Вчера по телевизеру Пугачеву передавали. С дочкой. И на мать-то не похожа... Не смотрела?

— Тут и без телевизера колготня... Ты водой, водой просфоры помажь. Шурка-то знаешь чего гронится? Три поклона, говорит, и повешаюсь в лесу! Повисю, говорит, съмрут, захоронят красиво, с песнями, удавленников с оркестром хоронят.

— Ишь ты! — возмутилась Катя.— Озорница! Пойдет да удавится.

— А мне-то какой грех! — Вера Ивановна покачала головой.— Скажут, довела!

— В приют сдай,— посоветовала Катя.

— Скажут, сдала, куска хлеба пожалела.

— А ты ее к делу приспособь — дурь-то и снимет. У тебя и так дел невпротык, а тут еще отдыхальщица санаторная!..

— Нет уж, пускай Христа ради живет. Еще скажут: вдвоем-то, мол, нехитро управиться. Пусть уж до весны побудет.— Вера Ивановна знала, конца этому разговору нет, а потому закрыла тему, только добавила для итога: — Батюшке скажу. Так и так: грозит, мол, удавиться. Чтоб был в ответственности.

— Скажи,— согласилась Катя.— Я тебе кролика привезла.

— Шура скушает,— кивнула Вера Ивановна.

— А сама-то?

— Их Господь православным запретил: кролики котам преподобны. И котятся слепыми, как недоноски...— Вера Ивановна печально вздохнула.— Ох, Кать, грехов на мне, исповедаться надо. Посидела бы тут денек, пока я к отцу Науму в Загорск сбегаю. Посидишь?

— Чего хочешь, это — нет! Меня озолоти, чтоб здесь под зиму, в ночь!.. Пришибут — никто не дознается! Лежи воняй!..

— А я вот не боюсь. Мне что жить, что помереть... Помереть даже лучше, забот меньше, Катерин... Одна беда — грехов полно. Тело зареют, тело сопреет, а душа-то неприкаянна, душе страдать... Прямо какая-то тоскливая я стала, Катя, сама себе в тягость. Иной раз думаю: плюнуть бы да уйти к себе на Кирпичную, комнатка у меня веселая, пенсия пятьдесят рублей, чего еще? Буду сидеть Мананку Зинаидину нянчить.

— А отец-то навевается?

— Вахтанг? Очень ему надо! Гульванит где-то... Может, у себя на Кавказе.

— А на алименты подать?

— Пустое дело! Переустроится — опять пропадет. Бог с ним. Двадцатку государство жалует, и ладно.

За воротами раздался длинный гудок.

— Тонко Колюбакину привезли,— сказала Катя, задвигая противень в печь.

Вера Ивановна не торопясь достала из-под тюфяка ключи от церкви на большом старинном кольце.

— Пойду приму.

Но оказалось, привезли не покойницу: Толька-тюремщик елей привез — наворованное масло вазелиновое. И когда успел?..

— С благоприятной погодкой! — заорал он, спрыгивая с подножки самосвала.— Раз сказал — два не надо!

— Сколь привез?

— Бочару. Как велела. Двести литров. Рубель литр.

— Хороший елей-то? — для виду засомневалась Вера Ивановна.— Вазелиновый?

А то нальют...

— Ворота растворяй! — торопил Толька.— Две доски — и котом!

Пока Толька с шофером ворочали бочку, пока завтракали в кирпичном одноэтажном домике для ночевки певчих и богомольцев, Вера Ивановна открыла церковь. Достала из сейфа деньги, начала считать. На второй сотне в церковь ворвался Толька.

— Денег наслушили, а счесть не можете!

— Иди, иди отсюда! — замахала на него Вера Ивановна.— Прется в храм!

Не любила Вера Ивановна, чтоб видели, как она с деньгами возится. Скоро финансовый год кончается, а у нее в сейфе пять тысяч неоприходованных. Батюшка-то про них знает, да исполком не знает, по ведомостям не проходят. Вот из-за денег у нее с батюшкой беспорядок и начался. А вернее, с матушкой. Чует матушка носом своим, что есть в церкви еще и черная касса. Тайная. А там, в банке стеклянной, уже не пять тысяч... Матушка-то, слава Богу, опытная, знает: во всех церквях такие кассы имеются — коммуна неподведомственные. И для попов закрытые.

Был бы батюшка податливый да понятливый, ремонт бы продолжили, роспись в храме поправили, сменили бы отопление, ограду... Так нет: благословения не дает!.. Как начали ремонт летом, так и замерло. И все потому, что дачу себе воздвигать вознамерился. За оградой! Навез чушек бетонных для фундамента, цоколь вывел под гараж — все, деньги кончились. Дворец затеял. Так ведь она не против. Пожалуйста, строй хоть в три этажа. У тебя и дети еще учатся, и внуки на подходе, и самому не молодеть, вон пилюли все мечет. Строй себе на здоровье. Бери деньги. Хоть все шестьдесят тыщ! Но только в ограде церковной строй! Служишь в церкви — пользуйся! Перевели в другой приход или помер, не дай Бог,— другой священник дом займет. И машину купи, на, пожалуйста, только на церковь оформляй.

...Вера Ивановна пересчитала деньги еще раз, добавила десяточку Тольке за труды — кроме утреннего червонца,— чтоб не зря подметки бил.

— Слышь,— спохватилась Вера Ивановна, когда самосвал уже заурчал, выбираясь из церковных ворот,— Толь, найди мне кочегара на зиму! Хоть убогого. Глубоко можно. Замерзнет церква. Поищи где-нигде. Только шапану не сватай!

— Сделаем,— сказал Толька.— Три двадцать в кассу, чеки мне! Налить бы, хозяйка?

Вера Ивановна вздохнула.

— Ладно, за воротами подожди.

Ее знаменитая балда — разбавленное варенье, настоящее на пшене,— хранилась под кроватью в трехлитровых банках. Вера Ивановна полезла под кровать. Банки стояли, но как-то не так. Не так, как она их ставила... Точно, не так.

Она с трудом поднялась и присела на Шурин сундук.

— Та-ак... Значит, лазил... Значит, видел. А может, и не лазил...

Проводив Тольку Маранцева, Вера Ивановна взялась подшивать подворотничок к рясе. И опять наткнулась в кармане рясы на стеклянную трубочку с лекарством от сердца, и ей стало жаль батюшку.

Вошла Катя, присела отдышаться.

— Пола в церкви вымыла, теперь вот подсвечники протереть. Елею давай.

— Из новой бочки качай, в старой одни подонки. Ну-ка, Кать, выдери узелки — шейку натрут. А то я сослепу не вижу.— Вера Ивановна протянула Кате полрясы, вторая половина осталась у нее на коленях.

— А барыня-то сама подшить не может? — Катя зубами, ногтями не бралось, выдернула из твердого стеганого воротника старые узлы, покачала головой.— Прогладить бы надо, ходит как парчушка парепаный!.. А она знай свои гобелены штопает. Ты кассу спрятала?

Вера Ивановна молча кивнула, переложила ей на колени тяжелую рясу.

— Прошпарть, Катерин, а я пока к Аринке Маранцевой пробежусь, яичек возьму: народ вечером нагрянет, а варева никакого.— И без особой надежды спросила: — На всеночную не останешься?

— Это без меня,— замотала головой Катя.— Если бы батюшка один приехал, другой разговор, а матушку зрить не могу. Она с тебя денег больше не тянет? А то мы батюшку враз на оклад пересодим! Двести пятьдесят в зубы — и будь здоров!..

— Ладно тебе, опять вся красной набрякла. Матушка и матушка, чего ж теперь? Завтра-то хоть придешь к обедне?

— Завтра приду. При народе она не так в глаза лезет.

— Уходить будешь, замок набрось,— тяжело вздохнув, сказала Вера Ивановна.

Выйдя из сторожки, она как бы невзначай заглянула в окно снаружи: не больно-то занавески плотные, вполне Толька мог углядеть, как она с деньгами мудрует.

Перед покосившейся избой Арины Маранцевой в облетевшем палисаде гуляли беспальные куры и петух без гребня, тоже беспальный. Петух взлетел было на куру, вцепился ей в холку клювом, кура затрепетала, и петух, не удержавшись култышками на ее спине, слетел на землю. Вера Ивановна покачала головой.

— Нема от тебя теперь прока, теперь только в суп.

— Ты чего там ворожишь? — раздался с крыльца скрипучий голос Арины.

— Зачем, говорю, курей поморозила? На обглодках шастают!

— А ну их! Тебе яиц небось? Десяток наберу. Рубль тридцать. Как диетические.

Пока Арина долго считала яйца, в сенях раздался гром — изба пошатнулась.

— Баран озорует,— пояснила Арина.— Убить бы сволоча, да боюсь, мяса не сохраню до мороза. Если впополам с кем засолить. Не хочешь?

— Я свое отъела, мне теперь одно месиво по зубам.

— Весь двор разнесет! Пойти прибить заразу?.. Заскользю...

— Тольку, сына своего, попроси,— посоветовала Вера Ивановна. И добавила, подводя разговор к чему хотела: — Чегой-то он ко мне утром ломился?

— Денег небось требовал? — Арина подала Вере Ивановне целлофановый пакет с яйцами.— Скоро опять сядет. Ему тут не житье. Там он попривык, главный у них стал. Покормят, постелют...

— Ты, Арин, скажи сыну, чтоб ко мне по ночам не ломился, мне одно волнение... Пусть днем... А то я батюшке нажалуюсь, он его в милицию сдаст.

— Сда-аст! Он те сдаст!.. Он вас порежет, как курей, и в тюрьму — отдыхать! Не трог ты его, может, сам утомонится...

Вера Ивановна вдруг тыркнулась к окну.

— Не батюшка со станции метет?.. А? По фигуре, кажись, он! А вон и матушка... Чего ж без машины-то? Опять сломалась? А это еще кто ползет? Тыфу ты, Господи, Татьяна, кажись?..

— Тебе-то какая печаль? — сказала Арина, запрягая седые волосы в косицу.— Ноги ходят — пусть приходит.

Нелюбимая Верой Ивановной восьмидесятилетняя Татьяна следовала за отцом Валерием по пятам, начиная с Ярославля, где он получил свой первый приход, еще

учась в семинарии. Сперва в дьяконы рукоположили, а через три дня — во пресвитеры. Слухи были, не все так просто: блат, мол, батюшке помог в священники выбиться, и корочек-то у него до сих пор нет. По инженерному делу есть, по строительному, по первой специальности, а по религии — нет. Вот его и гоняют туда-сюда. А Татьяна за ним полозает как прилипшая; семьею пренебрегла и носится по белу свету!.. Досадно было Вере Ивановне, что Татьяна старше ее, а Бога чтит больше. Сама-то она к церкви полностью припала, когда одна осталась: сын погиб, дочь завербовалась. Вроде как от безделья. Досадно было Вере Ивановне, обидно и... завидно.

2

У переезда мотоцикл сотрясся неотрегулированной дрожью. Бабкин отломил от бузины ровную веточку, сунул в бензобак, хотя и без мерки знал, что бензин весь. В люльке мотоцикла, омыаемый дождем, скулил Бука.

Из будки на переезде вышла тетка в ярко-желтом жилете, за ней мужик в плаще.

— Бензин кончился? — крикнул мужик Бабкину. — Туши свет, сливай воду: на шоссе не сторгуешь, а заправка в Гагарине.

— А-а?

— Чего «а»? Церква тут есть. У бати «Москвич», может, даст малку... Пихай аппарат под навес...

— Вот еще! — заорала тетка. — Буду я чужое стеречь!..

— Пихай, говорю! — прикрикнул на Бабкина мужик и повернулся к тетке. — Смолкни, а то обидюсь!

Он помог Бабкину приткнуть мотоцикл к будке. Постучал по шлему.

— Поактивней натяни! Соскочит с башки-то.

— Не натягивается, — пробормотал Бабкин.

— Калган у тебя будь здоров! — заржал мужик. — Значит, мозгов много. Как звать-то?

— Владимир.

— Вован, значит... А я Толян.

На краю деревни под раскидистой рябиной, с вершины которой, свесив башку, уставилось вниз чучело, в маленьком прудке среди попискивающих нутрий длинным сачком ковырял воду толстый старик в красной синтетической куртке.

— Генералам! — поприветствовал его Толян. — Чего воду мутишь?

Старик разогнулся.

— Мотыля вот ловлю на Птичий рынок, не ловится.

— А на Птичке только самцов берут. Ты проверь.

— Ладно врать-то!

— Точно говорю. Мотыля на половое меж зубов проверяют. Протянулся — самка, отбрасывай. Яйцами застрял — самец. Все научи. Что б вы без меня делали, если б я всю дорогу чалился?

— Кто это с тобой? — перебил Петров.

— Вован с Москвы. Корефан мой. С бабой поругался. Порнуху на ночь ходил смотреть малёк. Для сна. Утром пса не вывел, заспал. Пес нагадил. Баба обоих и выгнала. — Толян обернулся к Бабкину. — Так я говорю?

Бабкин пожал плечами.

— П-приблизительно.

Петров, насупясь, внимательно осматривал Бабкина.

— Зачем башку мотоциклетную нацепил?

— От дождя, от ветра! — заступился Толян. — Да он ее сымет, дядя Федь. Со временем. Батя прибыл, не знаешь?

— Мне-то какой он батя? — скривился Петров. — Я в религию не верю. Ступай давай, не мешай. Собаку-то пристегни.

Возле церкви мотались на веревке две рубахи и хлопал надутый ветром пододеяльник.

Толян кивнул на церковь:

— В прошлом году грабанули, а не отразилось, денег — как у дурака махры. Собаку-то привязать надо. Не кусается?

— П-почему не кусается? — обиделся Бабкин. — Ку-кусается, когда надо.

Церковь была в неубранных лесах. Возле лесов валялась разбитая бочка с побелкой, рваные мешки из-под цемента, доски... На ржавых, покоробленных листах схватился невыработанный раствор. На правом приделе церкви стучал по обрешетке лист оцинкованной кровли.

Из сторожки с тазом в руках и связкой прищепок через плечо вышла старуха в офицерском кителе.

— Э! На катере! — окликнул ее Толян. — Стоять!

— Пошел ты!..

— Чего ты, в натуре? Сама кочегара просила!..

Сразу помягчев, старуха поставила таз на хроющую лавочку возле неогороженной могилы.

— Заходите, пожалуйста, в трапезную. Там батюшка.

Толян подтолкнул Бабкина:

— Вон домик кирпичный.

Бабкин на всякий случай постучал в обитую коричневым дерматином дверь с наколоченным на ней шляпками обойных гвоздей большим крестом.

— ...Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!..

Сзади на Бабкина налетел Толян, вдавливая его в дом. Бабкин шагнул, не посмотрев куда, и сокрушил стоявшие в междверье кастрюли.

— ...Слава Отцу и Сыну... — дорокотал невидимый из передней бас, и следом вприпрыжку раздраженный женский голос крикнул:

— Что там еще?

— С благоприятной погодкой вас, граждане! Кастрюлю тут...!

Из трапезной шикнули и продолжили религию.

Бабкин оглядел переднюю. Справа от двери шумел отопительный котел с осколком водомерной трубки, рядом стояли два ведра с углем и таз со шлаком. На котле сушились поленья. В углу кипел чайник. Толян по-хозяйски выключил плитку.

— Все кипит и все сырое.

В переднюю выходили три комнаты. Бабкин заглянул в ближайшую: шесть застеленных раскладушек, икона, лампадка, на подоконнике старинная книга в протершем кожу деревянном переплете.

Толян замел веником пролитые щи и бухнулся на раскладушку.

— Толковище!.. — усмехнулся он, прислушиваясь к соседней комнате. — Опять ругаются.

— На все, Леночка, надо испрашивать благословение батюшки, — спешил раздраженный женский голос. — А ты?.. Мы с таким трудом собирали церковное собрание. Батюшка сам по избам ходил, чтобы был кворум. Из райисполкома человек специально приехал. Зачем ты за нее выступила? Если бы не ты — ноги ее здесь не было! Какой это староста?!

— Прекрати, мать! — мужской голос был низкий и хриловатый. — Читай, Женя, не отвлекайся.

— «...Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее, как в богатую сокровищницу, Апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питье жизни...»

— Книжки читают, — сказал Толян. — Сейчас отмолят — попу представлю. Батя путный. Садись, чего стоишь?

Бабкин сел.

— Здесь Димка спит, детский врач, регентует у нас, — Толян хлопнул по соседней раскладушке. — И за дьякона. У бати сын, кстати, тоже дьякон, недавно врукоположение принял. Здесь Женька-сумасшедший. Артист бывший. Жизофрения. Остальные — пацаны с Москвы, певчие. Новые ребята. Прежних-то батя выгнал, которые при отце Валентине пели. Шадаев фамилия. Про него в газете писали. Духарной мужик был. В Орешеве стройбат бабу отодрал, ну и побили малёк. Он к ним в рясе, с крестом, во всем обличье в часть поперся. Разговоры разговаривать. Чудной. Андропова отпевать отказался. Его архиерей за рубеж выпер. Он теперь во Франции. Перестройка, ёж твою медь! Сажать хотели. Плюрализм и альтернатива. Слышал, нет: «Что ты жалобно поешь, Алла Пугачева? Хрен теперь вина попьешь у Миши Горбачева». — Толян постучал по стене, за которой храпели. — Там баба Димкина. Она неграм французский язык преподает. Скоро третьего родит.

— От негра?

— Зачем? От Димки. Баба-то его.

— Сколько у нее времени? — тупо спросил Бабкин, вспомнив про свой дом, беремную жену Светлану и про то, что она его выгнала.

— Не знаю, пузо — во! — Толян дотронулся до батареи. — Не греет, падла!.. Иди пошуруй! Я бы сам кочегаром пошел, да батя боится: запью — спалю халупу. А чего, запросто.

Бабкин присел на корточки перед котлом, потыкал в топку лыжной палкой. В прихожую вошла старуха в кителе.

— Значит, истопником у меня будешь, — утвердительно сказала она, сваливая возле котла охапку дров. — Я знакомства-то так и не произвела: Вера Ивановна.

Бабкин не успел представиться, в трапезной вспыхнул шум, задвигались стулья.  
— Пошли! — скомандовал Толян. — Отыграли девки Пасху, откатали яйца! Батю отец Валерий звать.

— Шапкуними, — спохватилась староста.

Бабкин стащил с головы шлем и робко шагнул вслед за Толяном в трапезную. На торце стола натуральный священник в черной рясе, лысый, с седой бородой, накладывал в чашку гранулированный кофе из иностранной банки. Рядом на устаревшем диване немолодая женщина в гузильской душегрейке с неприятным культурным лицом что-то вышивала. Бабкин почему-то сразу понял: раздраженный голос — ее. Дальше столетняя ведьма обсасывала сухарь, девушка в дымчатых очках сидела, опустив голову. По правую руку от священника восседал молодой носатый бугай, наверное, обладатель баса. За ним по всей длине стола расположился народ помельче, изможденный парень, похожий на Гоголя, уткнулся в раскрытую книгу.

— Женя, — сказал ему отец Валерий, — рубашку застегни.

— Благодарю вас, батюшка. Большое вам сыновье спасибо. — Он послушно застегнул пуговку на расстегнутой до пояса рубашке и страдальчески взглянул на батюшку: правильно ли он сделал.

— Обои пугови, — подсказала Вера Ивановна. — И пинжачок.

— Да-да, — благодарно затряс головой Женя и справился со второй пуговицей.

Отец Валерий отер лицо вафельным полотенцем. К нему подскочила Вера Ивановна.

— Чистое возьми, батюшка. Что ты этой гусиной плотью трещься? Опять личико запаршивает...

— Не твое дело! — проскрипела ведьма. — Своими делами занимайся. Другим не указуй.

Вера Ивановна осеклась на полуслове, отсела на дальний край стола.

— Вот так, вот так, — прошамкала Шура, — не балуй, а то ишь раскомандовалась...

— Татьяна, что ты волнуешься по всякой ерунде? — одобрительно заметила ведьме женщина с культурным лицом. — Ешь спокойно, не обращай внимания.

— Ладно, ладно, без шума, — расправляя на коленях чистое полотенце, благодушно сказал батюшка. — Здравствуй, Анатолий. Что скажешь?

— Покушать бы, — сказал Толян. — Ну-ка, баба Груш, двигай.

Арина Маранцева, сидевшая рядом с Грушей, хотела было вылезти, уступить место сыну, но Толян одной рукой прижал мать за плечо, а другой легко, без усилия свез Грушу по скамейке в сторону, уплотняя сидевших в конце стола.

— Мисочку мою... — беспокойно заверещала Груша, протягивая руки к уплывающей тарелке.

— Какие трудности, баба Груш? — поинтересовался Толян, накладывая себе и Бабкину винегрет.

— Аринкин петух мово забил, — пожаловалась Груша, не прекращая цапать вилкой проскальзывающую баклажановую икру.

— Что ж ты, мамаш, зверей не дрессируешь? — укорил Арину Толян. — От рук отбились.

— Пусть она своего на привязи держит, раз он задиристый, — вступилась за петуха Арина Маранцева. — Дразнились-дразнились — смертью кончилось.

— ...И что характерно, батюшка, — продолжил прерванный неизвестно когда разговор носатый бугай, — когда православные рожают, не кричат, а еврейки гадят ужасно.

— Еще бы! — передернула плечами женщина в расшитой душегрейке.

— Э-э... — отец Валерий замыкал, пожевал губами, подыскивая результирующую мысль. — Разумеется.

Толян шепнул Бабкину:

— Регент Дима Сычев. Врач по родам.

— Поешь, поешь, Димочка, — проворковала женщина в душегрейке. — Дайте ему, девочки, салат. Служба впереди такая длинная!

— Матушка, — шепнул Толян Бабкину и громко спросил священника: — А что-то машины вашей не видно, батюшка?

— Э-за... — нерешительно начал отец Валерий, с некоторой тревогой поглядывая на жену.

— Странно, что вообще-то ездит! — процедила та, отворачивая лицо. — Ты б ее пионерам на металлолом сдал. Хоть какая-то польза.

— Ладно, мать, ты это... Не все сразу. Купим новую.

— Когда?! — Попадая вскочила, с треском выбираясь из-за стола. — На том свете?! Она швырнула вышивание на диван и ушла. В трапезной повисло молчание, только в дальнем углу стола тихо охала Шура.



— Кому сказать, — проворчала Татьяна. — Настоятель храма за сто верст на службу пешком должен. На машину собрать не могут. В других церквах где какую копейку наслужат — несут священнику. А тут... — Она гневно зыркнула в сторону Веры Ивановны. — Ты ж неграмотная, какая ты староста! Ушла бы по доброй воле.

— Народ переберет, тогда уйду, — пробормотала Вера Ивановна, жомкая скатерть.

— Скоро на тысячелетие собор указ вынесет: священники снова во главе церковей станут, сами кассой распоряжаться будут...

— Тетя Тань, пропусти собеседника вперед, — перебил ведьму Толян. — Чего с тачкой, батюшка?

— Заглохла, — виновато сказал отец Валерий.

— Делов-то! Где ключи? Сейчас с Вованом поглядим, он разбирается!.. Заведем, пригоним, нет вопросов, куда она, на хрен, денется! Извиняюсь, бабы. — Толян хлопнул по плечу Бабкина, выбив брызги — девушка в дымчатых очках вытерла щеку.

— Кочегар наш новый, — всунулась Вера Ивановна. — Не пьет, не курит... Русский.

— Очень приятно, — кивнул отец Валерий, выживая из-под рясы ключи. — Это хорошо, а то истопника найти никак не можем. А вы, случайно, не из «Автосервиса»?

— Пошли, Вован, машину пихнем!

— До свидания, — кивнул Бабкин, выбираясь из-за стола.

— Ты приходи потом-то, — забеспокоилась Вера Ивановна, — а то скроешься, исчезнешь, а завтра мороза обещали.

— Вы крещеный, конечно? — спросил отец Валерий.

— Да он в Бога верует, я те дам! — Толян стукнул себя в грудь кулаком. — У него вот с разговором напряженка. Заикает.

Бабкин покраснел окончательно и, не поднимая головы, устался в фанерный пол, застланный разбехавшимися половиками.

— Он с бабой своей поругался, она его и выставила без выходного пособия, — пояснил Толян. — Он на дачу, у них дача тут, за Марфином. А дача заперта. Ключ у тещи. Короче, Вован с харчей съехал, из города скрылся, на завод больше не хочет. У него от чертежей башка пухнет. Вон калган какой. У них завод ракеты делает...

— Самолеты, — шепотом поправил Бабкин.

— Гробанется ракета, не дай Бог, — молот Толян, — Вован в тюрьму...

— Понятно, понятно, — закивал отец Валерий. — Бывает... А насчет речи можно помочь...

Вера Ивановна ткнула лицом батюшке в руку — за благословением — и ушла возжигать свечи.

Дима-регент, уставший от невнимания к себе, перехватил священника:

— Папа-то римский что отчудил, батюшка? Собрал в Ватикане на экуменическое богослужение всех кого ни попадя: и евреев, и католиков, муллу пригнал, шаманов разных, буддистов, ламаистов... И давай служить кто во что горазд...

— Диссидент, — подытожил отец Валерий кратко, чтобы не упустить Толяна. — Анатолий, ты мне «Беларусь» с ковшом не достанешь на пару дней фундамент рыть?

— Нет вопросов! Три двадцать в кассу, чеки мне!

Над папертью горела мощная ртутная лампа. По-прежнему хлопал на ветру пододеяльник и две рубашки протягивали руки к земле. В полумраке за оградой тихо выл привязанный Бука.

— Тут топить-то: подкинул угольку и сиди кури. Курить, правда, в церкви нельзя, не любят. Сто рублей и харч бесплатный. В пост только плохо, жрут как потерпевшие. Ты кобеля в котельной запри, орать будет — не слышно.

— Он п-правда лечит?

— Заикание? Он как даже лечит. Сегодня вот жалко Лешки Ветровского нет... Кандидат наук в Москве. У него мать раком болела. Батя за нее взялся.

— В-вылечил?

— А то! Когда вскрыли — рака не нашли.

— Зачем вскрыли?

— Как зачем? Померла со временем. Лешка теперь в Бога верит, я тебе дам! С женой даже развелся. В Загорск на заочного попа поступил. Мать есть мать, святое дело! Так что ты не сомневайся — он тебе заикание зараз выправит. Болтать будешь, как я, что слюна на язык принесет. Девки давать станут. Жена полюбит. Оформляйся, пока место не занято. В понедельник ехай на завод в Москву, расчет бери...

— Могут не отпустить, — солидно предположил Бабкин.

— Отпу-устят, кому ты, на хер, нужен!

## 3

Бабкину снилась женщина, Валда Граудиня, медсестра из рижского дурдома, где Бабкин этим летом безуспешно лечился от заикания, обнимала его своими полными плавными руками и называла осень «бабское лето»...

— Во-овкя!.. Вовкя!..

Бабкин, не открывая глаз, привычно потянулся к полке, где за магнитофоном возле будильника лежали спрятанные от дочери очки. Рука его наткнулась на шершавую стену. Другой рукой Бабкин по-слепому стал нашаривать деревянный заборчик детской кровати, чтобы проверить, сухая ли Танька, но вместо дочери рука его нащупала пустоту.

Бабкин открыл глаза: с обитого фанерой потолка свисала голая лампочка. За лампочкой в углу под иконой мерцала лампадка. Бабкин вспомнил, что он церковный истопник.

В комнату всунулась Вера Ивановна.

— Спишь? Все царство небесное проспийшь! Одеись. В алтаре всю ночь огонь горел. Тебя будить не стала, храм сама подтопила, глянь в окно: в алтаре огонек шевелится. Как не спалилось-то?.. Потекло бы на престол, на покрывало, в алтаре пол деревянный.

Бабкин искал очки, очков не было. Он нагнулся: может, на полу? Очки от резкого нагиба съехали со лба на нос, жизнь прояснилась.

Из пасти растворомешалки торчал черенок лопаты. Бабкин покачал его. Лопата не поддавалась.

— Захватился цемент, влагу натянул,— проворчала Вера Ивановна, открывая церковь.— Вот такие работнички у Господа Бога.

Бабкин шагнул внутрь, но это была еще не церковь. По стенам тамбура стояли лавки, под лавками несколько колоколов, в углу мутный полупрозрачный мешок с надписью «Мочевина», доверху наполненный бурными свечными огарками, похожими на креветок.

— Старая чума...— ворчала Вера Ивановна, не совладав со следующим замком.— Ну-ка покрути.

Бабкин открыл замок, пропустил вперед старосту и вошел сам.

Две недели Бабкин числился истопником, а в самой церкви ни разу еще не был: на буднях церковь закрыта, а в выходные постеснялся зайти — в угле весь, грязный, потный...

Вера Ивановна шмыгнула направо в угол, где стоял большой сундук, над сундуком висела грамота: «Дана Князевой Вере Ивановне, старосте Покровской церкви села Алешкина Московской области, в благословение за труды во славу святой церкви...» Вера Ивановна присела на сундук, подперла голову рукой.

— А зачем мы сюда пришли, не помнишь?

Бабкин пожал плечами.

— Откуда это? — Он кивнул на грамоту.

— Кагор надо проверить, вот что,— Вера Ивановна открыла сундук.— Вызвал меня в Москву митрополит, думала, может, денег даст. Нет — дал грамоту.

Над царскими вратами ближайшего к сундуку алтаря среди икон Бабкин узнал «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

— Это н-не икона.

За спиной хлопнула крышка сундука.

— Пальцем не тычь. А то я не знаю. Картинка. Тут много икон поизъято. Какие раньше за вином ушли от позапрошлого батюшки, прости его душу грешную; какие в этом годе ляхоманы уворовали. Собаку привели, собака понюхала, а что толку? Батюшка наш и не печалится особо. Новых, говорит, икон ребята нарисуют, богомазы, лучше старых. Чем болтать, иди огонь туши.

Бабкин с опаской шагнул на забранный ковровой дорожкой амвон центрального алтаря и толкнул указанную старостой дверь.

— Ты точно крещеный? — заволновалась Вера Ивановна.

— Точно,— сомневаясь, кивнул Бабкин.

Он шагнул в алтарь. Сердце застучало, хотя из школы и вечернего института Бабкин знал, что Бога практически нет.

Иисус Христос, нарисованный на матовом стекле в полный рост, в белом хитоне, раскинув руки, внимательно следил за действиями Бабкина.

Бабкин на цыпочках бесшумно подкрался к престолу — мраморному кубу, покрытому парчовым покрывалом,— тихонько задул лампадку в огромном семисвечнике. Потушенный фитилек задымился, дымок спирально потянулся вверх. Перед

семисвечником под стеклянным колпаком стоял бронзовый ящичек старинной выделки.

— Вовка! — крикнула в открытую дверь следившая за ним с амвона Вера Ивановна. — Ничего не трог на престоле! Выходи давай! Ковчег, гляди, не трог — там дары святые!

Бабкин напоследок оглядел алтарь. На стене у окна рукомойник, такой же, как в трапезной, письменный стол, заваленный книгами, покосившийся платяной шкаф, одна створка закусила обтрепанный, шитый золотом подол ризы. Он вышел из алтаря.

— К иконе приложись.

Бабкин замялся.

— Я, к-огда договор в исполкоме оформлял, сказал: не буду в обрядах п-принимать...

— А кто тебя принимать просит? К иконе приложись и не принимай.

Бабкин поцеловал босые облупившиеся ноги указанного ему мрачного святого.

— Сделал бы ты еще, Вовка, доброе дело. Починил бы свет на клыросе. — Вера Ивановна пошатала лампу на складной ноге, привинченной к аналою. — Телепается туда-сюда!..

Такая же лампа была у жены Светланы для печатания на машинке, только у Светланы финская, а эта отечественная, с зеленым конторским колпаком. Светлана работала машинисткой-надомницей, несмотря на высшее образование. Работать она умудрялась почему-то только вечером, когда Бабкин с головой, распухшей от заводских чертежей, притаскивался домой. Не раз он малодушно мечтал сломать пишущую машинку, несмотря на стоимость в четырехста рублей.

— Инструмент надо, — солидно сказал Бабкин.

— Им бы только отпеть свое, а там хоть трава не расти, — бормотала Вера Ивановна. — И батарея у того алтаря капает... Таз подставляю. У меня ведь и ключ есть на батарею, зубастый такой... А дров, Вовка, больше в батюшкин дом не носи! Одной мокроты нанес вчера, я все назад сволочила. Женя-артист придет, наносит. Ты за котлами надзираешь. У старого котла колосники прогорели, топи не топи... Батюшка-то не больно беспокоится, все бы только блеск навести, а от того блеска сердце чернеет...

— Есть кто? — раздался в притворе полупьяный веселый бас.

В дверях топтался здоровый мужик в праздничном костюме, с галстуком.

— Покойницу привезли... Батюшка здесь?

Вера Ивановна, вытирая руки о халат, деловито направилась в свой угол.

— Чего ему здесь делать на неделе? — проворчала она, доставая ведомость. — Дома отдыхает. В субботу будет.

— Понял, — кивнул мужик. — Значит, пускай она тут пока полежит?

— Ты что? Как я ее до субботы беречь буду?! Пошлем батюшке телеграмму, пусть приезжает отпевать... — Вера Ивановна сунула мужику лист бумаги. — Пиши имя, фамилие, сколько лет, возраст...

— Мое?

— На кой мне твое? Ее пиши, покойницы.

— Колюбакина Антонина Егоровна, — старательно, по складам произнес мужик, заполняя нужную графу.

Вера Ивановна медленно выпрямилась и зловеще взглянула на мужика.

— Какая Колюбакина? Тонька?

— Тетя Тоня.

— Так она ж полмесяца назад померла. Если не больше.

— Почему? — удивился мужик и протянул руку к двери, как бы призывая покойницу подтвердить. — Позавчера! А тогда у ней первый удар был. Да вон она, тетя Тоня, поди проверь.

Вера Ивановна не стала дослушивать, вышла из церкви. Вернулась недовольная.

— Не может эта Тонька без проказ!.. Молебен полным чином?

— Как положено.

— Двадцать рублей.

Мужик полез за деньгами. Вера Ивановна обернулась к Бабкину.

— У тебя мотоцикл не балует, на ходу? Ехай к Катерине на почту, пошли батюшке телеграмму или позвони. А лучше ехайте в Москву вместе, разом и свечей купите. Пока погода, пока дорога, хоть дело сделаете. Покушай мигом и ехай, а то потом батюшка деньги побегит зарабатывать, не застанешь.

В трапезной бормотала Шура. Она поклонилась Бабкину и продолжала крошить яйцо в миску с молоком.

— Вот мужчина обходительный, всегда и покушать предложит, и бранного слова не услышишь... Влиятельный мужчина... ох, ох... Белток сама покушаю, а желток отдам кисе... Спасибо вам за ваше доброе...

— Чего? — не напрягаясь спросил Бабкин, Шуру он давно уже слушать перестал. Но и Шура не слушала Бабкина.

— Сегодня уезжаете, больше не приедете? — с непонятной надеждой, не вяжущейся с предыдущим воркованием, заулыбалась она. — В городе хорошо... На праздник потретов нарядют... Все со шпагами выступают, военный парад...

В трапезную вбежала Вера Ивановна с деньгами в руках.

— Деньги большие, спрячь на теле. И рыбы кошкам купи, а то они вон с ног валяются. Колбасы себе возьми сухой, рулон. По одиннадцать.

Бабкин завел мотоцикл. Из-за церкви выскочил Бука и попешся к нему. Вера Ивановна на всякий случай прихватила подол.

— Запер бы кобеля.

Бука подлетел к Бабкину, но, как всегда, по дурусти не успел вовремя сбросить скорость и боком стукнулся о его ноги. Бабкин почесал Буку за ухом.

— Не надо з-запирать. Пусть так.

Вера Ивановна распахнула ворота. Бабкин крутанул газ.

— Стой! — вдруг крикнула Вера Ивановна. — Картошки мешок возьми батюшке!

Катерина Ивановна сдавала смену на коммутаторе.

— В Москву позвонить не желаешь?

— Д-дорого?

— За бесплатно. Номер в Москве?

— 152-38-46.

Катерина Ивановна протянула ему трубку.

— А-ало!

— Мой папа Вова? — ясным голосом спросила Таня.

Бабкин понял: не надо было звонить, потому что сказать он ничего не сможет. Заклинило.

— Т-таня? — с трудом вытолкнул он. — Ты... босиком?

— Босиком... Мамочка в магазин ушла... А у тебя уши мерзнут? У Буки тоже, что ли, мерзнут?

— Д-до свидания, Таня. — Бабкин положил трубку и закрыл глаза, почувствовав лютую одинокость и подступившие слезы.

— Позвал бы жену-то, — посоветовала Катерина Ивановна. — Все равно помиритесь, чего друг дружке нервы рвать?

— Слышь, Кать, — сказала сменщица, регулируя наушники по голове, — а Магомаев-то сейчас в браке, не знаешь?

— Да у него Синявская из Большого театра.

— А чего он тогда все воеет: «Прощай, прощай...»?

#### 4

Возле храма в Сокольниках Бабкина чуть не смял трейлер.

— Я маму твою!.. — начал было усатый в кепке, выкинув в окно волосатый кулак с перстнем, но, заметив на заднем сиденье женщину, пресекся.

— Грузин, — сказала Катерина Ивановна. — Тоже за свечами приехал. Ты вот что. Пока я все выпишу, ты к батюшке поезжай. Картошку отвезешь и про покойницу скажешь.

...Бабкин переложил мешок с картошкой на другое плечо и позвонил в нужную дверь. Дверь открылась.

— Здравьете, — сказал Бабкин и оторопел: перед ним стоял певец Александр Малинин, даже коса такая же. Бабкин хотел было заглянуть сбоку: у Малинина еще серьга должна быть в том ухе, — но мешок мешал зрению.

— Отец, к тебе! — крикнул через плечо парень. Серьги не было.

— Пусть подождут! — донесся из глубины квартиры недовольный матушкин голос. — Он обедает!

— Подождите, — незаинтересованно сказал парень, оставляя Бабкина в прихожей.

Бабкин послушно стал ждать, только мешок перетасил на другое плечо, поставить на лакированный пол не решился.

Отец Валерий стремительным шагом вышел в переднюю, отряхивая на ходу бороду.

— Э-э, здравствуй, Владимир! — потирая руки, сказал он.

— Здрасьте,— буркнул Бабкин, пряча глаза. Ему было неудобно видеть батюшку одетым не по религии: ковбойка, джинсы... Как будто перед Бабкиным стояла полуодетая женщина.— Картошка вот, Вера Ивановна...

— Э-э... очень прекрасно,— с неожиданным ускорением после долгого «э-э» поблагодарил священник.— Ты на мотоцикле? Мешок-то сними.

Бабкин знал, что у него у самого неприятный взгляд: то ли глаза друг от друга близко, то ли глубоко посажены. Но у батюшки с глазами было еще хуже. Чуть прищурился один глаз, склонив голову набок, он сверлил Бабкина, как учитель двоечника. Как будто Бабкин уже наврал выше крыши и намерен врать дальше. И вот сейчас, с мешком на плече, в очках, закиданных дерюжной трухой, Бабкин вдруг понял, что отец Валерий все время чего-то боится и все время в себе не уверен. Точно так же, как и он сам, Бабкин. Бабкин поставил картошку в угол.

— За свечами мы. С Катериной Ивановной.

— Чтоб она сдохла! — донесся матушкин голос.

— Прекрати, мать! — крикнул батюшка, но так, чтобы матушка не услышала. И добавил погромче: — Поставь нам чайку!

— Сам поставь, я гобелен вышиваю.

— Борис! — позвал отец Валерий сына.— Иди познакомься.

— Не трожь Бору! — отозвалась матушка.— У него через час обедня.

— Не надо,— замотал вспотевшей головой Бабкин. Ему очень хотелось в туалет, но проситься было совестно.

Послышались шаги, в прихожую вышла Ариадна Евгеньевна.

— Ну что ты человека задерживаешь, отец? Пусть едет.

Вязаная юбка на матушке сзади была длинней, чем спереди. У Светланы тоже так задиралась юбка во время беременности.

— Ты, э-э... поздоровайся,— посоветовал отец Валерий жене.

Ариадна Евгеньевна метнула в мужа презрительный взгляд и, уведя лицо в сторону, процедила:

— Здравствуй.

Бабкин кивнул и, используя кивок, внимательно оглядел Ариадну Евгеньевну: нет, не беременна. Да вроде и не по возрасту. Хотя Софья Андреевна Толстая чуть ли не в семьдесят лет рожала? Бабкин вспомнил почему-то, как недавно по «Голосу Америки» папа римский запретил верующим пользоваться противозачаточными средствами.

Катерины Ивановны на месте не было. Бабкин вошел в собор. Храм был пустой. В дальнем углу строгий молодой священник отпевал дешевый гроб. На правом клиросе репетировали женские голоса. Один голос был знакомый. Бабкин остановился у колонны, заслушался. Потом голос оборвался, и с клироса по ступенькам легко спустилась высокая, чуть прыщавая девушка в платочке и дымчатых очках, опустив глаза, бесшумно прошла мимо Бабкина. Бабкин узнал: на нее орала матушка в трапезной, когда Толян привел его устраиваться истопником.

— Л-лена! — негромко крикнул ей вслед Бабкин.

Девушка остановилась.

— Вы теперь здесь р-работаете?.. Я Бабкин, истопник в Алешкине.

— Здравствуйте,— девушка улыбнулась, смиренно прижав руки к груди.

— А мы за свечами приехали.

— Как Вера Ивановна себя чувствует?

Бабкин пожал плечами:

— Не знаю.

— Она ведь не скажет. В прошлом году молчала, молчала, чуть не умерла. Как осень, у нее астма начинается. Ей нельзя топить котлы, угольной пылью дышать. Не позволяйте ей, пожалуйста. Кофе пусть не бережет, я ей еще... пришлю, ей полезно.

— Вы больше совсем не приедете? — вдруг выкрикнул Бабкин, и даже без заикания.— Совсем?

— Совсем,— ответила Лена тихо, но твердо.— Не приеду.

Она постояла молча: может быть, Бабкин захочет еще что-нибудь сказать,— но сказать Бабкину было нечего.

— Простите,— опустив голову, сказала девушка,— мне надо идти.— И боком, чтобы не повернуться к Бабкину спиной, скрылась за колонной.

Катерина Ивановна ждала его возле мотоцикла.

— Отвез картошечку? Ну молодец. Им бы еще свеколки подвезти, морковки, а то, бедные, совсем с голодухи пухнут! Давай грузиться.

Пока грузчики носили в люльку мотоцикла шестигранные упаковки свечей, Катерина Ивановна справилась у мордатой кладовщицы, когда будет ладан — натуральный. Та лениво ответила, что розовый ладан не поступал, есть только зеленый — химический.

— Все, мамаш, — сказал грузчик, — десять пачек. Ладан будешь брагъ?

Катерина Ивановна поморщилась.

— Ну давай два кило... Не ладан, я не знаю, прям как шампунь. Ничего божественного. А по сорок рублей.

Грузчик положил в люльку зеленовато-желтый обломок, похожий на мыло.

— Два кило.

— Восемьдесят рублей? — не поверил Бабкин.

— А то! — ухмыльнулась Катерина Ивановна. — И свечи — упаковка по сорок рублей, и уголь для кадила — таблетка пятачок.

Сзади гуднул грузовик с ленинградским номером.

— Ты знаешь, где метро «Щербаковская»? — забираясь на заднее сиденье, спросила Катерина Ивановна. — Надо нам одним разом уж и в управление захватить, отчет сдать. Узнать, сколько на Афганистан в этом году.

— Афганистан вроде кончился, — неуверенно пробормотал Бабкин, заводя мотоцикл.

— Другое чего-нито началось. Поехали!

Возле телефона-автомата Бабкин вдруг резко затормозил.

— Про покойницу сказать забыл, — испуганно оглянулся он. — Про Колюбакину.

— Про Тоньку-то? Позвони, какая беда.

Пока Бабкин дозванивался, Катерина Ивановна рассматривала фотографии киноартистов, выставленные в газетном ларьке.

— Вон этого покажите, — попросила она старика киоскера. — Нерусского.

— Джигарханяна? — старик положил фотографию на газеты.

— Почему? — спросила Катерина Ивановна, берясь за фотографию.

— Не хватайте! — проворчал киоскер. — Руки грязные.

— Подавись ты своим Жихарганияном! — Катерина Ивановна обиженно кинула артиста на прилавок.

Светлану, жену Бабкина, год назад выгнали из очень русского журнала за то, что она смертельно обидела любимого журналом автора — исследователя убийства царской семьи, вложив в его рукопись положительный отзыв некоего Соломона Фукса.

Светлана на службу больше не рвалась, со вкусом расположилась дома, печатала, а Бабкин по вечерам после работы стал мести школьный двор, возмещая потерянную женой зарплату. Дворником по совместительству он числился и по сей день.

Поэтому Бабкин, вместо того чтобы свернуть за эстакадой на проспект Мира к «Щербаковской», блудливо шмыгнул через проспект к Савеловскому, где проживал еще две недели назад.

Светлана изъеденной под корень метлой скребла мокрый асфальт школьного двора, заваленный тяжелыми пожухлыми листьями. Бабкин издали объехал школьный двор.

— Нам же не сюда надо, — удивилась Катерина Ивановна. — Это «Щербаковская»?

— Ж-жена, — буркнул Бабкин, кивая на Светлану, загороженную стволами школьных яблонь.

В Управлении по делам религий, конечно, был обед. Катерина Ивановна лопотала что-то, словно репетировала предстоящий разговор. Бабкин, переживая за жену, задремал. Наконец в приемную вошел хорошо одетый важный старик и взялся за ручку двери с табличкой «Лихов И. П.».

— Ой, здравствуйте, Иван Петрович! — тонким, не своим голосом пропела Катерина Ивановна.

Лихов обернулся.

— Не вызывал. Кто это с тобой?

— Истопник наш, — замельтешила Катерина Ивановна. — За свечечками ездили, картошечку багюшке завезли на зиму, как хорошо деревенской картошечки покушать... Это Володенька наш, парень молодой, сильный, все помошь нам, старухам, спаси Христос!

— Да не приbedняйся! — нахмурил брови Лихов. — На вас воду возить можно! В церкви у себя по сто раз-лбом в пол стучитесь, а я вот и разу не выгнусь!

— Вам мухоморной настоечкой надо спинку помазать. И — как рукой! Я привезу. Или вот Володенька привезет. На днях и доставит... А сколько мы в этом году на мир перечислить должны?

— У секретаря спроси. Уладили с батюшкой или по-прежнему конфронтация?

— Уладили-уладили, — мелко закивала Катерина Ивановна. — Перестройка у нас.

— Ишь ты! — усмехнулся Лихов. — Выучили. Все вы одним миром мазаны. А вот вы, молодой человек, знаете, почему так говорят: одним миром?.. Надо знать, если в храме работаете. Мир варится раз в четыре года. Патриарх варит. И сваренное миро добавляет в остатки старого. Перпетуум-мобиле. А что такое перпетуум-мобиле?

— Я инженер.

— Как инженер?!

Катерина Ивановна гневно зыркнула на Бабкина.

— Да он у нас, Иван Петрович, временно... потопит пока немного... Он отпуск взял... за свой счет... А батюшка его отчитывает... у него с речью плохо...

— Надо бы к вам с ревизией съездить! — покачал головой Лихов. — Совсем от рук отбились. Со священником воюют, инженер в истопника! Тунеядец небось? Или правда больной?

— Больной, больной! — усиленно закивала Катерина Ивановна. — Его батюшка от заикания отчитывает, вот выздоровеет... — Она повернулась к Бабкину и заискивающе улыбнулась. — Скажи чего-нибудь, Володенька. Иван Петрович послушает.

Бабкин покраснел.

— Ч-его г-говорить-то?

Лихов понимающе кивнул.

Катерина Ивановна обрадованно всплеснула руками и, почуяв слабину в поведении начальства, рванулась вперед.

— Нам бы сигнализацию в храм или телефон. Ограбят опять, не дай Бог, до милиций не доберешься. Храм-то все ж памятник.

— Сами не разворуете — не ограбят! Вы отделены, церковь действует, сами охраняйте. Все. А почему ваш храм памятником архитектуры стал? Это все Шадаев ваш прежний выдумал! Зря его не посадили, посадить надо было, к чертовой матери! А не во Францию пускать. Ладно. Все. Мне работать надо.

— А мы отчетик привезли, не глянете?

— Отчет?

Лихов поморщился, вошел в кабинет, сел за стол.

— Так. — Он нацепил очки. — «Всего поступило за отчетный год семнадцать тысяч триста рублей...» Мало поступило. «От исполнения обрядов...» Так... «От тарелочно-кружечного сбора...» — Лихов поднял глаза на Катерину Ивановну и задрал очки. — Это что ж, добровольных пожертвований всего на семьсот восемьдесят целковых?!

Катерина Ивановна печально развела руками и даже шмыгнула носом.

— Помолчи. — Лихов снова уткнулся в отчет. — «Израсходовано за отчетный год пятнадцать тысяч. Добровольные отчисления религиозному центру две тысячи триста. Добровольные отчисления в фонд мира триста рублей...» Жметесь вы на мир! — Лихов снял очки и погрозил пальцем. — Жметесь! Ну уж мы вам в этом году!..

— Коммуняка блядская! — прошипела Катерина Ивановна, когда они вышли в коридор. — Вошь подретузная. Всю религию нам опаскудили! Всю веру изуродовали! Отольется вам, гады!..

— Мне п-позвонить надо, — сказал Бабкин.

— Из деревни позвонишь, доехать бы засветло.

## 5

— ...Теперь мужа найти не просто, — прокисшим голосом бубнила в трубку свекровь. — Володя, может, не красавец. И речь плохая, и глаза слабые... Очки-то от книг, не просто так. Да ведь и ты сама не райский подарок. Да плюс ты снова в беременности. Рожай теперь в одиночку...

Свекровь хотела еще добавить что-то для концовки, но властный бабий голос вступил в разговор:

— Але, але, междугородная вызывает, ответьте!

— Трубку положите! — выкрикнула Светлана. Свекровь отсоединилась. — Да-а!..

Бабкин сделал паузу, отдышался и начал речитативом в одной тональности, как учили в рижском дурдоме:

— Светлана будучи поставлен в экстремальные обстоятельства я вынужден был уйти из дома отныне я живу в сельской местности работаю в кооперативе, но готов тебя простить и вернуться если...

— Пошел вон! — перебила его Светлана. — Понял?

- П-понял,— послушно шепнул Бабкин.
- Разговор окончен,— вмешалась Катерина Ивановна, услышав в наушниках, что дело зашло не туда.

Вернувшись с почты, Бабкин заперся в котельной. Бука лежал у его ног и вздыхал, а он сидел на перевернутом ведре и тихо выл, как ребенок. Когда он сморкался, Бука предупредительно вздергивал тяжелую башку и начинал тихо постанывать. Бабкину стало неловко плакать при Буке. Он откинул дверной крючок и легонько пнул собаку ногой.

— Ид-ди отсюда.

Но Бука не ушел, только перелег на другое место. Бабкин забрался в загон для угля в углу сарая, где у него было оборудовано второе спальное место. Котлы мерно шумели, капал насос; Бабкин, не переставая плакать, накрылся с головой грязным одеялом, задремал.

Это дополнительное логово — под самым клиросом — было его любимым. Сюда он переселялся в дни служб, когда мужская комната в трапезной переполнялась. И странное дело: здесь, в вонючем, закопченном подzemелье, он чувствовал себя гораздо лучше, чем наверху, на воле. Особенно хорошо было здесь засыпать под пробивающийся сквозь каменную толщу кладки чуть слышный церковный хор.

Бабкин заснул спокойно, не ворочаясь, как обычно, уложив руки под щеку. Чуть погодя, осыпая уголь, к нему перебрался Бука и привалился мерно дышащим теплым боком к ногам...

Разбудила его Вера Ивановна.

— Ну что ж ты, чадо неудельное, в грязи валяешься? Иди по-людски поспи, я тебе свеженькое постлала. В трапезной пусто. Шуру выгоню, если мешает.

— Н-не мешает,— сказал Бабкин.— А сколько времени?

— Время вылезать отсюда. А рожа-то чего у тебя? Жене небось звонил?

— Я с ней разведусь.

— Разведусь...— передразнила его староста.— Жопа об жопу — кто дальше отлетит? Куда ж ты от нее разведешься? — Вера Ивановна поклонилась коней корынки и потеряла Бабкину закопченные щеки.— У тебя от ней дитя. Тебе бы приспособиться. И не звони без толку. Сиди здесь, время выжди, пока все позабудется... Денег ей пошли. Без письма пошли, просто денег. Раз пошлешь, два пошлешь — будет как малинка. Бабы деньги любят. До Пасхи все печали замарует, занесет, следа не останется. Начнете заново... Она красивая?

— Н-не очень.

— И хорошо. От красивой морды семье непокой. Бабы-то все глупые, одинакие. Их поменьше слушать надо, внимания обращать. Только если захворает. Вставай-подымайся. Хочешь, кофу сварю для успокоения, попьешь — и заснешь, как ангел.

— Не надо.

— Тогда для разминки к Пузырю сходи, мухоморной настойки возьми — Лихову отвезешь, пропади он пропадом!..

Пузырем Вера Ивановна называла Петрова, жившего в деревне ветерана и инвалида, за его красное, отечное, без единой морщинки лицо. В Москве, в ветеранской поликлинике, к которой он был прикреплен, когда еще жил в городе, ему неоднократно прописывали лекарство — гнать мочу, тормозившую работу сердца и легких. Петров начал было лечиться: сбавил лишний вес, задышал легче, но сразу же потерял гладкость лица, которой так гордился, и наотрез отказался от вредного лечения.

На стене бывшего пожарного сарая висели почтовые ящики. Все ящики были облупленные, мертвые, кроме одного, выкрашенного в белый цвет, с жирной надписью суриком «Петров». Из щели торчала «Красная звезда». Бабкин вытянул ее.

На калитке Петрова висела фанерка «Я дома». Бабкин постучал.

— Заходи! — крикнул Петров с крыльца.— Тоню-то Колюбакину отпели или все в церкви зимует?

Бабкин протянул ему газету.

— В церкви.

Петров, пристроив ручку клюки за стык телогрейки, развернул газету, по-прежнему стоя на крыльце, как бы раздумывая, в зависимости от содержания прочитанного: пускать Бабкина в избу или воздержаться.

— Ох мы с ней, бывало! — глядя в газету, сказал Петров.— Она мне яичницу на одних желтках как затеет!.. — Он строго поверх очков взглянул на притихшего Бабкина.— Я яички жареные очень уважаю. И супчик курячий.— Он опустил глаза в «Красную звезду». — К ней все повараго из МТС подбирался. Песни песнячил. Я как-то прихожу — он поет. Поглядел, поглядел на поварюгу да в окно и вытряхнул! Ухо выбил... Чего стоишь? Заходи.— И клюкой распахнул дверь.



В сенях возле стола, заваленного калиной, на лавке сушилась перевернутая пустым брюхом вверх расщеперенная шкурка нутрии.

В комнате было тепло. У печки булькнула трехведерная бутылка с вином, бульк по резиновой кишочке отозвался в молочной бутылке с водой.

— Самоделка,— пояснил Петров.— Рябина черная плюс яблоки.

На включенном телевизоре стояли электрические часы: зеленые цифры превращались одна в следующую.

— Они еще температуру воздуха показывают и давление погоды,— сдержанно похвастался Петров, придвигая клюкой стул для себя и табурет для Бабкина. Руками он старался ничего не делать, как будто брезговал прикасаться к вещам.— Часы — награда мне вместе с орденом. Из Москвы привез. Без завода работают. От резетки. Глаза-то протри, запотели.

Бабкин послушно протер очки.

— Зачем пришел? — строго спросил Петров.

— Вера Ивановна настойку из мухоморов просила.

На экране телевизора шла война. Фильм был с субтитрами. Петров, забыв вопрос, ткнул клюкой в экран.

— Вот тебе полезно смотреть. Специально для вас снимают — с надписями.

— Я не глухой.

— А чего ж очки носишь?..— Он достал из буфета темную бутылку и две стопочки.

Тем временем на экране под выстрелами упали люди. Петров хлопнул пухлым кулаком по столу — стопки подпрыгнули.

— Кто ж так в бою падает?! Если на пулю налетел, так на нее и лягешь. А эти вон, как бабы, на спину — брык! И при расстреле — на пулю. Когда дезертиров стреляешь, всегда они на пулю. «...приговорить к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного...» Чего говоришь?

— Вас — тоже в грудь?

— Если мне взрывной волной зубы вынуло, значит, спереди. И руки немеют, перчатки вынужден. И контузия... В грудь схватил — на пулю навалился, забыл, что ль?

Бабкин онемело подался от старика.

— Я... Я тогда еще н-не родился!

— Не знаю, не знаю... Значит, врал,— попытожил Петров.— Постой, погоду передают. Запомни мысль.

Он дослушал погоду, поднял стопку.

— За Казанскую Божию Матерь! Икона такая. В Бога не верю, ибо коммунист, а в эту верю.— Петров выпил.— А почему так? Тоже скажу, чтоб во всем была ясность. Значит, под Бреславой у нас войско выдохлось. Приехал командующий. И епископ со всей челядью. Шапки долой, строиться. И епископ молебн — полным чином перед строем. Впереди пули мечутся, а он с иконой со своими ребятами знай кадиллом машет. Меня командир к попам приставил, чтобы без толку по передовой не шаршились. Епископ меня благословил. Вот жив я. Ты лапшу возьми для кобеля — на крыльце. Банку ополоснешь — вернешь.

— Вера Ивановна мухоморной настойки просила,— напомнил Бабкин.

— Ну и что? Дам. Стой здесь, никуда не ходи — она у меня в навозе греется.

...После войны Петров в деревню не вернулся, лежал в Москве контуженный на квартире у дочери. Ни руками, ни ногами, ни мозгами не ворочал. А в пятьдесят шестом, когда начали громить Сталина, неожиданно включился, наверное, из-за негодования. Жить ему в Москве стало невыносимо, и он выехал по месту рождения, на свежий воздух. Устроился Петров в пионерлагерь «Елочка» сторожем, то есть комендантом, короче говоря, начальником. Летом, во время пионеров, он наблюдал в лагере за порядком, остальные три времени года понемногу разворовывал его, помогая церкви. Летом, когда крупногабаритную помощь религии — доски, стекло оконное, цемент — трудно было вывезти из лагеря, Петров переключался на мелочь: гвоздей портфеля принесет, пяток тарелок, клейменных «Елочкой», пару шпингалетов...

Вместе с Петровым в избу вошли два милиционера с овчаркой.

— Этот,— Петров показал на Бабкина,— истопником в церкви служит. Чужих нету.

— А Маранцев где?

— А кто его знает. Может, дома. Проводить?

Над загаженным столом в избе Толяна висел китайский фонарик. На подоконнике попискивал детекторный приемник, работая сам по себе, без электричества,— свет у Толяна был отключен за неуплату.

Сам Толян спал на полу.

Петров ткнул распростертое тело клюкой.

— Гадости нажрется и валяется как ошалелый. Хоть бы вы его к делу приспособили. Стадо взялся пасти в Кошелеве, Франца подменял, так коровы молока лишились.

Милиционеры молча побродили по избе, заглянули в подпол и уехали на желтом «газике».

— Опять с Можайки кто-то сбежал, — сказал Петров.

## 6

Убежал Александр Хромов продуманно: пока не кинули на этап, не обрили, не отобрали одежду, на октябрьские — до холодов. И случай подвернулся: у солдат в клубе ночью телек цветной полетел, как раз посреди праздничного концерта. А Хромов когда-то, еще до первой посадки, халтурил в телеателье — антенны на крыше устанавливал. Он и вызвался починить. И починил: как раз Евгений Петросян хохмы начал гнать про советскую власть. Конвой, сам уж пьяный в доску, на радостях налил и Хромову. Хромов выпил, закусил, посидел и попросился в туалет.

Оттуда и ломанулся: через окно.

Далеко не побежал, неделю отсиживался в загаженном подвале собеса, прямо рядом с клубом. И ночью потихоньку лесочком потопал в Москву. Подкрепился на ближайшей дачке, разогрел на плитке ржавую консерву, чайку вскипятил, варенья покушал. Прихватил с вешалки какую-то ерунду: телогрейку, плащ болоневый — и двинул.

В этот раз Александр Хромов сел сдуру. Тогда хоть драка была, а тут... Аванс получил, слегка поддали. На подвиги повело: зашел к бывшей своей профуре. А у той гульба полным ходом: молодая шпана с Цветного, кир, музыка... Сверху и снизу стучали соседи, но праздник шел полным ходом. Пауза наступила, когда в дверь позвонила милиция. Пока хозяйка кочевряжилась, не желая открыть, кто-то из молодой шпаны схватил со стола чекушку с уксусной эссенцией, которую добавляли в винегрет, и, приоткрыв дверь, плеснул в щель.

Александр Хромов сквозь хмель понял, что все: теперь жена узнает, что он был у бляди. Хозяйка спяну материла затихшую за дверью милицию, молодая шпана куражилась, кто-то выключил свет... Александр Хромов забрался на подоконник за пыльную занавеску.

Потом дверь выломали, ворвавшиеся милиционеры скоренько измордовали до лежачки молодую шпану, покидали в машину, и тут один из ментов забежал в комнату за утерянной фуражкой. За мгновение перед тем Хромов расслабился, выдохнул притороможенный воздух — занавеска колыхнулась, милиционер цапнул кобуру и шагнул к окну. Хромов видел: дверь открыта. Он прыгнул с подоконника и убежал бы, если бы не портвейн, перемешанный с водкой и пивом.

Хромов пал на колени, как будто молился Богу.

И тут милиционер в упор в спину застрелил его.

Задохнувшись вдруг, Хромов схватился за сердце, рука стала красная, но кровь не текла, не капала, а свертывалась комочками. Он кротко спросил, как в кино: «За что?» и уплыл в бессознание...

Первую ночь Хромов не спал, шел, в собесе отоспался. А на вторую расположился в лесу, как турист, наломал лапника, болонью сверху, сам в телогрейке, балдей не хоч, дави ухо. А проснулся в слякоти, припорошенный поганым мокрым снежком. И заколотило, затрясло, раскашлялся на весь лес, всех зверей переполошил; забыл Хромов, что теперь он рахит неполноценный без одного легкого. И, накашлявшись вволю, опершись бессильно спиной об осину, понял он, что далеко ему не уйти, дыхалка никуда, чуть порезче шаг — и пошел бархатъ на весь лес, как чахоточный. На пикет нарваться — пара пустых. Заметут.

...Прозрачная паутина липла к лицу. Хромов обирал ее и озирался. Весь перелесок был проштопан прозрачной канителью.

Хромов медленно плелся по сырому, простуженному лесу, задавив рот обеими руками. Раза два он уж совсем готов был передневать на дачке попутной, но как только приближался к садовым участкам, обязательно взбrehивала чья-нибудь шавка... И он снова валился в холодную, продрогшую мокрядь облетевшего леса...

К вечеру лес неожиданно кончился, за горбатым полем нарисовался подсвеченный желтым электричеством двухкупольный силуэт церкви. Над головой Хромова, тяжело работая крыльями, проплыла преждевременная сова, ломая ветки, влетела в голый орешник и скрылась в перелеске.

На дороге сидела мышь. Издалека Хромов принял ее за комок грязи, но когда подошел ближе, грязь ожила, затыркалась. Хромов поднял ногу, чтобы не раздавить мышь, потерял равновесие и свалился в ледяную лужу.

Возле деревни в полумраке по жидкому полю сновали машины, развевая прах, похожий на песок. Как в Москве в гололед. Машина остановилась, из кабины вылез угрюмый детина с молотком в руках. Хромов скрипнул зубами от усталости и нездоровья и медленно побрел вперед — будь что будет...

Парень не обратил на него внимания, обошел машину и молотком стал колотить по диску.

— Песок? — тупо спросил Хромов.

— При чем здесь! — буркнул парень. — Пушонка. Раскисляем. — Он ударил молотком по диску еще раз. — Кисли не кисли — одна суглина!

— Закурить не будет? — слабо попросил Хромов.

Парень достал пачку «Беломора», безуспешно попытался выбить из нее папиросу, а потом, матерясь, оторвал полпачки и сунул Хромову.

— Спасибо, — сказал Хромов и чуть ли не поклонился, тошно было, что подумал про человека плохое.

Темнело. Хромов не спеша покурил и пошел к церкви, заранее предвидя собачий брех. Больше идти было некуда.

Возле камышей, далеко за дорогой копошилось непонятное стадо: звери не звери, овцы не овцы... Хромов поплелся туда, оттягивая деревню. Когда до камышей оставалось метров двести, стадо загомонило, зашумело, захлопало крыльями, тяжело поднялось в воздух и, выстроившись углом, с криком потянулось к Москве. «Гуси, — вспомнил Хромов. — Не туда лomanулись. Им же на юг надо».

Собаки не лаяли, деревенька выглядела запущенно: свет пробивался только из двух маленьких окошек. Он подошел к церковной ограде, ворота были заперты. Побрел вдоль ограды. Из неожиданного пролома наперерез ему с той, церковной, стороны шагнул мужик в шляпе с двумя дымящимися ведрами.

— Зайкой сделаешь! — Хромов хотел сказать помягче, а получилось задавленно, хрипло.

— А-а! — выкрикнул мужик. — Б-бука!..

За оградой затрещали кусты, стремительная тень плеснулась по белой стене церкви...

— Зачем? — сдавленно выдавил Хромов и повалился на спину под ударом мощного собачьего тела. И, раздираемый рвотным кашлем, бессильно стал шарить руками перед собой — найти шею зверюги, задушить... Но пес не мешал слабым от кашля рукам его и почему-то тянулся лизнуть в лицо.

— Н-не надо!.. Не кусается!..

Бука стоял над лежащим Хромовым, извиваясь от дружелюбия.

— Руку дай, — прохрипел Хромов.

Бабкин помог ему сесть. Встать Хромову пока не удавалось. Вокруг дымился высыпавшийся из ведер вонючий шлак.

— Что ж ты его?.. — Хромов немощно полоснул рукой по воздуху. Потом встал. — На привод надо брать... Там кто? — он кивнул на церковь. — Поп?

— Батюшка завтра б-будет.

— Ты один, что ль, тут? — отряхиваясь, спросил Хромов прочищенным голосом.

— Староста еще.

Бука радостно бился упругим телом о мокрые джинсы гостя. Хромов почесал его за ухом.

— Твоя собака?.. Ласковая.

— Глупая просто.

— Как воспитаешь, такая и будет. У вас там можно просушиться?

Бабкин кивнул.

— А телефона нет? — поинтересовался Хромов.

— Должны поставить.

— Раз должны — поставят.

Вера Ивановна домывала в трапезной посуду. Шура, сложив обиженно руки на животе, сидя похрапывала на диване.

Бабкин вошел в прихожую. Вера Ивановна по звуку определила, что ведра порожние.

— Сколько раз говорено: не ходи пустой! Шлак понес — вернись с углем. Вот и жена-то с тобой не ужилась...

— Тут... вот... — Бабкин посторонился, пропуская Хромова. — К батюшке.

— Где ж я возьму батюшку? — ворчливо отозвалась староста, занятая делом. — Проходите, чего в сенях торчать.

Хромов шагнул в трапезную. Вера Ивановна потянулась через стол за полотенцем, повисшим на спинке стула, и подняла глаза на гостя. «Господи! Лихоман!»

Хромов попытался улыбнуться.

— Собачка у вас... уронила... — И закашлялся.

На диване проснулась Шура.

— Ох, ох...

— Садитесь, — как можно спокойнее сказала Вера Ивановна и села сама для прочности. — Вы к батюшке?

Хромов кивнул, не переставая давиться кашлем. Но не сел.

Шура обвела туманным взором трапезную, выискивая виноватого в побудке, сползла с дивана, оставив за своей головой темный след на обоях, подплелась к Хромову со спины и легонько постучала по плечу.

— А вы кису мою не унесете?

Хромов дернулся из-под ее прикосновения, но не так, как дергаются от неожиданности, а как бы уходя от удара: вниз и в сторону. «Лихоман, — твердо решила Вера Ивановна, вспомнив недавних милиционеров. — Бежал с тюрьмы. Деньги отымать будет».

Но, похоже, лихоману было не до денег. Он тяжело, со свистом дышал; она сама вот так же во время приступа часами не могла отдышаться. И лицо побелело. «Не-ет, отымать, может, и не будет. Откуда ему знать про банку? Он в ту пору в тюрьме сидел...»

— Где ж ты, милый, так застудился? — Вера Ивановна покачала головой. — Надо же... Ты пока, чем кашлять без толку, чайку попей. А я таблеток пойду погляжу, может, заваялись.

— Не надо! — сказал Хромов, слишком резко сказал.

— Смотри... — Вера Ивановна окончательно поняла: лихоман. И как ни в чем не бывало включила чайник.

— Таблетки без толку... бронхит... травматический...

— А ты чего застыл? — Вера Ивановна обернулась к Бабкину. — Иди углем занимайся!

Бабкин вышел.

— Бронхит не знаю, а кашель батюшка лечит. Ты чего измок-то так?

— Пока искал... А тут эта... Бука ваша...

— Да я не спрашивать, я к слову... Переодежу, говорю, надо, раз болеешь. Зовут-то как?

— Александр.

— Саша, значит. Такой с виду здоровый! Давай-ка я тебе, Саша, рюмочку налью, чтоб не расхворался. Для сугреву.

— Если можно, — кивнул Хромов и покраснел.

— А почему ж нет? — усмехнулась Вера Ивановна, протирая пальцами граненую рюмку. И снова подумала: не знает он про банку. — У престола Божьего все можно верующему человеку. Ты, Саша, верующий?

— Крещеный, — кивнул Хромов.

Вера Ивановна достала из буфетного брюха бутылку кагора.

— Никто не пьет, бутылка аж пыльная стоит.

— Ох, ох... Один вино пил, другой вино пьет... — нараспев забормотала Шура, уверенная, что ворчит про себя. — Сказать батюшке...

— Ты поди! Спиной сидит, а углядела, шпион подколотный! — Вера Ивановна от возмущения топнула — половица под ее ногой сыграла, Шура испуганно обернулась. — Како-тако вино? — наступала на нее староста. — Лафитничек плеснула человеку!.. Что ж ты, Шура, такая нехорошая? А? Расселась здесь со своими рубцами!.. Здесь питание! Иди к себе. Закройся и сиди. Вон яблоко возьми — похрустеть от скуки. И на ведро больше не ходи, в туалет ходи. Тут мужчины. Нечего лениться, не зима.

Шура неохотно встала, свирепо зыркая на старосту и гостя, собрала свой узелок, сунула туда два яблока и, не переставая бухтеть, ушла в дальнюю комнату.

Хромов, отключившись, медленно ел.

— Есть кто? — раздался в прихожей ветхий полушепот.

— Что есть, что нет — все едино. Заходи, баба Груша, чайку попей.

В трапезную, с трудом осилив высокий порог, вошла Груша, крохотная, чуть выше стола, в валенках, в двух платках, в телогрейке, подпоясанной фартуком.

— У тебя какой чай, с хоботом? — спросила она как бы незаинтересованно, подсаживаясь к длинному трапезному столу.

— Может, поздороваетесь с человеком?

— Который? — Груша завертела головой, заметила Хромова. — Здравствуйте вам!

— Как дочку спраздновали? — Вера Ивановна пододвинула гостье высокую чашку. Она старалась вести себя как можно свободней — будто и не случилось ничего.

— Куда такую тяжесть, бокал дай. — Груша отодвинула чашку. — Хорошо было, зять высказывался...

Вера Ивановна поставила перед ней стакан.

— Этот без ручки, — просипела Груша, отодвигая стакан. Она высмотрела на столе детскую чашку, клейменную «Елочкой», выскребла из нее присохшие опивки.

— Груш, а у Толяна Маранцева отца-то вовсе не было?

— Почему? Было. Тут военные до войны стояли. Наши девки им давали. Толян-то от военного. Арина Маранцева потом еще девочку родила, а потом чего-то он ей не понравился, военный, она его прогнала. Очень уж мужик толстый был. Как Петров. Куда такой... К тебе милиция приходила?

Хромов перестал жевать.

— Делать нечего, вот и шастают, людей теребят! Если убер, разве он по деревням пойдет себе на погибель? Он в кустах сидит, волосья р6стит, их же налысо бр6ют.— Вера Ивановна налила Груше чаю.

— Крепкий больно, спать не буду.

— Спать она не будет! — хмыкнула Вера Ивановна, подливая кипятку.— Лишний раз Богу помолишься! Внучка-то вышла замуж?

— Не берет никто,— дую в чашку, прошелестела Груша,— в очках, может, брезгуют. Программу «Время» надо не упустить.

— Давай иди тогда, опоздаешь.— Вера Ивановна выбрала из корзины две буханки черствого хлеба.— На вон корки — козу поморочишь. Расшелперивай фартук...

— «Геркулесу» козляткам надо,— просипела Груша.

— А манны небесной им не надо?

Не успела Груша уйти, из дальней комнаты снова выползла Шура.

— Нет чтобы картошек сзарить с огурцами... шей с грибами... Ходят, обедают... Будто столовая... Вы надолго к нам или поедете? — жмурясь в улыбке, как китаец, спросила она Хромову.

Вера Ивановна покачала головой.

— Куда ж ты, Шура, на ночь глядя гостя гонишь? Уйди, от тебя человек кушать не может.

Хромов проводил нищенку виноватым взглядом.

— Чего же, пускай...

— Нечего ей тут... Кто знает, может, и не глухая вовсе, из зла придуривается. Теперь так: завтра служба. Могут рано приехать.

— Во сколько?

— Батюшка, бывает, и с утра прибежит, если с кем договорился. Он мне не докладывает.

— Утром уйду,— глухо сказал Хромов.

— Утром тебе, Саша, что прогулка, что тюрьма! Понял?

«Так,— устало подумал Хромов,— все знает».

Вера Ивановна прикрыла дверь в прихожую.

— Люди тебя, Саша, видели: Груша, Шура, кочегар наш... Ты мне одно скажи: за что посадили?

— Ни за что.— Хромов вяло махнул рукой.— Таракан один стрельнул. С перепугу. В спину. А на суде сказали: я с топором напал, а мент мне в грудь стрелял. Как при нападении...

— Так по дыркам же видно, куда влетел, откуда вылетел! У меня муж покойник весь пробитый: куда залетела пуля — поменьше дырка, откуда выскочила — побольше.

— Вот они и сделали побольше,— сквозь зубы сказал Хромов, откусывая словившийся ноготь.— Расковыряли на операции...

— Ну-ка покажи.

Хромов расстегнул рубашку и показал шрамы: на груди под соском и на спине под лопаткой — здоровенный, с выбоиной, жомканый.

Вера Ивановна покачала головой.

— Умники...

— Я им говорю на суде: разрежьте меня еще раз — внутри-то видно... Я ж до суда не знал толком, думал, разбираются. Очнулся в Склифосовском. Лежу в палате. Домой надо, жена ждет. Приподнялся, а рука к койке прикована, и мент сидит. Думал, пока следствие, потом отцепят... А они уж все придумали...

Вера Ивановна налила ему еще рюмку.

— Коммунистов, Саша, не пересудишь. Навидалась я ихней справедливости.

— А поп у вас как?

— Батя-то? — усмехнулась Вера Ивановна.— Батюшка у нас шустрый: в храм войдет — лампадки тухнут.

— Валить надо,— пробормотал Хромов, глядя в стол,— заложит.

— Не заложит! Какой же он тогда священник? Оставайся. Тебе обогреться нужно...

— В Москву надо... Там мужик один... Академик Сахаров...

— Врач?

Хромов помотал головой.

— Не-е... Бомбу выдумал.

— На кой он тебе? Тебе бы спрятаться... Или в газету сказать... А военный хуже нет. Сдаст властям.

— Да нет, свой это. За права борется. Тоже сидел...

Вошел Бабкин. Вера Ивановна, подводя черту под разговором, встала из-за стола.  
— Ты, Саша, слушайся меня. Говорю — оставайся, значит — оставайся. Вовка! Погляди переодену ему. Мокроту сменить. И спать положи в котельной. Чего смотришь? Потеплее там. Простыл человек. Что-то я совсем с вами задурилась, болтаю больше, чем молюсь.

И, выдворив Бабкина с лихоманом, Вера Ивановна стала молиться с возможным тщанием. Отмолвившись, она крикнула Шуру:

— За людьми не надзирайте! Здесь я начальница! Спала и спи, а то в богадельню сдам!

И, засыпая, Вера Ивановна с удивлением отметила уплывающим сознанием, что страх за спрятанную черную кассу впервые, как перепрятала деньги, прошел. Как будто больной лихоман из котельной присматривал за ними и оберегал.

## 7

На следующий день Петров по случаю предстоящей завтра Казанской Божьей Матери надел новые шерстяные перчатки и каракулевый пирожок. У калитки он замешкался, какой стороной повесить фанерку: «Я дома» или «Я на работе». Ни та, ни другая его не устраивала. Он раздраженно швырнул фанерку в кусты.

— Генералам! — козырнул ему с крыльца напротив Толян.

— Из Можайки побег... К тебе заходили... А ты — в отрубях на полу валялся.

— Было дело, — засмеялся Толян. — Отдыхал.

— Не знаю, не знаю, мое дело передать. Я за хлебом иду.

В трапезной старухи в ожидании хлебовозки обсуждали Буку.

Чувствуя себя в центре внимания, пес важно прохаживался по комнате. Подошел к окну и от безделья, как муху, куснул красную закорючку жгучего перца, который матушка выращивала на всех трех подоконниках вместо цветов. И затряс башкой.

— Пожуй-пожуй, голубок! — вытирая с кителя разлетевшиеся Букины слюни, засмеялась Вера Ивановна. — Доокусывался!..

— Воды подай псу! — приказал Петров. — Забавы строите!

Арина налила воды. Бука жадно рыпнулся к миске, чуть не сшибив старуху.

— Страхота бесполезная!

— Сама ты бесполезная! — рывкнул на Арину Петров. — У ней мертвая схватка!

— Садись посиди. — Вера Ивановна придвинула Петрову стул. — Больно строгий стал. Молодой был, иначе пел. У тебя внутри-то живут? Забирай им корки.

— Чего ты ему все отдаешь? Я для козочки возьму. — Груша потянулась к корзине.

— Я те дам козочку! — замахнулся на нее Петров. — Сядь на место!.. Воровка!..  
Опять я однойнутри не вижу.

От волнения Петров широко раскрыл рот, верхняя челюсть выпала и покатилась под стол. Притихший было Бука с ликованием кинулся за ней. Петров клюкой гнал пса из трапезной, Вера Ивановна на корячках полезла под стол спасать Петрову челюсть.

— А мой Толян после первой тюрьмы заказал себе зубы, потом гадость выпил, они и растаяли у него прям во рту, — похвасталась Арина Маранцева. — Он любое питье спичкой пробует: что горит, то и жрет.

— Ох, ох, не надо баловать... — запричитала очнувшаяся Шура. — Все батюшке рассказать...

Она недобормотала, в прихожую вошел Женя-сумасшедший, перегруженный огромной охапкой дров.

— Хлеб привезли, — радостно сообщил он, сваливая дрова возле котла. — Вера Ивановна, будьте добры, дайте покушать.

— Чего расселись! — шикнул на старух Петров. — А ну кыш!

— А почему ты, Женя, без носок-то? — покачала головой Вера Ивановна. — Разве тяжело носки обуть?

— Вы знаете, Вера Ивановна, — рассудительно сказал Женя, — практически невозможно. Я, прежде чем что-нибудь предпринять, должен выпить лекарство. А я порой забываю это сделать. Создается парадокс.

Вера Ивановна, пока разогревалась каша для Жени, нашла в шифоньере старые, дырявые носки.

— Ну-ка давай.

— Сыновье вам спасибо, Вера Ивановна, — поблагодарил Женя, взял носки и задумался.

— Ну что ты замер? Обувай.

Женя вертел носки со страдальческим лицом, не понимая, как с ними поступить.

— Пилюлю прими, — посоветовала Вера Ивановна.

— А где мое лекарство? — Женя отложил носки и нашел в кармане пузырек с таблетками. — Если не трудно, Вера Ивановна, немножко воды, запить.

— Горе ты мое, горе... — Вера Ивановна налила ему остывшего чая. — Таблетки-то тебе тоже не в помощь. А если, не дай Бог, захвораешь, кто за тобой ходить будет?

— Я в Москву на улицу Восьмого марта поеду. В больницу. Там врачи очень хорошие. Или, может быть, жениться. Я человек красивый, у меня пенсия...

Вера Ивановна тяжело вздохнула и со скрипом встала на колени перед Женей.

— Давай-ка носочки обуем, а потом уж и сватов будем засылать. Кушать-то будешь или передумал?

— Нет, спасибо, я сыт, — улыбнулся Женя. — Я очень плотно сегодня позавтракал.

— А все-таки кашки вкуси слегка, для порядка.

Вера Ивановна зашнуровала ему башмаки и пошла поискать какое-нибудь лекарство от сердца. От богомольцев много чего остается. Она нашла запылившийся пузырек, похожий на сердечные капли, и с ним в руке вернулась в трапезную.

Женя сидел перед неначатой тарелкой. Вера Ивановна сунула ему пузырек.

— Это что?

— «Кардиамин», — прочитал Женя. — Плохо себя чувствуете?

Хотела Вера Ивановна ответить, что как наглядится на бедолаг, так у нее печь в груди начинает, но смолчала, накапала в чашку сколько капалось, долила чаю и выпила.

— Значит, исть не будешь? Значит, убираю? Или погодить? Может, покушаешь?

— Может, покушаю, — очень серьезно согласился Женя, выходя из-за стола. — Спасибо, Вера Ивановна, было очень вкусно. Я пойду дровами займусь. — Он перекрестился на икону и вышел из трапезной.

Вера Ивановна как-то бестолково поплелась за ним — отшиб Женька все ее планы: чего хотела-то? Посидеть бы немножко, глядишь, и вспомнила, да с другой стороны, чего рассиживаться — дел по горло. И для успокоения решила Вера Ивановна обойти церковь. Пустое вроде бы дело круги вокруг церкви вить, а помогает и сил придает.

Замотанные на зиму ульи стояли возле компостной кучи, на которой распухшими поросятами залежались два перезрелых кабачка. Сороки безбоязненно клевали помой, синичка у летнего рукомоиника долбила расклепшее мыло.

— Кто ж это догадался на помойке пчел устроить? — сокрушенно покачала головой Вера Ивановна.

Возле котельной Александр Хромов кувалдой колол глыбы антрацита.

— Долбишь? — спросила староста. — Значит, оклемался. — И совковой лопатой отребла уголь с дороги.

— Да я сделаю, — сказал Хромов.

— Хороший уголь, крупный. Еде достала. А справки-то нет. Проверять-лишки объявятся — чего скажу? Поскорей бы уголь в подвал спровадить.

Хромов выволоч из кучи полуметровый оковалок антрацита и закашлялся.

— Куда не в подьем схватил? — засуетилась Вера Ивановна. — Брось, говорю, отстань от нее, иди чайку попей. — И, притишив голос, добавила: — Трись на людях-то, трись... В церковь приехал, к батюшке. Никто и не заметит...

— А долго сегодня?

— Чего, служба-то? До-олго... — закивала Вера Ивановна с гордостью. — Батюшка наш с небрежением не служит. По полному чину, по-монастырски. Не как другие: отмолотил и побег. Тут его сын приезжал, Борька. Дьякон он в Москве. Сослуживал отцу. Все недоволен был, долго, говорит, служите. В два раза быстрее можно, как в других храмах. У нас такого, слава Богу, нет. Служит батюшка прилежно... Все бы хорошо, да вот плохо: никак, Саша, я с ним не столкуюсь. И знаю, грех, а ничего поделать не могу...

— Чего такое? — насторожился Хромов.

— К тебе не относится, наши дела...

Вера Ивановна хотела перемолчать, как обычно, когда видела любопытничество, но лихоман в душу не лез, отшагнул к углю и снова взялся за кувалду.

— Я ведь хотела из ктиторов уйти, когда прежнего батюшку, отца Валентина, из церкви выгнали. Думала, буду как все: приходиться да тихонько в уголку Богу молиться. А батюшка отец Валентин не благословил. Оставайся, мать, говорит, без тебя храм запустеет. Береги храм. Вот и берегу себе на печаль...

Вера Ивановна поставила лопату у входа в котельную. За косогором на дальнем поле в низице елозили трактора, перепахивая неубранный горох. Справа возле леса дымилась скірда.

— Так и не прикрыли солому, сволочи, — сказала Вера Ивановна, — вся-сопреет. И смотри, Саша, на службе вечером будь как все. Колокол зазвонит — сразу в церковь.

Димка-регент висел на столбе перед папертью, вцепившись в него когтями кошек.

— Ты когда прибыл-то, я не заметила! — крикнула ему вверх Вера Ивановна. — Чего у тебя?

— Кондёр полетел или лампа барахлит. Жень, включи!

Женя-сумасшедший включил рубильник, к которому был приставлен.

— Ты смотри аккуратней там,— сказала ему Вера Ивановна, проходя мимо.— А то спалишься в проводах, как Мишка Гвоздев!

— Какой такой? — заинтересовался Димка.

— Которого Толян в прошлый раз на пруде зарезал. Толян в тюрьму отдыхать, а Мишка после больницы электричество полез воровать на столб. Его там и прихватило. Милиция потом одни уголья в целлофан паковала...

— А не надо пятить у родного отечества,— рассудительно сказал Толян, появляясь неизвестно откуда.— У государства не воруй. Клиент созрел — его и щупай. Да, баба Шур?

Шура топталась возле паперти, ждала батюшку. В дареной старой шубе из черной синтетике она мерно прохаживалась, заложив руки за спину. В шубе, в войлочных сапогах на «молнии». Степенная.

— Баба Шур! — крикнул ей в ухо Толян.— Хочешь, песню спою? Как по быстрой речке плыли две дощечки, ах, ёж твою медь, плыли две дощечки! Ништяк?

Из уборной вышел Александр Хромов и молча направился в котельную.

Женя-сумасшедший преградил ему путь, достал из кармана поломанную фотографию.

— Это мама моя. Ничего, правда?

С фотографии на Хромова смотрела тупорылая, налитая похмельем пожилая женщина.

— Солидная,— кивнул Хромов и, чтобы замять смущение, потянул из кармана папиросу.

— Не курят тут,— усмехнулся Толян.— Господь Бог ругается. Не следишь за порядком, баба Шур.

— А я ей говорю,— глядя на фотографию, продолжал Женя,— мама, зачем ты пьешь? Ты же верующий человек. Если ты выпьешь еще раз, я разобью нашу икону. Она выпила, я разбил икону. Вы знаете, ничего не случилось.

— Бывает,— невпопад пожал плечами Хромов.

— Жень, включи! — крикнул со столба Димка.— Не отвлекайся. Ко всенощной не успеем. А где Бабкин?

— За батюшкой поехал,— ответила староста и подпихнула Хромова в спину.— Иди угольку подкинь.

Толян проводил Хромова внимательным взглядом.

— Это откуда ж клиент приплыл? Нецерко-овный...

— Да... болезненный тут один... к батюшке...— расплывчато пояснила староста.

— Ох, ох,— залопотала Шура,— полночью пришел, одежду сушил... сахар ищет...

— Иди отсюда! — шуганула ее Вера Ивановна.— Здесь электричество!

— Болезненный, значит?.. К батюшке?.. Ясенько.— Толян задрал голову.— Дим!

Кондёр на корпус пробуй: искру бьет — значит, пашет! Контакт пошкурь: медь с люминием не дружит!

— Дай ключа! — проскрипел за спиной Веры Ивановны бесполоый голос.

Вера Ивановна обернулась. Татьяна — перекошенная от старости, на двух клюках — хмуро уставилась в лужу. Вера Ивановна молча рыпнулась в сторожку. Появление колченогой бабки подействовало даже на ртутную лампу — она наконец загорелась розовым светом. Димка-регент, стараясь особо не бренчать кошками, тихо спустился на землю и скрылся в сарае.

— Пойти уголек покидать с похмелюги? — Толян, зевая, двинулся в сторону котельной.

— Не ходи туда! — закричала Вера Ивановна, выходя из сторожки.— Чего тебе там?

— Ключа,— осекла ее Татьяна.

— Чего орешь? — рывкнула на нее Вера Ивановна, хотя Татьяна не повышала голоса.— На тебе твой ключа! Орет, главное дело!

Толян, наблюдая за старухам, сапогом разгонял лужу на паперти.

Татьяна уковыляла в батюшкин дом.

— Ну ты даешь, начальник! — усмехнулся Толян.— Чего ты на нее полканá спустила? Ей жить-то два понедельника осталось.

— Уходи, Толян, Христом Богом прошу,— прижав руки к груди, попросила Вера Ивановна.— Что ты здесь груши околачиваешь?

— Балды налей — отвалю.

Толян удивился: ляпнул про балду просто так, а подействовало, Вера Ивановна безропотно скрылась в сторожке.

За оградой что-то загромыхало, Толян обернулся: в калитке Лешка Ветровский, замдиректора исторического НИИ, не мог справиться с худосочной деревянной стремянкой. Стремянка, раскинув ноги, заклинилась в прутьях. Лешка, тяжело дыша, драл стремянку на себя, Толян помог ему, заодно принохался.

— Ну сквозит от тебя!.. Ты ж вроде не керосинишь?



— Аспирант с Загорска приехал, — отдуваясь, признался Лешка, — отец Иосиф, иеромонах. Засиделись.

— Ты где? — негромко позвала Вера Ивановна, стыдливо держа руки под фартуком. — Вылью!..

— Я тебе вылью! — Толян скакнул к ней и со стаканом в руке выпятился задом к скамье возле могилки. Он снял кепку, пригладил патлы и, поднеся стакан ко рту, обернулся к Лешке. — Оставить?.. Зря. Религия не возбуждает. Отец Михаил очень даже уважал. — И Толян заглотив балду.

— Стакан отдай, — сказала Вера Ивановна Толяну. — Выпил — уходи теперь.

Толян послушно направился к воротам.

— Чего это ты приволок? — стряхивая над могилкой стакан, кивнула Вера Ивановна на Лешкину поклажу.

— Разножка для катавасии. Как у старообрядцев.

— Сколько отдал?

— Тридцатку.

— Дорого, — осудила староста. — Передал, — повторила она для закрепления, хотя разножка была сделана опрятно, не на хозяина.

Показался мотоцикл. За спиной Бабкина возвышался батюшка, а в люльке сидела матушка.

Шура кинулась наперерез. Бабкин еле вырুলил.

— Проздравляю с приездом!

Матушка, плохо скрывая брезгливость, поцеловалась с нищенкой. Из объятий Шуры матушка поглядывала по сторонам, всем ли видно.

— Чувствую себя плохо, ох, ох, — запричитала Шура, зыряя глазами в сторону старосты, виновницы своих напастей. — И ноги не ходят.

— Вам побольше гулять надо, бабушка, — мягко улыбаясь, посоветовала Ариадна Евгеньевна, не вслушиваясь в бормотанье нищенки. — Ножками ходить, ножками...

— Тут к тебе человек, батюшка, — сказала Вера Ивановна. — Кашель у него нехороший. Полечить бы...

— Угу-угу, — закивал отец Валерий. — Поговорим... Никогда у нас прежде не был?

— Новенький, — сказала Вера Ивановна. — Углем занимается.

— Тогда завтра после обедни.

— Я вот... с-спросить хотел, — нерешительно произнес Бабкин.

— В дом иди, отец, — раздраженно сказала Ариадна Евгеньевна. — Отдохни перед всенощной.

Батюшка присел на лавочку.

— Так-так?...

— Евангелие от Иоанна... Там в конце... Иисус говорит Петру: паси овец моих...

— И что тебя, э-э... смущает?

— П-петр... предал его... А Иисус Петра в начальники... Церковью командовать... Предателя... П-почему?

Отец Валерий присел, подумал, тяжело поднялся с лавочки.

— Неисповедимы пути Господни.

— И-извините, — пробормотал Бабкин. — Я не знал.

## 8

Ровно в пять Вера Ивановна ударила в колокола. Началась всенощная.

Отец Валерий в багровой новой фелони двинулся кадить иконы. Сегодня он был не в голосе, подпевал сишло.

Димка-регент настроивал магнитофон — решил записать службу, послушать потом со стороны. Бабкин сел возле магнитофона следить за индикатором. Петров сидел на той же лавке по инвалидности. Александр Хромов, не зная церковных правил, тоже подошел к Бабкину. Петров неодобрительно хмыкнул, но с лавки Хромова не согнал.

Батюшка приближался с дымящим кадилом. Все отошли от стен, пропуская его. Кадило источало неприятный парфюмерный запах. Когда батюшка приблизился к Вере Ивановне, она прикрыла рукой лицо — от химии.

С клироса Димка махнул рукой — Бабкин включил магнитофон.

Лешка Ветровский, в бордовом стихаре, в хромовых сапогах, склонился у аналоя, помечая карандашом что-то в Типиконе. Видно было, что ему неможется: он переминался, вытирал пот.

Вера Ивановна выстояла начало службы и ушла к ящику. Народу в храме было мало: правый канун был пустой, лишь на левом под огромной соборной иконой у Никольского алтаря небольшой горкой лежали приношения: яблоки, конфеты, печенье. Ясное дело, откуда же на ночь глядя народу-то быть? Всенощная, дай Бог, в одиннадцать кончится, а потом топай по полям сквозь темень. Да и погода тяжелая. Снег вон с дождем опять.

Шура подождала, когда староста скроется из виду, скоренько снялась с лавки, подскочила к ближайшему подсвечнику, вынула не догоревшую на треть свечку и назло старосте кинула огарок в консервную банку. Вера Ивановна нещадно ругала Шуру за самоуправство и перевод добра, категорически запрещая прикасаться к огаркам.

Хромов придремывал. В церкви было тепло, батюшка тихо гудел у царских врат, и малочисленный хор приятно подтягивал. Хромов понимал, что по-хорошему-то надо бы встать и свалить незаметно. Кепку только не забыть в котельной. И телогрейку. Надо бы, но тут, в углу у батареи, так было тепло, дремотно и бесхлопотно, что он продолжал сидеть. «Черт с ним, переночую, а завтра поутряку двину».

Ерзнула Шура — Хромов приоткрыл глаза и невольно повернул голову: в дверях стоял Толян и внимательно смотрел на него. Потом вышел из церкви. Старосты за ящиком не было.

Хромов судорожно напрягся: досиделся, козел!.. Он толкнул Бабкина.

— Слышь. А староста где?

— Л-ладан плохой, — прошептал Бабкин. — Она не может — астма.

— А-а, — кивнул Хромов и сразу успокоился. — Мне тоже от него...

Петров ткнул Хромова в бок.

— Вставай. Псалмы читать будут. Стой тихо — самая религия!

Хромов послушно встал. Бабкин пошлюнил пальцы и пошел гасить свечи. Осталась гореть только одна — на аналое чтеца. Лешка Ветровский прочистил голос и начал читать псалмы:

— «...Надо мной прошла ярость Твоя; устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего; знакомых моих не видно. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою; да дойдет до лица Твоего молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему...»

Хромов слушал эти малопонятные древние стихи без рифм, полутаинственные слова уносились под купол храма, и ему казалось, что разговор с Господом Богом идет о нем.

Вера Ивановна чувствовала себя совсем никуда; вот так же плохо ей было прошлой осенью, когда они с батюшкой поругались на людях. Матушка заявила, что за кассой во всех церквях, где они с батюшкой служили, были попадьи, и Вера Ивановна ей тогда, мучаясь от стыдного несогласия, тихо сказала, что не знает, как в других церквях, а у них в Покровской будет по правилам: либо она за ящиком, либо Катерина как заместитель. А больше — никто. И надеялась, что батюшка ее поддержит. А батюшка сказал: смирись, мать, так по традиции православной. Вот тут Вера Ивановна и выдала ему при всех: раз народ нас с Катей избрал, нам и следить за деньгами. Что ж ты, отец, матушку свою не приструнишь? Какой же ты тогда батюшка? И все при людях. И ушла к себе в сторожку. Вот тут ее и прихватило. Такая астма навалилась, не приведи Господь! Еле довели. Врача в больнице не оказалось, врач только до трех. Слава Богу, у Димки-регента в сидоре лекарства из роддома нашлись. Всю ночь с ней сидел, ширял уколами, вены слиплись без давления, не мог попасть... А под утро ничего. Димка начал Евангелие читать — отпустило.

А сейчас не опускало. Вера Ивановна, чувствуя, что упадет прямо в церкви, шаря перед собой, как слепая, выволокла на паперть и привалилась к двери.

Толян без толку мотался по церковному темному двору.

— Чего ты здесь восьмерки вьешь? — просипела Вера Ивановна. — Что тебе все нейметься? Уйди от греха.

— Слышь, хозяйка, — сказал Толян трезвым, спокойным голосом. — Ты вот телевизор не смотришь, а зря. А вот-вот баба Груша смотрит. Там сказали: ищут его. Угольщика твоего.

— «Скорую» позови, — прохрипела Вера Ивановна.

— А милицию?

— «Скорую» позови.

— Смотри, грабанет церкву! — Толян усмехнулся и пошел в темень. — Отвечать будешь. Как сообщник.

Последние его слова Вера Ивановна слышала сквозь наползающее удушье, которому, знала, нет конца.

— Может, Вован съездит? — донеслось из темноты. — Аппарат на ходу?

— Не надо, — немощно плескнула рукой Вера Ивановна. — Пешком добеги.

«...Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных. Ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные, не за грех мой и не за преступление мое... Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города... Сила у них; но я к Тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой...»

Никогда Хромов не знал, не говорил и не думал о Боге. Есть — есть, нет — нет. Какая разница? А после блуждания по буреломному непрочищенному лесу сейчас, в этой малой неказистой церквенке, понадеялся Александр Хромов на Господа Бога. На кой он тогда нужен, если не сейчас? В другой раз он и сам справится. А вот сейчас, только сейчас! «Да помоги ты, Господи! Как человека прошу, помоги! Помоги!»

Вечерня кончилась, началась заутреня. На маленький аналой перед сулеей Лешка Ветровский поставил поднос с пятью пышками, рюмку с зерном и стаканчик с елеем.

— Раньше-то всю небось ночь служили,— прошамкала недовольная бог весть кем Шура.— Вечерю монахи отслужат, оголодают, поедят, покушают... И дальше служить!

— Тихо ты! — шикнул на нее Петров, призамахиваясь клюкой.

— Мир ва-ам! — возгласил с амвона отец Валерий, кадя во все стороны. Он раскрыл царские врата, включил паникадило.— От Луки священное чтение...

Сзади раздалось мягкое частое шарканье: Ариадна Евгеньевна поспешала на чтение Евангелия. Не было случая, чтобы она хоть на секунду опоздала. Как будто батюшка по неведомой связи подал жене команду, и та успела вовремя оторваться от готовки. Такую же четкую сработку Бабкин видел в Берлине, куда они со Светланой ездили в прошлом году. Там на главной улице два солдата охраняли вечный огонь. Стояли они друг от друга довольно далеко, а разводились синхронно. Ночью Бабкин с женой пошли гулять по Берлину; огонь ночью не стерегли, и Бабкин разглядел дневной секрет: у места охранника под ногой была металлическая кнопка. Бабкин нажал, а Светка послушала у второго поста: там отозвался чуть слышный звонок.

— «...И пришли к Нему Матерь и братья его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Мать и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя...»

Бабкин увидал, как Хромов еле заметно пожал плечами.

— Чего? — стянув наушники, шепнул он на ухо Хромову.

— Не понял: какие братья? Мамаша-то у Иисуса... не мать-героиня.

Бабкин хотел сказать, что и он тоже не понимает, но вместо этого произнес:

— Неисповедимы пути Господни.

Батюшка отчитал Евангелие, матушка тяжело поднялась с колен, оправила зеленую юбку джерси, отряхнула вязаные гетры и поспешила к выходу...

— Глас восьмый! — пророкотал Димка на клиросе и, задав ноту певчим, взмахнул дирижерской палочкой.

— Благослови еси, Господи...— затянул хор.

Лешка Ветровский, в похмельной полудреме навалившийся на аналой, вдрут очнулся и заорал на всю церковь:

— Какой восьмый, мудила! Пятый глас!..

Димка замахал с клироса Бабкину:

— Магнитофон выключи!

Бабкин поспешно вырубил магнитофон.

Димка попробовал дирижировать дальше, но хор все равно распался, служба остановилась. Татьяна высунулась из-за хоругви и погрозила Лешке кулаком. Из левой двери алтаря не вовремя высунулся озадаченный отец Валерий. Петров бил клюкой в пол. Лешка оторопел, заозирался...

— Господи, прости меня,— затравленно поводя глазами по сторонам, прошеле-стел он. Потом рванулся, стуча сапогами, к магнитофону, включил, отмотал пленку назад и переключился на прослушивание: по его меняющемуся в ужасе лицу было видно, что магнитофон записал кощунство.

Лешка стянул наушники и, опустив голову, обреченно поплелся в алтарь. В приоткрытую дверь алтаря было видно, каак Лешка бухнулся перед батюшкой на колени. Вышел он из алтаря поникший и до конца службы стоял перед своим аналоем, опустив руки по швам.

Служба кончилась. Батюшка щелкнул в алтаре выключателем — паникадило погасло. Шура носилась по храму, задувая лампадки. Димка вкруговую прикладывался к иконам.

Из алтаря вышел отец Валерий без облачения, в одном подряснике, накиннув на плечи драповое полупальто, и быстро зашагал к выходу. За ним потянулись немногочисленные сегодня прихожане.

Певчие кучкой, переговариваясь, шли к выходу. В притворе Лешка преградил им дорогу. Татьяна хотела обойти его. Лешка, глядя в каменный пол, еле слышно произнес:

— Простите, братия, бес попутал.

— Бог простит,— кивнул Димка, и певчие направились к выходу.

Бабкин задержался у Никольского алтаря, выковырнул все огарки из лепестков. Несколько лепестков расшатались. Бабкин приподнял капун — тяжеленную бронзовую доску — и попытался с испода подтянуть гайки. Одной рукой не получалось. Хромов шел позади всех и, заметив, как Бабкин мается с гайкой, шагнул помочь.

— Пассатижамы надо,— пробормотал Бабкин.

— Не надо,— сказал Хромов и, прихватив гайку, туго ее затянул.

Подтянув все гайки, Хромов с Бабкиным вышли из церкви. Певчие и прихожане уже разошлись, а батюшка все еще стоял на паперти.

— У вас какая болезнь, простите? — спросил он Хромова.

Вместо ответа Хромов закашлялся.

— И давно это у вас?

— Полгода.

— Понятно-понятно,— закивал отец Валерий.— А вы где работаете, если не секрет?

Хромов совсем увяз в кашле.

Бабкин стоял рядом с ними, и ему было неудобно за батюшку. Сейчас приставать будет к больному, чтоб машину помог достать. А какой он доставала? В Москве живет, а ходит в старой телогрейке. Хотя машина батюшке, конечно, нужна, без машины ему никак. Сколько раз Бабкин сам видел: батюшка стоял на шоссе, голосовал, руку поднимал, а никто не останавливался. Хотя все вокруг знают, что поп. Все равно не останавливаются.

Отец Валерий приложил ладонь козырьком к глазам.

— Машина вроде?.. Кого это еще на ночь глядя?..

И действительно: приближающиеся фары полоснули по церковному двору, высветили разбредающихся уже за оградой старух, Петрова и уставились в церковные двери.

Из машины выскочил Толян, отворил ворота.

Хромов осек свой кашель, мягко отпрянул от священника и, скрипнув зубами, исчез в темноте, едва зацепленный назойливым светом фар. Бабкин явственно услышал оставшийся от него на паперти свистящий шепот: «С-суки».

Машина въехала в церковный двор.

— Что случилось? — крикнул отец Валерий, спускаясь с паперти.

— «Скорую» пригнал,— сказал Толян.— Хозяйка велела. Асма у ней.— И, обернувшись к Бабкину, потише спросил: — А чего новенький слинял? Прямо с паперти?

Бабкин пожал плечами.

— Убежал, значит,— задумчиво произнес Толян.— Это хорошо.

— Чего хорошо? — не понял Бабкин.

— Да так,— махнул рукой Толян,— не бери в голову.— И крикнул женщине в белом халате, направившейся к трапезной: — Не туда! Она в сторожке.

Вера Ивановна сидела на своей продавленной кровати с железными шишечками, опустив ноги в таз с водой и упершись ладонями в колени. От воды шел пар, голову она свесила вниз, костлявые плечи задралась. С уроненных вниз жиденьких волос в таз падал пот. Она сипела на одной ноте.

— Душится,— стоя в дверях, сказал Толян.

Женщина в халате на свету оказалась акушеркой из Кошелева.

— Это я даже делать ничего не буду,— она растерянно развела руками.— В больницу!

Вера Ивановна подняла бордовое лицо, хотела что-то сказать в промежутке между сипами, но не смогла, опять стала давиться, будто ее рвало.

В сторожку, расталкивая всех, просунулся Димка-регент.

— Опять!.. Нин, у тебя в тачке баллон кислородный есть? — Он присел над скоромощным ящиком с лекарствами.— Не слышишь? Кислород есть?

— Кислороду ему! — огрызнулась акушерка.— А пару пердячьего не хочешь? Не дают ни хрена, кроме горчичников! Лимита нету.

Димка раздраженно хлопнул крышкой ящика.

— Ни лазикса, ни коргликона,— сковозь зубы прошипел он.— В больницу надо.

— Давай, давай, Вера, не упрямясь! Поедем! — нетерпеливо сказала акушерка.— Катерина Ивановна! Где Катя?

— У ней смена,— сказал Толян.

— Батюшка,— обернувшись, позвала акушерка.— Позвоните. Не хочет в больницу!

Отец Валерий с трудом втиснулся в сторожку, приблизился к старосте. Аккуратно оторвал ее руку от ворота нижней мужской рубахи. Вера Ивановна цапала себя за шею, набрякшую жилами, судорожно хватаясь за бечевку крестика. Батюшка осторожно выпростал крестик из ее кулака, бережно опустил за ворот рубахи. Вера Ивановна заученно распрямила руку.

— Укол... пусть...

— Чем я тебе укол? — склонилась над ней акушерка.— Ну чем?! Если бы ты родиха была... До больницы-то не знаю как донести! Уко-ол! Давай носилки! — крикнула акушерка.— Мне еще больную с инсультом забрать надо по дороге!

— Не поеду... — выдавила Вера Ивановна.

— Мать, поезжай,— строго сказал батюшка.— Благословляю. А завтра после обедни зеду гричащу, не волнуйся. Ехай с Богом.

— Батюшка! — нервничала акушерка.— У меня больная с инсультом ждет!..

— Давай, Вера Ивановна! — взмахнул рукой Толян. — По утреннему бризу, по утренней росе...

Расталкивая всех клюкой, вперед протиснулась Татьяна.

— Не гневи Всевышнего, Вера, езжай в больницу, — глухо сказала она, глядя в пол. — Я при храме останусь, соблюдать буду... Одно дело — мы с тобой, другое дело — храм. Езжай.

Вера Ивановна слепыми глазами оглядела стоявших возле кровати и бессильно уронила голову.

— Вовкя... — пискнула она.

Бабкин протиснулся вперед.

Ухватившись слабой рукой за его ухо, Вера Ивановна зашептала что-то непонятное: капуста, кадка...

— Ладно! — не выдержала акушерка, отгоняя Бабкина. — Никто твоих кадок не тронет! Говна-то!..

— Хозяйственная, — усмехнулся Толян. — Помирать собралась, а за капусту болеет...

## 9

Бабкин ждал ночи. Время от времени он поднимался из котельной: в трапезной и в домике батюшки горел свет. Бабкин спускался к себе в подземелье. Бука терзал кепку ночного гостя, куда-то запропастившегося. Бабкин отнял ее у пса, повесил на сучок стойки.

Включил «Голос Америки». Америка сказала: в Москве полночь. Бабкин выключил приемник и вылез из котельной.

В трапезной было темно, в доме батюшки теплилась лампадка.

Стараясь ступать помягче, спотыкаясь в темноте о куски антрацита, Бабкин пошел к сторожке. Шура одна ночевать боялась и перебралась в кирпичный дом.

В сторожке было холодно. Он на ощупь отыскал в кухонном шкафу смятые полиэтиленовые пакеты, консервная открывалка лежала на столе. Он сунул пакеты и открывалку в карман и, придерживая маленькую дверь, чтобы не скрипнула, вышел в прируб, ведущий в сарай. Здесь Вера Ивановна держала свое хозяйство. Бабкин снял с капусты гнет-бульжник, приподнял крышку, она мокро чмокнула. Он снял телогрейку, свитер, засучил рукав до самого плеча и полез голой рукой в холодное пахучее месиво. Банка с деньгами лежала на самом дне, на боку. Вынуть ее было невозможно. Бабкин засучил второй рукав, почти хлебая ледяной рассол, ухватил банку обеими руками и потянул на себя.

Вытянув банку, он обтер ее и несколько секунд постоял просто так, прижав ее к себе, ждал, пока успокоится колотьба в груди. Банка была тяжелая, как с молоком. Он прикрыл дверь в прируб — дверь пискнула. Бабкин замер. На цыпочках вышел из сторожки, запер дверь в сени на гвоздь, как было. И снова замер. Было тихо, только из котельной доносился несильный вой запертого Буки. Бабкин побежал.

— Э, на катере! — негромко окликнул его сзади знакомый голос. — Слышь! Тормози.

Одной рукой держа банку, Бабкин другой рванул дверь в котельную и, не рассчитав с набега крутизны лестницы, упал... Пытаясь удержаться за желоб с углем, выпустил банку. Банка разбилась. И сам он повалился вниз по избитым крутым ступеням.

Бука бесновался за второй дверью.

— Б-бука, — промывчал Бабкин, вытирая ослепшее от крови лицо. — Б-бука!..

— Тихо, падла! — прикрывая верхнюю дверь, прошипел спускающийся вниз Толян. — Чего орешь всю дорогу?

Сквозь красную пелену Бабкин увидел, как Толян нащупывает в желобе кусок антрацита. И негромко попросил:

— Н-не н-надо...

## ЕВГЕНИЙ РЕЙН

\*

### БУШУЕТ ЧЕРНОМОРСКИЙ ВАЛ

#### По шпалам

Поздним августом, ранним утром,  
перестуки, гудки, свистки.  
На балтийском рассвете мутном  
то, что прожито, бьет в виски.  
Деревянный дом у вокзала,  
тьма заброшенных фонарей,  
тут вот молодость разбросала  
лапу, полную козырей.  
Вот и кончились три десятки  
самых главных моих годов,  
до копейки, без оглядки...  
Ты так думаешь? Я готов  
здесь остаться, в глухих завалах,  
точно выполнив твой завет,  
и на этих прогнивших шпалах  
изумрудный горит рассвет.  
Атлантической солью дует  
ветер Балтики и тоски,  
на перроне меня целует,  
словно у гробовой доски.  
Только Оливисте в тумане  
пробивается в небеса,  
ничего не скажу заранее —  
лишь послушаю голоса  
перестуков, гудков, сигналов,  
где-то катит и мой вагон,

и на этих прогнивших шпалах  
изумрудный горит огонь.  
Я был молод, и ты был молод.  
Старый Томас, я старый пес.  
О, какой на рассвете холод,  
этот август — почти мороз.  
Здесь под знойдом моя регата  
разбивала волну о киль,  
это было тогда, когда-то,  
и ушло за полтыщи миль.  
И пришла наконец минута —  
ноль в остатке, бывай, прощай,  
только все-таки почему-то  
я скажу тебе невзначай.  
Где-то там намекни, явись мне  
в страшном августе, в полусне,  
раньше смерти, но выше жизни,  
брось поживу моей блесне.  
Золотую форелью первой  
и последней, и здесь беда...  
Бледной немочью, черной стервой  
падай в Балтику навсегда.  
Но не трогай стигматов алых,  
все иное — пустой клочок,  
ведь на этих прогнивших шпалах  
изумрудный горит зрачок.

#### В диких лесах Пицунды

И тогда разбойникам пришлось  
спрятаться в диких лесах Пицунды...

*Из записок Дюма-отца.*

Под новогодний перезвон  
мне снится бледно-синий сон  
про дикие леса Пицунды.  
Здесь побывал Дюма-отец,  
настиг злодеев наконец.  
Но мы с тобой не так преступны.

Пойдем, дружок, поговорим,  
и нам безумный караим  
продаст вина на шесть копеек.  
Ну что там Лондон и Милан,  
где ты транжирила карман  
среди всесветных неумеек?

Послушай, лучшая вдова,  
все справедливые слова  
про полновесную Венеру.  
Тебя и силой не свалить,  
но хочется тебя любить  
и перенять твою манеру.

Бушует черноморский вал.  
Лютует мировой аврал  
от Жмеринки до старых «Бруксов»<sup>1</sup>  
Но ты крепка, стальная плоть,  
прикрой меня сегодня хоть,  
покуда масло тлеет в буксах.

<sup>1</sup> Универмаг в Нью-Йорке.

Прожектор на твоём лице,  
и все находится в конце.  
Укроемся в лесах Пицунды!  
Затеём плутовской роман,  
запрячем в чаше шарабан  
и будем, в общем, неподсудны.

Как пахнут амбра и «Шанель»,  
когда выходишь на панель,  
авантюристка и беглянка.

Целую локоть твой крутой,  
дышу твоею красотой  
и смазкою родного танка.

О, не сердись! Я прикипел,  
но знаю твой водораздел  
и то, что я тебе не нужен.  
А впрочем, слышишь этот звон?  
Звонят в Литфонде, кончен сон,  
пойдем-ка на убогий ужин.

\* \*  
\*

Пополам раздвигая легкотяжелую штору,  
я от ненависти к зазеркалью опускаю глаза.  
Что хочу я припомнить, что пришлось бы мне к сердцу и впору —  
бесприютная тьма и заката вчерашнего полуса.  
Почему-то нельзя эту штору задернуть на сутки,  
надо злобно глядеть в неприметный и жалкий пейзаж,  
в бестолковую заумь, расцветающую в рассудке,  
отбивая стопою почти олимпийский мандраж.  
Как в замызганном клубе экран разбухает от пятен  
редких райских видений — они ведь бывали и там, —  
все равно вид реальности вымышлен и неприятен,  
неопрятен всегда, и особенно по утрам.  
Как затворник, я перебираю размытые тени —  
то дубовую Англию, то расстроенный римский фонтан,  
вот и речка Фонтанка обмывает у спуска ступени:  
среди всей этой челяди я меценат и тиран.  
Потому что уже ничего не привидится внове,  
кроме утренних сумерек и городской суеты,  
потому что предельно насыщен раствор пересоленной крови,  
и едва пробивается день, в законные рухнув кусты.  
Потому даже луч твоего зодиака  
надо мною не властен, а только сулит свою жуть,  
потому-то у собственной жизни в ногах я дремлю, как собака,  
и пытаюсь во сне ее теплую руку лизнуть.

\* \*  
\*

В городе Кембридже под Рождество  
снегом негладким все развезло:  
клумбы, куртины, газоны, аллеи,  
горизонталы и параллели.  
Ивы и клены, трава и кусты  
стали мохнаты, а были пусты.  
В доме пустом телевизор туманный,  
джин откровенный и виски обманной,  
свежее пиво, и древний коньяк,  
и путешественник — бедный дурак.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

*Очерки литературной жизни*

### ПЯТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(1974 — 1975)

#### НЕВИДИМКИ

*В 1975 году в издательстве YMCA-PRESS вышла книга А. Солженицына «Бодался телёнок с дубом» (ее доработанный текст напечатан в 6 — 8 номерах «Нового мира» за этот год). В состав книги, однако, не вошло Пятое Дополнение — «Невидимки», написанное автором в 1974 — 1975 годах в Швейцарии, сразу после изгнания. Эта глава — о друзьях и помощниках, кто был рядом с автором в его писательском подполье. Более ста человек, упоминающихся в «Невидимках», не могли быть тогда публично названы ради их безопасности. Теперь Пятое Дополнение печатается в журнальном варианте, все еще не целиком, но в своей большей части, уже возможной к публикации.*

1

#### НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЗУБОВ

**В**о всякую пору незаметно живут на земле люди с талантом: не описывать для потомков, но сохранять для собеседников — и для самых чуждых, через десятилетия, для самых юных, когда вспоминающий уже стар. И пока голова эта ещё не поникла с шеи, ещё светит нам своей доброй сединой — мы черпаем из неё сохранённое прошлое, а уж там дальше — как сами распорядимся.

Таким особым талантом, и с ранней юности, владел Николай Иванович. Революция застала его 22-летним внимательным и памятливым наблюдателем, — и весь тот прежний русский мир, порушенный в месяцы невосстановимо, поразительно отчётливо сохранился в его памяти — правда, не цельной большой картиной, потому что Н. И. не обладал политическим отношением к жизни, но во множестве сверкающих осколков, — и до старости Н. И. охотно мог извлечь из глубины и показать такой осколок — о железнодорожных порядках, о географических особенностях местностей, о жизни чиновничества, о быте малых городков, о третьестепенных, но примечательных подробностях нашей истории. Он всегда рассказывал такое, о чём нельзя было самому догадаться и чего в книгах нельзя найти. Напротив, современник Гражданской войны, он почти ничего не мог о ней рассказать, он пережил её на окраине, не участником, — и голова его как бы отказалась вместить это страшное месиво. Жизнь отдельного человека имеет столько своих задач и событий, что умеет течь и независимо от событий всеобщих. Рано умер отец — и этот отроческий возраст, в котором Коля Zubov осиротел, так ярко вспыхнул в нём, что определил характер до старости: юношеское отношение к жизни, мальчишеская гордость — всегда иметь с собой перочинный нож, уметь много делать руками и как-то затаённо, нежно, но и боязливо относиться к женщинам. И до последнего дыхания он почтительно любил мать, не смея противоречить её решениям. А она была полна всяких уверенных идей и полной воли проводить их на сыне. Одна из таких идей была: что слишком нежному интеллигентному мальчику надо жениться на женщине из народа, а для того *идти в народ*. И по окончании медицинского института она послала его в Новгородскую губернию поработать маслоделом в кооперации. Уж знаний о маслоделстве и о Новгородской губернии молодой человек набрался на всю жизнь. А вот задачу женитьбы решил плохо. Об этой истеричной женщине



из народа в доме их потом говорить не любили, и я ничего не знаю о ней, — но она достаточно растерзала жизнь Николая Ивановича, так что он сам должен был отступить, забрав троих детей: тихого невыразительного сына, который никогда не стал никаким его продолжателем и чужим вырос, и двух дочерей с наследственным сумасшествием от матери. И за этого разведенца с тремя неблагоприятными детьми вышла замуж сокрушённая тридцатилетняя вдова Елена Александровна — после смерти своего первого мужа, который был на 25 лет старше её и жизнь с которым она вспоминала как вершину возможного земного счастья. Вышла замуж — вошла под волю свекрови, оттого что Н. И. не смел из-под этой воли выйти уже никогда. И в советские 30-е годы — уж никак не век женского семейного смирения — переработала в себе эту новую долю, втянулась в «своё средневековье». А потом поразила их десница НКВД и перебрала супругов в лагерь. (Я описал их историю в «Архипелаге ГУЛАГе», ч. 3, гл. 6, и в «Раковом корпусе» — Кадмины.)

После маслоделия Н. И. мог вернуться к медицине и специализироваться — гинекологом. Это никак не было случайно. Тут сложилась и тонкая чувствительность рук, и нежная настойчивость характера, и, может быть, что-то — от молодой нерешённости со всеми этими другополюми существами на Земле. Я думаю, это был на редкость удачный гинеколог, радость и облегчение для пациенток. Они сохраняли неизменную благодарность к нему, он до старости — тягу к своей работе. Со всеми лагерными переборами выработав пенсию к 70 годам, он всегда оставался охотлив и отзывчив на вызов к тяжёлым родам или тяжёлой больной. И уже в 75 лет осуществил один из замыслов: в местной средней школе ввести короткий курс для десятиклассниц обо всём «стыдном», к чему им надо быть готовыми, но никогда прямо не говорят родители, и друг от друга узнаётся смутно, и потом перекорёжена вся жизнь. Хотел он и книгу об этом писать, как бы педагогический курс.

Врачебная специальность помогла Николаю Ивановичу перенести 10 лагерных лет (и Елену Александровну устроить медсестрой и годами жить на одном лагпункте). Но разнообразная уместность рук всё время толкала его и на ручные работы, из которых давно излюбленной домашней было переплётное ремесло. Всё необходимое главное — обрезной тесак, тиски — было у него и дома до ареста, и даже в спокойный лагерный период изготовили ему свои мастера, и потом всылке он расстарался тоже достать. На досуге он ждал переплётать, и что-нибудь достойное. Это всё было в нём среди задержавшегося мальчишеского, как и особая любовь к латыни (лагерные пути свели его с крупным латинистом Доватуром, и врачебным покровительством он устраивал тому даже лекции латинского языка! — медсестрам), и — из любимых увлекательных игр — конспирация. Сам Н. И. всегда оставался политике чужд (впрочем, лагерь кого не наведёт на размышления, и с М. П. Якубовичем, полубольшевиком, они вели долгие дискуссии о русской истории), так что сам в конспирации подлинно не нуждался, но приёмы её не уставал разрабатывать на досуге. Так, у него был приём, как по открытой почте завязать конспиративную переписку с отдалённым и не ведающим никаких хитростей корреспондентом. Сперва посылалось безобидное стихотворение с горячей просьбой сохранить его на память. Удоставляясь в получении, второе письмо — о том, что то был акrostих. Человек читал по колонке первых букв: «Расклей конверт», — и расклеивал, уже второй, нынешний. Тут по заклеенной полоске было написано, как он получит следующую информацию: в переплёте ли книги, двойном ли дне ящика или — верх искусства! — просто в почтовой открытке, если её положить в тёплую воду, а потом расслоить. Фантастическая техника! Н. И. на сухую расслаивал простую почтовую открытку, писал на внутренней стороне, что надо, склеивал (много разных клеёв он знал и разрабатывал) и потом писал наружный текст — так, чтобы строчки ложились на внутренние строчки и не просвечивали. Открытки во всех цензурах почти не проверяются, они легче всего проходят. (Надо сказать, советские вольняшки пугались таких конспиративных завязей и чаще не поддерживали их.)

Вся эта техника была у Николая Ивановича в лагере на ходу — а не видно, кому бы нужна. Тут познакомился он с московским учёным литературоведом Альфредом Штёкли, и тот сказал, что если б знал, как прятать, — писал бы в лагере повесть из времён Спартака — *по аналогии* (как большинство смельчаков в советской литературе пишет), описывал бы рабскую психологию, исходя из эзеской. Н. И. тотчас же предложил ему блистательный приём хранения: не заделкой листов в переплёты (это много бы переплётов понадобилось) — но склейкой переплётов из многих листов рукописи таким клеём, чтобы при расслоении написанное сохранялось. Проверили — превосходно. И Штёкли начал писать. Набиралось на толщину переплёта — Н. И. склеивал и держал перед лагерными шмональщиками совершенно открыто. Потом Штёкли увезли

на этап или он раньше покинул замысел — а всё им написанное Н. И. не только сохранил, но вывез из лагеря, привёз в ссылку и потом освободившемуся Штёкли писал в Москву: приезжайте, берите! Штёкли отвечал любезными отговорками. Я очень сочувствовал этому тайному автору, содругу моему. Мы думали — он в Гисьямах не понимает намёков и считает, что сокровище его пропало. В 1956 я ехал в Москву тоже, Николай Иванович поручил мне найти Штёкли и сказать прямыми словами. Увы, реабилитированный, с восстановленной научной карьерой, опять в своей квартире на Петровке, Штёкли потерял интерес к лагерной писанине: какое там ещё рабовладение? Вся история эта напомнила мне лермонтовского преданного и пренебрежённого Максима Максимыча.

В Кок-Терек, в ссылку, Н. И. приехал раньше меня на несколько месяцев, с женой его разлучили, отправили её в Красноярский край (не по чекистскому умыслу, по эмведистской небрежности), сюда привезли её годом позже. Дотащилась к сыну и старуха-мать, из-за которой случилась вся посадка, и приехала одна из дочерей, уже на грани полного безумия, но это всё потом. А пока он жил один, — совсем уже седой, но легкоподвижный, как молодой человек, худощавый, низкорослый, ясноулыбчивый, — а ясноглазый такой, что одного взгляда пропустить и забыть было нельзя. Мы встретились в районной больнице, куда я лёг с непонятной болезнью, схватившей меня тотчас по освобождении (это были годичные метастазы рака, но ещё никто не определил, Н. И. первый и заподозрил), не он лечил меня, мы встретились как зэк с зэком. А вскоре после моей выписки как-то шли вместе по аулу, зашли в чайную выпить пива, посидели, два бессемейца: он ждёт жену, меня жена в моё последнее лагерное время оставила. Ему тогда шёл 58-й год (в созвучии с нашей знаменитой *статьёй*, где этот номер нас не преследовал!), мне — 35-й, а в завязавшей нашей дружбе было что-то юношеское: и эта наша бессемейность, и юношеские характеры у обоих, и это ощущение раннего прекрасного *начала* жизни, какое овладевает освободившимся арестантом, и даже степная казахстанская весна с цветением пахучего джунгиля и верблюжьей колючки — да ещё первая весна после смерти Сталина, последняя весна Берии.

Но насколько возраст Николая Ивановича был выше моего, настолько выше и его оптимизм: *начинать* жизнь в 58 лет, когда прошлой жизни как не было. Всё разрушено — и ещё не жито!

Я всегда решал для себя людей с первой встречи, с первого взгляда. Николай Иваныч так сразу очаровал меня, так растворил замкнутую грудь, что я быстро решил ему открыться — первому (и последнему) в ссылке. Вечерами мы стали ходить за край посёлка, садились на горбик старого арычного берега, и я читал ему, читал из своего стихотворного (да уже и прозного) запаса, проверяя, насколько ему понравится. Это был за тюремное время девятый мой слушатель, но неожиданная реакция его была первой: не похвалы и не критика, а — изумление: как я изнуряю мозг, нося в себе это всё годами. Я и не допускал другого хранилища, кроме моей памяти, я уже свыкся с напряжением её, с вечными повторениями, — а он взялся разгрузить. И через несколько дней принёс мне в подарок первое приспособление — поразительное по своей простоте, обычности в самой скудной обстановке, потому бесподозренное, да ещё и легко переносимое: небольшой посылочный фанерный ящичек, какой стóбит в больших городах немного, а в ссылке не купить, и естественно сыльному его беречь, использовать для мелочей, и не рбзнит он со скудной мебелишкой и земляным полом. А в ящичке том дно было — двойное, но фанера не прогибалась, и только руки гинеколога могли с двух сторон на ощупь соотнести, что дно со дном не сходится. Затем два гвоздика оказывались не вбиты, а плотно вставлены. Плоскогубцами они быстро вытягивались, выпадал загораживающий брусочек, открывалась тайная полость — желанная тёмная глубина, сотня кубических сантиметров пространства, как будто и на территории СССР, а не контролируемого советской властью. Быстро было — туда закинуть, быстро и достать, легко обеспечить, чтоб не перекатывалось, не стучало. При моём почерке, измельчённом необходимостью, этого объёма было достаточно, чтобы записать работу пяти лагерных лет. (В главном тексте «Телёнка» я написал: «счастливая чужая мысль и помощь», но так, будто это было уже *после* поездки в Ташкент, а из памяти записывал будто перед самой смертью, — пример искажения, чтоб на Николая Ивановича не навести. От этого дня подарка в мае 1953 я и стал постепенно записывать свои 12 тысяч строк — стихи, поэму, две пьесы.)

Я пришёл в восторг: момент освобождения не меньший, чем выйти за лагерные ворота! И лучились глаза Н. И., и улыбка развела его седые усы и бородку: пригодилась, не пустой оказалась конспиративная его страсть!

Надо же было в посёлке, где политических ссыльных менее сорока человек, а русских и десятка нет, самодеятельному тайному автору сразу наскочить на прирождённого самодеятельного конспиратора! Разве не чудо?

Позже Н. И. устроил мне потайное приспособление и в грубом столе. Объёмы для хранения росли, доступность была быстрая, и как же это облегчило мне подпольное писательство: в последнюю минуту перед школой я всё прятал в своей одинокой халупке с лёгким навесным замочком, игрушечными рамами и уходил на многие часы совершенно спокойно: и грабитель не польстится, и сыщик из комендатуры не найдёт, не поймаёт. И при огромной (двойной) школьной загрузке я успевал теперь каждый день да глянуть в свои листки, каждый день сколько-нибудь да пописать, и сплошь все воскресенья, если не гнали на колхозную работу, — и в месяц уже не тратил неделю на повторение и новое заучивание. Теперь я и дорабатывать мог тексты: я видел их отвыкшими глазами и не боялся, что изменения подорвут память.

Помощь Николая Ивановича в самые одинокие минуты моей разгромленной погубой жизни и сочувствие приехавшей осенью Елены Александровны — были поток тепла и света, заменивший мне всё остальное человечество, от которого я таился. Е. А. приехала, а я ждал разрешения на отъезд — в раковый диспансер, почти наверняка умирать. Суровое было наше знакомство, и так по-деловому говорили мы о моей близкой смерти, и как они имуществом распорядятся. Не стал я рукописи оставлять в их доме, чтоб не огрузить их, но на своём участке закопал в землю бутылку с лагерной поэмой и пьесами, и единственный Н. И. это место знал. Из ташкентской раковой клиники (позже — из Торфопrodukта, ещё из Рязани) я писал им частые, обильные, сочные письма, каких никому никогда больше за всю жизнь.

Оба Зубовы принадлежали к той лучшей половине эков, кто уже до смерти не забудет своего лагерного сидения и считает его высшим уроком жизни и мудрости. Это и соединило меня с ними, как с родными, а по возрасту (Н. И. был немногим моложе моего покойного отца) почти как с родителями, да не всякому с родителями так интересно и весело, как мне бывало с ними, — переписывались ли мы записочками в собачьем ошейнике (собачка бегала от дома к дому понятно), шли ли вместе в поселковое кино или сидели в их глиняной беседке на краю голой степи. И откровенней, чем теперь с родителями принято, советовали мы вместе, что мне жениться нельзя из-за рукописей, и перебирали, нельзя ли всё ж на ком.

Когда весной 1954 я был награждён выздоровлением и в радостном полёте писал «Республику труда», то имел в виду почти их одних, чтоб именно им прочесть, старым экам и благословенным моим друзьям. А прочесть — тоже было не просто, они дома не одни, дочь опасна, да и хатка их втеснена между соседскими, а я хотел в полный голос и во всех ролях. Моя же халупа хорошо стояла, за 100 метров видны подходы. Но пьеса была огромная, в полтора раза больше, чем теперь осталось, читать с антрактами пять часов, просидеть у меня столько днём — соседям и комендатуре подозрительно, да и служба, и хозяйство не терпит. И так ничего другого не получалось, как прийти им, когда уже стемнеет, и просидеть ночь. Ночь стояла парная, концеюньская и торжественно лунная, какая бывает только по степной открытости. А окна приходилось держать затворенными, чтобы звуки не разносились, и так весь воздух мы оставили снаружи, а сидели в жалкой духоте, в подвешивании керосиновой лампы. В антрактах проветривались, и я выходил наружу осматривать местность — не подкрался ли кто? не подслушивает? Да лежали при хатке собаки Зубовых, они бы залаяли. За ту ночь поднялась перед нами лагерная жизнь во всей её яркой жестокости — ощущение, какое мир через 20 лет испытает от «Архипелага», а мы — в ту ночь. Вышли после спектакля — всё тот же необъятный свет на всю степь, только перешла луна на другую сторону, давно спал посёлок, уже предупреденным тянуло туманцем, отчего ещё фантастичнее. Зубовы были потрясены — ещё потому, может быть, что в первый раз серьёзно поверили в меня и разделили: вот здесь, в этой халупке, готовится нечто ошеломительное. И пятидесятилетняя Елена Александровна, опираясь на руку уже скоро шестидесятилетнего мужа, сказала: «И какое чувство у нас молодое! Ощущение — вершины жизни!»

Нас, эков, не баловала жизнь вершинами.

Едва мы с Николаем Ивановичем стали на «вольной» службе зарабатывать уже не лагерного масштаба деньги, мы, как два повзрослевших мальчика, осуществили свою давнишнюю мечту: купили по фотоаппарату. (Это — основательно делалось, изучалась сперва теория, по книге. А Н. И. вскоре и писал заводу «Смена» свои критические замечания о конструкции аппарата.) Сласть этого ремесла, однако, уже не могла заслонить, а только развивала нашу конспиративную мысль: а как поставить на службу нам и фотографию? Изучили

по учебнику технику репродуцирования, в моих лечебных поездках в Ташкент я добывал нестандартные химикалии — и научился отлично делать 'фильмовые пересъёмки. Недостроенный глинобитный сарай, обвод стен без крыши, служил мне прикрытие от ветра и соседских глаз: едва наступала короткая в Казахстане пасмурность, я спешил туда, там монтировал своё переносное устройство и, ловя постоянное освещение (облака разволакивает или крапает дождь — бросай), спешил фотографировать свои крохотные рукописные листики (самый больший — 13×18 см). Но вся главная тонкая работа предстояла Николаю Ивановичу: снять переплёт случайной английской книжки, в обеих корках сделать хранилища на конверт, в конвертах закрепить полоски по 4 кадра, да в несколько слоёв, — и всё заделать так, будто книжка — только что из магазина! Наверно, самая сложная переплётная работа, какую Н. И. когда-либо делал, — но и залобоваться ж было! (Только беспокойло нас, что от солей серебра картонные переплётывы оказывались тяжелей ожидаемого.) Теперь оставалось лишь найти того благородного западного туриста, который гуляет где-то по Москве и рискнёт взять криминальную книгу из торопливых рук прохожего... Туриста такого не нашлось, потом тексты я переделал, они устарели. Хранил я книгу как память об изумительной работе Н. И., но в момент провала в 1965 году — сжёг. А — стоит перед глазами. Это были — пьесы Бернарда Шоу, по-английски, но советского издания.

Как ни расположились мы с Зубовыми жить в Кок-Тереке *вечно*, как было вписано нам, — но весной 1956 упразднили всю политическую ссылку, и я уезжал тотчас, а они оставались — хотя не пленниками МВД, но от бытовой тяжести: трудно сдвинуться, силы падают, а мать больна; безумная дочь, беззащитно бродя по Кок-Тереку, забеременела видимо от председателя сельсовета, родила Зубовым на руки казашонка, сама канула навек в сумасшедший дом. (Поразительная наследственность: выросши в русской семье, младенцем уехавши из Казахстана, никогда тому не ученый и не имев примера для подражания, мальчик избирал как любимую позу — по-мусульмански поджатые ноги.) Другая дочь, годом позже, выбросилась из подмосковной электрички.

Так была легка и перевозоудобна техника хранительная Н. И., что он выслал мне её почтой вослед в Среднюю Россию, в Торфопродукт (уже — три было таких посыльных ящика), и они ещё много лет служили мне, и даже перед самой высылкой из СССР я ещё иногда к ним прибегал. Когда же я переехал в Рязань (вновь соединился со своей первой женой Натальей Решетовской — ложный шаг, очень дорого впоследствии стоивший нам обоим), и там при пишущей машинке хранимые объёмы сразу выросли, 3—4 экземпляра каждой вещи, — пондобились новые хранения, однако Н. И. так наострил мой взгляд, что у меня и самого родились придумки недурные: то сделать двойной потолок у шкафа, то натолкать рукописей во внутренний объём всё равно тяжёлого проигрывателя.

Как хорошо казалось нам наше ссыльное место, пока было неизбежно-безвыходным, уж мы его так полюбили! и как потоскливело оно, когда появился дар свободы и все уезжали, уезжали. Уже не было Зубовым пути назад, в Подмосковьё («билеты в страну прошлого не продаются!» — любимая печальная поговорка Н. И. после лагерного опыта). Тогда в Крым? — порывалась Е. А.: в Симферополе протекла её счастливая юность, и весь Крым был заповедным воспоминанием. При советских порядках и всякому человеку стронуться с места — гири мешают, а какво бывшему зэку — да не реабилитированному? (Всё простить им не могли короткого приюта, данного дезертиру.) Зэка и вовсе никто нигде принимать не хочет. Долгая переписка, запросы, — наконец согласились дать доктору Зубову место в Ак-Мечети (теперь Черноморском) — захолустном посёлке в северо-западном голом Крыму. В 1958 стронулись и со всеми тяготами поехали. От Крыма, что в это слово вкладывается и что помнила Елена Александровна, там было мало, вокруг — пустынная степь, как и в Кок-Тереке, и даже сходна эта пустынная выжженность местности (пошутил я как-то: «Кок-Терек, где комсомольцы выкопали море», но понял, что обидел их), — зато гладкий пляж, настоящая черноморская вода, а главное, неподалёку от дома — скамья на бухту, и супруги, взявшись под руку, что ни вечер ходили туда смотреть закаты. Со своим поразительным умением источать счастье из самих себя и быть довольными всяким немногим — Зубовы признали, что это — счастливое место, и уже до смерти никуда никогда. Е. А. не по годам рано теряла, теряла подвижность, а теперь — и вовсе лежит, уже не доходя и до той скамьи. Умели они жить — внутренней жизнью, друг со другом под тихой крышей, вечерней музыкой, перепискою с друзьями, — и весь мир был тут.

С машинкой появились у меня копии всех вещей, и возник смысл хранить их рассредоточенно. И уже б не обременять стариков — а не было никого ближе и доверней. В 1959 отъёз я им из Рязани — все пьесы, лагерную поэму и «Круг первый» (96 глав), который тогда казался мне уже готовым. И снова Н. И. устроил

двойные донья, двойные стенки в своей грубой кухонной мебели — и попрятал моё.

Из Рязани я продолжал переписываться с ними сердечно — но лишь в той степени подробно, как это разрешала подцензурность. Когда Твардовский признал моего «Денисовича» — не было мне желанней кому рассказать об этом, как Зубовым. Но все оттенки в письме не помещались. А к Пасхе 1962 окончив ещё одну перепечатку «Круга», я с одним экземпляром рванулся к Зубовым в Крым. Там при знакомой мне обстановке, за похожим круглым столом, как бывало когда-то, я рассказывал моим любимым старичкам о невероятных новомирских событиях, Е. А. при этом щипала зарезанного петуха для парадного обеда, с перьями в руке останавливалась в изумлении — и именно потому, что так знакомо повторялись наши кок-терекские уютные сидения втроём, только теперь с электричеством, — мне самому во всей остроте, кажется впервые, явилось это чудо: ведь никогда ничего мы не надеялись увидеть напечатанным при нашей жизни! Да ещё и — будет ли?..

В другом месте не придёт: готовясь ко всякой встряске при выходе «Денисовича», я тою весной сделал ещё три полных фотокопии всего-всего, написанного мною до сих пор. И под видом нашего с женой летнего путешествия поехал развозить их по друзьям заключения. Одну — несравненному моему тёплому тюремному другу Николаю Андреевичу Семёнову, с кем вместе мы сочиняли на бутырских нарах «Улыбку Будды» (в «Круге» — Потапов), на Пермскую ГЭС. Он — принял и честно сохранял, пока я потом не сжёг сам. Вторую — под Кизел, лагерному герою Павлу Баранюку (в «Пленниках» и в «Танках» — Павел Гай). Я ехал — не понимал, что добраться до Павла можно было только на машинах МВД и что сам он стал — как бы, не лагерным надзирателем, но не признавался в письмах; эта потеря — рана, до сих пор не объяснена, но понятна: так зажали его после нашего экибастузского мятежа. С капсулой плёнок в кармане, как бомбой, я оглядливо ходил целый день по Кизелу — одной из гулаговских столиц, чтоб как-нибудь случайно, по подозрению, по проступку, меня не взяли многочисленные тут патрули. Так и не доехал до Павла, и хорошо. Третью — в Екатеринбург, Юрию Васильевичу Карбе — благородному, всегда невозмутимому экибастузскому поверенному другу. Он — тоже принял и тоже честно сохранял, где-то в лесу, в земле. В мае 1968 он умер, почти в один день с Арнгольдом Сузи (оба — сердечники, а были в те дни какие-то солнечные явления). И сейчас отказала память: вернул ли он мне всё и я уничтожил, или та плёнка поныне в уральском лесу.

С напечатанием «Денисовича» круг моей переписки, знакомств, обязанностей и сбора материалов расширился взрывом, соответственно и внимание ко мне Недреманного Зрейма, и я всё реже мог сесть за обстоятельные письма к Зубовым, всё меньше выразить в них. Я и всегда, сколько помню себя, по плотности выполнял работу доброго пятка людей, но до выхода на поверхность ещё оставались малые затишки для писем, для бесед. Теперь — их не стало. Правда, летом 1964 Николай Иванович приехал разделить наше с Наташей первое путешествие на своём автомобиле — от Москвы в Эстонию. Всё снова было близко и понятно. Но опять канул он в свой посёлок — а его сделали «запретной зоной» (стоянка военно-морского флота), получилась ссылка наизнанку: чтобы достичь их, надо было теперь брать пропуск из своего областного МВД. Сами же Зубовы всё меньше двигались, Елену Александровну приковало к постели, Николай Иванович по развившейся глухоте не мог слушать западного радио. Они замкнулись в своём статичном мире, углубились в классиков, а из нового только за тем следили, что до них доходило, чаще не лучшее. Наши опыты и темпы расходились, подцензурная переписка становилась почти бессмысленной: намёки не улавливались, истолковывались неверно.

В октябре 1964, в ночь, когда узнали о свержении Хрущева, Зубовы сожгли всё моё хранимое и сообщили об этом условной фразой в письме. Таксв и был уговор: если по их мнению возникает серьёзная опасность — они вольны всё сжечь. Тогда и не им одним казалось, что сейчас в несколько дней начнётся всеобщий разгром. В тех самых днях и по той же причине я отправил не оставленный в Кизеле рулон фотоплёнки на Запад (с В. Л. Андреевым) и не очень был затронут их костром: теперь достаточно было экземпляров. И вот только получалось: «Пир победителей», один из двух, у меня остался единственный отпечаток.

Но ещё через год при провале архива у Теуша это отозвалось: «Пира победителей» у меня не осталось вовсе. Правда, его издали закрытым тиражом в ЦК, может, для будущего сохранится у них, но мне было горько, что теперь для меня «Пир» утрачен. В 1966 мы встретились с Николаем Ивановичем в Симферополе, к ним проехать было нельзя. Я спрашивал, всё ли сожгли, действительно ли всё? Он отвечал уверенно. Единственное, что случайно сохра-

нилось, — ранний вариант «Круга», и теперь мы сожгли его вдвоём, в Симферополе, в печи. И году в 1969 Н. И. приезжал в Москву, был в Рождестве, — всё то же, я уже и не сомневался, с «Пиром» простился навсегда. А в 1970 была в его письме какая-то непонятная фраза, что мне надо бы посетить в Москве его старую давнюю знакомую, а я не додумал (потерян был наш кок-терекский сострой, когда мы так легко понимали друг друга и удивлялись тупости *вольных* адресатов; долгая разлука ввела и между нами тупость). Не собрался. Весной 1971 Наташа, с которой мы уже были врозь, взяла в МВД пропуск и на несколько дней заехала к Зубовым погостить. Я сам просил Зубовых, чтоб они её приняли, надеясь на смягчающее благородное влияние их. Я тогда допустить не мог, в *чьи* руки забросит мою бывшую жену наш развод: что она вот-вот станет, уже стала для меня опаснее любого соглядатая — и потому что согласна на любых союзников против меня, и потому что знает многих тайных. Прежде того она получила от Н. И. почти всю пачку моих писем к ним, именно за тот период, когда бросала меня, и они нужны были ей, чтоб заполнить пробел в её мемуарах. И ей же теперь, так же не понимая, куда она движется, Н. И. доверил передать мне тайную историю и продиктовал адрес.

Оказывается, тот внук-казашенок из Кок-Терека, от безумной дочери, через силу взращённый стариками, уже достигший лет 13, необычайно злой, в короткий приезд из интерната трудновоспитуемых (что за труд был ещё сдать его туда! ведь наклоняешься и напростишься), поссорясь со стариками (грозя убить их, уже не первый раз), в приступе злости не удержался открыться соседке, что «старик в руках» у него, «держат антисоветчину» скрытно в мебели, а он обнаружил! Что бы было с Зубовыми, если б он успел донести! — уж высылка из посёлка военно-морской базы — это самое мягкое и малое, а при их состоянии — всё равно разгром. Но соседка тотчас передала Н. И., он кинулся — и обнаружил *забытую им записку* — и в ней «Пир победителей», «Республика труда» и другое мелкое. Тут же он и перепрыгал. Внук обнаружил пролажу, чертыхался и бесился. А Н. И. уже знал, что «Пир» надо сохранить, — но держать теперь опасно, ведь донесёт? И не знал, как мне сообщить, и ехать тоже не мог. И бесстрашно держал ещё несколько месяцев! Столь затянулась, уже не по силам ему, конспирация, так весело начатая в Кок-Тереке 17 лет назад.

Летом 1970 в Черноморское приехали на отдых из Ленинграда знакомые его знакомых — того самого латиниста, античного историка Доватура аспирантка Ирина Валерьяновна и муж её Анатолий Яковлевич Куклина, молоденькие, с малой дочкой. Та атмосфера душевного тепла, которая всегда окружала Зубовых как ореол, втянула и этих молодых с первого их приезда сюда и с первого дня знакомства. И теперь с полным доверием отдал им Николай Иванович найденные мои рукописи с тем, чтобы возвратили мне при случае, а уж придётся худо — уничтожили бы. По свойствам советского транспорта и быта из прямого поезда Крым — Ленинград сойти в Москве они не могли. Когда же Ирина была раз в Москве — передала мне записку через Ростроповича, но так неясно было, и меня так многие добивались видеть по вздору, — я не оторвался от работы, не ответил.

И вот в июне 1971 настороженно враждебная моя бывшая жена, но ещё тогда не потерявшая расчёт меня вернуть, в минуту ещё не худшую, передала мне всю эту историю и адрес. Я постарался принять адрес без большого значения (воротятся из Ленинграда, ответил на её вопрос, что ездил — зря, давно они всё сожгли). А сам через два дня уже был в Ленинграде, в Сапёрном переулке, где в старом здании, в неустроенном сыроватом полуподвале эти славные бесстрашные молодые люди уже год хранили и вот дохранили моё взрывчатое, пугающими словами ругаемое повсюду на лекциях и в газетах. Снова был у меня «Пир»!

Полюбил я этих молодых. Совсем из другого поколения («инфанты» закодировали мы их с Люшей), пришли они в моё литературное подполье, которому уже было четверть века, пришли всего на один эпизод, всего одну пьесу спасти — а не поплатятся ли за то разорением жизни? Они потянулись помогать мне и дальше; оба — историки и обоим непереносимо соучаствовать в казённой лжи, хоть на чём-то хочется лёгкие очистить. Но этого — мало пришлось, это был их порыв — выше возможности: тут вскоре родилась у них и вторая дочь, а безвыходный подвал всё тот же, и Анатолий болеет, и руки разрываюются, и денег нет, — в пору не брать мне их помощь, а им помогать. Последнее перед высылкой я слышал, что стали его утеснять на работе, хотя это могло и не связано быть со мной.

А могло — и из-за меня. Особая наша связь с Н. И. ясна была хотя бы через Решетовскую: она спешила при мне живом публиковать обо мне воспоминания и не пощадила, открыто напечатала (в 1972, в «Вече»), что Зубовы были самые близкие мне в ссылке, читали все мои лагерные вещи и были хранителями «Круга»! Да я продолжал и переписываться с ними открыто по почте, даже в последний год посылки прислал. (Однажды прислал Николай Иванович милого

одного человека, из 227 моих рассказчиков «Архипелага», Андрея Дмитриевича Голядкина, — с письмом, минуя почту. А позже был А. Д. шафером на нашем венчании с Алей — так косвенно и Н. И. поприисутствовал, в той роли отца, всю жизнь ему не удавшейся.) По своим затруднениям Куклины лета два не ездили в Черноморское. Но в 1974, уже после изгнания моего, поехали.

Поехали, и такую весть привезли осенью (дошла до меня зимой в Швейцарию): в ночь моего ареста с 12 на 13 февраля к Zubовым пришли чекисты с обыском. О, злыдни, когда же вы отвяжетесь? Подробностей не знаю, но так это представить легко: стук, и тревога измученного арестантского сердца, беспомощная старость, накинутые халаты, Н. И. почти полностью глух, сколько окидывается жизнь — 40 лет — 50 лет — 60 лет — всё те же чекисты, всё те же обыски. Вопросы о Солженицыне. Что храните написанное им? Перешаривают, забирают письма (и те несколько кок-терекского времени, не отданные Решетовской, самые интимные), среди них и «левые», конечно, и может быть — благодарность за «Пир», а скорее, левые — сожжены...).

Сколько верёвочке ни виться...

И — чем могу я их защитить? Как их спасти? Взывать к западному общественному мнению? Оно — уже устало от чужого горя.

А чекисты, может быть, и о двойных стенках наслышаны, и мебель проверяли, и полы? В те сутки не у Zubовых одних, по разным далёким провинциальным местам искали они моё «главное» хранение (так вывели почему-то, что я в провинции храню). Ошиблись: моё главное хранение было уже в Цюрихе, в сейфе. Ушли ни с чем, только измучили стариков.

Но, может быть, уж это было — последнее сотрясение их жизни. Годами раньше похоронена была своенравная матушка. Две дочери ушли из жизни. Сын — был и не был. У Е. А. сестра единственная, жила в Крыму — уехала. Всегда радушным к молодёжи, так и не довелось им оставить никакого прямого своего потомства. Каждую весну всё продолжает, наверно, Н. И. вести свой короткий курс с десятиклассниками, чтоб они жизнью не покалечили. Иногда зовут его в родильный дом на помощь. А всё остальное время он ведёт домашнее хозяйство и ухаживает за Е. А., почти не встающей с постели.

Была жизнь! — в тюрьмах, в лагерях, в ссылке, была! — но вот уже и кончается.

Сел писать эти страницы — и все вызываемые памятью мои соратники, сотрудники, помощники, почти все ещё живые и угрожаемые, обступают меня теплыми тенями, вижу глаза и вслушиваюсь в голоса — внимательнее, чем это было в пылу сражения.

Безвестные, всем рисковали, даже людского признания не получая взамен, того признания, которое скрашивает нам и гибель. И напечатка вот этих очерков придётся многим уже в пустой след.

Вот повернулось: я — цел, а они все — под топором.

Есть предчувствие, есть вера: я ещё вернусь в Россию. Но — кого из них уже не застану?\*

## 2

### НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОБОЗЕВ

Об этом человеке намеревался я написать отдельную повесть. И не было к тому преград, кроме вечной моей гонки, вечной недостачи времени. Повесть о том, как советская система умела уничтожать лучшие умы России, даже не сажая их в тюрьмы.

Н. И. Кобозев был — из самых умных людей, когда-либо встреченных мною. Он был крупный физико-химик, но, шире того, в высшей традиции прежней русской науки, он, сопутно своим главным исследованиям, в рабочее время и в досужное, обдумывал и сопоставлял факты и проблемы наук параллельных, философии, истории России и православия. Правда, и времени для медленных мыслей ему судьба послала больше, чем многим в этом веке.

Все особенности его биографии, почему не заглотнула его, не смолота машина Архипелага, произошли из-за постоянного его нездоровья. До 20 своих лет, ещё в ранние годы советской власти, он перемещался в компании со здоровыми, путешествовал, помню, в лодках, где-то на Алтае. Но с конца 1920-х годов, когда начался разгром и подавление всей уцелевшей научно-технической интеллигенции, болезни уже овладевали им. Профессор Московского универси-

\* И бедного Николая Ивановича разыскал и снова вымучивал проходимец Ржесач для своей гебистской книжки. (Примеч. 1978)

А в 1984 достиг меня слух, что оба Zubовы умерли. Царство им Небесное! (Примеч. 1986)

тета, он с середины 30-х годов уже не приезжал читать лекций: агорафобия (боязнь пространства) сделала выезды эти, даже и на занятия в своей лаборатории, всё более редкими и прекратила совсем. Учеников и аспирантов он стал принимать только дома. Постепенно он свыкся с жизнью всего только в двух-трёх комнатах городской квартиры — со старинной коричневой мебелью, библиотекой, потом по стенам причудливо-интересными картинами 12-летнего сына.

Окна выходили на 3-ю Тверскую-Ямскую, десятилетиями тихую, а в последнее время отгрохоченную и отравленную непрерывным автомобильным потоком, так что не осталось отшельнику ни тишины, ни воздуха даже по ночам. А ночи были — главное время его, как у всех бессонников и беспорядливо живущих людей: без движения и воздуха сон приходит всё позже, всё позже в ночь, а то уже и утром, время сна передвигается на светлые часы, пробуждение — на обед. Вызванный болезнями, этот беспорядок обратным влиянием усиливает болезни и разрушение. А болезней — каких только не было у Кобозева, перечислить не взялся бы. Одна рука его была постоянно вывернута в локте и ничего брать не могла, вторая тоже неуверенно держала ложку и вилку, так что жена измельчала и упрощала пищу ему, как ребёнку, к тому ж и по язве желудка это требовалось. У него было прокапывание мозговой жидкости в нос, развилась слабость ног, потом они вовсе отнялись, и его катали в кресле; у него было несколько спутанных заболеваний костей, спинного хребта, кровеносной системы, сложные мозговые явления под конец, болезней всегда сразу по несколько, и лечение одних противопоказывалось лечению других. Не раз ложился он в больницы — на недели, на два месяца, вдруг — ходил по комнатам, улыбался, летом жил в Узком — сперва в дорогом академическом санатории, потом, с денежным упадком, просто в избе. Идя к нему и в хорошее время, нельзя было знать, застанешь его сидя или лёжа. Наслано было болезней на него, как на истинного Божьего любимца, едва ли не гуще, чем на библейского Иова, но никогда не взорвало его гневом, а улыбался он с покорностью Божьей воле. Он роста был малого, а в постели, скрюченный болезнями, — вовсе беспомощный комочек, всё ближе к ребёнку.

Несмотря на редкое проявление в научно-общественном мире, Кобозев был постоянно не в милости у администрации, не поощряли к печатанью его работы, и только энергичные ученики своим напором сами добивались финансирования деятельности лаборатории. А исследования профессора, выходящие за пределы его «службы», и вовсе не поощрялись, им не находилось места, как ничему оригинальному в советской стране. Какому научному плану могли удовлетворять такие исследования Кобозева, как общежизненное и общеприродное оптимальное соотношение (2:1) и для всякого поиска — соотношение векторной настойчивости и бронзированной пассивности? Как счастье выпадало, если таким исследованиям находились страницы в «Бюллетене испытателей природы» — на торной научной дороге никем не читаемом журнальчике, почему-то недодавленным с царских времён. К 1948 году, совершенно независимо от Винера, ничего не зная о его трудах, Кобозев в одиночку разработал, совсем в иной терминологии и методике, то, что за океаном стало кибернетикой, а через 8 лет пробилось и к нам. Кобозев был такой же непечатаемый автор, как я, — но не обидно мне с моими темами, а за что ж ему, естествоиспытателю? Постоянная глузость, немота, невозможность о своих открытиях сообщать печатно налагалась безнадёжным гнётom поверх его гнетущих болезней и гнетущего пленного состояния в комнате без воздуха, почти без дневного света, над улицей, грохочущей автомобилями от пяти утра до двух ночи.

И всё ж в последние годы он сумел написать блистательную работу «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления» (1971, издание МГУ) — по недосмотру напечатанную в СССР, по недосмотру не переведенную за границу. В этой книге он ещё раз переформулировал всю кибернетику в понятиях термодинамики и в этих изложениях дал термодинамическое обоснование бытия Бога.

Он сильно заинтересовался мною, прочтя самиздатского «Ивана Денисовича». Мою первую жену, свою бывшую аспирантку, попросил привести меня. С первого разговора мы друг ко другу испытали доверие, и с тех пор постепенно углублялись наши разговоры в те нечестные вечера, когда я приезжал к нему посидеть. Я стал давать ему читать ещё не открытые свои рукописи, он прилежный и обдумчивый был читатель. Само собой всплыло, как трудно этому всему обеспечить сохранность, — и он сам предложил устроить хранение, только не подручное, а глубокое. В этом больше всего я и нуждался. Далеко идущее совпадение наших взглядов давало возможность доверить ему решительно любую мою работу. Кобозев верно и твёрдо содержал с 1962 по 1969 год все основные экземпляры всех моих главных рукописей (не у себя, у сестры невестки по брату



своему, погибшему в тюрьме; её я в жизни видел единственный раз, и даже назвать не вспомню, а благодарен всегда. Приносил же и уносил, подросли, сын Алёша). Это хранение в то время было самое полнокомплектное — с недоконченным, начатками и набросками, чего я тоже никак не мог держать дома. Оно было как мощный камень подо всей моей деятельностью: уверенность, что всё моё сохранится, что б ни случилось со мной.

В 1969 всё это хранение я перевёл к Але.

Всякий вечер мой у Кобозева включал касания к самодвижениям его ума, не могущего никогда остановиться. Свежо и независимо взвешивал он проблемы. Пристрастие имел к Достоевскому, к Владимиру Соловьёву. Огромные, непривычные мысли подавал он мне, восполняя разрушенную традицию и мою невежественность. Очень остро воспринимал крушение русского духа в XX столетии. В религии он был — простой православный без мудростей. Любил допытываться от меня вперёд о ключевых идеях моего будущего исторического повествования. Я чаще уклонялся: романист не с идеями идёт к материалу, они получаются в процессе самой лепки. Он настаивал: ну а всё-таки, как же? Февральская революция — как? Свержение царя и сам принцип монархии? Заключала ли Февральская в себе неизбежно и Октябрьскую? И почему столь малые отступления в ту войну казались катастрофой, а столь великие в эту — выдержаны? Да, через Кобозева выдвигались ко мне и вопросы и области, которых я, по своей гонке, всё не успевал охватить. Много я мог бы почерпнуть у него бесценное, будь тогда не такое напряжение у меня. Мне, конечно, предстояло со временем на всё это ответить, но как чувствовал Николай Иванович, что уже не прочтёт, торопился обсудить.

Наши встречи всегда были вечерами: и не рано, и всегда я должен был торопиться к поздневечернему поезду, никогда не договорить.

Я приглашал его участвовать в «Из-под глыб»-ах. Он хотел писать. Но сил уже не нашлось.

Совсем отказывал его позвоночник. Через Ростроповича привлекали мы какого-то самобытного врача из Казахстана, но тщетно. И новейшие иностранные лекарства доставали, а вырвать из болезни не могли. Весь 1973 год Кобозев уже впадал в смерть, был в полубессознании.

Когда гебисты везли меня из Лефортова на Шереметьевский аэродром — как раз пришлось по 3-й Тверской-Ямской, под его окнами, и я вспомнил о нём в тот самый момент, скосился на его ворота, куда всегда входил в темноте, а то и через проходной двор, всегда надёжно проверяя, что — без хвоста, и часто с рукописями.

А через месяц — он умер.

### 3

## ВЕНИАМИН ЛЬВОВИЧ И СУСАННА ЛАЗАРЕВНА ТЕУШИ

Меж ними была большая разница лет, но сглаживалась к тому времени, как я их узнал (уже внук был у них, а сын преподавал математику в институте, как и оба родителя). Вениамин Львович, как он рассказывал теперь, бичуя себя, был в молодости яростным «беспартийным коммунистом», в 30-е годы, мол, считал бы за доблесть сообщить в ГПУ о чьей-либо враждебной деятельности (это не значит, что реально так поступил, но передавал этим настроение общее, комсознательное), — история повернулась так, что не все теперь способны даже вспомнить, даже сами поверить, не то чтобы мужество иметь назвать прежнее состояние, а он — называл. Сусанна же отцом своим, Лазарем Красносельским, была воспитана в напряжённом иудаизме (в раннесоветские годы вводила подруг из школы на еврейскую Пасху — но это окончилось мягким выговором). Однако позднее всё это замерло в ней, заглохло, подвластно тогдашней идеологии, и не было у неё разнобоя с мужем. Весь круг их был советски-благополучен, двоюродный брат Сусанны Лазаревны — крупный прокурор, сам Вениамин Львович — лауреат сталинской премии (по авиационной промышленности), профессор. Гроза над ними, как и многими, разразилась на рубеже 50-х годов: начались столичные противоеврейские притеснения. Вениамин Львович должен был на несколько лет уехать преподавать в Рязань, Сусанна сохраняла московскую прописку, но тоже жила в Рязани. Повернулась эпоха — повернулись и Теуши, оба вместе, и впереди многих: позорными стали считать свои прежние сочувствия коммунизму, и всё настойчивей заполняла им грудь и всё глубже устаивалась в них вера-любовь к Израилю. И в разных частных жизненных случаях, в психологических разнобоях супругов это общее страстное чувство прочно скрепляло их и вполне преодолевало ту опасную расщелину, которая наметилась, когда Вениамин Львович, в начале 60-х годов уйдя на пенсию,

увлѣкся антропософией, совсем как бы удаляющей человека от общей «нормальной» жизни, — а Сусанна оставалась до конца естественная жизнелюбивая мирянка.

В Рязани Теуши познакомились с семьёй Решетовских. Дружба их сохранилась и после возврата Теушей в Москву. В 1960 я впервые ощутил упадок от безвыходности своего литературного подполья: был как заживо закопан, редкие приезжающие в Рязань лагерные друзья — не оценщики того, что у меня написано, об «Иване Денисовиче» жена нашла, что «скучно, однообразно», а Лев Копелев сказал: «типичный соцреализм». Копелев был тогда для меня единственным выходом в литературный мир, но как в 1956 году он забраковал всё моё привезенное из ссылки, так теперь, побывавши в Рязани, отверг и всё дальнейшее, включая «Круг». Я-то уверен был, что это всё не так, но после 12 лет одинокой работы нуждался в проверке ещё на ком-то. Все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле как в чужеземном плену, родные мои были — только эзки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а всё остальное было — либо давящая власть, либо подавленная масса, либо советская интеллигенция, весь культурный круг, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению. Такого круга или прослойки, где меня могли бы читать и принимать, — я и не воображал. Но, конечно, могли быть счастливые находки, отдельные встречи. Жена предложила попытаться дать почитать знакомым её Теушам. В конце лета 1960 мы съездили на их подмосковную дачу.

Оказалась, действительно, незаурядная чета, очень интересные в беседе, муж — с необычными, острыми, весьма свободными суждениями, и не только политическими, но выходящими в область духовного. Жена — обаятельная, тонкая, вся в душевных переливах. Заметил я, правда, что он — нечёток, сам в поспешности перебивает свою мысль, но в беседе это даже мило бывает, и ещё какая-то примесь бытовой путаницы, — да что мне? ведь решалось только — дать ли почитать. Я — решился. И дал им «Щ-854» (более резкий вариант «Денисовича») — самое безобидное, что у меня тогда было. Однако шаг этот был для меня сотрясательный: я ещё никогда не приоткрывался человеку, которого бы знал так мало и не проверил сердцем. В моей замкнутой защищённой скорлупе проламывался — моею же волей! — как бы свищ, именно то отверстие, через которое свистит ветер, уносит прочь драгоценную тайну. Я приобретал двух читателей, а мог потерять, а мог потерять — труд всех лагерных, ссылных и уже «свободных» лет, и голову саму.

Результат от чтения был взрывной. Вениамин Львович от восторга потерял равновесие и покой. Он объявил рассказ не просто художественной удачей, но историческим явлением. И тут же проявил самовольное движение: даже не считая нужным спросить меня, поехал к своему приятелю доценту Каменомостскому, ныне покойному, и ещё к одному доценту, своему старшему антропософскому другу и наставнику Якову Абрамовичу (фамилии не помню, а жил — на улице Шухова), — делиться с ними, читать обоим. (В какое-то раннее время и сыну дал читать.) И все они пришли в восхищенье, а В. Л. повторял торжественно: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко!» Вслед за тем они с Каменомостским не удержались и вместе приехали в Рязань. Об Якове Абрамовиче мне сказано не было, а вот: прочёл Каменомостский. (И между другими похвалами: тронуты они мягкостью главного героя и автора — к Цезарю Марковичу. Каменомостский сказал странную для меня тогда фразу: что этою чертою повесть в его глазах «реабилитирует русский народ».) И теперь оба хотели прочесть — ещё что-нибудь? что есть у меня ещё?

А меня — как ударила эта неспрошенная утечка! Стеснилось сердце, как от большой беды, как от уже произошедшего провала. Да кто ж ему разрешил! — и так просто улыбается, как ничего не произошло: ведь все только радуются. О, как трудно выходить из подполья!.. Несколько дней я был под этим угнетением. Но исправить, уже было нельзя. Пришлось постепенно освоиться с этим проломом, расширением объёма знающих. Утечки действительно не произошло. Постепенно привык.

Утечки не произошло, а появились читатели — умные, искренние, обстоятельные. Рассказ мой сразу оценили как эпоху — для себя, для советской литературы и для страны. Автору, который про себя, одинёшенек, так, собственноручно, и думал, — как было не разомлеть? Создался маленький мирок, где одна за другой читались и обсуждались мои вещи. Жена Каменомостского оказалась бывшей артисткой Малого театра, кого-то позвала оттуда, у них на квартире я читал «Свечу на ветру», правда с малым успехом. Самое моё решение предложить «Денисовича» («Новый мир») созрело не только от толчка XXII съезда, но и от бурного успеха этого рассказа годом раньше среди узкого круга теушевских друзей. Этот микроуспех дал мне уверенность в том, как повесть будет принята

не ээками. (Других разделений, более дробных течений в образованном обществе я ещё не предполагал, не задумывался.)

Так и создался единственный тогда близкий мне в Москве кружок читателей. А когда через год я открылся в «Новом мире» и не стал уже безразличным ровным камешком в гальке, одним из миллионов бывших ээков, — я перевёз к Теушам (в проигрывателе) из Рязани своё второе (первое уже было у Кобозева) хранение — набор машинописей и фотоплёнок. (По каждой вещи была фотоплёнка собственного изготовления, готовая к отправке за границу под псевдонимом Степан Хлынов и с подправкой слишком автобиографических мест, по которым могли бы меня раскопать. Однако распахнулась дружба с «Новым миром» и перенаправила все мои планы.)

Стало это всё храниться у Теуша, естественно было и разрешить ему всё подряд читать. Восторг, сходный с «Иваном Денисовичем», вызвали у него «Знают истину танки». По «Пленникам» делал он мне представления и наставления, что из отрицания большевизма ни в коем случае нельзя сочувствовать Белому движению в Гражданской войне: в войне, мол, народ стихийно и единодушно участвовал за красных и не случайно 19-летние мальчишки выдвигались на командиров полков. (Так же считал он колхозное право на землю — решительным достижением в землепользовании. Огромные надежды связывал с югославским вариантом социализма. Это всё оставался в нём залегать груз понятий прожитой жизни.)

Вениамин Львович, недавно перешедший на пенсию, телом побаливал, но интеллектуально был полон сил (известное советское: с пенсии либо умирают, если уже обратились в автоматы работы, или расцветают, если сохранили людское). Главное направление его было отныне — антропософия, он читал книгу за книгой Рудольфа Штейнера, составлял конспекты его и других антропософских рукописей (и очень серьёзно пытался втянуть меня, но меня не повлекло). Антропософия давала ему и высокий общий обзор и допускала частные применения — и вот он, сроду не касавшись литературоведения и глубин русского языка, занялся изучением языка «Ивана Денисовича» — и свежо, чутко к звучанию слов и многослойному значению их. Эту работу он пустил в самиздат, её охотно читали. Сам же он почти сразу приступил ко второй статье: «Солженицын и духовная миссия писателя». В ней он взглядывал на сталинскую эпоху в общей духовной картине мира. Только что не называя антропософию прямо («новорождённая духовная наука», «указания из духовной науки»), он чуть приоткрывал себя, излагая её существенные взгляды. Правда, был политически осторожен, ни разу не употребил слов «социализм, ленинизм, коммунизм, советская власть». (Впрочем, это, пожалуй, и не осторожность была, а остатки его прежних ортодоксальных убеждений, ибо у него тут же искренно присутствуют: губительность мелкой собственности в сельском хозяйстве, «исторические преступления Церкви», «царские, белогвардейские палачи, культ вождей революции, «из сказанного вовсе не следует, что всё дело революции было ложным или порочным с самого начала... Революция произошла и, следовательно, была необходимым актом истории, деянием высоких духовных сил...») Защищая мой рассказ от официальных уже тогда нападок, Теуш, правда, находил в Шухове «слабое развитие мышления и личной нравственной свободы», а Тюрина миновал недоброжелательно. Но прочтя к этому времени уже много моего, чего не читал никто, и держа его перед глазами, В. Л. не мог удержаться не намекнуть, что в годы подпольного писательства мною написаны, «возможно, и другие, неизвестные ещё нам» вещи; и уже прямо цитировал в статье куски из моей лагерной поэмы, не напечатанной и по сегодня, никем больше не читанной, и многие цитаты из полученных мною читательских писем, они составили заметную долю статьи и тем более наведутся на глаза ГБ: автор несомненно очень близок к Солженицыну. Однако эти статьи, это направление работы составили теперь для Теуша интерес его жизни — и с каким сердцем надо было запретить? Но и с каким безумием мог я после этого оставлять у него хранение?.. Такого промаха мне нельзя простить. Для хранителя тайных рукописей ампула публичного их рецензента уж никак не подходит. Добро бы — статья написана и лежит тайно. Но имея что-либо духовно-важное, В. Л. не мог устывать против жгучего желания с кем-то поделиться. И эту вторую статью В. Л. стал давать читать — пока, кажется, только «избранным». Но неудержимо-стихийно — она всё равно поплыла, только что — под псевдонимом «Благов».

Бывая в Москве, я теперь всякий раз, и с тяжёлыми сумками продуктов, делаю дальний крюк на Мытную к Теушам, где не надо было скрывать, притворяться, а так тепло сердцу, и можно полностью открыто рассказывать о своих событиях и советоваться. Привязался я к ним. Слушатели они были превосходные, особенно Сусанна Лазаревна с её талантом сочувствия и понима-

ния, она была из тех женщин, какой одной довольно присутствовать в компании, чтобы хотелось рассказывать. Так они и стали первыми, кому я разгружал свою душу в Москве, первыми, кому рассказывал все мои перипетии с «Новым миром» и другие. На Теушей как бы переходила традиция моей ссыльной дружбы с Зубовыми, захлёбных разговоров с теми. Настолько Теуши стали нам близки, что в 1964, когда кололась наша с женой семейная жизнь, — Теуши были доверенными и моей жены и моими, посредниками и примирителями. (Тогда — трещина склеилась на ещё шесть мучительных лет.)

Но тесноту наших отношений В. Л. понимал и как значительную свободу в распоряжении моими ненапечатанными рукописями — давать их читать по кругу родства и близости, в том числе и своему молодому другу и последователю в антропософии Илье Зильбербергу, о чём я тоже не знал, повторился тот же приём, что и с Каменомостским в начале нашего знакомства. В июне 1964 Вениамин Львович, не предупредив меня, не спросив моего согласия, назначил супругам Зильбербергам приехать знакомиться со мной на квартиру Штейнов, где мы с В. Л. должны были встретиться, — и представил их как своих родственников.

Все те годы — хранения моих рукописей у Теушей и моих подробных рассказов им обо всех делах (изображал я в лицах и свой разговор с Дёмичевым и над ним смеялся, думаю — как раз отсюда и пошла Дёмичеву в ЦК магнитная плёнка моего рассказа), — Теуши жили в одной комнате коммунальной квартиры, а за тонкой стеной — какое-то отставное мурло из МВД; уверяли они, что он — полный дурак и взрослая дочь его такая же; вполне возможно, так и было, но всё-таки же МВД! меня-то, ээка, как оставило напряжение? и так начисто! Правда, на микрофонное подслушивание ещё никто тогда не был настроен в Москве, ещё не было этого понятия «потолки», не опасался никто серьезно. Но — простой взлом замка и обыск в отсутствие хозяев! — сам не догадается мурло — так надумят Органы, когда слежка приведёт к этой квартире. Сейчас удивляюсь: до чего же именно с Теушами я потерял своё обычное чувство осторожности, как мог там держать своё сокровище — и дольше трёх лет! И при таком их сомнительном и тесном жилье — да, нагрузил я их нелегко.

Неосторожен был В. Л. и в телефонных разговорах (как, впрочем, и многие мы, пока все ясно не почували опасность) — да даже на курорте Друскеники совсем посторонним людям, случайным знакомым, он рассказывал о дружбе со мной — и что-нибудь же об ещё не напечатанных вещах? Какой-то экземпляр его второй статьи к этому времени не только бесконтрольно ушёл — но определённо лежал в ЦК (или в ЧК).

Узнав об этом — В. Л. мне сказал тогда же, и я воспринял как сигнал крайней опасности — и в начале июня 1965 забрал от Теуша своё хранение, успел благополучно оттащить проигрыватель к новым друзьям Аничковым (очерк 6). Итак, в очередном переходе по канату, в окружении всех глаз и ушей КГБ — всё кончилось благополучно? — бы кончилось для моих вещей благополучно, если бы при увозе хранения мы бы проверили полки в шкафу В. Л.: не оставлено ли что по недосмотру? Или если В. Л. строго бы выполнял наше с ним условие: мои рукописи, то и дело вынимаемые им из проигрывателя для перечитывания и рецензирования, брать не более как по одной, а использовав — непременно класть назад. Тут и подвела бытовая нечёткость В. Л.: он набрал уже, оказывается, чуть не с десяток моих рукописей, вынул из проигрывателя, ничего не клал назад — и вообще забыл о них. Я унёс проигрыватель, а они остались — криминальнейший «Пир победителей», такие же лагерные стихи, «Республика труда», невозможные черновики и другое!

Но и это ещё можно было бы исправить: через несколько дней, собираясь в летнюю поездку, В. Л. обнаружил мои опасные работы. Ещё он мог вызвать меня из Рязани телеграммой. Всё можно было бы исправить, если бы у В. Л. было ясное сознание реальности и понимание всей опасности моего положения. Но, совсем небережно, даже небрежно, он позасовал все мои тайны в пакетик — и, без права на то, без ведома моего, отдал их переждать лето у Зильберберга, с которым связь Теуша была настолько открыта, что с равным успехом можно было хоть и в своей квартире оставить. (По перечню отобранных материалов видно, что помимо того пакета был там и самовольно выписанный В. Л. абзац из «Архипелага!» за 10 лет до его публикации!)

Да что там! Настолько это казалось ему незначительно, что когда в конце лета я был у них и потом, затменно закружась, привёз им же, беднягам, чемодан «Круга первого» из «Нового мира», — В. Л. даже не вспомнил, не сказал мне, что обнаружил эти пьесы и передал их Зильбербергу!

А Зильберберг был в отпуске дольше, чем Теуши, — и гебисты ждали его возврата. Он вернулся — и тут же, вечером 11 сентября, они пришли и к Теушам и к Зильбербергу.

Захват гебистами «Пира» и лагерных стихов нанёс мне самый страшный удар за все теперь уже 25 лет моей литературной конспирации. Были разорваны, истоптаны 18-летние непрерываемые усилия. Но самое разгромное: в какой момент это меня постигло! *Весь* будущий «Архипелаг» был у меня на руках, ещё только начатый, и все двести с лишком свидетельств бывших эзков, ещё не нашедшие себе места, — и всё это теперь гинет? и не будет оглашено уже никогда никем? и никогда эти загробные голоса не прозвучат??

Тотчас пришлось мне сжигать и хранение, оставшееся в Рязани, а там было и невозполнимое, навсегда теперь утерянное.

Так горько и провально мне стало: по небрежности, по неряшливости В. Л. разорвал многотерпеливую нить, которую я плёл из камерных сумерок, через воронки, пересылки, каторгу, ссылку, тайное сидение в Торфопродукте и Рязани, — разорвал и даже не понял, что сделал, — и предполагал тотчас дальнейшую со мною оживлённую деятельность.

А ГБ изображало так, что искало только «Благова», автора той статьи. Теперь вызывали на допрос и Теуша, и Зильберберга. Первые вызовы на Лубянку не бывают легки, конечно это было сотрясение для них. Но та статья никак не тянула на *срок*. А перетягивать шкурку на меня — ещё почему-то не решался Дракон. Ошибся. И моего «Пира» — ГБ как не заметило. Пока. (Через несколько месяцев пустили в ход.) А следствие по статье Благова вскоре кончилось прекращением, дело их закрыли.

Но собственные промахи разрывали меня: как же я мог не спасти дела твёрдо, раньше! Мне стало трудно видеться с В. Л. Я отстранился от Теушей надолго.

Надо было пройти годам, и залечиться ране, исправиться самому делу — не погибнуть, а даже, наоборот, перейти в победу, — чтобы горечь эта отступила, и стало возможным видеться вновь.

С 1970 мы стали встречаться с Теушами снова, хотя без прежнего оживления. Они постарели, болели, вызывали сострадание. Тем не менее Сусанна Лазаревна великодушно не отказалась попытаться помочь и смягчить моей жене в нашем окончательном семейном разрыве, нашла для этого силы сердца. У Вениамина Львовича всё больше было сбоев и забытий. Он спешил кончить свою многолетнюю работу об исторических судьбах еврейства, высокую по взгляду, со многими важными мыслями. Я прочёл её с интересом и с пользой. Не имея каналов, В. Л. просил меня сделать плёнку и отправить её Зильбербергу, к этому времени эмигрировавшему на Запад, — с завещанием: «напечатать без всяких изменений, исправлений, сокращений». Я сделал и послал. Но что-то не было отзыва, подумали — плёнка не дошла (на самом деле дошла), в 1972 я изготовил второй экземпляр её. Отправил. Но Зильберберг не спешит и до сих пор.\*

Отношения наши с Теушами последние годы были хорошие, хотя прежняя дружба уже не восстанавливалась.

В мае 1973 Вениамин Львович скончался.

\* В 1976 Зильберберг издал в Лондоне очень удивившую меня книгу с парткомовским названием «Необходимый разговор с Солженицыным». Он упрекает меня, что я *знал* о хранении у него моего архива: дескать, в единственную нашу с ним встречу «В. Л. начал что-то тихо говорить вам и я услышал, как он сказал «у него», указывая на меня рукой, вы кивнули». Всё это — более поздняя конструкция самого Зильберберга: он по забывчивости (не хотелось бы думать, что сознательно) переносит встречу с 23 июня 1964 (чётко помню, потому что — накануне нашего выезда в Эстонию на летнюю там работу) — на июнь 1965. Вторая тут его ошибка: в 1965 ему передан был не «архив» мой, нормально хранимый и вот с правом передаваемый, а случайные осколки его, которые Теуш забыл мне вернуть и только потому теперь сунул Зильбербергу. А на этих двух ошибках Зильберберг строит многие из своих обвинений, особенно нравственные, к которым легко склонен. Центральным событием он считает следствие по делу статьи «Благова» (впрочем — «обращение с нами не напоминало сталинских следователей», «ни один из них не вызвал острой неприязни», а стало быть поражён, что я не «примчался» к ним тотчас на совещание, «что и как будем делать дальше». Впрочем, Зильберберг тогда «не старался и не мог докопаться до истинной цели обыска». (По непонятной причине Зильберберг скрыл в публикуемом протоколе обыска фамилии гебистов, жаль.) Но о чём я узнал только теперь из книги Зильберберга: о подозрительных визитах к Теушу ранее того, в начале 1965, подосланных лиц, то за «уроками математики», то за «техническим переводом»; и даже о прямом многочасовом магнитофонном подслушивании откровенного разговора Теуша и Зильберберга во дворе — никогда В. Л. меня об этом не предупредил и сам не стал аккуратней. Ошибается Зильберберг и что я на Секретариате СП в 1967 будто первый публично назвал Теуша: потому я и назвал, что его до этого уже многократно прополаскивали лекторы с трибун, и моё публичное соединение наших имён укрепило его положение. Но книга далеко выходит за пределы этих ошибок, тут разворачивается филиппика против меня.

Заняв в мою сторону учительную позу, после 15-минутного навязанного мне знакомства с ним даёт 150 страниц воспоминаний и разъяснений, со ссылкой на близких им неназванных «знакомых», третьих и четвёртых лиц, которые все кому-то что-то «говорили», — Зильберберг с непрерывной бестактностью поучает сверху вниз, самоуверенно читает мне многие нравственные нотации (как все мелкодушные оппоненты, не упуская ткнуть во мною же произнесенные публично раскаяния и откровенности), да даже вот что: он хочет оказать мне духовную помощь

## ЭСТОНЦЫ

В «Иване Денисовиче» я через своего героя выразил, что не знал среди эстонцев худых людей. Выражение, конечно, усиленное, кто-то же из своих помогал вгонять Эстонию в коммунизм и в нём держит, кто-то и в раннем ЧК был, да были и такие эстонцы, кто помогли поражению белых под Ливнами в 1919, чего туда совались? — но тем не менее таково моё лагерное чувство: что ни видал я эстонцев — всё порядочные, честные, смиренные. (Имей Юденич в 1919 смелость сказать им: «вы — независимы!» — они б ему, может, и Петроград освободили?) Чувство родилось из общей нашей вины перед ними, из огляда этих сотен-сотен незнакомых мне, с незнакомым языком, а близкий лишь один стоял светлой точкой во главе этого ряда — лубянский сокамерник мой Арнгольд Сузи, с тех пор не виданный, казалось навсегда потерянный (только слух до меня дошёл, что он — инвалид в Спасском отделении Степлага). Потом в Экибастузе промелькнул героический и картинный Георг Тэнно, но он был эстонцем петербургский, вполне обрусенный, советский морской офицер. (Об обоих — много в «Архипелаге».)

Когда напечатался в «Новом мире» «Иван Денисович» и я чучелом сидел в гостинице «Москва», в бывшем Охотном ряду, Тэнно же из первых внезапно позвонил и приехал ко мне. В лагере мы не были близко знакомы, а тут, проверенные всем прошедшим, сразу сдружились. Сам атлет и гимнаст, он занимался теперь популяризацией «культуризма» (неуклюжее слово для развития человеческого тела), преподавал, лекции читал. Но и в этом он был прежний: если нельзя освободиться от наших оков, так по крайней мере готовишь своё тело для будущего рывка. Все близкие друзья его были — только бывшие эзки (это он познакомил меня с Александром Долганом, для которого сам был образцом лагерного и жизненного поведения). И жена его, Наташа Тэнно, ингерманландка из Петербурга, когда-то льноволосая, хрупкая, тоже была теперь испытанная эзка, *оттянувшая*, как и муж, *десятку*, и с той же философией, что все мы: *вечное* — это лагерь, тюрьма, борьба, коммунисты-палачи, а жизнь на воле — какой-то странный временной курьёз. (О супругах Тэнно на воле я написал в «Архипелаге», что у них ни на какую мебель сесть нельзя, шатается: «живём от зоны до зоны».) Так сразу сошлись мы духом, не надо никого ни в чём убеждать, и все готовы стать рядом при первой опасности.

Из наводнения писем после «Денисовича» однажды выловил я и драгоценное письмо Арнгольда Сузи: вся семья его побывала в сибирской ссылке, лишь вот недавно разрешили им вернуться, и то без городской прописки, где-то на хуторе под Тарту жили они, и жена умирала от рака.

Летом 1963 года мы и увиделись в Тарту — чудесном университетском средневековом городке, с немалым числом латинских надписей, с горой-парком посередине. Так же строг и отчётлив был взгляд Арнгольда Юхановича, как когда-то на Лубянке, через такие же строгие роговые очки, но заметно подался он телесной крепостью, да добавилось седины на голове, и усы седые. Жена его уже умерла, сам он приехал на встречу с хутора, сын его Арно перебивался в Тарту, не имея квартиры, а дочь Хели приехала из Таллина, по недосмотру властей как-то прописали её там. Об этих детях, — теперь Арно уже женат, а Хели

достичь внутренней гармонии. Меня, безнадежно испорченного ГУЛагом эзка (позиция также и В. Лакшина), он поучает законам нравственного поведения в нормальном (советском) обществе: я против советской власти применял «низшие» методы, а надо было применять «высшие»; я «в литературно-общественную жизнь вступил с внутренней ложью» (против КПСС) — и она «ржавыми пятнами проступает в очерках (моей) жизни и во многих (моих) общественных выступлениях, проникла и в (мои) художественные произведения». (А уж в моих общественных выступлениях — «абберация видения, так свойственная мне».) Моё поведение в единоборстве с Властью — это «поступки советского человека»: как мог я унизиться предьявлять справку о реабилитации (когда меня объявили гестаповцем)? То — зачем я признал себя автором «Пира» (а затем, что он слишком автобиографичен, не отпрёшься), «возня вокруг „Пира“». «Телёнка» он уже прочёл, заметил наконец, какая пылающая рана для меня был тот провал 1965 года, какое всежизненное поражение с замыслом недописанного «Архипелага» и истории 1917 года, — нет, почему я не разрабатывал с ними тактику следствия по статье Теуша. Если Зильберберг настолько не понял ни величины моего тогдашнего груза, ни размеров задачи, — что ж было ему отвечать? Каждого поэта, и не один раз в жизни, должно достичь ослиное копыто. Правильно, что я не ответил тогда же: ответ ему понятен только здесь, в контексте всех «Невидимок».

А лучше бы он объяснил, почему ж не опубликовал, затаил, заморозил полученную им работу Теуша, дружб с которым он рассматривал «как величайший дар судьбы», «изливалось на меня в виде некоей благодати», «родство душ», со смертью В. Л. «для меня начинается новый этап жизни — без В. Л.», — но вынесе приговор, что книга учителя не должна увидеть света? (Примеч. 1986)

с маленьким сыном, — я слышал когда-то рассказ в лубянской камере, только старшего брата, Хейно, не хватало: отступил с немцами, а сейчас уже жил в Штатах. И рассеянная непристроенная семья Сузи ещё была из счастливых: иным однодельцам его по бездействию их «делу» создать независимую Эстонию — до сих пор, через 20 лет, не разрешали вернуться на родину; да многие сосланные семьи оставались ещё в Сибири. И в этот народ, в эту маленькую страну как искру бросили перевод «Денисовича» — первый в СССР перевод, изданный дешевлешим массовым изданием, помнится такой расчёт: одна книга на 4—5 семей, несравненно гуще, чем по-русски. Её прочли в Эстонии почти все — и окружала меня теперь тут родная атмосфера, сплошная дружественность, какой я никогда не встречал в советском мире, — да слабостью советского духа Эстония и была тогда роднее всего. (В русской части Союза тому духу еще предстоит выветриваться, выветриваться.) И я почувствовал, что легко и навсегда уехать отсюда не могу.

И уже на следующее лето, в 1964, приобрета «москвича» и набив его до отказу, мы с женой приехали в Эстонию для летней работы. Сошлось так, что новая моя деятельная помощница — Е. Д. Воронянская из Ленинграда, каждое лето проводила тоже в Эстонии, и уже снято у неё было место на хуторе под Выру, в чудесных озёрных местах. Там и проработали мы в три пары рук: на хуторе женщины печатали попеременно вариант «Круга»-87, урезанный во многих мелких чёрточках; а я жил на сосновой горке поодаль — для работы был врыт стол, для проходки проторилась тропа, от дождя поставлена палатка, а безмолвными перелесками можно пройти к загадочному озеру. Это было первое в моей жизни лето — не дёрганое, не отпускное, не в поспешных разбегах, а — всё распахнутое для работы. И связалось оно с Эстонией, ещё больше я её полюбил. Я готовил текст «Круга», а ещё — раскладывал, растасовывал по кускам и прежний мой малый «Архипелаг», и новые лагерные материалы, показания свидетелей. И здесь, на холмике под Выру, родилась окончательная конструкция большого «Архипелага» и сложился новый для меня метод обработки в стройность хаотически пришедших материалов.

Так хорошо было душе в Эстонии, что мысль искала дальше: где б тут устроить глубоко-тайное место, не съёмное, но у *своих, на всякий случай*. Разум осторожный и сердце-вещун толкало: надо готовить Укрывище. Служащий человек в Советском Союзе не может уехать ни в какое тайное место — но я-то теперь, писательским билетом освобождённый от школы, могу! И мы поехали навещать друзей, одновременно посмотреть места.

Тот хутор, Хаава, под Тарту, где жили Сузи после ссылки, принадлежал вдове учёного биолога Марте Мартыновне Порт. Женщина эта, широкоплечая, с широким твёрдым лицом, была замечательна твёрдостью и верностью характера. Деятельность покойного мужа её была лояльна, аполитична, такими же росли и преуспевающие сыновья (один — главный архитектор Таллина), — их семья была вполне обласкана при Советах, и материнским чувством и личным самосохранением проще было бы Марте Порт не поддерживать нелегальных. Но она — приютила опальную семью Сузи, приючала других эстонцев, разорённых ссылкой, а теперь без колебаний сразу же предложила мне: приезжать тайно в Хааву и сколько угодно работать здесь. Очень тут было хорошо, четыре высоких просторных комнаты с огромными окнами, старинными печами, запасом дров, представлялось, как это зимой уютно... А летом — и речушка рядом, и лесок небольшой. Я благодарил, а всё — в запас, и готова — и сам не веря, не предполагая, как скоро это понадобится.

Затем поехали мы в Пярну, там Тэнно с женой гостили у Лембита Аасало — тоже бывшего зэка, молодого друга Тэнно по сибирскому штрафному лагерю Андзюба уже послесталинского времени, куда стягивали самых *неисправимых*. Лембит получил имя в честь героя эстонского эпоса — и, думаю, он оправдывает его. В тот год ему, пожалуй, ещё и 30 лет не было, но он поразил сочетанием лагерной выучки, твёрдого самообладания с отличным пониманием политики, любовью к Эстонии, напором к восстановлению её истории, её натуральной жизни, и выдающейся работоспособностью. Он был почвовед, близок к диплому, после него начинал исторический курс в Тартуском университете, не прекращал работы для заработка; и со всем тем, живя в городе, своими силами поддерживал хозяйство наследного хутора в Раэ, за 80 километров от города: болело его сердце, что умирает хуторская Эстония и молодёжь уходит в города. И во время, «свободное» от всего того, — собирал библиотеку, читал ночами. Наглядно давался ему идеал интеллигента, работающего на земле, он был и телом крепок, и умён, и развит, — и всему тому лучшую закалку дали в лагере, когда схватили его юнцом. Я уверен был, что это будет один из выдающихся граждан будущей свободной Эстонии. Лишь бы, храни его Боже, не пригляделись бы к нему

советские власти прежде времени. Дороги на его хутор я жене не показал: не нагружать никого лишнего, кому чего знать не надо, при поездке туда поставил условие ей лежать на заднем сидении и дороги не смотреть. В то же лето Лембит приехал к нам под Выру, сидел за ужином с Воронянской, я и тут представил его под ложным именем.

В то запасной, ещё глубже и скрытней, убежище другой раз повёз я и стол с раскладушкой, да съездили не без приключений. Лембит с женою Эви и с печником-эстонцем должны были ехать на хутор печку перекладывать. Поехали в моей машине, и Тэнно с нами. Весело гнали по шоссе, свернули на слякотную дорогу близ хутора, я не умерил скорости, машина стала вилить, я по непривычке опоздал снять ногу с газа — и понесло машину с обрыва в озерко, и хлопнувшись б нам на дно, — да попался под брюхо машины пень срубленного дерева, однако оброшенный молодыми тугими порослями, — достаточно, чтоб машину взвесить в объятиях, недостаточно, чтобы совсем перекорёжить ей тягу. Слава Богу, целы! Вытянули нас трактором, надо чинить. На станции обслуживания долговязый эстонец, не по-эстонски небрежно, опустил на наши с Тэнно головы многопудовую металлическую раму эстакады — Георгию чуть плеча не раздробил, а мне добавил шрам на переносицу. Но уж полобил эстонцев — нельзя и на этого обижаться.

В ту осень свергли Хрущёва, и положение моё обострилось. Ранней весной 1965 мы опять поехали в Эстонию, на хутор Марты, прожили там дней десяток, я прилаживался к месту, — хорошо. И здесь напечатал последнюю редакцию «Танков», и здесь же на всякий случай оставил свою любимую пишущую машинку «Рену» — Рейнметалл. (На ней напечатал несколько раз все свои тайные книги сам, плотнее, чем один интервал, при каждой строчке выключая сцепление, сближая от руки на долю интервала. И сегодня она дослуживает у меня свою старость в изгнании.)

И так прочно создался этот эстонский тыл, что когда 13 сентября 1965 грянула гроза надо мной, узнал я о провале архива у Теуша, а сидел в это время на всех заготовках и рукописях «Архипелага», всё в клочках и фрагментах, написана только «Каторга», — то и мысли не было другой, куда спастись своё сокровище, куда поеду я его дорабатывать, если уцелею, — конечно в Эстонию. Я сидел в Рождестве открыто, ожидая ареста или обыска с часу на час, а в Москве на Большой Пироговке вечером, в тёмное время, по согласованному расписанию, встретились в парадном впервые, незнакомые, Тэнно и Надя Левитская, вошли в лифт, и там, в закрытости, она передала ему всё то, что было тогда «Архипелаг». (Если б это погубило, думаю — ни за что б я его не написал, не нашёл бы терпения и умения восстанавливать. Потеря такого рода — разрушительна и жгёт. Но за все годы изнурительной борьбы и конспирации — оберёг меня Бог от потерь крупных, целых лет работы.) Это была передача уже из третьих рук в четвёртые, к Наде отвезла жена, — и Тэнно, чистый, без «хвоста», на другой день ехал в Эстонию, и через день всё было спрятано у Лембита на хуторе. А через Хели (успел я их сознать) Георгий предупредил, что этой зимой я может быть приеду к Марте. И всё было чётко подготовлено и ждало меня.

Прожил я чёрную осень 1965, не арестовали. Вечером 2 декабря, перейдя из «Нового мира» на городскую квартиру Чуковских, я сбрил бороду и с двумя чемоданами спустился в такси, подогнанное Люшей. (Их двор был сильно просматриваем, вероятно уже тогда существовал и оперативный центр ГБ против их парадного, под видом агитпункта, и не помогла бы мне сбривка бороды? — да значит, не следили вплотную. В ту осень нерешительность ГБ непонятна мне посегодняя, разъяснится когда-нибудь.) В таллинском поезде среди эстонцев я старался молчать, с кондуктором употреблял простейшие эстонские выражения. Ещё в лагере говорили мне эстонцы, что я похож на их тип, и в моих поездках по Эстонии замечал я тоже, пригодилось.

В любимый Тарту я приехал в снежно-инеистое утро, когда особенно была изукрашена его университетская старина и особенно казался город — полнотой заграницею, Европою, ещё потому, что все здесь избегали русской речи и я, с малым самодельным разговорником в руках, никому не навязывал её. Меня, конечно, отличали по акценту, но так необычен русский человек, кто силится знать эстонский, его всегда встречают тепло. В этот день, оставив чемоданы у Арно Сузи, я много ходил по городу, закупая и закупая себе продуктов, недели на четыре, и посетило меня впервые в жизни ощущение безопасной эмиграции: будто совсем я уехал из СССР, из-под треклятой облавы ГБ. Это успокаивающее чувство облегчило начало моей работы.

Молодые-то Сузи удивлялись моему чувству. Они-то знали, что всё здесь просвечено, и такие же стукачи, и даже, особенно заметный среди эстонцев, я мог бы привести слежку за собою в квартиру Арно (слава Богу — не следили, не узнали) — однако он не колебался в гостеприимстве и помощи. Не так-то он



был уж и молод — за 35, и уже лысел. Он уже перенёс лет семь тяжелейшей сибирской ссылки, где на нём была бабушка, мать и сестра, потом унижения и ограничения политического неблагонадежного: трудности образования, прописки, выбора работы, вся жизнь его только и была — выбарахтывание из-под гнёта, польсеешь. Он имел незаурядные способности к экономическим наукам, анализу, мог быть учёным, как наименьшее — бизнесменом и организатором, — а счастливым был стать заместителем какого-то начальника в дурацкой стройконторе на грубой работе — за то, что ему дали квартиру в прозвученном, холодном, плохо построенном многоэтажном доме, три комнатки, из них одна просто конурка. Там жило их четверо (дочь, уже трёхлетняя, и из сочувствия воспитываемая деревенская чужая девочка лет десяти), да ещё и Арнгольд Юханович, чередуясь по месяцу — у дочери в Таллине (где задерживаться не разрешил ему паспортный режим) и у сына в Тарту. И в эти две зимы ещё и я — в приезды, в отъезды, в наезды за продуктами, втискивался сюда же, иногда ночевал. Всегда торопился я, всегда закручен работой был Арно — поговорить-то приходилось редко и мало, — а очень пронизательно он рассуждал о западном обществе. (Годами позже купил он просторный хутор, бросаемый как все хутора, и вот уж был счастлив!)

На тёмном рассвете следующего дня Арно отвёз меня на такси до Хаавы, он разговаривал с шофёром, я сидел не раскрывши рта. Так началось моё Укывище, где я проработал две зимы кряду, 1965-66 и 1966-67, действительно скрытый начисто от ГБ и от слухов. Марта Порт сыновьям своим ни в те годы, ни позже не проговаривалась, что я жил на ее хуторе.

Обе зимы так сходны были по быту, что иные подробности смешиваются в моей памяти. Первую зиму я пробыл здесь 65 дней, вторую — 81. И за эти два периода стопка заготовок и первых глав «Архипелага» обратилась в готовую машинопись, 70 авторских листов (без 6-й части). Так, как эти 146 дней в Укывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойком пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей. Я ничего не читал, изредка листик из далевского блокнота на ночь, и сладчайшей росинкою было каждое это словцо. Западное радио: слушал я только одновременно с едою, хозяйством, топкой печи. В семь вечера я уже смаривался, сваливался спать. Во втором часу ночи просыпался, вполне обновлённый, вскакивал и при ярких лампах начинал работу. К позднему утреннему рассвету в десятом часу у меня уже обычно бывал выполнен объём работы полного дня, и я тут же начинал второй объём — и управлялся с ним к 6-часовому обеду. Во вторую зиму я сильно простудился, меня ломило и трясло, а снаружи был тридцатиградусный мороз. Я всё же колол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи вместо горчичников, часть — лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу («Зэки как нация»). Вторую зиму я в основном уже только печатал, да со многими мелкими переделками, — и успевал по авторскому листу в день! Такой рыв и такой успех могли совершиться лишь при нестеснённой безбоязненной душе — нигде в Союзе, где ждал бы я, что придут и накроют мою работу. Здесь первые недели первой зимы была тоже ещё сжатая душа, еще не опомнился я от провала архива (и три молитвы сложились тогда из тяжкого моего состояния, я их записал). Связи с внешним миром я себе не оставил никакой, что делалось там, может быть, уже громят мой дом, — о том я не знал, а радио тогда не сообщало так быстро и подробно о гонениях в СССР. Но то всё, во внешнем мире, и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом на отшибе мира, и единственная и последняя жизненная цель была — чтоб из этого соединения родился «Архипелаг», хотя б на том и умер я сам. Хели Сузи, иногда посещавшая меня в то время, сказала, что такое впечатление, будто я никому и ничему в этом мире уже не принадлежу, а отделяюсь и иду, неизвестно куда, совсем один. Как раз после этих слов мне понадобилось совершить через всю Эстонию поездку к Лембиту в Пярну — какую-то часть рукописей отдать, а какую-то взять, для надёжности я не держал всего при себе. Эта поездка была — ночным автобусом, несколько часов, почти без остановок, и не зажигался внутренний свет в автобусе, пассажиры все дремали в откидных креслах, никто не разговаривал, никакого радио, автобус нёсся чёрный, как бы пустой, среди пустого ночного пространства, только рычал и фарами вырывал пятна белого снега перед собою. Впечатление и было такое, как увидела Хели: пустой автобус («через Неву, через Нил, через Сену») нёс меня сразу через весь мир, одинокого сквозь черноту, или уносил вовсе из мира, я был ко всему готов, лишь бы успеть кончить «Архипелаг», а воротясь во внешний мир принять хотя б и казнь. Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости.

На самом деле — где ж один, когда такие верные мне помогли, меня охраняли?..

Хели вышла замуж в ссылке за сверстника, эстонца. По возвращении он стал известным художником. Её покинул. Сын Юхан остался при ней. Её выручало прекрасное знание немецкого, она преподавала его в таллинской консерватории, жила за городом в продуваемом ветхом доме у родственников, на второй этаж вода таскалась ведрами со двора, и так же относились помои, печь топилась дровами, — жилось ей очень трудно, но согревало её, что сын рос, как можно только мечтать: трудолюбивый, послушный, серьёзный, в школе отличник, рано захваченный национальной и политической идеей, всё время готовый помогать. (Я чуть подтолкнул его в 14 лет к фотокопированию — он тут же помогал мне изготавливать плёнку «Архипелага», а скоро всё делал сам.) И три хелины подружки — Элло, Эрика и Руть — вместе с нею взялись хранить мои черновики, машинописные отпечатки, материалы, — всё вместе это составило изрядное самостоятельное хранение, которое где-то существует и по сегодня. Отдельно важнейшие вещи хранил Лембит. Во вторую зиму он стал учиться заочно в Тартуском университете; когда приехал на зимнюю сессию — мы встретились в городе в условленном месте, у него в сумке были недостающие части «Архипелага», я повёл его ознакомиться с Сузи-старшим и младшим, и какая же радость и дружелюбность охватывала душу, как мягкое пламя! Арнгольд Юханович обе зимы кончал свои мемуары по-эстонски: жизнь таллинской интеллектуальной верхушки перед Второй мировой войной, в войну — между советским и немецким молотами, слабая попытка создать эстонское правительство в конце 1944, — и лагеря, лагеря. Кое-что из своих лагерных воспоминаний он передавал и мне в «Архипелага», по моему вопроснику, где мне материала не доставало, а больше всего помог со страшной главой «Малолетки». Арно и Хели наперебой рассказывали мне о своей сибирской ссылке. Отец и дочь успевали отдельные главы прочесть из-под моей руки. У Хели было развитое чувство искусства, и она делала мне иногда важные замечания. Одно Рождество я встретил вместе со всею их семьёй (у эстонцев только свои собираются к ёлке).

Моя первая зима в Укрявище оборвалась прежде моих намерений, болезненно: недельку мне ещё оставалось там добыть (а неделя, когда разгонишься, это очень много, в другой присест и за месяц того не одолеешь), как смотрю — по глубокому снегу в полуботинках (глубже обуви не было у него, городская жизнь) бредёт бедный 70-летний Арнгольд Юханович ко мне. Телеграмма на их тартуский адрес. Из Рязани: «Приезжай немедленно Ада». Ясно, что от жены, но почему — Ада? Такого уговора не было у нас, такое имя никогда не всплывало, могла вообще не подписаться, всё равно ясно. Но в этой «Аде» — был какой-то *адский* намек? там творится какой-то *адский* разгром?.. Что она имела в виду? Что-то случилось опасное и неотложное, несомненно. Безопасный быт, страстная работа — всё бросается в час, сворачивается наспех, уже покоя нет душе, всё равно и не поработаешь, прощайте, рукописи незабвенные, может быть из внешнего мира уже к вам не вернуться. Ещё надо их спрятать надёжно, в непредусмотренные сроки, без назначенных встреч и поездок это труднее всего. Значит, пока остаются у Арно, где я мелькал не раз, где квартира на хилом замке. Ночной поезд до Москвы. Оттуда сразу звоню в Рязань, ответ: скорей! скорей! приезжай! Наконец и в Рязани, бритобородый, уже открытый, засеченный: что же??? А — ничего. Ты с осени почти в Рязани не живёшь, я всё время одна. Просто — не могла больше ждать. (А полтора года у нас уже всё — в разломе и в обмороке.) И — надо квартиру в Рязани получать, а горсовет молчит... — А почему «Ада»? — Ну, надо же подписаться как-нибудь, а в Эстонию нерусским именем, пришло в голову — Ада.

С минувшей осени она возненавидела «Архипелага»: не побоялась бы и печатать его, если вместе со мной, — но если я для него уезжаю и даже писать не могу домой — пропади тот «Архипелага». (Мне довелось слышать плёнку интервью, которое она, в присутствии АПНовца Семёнова, редактора её мемуаров, дала «Фигаро», когда «Архипелага» только что вышел: что это всего лишь лагерный фольклор, это — ненаучное исследование узкой темы, раздутое на Западе, и что я беру только такие факты, которые подтверждают мою заданную концепцию.)

Следующую зиму в Хааве я жил душевно просторней: уже не гнело меня, что арестуют, что будут искать и громить хранения. Всё более безопасными казались эти уже привычные стены, большие замороженные окна, старинная печь с хитроумным чугунным запором, старинный буфет, групповая картина судовых эстонских рыбаков. Уже без опасения пробежал я и в окрестностях на лыжах: соседи знали, что живёт «профессор из Москвы», нечужой, старается говорить по-эстонски. Лунными вечерами иногда гулял по убитой площадке арестантской ходьбою вперёд-назад, и ослепляла меня радостью уже почти готовая, в здание возвысившаяся книга. В эту зиму я был с бородой, не обривался. Так и не выследили нас, нельзя поставить Госбезопасности высокой оценки.

(Зимой на 1975 в Эстонии кого арестовывали, кого трясали — а молодых Сузи и хелиных подруг не тронули.)\*

Во вторую зиму мысли мои были всё более наступательные. Выгревая больную спину у печки, под Крещение придумал я письмо съезду писателей — тогда это казался смелый, даже громовой шаг. Кончив работу, я поехал в Таллин, в семью Сузи, — переснимать теперь весь «Архипелаг» на плёнку. А. Ю., прощаясь со мной, благословлял на задуманное «письмо». Даже эстонские мои друзья, не говоря о дальних эстонцах, ещё с трудом воспринимали мою мысль, что освобождение всех их может начаться лишь из Москвы, раскачкой из центра. В начале 1967 ещё мало было похоже на то, — но мне это прояснилось тогда, на переходе от 20 лет подпольного писания к открытым столкновениям. Эстонцы затменно считали всех русских угнетателями, мой пример был странным исключением для них тогда.

И ещё раз, последующим летом, мы с женой побывали на автомобиле в моём Укрывище, забрали пишущую машинку мою, простились последний раз, того ещё не зная, с Мартой Мартыновной и с Арнгольдом Юхановичем. А Хели ездила с нами посмотреть Ленинград, — самое простое действие, но и в каждом простом действии конспиратор должен предвидеть, какие завязывать узелки, от каких остеречься. Тянуло меня познакомиться её с Воронянской — как хорошо, близко живут, будет лишняя цепочка связи. К счастью, однако, не познакомил. Зато Хели (как и Лембит!) не попала в губительный дневник Воронянской, и в пятисуточных допросах в Большом Доме Воронянская не могла бы назвать никого из эстонцев, сама знала (а надеюсь и укрыла), что «вообще эстонцы» помогали мне (и то лишнее, моя вина), но никого по именам, по местам.

И тою же весной, в том же своём любимом Петербурге при мне заболел Тэнно: похоже было на внезапное отравление, он подозревал — колбасою. Думал вылечиться голодом, и шесть часов обратного поезда ещё весело рассказывал мне многое из своей жизни. (Через несколько дней в том же мае он был самый деятельный разносчик моего «письма к съезду писателей» по многим почтовым ящикам Москвы. Он всё ещё не понимал начинавшейся болезни.) А это был — проявившийся рак, который и съел его в пять месяцев. Герой, борец, атлет, — изо всех, кто назван в этом очерке, он был самый сильный, смелый, даже отчаянный, в расцвете лет и здоровья, — а умер ранее всех. Его погубило, как многих отважных сильных эзков, — нервное мелкое дёрганье советской воли, он подался дёрганью этому. Но был из главных героев «Архипелага» и главных ожидателей этой книги — но даже до последней перепечатки не дожид, не то что до сегодняшнего торжества. Последний раз я был у него 22 сентября 1967 — в час перед тем, как идти мне на бой в секретариат СП. Боже! Веретено осталось от этого богатыря, на веретене избыточно висела, обвисала заветная матросская тельняшка. Тёмно-серо-предсмертно было лицо, съёженное до черепа, и боли докручивали измученное тело. Не сбился лихой его план прикончить Молотова — серой вошью гулял палач по аллеям Жуковки, и руки Тэнно уже не могли дотянуться до него. Ещё нашлось в моём друге бойцовское мужество оценить бой, предстоящий мне, даже сверкнуть на миг, но не было мужества признать свою болезнь и смерть, и жена мигнула мне включиться в общую ложь, что это временная непроходимость желудка, вот только преодолеть её — и он выздоровеет.

Я думаю, в тот день я бился так хорошо ещё и потому, что пришёл к писательским хрякам от смертной постели эзка.

Годом позже на Рождество я был последний раз в Таллине. С Хели и Лембитом по эстонскому обычаю зажигали мы свечи на могилах — и Арнгольда Сузи, и Георгия Тэнно. Они — друг от друга там недалеко, у Пириты.

Ах, эстонцы мои родные! Сколько ж вы сделали для нашего общего дела! Разделил я с вами сердце навек.

О, сколько уже вас ушло по одному, друзья мои эски, соучастники моего скрытного тайного боя! Не допустит, Господи, подорваться на замедленных минах — ещё оставшимся живым.

Провал «Архипелага» в 1973 в чем-то повторял провал моего первого архива, в 1965. Нет, всё другое было — сила, уверенность, я не замирал, не скрывался, а дёрнул до Парижа взрывной шнур. Но вихри суматохи, внезапно-нужных встреч и предупреждений — походили. Надо было — и эстонцев предупреждать, и что где спрятано ещё — распорядиться тем, и самой судьбою «Архипелага».

Наудачу как раз приехала Хели в Москву, на двухмесячные курсы. И с ней и вдовой Тэнно мы встречались трижды — в той самой комнате, где умирал и умер Георгий и откуда по советскому жилищному рабству не могла уехать вдова,

\* И до сих пор не тронули. (Примеч. 1978)

а должна была всё пережить на месте. И уж так переставила ту самую мебель, что прежней смертной картины — не видишь, забываешь её. Измученная, истуренная, постаревшая, она работала на суетной работе в ненавистном АПН и должна была за работу эту держаться до пенсии. — «Ната! печатаю «Архипелаг», может убрать, что Гера хотел Молотова убить?» Сверкнула непогащенными глазами: «Печатай!»

Но как же встречаться, когда провалился «Архипелаг» и несомненно все глаза и когти московской госбезопасности ошетинились вокруг меня? Открою: в места запретные, куда следа дать нельзя, лучше всего отправляться в пять часов утра (в своём окне не зажегши света). Как бы за твоей квартирой ГБ ни следило, и в одиннадцать вечера, и в час ночи, и в три, — но смаривает их к пяти утра, да никто ж за совесть не работает, в ГБ давно уже не работают за совесть, может электронные глаза и моргают, да некому обработать. В пять утра выходишь на улицу — на квартал от тебя ни назад, ни вперёд никого, ни человека, ни машины. Уж наверняка не следят. В первый троллейбус садишься — к водителю один или уж с кем-нибудь совсем неподозрительным, и сойдёшь один, легко проверить. Только раскроются первые двери метро — идёт вас несколько человек, все — неподдельные, натуральные, да отделишься от любого легко.

Так я, постукивая каблукими среди утренних уборщиков мусора, проходил ещё пустой огромный их знакомый двор, неслышно без лифта поднимался ступенями — и не дав позвонить мне в дверь (квартира коммунальная, соседка ни видеть, ни слышать не должна), Ната Тэнно беззвучно уже открывала (по телефону из автомата назначено время первый раз, а потом — «как прошлый», «на полчаса раньше», а Хели ночевала у нее с вечера и уже ждала.

Первый раз я примчался к ним: там, в Эстонии, всё сжигать, лишь бы спасли себя. Второй раз похолоде: повременить до сигнала. А к третьему окрепчал: не надо жечь, а — переводить на эстонский, скоро будем по рукам пускать.

Всё-таки, ступеньки истории — в нашу пользу!

## 5

## ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВНА ВОРОНЯНСКАЯ

По появлении в печати «Ивана Денисовича» поток писем ко мне был так велик и настойчив, что отдайся ему, начни сплошь отвечать — не останется ни времени, ни своей внутренней линии, и больше нет писателя. Именно за линию держась, я от этой опасности уберёгся. Но старался не утерять всё плодотворное, что несли эти письма — иногда «по левой» из лагеря, иногда на 16 истёртых страницах бледным карандашом. А пробивалась в письмах и другая жилка, в которой я тоже очень нуждался, — жилка бескорыстной готовной помощи. После хрущёвского «чуда» советским гражданам безопасно было писать мне, сочувствовать, хвалить, благодарить или помощь предлагать, но из сотен поверхностных, случайных, а то и фальшивых писем — узнавались истинные чистотой тона. По таким письмам я выловил нескольких своих будущих Невидимок, среди них и Елизавету Денисовну.

В первом же её письме (а она была блистательная мастерица писать их) проявился размах раскаяния за прошлое — раскаяния души, которая лагерей не отвела. До того прожила она 56-летнюю вполне рядовую советскую жизнь: не участвовала в злодействах, но и не противилась им, голосовала послушно, где это требовалось, иногда, при заострённости насмешливого ума, понимая обман, иногда, по равнодушиюмо плыву общей жизни, не понимая. Никакой собственной политической непримиримости у неё не бывало, волна террора не касалась её прошлой жизни, — но по свойствам характера, схватчивого как ураган, от XXII съезда и от «Ивана Денисовича» (брата её по отчеству!) понесло её в раскаяние перед народом (да она и сама-то была образованная лишь в первом поколении), в непочтительность к партии и в ненависть к КГБ. Не из тех она была, кто делает эпоху, но — кто делается ею, однако уж делалась доглубока и с большим залётом. Поворот тогда был всего общества — но многие лишь до середины, и с возвратами, и с топтанием, она же от этого направления 1962 года уже не отошла до смерти, уже не знала границ негодования к притеснителям, да и к Основоположникам, просвещаясь в движении, значительно — и от моих книг. В письмах («левых») выражалась она едва ли не резче всех нас, так что и хранить их бывало опасно. (Да в нашем кругу было твёрдо уговорено: все «левые» письма тут же сжигать.) Не ленилась выписывать, выпечатывать, давать друзьям, присылать мне разные коварно-скандальные места из Основоположников. И в этом её упорстве против замаявшейся, а потом сталинеющей снова эпохи, вел ее больше не интеллект, а чувство. Из любимых её цитат было:

Коль любить, так без рассудку.  
Коль рубить, так уж сплеча.

С такой решительностью она и восхищалась, с такой и отрицалась от восхищения.

Это сильное движение, этот порыв сразу не к помощи даже, а — к служению, выделил первое письмо её ко мне. Я ответил, переписка завязалась. Летом 1963 произошло и знакомство — сразу в широких жестах и бурных тонах. Уже на первую затем зиму я попросил её просматривать редкие издания 20-х годов, отбирать штрихи эпохи и факты быта для будущего «Р-17». (Я торопился и широко тогда размахнулся на новую книгу, собирал материал на все двадцать Узлов сразу, не представлял, что всей жизни не достанет на этакое.) Она неплохо справилась с этой работой: переворошила множество печатных страниц и наскребла характерного, у неё был и вкус художественный, и особенно развитое чутьё анекдотичного. А на следующее лето на хуторе под Выру она с нами уже перестукивала «Круг». До того она служила заведующей геологической библиотекой на Мойке. Навстречу моим потребностям быстро, легко и хорошо научилась печатать на машинке, чем сроду не занималась раньше. Из первых же её работ для самиздата были мои «Крохотки», к которым она тут же самовольно прибавила и «Молитву», данную ей лишь для чтения. Через беспечные руки Е. Д. «Молитва» упорхнула в мировую публикацию — и то было первое мне предупреждение, не усвоенное.

Как говорила она, из-за холерического характера несчастно сложилась её жизнь, с любимым человеком не было замужества, и она жила всегда одиноко. Из-за выступающего подбородка, большого острого носа она была и некрасива. Но искристостью беседы, шуток, вспышками юмора и гнева, порывами к движению, к угощениям заслоняла всё это, казалась и моложе своих лет. Больше всего в жизни она любила музыку, умела не пропускать лучших ленинградских концертов, гоняла по Ленинграду, ища по второстепенным экранам фильм, где дирижирует Караян (такие не выставлялись на первый). Не преувеличивала, когда писала: «Музыка и достойные люди — моя жизненная опора. После хорошей музыки ощущаю, что струпья от сердца как будто отваливаются». (Так предвещательно совпало: Е. Д. устроила нам с женой билеты на «Реквием» Моцарта в Капелле, сидела с нами, слушала со слезами. И она же подарила нам — «Реквием» Верди.) Поклонницей Шостаковича была до самозабвения («если б допустил меня — мыла б ему полы и галоши»), теперь разделила это чувство между ним и мной, но ревниво следила, чтобы первое не было утеснено, и с болью воспринимала новости о жалком общественном поведении своего кумира. («Как Иван Карамазов с чёртом, так я с Шостаковичем — не могу утратись. Сложно то, что и *отдался* он, и в то же время единственный, кто в музыке проклял их».) Она неутомимо читала по-английски, хотя не без словаря, и невозмутимо перемежала Агату Кристи с Джойсом. Любила читать мудрецов разных времён и делать афористические выписки для себя. Неутомимо же переписывала и целые абзацы в письма к друзьям: «Объяснять творение мира игрою случая так же наивно, как симфонии Бетховена — случайно очутившимися на бумаге точками». (Это не значило, что она стала верующей.) Восхищалась Набоковым, не уставала защищать его от упреков. Остроумие цитируемое щедро пересыпалось и её добротным собственным. Пока не потянулась череда болезней — весёлые, даже сверкающие были её письма. Queen Elizabeth стали мы звать её в нашем узком кругу, а сокращённо — Q (Кью).

Конечно, в нормальном свободном мире, подбирая себе на службу платных сотрудников по деловому принципу, не остановившись на натуре столь переменчивой, пылкой, гонкой. Но в моём полуподпольи, не на службу беря, а принимая в друзья, в доброхотные энтузиастические помощники, я не избежал глубоко довериться ей. (Да не раскаивался бы по сегодня — если б не жуткая её смерть.) При отборе слишком придирчивом надо было бы обречься почти на одиночество.

Жила наша Кью — близ Разъезжей, на Роменской улице, — но в каком доме? Уже лестница, мрачно-серая, облупленная, нечистая, тёмная, додержалась до нас из Петербурга Достоевского. Звонок был — не электрический, не белая кнопка, но в тёмной двери из прорубленного отверстия торчащая петлёй-удавкой грубая толстая проволока, — вы дергали за неё, и в глубине раздавался угрожающий колокольчик. Отодвигался тяжёлый зубчатый засов. Открывала ли сама Е. Д. (ожидаю по времени) или кто из соседей, — ещё и из других дверей непременно высовывались какие-то удлинённые, скривлённые малодоброжелательные лица. «Неандертальцы», «троглодиты» — звала Кью своих соседей, а было их четыре разных комнатухи из коридора изломанного, узкого, без окошка, в вечном запахе стоящих там керосинок, дурной кухни и канализации. Вся квартира была как неандертальская пещера. И только закрывши дверь щелевой длинной комнаты Кью с окошком в конце и всякий раз вздрогнув от бокового зеркала,

поражающего, как ударом, своим ложным углублением вдвое, можно было радиолой, — Кью держала множество чудесных пластинок, — отглушиться от всех «неандертальцев», слышимых через тонкие перегородки.

И всё равно, измотавшись по прежнему Петрограду, я любил прийти в эту комнатку-щель, утопиться в продавленном старом кресле, слушать лучшую музыку, перекусить, попить чайку, посмотреть приготовленные материалы, позабавиться сменой восхищений и негодований Кью по разным поводам. Мрачные дома, лестницы, квартиры ничего мне не предвещала, да я-то привык ко всяким закуткам, не знаю — предвещала ли Кью.

Кью познакомила меня с И. Н. Медведевой-Томашевской (см. очерк 14), вдовой Б. В. Томашевского, то была её подруга по институту Истории Искусств. А я знакомил её то с Е. Г. и Е. Ф. Эткиндами (много доброго Екатерина Фёдоровна сделала для Кью — посещала в болезнях, помогала врачами, приютила у себя на даче), то с моей бывшей рязанской ученицей Лизой Шиповальниковой (они очень дружили несколько лет, Лиза при поездках в Москву и Рязань была нам и связной), то с Л. А. Самутиным; с ним установилась у неё прочная дружба, да на беду обоим: в конце концов это знакомство оказалось губительным и для неё, и для него. А — всем она была сердечно верна, и мне — больше всех. Пылкая опрометчивость Кью увлекла её (мы никто не знали) с какого-то года писать дневник о встречах, делах, полученных «левых» (и подлежащих сожжению!) письмах, — *дневник конспиратора!* надо же... И тот же полёт фантастической романтики — быть хранительницей для истории, не то может погибнуть и забыться, — вдохнул в неё потом роковое решение не сжечь свой промежуточный экземпляр «Архипелага», как она обязана была.

В феврале 1967, проездом из Эстонии, я отдал Кью свой густо отпечатанный экземпляр «Архипелага», один из двух, для более просторной перепечатки: открыть возможность ещё править и доделывать текст. И в своей комнатке, загиснутая шкафами и стенами, во враждебной коммунальной квартире, доступная лёгкому схвату при подозрении, — правда, уже в то время на пенсии и потому больше дома, — за обеденным столом, другого не было, Кью благополучно перетюкала все полторы тысячи страниц — да в трёх экземплярах. По такому экземпляру я позже и правил ещё последний раз.

К этой книге от первого же знакомства с ней в те дни (и до смерти) Кью относилась завороженно, с поклонением и ужасом, — как чувствовала свою с ней роковую связь, отличала её от всех других моих книг. Но именно те превосходные степени, в которых она выражалась об этой книге, не удержали её поделиться новостью о ней и даже её страницами со своими близкими-подругами — о, всего только с одной-двумя! По поразительной тесноте всего ли мира или только русского интеллигентского, эта утечка к двум ленинградским женщинам мгновенно стала известна (через Нину Пахтусову) одной из московских, да не сторонней, а очень близкой нашей подруге, замечательной «Царевне» (Наталье Владимировне Книд). Та — нам, и Кью «застукана» прежде, чем слух и рукопись распространились бы дальше.

Но и этот урок не остерёг меня серьёзно, я ограничился деланно-суровыми упреками: ведь всё кончилось так благополучно, так мило, так комично. В нашем кругу даже не обсуждался вопрос, не устранить ли Кью от работы и всех наших тайн.

При казалось бы «широком» (потом всё уже) сочувствии ко мне общества — нас, работающих в самой сердцевине, было всегда менее десятка, в центре координации — Люша Чуковская. А работы было изнурительно много, и всё с прятками: не всегда повези, не везде оставь, не по всякому телефону звони, не под всяким потолком говори, и напечатанное не хранить, и копируку сжигать, а переписка только с окаяниями, по почте нельзя. Душевная преданность делу казалась свойством наиважнейшим, что уж придирается к побочным недостаткам.

Весной 1968, когда сильно меня подгонял подступивший на Западе выход моих романов, а последняя правка «Архипелага» кончалась, мы для ускорения решили собраться в Рождестве с тремя машинистками (Люша, Кью и жена Наташа) на двух машинках — и кончить штурмом. Так и сделали: за 35 дней, до первых чисел июня (общего съезда дачников), днем не открывая окна для проветривания сырой комнаты — не разносился бы стук машинок, мы сделали окончательную отпечатку «Архипелага». (И в самый день окончания Н. И. Столярова прилетела нам сказать, что на Западе вышел по-русски «Круг», а мне шепнуть, что плёнку «Архипелага» через неделю, на Троицу, берутся отправить. На высокой незримой колокольне отбивали наши часы.)

После того майского аврала наше сотрудничество с Кью стало убывать — естественно, само по себе: я выпустил все работы, требующие обильной машинописи; срочного размножения, и перешел на «Красное Колесо». В те годы ослабла и затруднилась связь со всеми ленинградскими. Поселясь у Ростропо-

вича, я в Ленинград ездил мало, коротко, уже не на библиотечное сидение, и не на сплошной обход города, как прежде, а ещё, для лучшего догляда, обещать некоторые петроградские места действия для «Марта» да провести неотложный опрос знающих людей. Кью же продолжала задорно спрашивать ещё и ещё работы. С переходом на пенсию приобретенное умение печатать на машинке помогло ей и подрабатывать. Однако потеряв подвижность из-за возникшей хромоты, она теперь все 24 часа петербургских тёмных дней была прикована к своей щели в неандертальской квартире, времени у неё было много — и она требовала работы «для души». И много ещё сделала: добавочную перепечатку «Круга»-96, добавочную перепечатку «Августа». Перепечатывала главы из рукописи И. Н. Томашевской «Стрема „Тихого Дона“». Тут родилась у Лющи и Кью затея спасти промежуточную перепечатку «Архипелага», для того внести многочисленные исправления из последней редакции, и даже целые главы впечатать. Затея избыточная, уже не хватало и мест хранения, а и — жалко было уничтожать: лишних 3 экземпляра, ещё когда-то пригодятся. Эту работу Кью сделала частично, затем понято стало, что не удастся, и мы решили, чтобы не оставлять разночтений, экземпляр за экземпляром уничтожить. А все хранители оттягивали и сопротивлялись: один экземпляр был спрятан через О. А. Л., один зарыт близ дачи Е. Г. Эткинда, а личный экземпляр Кью — на даче Л. А. Самутина под Лугой, и тоже, мол, зарыт. В марте 1972 я был в Ленинграде последний раз, и только о первом экземпляре меня уверили, что уничтожен. А второй и третий были целы, хотя я давно настаивал сжечь, — и в тот момент я своими руками достал бы и сжёг оба, да земля была мёрзлая, надо ждать тепла. У Эткинда, при разумной осмотрительности, есть в характере вспрыги этой дерзости, так он рисковал без надобности лишнюю зиму, но потом, сказал, сжёг. А Кью ещё летом отказывалась, в письмах умоляла меня сохранить, лишь осенью 1972 прислала мне драматическое красочное описание, как при жёлтой и багровой облетающей листве они с Самутиным разожгли костёр и, рыдая (она), сожгли драгоценную машинпись до листочка... (А на самом деле — ничто не сжигалось, обманула меня.) Драматическому описанию Кью нельзя было не верить. Я написал ей в утешение, что скоро подарю ей настоящий экземпляр. Я так видел и намечал, что «Архипелаг» издадим весной 1975. Но сроки уже сгущались иные.

В письмах последних лет проступали предчувствия Кью, ещё не видимые тогда ни ей, ни нам (теперь-то видны, можно их стянуть вместе): «Молю небеса не завалиться и не завалиться. К другому исходу готовлю себя. Твержу 66-й сонет Шекспира» (Зову я смерть...) «Да, не хочется мне — быть в пасти у гиены». «На днях гуляла в Большой Дом, к счастью, по делу одного из геологов. Уютный дом, милые люди...» (А наверно, это к ней присматривались?)

Именно потому, что последние годы мы с Кью уже не вели серьёзных конспиративных работ и редко встречались, я мало заботился, насколько острожна она во внешнем поведении. Она же по своей закапистой крайности, из страха — в полную беспечность, посылала по почте Люше Чуковской письма весьма остроумные, но и с намёками, и с загадочными подписями, вроде «ваша Ворожейкина», а следующий раз как-нибудь иначе. Адрес Люши был — все равно что мой, письма тщательно проверялись, и высунутые уши не могли не обратиться на себя внимания ГБ. После Нобелевской премии появилась возможность помогать друзьям, как-то устроил я и Елизавете Денисовне валютный перевод: из Франции, но от выдуманного лица, никого реального она придумать не могла, — может быть, и этот необычный перевод привлек к ней подозрение. Был ещё один внешний случай: видимо, доследили, что Лиза Шиповальникова встречается с Кью, и у квартирных соседей Лизы гебисты осведомлялись о Воронянской; потом вся история как будто миновала. Но если б даже не было этих наводок ни одной (сейчас как просто их сопоставить) — ещё могли высветиться старые помощники оттого, что бывшая моя жена Н. А. Решетовская сблизилась с новыми тесными друзьями из АПН, и стал им незаграждённо доступен её архив (и часть моего, которую она отказывалась мне вернуть, а письмами моими к ней АПН же вскоре затем торговало на Западе). Были там фотографии Кью, и других, — хорошо, что уж несколько лет не знала Н. А. никого из помощников новых. И с Самутиным (он горячо принял её сторону в нашем разводе) Н. А. встречалась не раз, уже под прямым доглядом гебистов.

ГБ могло нанести удары по разным лицам. Для начала избрана была Кью, как стоящая в стороне, без имени, без защиты, да и по свойствам характера, казалось, обещавшая ошеломиться от внезапного удара и обработки. Но если бы Кью не хранила «уничтоженного» экземпляра и не вела бы дневников — они бы на этом аресте осеклись.

Едва не до 60 лет Е. Д. сохраняла подвижность, безунывность, легкоподъёмность и, как многие люди, почти не знавшие в жизни болезней, предполагала

и дальше так жить. Но в 1965 поехала на Кавказское побережье, бодро «скакала» там и вдруг сломала ногу. И жизнь её — пригасла в этом хрусте. С переломом — в Ленинград. Мучительное небрежное бесчеловечное советское «бесплатное» лечение. Полгода в лёжку, потом два года хромоты с постоянной болью, анкилоз деформированного (неправильным лечением) сустава. Потом нога как-то окрепилась, но появились отёки, сердечная аритмия, задыхания. «От всех лечений худею и внутри ощущаю себя чердаком, где все внутренности развешаны бельём на верёвках. Как посмотрюсь в зеркало — хочется надеть паранджу». И всё же в последнее своё лето 1973, со всеми болезнями и невылеченной ногой, она (вместе со своей подругой Ниной Пахтусовой) опять поехала в Крым и, «опухшая, задыхаясь», карабкалась по горным склонам. Она Крым очень любила. И вот как чувствовала, что прощается. В последние недели там вился около них какой-то подозрительный «Генрих Моисеевич Гудяков, московский поэт из непечатаемых», всё читал ей Гумилёва и себя — и Кью звала поэта приезжать к ней читать «Круг», «Корпус», Авторханова. Нине Пахтусовой поэт казался подозрительным, но Кью горячо доказывала, что нельзя всю жизнь всем не доверять. Теми же средствами собиралась в это лето просвещать и... отставного прокурора, неожиданного «дядю» неожиданной новой квартирной соседки. Такое странное вселение: из этой ужасной гробовой неустроенной квартиры XIX века «неандертальцам»-рабочим дали лучшую, а сюда охотно вселилась племянница прокурора! (Было еще предупреждение, по которому мы не приняли мер: весной, еще до Крыма, приходили к Е. Д. какие-то две девушки, «заказчицы» на частную машинописную работу, — но по сути только образец шрифта взяли и исчезли.)

Их обеих с Пахтусовой взяли в Ленинграде на перроне Московского вокзала 4 августа, разъединили, с Пахтусовой поехали домой делать обыск, а у Кью, наверно, уже он сделан был. С этого момента мы ничего не знаем от неё самой, только последнее свидетельство: в пяти днях непрерывных допросов (с 4 по 9 августа, а у Елизаветы Денисовны может быть и дальше, и дольше, мы не знаем) Пахтусову столкнули с ней раз в Большом Доме, в уборной, — и та, исхудавшая, с воспалёнными губами, блестящими глазами, шепнула: «Не упорствуй, я все рассказала!»

Нина Пахтусова была очень твёрдый, верный человек, в геологических экспедициях много бродившая близ островов Архипелага. Она и карту его пыталась нам составить, и эта карта начатая тоже попала теперь в ГБ. Пахтусова была так же пристрастно допрошена пять суток, но не сдалась ни в чём. Однако и дневники Е. Д. и хранимые ею письма были взяты именно с обыска в квартире Пахтусовой.

Можно представить, как жутко было Кью на следствии: и потому что — старая, больная, с малыми силами сопротивления; и потому что — понову, на себе самой впервые, а прогнозы, по «Архипелагу», все известны; и — от сознания сделанных ошибок, *сама* виновата, а люди пострадают — как это жжёт, и больше всего — что твой собственный дневник лежит на столе следователя, и уже нельзя замкнуться, отказаться, а надо *поворачиваться*, истолковывать, придумывать, смягчать — как это жжёт! Вероятно, нельзя было ей уклониться от каких-то показаний на Эткинда, неизбежно — на Люшу Чуковскую; а на Ирину Николаевну Томашевскую, работу об авторстве «Тихого Дона»? Но самое для нее тяжелое и неизбежное было: выдать «Архипелаг», и указать, что он — у Самутина.

Леонид Александрович Самутин — бывший власовец, антикоммунистический журналист, чудом не расстрелянный в конце войны, отбывший *десятку* на Воркуте, там же понуженный жить еще 15 лет, уже в пенсионном возрасте обходным путем утёкший в Ленинград, — он во всём разгроме нашем был самый беззащитный. Он передавал мне потом объяснение, что не мог гебистам места не показать — мол, в других местах участка ещё другое хранилось, — можно и не объяснять: ему невозможно было отбиваться.\*

Но вот интересно: гебисты уже и три недели знали о зарытом «Архипелаге» — а не шли за ним. Не потому же, что боялись — взорвётся? на это ума никогда у них нет. А — почему тогда?

Что было дальше с Е. Д. в августе — достоверно мы не знаем ничего. Все сведения — от подозрительной новой соседки, медсестры, племянницы прокурора. Это — от неё версия, будто Е. Д., отпущенная через пять дней домой, всё время оставалась там, металась по комнате и говорила: «Я — Иуда, скольких

\* Сейчас в самиздате появились записки уже покойного Самутина «Как был взят „Архипелаг“». Из них теперь я с изумлением узнаю, что Самутин (оказывается, давно знавший о моём распоряжении сжечь «Архипелаг», но тоже вступивший с Е. Д. в обман) даже вообще не *закатывал* рукописи, но просто держал на чердаке дачи, да вместе и с «Кругом»-96, тоже тогда засекреченным. Уж такой допоследней небрежности я не мог вообразить!

Через несколько месяцев появились в печати ещё и другие «мемуары Самутина», написанные под диктовку чекистов, как свидетельствуют вдова и дочь покойного, — а может быть и ещё правленные в ГБ потом. (Примеч. 1990)



невинных предала!» (Конечно, должно было разрушительно проработаться в ней и обернуться: не тот угрозный час страшен, которым пугал её Большой Дом, а вот этот ужас заземлённой одинокой жизни, — а друзья, быть может, погибли, а бесценная книга, память миллионов, не выплывет больше.) Потом, будто бы, с сердечным припадком легла в больницу (с помощью этой же соседки), неделю там лежала, вернулась. И вскоре, видимо в последних числах августа, повесилась в том кривом, тёмном, дурного воздуха коридоре, из Достоевского. (Но та же медсестра, выпив на поминках больше, варьировала: а на теле её были ножевые раны, кровь. Так — не вешаются.)\*

Что Елизавете Денисовне запрещено было пытаться дать знать кому-либо — ясно из общих методов ГБ и из такого же распоряжения Нине Пахтусовой. Но — подчинилась она? Или наоборот: пыталась связаться с нами — и именно за то убита? Страшно представить эту злодейскую сцену убийства в мрачной пещере-квартире.

В том августе несколько раз проходила Нина Пахтусова по Роменской — ни одно окно квартиры не светилось. Осмелилась подняться, дёрнула петлю проволоки — звонил страшный колокольчик, а не выходил никто. (А телефона в квартире не было.) Выселили — всех? Ни свидетелей, ни места действия, больше там не жил никто.

А была, оказывается, у Е. Д. в Ленинграде неграмотная родственница Дуся, вроде троюродной сестры, она не знала нас никого, ни мы её. Именно её одну и известили о смерти Е. Д. — но кто известил? не милиция, а госбезопасность. И объяснили: Воронянскую до смерти довела интеллигенция. Да ведь риска нет: неграмотная, сторонняя, никого не знает. Труп не показали ей, а похороны сказали когда.

А у простых деревенских людей сохраняются и в больших городах чутьё и глазомер лесные, полевые. Когда-то давно один раз Дуся провожала Е. Д. до дома Самутина, знала, что — близкий друг её, и видела, в какое парадное та вошла. Разыскала она теперь по памяти и дом, и парадное, а как дальше? Догадалась: стучать подряд в каждую дверь и спрашивать: вы не знали Елизаветы Денисовны Воронянской? Дверь Самутина оказалась из первых, на первом этаже, и дома были! Так неграмотная женщина перехитрила ГБ и связала первое звено цепочки, которая взорвёт «Архипелаг» на весь мир.

А Самутин не знал ничего до последнего дня, он только удивлялся, почему Е. Д., всегда такая дружественная, не звонит, не пишет, не идёт, — должна бы уже из Крыма вернуться. Теперь — внезапная смерть, и вот дата похорон: завтра, 30 августа, труп лежит в Боткинских бараках. А об аресте, о следствии — ничего ведь и Дуся не знает. Хорошо, буду.

Естественная мысль: известить Эткиндов, о которых он знал из рассказов Е. Д., что они имеют лёгкую связь со мной, а живут — близ Александро-Невской Лавры, где и бараки. И в тот же день, днём 29-го, он позвонил Эткиндам:

— Вы знали такую Воронянскую? Её не стало. Это — её знакомый говорит. Похороны — завтра, в 14.30 к моргу. Отчего умерла? Не знаю... Оповестите наших общих знакомых (меня)...

И тотчас — телефон Эткиндов прервался на два часа. Да все концы прослушивались к тому дню, конечно. А — оплошало ГБ оборвать сразу.

Оказался в те дни в Ленинграде Лев Копелев. Эткинды и сказали ему, чтобы мне передал. Копелев не знал, сколь серьёзно эта смерть вплетена во всю нашу конспирацию, и не искал okazji, а просто позвонил Але в Москву: «Скажите Сане, умерла его машинистка Елизавета Денисовна».

Изумиться и вскипеть должно было ГБ: полная тайна, ото всех скрыто, а чёртова интеллигенция уже пронюхала — и через три часа дневным поездом я могу выехать из Москвы, к вечеру быть в Ленинграде.

Три недели они знали, где лежит «Архипелаг», — и не спешили. Но если я сейчас приеду и заберу его?.. Звонок Копелева шёл дальше по бикфордову шнуру и подгонял события.\*\*

\* Много лет спустя, в эмиграции, писал мне Я. Виньковецкий: следователь, допрашивая вскоре после смерти Е. Д. его сотрудницу по геологическому институту, с гордостью сказал ей: «После моих допросов люди вешались». (Примеч. 1986)

\*\* Теперь из мемуаров Самутина (истинных) можно уточнить: в эти же часы 29-го гебисты задержали его на улице, повезли в Большой Дом — и он сразу взялся отдать им «Архипелаг». (Удивляюсь, старый лагерник, бывший власовец, столь необычно допущенный в Ленинград, в такой шаткой позиции, он в записной книжке имел множество адресов людей, которых теперь мог потащить за собой, и оброс обильным самиздатом, боялся теперь, что откроется тот самиздат, — это рядом с «Архипелагом!» и больше всего боялся травмировать жену и детей домашним обыском!.. Но не подвергся и личному.) В ночь на 30-е гебисты на его даче получили «Архипелаг». Ясно, что обзавли и молчалием: никому о том ни звука. Но утром 30-го спохватились, что им нужна расписка, что он сдал — добровольно, и его еще раз тягали на встречу в «Европейской» гостинице. (Примеч. 1990)

30-го к 14.30 съехались у Боткинских барачков: Самутин, двое Эткиндов, Зоя — дочь Томашевской, и Зоина подруга Галя, случайная. Ответили им: увезли два часа назад. «Как это может быть?» — «А — была свободная машина».

А где же Дуся? Она, по-деревенски, пришла на всякий случай раньше — и с той машиной похоронной уехала на кладбище.

Догадался Эткинд спросить: а что же в книге записей? причина смерти? Служитель не отказался, вот: «Механическая асфиксия». И объяснил: «Повешение. Самоубийство». «Не может быть! Вы спутали?..» «А то сами не знаете!» — удивился служитель, хороши родственники!..

Около морга ещё крутился тип, не поговоришь.

Сели впятером в автомобиль Эткиндов, поехали на Южное кладбище — далёкое, загородное, в сторону Пулковских высот, — город мёртвых при столице, у кого нет блага похоронится лучше, сброс перенаселённого города. В машине разговаривали бурно: отчего? что случилось? Вспомнили валютные сертификаты: может быть, неандертальцы придушили? Самутин: «Они выехали, живёт приличная медсестра». Екатерина Фёдоровна, жена Эткинда: «Самоубийство? Не может быть! Я достаточно её знаю». «Да это политическое убийство!» — вскрикнул кто-то.

Кладбище — удручающее по однообразию. Огромный развороченный пустырь, глина (как это вязнет в дождь!). Ни деревца. Всё разбито на прямоугольники: по 36 рядов и 24 могилы в каждом ряду. Запрещено ставить кресты или ограды. Могилы имеют вид бетонной ванны, в изголовьях — «вёсла» с синими шашечками, на них процарапываются фамилия-имя-отчество покойного, годы рождения и смерти, без дат. «Ванны» засыпают землёй, в них можно посадить цветы. Могорные каталки/быстро развозят гробы по проходам, провожающие спешат аллюром. Кладбище — социалистическое. По Фурье?..

Приехавшим указали могилу ещё без холмика, воткнута палка. (И ещё через год её могила осталась безымянной, ходили Люша и Зоя Томашевская.)

Всё больше складывалось, что дело нечисто. И приехавшие друг друга совсем не знают. Спрашивал Эткинд Самутина осторожно: «А не взяли ли чего у неё?»\*

Гале — в чужом пиру похмелье. Зато уж — ни в чём не замешана. И по адресу, который Дуся дала Самутину, где она собирает поминки сегодня, — «Галя, может быть, поедете? Узнаете что-нибудь?». Галя поехала, как раз попала. Сидели душины престонародные друзья, и — медсестра Лида. И она-то рассказывала свою версию, и оттуда знаем мы её.

Если бы даже самоубийство — то, физически измученная, где ж могла Елизавета Денисовна силы найти на крюк, на верёвку?

А Самутин: сдавши «Архипелаг» — и скрывать? молчать? что должен был чувствовать старый эзк?

Прослушиваются «потолки», слезка за квартирой, слезка за каждым шагом, — уж тут-то ГБ исправит упущенье, дальше — не потечёт!

Но жене на работу — можно идти?.. На работу — разумеется.

А больше — ничего и не надо! — вот *закороченья* крупных городов: на службе, в Горном институте, только одной женщине, своей сотруднице Аршанской (о которой известно, что муж её дружен с Копелевым, а Копелев — как раз сейчас в Ленинграде, днём рассказывал Эткинд), — только ей, там, в рабочие часы и под рабочей крышей, жена Самутина рассказывает о происшедшем.

Просто?\*\*\*

А Аршанская — просто идёт домой. И рассказывает — мужу.

А муж — и собирался к Копелеву, он едет к нему, уже поздно вечером.

И Копелев в 12-м часу ночи звонит Эткинду ласково: «Фима, а ты не можешь ко мне сейчас приехать?»

Это — 31-е августа, вечером, на другой день. Всё заткнуло ГБ — и всё известно!

Разряд ударяет и через телефонную трубку — в такое время в гости не зовут. Эткинд едет. Встреча с Аршанским. Ещё есть ночной поезд в Москву. И совсем безобидно поехать уж ни к чему не причастному хозяину квартиры, Сергею Маслову. «Передайте ему просто: взял Архип!» (Мы, знавшие книгу, иногда звали её так.)

Просто — да не очень. Просыпается потом Эткинд ночью и ударяет его мысль: что ж мы наделали? Маслов не понимает, о чём речь, ещё через несколько уст из «Архип» будет «архив». Бессмыслица, только морока.

\* А Самутин, все дорогу скрывавший от спутников, что взят «Архипелаг», тут, пишет, сказал Эткинду: «Всё — у них, смерть Е. Д. связана с этим». Но Эткинды не знали, что такое могло быть в с ё, они не знали о самовольном хранении «Архипелага». Они подумали: какой-то архив Е. Д.? (Примеч. 1990)

\*\* Это было тогда же рассказано нам из круга Копелева — Эткинда, но Самутин ничего об этом сюжете не пишет. Боятся ли впутать жену? Но, видимо, с 30-го на 31-е разобрала его совесть, что об «Архипелаге» надо предупредить автора, нельзя же молчать; а может быть — жена сделала это сама, без ведома Самутина? (Примеч. 1990)

1-го сентября утром Маслов привозит в Москву свою фразу Кома (Вячеславу) Иванову — и тот так и понимает: взят архив. И к концу дня они с Люшей, ещё тяжело больной после автомобильной аварии, довозят фразу до меня в Фирсановку. Я сразу усумнился: архив? Архип? (Да какой там архив у Кью? Но и — Архипа давно нет.)

Мы с Люшей нервничаем и делаем ошибку. Нам хочется, нам надо же знать точно и быстро: что о, что именно взяли? И она просит Алешу Шиповальникова (через сестру он знаком с Самутиным) съездить, повидаться, спросить.

Неправильно. Неправильно, потому что втягиваем мальчика под опасность. И плохо соображаем, какие ж у Самутина остались возможности. Юноша отважно берётся. Едет в осаждённую квартиру. Но даже если ответить ему на бумаге и бумагу сжечь — а его схватят при выходе? И Самутин отвечает под потолками: «Взяли? Круг Первый». Под потолком ему и не сказать, правильно.

А 1-го сентября вечером выезжает в Москву Эткинд с уточнением одной буквы. К Люше в Переделкино. А она, всё так же больная, поехала в такси к Москве, через всю Москву и на север в Фирсановку, чтоб довести до меня (вечер 2-го сентября) одну эту букву. Теперь сомнения больше не было: «Архипелаг» схвачен!

3-го днём еду в Москву к Але. При двух наших малышах она ждёт третьего, Стёпу, на самых этих днях. Говорю: «Ведь надо взрывать?» Она бесстрашно: «Взрываем!»

4-го утром, из загорода, условным звонком я устраиваю на вечер встречу с корреспондентом Стигом Фредриксоном (очерк 12) — передаю на Запад открытое сообщение о взятии «Архипелага» (и тайный приказ: немедленно печатать!)

А ГБ ведь уверено, что — все дырки закрыло. 5-го утром хлопает их как по лбу известие западного радио.

Тогда велют Самутину дать какое-то мерзкое интервью на Западе. Не находка. Я его и доселе не читал.

После моих резких выступлений всегда писала мне Кью: «Зачем устраивать корриду при таком неравенстве? Зачем вы торопите события?»

Но никто не торопил их так, как она. Эта больная одинокая старая женщина, того не готова и в ужасе вся, — толкнула грозный валун «Архипелага» покатиться на мир, на нашу страну, на мировой коммунизм\*.

---

\* Подаренный Кью «Реквием» Верди — со мной в Вермонте, и каждый год 28—30 августа я ставлю в её память. (Примеч. 1978)

В ноябре 1985 получаю письмо от неизвестной мне швейцарки Иоганны Фишер из Крэйцлингена, Швейцария: Елизавета Воронянская, никогда не знакомая ей при жизни, покончившая с собою в августе 1973, теперь, через 12 лет, стала часто к ней *приходить*, прося передать мне, чтобы я ревностно помог ей в её нынешнем положении. Она является к Иоганне в виде тени и издали.

А я — и молось за неё, ещё бы... (Примеч. 1986)



## АЛЕКСАНДР ЗОРИН

\*

### ПРОЩАНИЕ

\* \*  
\*

Пригрезилось, что ли... Когда  
я лба воскового коснулся,  
он мне улыбнулся... Да, да,  
я видел, он мне улыбнулся.

Как будто обрушенный мрак  
он с прежнею мудростью встретил.

И подал условленный знак,  
который никто не заметил.

Видать, уже там, на краю,  
где наши придвинулись лица,  
он вспомнил угрюмость мою.  
Он знал, как со мною проститься.

\* \*  
\*

И умер он под забором...  
Будто бродяга какой...  
Уголовным законом  
уравнены — вор и святой.

Подвижничество подцензурно.  
И подозрительно оттого,

что святость — безумна.  
Опаснее, чем воровство.

Христос и разбойник рядом.  
Чему правосудье учить...  
Но их посторонним взглядом  
не различить.

\* \*  
\*

Мечена жижа дорожная палым огнем.  
Грязь светозарна.  
Чавкает, хлопает, всхлипывает под сапогом  
кровь Александра.

Эко — багряных и черных натолкано вслед  
траурных кружев.  
Это она под ногами у нас вопиет,  
плавится в лужах.

По колее безнадежной сольется с зарей  
утренней завтра.  
Не затоптали, а просто смешили с землей  
кровь Александра.

Нам эта жертва досталась опять задарма.  
За ним не угнаться.  
Мечены наши блуждания, наши дома  
кровию Агнца.



## ФЕЛИКС СВЕТОВ

\*

# ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ

Роман

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— **Л**ев Ильич, вас спрашивают... Лев Ильич!..  
Он открыл глаза и приподнялся на локте. Над ним стояла Дуся.

— ...Вы меня простите, я было спросила — кто, а там рассердились.

— Да, да, — сказал Лев Ильич, — я сейчас, сейчас...

Он натянул штаны, ботинки, накинул пиджак и вышел в коридор, плохо понимая, почему вдруг и кому он с утра понадобился, да и у кого мог быть этот телефон?..

«Извини, что вынуждена тревожить, не в моих правилах. Если б мое дело, дождалась возвращения из командировки — так, что ли, назывался твой отъезд? А то и твою подругу командировочную обругала...»

— Да, да, — говорил Лев Ильич, — что случилось?

«Я позвонила на работу, думала, может, сегодня вернешься, чтоб тебе сразу сказали, чтоб успел...»

— Что случилось, Люба? — с тоской повторил Лев Ильич: не послушался отца Кирилла, сказано было, чтоб шел домой — вот тебе и Прощеное воскресенье!

«Так что извинись перед дамой. Я не люблю, когда у меня спрашивают объяснений...»

Лев Ильич молчал.

«Ты слышишь меня?»

— Да, — сказал Лев Ильич, — я слушаю, Люба.

Ну почему, как вышло, что он не пошел домой? «Домой», — пожегился Лев Ильич и поправил сползший с плеча пиджак. Сначала так было хорошо, так он был счастлив — не мог идти и начинать тяжкий, непосильный разговор. Да и человека так вот сразу оставить? А потом поздно стало — что ж опять ночью, и опять там люди...

— погоди, погоди! — закричал он. — Как похороны? Чьи?

«Не слушаешь меня?.. Дядя Яша умер... Я прочту телеграмму...»

Вот оно что!.. Яша... И он вспомнил почему-то не последнюю с ним встречу год назад — какая это встреча, когда сидел перед ним и не узнавал, то светски улыбался, то напускал на себя нелепую важность старичок с желтым лицом скопца. Узнал, коли такой откровенностью поделился — небось не каждого устаивал! Наклонился и прошептал: они в уборную пробрались, а я их перехитрил — горшок держу под кроватью... Нарочно, чтоб им глаза отвести. Они в горшке ставят аппаратуру, а я — под себя, а? Разве придет в голову — куда? разве додумаются! «Где им меня перехитрить...» — довольно хихикал старичок, а у Льва Ильича, когда вспоминал, еще долго ныли зубы. Разве это была встреча!..

Он вспомнил другого Яшу — тот только вернулся из лагеря после второй отсидки. Самая пора начиналась Великой Реабилитации. Он встречал его на рассвете, лето, утро, пустые, чистые улицы, они ехали с вокзала в трамвае куда-то в Марьину рощу: Яша, две его дочери и он, Лев Ильич. Яша и тогда улыбался, но не так, как в последний раз, а светло, хотя и робко поглядывал в окошко, а Лев Ильич завел разговор о том, что все изменилось, кончилось, его явление в Москву первая ласточка, погоди, мол, скоро и Лубянка распахнет двери, прочтем дело отца — а дальше!.. Дальше Лев Ильич и сам не знал. Его тогда сразу осадили потухший Яшин взгляд, он схватил Льва Ильича за руку, а другой нагнул его голову к себе в колени: «Тише, с

ума сошел — о чем говоришь!» Льву Ильичу неловко было, лицом в грязные штаны, обидно, не мог освободиться, у Яши руки оказались крепкими. «Да пусти ты меня!.. — взмолился он. — Чего ты боишься? Вокруг посмотри!» — «Я посмотрелся, — бормотнул Яша. — Ты их не знаешь». «Так ведь Берия-то...» — не сдавался Лев Ильич. «Ладно, Лева, — сказал Яша, — все правильно, — и наклонился к его уху, — только ведь... озорники — не забудь...»

«Слушаешь?.. — ударил его в трубку Любин голос. — Вот телеграмма: «Яков умер похороны понедельник одиннадцать утра...» И подписи нет».

— Умер? — переспросил Лев Ильич, глядя на часы на руке. — Ты будешь?

«Нет, — сказала Люба, — это фарс какой-то. Зачем я пойду? Если б ты действительно был в командировке, и я б тебя не нашла... А вдвоем на похороны — делать вид... Не хочу. Гляди не простудись, кто сопли будет утирать. Или обеспечил себе?..»

Времени оставалось в обрез, жили они в новом районе, незадолго до того получили квартиру. Лев Ильич был там только раз, плохо помнил, а перед тем Яша проживал где-то в Останкине, в бараке с двумя дочерьми и несчастной женой...

Лепил мокрый снег, под ногами чавкала грязь, он плутал, как в лесу, между одинаковыми, без видимого смысла наставленными домами. У подъезда стояла машина, он кинулся к лифту, у дверей споткнулся о красную крышку гроба, люди на площадке, двери настежь, кто-то бросился к нему:

— Лева, Лева пришел! Мама, смотри — Лева!

«Господи, как изменилась!» — не сразу узнал Лев Ильич. И вспомнил жгучую еврейскую красавицу своего детства с яркими губами, черными косами, всегда в белом, полную, с томной улыбкой и неподвижными, темными, большими глазами — она несла свою красоту перед собой, как пирог на блюде. Она уже давно была не такой, ссыхалась, и глаза потускнели, но тут перед ним стояла старуха: растрепанная, седая, сухой лихорадочный взгляд ожег Льва Ильича. «А ведь надо было ходить сюда...» — мелькнуло у него.

— Спасибо тебе, Левушка, все-таки пришел. Нет, нет нашего Яшеньки!.. Как мучился...

Он гладил ее сухие волосы, другой рукой расстегивал на себе пальто, наконец оторвался, повесил пальто, протиснулся в комнату.

Гроб стоял на двух табуретках посреди комнаты, и лицо Яши, обращенное к вошедшему, было усталым, но спокойным, без всегдашнего суетливого страха. «Убежал, — подумал Лев Ильич, — тут они его не догонят».

Он услышал свое имя и имя отца — родственники переспрашивали, интересовались, кто и что, и тетя Рая называла его уважительно, объясняла.

Узкая, нескладная комната, полированная мебель — чисто, неуютно, пусто. И гроб стоял как в казенном, не в своем доме. Льва Ильича тронули за плечо, надо было выносить. Он никого здесь не знал. Старичка седого когда-то видел, но не мог вспомнить, мелькнули знакомые женские лица, сестры двоюродные. Гроб не разворачивался в узком коридорчике, пронесли в комнату напротив. И оттуда не выберешь. «Ногами вперед надо...» — поправил чей-то голос. Внесли в первую комнату, снова вытащили, обтирая спины, в коридор и опять застряли. «На пою поставим, другого выхода нет...» Стали поднимать, он оказался тяжелым, посыпались цветы, Лев Ильич испугался, сейчас он выпадет, но как-то справились, вывалились на площадку и пошли считать этажи, теснясь и задыхаясь на узких поворотах.

На четвертом этаже — на подороге, поставили гроб на табуретку. Лица у всех были красные, потные, спины перемазаны.

Двинулись дальше. Что-то было здесь неправильно, а что — Лев Ильич не мог схватить, его поймало ощущение пустоты происходящего еще в комнате, когда шагнул к гробу и увидел лицо Яши, никакого отношения не имевшее ко всему, что было вокруг, — к дому, выбитому с таким трудом под самый конец, к полированной мебели, даже к этим людям с заплаканными, измученными лицами. «А к чему он имел отношение? — подумал Лев Ильич. — Что же мы несем — человека, или холодильник перетаскиваем с этажа на этаж?..»

Они уже сидели в автобусе, он рядом с младшей из двоюродных сестер. Гроб потряхивало на выбоинах, он придерживал его, но тут их занесло, гроб подскочил и брякнулся о железные полозья.

— Хамы! — вскинулась женщина в шляпке и в пенсне с золотой дужкой. — Скажите ему, мужчины, не дрова везет!..

Лев Ильич смотрел на мелькавшие за стеклом ряды новых домов, унылых и безликих, на развороченную грязь возле новостроек. Вот и нет Яши. Не ходил к нему, редко вспоминал, но знал, живет где-то — последняя реальная связь с отцом. Про отца он не мог сейчас думать, да и про того, кто лежал, встряхиваясь под красной крышкой, тоже сил не было вспоминать.

Он вспомнил вчерашний день. Они еще не вышли с Таней за церковную ограду, Лев Ильич запрокинул голову, подставил лицо солнышку, вбирая свежий весенний воздух, крики галок, подтаявшая земля была не грязью, тоже открывалась солнцу, — Господи, как хорошо ему было!.. И его охватило то же чувство, как там, когда, держа за руки, они подходили ко кресту, слитно со всей церковью подвигаясь и ощущая ни с чем не сравнимую переполненность, которой он никогда прежде не знал.

— ...Мама теперь хоть вздохнет, — услышал он голос Иры. — Ты представить себе не можешь, как он всех извел, — три года, и конца не было: ни в дом никого привести, ни уйти, маму жалко...

Лев Ильич поежился, машину опять занесло, гроб трянуло, и дядя Яша, видно, крепко приложился о свою алую крышку.

— Что это такое?! — вскрикнула та же дама. — Ну что ж вы молчите?..

И опять ей никто не ответил. Город кончился, мелькали овраги, жиденькие рощицы.

— Куда мы едем? — спросил Лев Ильич. — В новый крематорий, что ли? — И он вспомнил страшное это сооружение — смесь дешевого советского модерна с конторской казенщиной. Был, и там уже был Лев Ильич.

— Ну что ты! — с какой-то даже гордостью воскликнула Ира. — Ты разве не знаешь дорогу? Мы добились кладбища. Там бабушка похоронена. Получили разрешение — дошли чуть не до секретарей Московского комитета. Старый большевик, имеет право — пятьдесят пять лет стажа...

— Какого стажа? — не понял Лев Ильич.

Ира возмущенно подняла плечи.

— Папа с тысяча девятьсот девятнадцатого года в партии.

«Мать-то получше была...» — безо всякого сожаления отметил Лев Ильич. Похожа, но не то, пройдешь — не заметишь, а мимо тети Раи никто не проходил, многие спотыкались...

— Ты знаешь, как это было? — горячо шептала Ира. — У нас уже разрешение в кармане, ходим по кладбищу, а бабушкину могилу найти не можем — с похорон не были, разве узнаешь! Ты был на бабушкиных похоронах?

— Меня в Москве не было, — ответил Лев Ильич, и ему вспомнилась высокая сухая старуха, умная, добрая, позволявшая себе пошутить другой раз над глупостью внуков да и всех, кто, бывало, лез к ней с утешениями и советами. Все потеряла бабушка при жизни, всех детей — и Яшу не дождалась. Да и раньше, когда еще все у нее было — и муж, и дети, и дом полная чаша, а такое творилось в том доме...

— ...Ходим, грязь по колено, все изменилось, хоронили летом, ничего не поймешь. А на новом месте ничем бы не разрешили, хоть и стаж пятьдесят пять лет. Нашли, когда я уже отказаться вздумала. А там бабушкина плита, дерево — могильщики не хотят копать. Сто пятьдесят рублей запросили. На сотне договорились, но обещали хорошо, в полную глубину.

По обеим сторонам дороги замелькали кресты, кладбищенская стена — они приехали. Снег валил как зимой, но мокрый; Лев Ильич сразу же плюхнулся в грязь, глина была жирная, еле вытащил ботинки.

Гроб поставили на каталку, Ира с каким-то мужчиной пошли оформлять документы. Почему ему казалось, что много людей? Шесть человек стояли вокруг каталки, зябко ежились, прятали посиневшие лица от мокрого снега, обтирали платками, сморкались и кашляли.

Подошла Ира с мужчиной.

— Это из нашего ЖЭКа, партийный секретарь, видишь, как уважали Яшу, — сказала тетя Рая, и Лев Ильич не понял, всерьез она говорит или с горечью.

И сразу подскочил старик в ермолке, в длинном пальто, в глубоких калошах.

— Кого хороните? — пропел он. Лев Ильич только в еврейских анекдотах слышал, чтоб так говорили. Старик не ответил. — Аид? — спросил он Иру, безошибочно определив, кто здесь главный. — Махем а муле?

— Ничего нам не нужно делать, — Ира оглянулась на мужчину из ЖЭКа.

— Как не нужно? — пропел старик; он сдвинул ермолку, и Лев Ильич увидел слуховой аппарат на веревочке. — Как не нужно? Нужно! Еврея хороните.

— Он был коммунистом! — сказала Ира и с брезгливостью посмотрела на старика.

— А коммунист не человек? — удивился старик. — Тоже человек, а еще еврей — ему и бриз делали...

— Иди, старик, ничего не получишь. Не нужно, сказано тебе? — подошел ЖЭК.

— Ну не нужно, так не нужно, — пробормотал, отодвигаясь, старик, но когда каталка двинулась, пошел следом, бормоча что-то себе под нос.

По асфальту аллеи каталка шла легко, но как только они свернули вслед за Ирой на боковую дорожку, колеса сразу увязли, они с трудом вытащили их, завязли снова, перенесли каталку на руках, продвигаясь шаг за шагом.

— Да отдайте подушку! — услышал Лев Ильич голос все той же дамы в пенсне. — Помогли бы лучше.

Лев Ильич поднял голову: дама в пенсне взяла из рук ЖЭКа шелковую красную подушечку, на которой блеснула медаль. Они выпили тогда с ним — «За победу в Отечественной войне», он и на войне побывал между двумя лагерями.

Они еще продвинулись и совсем встали. Дальше была лужа, Ира провалилась в нее по колено. Седой старик и старшая из сестер Рита с красной крышкой тоже стояли посреди лужи.

— Тут на руках, — сказал ЖЭК, — транспорт не пройдет.

Они подняли гроб и пошли по луже, не глядя под ноги.

Ира вдруг спохватилась, что надо было свернуть раньше, они двинулись в другую сторону, а потом, выбившись из сил, поставили гроб на ограду, поддерживая, чтоб не упал.

Все молчали. Снег перестал, но тучи висели низко, вот-вот повалит, ветер петлял в памятниках, а Ира, отправившаяся искать могилу, куда-то пропала.

— Может, покурим? — спросил Лев Ильич парня лет тридцати в шляпе и заграничной хрустящей куртке, вроде бы Ириного мужа.

ЖЭК глянул на него укоризненно:

— Не положено над покойником, дотащим...

— Сюда! Сюда!.. — услышали они Ирин голос. Она кричала, как в лесу, размахивала руками, показавшись далеко за поворотом дорожки, в стороне, противоположной той, куда они шли.

Они двинулись к ней. Скоро дорожка кончилась; они тащили гроб, продираясь между железных оград с черными, мокрыми памятниками, перед Львом Ильичом мелькали шестиконечные звезды, еврейские имена, хлопающие красные носы его спутников.

— Стоп, — сказал ЖЭК, шагавший впереди. — Дальше хода нет.

Они опять поставили качавшийся гроб на решетку. Надо было пролезть через две-три ограды. Ира визгливо кричала, обращаясь к могильщикам: прямо перед ней картинно выставился ражий мужик в расстегнутой на волосатой груди рубашке, второй сидел на сваленном памятнике в лихо заломленной зимней шапке и курил, сплевывая в невидную отсюда яму, третий стоял в яме по грудь и весело глядел на разошедшуюся Иру.

— Вы только поглядите! Мы обо всем договорились, а тут... — Ира осеклась, взглянув на мать.

Лев Ильич, оставив гроб, протиснулся между оградой к яме, увидел разбитую плиту с обломанной надписью: «Бабушка...». Веселый мужик стоял в желтой жиге и, когда Лев Ильич подошел, лениво выбросил лопату жидкой глины — брызги ударили Льву Ильичу в лицо.

— Извиняемся, — сказал веселый мужик, — пыльная работа.

— Смотри, Лева! Договорились, что воды не будет, что глубоко, а тут...

— А тут и сделать ничего нельзя, смотрите, какой грунт! Не летом помирать. И за две сотни не станешь. Смысла нет, — вразумляюще сказал мужик в рубашке.

— Да вы не расстраивайтесь, — поднялся с памятника тот, что курил, — еще минут двадцать — все будет в ажуре. — Он спрыгнул в яму и начал выбрасывать глину. Лев Ильич отошел к гробу.

— Что там, Левушка? — спросила тетя Рая. — Ира не разрешает вмешиваться, а ее всегда обманывают. Господи, и похоронить нельзя по-человечески...

— Сейчас, тетя Рая, — сказал Лев Ильич, вытирая платком лицо, — они еще не готовы. Подождем.

ЖЭК протянул сигареты:

— Раз непредвиденные обстоятельства...

У Льва Ильича дрожали замерзшие руки, спички гасли. ЖЭК прикурил и протянул ему огонек в широких красных ладонях.

Вторая сестра Льва Ильича — Рита, невысокая толстушка, курносая и розовощекая, взяла мать под руку и вывела на дорожку. На мужиков, весело шлепавших глину, Лев Ильич старался не смотреть. И тут он увидел давешнего старика еврея. Он тихонько стоял возле гроба, поглядывал на всех печальными глазами.

«А ведь он здесь единственный, кто понимает смысл происходящего, — странно так подумал Лев Ильич. — Не то, как это жалко, безобразно, а что-то несравненно высшее...» И он так ясно почувствовал смерть, глядевшую ему прямо в глаза с тихого, только у него одного здесь безмятежного лица Яши. Все была такая чепуха рядом с этим: и грязь, которой они были облеплены с ног до головы, и пьяные рожи удалых могильщиков, и возмущение дамы в пенсне, и Ирин гнев. Только тетя Рая с ее тихим горем вписывалась в то, что здесь происходило на самом деле, да еще мокрые черные ветви деревьев, мокрая ворона, низко пролетевшая над ними, да тучи, готовые вот-вот прорваться снегом ли, дождем...



— Готово! Кто тут у вас главный? — крикнул веселый мужик, тяжело вылезая из ямы в грязь по горло. — А вы сомневались — сам бы полежал, да дел много!..

— Прощайтесь, — сказал второй, в шапке, и полез к гробу с молотком в руке.

Тетя Рая отчаянно заплакала, припав к Яше, все топталась вокруг. Сестры поцеловали отца в лысый сморщенный лоб.

Лев Ильич подошел вплоть, глянул на такое непривычно спокойное лицо Яши, неожиданно для себя широко перекрестился и поцеловал его.

— Как вам не стыдно! — гневно блеснула на него из-под пенса дама. — Он еврей!..

— Он мой дядя, — сказал Лев Ильич. — И я тоже еврей.

Гроб накрыли крышкой в алом шелку, застучал молоток; они подняли гроб, но опять застряли между решетками. Тогда могильщик перелез через соседнюю ограду, гроб втащил туда, там принял его, оскальзываясь на глине, два других мужика, подвели веревки, и красный шелк тяжело плюхнулся в вязкую жижу.

— Дайте и мне бросить, и мне! — плакала тетя Рая, но Ира не пускала, боялась, что она увидит могилу, и тетя Рая плакала, зажав в горсти землю.

— Да пусти ты ее! — сказал Лев Ильич. — Давайте, тетя Рая, я вам помогу.

Она продвинулась, глянула и, всплеснув руками, кинулась к Льву Ильичу.

Могильщики работали быстро, молча, не останавливались, пока не забросали могилу, положили сверху венки, и уже было не так страшно.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказал Ире тот, что заколачивал гроб. — Через пару месяцев подсохнет, она даст осадку, подсыплет, и можно памятник ставить. Даже лучше, а то если б летом, целый год ждать.

Они выбрались на дорожку. Старик еврей держал в руке ермолку, черный прошлогодний листик прилип к лысой, как шар, желтой голове. Он бормотал, не останавливаясь, когда все проходили мимо.

Лев Ильич положил в ермолку мятую рублевую бумажку.

— Помолись за него, отец, — сказал он.

— Помолось, — ответил старик, подняв на Льва Ильича умные глаза. — А вы, я вижу, тоже молитесь?.. Какой у вас, я гляжу, странный кадеши. Эх, аид, аид...

Старик прошел мимо Льва Ильича, остановившегося у лужи помыть ботинки, и пошлепал дальше, чавкая спадающими с ног галошами. Остальные ушли далеко вперед. Льву Ильичу мучительно не хотелось их догонять, ехать вместе, да еще Ира просила зайти к ним. Но ведь обидится, да и нехорошо не простившись...

Он догнал старика, продолжавшего что-то бормотать.

— Послушайте, — сказал Лев Ильич, — у вас здесь выпить можно?

— Где ж еще выпить? — поднял на него глаза старик. — Но вам, наверно, лучше вон с ними, — он ткнул пальцем назад, где, весело перекликаясь, звенели лопатами могильщики. — Вы совсем гой, зачем вам пить с таким, как я?

Лев Ильич достал пять рублей и протянул старику.

— Ну если молодой человек не брезгует старым евреем... — Старик схватил деньги и исчез в боковой аллее.

Лев Ильич прошел немного вперед, свернул и, прислонившись к ограде, вытащил сигареты. «Анна Арсеньевна Гамбург, — прочел он. И пониже: — Урожденная Голенищева-Кутузова». Он поднял голову — в сером камне было высечено изображение: в полный рост стояла немолодая круглолицая женщина в вечернем платье, а перед ней на одном колене мужчина с кривым носом приник к ее руке. «А, и он тут...» — понял Лев Ильич и прочел пониже: «Петр Юдович Гамбург». «Кто же раньше — Анна Арсеньевна или Петр Юдович? — нелепо думал Лев Ильич. — Вот они — Ромео и Джульетта с нашего еврейского кладбища...» Он повернул голову — этот памятник был скромнее: шестиконечная звезда в левом углу, а под ней надпись: «Всю жизнь мы берегли тебя, но неумолимая смерть тебя вырвала. Человеку большой души и редкого обаяния. Мордухай Ягудаевич Глизер...»

Памятники стояли тесно, один к другому — лес памятников, черные ограды сливались с черными сейчас, мокрыми деревьями; и показалось вдруг Льву Ильичу, какой-то огненный смерч пронесся здесь, выжег все вокруг, и только черные несуразные пни свидетели того пожара.

— Не слышите, молодой человек? А я вас издалека кричу. — Старик с любопытством поглядывал на него из-под ермолки.

Они свернули раз, другой и вышли с тыльной стороны к зданию кладбищенской конторы. К ней примыкали сараи, склады, мастерские, грязь здесь была особенно жирной, валялись огромные камни — будущие памятники, стучали молотки, были слышны голоса.

— Сюда, сюда!.. — Старик толкнул неприметную черную дверь сарайчика и исчез. Лев Ильич шагнул следом. Это было тесное помещение, заваленное железным хламом, ржавыми прутьями от оград, проволокой, трубами. Тусклое оконце едва освещало стол на двух ногах, прибитый одной стороной прямо к стене. Старик

рукавом пальто вытер стол и выставил бутылку водки, коробку консервов, сверток в промасленной бумаге и полбуханки черного хлеба. Все это он доставал с видом фокусника из неприметного внутреннего кармана долгополого пальто.

— Прошу, молодой человек! Сесть не на что... Эге! Найдем и сесть. — Он выкатил из угла загремевшую пустую бочку и крикнувший от удара ящик в ржавых железных полосах. — Как вам мой ресторан?

— Мне хорошо, — сказал Лев Ильич. Он был рад, что его не найдут родственники, забравшиеся, наверно, в ожидавшийся их автобус.

— Стакан один, извиняйте. — Старик вытащил из того же кармана, запустив руку по локоть, мутный стакан и обтер грязным носовым платком. Потом достал из-под стола топор, ловко вскрыл коробку с кильками и разрубил хлеб на несколько кусков. В бумаге оказалась колбаса, нарезанная толстыми ломтями. Он сковырнул ногтем алюминиевую крышечку с бутылки.

— А как вас называть, если, конечно, не секрет?

— Лева, — сказал Лев Ильич. — А вас?

— Ну а меня в таком случае Соломон.

— Неудобно, а по отчеству? Вы постарше будете.

— Думаете, это имеет значение? Когда нас положат в ту воду — кто постарше, я имею в виду? Нет. Здесь становишься философом. Меня зовут Соломон Менделевич, если вас это интересует.

— Ну а меня Лев Ильич.

— О! Хорошее имя. Ваш папа был не Илья Репин — известный художник? Я подумал, если вы креститесь, то, наверно, у вас были благочестивые родители... Шучу, шучу, Лева, не обижайтесь на старого Соломона. Нас, евреев, мало, это только антисемитам кажется, что мы как песок морской, гвоздь им в печенку. А откуда нам быть, когда одних повыбивали белые, хай им на том свете будет жарко, других красные, чтоб и этим не скучалось, третьих зарезал Гитлер, чтоб он подавился, четвертые теперь побежали на историческую родину, где кушают хлеб обязательно с маслом, а вы начали креститься? Я вас спрашиваю, с кем теперь выпить старому Соломону, который не может не выпить, такая у него работа?.. Пейте, Лева, и не сердитесь на меня. Я понимаю, у вас трудная жизнь: один поступает в партию, и ему дают за это автомобиль «Жигули», другой идет в церковь, рассчитывая получить свои «Жигули» там. Только я скажу вам по секрету: там автомобиль не нужен. Вы видели эти похороны? Лучше бы на них не смотреть... Пейте, Лева, я всегда шучу, что еще мне остается, когда уже и выпить не с кем?

— Давайте сначала вы, так будет правильно, — сказал Лев Ильич; ему хорошо было в сарае — сидеть на железной бочке и слушать старика.

— Спасибо. Уважаете старость. Значит, я угадал, у вас были благочестивые родители. — Он медленно, как воду, не отрываясь, выпил стакан, крикнул и вытер губы рукавом. — Хорошая вещь, стоит денег. А стоят ли чего-нибудь эти деньги? — Он наполнил стакан и поставил перед Львом Ильичом.

Тот проглотил водку, и его передернуло.

— Не нравится? — удивился старик. — Ая-яй, надо было взять коньячку — я думал, вы пьющий. Закусите колбаской, свежая, только что зарезали, я еще видел, как она бегала...

Лев Ильич взял было кусок колбасы, но передумал, положил обратно на бумагу.

— Я лучше килечку, — сказал он.

— Ого! Вы серьезный человек! Я думал, это мода, как девочки ходят в штанах, а мальчики с длинными волосами. И не буду от вас скрывать, хотел вас даже подловить. Но раз вы соблюдаете пост, я должен вас уважать. — Он плеснул из бутылки. — Теперь вы пейте, а я люблю из дорогой посуды. — Он держал бутылку черными пальцами у самого донышка. — Бэрэшит бара Элогим эт хашамаим вэет хаарец!..

— Я не понимаю, — сказал Лев Ильич.

— Не может быть! Это все понимают. Думаете, я ничего не знаю? Старый Соломон ходит в синагогу и читает книги. Но это и в церкви понимают разбойники, которые пускали перья из подушки моей мамы — большой кол им в могилу! — в городе Сураж... Знаете такой город?

— Знаю, — сказал Лев Ильич. — Моя мама оттуда.

— О! — крикнул старик, лицо у него покраснело, на носу дрожала прозрачная капелька. — Как фамилия вашей мамы?

— Гроз.

— Что вы сказали?! — закричал старик. — Дочка Левы Гроза, у которого в Сураже была скобяная лавка и домашняя синагога на Мясницкой?

— Я не слышал про скобяную лавку, — сказал Лев Ильич, — но на Сретенке, где дед жил, на праздники у него собирались евреи.

— Вы мне будете рассказывать за Леву Гроза! — кричал старик. — За этого золотого человека, который никогда и мухи не обидел!.. Так вы сын его дочки... Так у него дочка... Да... Лева! — закричал старик. — Так я вас носил на руках на Рождественском бульваре, и вы, извините, запачкали мне однажды костюм, так что не в чем было идти на праздник к моему дорогому другу!

— Постойте, — сбился Лев Ильич, — на каком бульваре?

— Он еще спрашивает меня, какой бульвар? А какой бульвар начинается у Сретенских ворот и кончается Трубной площадью?

— Да, конечно, — смешался Лев Ильич.

— Конечно! Он говорит «конечно! Стоп! И после этого вы не знаете, что такое «Бэрэшит бара Элогим...»? После этого вы крестите себе лоб на похоронах своего дяди?

— Что такое «Бэрэшит бара Элогим»?

— Спросите в вашей церкви, они перевели эти святые слова на свой воровской жаргон, а пока я скажу вам сам, потому что я уважаю, что вы не стали есть колбасу, а я — Соломон Менделевич Шамес съем ее за ваше здоровье! Выпьем за эти слова. — Он стукнул бутылкой о стакан, поднял ее, запрокинул голову, так что стала видна тощая шея, замотанная грязной тряпкой.

Лев Ильич тоже выпил и положил на хлеб еще одну кильку.

— Это значит... — начал старик и бросил в рот кусок колбасы. — Какой, я вам скажу, продукт! Между прочим, можно прокормиться рядом с православным человеком, но лучше, если вы хотите правду, быть от него все-таки подальше... Что значит? Слушайте меня: «В начале сотворил Бог небо и землю...» Где были бы ваши православные — чтоб им пить и не закусывать! — когда б Он не сказал этих слов, и где они были, когда Он разговаривал с Авраамом и являлся Моисею? Они сидели на дереве и шевелили хвостами.

— Я думаю, вы заблуждаетесь, Соломон Менделевич, — сказал Лев Ильич.

— Он думает! Он — большой богослов!.. Я смотрел, как ты идешь по кладбищу мимо еврейских могил, мимо памятников и надгробий, — неужели они не говорят тебе: «Ты — еврей, внук Льва Гроза из Суража, ты отрезан от своих братьев, твои кости не будут покоиться здесь, никогда не смешаются с костями твоих предков, пусть тебя положат рядом, но под крестом — никогда Господь их не смешает! Неужели пламенем не загорится твоя душа, если ты попробуешь зайти в синагогу или даже пройдешь мимо и услышишь жалобы и стоны своего народа или бессмертные мелодии Судного дня? Да, если услышишь, то поймешь: вечная пропасть навеки отделила тебя от твоего народа. Ты услышишь, как в твоей душе заговорит голос твоего деда, стены синагоги будут кричать: «Мешумед! Отступник! У тебя нет больше удела в твоём народе, в его вере, в его Боге — ты им всем изменил!..»

Лев Ильич встал, он не знал, что делать.

— Ты думал, что купил старого Соломона Шамеса за бутылку поганой водки? — кричал старик, выпучив налившиеся кровью глаза. — Меня, который нянчил в Гомеле твою бедную мать, которому твой дед в своей домашней синагоге на Маросейке подарил талес? Я лучше тем бандитам, что копали сегодня яму твоему дяде — сто болячек им в голову! — буду бегать за водкой, чем с тобой — мешумедом пить ту поганую водку!..

Он схватил со стола бутылку, замахнулся, потом плюнул, повертел бутылку в руках и неожиданно сунул в бездонный карман своего пальто.

Лев Ильич спиной вышиб дверь и не оглядываясь пошел вон с кладбища.

## 2

Валил мокрый снег, грязь была непролазная, автобус, конечно, ушел; Лев Ильич надвинул на глаза кепку, поднял воротник пальто и двинулся по шоссе к смутно видневшимся сквозь летящий снег далеким корпусам — сегодняшней границе шагавшей сюда Москвы.

Он прошел мимо стены старого кладбища, замелькали кресты кладбища нового, и они кончились. В открытом месте ветер рванул полы его пальто, пролетевший мимо грузовик обдал его грязью.

Мешумед, думал Лев Ильич, стоны и плач в синагоге, кости моих братьев, с которыми никогда не смешаются мои кости. А эти похороны в красном гробу — как будет с костями моего бедного дядюшки, который плавает сейчас в глиняной жиже?.. При чем тут дядюшка, зачем его красный гроб — о нем, что ли, речь? Он, что ль, мешумед. Тут-то и был фокус. «Фокус — не аргумент», — ответил сам себе Лев Ильич.

Взвизгнув, затормозила облепленная грязью машина.

— Далеко топаете? Садись, ежли не спортсмен.

Такси! — обрадовался Лев Ильич. В машине было тепло, он стряхнул снег с кепки, мокрыми руками вытащил сигареты.

— Куда путь держим?

— Прямо, — сказал Лев Ильич — куда ему было ехать? — Прямо, а там видно будет.

— Милое дело! Люблю прямо, да все время вбок сворачиваю..

Машина подлетала к городу, навстречу выплывал в снежной мгле пятиглавый храм с колокольней, а рядом безликой, привычной и такой знакомой толпой стояли огромные корпуса, в которых сейчас пили, ели, ссорились, что-то делили, любили друг друга. А храм был темный, брошенный, но все равно живой, столько чувствовалось в нем мощи, смысла, и сегодня не разгаданного, — войди в него, пусть брошен, ободран, загажен, — Дух, Он где хочет дышит...

— Знаешь что, — сказал Лев Ильич, — ты извини меня, я тоже прямо-то не могу, — и он назвал адрес: портфель остался у тети Раи, да и ждут, поминки...

Дверь, как и утром, стояла не запертая, возле лифта на площадке прогуливались ЖЭК и Ирин муж, в костюмчике, с галстуком на темной рубашке. Курили. Они обрадовались Льву Ильичу: «А мы все смотрим, смотрим...» — «Так получилось...» Он заглянул в комнату — в ту, где стоял гроб. Посреди был стол под белой скатертью, уставленный закусками, бутылками. Ира на него строго посмотрела, ничего не сказала, а дама в пенсне демонстративно отвернулась.

Лев Ильич взял щетку, кое-как очистил брюки, вытер ботинки, умылся. Позвали к столу. Немного было народу — те же. Какая-то женщина со знакомым лицом — нянька, что ли, старая? — хлопотала, накрывала на стол.

— Нянюшка, — сказала тетя Рая, — видите, какой Лева стал большой, солидный.

— Да я гляжу — ровно бы он, а меня не узнает, может, другой, похожий?..

Рита посадила его рядом с собой. Она была к нему помятая.

— Холодец накладывайте, — угощала тетя Рая, — с чесночком, и горчица есть. Яшенька так любил холодец, и до последнего все, бывало, просил: «Сделай мне холодцу...» — Она заплакала.

— Налили? — спросил седой старичок. Он сидел во главе стола, спиной к окну. «Кто такой?» — Лев Ильич пытался вспомнить и не мог. Старичок поднялся с рюмкой в руке. Все встали.

— Сегодня, — начал он строго, — мы проводили в последний путь нашего дорогого Якова Исааковича Гольцева. Нашего Яшу. Трудно говорить, а еще трудней поверить, что его нет за этим столом. Хотя он давно с нами за столом не сидел — тяжелая болезнь вырвала его из наших рядов... — Он помолчал. — Я помню Яшу молодым, когда его из всех здесь присутствующих только и знала одна Рая. Когда он был моложе своих дочерей. А уже коммунист, большевик, с наганом в изуродованной руке...

«Батюшки! — вскинулся Лев Ильич. — Вот это кто!» Как мог он забыть дядю Семена!.. Никакой не дядя — приятель, еще по Витебску, откуда они родом — отец и все Гольцевы. Такой был зануда, маму мучил: и сына она не так воспитывает, и деньги не туда тратит, и одета слишком легко зимой и тепло летом — до всего ему было дело. И какие книги читать, какое кино смотреть, и как учиться, как работать, они, мол, все успевали — и в гражданской участвовали, и оппозицию громили... Особенно Яша громил и участвовал: руку себе в девятнадцатом году прострелил, чтоб в армию не взяли, как от дезертирства спасся? Да ведь он уже в партии был, сам небось вылавливал дезертиров, покаленной рукой что надо подписывал! А про оппозицию что говорить, вспомнилась ему оппозиция в тридцать шестом славном году, когда его взяли вместе с отцом в один день... Как он мог забыть Семена! Отец его в дом не пускал, а у Яши он всегда распускал хвост — говорун-говорун, дурак, а уцелел, ни разу не тронули!..

— ...Яков всегда был для нас, старых коммунистов, примером кристальной ясности, — говорил Семен. — Он не держал на партию обиды за свои переживания, он знал: так нужно, мы куем новый мир из обломков старого, много грязи досталось нам от проклятого прошлого. Он не задумываясь пошел на фронт, хотя, покалеченный еще на гражданской, мог бы найти себе дело в тылу...

Да уж, наверное, из лагеря, из Воркуты, готов был не только на фронт... — подумал с тоской Лев Ильич; давненько он такого не слышал.

— Так он и дочерей воспитал, хоть и не всегда был с ними: честными, принципиальными советскими людьми, которые никогда не прельстятся ружьем раем — у них он свой, политый нашей кровью и потом. Яков был солдатом революции, принесшим с собой из затхлого мира нищего царского местечка очистительную ненависть ко всему, что ему мешает, к куску хлеба с маслом, за который и сегодня предают идеалы. Он был из того мира, отмеченного на его заре и высеченного в бронзе Максимом Горьким...

«Ну, слава Богу, не ошибся — тот самый Семен...» — усмехнулся Лев Ильич. И про Максима Горького, и кусок хлеба с маслом покоя им не дает. Тот старик на кладбище забыл, верно, как оно выглядит — масло-то, он водкой жив, а Семен всегда норовил у других оттягать, небось вместе с дядюшкой ходили с талонами в распре-

делитель, еще и Лев Ильич застал, помнил те распределители, не стеснялись. Ну да это не расходилось с идеалом. Кто он все-таки — сумасшедший, как дядя Яша, или просто мерзавец?..

Лев Ильич не выдержал, сел, подцепил огурец на вилку.

Семен покосился на него и закончил с подъемом:

— Спи спокойно, Яков, мы не забудем ни того, что ты сделал для нашей партии, ни того, сколько еще предстоит, а сегодня особенно, когда не впрямую, не открыто, а исподтишка проникает враг, норовит залезть в дом, запачкать твой святой красный гроб.

«Все-таки заработал,— обрадовался Лев Ильич,— это непременно про меня...»

— Левушка, что ж ты холодец,— беспокоилась тетя Рая,— или не любишь?..

Речь Семена явно никого не удивила, все было как быть должно.

— Оставь его, Рая, у него свои законы,— это дама в пенсне подала реплику.

— Какие законы? — удивилась тетя Рая.— Холодец свежий, вот Борис Иванович человек новый,— обратилась она к ЖЭКу, соседу Льва Ильича.— Как вам мой холодец?

Льву Ильичу стало стыдно. Он положил себе,ковырнул вилкой.

— Разрешите и мне,— сказал ЖЭК, поднимаясь с полным стаканом.— Я, верно вы выразились, человек здесь новый, первый раз, можно сказать. Случая не было... Я имею в виду, никогда с этой квартирой у нас никаких недоразумений. И квартплата в срок. А дом новый, недоделки. Но мы, между прочим,— он строго глянул в сторону Семена,— тоже в свой дом врагов не допустим. Не выйдет! — Он рубанул по столу рукой.— Я, конечно, такого стажа, как предыдущий товарищ, не имею, но как коммунист и представитель общестственности скажу.— Он помолчал и с печалью поглядел на стакан с водкой, который поднес было ко рту.— Товарищ Гольцев был образцовым жильцом. Ни разу не пожаловался, ничего для себя не просил, хотя имел, как говорится, все права и более того... Такой был случай, с год уже, а запомнился. На прогулке он был и заглянул к нам в ЖЭК. А у нас как раз разбиралось заявление одного такого, простите меня, жильца...

— Что это вы, здесь не собрание! — сказала непримиримая дама в пенсне.

— Минуточку,— остановил ее ЖЭК,— я еще не кончил. У нас, может, и не собрание, я человек новый, но договорить над свежей, так сказать, могилой коммуниста должен и имею право.

— Конечно, Борис Иванович, мы вас очень уважаем и благодарим, что зашли, Яшу не забыли,— заплакала тетя Рая.

— Заходит товарищ Гольцев к нам в ЖЭК,— торжественно продолжал оратор,— а мы разбираем заявление о разделении санузла. Товарищ проживает в однокомнатной квартире вдвоем с женой, но ему, видите, неудобство. Громкий был у нас разговор, вполне, можно сказать, принципиальный, товарищ пытался давить демогией — не про-хо-дит! Хоть и за свой счет, а нарушать поэтажный план не положено... И тут товарищ Гольцев вмешивается. Мне, говорит, странно заявление этого товарища. У меня, говорит, квартира трехкомнатная, санузел отдельный, а я б даже просил ЖЭК, чтоб мне его объединили — сломали бы стенку. Потому, мол, я против одиночества и всегда был за коллектив...

За столом замерли, оторопели.

— Это он знаешь зачем? — зашептала Рита в ухо Льву Ильичу.— Подслушивающую аппаратуру боялся, а там, считал, трудней установить, воду можно пускать в ванне...

Лев Ильич застыл с холодцом во рту.

— Я привел этот, может, и незначительный эпизод из боевой биографии товарища Гольцева, чтоб сказать, что человек и в малом виден, а может, в малом-то он виден лучше. Это я по опыту работы с жильцами могу утверждать.— Он опять строго посмотрел на Семена.— Спи спокойно, товарищ Гольцев, и за наш дом не тревожься. Чем сможем — поможем вашей замечательной семье. И поэтажный план нарушать не дадим.

Все выпили в некотором даже оцепенении.

— Ну ты даешь, Борис Иванович, с поэтажным планом! — хмыкнул через стол Ирин муж.

— А ты думаешь— шуточки? — обиделся ЖЭК.— Попробуй посиди хоть день в нашей конторе — не то запоешь. Это кажется легко: напоминай, мол, чтоб платили. А как быть с растущими потребностями? Мы имеем дело с живым человеком. А живой человек, известно,— у меня у самого потребности растут и остановиться не могут! — подмигнув на Ириному мужу.

— Я думаю, не очень и уместно про эти свои... как вы их определяете...— начала дама в пенсне.

— Потребностями. И не я определяю,— не сдавался ЖЭК,— а директивные партийные документы. Ну-ка, пусть нам старый коммунист разъяснит... Не всегда жилец такой сознательный, как наш юбиляр... Простите.

— То-то вот, что «простите»,— ввернула дама в пенсне.

— Может, музыку послушаем? — сказал Ирин муж. — У меня записи есть новые...

— Будет тебе, — вмешалась нянька, — записи! Чай не именины.

— Что-то и не кушает никто, — поднялась тетя Рая, — холодец остался...

Эх, тетя Рая, тетя Рая! — думал Лев Ильич, глядя в ее потухшие глаза, на неприбранные седые волосы, в тусклое, неживое лицо. Конечно, горе все сокрушило, даже не горе — полное отупение от всего. Я раз за два года забежал, а потом вспоминать не решался, а тут день за днем — монотонность, безнадежность... Потухнешь, сокрушишься. Разве только это — и другое было! Тут не тому удивляться, что потухла и потускнела, а что жива — холодцом потчует!.. Да ведь кроме жалкого преуспеяния, пустой карьеры, когда Яша в райкомовском кабинете решал чьи-то судьбы, кроме того была красота и молодость, пришедшая на двадцатые лихорадочные годы, а еще годы тридцатые: вот где звездный час тети Раи! И он представил себе Лубянку, Кузнецкий, толпу женщин, Раю... Печально стало у Льва Ильича на сердце. Как она пришла к тому человеку, как родилась та мысль? А что такого — пришла к своему профессору за советом, за помощью, вчерашняя студентка, с томными глазами, с плавной полнотой... И ведь сделал, что обещал, вот что удивительно! Сколько было таких историй, натешившись, про обещанное позабывали, — погулять, воспользоваться — какой в том грех, с врагом имеешь дело, а вот сдержать слово — за это могли спросить по всей строгости классового сознания! Что же, совесть заговорила? Какая совесть! Читал недавно Лев Ильич его речи, и по тем временам поразительные — никто себе такого никогда не позволял: средь бела дня лгать на весь мир, упиваясь собственным каннибальским красноречием, даже не пытаясь — не желая! — соблюдать хотя бы видимость правосудия или хоть какие-то человеческие нормы. От того кровавого пафоса и сегодня, спустя сорок лет, муторно становится, — но ведь читали, глотали ту кровавую жижу!.. Почему он все-таки сдержал слово? И Яша выкрутился, через пять лет вернулся, а еще через тридцать спокойненько в красном гробу плюхнулся в глину, провожаемый теми же речами... Может, профессор за то с Яшиным братом сквитался? Эх, темна была вода, не разглядишь! Чтоб еще брата — отца Льва Ильича — спасти, и ее волооких библейских глаз не хватило б, Эсфирь, быть может, только... Нет, и Эсфири ту задачку не решить, да ведь и Артаксеркс, и первый человек после него в Сузах — не Сталин с Вышинским!..

— Разрешите и мне два слова? — Лев Ильич налил себе водки, но не встал, опустил голову. За столом замолчали, только дама в пенсне фыркнула.

— Конечно, Левушка, Яшенька так тебя любил... — Тетя Рая снова заплакала.

— Мой дядя, — начал Лев Ильич, — Яша был легким человеком. Такому человеку и жизнь была б нужна совсем другая — легкая. А она его с самого начала вон куда потащила. Веселый он был человек. И выпить с ним хорошо было, и поговорить про все на свете, и по улицам погулять. А он схватился еще мальчишкой за маузер, так и держал его, пока самого тем же самым... Не ту жизнь он выбрал, а может, его не та жизнь выбрала — не по его плечам. И все-таки счастливым он был человеком, мой дядя Яков. Таким счастливым, что вот и сегодня, глядя на страшные эти... — Лев Ильич запнулся, представив не уходящий из глаз красный гроб, плававший в глиняной яме. — Провожая его, думалось: ну как же тебе повезло, Яша! А счастье его, радость — а ведь он это знал, понимал, потому и бывал порой веселый, как ребенок, — посчастливилось ему встретиться с тетей Раей...

— Что ты, Левушка! — охнула тетя Рая.

— И так посчастливилось, — поднял на нее глаза Лев Ильич, — в самом чуть ли не детстве, когда он себя и человеком еще не признавал, мужчиной не был. Это книжные люди полагают, что коль держит человек в руке пистолет или ножик, он — мужчина. Не так ведь, а, тетя Рая?

— Ну знаете!.. — вскинулся Семен.

— Да уж знаем, — не сбился Лев Ильич. — Навидалась Россия мальчишек с ножами и пистолетами, возмнивших себя мужчинами. Да уж так, кто берет нож, от ножа и погибает. Не нами сказано, а иначе не бывает. И не у таких, как Яша, спину ломали, не такие, как он, за тот стаж собственной кровью расплачивались. А он вернулся. Девочки при нем выросли, даже начальник ЖЭКа, строгий к своим жильцам, и он помнит его добрым словом. А все тетя Рая, ее любовь, которая оказалась посильней ножа. Вот кому всем обязан Яша — не партии, вы уж простите меня, Семен, лучше б не вспоминать ее за поминальным, тети Раиными руками сделанным холодцом, да я стаж его — не насмешка ли? Любовь тети Раи, которая не просто спасла его, она ему жизнь светом наполнила, про который он за пистолетом своим и позабыл бы, соль не она — не тетя Рая и не любовь ее великая... Давайте мы за тетю Раю выпьем, за страдания ей поклонимся, пожелаем покоя, сил помогать ее и Яшиным девочкам. Зудь здорова, Раечка!.. — Лев Ильич выпил, отправил в рот кусок холодца и улыбнулся. — Замечательный у тебя холодец, а я, дурак, отказывался!..

Все молчали, а тетя Рая тихо плакала.

— Вырос мужик, — встала с места нянька и в сердцах громыхнула тарелкой. — Не то что наш, прости Господи, записи ему подавай. Записи тебе — как же, музыку! Спасибо, Лева, утешил, спаси тебя Христос!

Все полезли из-за стола. Рита, когда Лев Ильич протискивался мимо нее, обняла его и поцеловала.

— Еще чай будет, — спохватилась тетя Рая, — у нас торт есть.

Лев Ильич закурил, к нему подвалил ЖЭК, стрельнул сигарету. Они вышли к лифту.

— Послушай, — сказал ЖЭК, глядя на Льва Ильича пьяными шальными глазами, — у тебя время есть?

— Какое время? — не понял Лев Ильич.

— Тут, понимаешь, баба, квартирьершемица из нашего ЖЭКа... Пойдем, больше не дадут, да и им отдохнуть, а заядлый со стажем заведет шарманку... Видел, как на тебя выскочил? Такая, я тебе скажу, баба: и коньяк, все как положено. Тоже Фира, между прочим. Про все — и поэтажный план позабудешь.

«По делам вору и мука...» — подумал Лев Ильич. Начался мой еврейский разговор с праотцев — с Авраама и Моисея, да еще пораньше — с тех дней, когда Господь создавал небо и землю, даже книгу «Есфирь» вспомнил! — а кончился пьяной болтовней о лихой Фире, заставившей начальника ЖЭКа забыть поэтажный план!..

— Левушка, Борис Иванович, где же вы? Чай на столе, — выглянула на лестницу тетя Рая.

— Спасибо, Раечка, надо идти. Я обязательно приду, не сердись на меня...

## 3

Он успел застать ее еще в редакции. «Ой, хорошо как! — обрадовалась Таня. — А я уходить собралась. Вы где?» Лев Ильич стоял в телефонной будке, так тепло ему стало от ее милого голоса, от искренней радости — значит, нужен кому-то?

Они пошли пешком — не очень было далеко, да и спешить некуда. Таня вчера ему рассказала, доверила: драма, решение надо принять... Какое может быть решение — все ясно. Отца-матери у Тани не было, никого не было у современной этой девчонки с модными глазами. Одно внешность, а на самом деле другое...

Так и этот гигантский город живет двумя жизнями, думал Лев Ильич, внешней, грохоту на весь мир, и главной, единственной, чужому неведомой. Ничего не осталось, кроме названий, да и они завтра позабудутся. И он попытался вспомнить название улицы, по которой они шли, — Остоженка, а может, Пречистенка? Какая из них какая?.. И все-таки чего здесь больше — внешнего: машины, асфальт, люди как придаток к машинам, позабывшие запах земли под асфальтом? Что за жизнь может быть под асфальтом, под катком, регулярно его приглатывающим, — уродливая, затоптанная?.. Ну да, подумал Лев Ильич, если говорить с точки зрения асфальта или каблуков, весело по нему отщелкивающих, с точки зрения катка — попробуй останови его, ляг на дороге! Но разве тупая сила — свидетельство истинности и жизни? А травинка, пробивающаяся сквозь трещины в асфальте, — чудо, реально существующее сегодня, когда для чудес нет ни места, ни времени, когда их смяло катком столь же тупой иронии? Асфальт или травинка — что жизнь и чудо?.. С точки зрения травинки не много стоит асфальт. Особенно когда приходит пора, а ведь она непременно придет, когда вы роете яму, чтобы лечь в нее, — каково оказаться в залитой водой глине? А травинка растет и в яме, и через месяц-два бугорок над ней зазеленеет... И он просчитал про себя двадцать веков, и еще сорок до того, и еще столько же; он представил себе пору, когда на самой заре истории впервые показалась небольшая толпа полудиких пастухов, вышедших вслед за Авраамом из Месопотамии, из Харрана, путь их лежал через пустынные области в землю Ханаанскую. Он попытался припомнить, что было до того, потом обратно сквозь тысячелетия, и, очутившись здесь, в гремящем, грохочущем, готовом все затопить городе, он увидел — ту же травинку. Ему показалось, он услышал ал, как она дышит, толкается под его ногами, под толщей асфальта, — та самая травинка, что была посеяна Господом еще до того, как Он создал человека из праха, и конечно, не человеку сделать что-то с Божьим созданием. Как и не тому, что сделано человеком, его же и погубить.

— Что с вами, Лев Ильич? Вы не слышите меня?

Он поцеловал ее холодную ладошку.

— Прости, Танюша, я сегодня устал и... пью целый день. Прости — задумался.

Они вошли в квартиру. Лев Ильич не помнил ее, да и ничего не осталось от той ночи, кроме чувства стыда. Но сейчас все было другим.

— ...они попозже будут, — тараторила Таня, — мы пока вдвоем...

— Как попозже? — услышал Лев Ильич. — Ты про Лиду?

— Я вам об этом всю дорогу, — удивилась Таня. — В том и дело, я обрадовалась что вы зайдете, чтоб поглядели. Она замуж выходит. С ним придет.

— Да, да, — сказал Лев Ильич, — конечно, надо посмотреть.

Он сидел на беднейшей кухне, Таня поставила чайник, обтерла клееночку... Как сложно в каждом доме... — думал Лев Ильич. Родные сестры, одинокие, а друг от друга, может, самое главное прячут. Он вспомнил вчерашний разговор с Таней за обедом в шикарном ресторане. Совсем это было лишним — и ресторан, и официант, подмигнувший ему, когда он спросил Таню, что ей выпить, потом грянул оркестр, — ни к чему это было после всего, что с ним происходило утром. Сколько еще сидит во мне пакости, думал Лев Ильич, чистить и чистить.

А Таня ни на что не обращала внимания. Простая была история: она беременна, так вышло, и если даже захочет к ней вернуться, она твердо решила — не бывать тому. Решить-то решила, а поговорить с кем-то надо. Конечно, мол, она понимает, что скажет священник — заранее известно, и заикаться нечего, но может, у нее нет права рожать, как она его вырастит, а замуж и думать нечего — и так никто не берет. Потому она и обрадовалась Льву Ильичу, увидя его в церкви, и что он с отцом Кириллом знаком. Лев Ильич начал было объяснять, какая это радость — ребенок, еще что-то... Самому стало стыдно: таким на него пахнуло безнадежным бытом! Комнатка, общая с Лидой кухня, пеленки, из редакции уйдет, денег не будет — пока до яслей, до детского сада.

Они пили чай с баранками, Лев Ильич отогревался, но тут брякнул звонок, Таня метнулась к дверям, громкие голоса, поцелуй.

— А!.. Мил дружок? Не ожидала! А ну знакомьтесь: мой суженый, а это — ряженный! А это — Лев Ильич, Танин сослуживец, старая моя любовь. Так аль не так? — Лида сбросила на плечи яркий платок — лицо румяное, глаза шальные. — А ну, судьбинушка, открывай саквояж! — Чемодан шелкуня замками: водка, коньяк, виноград, консервы, коробка конфет. — Что, Танюх, выходить замуж?!

Таня стояла у плиты, на щеках проступали красные пятна, молчала.

— Иль не рада? Да ну, как не рада, смотри не влюбись, глаза повыцарапаю, несмотря что сестра... Все! Садитесь, гости дорогие, можно б в комнату, да уж сели, сидим, пьем — и ни с места!

Лев Ильич на «суженого», «судьбинушку» поглядывал. Ему показалось сначала: видел его иль похож на кого-то? Черный как уголь, бритые щеки отливают синевой, костюмчик новенький, а свитерок, как у художника, потрепанный, руки не рабочие, а здоровый парняга, плечищи. Деятель общественного питания — решил Лев Ильич, трест столовых и ресторанов. Движения свободные, размашистые, глаза быстрые, живые, настрожен — не понял ситуации: что, мол, за фрукт, как себя вести, показать, не в гости пришел, жить вроде бы. Нет, не знал его, но на кого-то был похож, видел таких скромников, пока до дела не дойдет или деньгами не запахнет. «Эх, Лида, Лида!..» — вздохнул Лев Ильич.

Второй, «ряженный», — коротышка, в рост тринадцатилетнего мальчика, но крепкий малый, грудь колесом, лысина во всю голову, золотые зубы, он их, впрочем, не показывал, только, поздоровавшись, щелкнул, как увидел Льва Ильича, обиделся: пригласили в дом, где будет женщина, а тут кавалер! Пиджачок в крапинку, голубые брючки, яркий галстук на темной рубашке — и верно, ряженный!

Едва уселись, разлили, Лида подхватила с места:

— Что ж я, и квартиру не показала? Как не люди — на кухне да водку жрать!..

— Да ладно, Лидуша, — застенялся суженый, — сидим хорошо. Дай познакомить-ся. а то слышал: сестра, сестра, теперь вижу — сестра.

— А сестра вам для какой надобности? — спросила Таня.

Лев Ильич даже вздрогнул — так она их ждала, хотела, чтоб была семья... Но видно, ей сразу это все не понравилось.

Лида ничего не успела сказать. Таня, стоявшая у плиты, скрестив руки под грудью, вдруг закричала, забила... Лида и Лев Ильич, опрокидывая табуретки, бросились к ней: над плечом у Тани распустился, потрескивал разноцветный зонт хлопущи.

— Это он — он! — кричала Таня, со страхом глядя на ряженого.

— Простите, мадам, — ряженный скромно склонил прорезанную не то морщинами, не то какими-то рубцами лысину, — искусство всегда сильно действует на непосредственную, а стало быть, особенно восприимчивую натуру.

— А я — я? — закричала Лида. — Что же ты про меня забыл, Аркадий?

— Возможно ли? — патетически спросил Аркадий, и желтые глаза его загорелись тяжелым, мрачным огнем. — Возможно ли забыть про вас?.. Позвольте ручку.

Лида протянула подрагивающую руку.

Аркадий, не поднимаясь, крепко взял ее, кисть у него была широкая, сильная. Другой рукой он скользнул до ее обнаженного локтя, все так же тяжело и не мигая глядя ей в глаза, потом что-то в глазах у него как бы дрогнуло, — и Лида закричала, отдергивая руку: по ней бешено вращалась, спиралью закручивалась, подбиралась



ближе к плечу огненная змея... Потом она исчезла. Лида подняла руку к уху и вытащила красный шарик.

— Вы... фокусник? — изумленно спросила Таня.

— Ну что вы! — Аркадий не улыбнулся, хлопнул стопку и понюхал корочку. — Фокусник — это высокий класс, а я скромный чудодей. Служитель культа. — Он наполнил стопку. — За очаровательных хозяек, которые были так добры, что уделили несколько мгновений моему скромному ремеслу.

Теперь все сидели тесно за столом, даже Таня позволила налить себе и чуть пригубила.

— И вы много... такого знаете? — спросила она, не спуская глаз с Аркадия.

— Что вы, — скромничал Аркадий, — забавы молодости. Теперь это в большом плюсквамперфекте. Наша дорога с моим другом и идейным руководителем, не побоюсь сказать, гениальным преобразователем древнего жанра — Василием Постниковым проложена через иные сферы. Не так ли, Вася?..

Он проговорил свою тираду, по-прежнему тяжело глядя Лиде в глаза. Льву Ильичу показалось, между ними в тот момент, когда он держал ее за руку, установилась какая-то связь: Лида откинулась, прислонилась к стене, уронила одну руку на колено, из ее полузакрытых глаз тянулась и тянулась нескончаемая нить, которую фокусник крутил на поросшем рыжеватым пухом пальце с тяжелым серебряным перстнем.

— В каком же вы теперь жанре выступаете? — спросил Лев Ильич, надеясь перебить, порвать то, что становилось просто неприличным.

— Может быть, ты, Вася, объяснишь нашему новому другу? Хотя бы принципы, ибо все объяснить, как вы сами понимаете, невозможно: возьметесь ли вы рассказать «Реквием» Моцарта?

Ряженный глянул на Льва Ильича, и тот засмеялся: он добился своего — нить была порвана, и Лида освобожденно вздохнула.

— Напрасно смеетесь. — Аркадий налил, выпил и бросил в золотую пасть корочку хлеба. — Видите эту роскошь? — широкий жест на уставленный яствами стол. — Может ли бедный артист позволить себе такое, даже когда он ослеплен любовью, как мой высокоталантливый друг? Чтоб оформить бриллиант чистойшей воды, нужно достать другой бриллиант, и только заложив его, мы соорудим достойную оправу... Я доходчиво объяснил?

— Да, только не ответили на мой вопрос.

— Интеллигенты! — щелкнул металлом Аркадий. — Им подавай ответы, вопросов у них миллион. Искусство не отвечает на вопросы. Как я вам объясню «Реквием», ежели вы его слушать не хотите, будто Моцарт бухгалтер или лектор по распространению!..

— Сдаюсь, — засмеялся Лев Ильич, — вы правы, Моцарт. Тем более охота хоть что-то узнать про ваш «Реквием».

Аркадий снова смотрел на Лиду, а Лев Ильич, глянув на его товарища, увидел, что и тот смотрит на нее.

— Ну что ж, — продолжал Аркадий, — я попытаюсь поверить нашу гармонию жалкой и ничтожной алгеброй слов... Некий автор на заре российского развития бросил в мир гениальную мысль, никем не услышанную. Дикая эта страна, убивающая своих пророков, прошла мимо его открытия, называя гениальной шалостью. А между тем... Ты не возражаешь, Вася?

— Я терпелив, — Вася не спускал глаз с Лиды, на приятеля он не смотрел, oh, как я страшно терпелив!

«Да ведь он тоже актер! — осенило Льва Ильича. — А я думал, общественное питание...»

— Понял, — кивнул Аркадий. — Понял и учел... Мы с моим дорогим другом, повинувшись душевному движению, а кроме того, стремясь к изобилию, — он снова широким жестом указал на стол, — поставили мистерию, оставив позади жалкие потуги убогих лекторов и плакатистов, так называемых безбожников и борцов за новое мировоззрение. Ну скажите положила руку на сердце, может ли вам прийти в голову отправиться сегодня слушать лекцию о том, что религия опиум для народа?

— Нет, — сказал Лев Ильич, — такая мысль мне прийти в голову не может.

— Браво! Смелый ответ. А за смелость услышите откровение.

Теперь Лев Ильич понял, что ряженный просто пьян — тут ли он успел нахлестаться или раньше, но сейчас его явно стало развозить.

— Вы не пойдете на лекцию, наша пропаганда будет хлопотать перед пустым залом, а дурман вползет в ваш дом и в душу. Вы бывали когда-нибудь в церкви, мой новый друг?

— Бывал, — ответил Лев Ильич.

— Браво, смелый ответ! Значит, видели воочью несо... несостоятельность нашей агитработы. Мы с моим гениальным другом приходим им на помощь. А вот их нам за то благодарность... — Он налил себе еще, выпил, на этот раз схватил толстыми

пальцами кусок ветчины, но так и не донес до рта. — Вы, надеюсь, понимаете, это не свидетельство их щедрости, а знак нашей гениальности. Я, например, играю в мистерии, прошу, впрочем, прощения у прелестных дам, играю... надменный член.

— Ух ты! — воскликнула Лида.

— Не «ух ты», — поправил ее Аркадий, — а тот самый член, которым грешил лукавый, архангел и Господь Бог... верно, Вася?

— Ладно, — сказал Вася и положил ладонь на стол. — Заканчивай базар.

— Как заканчивать, а «Реквием» для нашего друга? Тут, понимаете, загвоздка. Вася играет архангела, я, как вы догадались, беса, да и с Господом в порядке, его хоть вы сыграли б. Но Марию — Матерь Божию, которая с ними, с тремя... Слушай, Вася! — крикнул он, по-прежнему не спуская тяжелых глаз с Лиды. — Она же сидит против нас — Матерь Божия, а мне, бесу, первому и предстоит наедине с ней пошептаться, как наш гений написал...

Таня встала и, не сказав ни слова, вышла их кухни.

— Ты что? — опомнилась Лида. — Зачем девчонку обидели?

— Да хватит и ей, — сказал Аркадий. — У нее этот... новый претендент на роль Господа Бога. А... может, и ее попробовать на роль... Только потом, а, Вася, только потом?..

Лида поднялась, взглянула на Васю, и тогда он спокойно, чуть наклонившись, резко дернул за ножку табурет, на котором сидел Аркадий, — тот не удержался, соскользнул на пол, потащил за собой скатерть, зазвенела посуда, а Вася так же спокойно, точным движением поймал его за галстук и, легко приподняв, бросил в коридор. Аркадий ударился спиной и головой о вешалку, повалил на себя, забился под пальто, выбрался, постоял на четвереньках, покрутил лысой головой, потом медленно поднялся.

Лида молчала, не шевельнулась, а Лев Ильич не мог не оценить второе лицо интермедии. Аркадий, стараясь ступать ровно, подошел к столу, налил стопку, выплеснул в рот и посмотрел на Лиду.

— Он еще пожалеет об этом, — сказал Аркадий спокойно. — Да ведь и мы с тобой разговор не кончили. — Повернулся, двинулся в коридор, тут его качнуло, ударило о стенку, но он справился, взял пальто из кучи, валявшейся на полу, распахнул наружную дверь и вышел, не закрыв ее.

— Веселые вы ребята, — Лида подняла табурет, бросила в ведро черепки, осколки, поправила скатерть и ушла. Вася спокойно курил, аккуратненько сбрасывая пепел в алюминиевую пробочку от бутылки.

Лида вернулась.

— Лев Ильич, зайдите к сестре. Она просит. — Он встал и уже за спиной услышал ее голос:

— Ну что, миленький, поинтересуемся квартирой?

В Таниной комнате горел ночничок, она лежала на широкой тахте, отвернувшись к стене, и горько плакала.

— Ну что ты, Танюша! — Лев Ильич присел у нее в ногах. — Пьяные люди, болтают чепуху, посмеялись и разошлись.

— Ну ведь он останется! — прошептала в стену Таня. — Я их боюсь. Ну что еще в голову придет, если такое могут?.. Думала, и у нее ребенок, по очереди станем нянчить...

— Он не останется, — сказал Лев Ильич. — До завтра или еще на день. Вырастим ребеночка!

Она повернулась к нему и улыбнулась сквозь слезы:

— Правда страшно, надо ж какой!

— Поздно, двенадцатый час... — «Куда иди-то?» — подумал он.

— Лев Ильич, — будто услышала Таня, — не уходите, а? Наплевать, пусть что хотят думают. Мне без вас страшно.

На кухне, когда он вышел умыться, никого не было, стол так и остался неубранным, в металлической пробке еще дымилась сигарета.

Он разделся в темноте, устроился на отчаянно заскрипевшем под ним диванчике, выставив ноги наружу.

— Вам неудобно, — прошелестела от другой стены Таня, — может, перележем?

— Нет-нет, Танюша, мне хорошо.

Он прислушался к смеху за стеной, вспомнил свою здешнюю ночь и сказал, чтоб она не слушала:

— Всегда что-то случается: как быть должно, так и теперь будет. Может, завтра. Или еще через день. Я верю, все у тебя будет хорошо.

— А мне и сейчас хорошо! Я даже думать не смела, что вы будете рядом ночью. Я давно о вас думаю. Конечно, не так... как сейчас.

Лев Ильич не знал, что ответить. Он тоже думал, бывало, да не так. Да и не думал, поглядывал другой раз на нее...

Он услышал, она завозилась на тахте, встала, прошлепала босиком, и тут вздрогнул, почувствовав ногами теплоту скользнувшего под рубашкой тела: она подставила стул ему под ноги и укрыла, подоткнув одеяло.

— Спасибо.

Она прошлепала по комнате, улеглась. За стеной снова засмеялись.

— А вы молитесь на ночь? — спросила она.

— Да нет, не умею, — с облегчением ответил Лев Ильич и перевел дух. У него и ночи-то ни одной не было спокойной с тех пор, как крестился. Вот и здесь ночь не подходящая для молитвы...

— Я тоже не умею. Но я молюсь своей молитвой. Хотите, скажу вам? Правда, может, нельзя говорить свою молитву, но мы вчера вместе стояли в церкви. Я вас как родного люблю.

— Конечно, скажи. — Он повернулся к ней в темноте.

— Господи... — зашептала Таня, она была так близко, что он протянул руку и встретил ее влажные пальцы. — Господи, спасибо Тебе за все, что сегодня было со мной. И за все, чего не было, раз Ты не захотел, — все равно спасибо. Спокойной ночи, Солнышко, Родной мой, если есть у Тебя минутка времени, поспи спокойно, отдохни, Господи, дай Тебе, Бог, радости...

Он откинулся к стене и закрыл глаза: он только сейчас почувствовал, как смертельно устал за сегодняшний день, как хочет спать и ничего больше не слышать и не видеть.

«Спасибо Тебе, Солнышко, — сказал он про себя, — спи и Ты, Господи, если выдастся хоть минутка времени, дай Тебе, Боже, радости...»

Он уже засыпал, как вдруг в каком-то странном палищем розовом свете увидел толпу обтрепанных, усталых людей, гонящих стадо по пустынной дороге. Впереди в клубах пыли шел старик с развевающейся седой бородой, с тяжелым посохом, а за ним, чуть приотстав, давешний еврей со слуховым аппаратом, две сестры — Яшины дочери, Семен, ЖЭК, дядя Яша с тихой улыбкой под руку с тетей Раей, а лысый урод с золотыми зубами держал за руку Лиду в разорванной рубахе, с распущенными светлыми волосами, ступающую босыми ногами по пыльной дороге... Себя с Таней он почему-то не видел в толпе. Голая, с редкими колочками степь без конца и края в розовом мареве... Лев Ильич вдруг узнал сядого старика — ну конечно! «Разве все они евреи?» — спросил он себя с удивлением. Но ответа так и не успел услышать. Уснул.

#### 4

Проснулся оттого, что кто-то заботливо поправил на нем одеяло, двинул стул под ногами. Он приоткрыл глаза. Свет, пробившийся сквозь плотные шторы, неверно освещал комнату, Таню в белой до пят рубашке.

— Ой! Все-таки разбудила... Спите, еще рано. А мне идти...

Лев Ильич закрыл глаза. Больше он не может так жить. Что за путешествие по чужим домам и кроватям. Был праздник, кончился, вымыли посуду, что разбили — разбито... «А может, потянуть, бутылки сдать на опохмелку?..» Он отбросил одеяло, оделся, сложил постель и раздвинул шторы.

За окном опять серенький денек, подмерзло с утра, окно уходило во двор-колодец — ничего ему не говорил тот колодец, не напьешься. Он обернулся на комнату. Широкая тахта прикрыта одеялом в белом с кружевами пододеяльнике, большие белые подушки, над тахтой прикинплена репродукция. Он подошел поближе: «Троица» Рублева в журнальную страницу. В углу у окна телевизор под цветной салфеткой, гардероб, полочка с десятком книг над школьным столиком, на нем раскрытая машинка с большой кареткой, стопка чистой бумаги. Икона тускло блеснула серебром — это из другой жизни. А что он знал про ее жизнь? Как выяснилось, немного.

За спиной открылась дверь.

— Доброе утро, милоч! — Лида, уже одетая, непричесанная, улыбнулась запухшими губами. — Не обидел сестричку? — Она глянула на тахту, на постель, сложенную на диванчике, и посмотрела в глаза Льву Ильичу. Глаза у нее, как всегда, были отчаянные, но где-то в глубине подметил Лев Ильич усталость, печаль моргнула из них на мгновенье.

— Ты знаешь, Лида, ей трудно будет, а у нее никого, кроме тебя.

— А ты как же? Мы с ней обои невезучие, да ведь подфартило — тебя нашли. Такого, как ты, нам за глаза на двоих хватит... Не обижайся, я ведь тоже не обиделась. Я про тебя побольше, чем ты думаешь, поняла. Хотя, честно сказать, денька два прождала — вдруг заявишься? Ладно, все мы люди, чего будем ворошить... Ты про Таньку мне такого не говори — она для меня, может, всего главней. Много ли мне осталось — чуток всего. Этот не задержится, или ты подумал чего?

— Да нет, не подумал, ты уж прости.

— Видишь, как у нас с тобой: ты меня, я — тебя. — Она подошла вплотную и положила обе руки ему на плечи. Он впервые так близко увидел ее лицо — бледноватое, в легких веснушках под скулами, глаза опять были неожиданными — добрыми и мягкими. — Эх ты, как мальчик! — засмеялась Лида и звонко поцеловала его в обе щеки.

Она повернулась к двери, светлые, в рыжину волосы плеснули по плечам, и Лев Ильич вспомнил ее такой, как увидел во сне — в разорванной рубашке, босиком, с тем лысым уродом...

Лида посторонилась, пропуская Таню, исподлобья глянувшую на сестру и на Льва Ильича.

— Чего напугалась? Не заберу я его, побожился — наш теперь, на двоих, мол, коль охота. Как, сестренка, охота нам, нет? — Она чмокнула Таню и выскочила в коридор.

На кухне шкворчала яичница, стол был накрыт для завтрака; Лида залетела, плеснула себе чая, так и выпила стоя, с куском колбасы.

— Сейчас мой князь выйдут, давайте вместе почайпейте, да не пьянствуйте с утра, а то еще подеретесь. Князь, а князь! — крикнула она, оборотясь в коридор.

Показался Вася, заспанный, опухший, в маечке, здоровенные руки и грудь в наколках: змеи, целующиеся голубки — у Льва Ильича в глазах зарябило.

— Хорош гусь? — веселилась Лида. — Ой, Тань, побежали, тебе-то близко, опоздаю — выгонят, чем будем мужиков приваживать?..

Она поцеловала Васю, схватила Таню, та только успела прошелестеть:

— Дверь захлопните. А то чаю напейтесь и поспите...

— Мы тачку таскать, а они дрыхнуть? Пейте чай да выматывайтесь!..

Дверь за ними захлопнулась. Льву Ильичу хотелось курить, но не привык натошак. Он налил чаю покрепче, взял кусок хлеба.

— Чай пьете? Гадость какая, — Вася мутно глянул на Льва Ильича, отправился в коридор и выругался: — Жидовская морда! Унес портфель. Так и знал, что унесет... — Он присел к столу, вздрагивающими пальцами вытащил сигарету. — Что ты будешь с ним делать — убить его, что ли?

— Это вы про кого? — поинтересовался Лев Ильич.

— Про дружка закадычного. Такая, понимаете... а вы-то не из евреев будете? — глянул он более осмысленно на Льва Ильича.

— Из евреев. — Лев Ильич выпил чаю и тоже закурил.

— Заметно. Евреи тоже, между прочим, разные бывают. Я знал одного, моей двоюродной сестры муж — нормальный мужик, деньги одалживал и ничего такого.

— Какого такого?

— Жидовского. Вы человек интеллигентный, поймете, я употребляю этот термин в смысле отрицательном, хотя он, как известно, всего лишь обозначает нацию... Ага, нашел. — Он полез за плитку. — Я же помнил, что оставалось полбутылки. Живем! Ушла баба, запрятала... Давно сюда ходите?

— Я работаю вместе с Таней.

— Ага, понятно. — Он одобрительно глянул на Льва Ильича и взболтнул бутылку. — Вам куда?

— Я утром не пью.

— Утром? А когда же — вечером? Беспринципная позиция, между прочим. Опасная. Знаете, почему опасно? — Он налил себе в чашку, выпил и передернулся. — Хорошо пошла — душу чистит. Опасная, потому отрывает от коллектива. Вся, как говорится, рота идет в ногу, и утром, и вечером, а вы шаг сбиваете. Затопчут, на кого обижаться? На себя — оторвались... — Он налил еще и тут же выпил.

— Может, яичницу? — спросил Лев Ильич, с опаской глядя на него. — Вон на плите.

— Ешьте, я с утра не могу — душа не принимает. Тоже, между прочим, национальная черта — еврейю обязательно утром поесть. Яичко, кофею, какаву — вы меня, надеюсь, понимаете?

— Понимаю, — сказал Лев Ильич; ему тоже не хотелось есть, но тут он решил, что должен расправиться с яичницей. Да и Таня не зря же старалась.

— Да не понимаете вы меня, вижу, человек вы не творческий, хотя и интеллигентный. А это, между прочим, разные вещи. Согласны?

— Согласен. — Яичница была на славу. «А может, на самом деле еврейская черта?» — весело подумал он.

— А почему согласны? Чтоб отвязаться или такой умный? — не унимался Вася.

— А что хитрого? Я, как вы говорите, интеллигентный, а вы — творческий. Конечно, разные вещи.

— Так думаете? — сбился Вася. — Тогда такую метаморфозу объясните. Я, к примеру, артист, имею высшее театральное. В академических театрах не играю по причине общеизвестной, хотя и мог бы лучше других прочих...

— Понятно, — сказал Лев Ильич, отодвигая тарелку и вытащив из пепельницы свою дымящуюся сигарету.

— Опять понятно? А что вам понятно? Откуда вам знать, почему я не играю в академическом театре?

— Тут совсем ничего хитрого, — улыбнулся Лев Ильич. — Евреи помешали, завистники — верно?

— Вот это мужик! — Вася даже руками всплеснул. — Жалко выпить нету, я бы вас уговорил. Или сбегает?

— Сидите, — сказал Лев Ильич. — Я не стану пить. А приятель ваш тоже актер?

— Приятель мой — жид пархатый, как я вам уже доложил, но между прочим, без принципов — утром пьет и не закусывает.

— Ну вот видите, — засмеялся Лев Ильич, — какие евреи разные. Как тут обобщить!

— Зачем обобщать, все и так видно, кто соображает. — Вася присел к столу и слил из бутылки все, что оставалось. — Еще загадка: он, к примеру, такой же, как я, прощельга, может, похуже, а почему ему хорошо, а мне плохо? Раз вы такой умный, объясните — почему?

— Не могу, — сказал Лев Ильич, — данных нет. Кто вы такой, кто он — не знаю, чем ему хорошо, чем вам плохо — тоже не знаю. Как объяснишь?

— Ага! Не знаете, а я бы сразу безо всяких данных... Смотрите. Мы с ним оба артисты. Не из последних, между прочим. — Он допил водку и взял с тарелки кусочек сыра. — Человек принципиальный может и нарушать свои принципы — верно?.. Итак, артисты. Но меня не взяли, а верней — взяли да прогнали, и не раз, можете мне поверить, и не два. Но ведь берут, стало быть, таланта не признавать не могут?.. Следите за мыслью?..

— Стараюсь, хотя и трудно.

— Ничего, оно того стоит. Евреи кричат: притесняют, не берут — в институты, на работу, на радио, в кино, в Центральный Комитет... Я, как вы поняли, человек искусства, не знаю, чего в технике происходит, на производстве — об этом судить не берусь. Чего не знаю — не знаю. Говорят, и атомную бомбу русский Иван изобрел — по чести говоря, сомневаюсь, не русского ума дело. Но про искусство — это вы меня, Васю Постникова, спрашиваете, мое дело. Хотите, побьемся, хоть на бутылку пива, если вы по утрам чего стоящего не употребляете, да и человек благородный, на коньяк вас выставлять не стану? Идемте в госконцерт, идемте на радио, на телевидение, на студии — куда хотите! Если первый человек, которого встретите, из творческих людей я имею в виду, будет не еврей — угощаю. Но не связывайтесь — проиграете, честно вам говорю. Пробовал — беспроигрышная лотерея. Может, скажете, время не то, уважающий себя творческий человек, я имею в виду русских, спит или опохмеляется, а еврей по делам шныряет после сытного завтрака? Думаете, я время усею для своего промысла? Пожалуйста, идемте днем, вечером, когда хотите. А лучше прямо деньги вперед, чтоб подметки не бить, а я в магазин смотаюсь. Ну как?

— Да я вам верю, — улыбнулся Лев Ильич. — Только к чему вы это?

— Еще не поняли? Я же вам объясняю. Поскольку мы имеем казус: в институты не берут, на работу не принимают, а все дипломированное начальство — я имею в виду начальство, от которого карман зависит, а не то, которое речи произносит, те нашего брата не волнуют, пусть говорят! Я про тех, кто нам платит. Оказывается, это те самые евреи, которых ни в институты, ни на работу не взяли. Как это случилось? Одно из чудес света. Хотя по этому поводу шума нет и враждебное радио этот казус не разбирает. А может, и разбирает, я ихнего радио не слушаю, мне своего хватает. Теперь понятно? Ну разве уважающий себя еврей меня, с такой рожей и с моей известностью, возьмет на работу? В приличное место, на хорошую роль? Нипочем не возьмет. Я им всю коммерцию испорчу. Ну не евреи ли виноваты?

— Не убедительно, — сказал Лев Ильич. — Опыт не чистый. У вас кроме национальности есть и другие отрицательные показатели.

— Не убедительно? Хорошо, с иного бока подьемем... Ага! — закричал он, да так, что Лев Ильич вздрогнул: Вася вытащил с другой стороны плиты еще полбутылки водки. — Что я вам говорил? Ну не золотая ли баба? Под это дело я в два счета объясню... Значит, моя мысль непонятна?.. Ладно, берем моего дружка Аркашу — видели вчера. Артист. Бог кой-чего дал. Умеет. Мы давно вдвоем работаем. Вместе берут — вместе и гонят, причем его раньше, чем меня. Я имею в виду — гонят. А почему? Морда у него жидовская, это раз. А евреи, которые до денег дорвались, у них главное что? — своего не упустить. Родню, друзей-приятелей они, конечно, пристроят, будьте спокойны. А такой Аркаша, у которого принципы — с утра не закусывает, он им хуже, чем я, общую картину портит: взяли алкаша, да еще жида, а есть, мол, установка, евреев не брать, они-то, мол, свои, полезные, а хорошего мужика — по шапке, давят. Что делает Вася, как человек благородный и верный дружке? Вы что, говорю, жидовские морды, в кресла сели и антисемитизм устраиваете, в нашем, простите меня, социалистическом отечестве... Гонят да еще в книжку

такого напишут, что к следующему еврею лучше не показываться. А что в результате?.. В результате мы с пархатым дружком докатились, можно сказать, до полного обнищания, взяли нас в общество по распространению, в антирелигиозную бригаду: мистическая интермедия — «Гавриилиада», он говорил вчера. Я, правда, на этом деле схватил Лидку — у них третьего дня на заводе была премьера. Аркаша ее тоже углядел, он на этот счет крепкий малый, но я первый заметил — все должно быть по чести. А дальше не мое дело. Верно?

— Печальная история, — сказал Лев Ильич. — Только мысль вашу никак не пойму.

— Где вам понять. Может, в чаек плеснуть — сразу поймете?.. Хорошо, нет так нет: водку пить уговаривать да баб — последнее дело. Значит, не поймете?.. Сыграли мы премьеру, чушь, конечно, но — нравится, смеются, стишки лихие, не сегодняшним чета. Сестренка обиделась, верующая она, что ли?.. А там все шло нормально: получили деньги, два дня гуляем, а вчера — спектакль. Ну опоздали на полчаса, законно, и народные опаздывают, нормы такие пришли... А между прочим, последняя наша ставка — куда теперь? Тут и разгадка: мне, русскому дураку, как Лидка высказала, идти за тачкой, а пархатый Аркашка подает бумаги, ему шлепают визу и — гуляй: Париж, Ницца, далее везде! Опять нас, сиволапых, облапошили. Нате вам, деревня, лакайте пиво, а мы будем в Лондоне сертификатную воблу жевать! Кому, выходит, лучше при общих, так сказать, показателях?

— Подвели, — улынулся Лев Ильич, — диалектика называется. А я думал, вы пьяный — концы с концами не сведете.

Лицо у Васи перекошилось, Лев Ильич даже испугался — не случилось ли с ним что, глаза налились кровью, он медленно поднялся.

— Эт-то ты — мне говоришь, что я пьяный?..

Лев Ильич вспомнил его вчерашний номер и тоже встал.

— Но, но, — сказал он, — аккуратненько, — и поднял табуретку.

— Ишь какой. Жид, а соображает. Деньги есть?

— Есть, — сказал Лев Ильич.

— Сколько?

— Не скажу.

— Три рубля дашь?

— Нет. — Лев Ильич уже сидел за столом. Почему-то он не хотел уходить, ему показалось, что сейчас в похмельной бессмысленной болтовне он услышит что-то, что всегда от него ускользало...

— Как нет? — искренне удивился Вася.

— А почему я тебе должен давать деньги?

— Да потому, что у меня их нет, а у тебя они есть — это раз. Потому, что мне необходимо выпить, а тебе нет. Два.

— Резонно.

— И еще потому, что я русский, а ты — жид пархатый.

— А тут не получается. Так бы я, пожалуй, дал, если так выпить охота, а теперь нет. Не получишь денег.

— Вон ты какой интересный. — Вася на него остро глянул, и Льву Ильичу подумалось, что никакой он не пьяный, просто ломает перед ним ваньку. — Я таких не встречал, хотя нагляделся, да и на Аркашке опыты ставил.

— По-научному подходишь?

— Ты мне лучше такую вещь объясни, — Вася курил, говорил свободно, вроде бы и правда протрезвел. — Почему вашего брата никто не любит? Никто и никогда! Ты же не можешь сказать, что вот уже тыщу, две тыщи лет все кругом мерзавцы вроде меня? И заметь, разные люди, враги друг другу, а в этом сходятся: Гитлер жег, Сталин стрелял, царь утеснял, коммунисты травят... Ну почему? Это близкая история, на нашей памяти, а ежели дальше копнуть? Папа их давил и патриарх изгонял, а тоже друг дружке готовы были глаза повыцарапать — может, неправда, но говорят, что так. Тут я не специалист, сам видишь, не историк. Но возьми мою область — искусство. Тут я собаку съел! Шекспир — что?

— А что Шекспир?

— Как что? А Шейлок? Играл. Надо же, за поганые деньги предложить вырезать кусок мяса из живого человека! А Пушкин — «ко мне постучался презренный еврей»? А Гоголь — про жидовские ноги в Днепре? А Достоевский — тут не отдельные цитаты, а как бы сказать — философия антисемитизма? А Тургенев?..

— Ну а Тургенев? — удивился Лев Ильич.

— Ага, не знаешь, повесть «Жид» не читал?

— Не читал.

— Интеллигент!

— А ты, я гляжу, профессор по этому делу.

— Жизнь научит. Как ты мне это объяснишь? Или скажешь, Шекспир был пьяница, актеришка вроде меня, а Достоевский — в карты шулер? Но Тургенев-то чистый голубь, жены не имел? Ты же сам еврей, откуда тебе знать, что про вас русские говорят, — тебя или боятся, или стесняются, это редко попадешь на откровенного вроде меня, да и то, что ты мне симпатичный и мы вроде породнились. Ты посидел бы под столом, когда русские выпивают и про вас разговор... Тут что-то есть. Ты скажешь — темнота, дикость, политика, нет, посерьезней, и с пол-литром не разберешься... Ты еврейский язык знаешь, настоящий, старый?

— Нет.

— Видишь как. А говорят, в ихнем Талмуде, который никто полностью не перевел да и не прочтешь, есть секретные главы, там и записано про этот закон, про то самое...

— Про что?

— Кровь из младенцев — не еврейских, конечно, на ихнюю Пасху, для мацы.

— Это у тебя юмор? — даже не обозлился Лев Ильич.

— Какой юмор! Зачем мне? Я два раза морду бил за своего Аркашу, у меня не заржавеет, но он-то, как и ты, ничего не читал — но может, есть такой закон? Пусть старый, пусть пятьсот лет его отменили, но, может, был? Тогда понятна и вражда и ненависть, презрение... Знаешь, что я тебе по-дружески, по-родственному скажу: ты малый хороший, и денег мне не дал — уважаю. Уезжай-ка ты отсюда, пока цел.

— Куда «уезжай»?

— Не знаешь язык, не хочешь к евреям — дуй в Париж, в Африку — куда хошь, дорога накатана. Здесь плохо будет вашему брату. Большая злость. А наверху только рады. Знаешь, что было в пятьдесят третьем году?

— Врачи-убийцы?

— Ты сам москвич, где тогда был?

— Не было меня в Москве. На Сахалине работал.

— Тогда понятно. А я был в клубной самодеятельности — актив в райкоме. Знаешь, как была подготовлена операция? Что ты! По избирательным спискам — там нация, против всех галочки. Вокруг Москвы, на окружной, — теплушки на двух колесах. Уже день назначили. На заводе Ильича после смены рабочие хватают мастера-еврея за неверные расценки — убивают. Хватают других евреев. Вызывают милицию — убивают одного громилу. В тот же день — суд над врачами. В Колонном зале. На улице толпа. После заседания общественного защитника — уж не Эренбург ли, не помню — выволакивают на улицу и тоже кончают. И тут милиция — парочку патриотов шлепают. А дальше, чтоб прекратить справедливый гнев и безобразие, защитит и обезопасит, принимают мудрое решение: ночью в каждую квартиру — звонок, два часа на сборы, с ручной кладью по такому-то адресу, к такому-то пути — иначе никто ни за что не отвечает. Теплушки на проволоку — и до Находки. Был, говоришь, на Дальнем Востоке? Половина бы доехала, не больше. Теплушки бы ни разу не открывали. А там для оставшейся половины — бараки без ничего. Мне один легчик рассказывал, там служил, летал, видел бараки — тыщи и тыщи барак.

— Врешь ты, — сказал Лев Ильич, он был потрясен.

— Как вру, когда сам в этом деле, можно сказать, замешан? Мы уже наготове были. Сорвалось.

— Почему сорвалось?

— Отдал концы вождь и учитель. В самый тот момент. Может, придавили, там тоже Каганович сидел, хоть он еврейской кровушки нахлебался и без Талмуда, только за свою шкуру дрожал. Но кто знает — проснулась совестишка...

— А ты задумывался когда-нибудь, — спросил Лев Ильич, он уже увидел, поймал, что хотел, — нет ли закономерности в такого рода роковом конце каждого, кто всерьез замахивается на евреев? Ты бы почитал и подумал, раз уж научно подходишь, какая у всех судьба, как она за евреев рассчитывается, с древних времен до этой войны, до немцев!.. Был такой в Библии царь Артаксеркс, первый его... визирь Аман задумал грандиозную акцию, и уже гонцы поскакали с приказом — всех тогдашних иудеев поголовно вырезать. И чем кончилось? Визирь и вся его семья, весь род, погибли страшной смертью. А с вождем и учителем — какой пример! Каганович ли его придавил, грузин ли, или собственной блевотиной поперхнулся — разве в том дело? Неужто думаешь, Господь оставит народ, который Он воспитывал, выводил, к которому являлся, с пророками разговаривал — навсегда предсказал судьбу? Он евреев и мучает, оттого что любит, отмечает. Ну представь любой другой народ, чтоб две тысячи лет без земли, с постоянной ненавистью, как сам же говоришь, — а остались, живут. Ты — русский Вася — у себя дома пархатому Аркашке завидуешь!.. Как только у нас дело пошло всерьез, керосином запахло, не знаю, верить в твои теплушки-бараки, не верить, — заметь, в тот самый момент, накануне акции! — он отдает Богу душу! Что скажешь?

— Так что, выходит, Бог, что ль, есть? — спросил Вася совсем трезвым голосом.

— А ты как думал? Кабы не было, и мы б с тобой не встретились. Он мне специально тебя послал, мозги прочистить. Давай-ка уберем со стола это свинство да идем отсюда.

— Ну что ж, — сказал Вася, взяв со стола бутылку и запихивая в карман пиджака, — в таком случае с вас причитается. Уж коль меня Бог послал, Он и три рубля велел отдать.

— Верно, — засмеялся Лев Ильич, — твои три рубля.

## 5

В квартире было сумрачно и тихо. Он сначала удивился: звонил-звонил, не хотел открывать своим ключом, потом сообразил, что и не должно быть никого — Надя в школе, Люба на работе.

Разделся, оставил портфель под вешалкой, заглянул на кухню — чисто, будто ждали, в его время не бывало так, толкнул дверь в комнату Нади. Здесь как всегда: убегала в школу, впопыхах искала учебники, тетради.

Он присел на краешек ее кровати: прошлепал годы, ничем была — червячком-игрушкой, заботой-тягостью, иной раз останавливала — ишь ты, что-то свое, и на кого похожа, не поймешь; он бы так никогда не сказал, не сделал, откуда в ней? А пришел раз вечером, она не спала, стояла на стуле и читала стихи:

— Жил на свете рыцарь бедный,  
Молчаливый и простой,  
С виду сумрачный и бледный,  
Духом смелый и прямой...

Ну как, папа?..

А он не знал как, он видел перед собой девочку-подростка, в которой просыпалась девушка, и ему померещилось, что удостоился увидеть само чудо этого превращения. Как в лесу в грибную пору, когда лезут и лезут они из пахнувшей прелью земли: встань на колени, а еще лучше — носом в землю и гляди, слушай — и увидишь, услышишь, земля зашевелится, взбурится, поднимется шляпка... Вдруг расцвела, безо всякого его участия, странный, не виданный им поразительный цветок. Он заметил недавно, кинулся было к Любе рассказать — но поздно, не добежать.

Лев Ильич поднялся, сложил на столе книжки, тетради, поднял с пола ручку, рублевое колечко, закатившееся под стол, и тихонько прикрыл дверь.

В большой — их комнате было темно, плотные шторы, казалось, давно не раздвигались, накурено, да и сейчас чуть ли не дымилась сигарета. Он постоял у дверей, хотел было зажечь свет, передумал, пересек в темноте комнату, подошел к креслу возле тахты, спиной к окну, и тяжело опустился в него.

Добрался, вторая неделя идет, сегодня вторник — а приехал в понедельник — ну да, вторая. Он погрузился, утонул в кресле, вытянул ноги. Он понимал, что снова идет не туда, что кто-то — да не кто-то, он сам! — тащит себя в безнадежность и пустоту. Он не смог бы разобраться и что-то противопоставить простой логике, проросшим его представлениям о том, что хорошо, а что плохо, тому, что привык называть нравственным и справедливым. Но чувствовал: его все дальше уводит от его же руками построенного дома, он делает что-то неверно, и беда его и слабость, обретения и потери — невероятная ему самому полнота его теперешней жизни — за чужой счет, не зря проник в этот дом и ходит как вор, не зажигает света, боится отдернуть штору и сидит как-то не так, праздно вытянув ноги, в комнате, в которой висело затасанное глухое отчаяние, разлитая в темноте печаль, недоумение перед его предательством. Как он мог перестать делиться отчаянием ли, взявшим его за горло, радостью, от которой так сладко дрогнуло сердце? Как случилось, что не здесь — а где-то?.. Тania с Лидой стали ему вдруг близки, Маша открылась в эти несколько дней так, будто знал ее всю жизнь, отец Кирилл, да и Вера...

«Верой, что ли, надо было поделиться?» — усмехнулся он про себя, зачем искать далеко, вот и начало — шагнул за бабой, и покатилась жизнь. Нет, здесь другое было, он не хотел, не мог думать о Vere, с тех пор как они расстались в коридоре, у дверей Машиной квартиры, не разрешал себе произносить ее имя, трусливо отодвигал, стоило ее вспомнить. Может, дело в безответственности: у сестер, у Маши, у отца Кирилла от него ничего не требовали, только давали, он обманывал себя, что и он нужен, а на самом деле только пользовался чужой добротой, и не подумав, что за все надо платить?

Он почувствовал себя забравшимся в дом вором совсем не потому, что вчера так глупо попался: Люба поймала его на лжи в тот самый момент, когда он намеревался одарить ее раскаянием и поделиться всем, что получил накануне. Ей, а не ему стало неловко, скверно, постому она и кричала, срываясь, не находя верного тона. Он и



правда был здесь чужим, и в том была только его вина, а не ее надрыв и грубость. Но почему надрыв, почему грубость? Лев Ильич не знал ответа и не умел бы возразить.

Почему ему вдруг вспомнилось то, что случилось шестнадцать лет назад? Как он любил тогда эту женщину! Они два года были женаты, и чего бы ни было у него потом, он никогда не способен был позабыть полноты, безграничного счастья, напряженности жизни в каждое мгновение, было ли оно ожиданием встречи, свидания, близости... И каждый раз не верил, что это произойдет, может произойти, придумывал десятки причин, могущих помешать встрече и свиданию.

Они встречались на улице, в условных местах или он заходил к ней на работу, дожидаясь, пока она закончит службу, слушая и не слыша ее смех, разговоры, ловя момент, когда наконец возьмет ее за руку, увидит одну — летящие волосы, смеющиеся глаза, когда они пойдут рядом, вместе, когда останутся одни.

Так и было той весной, когда всего лишь помехой он понял ее беременность, и совсем досадным, что вынужден был отвезти ее в родильный дом, где она осталась на лишнюю неделю из-за своего нездоровья, и они встречались в темном подвальном коридоре больницы: она в сером больничном халате и косынке, похожая на Катюшу Маслова, как он ей сказал, только без черных завитков, со счастливыми от его нетерпения и счастья глазами.

Так было и в тот солнечный день, когда он в неурочный час, вырвавшись от дел, ничего не стоящих рядом с тем, что его ожидало, подошел к больнице по хрустящему ледку и прокричал в открытую форточку палаты свое приветствие, а узнав от появившихся за стеклом веселых баб, что ее нет, кинулся в их коридор и увидел: она в том же халате — Катюша Маслова, только без черных завитков под косынкой, а тот обнимал ее, и она прижалась так самозабвенно и счастливо, какой никогда не была с ним.

У него хватило сил, задержав дыхание, двинуться назад, ступая след в след, по гремящему коридору, хотя и понял, что они не заметят и не услышат его.

Тогда и случилось с ним... Не в том было дело, чему он стал свидетелем, он скоро узнал, выяснил... Старая была история, давняя, когда его и в приятелях не было, перешедшая в родственную дружбу, вопреки полнейшему расхождению и даже взаимному отталкиванию. Последнее-то и было подороже всего! Какой был бальзам его фамолюбио — с разных сторон рассматривать это взаимное отталкивание, убеждаясь каждый раз в ничтожестве, пустоте, прямой глупости, корысти, наклонностях к карьеризму, приспособленчеству... Да, для этого пришлось открыть двери дома, войти в дружество, проводить вместе время, обижаться отказом, участвовать в общих праздниках и юбилеях, совершать совместные путешествия. Какой открылся простор для самоутверждения, какие качели вздымали его и тут же швыряли в грязь мелькнувшего сомнения, приоткрывшего на мгновение так ловко самим же запрятанную правду — неосторожное слово, пустая ассоциация, перехваченный взгляд, часы на руке, отсчитывающие минуты внезапно показавшегося странным уединения. Но ведь слово объяснялось так просто и имело совсем не то значение, но ведь ассоциация всего лишь из подозрительности швырнула его не туда, и взгляд, коль был перехвачен, предназначался ему, а разрывающие сердце минуты оборачивались анекдотом, веселым или грустным бытом — пустяком.

Думал ли он хоть когда-нибудь о том, каково приходится рядом с ним человеку, вынужденному ежечасно наблюдать его раскачивание на свистящих качелях, защищаясь и защищая его?

Он уже пригляделся, привык к темноте комнаты. Тусклый свет просачивался из коридора, из открытых дверей кухни, он различил тахту с брошенным на нее одеялом или пальто, домашние туфли на коврик, тряпки на стуле. Комната жила своей, не имеющей к нему никакого отношения жизнью, и четкое понимание, что так было всегда, пронзило его: так не могло не быть, потому что все, что было дано ему, дано было и женщине, в которой он тоже любил только себя. Пронзительная жалость охватила его. Он представил себе ее — Любу — в этой комнате, положившую вчера телефонную трубку, узнавшую о том, что он солгал ей. Она и сейчас здесь — в туфлях, которые только что скинула, в платье, которое стянула, переодеваясь, и не успела спрятать, под брошенным, не убраным одеялом. Он увидел ее здесь, в темноте надвигающейся старости, быть может, болезни, не знающей Бога, а потому оставленной и обреченной страшной пустоте...

Лев Ильич подобрал ноги, готовясь встать: он знал теперь, что отныне заполнит его дни, он должен был найти Любу сейчас, немедленно — она не могла не услышать, не понять, не поверить ему, он знал о главном, что было между ними, от чего оба они отмахивались за недосугом, за жизнью, за миром, крадущим человека от себя самого. Он не мог больше ждать, понимая, что оставляет ее одну, не знающую того, что ему открылось...

Треснула, зажглась спичка, он резко обернулся и увидел Любу, лежавшую у стены под старенькой шубой. Она прикурила сигарету, отбросила спичку, глубоко затянулась и сказала, выдохнув дым:

— Уходи. Я не хочу больше тебя слушать. Мне надоело. Ты-то способен услышать? Хватит с меня.

## 6

Лев Ильич был так ошеломлен тем, что Люба находилась все это время в комнате, а он, увлеченный собой, своей к ней жалостью, ее не услышал, а она все поняла и чуть ли не слышала, но тем не менее так четко указала ему на дверь, — так был этим потрясен, что и не вздумал сопротивляться, объяснять, он снова — в который уже раз за эту неделю? — потоптавшись в темноте, выбрался в коридор, надел пальто, взял в руки очертеневший портфель — и оказался на улице.

Было светло, а ему казалось — опять ночь на дворе. Он шел куда глаза глядят — ни одной мысли не было в голове.

Ну что ж, сказал он себе, остановившись, да так резко, что человек, шедший сзади, наскочил на него и что-то злобно пробурчал, что из того, что она его не поняла, не захотела услышать — он же не ищет своего?..

Он обходил плотно стоявшую на тротуаре толпу, оживленно о чем-то галдящую, вслушался было, ничего не понял и, уже сойдя на мостовую, внезапно остановился.

Он стоял перед темным, с колоннами зданием, на тротуаре перед ним и под колоннами толпились люди в длиннополых пальто, в черных шляпах. Синагога! Вот тебе и случай — уж не Господь ли его сюда привел?

— О! Мой знакомый аид, который хочет стать гоем!.. — Вчерашний кладбищенский старик в ермолке, со слуховым аппаратом зорко всматривался, ощупывал Льва Ильича умными темными глазами. — Ну как, мой дорогой аид не передумал, он все еще хочет на этом свете ездить в автомобиле, а на том кушать пряники?..

На них оглядывались.

— Я вам скажу по секрету, — еще громче пропел старик, — у меня был один знакомый — тоже аид и тоже хотел быть гоем. Так он купил себе машину. Он стал такой гой, что забыл, что он еврей: напился пьяный, как последний биндюжник, сел в автомобиль и наехал на человека! Что же, думаете, с ним стало? У него нет автомобиля, а пряники в турма не берут. Дадут ему пряников на том свете, который пообещали гоям?

Лев Ильич молчал: странное чувство удерживало его перед синагогой, старик был сейчас единственным человеком, с которым хотелось поговорить, — куда ему еще деваться?

Тот что-то понял.

— Знаете, что я вам скажу? Поверьте старому Соломону — негоже двум евреям стоять на улице и разговаривать, будто они бродяги. Здесь живет один молодой человек, который прочитал все книги и все знает. Я хочу вас познакомить, потому что я знал вашего дедушку и нянчил вас на бульваре.

Они уже шли вниз по переулку, старик семенял подле, сбегал на мостовую, продолжая говорить и размахивать руками. Лев Ильич поймал себя на жалком, бросившем его в краску чувстве: ему неловко оттого, что они идут рядом, — не из страха, чего было бояться, но из какой-то инстинктивной потребности не привлекать внимания. Насколько этот нелепый старик, странно подумал он, свободней его, Льва Ильича, со всей его укорененностью в этой жизни! Старику, наверно, и в голову не могло прийти, что, может быть, умнее было бы не выпячивать так откровенно свое еврейство, ступешаться и переждать...

Лев Ильич сошел на мостовую и взял старика под руку. Тот замолчал и удивленно покосился на него. Потом усмешка скользнула по его лицу.

— Молодой человек беспокоится, что на меня наедет пьяный аид? Нет, скажу я вам, уже не наедет — у него отобрали автомобиль. Еврей редко забывает, что он еврей, ему не позволено вести себя как биндюжнику. Хорошо это, по-вашему, или нет? Может быть, Господь и придумал еврейскую трусость, чтобы сохранить Свой народ для великого подвига?..

Они свернули в темную подворотню, прошли двором и поднимались теперь по кривой и обшарпанной каменной лестнице на второй этаж. Старик толкнул незапертую дверь и крикнул в темный коридор.

— Пан философ, а пан философ!..

Открылась дверь ближней комнаты, и на пороге показался человек. Он стоял спиной к свету, Лев Ильич не мог его разглядеть.

— Я привел еще одного еврея, — сказал старик. — Между прочим, он на опасном пути и, если вы с ним не поговорите, он станет совсем гоим. Представьте себе, пан философ, я видел, как он перекрестился!..

Пан философ посторонился, и Лев Ильич шагнул в комнату — маленькую, темную, в одно окошко. Всей мебели в ней было узенький диванчик и два стула, а столом служил широкий подоконник, на котором были навалены книги, рукописи, стояла пишущая машинка со вставленным в нее чистым листом, а рядом зажженная лампа под зеленым казенным абажуром. Да еще на полу у окна заметил Лев Ильич торчащую антенну транзистора.

Пан философ перехватил его взгляд.

— Враждебные голоса, — улыбнулся он. — Помогают ориентироваться, чтобы не открывать велосипеды.

— Мы вам помешали? — кивнул Лев Ильич на машинку.

— Ничего, я всегда рад, — он протянул руку. — Володя.

Был он лет тридцати, в ковбоекке с завернутыми на крепких руках рукавами, в стареньких джинсах.

— О! Они уже познакомились, — всунулся в дверь старик. — Но по всем — еврейским или русским законам так не знакомятся.

— Вы меня извините, — поднял плечи Володя, — у меня ничего нет.

Лев Ильич полез в карман и вытащил пять рублей.

— Прекрасная мысль! — вскинулся старик. — Я же вам говорил, он еще может стать человеком. Вы не успеете пропеть «Отче наш!» — крикнул он из коридора.

— Напрасно дали ему деньги, — с сожалением сказал Володя.

Лев Ильич не ответил. Он сидел на стуле возле окна и с изумлением оглядывался. Он не мог понять, куда он попал, и если б не знал, что привели его к еврею для какого-то еврейского разговора, он бы никогда не подумал так об этом светловолосом паренке с ясными глазами, курносом, с широким, открытым лицом. Вдруг его осенило.

— Вы, наверно, уезжаете? — спросил он.

— Уезжаю?.. Да, в принципе, конечно. Не сейчас. Много дела.

— А вы где работаете?

Володя улыбнулся:

— В булочной. Удобная работа: через два дня — сутки. — Володя доставил на подоконник пепельницу, вытащил нераспечатанную пачку «Примы». — Хочу бросить курить — слабость, конечно. Когда один и работаю — не курю, а когда разговариваю — тянет.

Лев Ильич достал свои, с фильтром.

— Вы православный человек? — спросил Володя. Он хорошо спросил, без любопытства — для начала разговора.

— Да, — ответил Лев Ильич. — Православный.

— Я безо всякого спрашиваю — не подумайте, без широты в этом вопросе нельзя. А вы знакомы с иудаизмом?

— Нет, — сказал Лев Ильич. — Но разве Истину, коль она открылась, нужно взвешивать и сравнивать с другими... как на базаре?

— Разумеется. Я не для того спросил, мне как человеку в принципе неверующему, но относящемуся с уважением ко всякой вере в нечто абсолютное, не совсем понятно... ну как бы вам сказать... Да вы не обижайтесь! — улыбнулся он. — Я понимаю, какой это болезненный вопрос, особенно для неопитов, но разговор должен быть-откровенный, иначе зачем тратить время. — И он глянул на машинку.

Лев Ильич пошевелился на стуле.

— Я действительно не хочу вам мешать, поддался старику, да и, честно говоря, деваться некуда.

— Тяжелый случай иметь дело с русским интеллигентом. Сколько душевных переживов! Пришли — сидите, раз не противно. Так вы еврей или русский? Я вас в принципе спрашиваю, а не по паспорту.

— Русский, — сказал Лев Ильич. — А еврей я, только когда мне жидовскую морду тычут в нос.

— Тоже, между прочим, не последнее дело, — Володя уже не улыбался, приглядывался к Льву Ильичу. — А раз русский и интеллигент, тогда конечно: Пушкин, Достоевский, Россия — мать, а советская власть — мачеха. И православие, не марксизм же. Все понятно.

— Откуда вам понятно?

— Тут этих разговоров было! Если б записывали, давно бы пленка кончилась, потому спокоен, что не записывают... Но тут вот какая странность, то есть в принципе...

Экое у него словечко привязчивое, мелькнуло у Льва Ильича, ему все больше нравился паренек.

— ...Вы считаете себя русским, хотя похожи на еврея и жидовскую морду время от времени получаете. А я знаю, что не похож, и никогда такого про себя не слышал. Но я — еврей. И знаете, если в принципе, почему? Да потому хотя бы, что вас называют жидовской мордой — и не только сегодня, а еще полтора-два года назад, и Пушкин, и Достоевский, а сейчас что говорить — наслушались. Я не хочу сказать, что вот, мол, какой я хороший, страдающий за других, а вы к чужой беде равнодушны. Вы ответите, что, мол, надо на себе испытать. Верно. Но ведь, согласитесь, странность? Так сказать, нравственная странность.

— Может быть, — сказал Лев Ильич, — пусть странность, но коль я назвался русским, а не верить вы мне не можете, раз предложили откровенный разговор, то должны понять, что мне — русскому, быть может, сил и времени нет входить в такие тонкости еврейской психологии. Вы не можете не согласиться, как бы ни были погружены в еврейское горе и несчастье — вековые и сегодняшние, что существуют и другие проблемы, другое горе, невыносимые противоречия и тупики?

— Видите как. А потом пожалуемся на человеческое равнодушие, что человек только собой занимается, а рядом — пусть себе, не наше. Если даже вам — еврею по паспорту да еще с жидовской мордой, недосуг, чего же от настоящих русских, американцев или от ООН дожидаться!

— У нас... не туда пошел разговор, — огорчился Лев Ильич.

— А почему не туда? В самую точку. Дело не в том, что вы крестились и изменили вере отцов — у вас, наверно, и отец был атеистом, в синагогу дорогу позабыл, хорошо, если евреев за бороды не таскал, небось и был комиссаром?

Лев Ильич кивнул.

— Вот видите! Какая же измена. Дело в том, если в принципе, что вы изменили еврейству, а не себе. Ну считайте себя русским, любите Пушкина и блондинку Марусю — на здоровье, жалко, что ли. Это раньше, в начале века, шла речь о «дезертирах», за крещение евреи получали право на образование и место под солнцем. Известно вам или нет, но вы этим крестом двойную тяжесть себе повесили! Слава Богу, или уж не знаю, к несчастью, может быть, но живем-то мы не в православном государстве да и в недемократическом: еврей в паспорте да еще с крестом на пузе завтра — сегодня нет, а завтра обязательно! — станет пугалом, одной жидовской мордой не отделаетесь! Так что в вашей искренности и чистоте не сомневаюсь. Но еврейству вы изменили, и никуда от этого не денетесь. Будете вы тем мучиться или нет — будете, все у вас на лице написано, но еврейство вам этой измены не простит.

— Ну а в чем измена, — удивился Лев Ильич, — если вы согласны и понимаете, что я могу считать себя русским, что у меня Пушкин, а не Шолом-Алейхем, Маруся, а не Ревекка?

— А в том, что другим, у которых Ревекка... Не Шолом-Алейхем с его унижительным, слезливым юмором над своим же рабством, а Ветхий завет с пророчествами!.. Им плохо, да так, что порой в глазах темнеет. В ком стучит кровь всех сожженных — на инквизиторских кострах, в немецких печах или здесь, на Лубянке. Всем, кто сегодня должен быть готов к более страшному, и на своей родине, вырванной обратно той же кровью, они каждый день могут ждать не фигурального, а реального истребления. Сказал тут один добрый милиционер возле ОБИРа: соберетесь, мол, там, а мы одну бомбочку на всех испытаем. Преувеличение, Бог не допустит? Если евреи будут уповать на Бога и в синагоге околачиваться, вместо того чтобы работать для себя и себя вооружать, — так и будет, слишком примеров много. Тоже небось на Бога рассчитывали, вспоминать тошно. Да ведь и сказано — надейся, да не плошай!.. Вот где измена, предательство, дезертирство — что хотите выбирайте. Вы еще здоровый, крепкий человек — автомат не можете держать, лопату возьмете, лопата тяжела — карандаш. Нас мало и мы так рассеяны и разобщены — это в России или в Китае привыкли считать на миллионы, а нам каждый человек на вес золота.

— Значит, все должны уехать? — спросил Лев Ильич.

— Все. Я для того здесь сижу — давно мог бы там быть. Хоть еще десять человек отправлю, хоть одного лишнего солдата приведу в Израиль. Лишним не будет. Не на французов, не на англичан рассчитывать, которые не задумываясь меняют еврейскую кровь на нефть, не на американцев с их золотом, не на пролетарскую солидарность или людей доброй воли — это пока самого за штаны не взяли. Не верю я в благодетеля для евреев, никто не станет за нас умирать — история тому свидетель. В себя надо верить, и обижаться будет не на кого, если что случится.

— Однако, — сказал Лев Ильич, ему этот паренек все больше и больше нравился. — Все у вас стройно, логично — не опровергнуть. У меня даже холодок прошел по спине, когда почувствовал себя изменником, предателем или дезертиром — зачем выбирать, все верно. Верно, если с вашей позиции, а вы же начали с понимания широты...

— В вопросах ваших религиозных пристрастий — пожалуйста, хоть буддизм исповедуйте! А тут не может быть широты — какая широта, когда ворота в лагерь распахнуты — как раз на десять миллионов евреев. Да и новость, что ли, судьба евреев в России? От кантонистов до сегодняшних унижений в университете или в магазине за колбасой.

— Погодите, — сказал Лев Ильич, — я об этом и пытаюсь сказать. Твердо чувствую, знаю: не здесь решение проблемы. Всего лишь оттяжка, попытка перевести в другую плоскость. Справедливая, конечно, я потому и говорю, если стоять на вашей позиции, против этой логики не возражишь. Нация должна иметь свое государство, укрепить его, людей мало, нужно дорожить каждым, чем бы он ни мог сражаться — кулаком или карандашом. Все верно. Но знаете, в чем ваша ошибка? Что несмотря на всю, простите, оголтелость вашего национализма...

— Да уж не извиняйтесь, — теперь Володя стал раздражаться — мы, как говорится, в принципе привыкли.

— Я еще возразить не успел, а вы сердитесь.

— Да не сержусь! — закричал Володя. — У нас и сердиться нет времени. Земля горит под ногами.

— Ну да, — сказал с огорчением Лев Ильич, — так мы друг друга не поймем. Вы горите национальным пламенем и ничего вокруг замечать не хотите. Вы называете меня предателем и дезертиром — а как я себя сам назову? У каждого свой путь и совесть. Или, как верующие люди говорят: каждый перед своим Богом стоит и перед своим падает. Я в том смысле, что у каждого из нас есть Свидетель, перед Ним вы не солжете: какие у вас соображения — корыстные или истинные? Как я себя назову, если соберу чемодан и уеду — и от матери, как вы верно сказали, и от мачехи. И мать, заметьте, наедине с мачехой оставлю. Потому что хотя тут и на миллионы считают, но миллионы-то из миллионов людей складываются. И здесь я тоже нужен, со всем, что есть у меня — с карандашом ли, с лопатой. Не будем считать, чьей крови больше пролилось — я уже говорил об этом с одним, — только захлебнемся. Дело не в том, что вам лишний солдат больше нужен, а тут и без моей лопаты обойдутся, а в том, что я — понимаете, я! — знаю, что я русский, связан с этой землей своей кровью, могилами, не могу без нее дышать. И ей нужен каждый любящий ее человек, ее несчастной, залитой кровью Церкви, культуре, которая прорастает сквозь асфальт. Как же я могу уехать сражаться за всего лишь экзотическое для меня государство? Повинуясь какому чувству? Голосу крови? Не о том говорит мне этот голос. Мы с вами договорились не сомневаться в искренности друг друга, как же вы можете упрекать меня в равнодушии к тем, кого бьют и мучают, откуда вам знать — мучает меня это или нет?

— Не знаю, — сказал Володя и безнадежно глянул на Льва Ильича. — Будем считать, что я сорвался и на одного солдата приведу меньше. Живите в своей России, ничего против не имею — тоже небось по-русски думаю, а иврит только изучаю. Но изучаю! Мудрено заставить человека считать себя евреем, если он им себя считать не хочет, а в корысти я вас, верно, не могу подозревать. Но неужели вас, думающего человека, никогда не пронзала гордость за свой еврейский народ, неужели не почувствовали вы его величия — в унижениях, скитаниях; может быть, вы себя и евреем не чувствуете потому, что не знаете, что такое еврей, он для вас всего лишь убогий и презираемый? С какой стати, думаете вы, когда я русский и у меня Достоевский и Иисус Христос? И если у вас, к счастью, не появляется злоба к самому имени «еврей», то внутренняя неловкость, что и вас могут к ним причислить, — несомненно.

«Как он меня раскусил!..» — подумал Лев Ильич.

— ...Но ведь и среди русских не один Достоевский, а Христос был, как известно, другой национальности? А сколько в России мерзавцев, палачей, жалких, ничтожных людишек — не по ним же вы судите о России. Почему же еврей воспринимается только ничтожеством или ростовщиком? А если вы проглядели еврейскую гениальность, трагическую историю? И вот если б вы начали с азов, подошли бы к вопросу, как сейчас говорят, корректно... Обратитесь к истории: татары, пройдя по Руси огнем, затопив ее кровью, ушли — и двести лет держали огромную страну в рабстве и повиновении, а какой-нибудь Бар-Гиора, горсть иудеев сражалась и не сдалась великому Риму! Россия везла в Орду дань, а римлянам пришлось провести плуг по Иерусалиму, истребить народ, и только тогда они вздохнули спокойно. И все равно, после моря крови, чуть больше полвека спустя, поднялся Бар-Кохба. Вот что значит «народ жестоковыйный», который нельзя приручить или проучить.

— Я думаю, это всего лишь полемический прием — разговор о татарах. Дело было куда сложнее, — вставил Лев Ильич.

— Пусть сложней. Я намеренно говорю просто. Это та простота, которой должно кормиться чувство достоинства и гордость еврея. А то, что вы сказали про могилы и про асфальт, это, простите, слова. Что говорить о могилах, когда живые кричат?

Отброшенная дверь ударилась о стену. Лев Ильич вскочил, громыхнув стулом. Володя тоже отпрянул на своем диванчике. В дверях стоял приятель Льва Ильича. Сомнения не могло быть, он был смертельно пьян.

Володя всплеснул руками:

— Соломон Менделевич! Как вы могли...

Старик твердо шагнул в комнату. Костюм его был в явном беспорядке: из-под распахнутого длиннополого пальто выглядывал криво застегнутый жилет, белела выпущенная поверх штанов рубаха. Он поднял палец, прицеливаясь в Льва Ильича.

— Мещумед! — крикнул он и подвинулся ближе к Льву Ильичу. — Скажи нам, сын дщери Сиона, как ты мог восстать против своей старой матери и пойти служить к ее врагам? Разве у нее мало притеснителей, разве ее мало мучили и пытали? Ты поднял против нее окровавленный нож, забыл, что твой удар будет больнее, твоя рана глубже? Как ты мог бросить Ковчег Завета, который мы носили через пустыни и смерть? Как ты мог надругаться над могилами предков, своего деда, который подарил мне талес в домашней синагоге на Божедомке, своей матери, которую я — Соломон Шамес нянчил на старых руках?..

— Соломон Менделевич! — перебил его Володя. — Как вы-то могли? Он мой гость, вы взяли у него деньги и мало того, что напились, его же поносите!..

— Деньги! — в бешенстве крикнул старик и, швырнув полами пальто, выхватил из глубокого кармана порожнюю бутылку. — Пусть забирает свою поганую бутылку! — Он взмахнул ею, не удержался, повалился на диванчик, но тут же вскочил и, размахивая бутылкой, кричал: — Подавитесь, небеса, и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь! Меня, источника воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды! Разве Израиль раб?.. Погоди, накажет тебя отступничество...

Лев Ильич мельком взглянул на Володю, и ему показалось, тот усмехнулся.

— ...Ты как женщина, — кричал старик, — сестры Огола и Оголава, пристрастился к любовникам из Египта и Ассира — они нарушали субботу, расточали себя со всеми подряд — со всеми, кто хотел излить на них свою похоть! Они взяли их наготу, развратили ослиной плотью и похотью жеребьячей. Но Господь обратит на тебя свою ревность — обрежет у тебя нос и уши, возьмет сыновей и дочерей, все у тебя заберет, положит конец твоему распутству. Вот когда ты опомнишься. Но будет поздно! Господь оставит тебе твое распутство, срамную наготу и твое блудодейство!.. Так говорит Господь и Бог наш! — прокричал старик и снова повалился на диванчик.

Володя ловко приподнял его, встряхнул и повел к двери, старик вырывался, сопротивлялся, кричал что-то уже по-еврейски.

«Нахлебался? — сказал себе Лев Ильич. — Можешь уходить». Он с тоской посмотрел в черное окно.

Вернулся Володя.

— Я его уложил — он не первый раз ночует, у меня тут кладовка. Хорошо соседи смирные, да их нет никогда.

— А почему он не уезжает? — спросил Лев Ильич. — Или тоже занят вербовкой? Он — вам, а вы — идеологически обрабатываете?

— Зря вы рассердились, — глянули на него с сожалением Володя. — Хотя понятно, не хотел бы я быть на вашем месте.

— Да мы привыкли, — ответил его словами Лев Ильич, — что церемониться.

— Он отсюда не уедет. Только не так, как вы, не потому. И могилы у него есть. Я как-то спросил, когда мы с ним только встретились, он вроде как на вас кинулся: «Вы признаете родину там, где хорошо живется! Как ты далеко заблудился от Истины, Израиль!..» И пошел. С ним ничего не сделаешь — видели его? Такого только убить можно.

— Пойду-ка я, — сказал Лев Ильич, — многовато для меня. Да и поздно.

— А вы оставайтесь. Я больше к вам не буду привязываться, с вас действительно хватит. Притащу раскладушку, чайку попьем, у меня сыр есть...

Володя попробовал было покрутить приемник, но враждебные голоса с трудом пробивались сквозь оглушительный победный треск нового мира.

— Надоели, — сказал он, щелкнув приемником, — благодетели!

Лев Ильич разомлел от горячего чая. Так и привыкну, думал он, что ни ночь — на разных кроватях, милое дело!

— Не спите?.. — спросил Володя. — В чем-то вы правы. Какой я еврей, если разобратся и оставить надежду вас уговорить? Думаете, легко уезжать — от гнилой весны, грязного двора, мальчишкой здесь гонял в футбол... От языка, на нем только и могу думать. Да ведь и могилы — они у нас у всех. Не только еврейские, и русских

заберется. А летом, в жару, выползешь из речки в осоку, глянешь в небо сквозь иву... А что делать, куда мне деваться — я ничего не могу изменить.

Славный мальи́й,— думал Лев Ильич. Чем-то похож на тех, кто сто лет назад потащил в деревню копеечную правду: Белинского да Спенсера, а их в холодную... Придумать такое для русского мужика, когда уже Гоголь был, не говоря о Серафиме Саровском. Как свечки горели. Сколько лет понадобилось, чтоб стали в чувство приходить, про речку и про иву вспомнили. А если и у этого такое же похмелье т а м наступит?

— Знаете, в чем ваша ошибка?... — сказал Лев Ильич. — Я начал было, а вы меня перебили. Конечно, нация должна пройти через соблазн своего государства, самоутверждения, чтоб было как у всех. Две тысячи лет мечталось, ничто не смогло заглушить ту мечту. Свершилось чудо! И само государство, невероятность нашей эмиграции. Но... на время, оттяжка, не решение проблем.— Лев Ильич помолчал, прислушиваясь к тишине в квартире, во дворе, во всем мире. Володя не отвечал, но и не спал, слушал.— Когда вы говорили о своей гордости еврейством, которую нужно воспитывать,— не о том вы говорили. Подумаешь, Бар-Кохба или Эйнштейн, Спиноза, кто еще? У каждого народа есть гении, что вы докажете и кому, если будете подчитывать и раскладывать на количество голов, переводить гениальность в проценты и гордиться, что ваш процент такой высокий. Национальное чувство возбуждает, приниженность способно уничтожить, а это для вас важно — сегодня, из соображений тактических. Есть нечто куда более серьезное, что могло б открыться в таком вашем безумном Соломоне Менделевиче, если б он не был таким. Нет, он таким и должен быть. В нем разгадка. Подороже Эйнштейна и Бар-Кохбы.

Лев Ильич перевел дух и опять увидел в темноте ту же картину: в розовом мареве толпу оборванных пастухов, бредущих в клубах пыли вслед за стадом, и седобородого старца впереди...

— Народ пророков и тех, кто их побивает камнями,— и это одновременно! — Лев Ильич сел на раскладушке.— Какая была вера — история Авраама, готового принести сына в жертву, стоит всего. Вот на чем бы строили самосознание!.. Сколько невероятных характеров — не рабских, не приниженных: с Богом боролся Иаков, к Богу приступал, вызывая Его на единоборство, Иов. Как же случилось, что народ не узнал Бога, к нему пришедшего, почему он ждал Его только на сверкающей колеснице, с карающим мечом против других, хотя и помнил, хранил заповеди о любви к ближнему — это ведь не Христос, еще Моисей заповедал? Вот в чем трагедия, я не смогу ее вам объяснить, но в том и уникальность вашего старика, что он таким сохранился, такие и были две тысячи лет назад. С одной стороны, хранить тысячи лет Слово Божие, а с другой — ухитриться его не понять, не услышать! Ладно ваш старик — реликт какой-то, но современные люди, такие, как вы, не закостеневшие, с широтой и непредвзятостью... Почему вы не можете открытыми глазами прочесть свою великую, на еврейском языке написанную Книгу, не видите так ясно начертанный путь, проложенный как тропа под звездами?! А там — поедете ли вы на Ближний Восток или останетесь на вашем дворе — велика ли разница? Ну считаете себя евреем — поезжайте. С чем поедете — вот что важно. Чтоб вооружиться против всего мира, доказать свое превосходство, есть пампушки с черной икрой, которую Россия повезет вам за доллары? В этом видится вам миссия избранного народа?

— А в чем тогда? — спросил Володя.— Умирать под ножом или в печи?

— Нет такой альтернативы,— ответил Лев Ильич.— Обетования Господни непреложны. А умирать нам всем все равно придется.

— Опять всем! То есть вам — а вы не о себе, о других думайте, которые хотят есть и чтоб их за бороду не хватало.

— Тут не договориться,— Лев Ильич почувствовал невозможность ничего объяснить.— Опять про бороду да про поесть. Вы бы свою Книгу научились читать, коль язык взялись изучать. Вы читали когда-нибудь Евангелие?

— Читал. Мне не до того, чтоб ходить в церковь.

— Никто вас туда не тащит! Вы хоть в синагогу загляните, как Соломон Менделевич, если национальным духом хотите дышать. Да и не хочу я с вами ссориться. Я счастлив, что вас увидел. Есть и среди таких оголтелых евреев люди, а не наша интеллигентская слизь, которая все на свете распродала: и еврейство, и бережок с осокой, а про церковь несчастную и говорить нечего. А может, вы там, в святых местах, Голос услышите?

— Я тоже рад,— сказал Володя.— Я тоже таких, как вы, не видел, наверное, никогда больше не встретимся. Только знаете, в чем для вас опасность? Один еврейский писатель в начале века в России повторил формулу, она родилась где-то в Европе: «Дед ассимилятор, отец крещеный, сын антисемит». Вот опасность в чем.

— У меня нет сына,— сказал Лев Ильич и закрыл глаза.— У меня дочь.

— Ну а дочь и выскочит замуж за антисемита.

— Нет,— сказал Лев Ильич,— она моя, меня любит. Ничего у него не получится. И засыпая, уже во сне испугался, даже содрогнулся от липкого, взявшего за горло страха.

## 7

«Упорство и непрерывность»,— вспомнил Лев Ильич, подходя к дому, кажется, в том и была идея одного из героев Достоевского. Правда, тот хотел всего лишь стать Ротшильдом, а ему, Льву Ильичу, нужно вернуть любовь, которую сам же и поразратил. Одно дело собирать камни, а другое — разбрасывать. Вот и пришла пора собирать. А как там дальше: время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время разрушать и время строить, а с объятиями как — обнимать или уклоняться?

Лев Ильич поежился. Он поднимался по лестнице, неохота было забираться в лифт: оттянуть думал или, попросту говоря, сробел вдруг Лев Ильич? Одно дело иметь идею, прикидывать ее к случаю конкретному или общему, спорить и отстаивать ее право на жизнь и жизненность ее права, а другое — встретиться лицом к лицу. А если к тому же есть опыт? Небольшой, правда, вторая неделя идет, а сколько раз его приложили за эту неделю?.. Ну а как же тогда «упорство» и «непрерывность»? Может, лучше на самом деле стать Ротшильдом?..

Он поднял руку к звонку, но передумал и полез за ключом.

«Что это со мной, о чем я?» Деньги, кстати, у него кончились, перехватил до зарплаты десятку у Тани, и еще у него была встреча в редакции — не из лучших. «Отписался?» — спросил замредактора, заглянув в его комнату. «Нет»,— сказал Лев Ильич. Он пришел с утра — деваться некуда, не видел, как Володя ушел — к шести часам ему надо было в булочную. Лев Ильич оделся, убрал раскладушку, сполоснул лицо и настукал на чистом листе, вставленном в машинку: «До встречи там — в горнем Иерусалиме!» Прошел мимо кладовки, старик кряхтел и бормотал по-еврейски — вот кого он не хотел бы встретить: ни сейчас, ни там — в горнем Иерусалиме. «Там тоже, значит, кого-то хочешь встретить, а кого-то нет?» Теперь ему неловко стало за записку: парню тяжело, уезжает неведомо куда, неизвестно зачем. «А кто его тянет?» — обозлился Лев Ильич. Вот и будем всех жалеть: и тех, кто бежит, себя спасает, и тех, кто кого-то собирает, защищает, и тех, наконец, кто нам наобещал оттуда помогать! Всех жалко, потому как ни себя от себя не спасешь, ни тамошним аборигенам не поможешь, а уж касаясь помощи оттуда, коль отсюда забоялись! — не смешно ли? Хотя оттуда, разумеется, можно помочь, но ведь недосуг — хлопот сколько! Надо русскую культуру создавать — за тем и ехали! — доказывать преимущества третьей эмиграции перед второй и первой, да еще была классическая — из девятнадцатого века! Да и как-то требуется разместиться тем, кто олицетворяет «духовный исход» из России. Так что ж, их всех жалеть — и за глупость, и за трусость, и за эгоизм? То есть так заповедано — всех жалеть, да куды мне, жалелки не хватит. Нас-то кто пожалеет — не американцы с англичанами, не ООН и не эмиграция, прости Господи, третья! Разве что штаны-джинсы подошлют, вон и Валерий ему обещал прислать. Наденем на сто миллионов русских мужиков джинсы — вот и решение: и демократия будет, и колхозы отменят, и лагеря ликвидируют. Какие колхозы, когда все мужики в джинсах, а ежели и на наших баб натянуть джинсы!

«Что это я сегодня веселюсь?» — подумал Лев Ильич. Плакать надоело: на погосте живучи — всех не оплачешь, так в «Архипелаге» сказано.

Тут замредактора и сунулся в дверь с этим своим: «Отписался?» «А что ты так торопишься?» — спросил Лев Ильич. Мог бы, конечно, не хамить — тот прав, за неделю надо б написать, во всяком случае, извиниться, сослаться на болезнь следовало бы, деньги за что-то платят. Но не понравился ему Боря Крон. Он ему, правда, давно не нравился.

«Я бы вам, Гольцев, посоветовал не тянуть с материалом»,— сказал Крон тихим голосом. «Вы? — удивился Лев Ильич.— Мне бы посоветовали? А ежели я твоим советом не воспользуюсь?..» «Вы меня много лет знаете,— так же тихо сказал Крон, и глаза у него стали нехорошими.— Я слов на ветер не бросаю». «А не пошел бы ты...» — обозлился Лев Ильич, оделся да и хлопнул редакционной дверью.

Он вытащил ключ и открыл дверь.

Тишина. Но теперь он был повнимательней: плескался кто-то, фыркал в ванной. Он разделся, портфель сунул под вешалку: «Вот бы и мне помыться». Двинулся на кухню и остолбенел: дверь ванной открылась, и выглянула физиономия в мыльной пене, как в маске, рубашка на жирной груди распахнута по-домашнему.

— Ты что здесь? — только и мог спросить Лев Ильич.

— Я-то? А ежели тебе такой вопрос?



Лев Ильич не нашелся, присел к столу. «Упорство и непрерывность? — усмехнулся он. — Смирение подороже будет». Как все, оказывается, просто, а он напридумывал, концепции разворачивал — до Адама включительно. Вот оно что! «Не моей ли кисточкой и бритвой? А чьей же, как не твоей».

Иван вышел на кухню: выбритый, влажные волосы зачесал, застегнулся, галстук повязал свободно, шипром от него разило. Лев Ильич сразу ощутил свои грязные носки, ботинки прохудились, похлопывало. Правда, забежал утром в парикмахерскую, но какая парикмахерская, который день по чужим постелям!..

Иван прошествовал к плите, зажег газ, поставил чайник и уселся против Льва Ильича, распечатал пачку сигарет длинным желтым ногтем на мизинце. Руки у него были большие, белые, спокойные.

Лев Ильич вытащил мятую пачку, пальцы у него подрагивали. «Плохо дело», — отметил он.

— Что скажешь? — начал Иван.

«Ага, — подумал Лев Ильич, — первый удар его, стало быть, и инициатива. Нет, это в драке первый удар может все решить, а если в шахматы — ход черных дает название партии...»

— Я сейчас подумал, — сказал он, — мы с тобой шестнадцать лет знакомы, а ни разу не поговорили. Может, наконец, случай?

— Я всегда был готов — хоть шестнадцать лет назад.

«Ага, принял мою игру — разменялись...» Лев Ильич внимательно посмотрел на Ивана — он сидел против света: светлые, спокойные глаза, твердое лицо с сильным подбородком, крупные, плотно сжатые губы. «На пару лет, что ль, меня постарше?» Хорошее лицо, волевое, — подумал он. — И никакой он не жирный — располнел: ни спорта, ни физической работы, а мужик здоровый.

— Ты что, живешь здесь? — спросил Лев Ильич.

Иван затушил сигарету и поднялся к закипевшему чайнику.

— Чай будешь пить?

— Завари покрепче, — откинулся к стене Лев Ильич и глаза закрыл. — Знобит.

— Ты и заваривай — лучше меня знаешь, где чего.

Лев Ильич открыл глаза. Иван опять сидел против него, Лев Ильич перехватил его взгляд — напряжение ему увиделось: беспокойство, тревога? А может, радость?

— Знаешь, Иван, — повторил ход Лев Ильич, помягче у него теперь получилось, — мы вдвоем, никого нет, давай первый раз поговорим, чтоб ничего на душе не осталось. Иван молчал.

— Ты знаешь, я за последние дни понял, человек так внутренне испорчен, извращен, ложь и притворство настолько глубоко сидят в нем, что он и себе никогда не скажет правды, не то что другому.

— Ты про какого человека говоришь? — поднял на него глаза Иван, они опять затанулись дымкой, всегда такими были — ничего не прочтешь.

— Вообще про человека.

— А... — махнул рукой Иван.

— Нет, вообще-то, само собой, — заспешил Лев Ильич, — я себя имею в виду, первый раз в себя заглянул, обычно боишься сказать себе правду...

— Ты это к чему?

— Давай попробуем в себе преодолеть, поверх застарелой лжи, ей уже шестнадцать лет возрасту... — Лев Ильич глубоко затанулся, глотнул дыма, и голова у него легонько закружилась. — Все эти шестнадцать лет нашей с тобой дружбы я тебя ненавидел, порой в глазах темнело, когда встречал. Но и жить без тебя не мог. Ты помнишь, я тебя зазывал, уговаривал, придумывал поездки, помнишь одну ночь, в деревне жили, возле Тарусы — шашлык жарили в лесу, я у костра сидел, а вы с Любой ушли в деревню за одеялами? Вас часа два не было, а там рядом, у хозяйки, мальчонка заболел, вы его в больницу возили, помнишь? Вы пришли, а я стоял за деревом... Помнишь?

— Зачем ты это говоришь? — У Ивана в лице ничего не двинулось, только глаза прояснились искренним недоумением.

— Мы, вискон, разойдемся с Любой, — сказал Лев Ильич, — или уже разошлись. Я хочу понять, ты здесь жить собираешься?..

— А ты подумал когда-нибудь, ну, когда зазывал или уговаривал, когда за деревом стоял, время было, два часа размышлял? Подумал, зачем я давал себя уговорить — из любви к тебе?

— Мне в голову не приходило.

— Ну да, не до того было. Сначала придумать, уговорить, а потом ненависть накормить досьята.

Теперь Лев Ильич удивился: «Вот ты, оказывается, какой!»

— Почему ты о том не подумал, что и у меня в глазах темнеет от одного твоего вида, твоя жалкая хитрость за версту видна — напускная веселость, лживое гостеприимство. Ты меня за дурака принимал?

— Зачем же ты... в таком случае?

— Зачем?.. Нашло просветление, пакость свою увидел. Не свою, не верю я тебе, не зря проговорился — вообще про человека рассуждаешь, и не «вообще» — про меня, про Любу, кто у тебя еще? Свою ложь на других раскладываешь, говоришь, что сам лжешь, чтоб другого обвинить и чтоб вышло поинтеллигентней.

— Откуда ты...

— Непонятно? Мыслитель... Ребята твои говорят — в церковь ходишь, крестился, что ль?

— Какие ребята?

— Я тебя спрашиваю.

— Крестился.

— Значит, правда. А что с Любой, с Надей будет? Ты вообще про них думаешь?

— Я не пойму, они тут при чем?

— Тебя завтра с работы попрут, а послезавтра в сумасшедший дом запрячут! — Иван даже покраснел от злости.

— Ну а ты-то что забеспокоился — запрячут, и хорошо. Место освободил.

— Сволочь ты. Люба уговаривала, детство, мол, в тебе — перестарок. А теперь вижу...

Иван встал, пошарил по полкам, нашел чай, заварил и налил себе.

Лев Ильич тоже встал и налил в чашку.

— Ты очень благородно реагируешь, — сказал он. — И вообще на большой высоте. А я — сволочь. Только ты загадки задаешь, а я надеялся, мы наконец темнить перестанем. Я с тобой откровенно, а ты...

— А в чем твоя откровенность — что ты мне в любви признался? Я без того знаю. Зачем я к тебе шестнадцать лет таскался? Не к тебе я таскался, я тебя в упор не видел и за человека не считал. Хватит с тебя откровенности?

— Это уже ближе к делу.

— Любит она тебя, а больше нет тут ничего. А не было б того, я б с тобой давно рассчитался... — У Ивана из рук выскользнула чашка, кипяток плеснул по столу и, видно, ему на колени. Он матюгнулся, вскочил и в ярости крикнул: — Ты ж погубил бабу, и такую бабу! И девочку. Вот девочку я тебе никогда не прощу!

«Ого! — подумал Лев Ильич, — а я любовался на его спокойные руки — опять, стало быть, осечка?»

— Ну хорошо, — сказал он, — про Любу не будем говорить, такой откровенности у меня нет права требовать. Мне она и не нужна. Теперь не нужна. А вот о девочке какая у тебя печаль-забота? Ты тут при чем?

Иван сел к столу — на мокрую табуретку.

— Хватит, — сказал он, — давай прекратим. Да и ни к чему. Наговорились.

— Нет уж постой! — Льву Ильичу жарко стало, он вспомнил поразительную историю, никогда она ему не вспоминалась — к чему бы? Наде лет пять, у нее болел живот, пришел врач и срочно вызвал машину — аппендицит. А у Льва Ильича в тот вечер встреча друзей — традиционный сбор в университете. Они с Любой отвезли Надю, и он пошел на вечер. Пьянка, как всегда, вернулся ночью, а утром вскинулся — что у девочки? Ничего, Люба говорит, там Иван, он звонил после двенадцати, еще ничего не известно. Лев Ильич бросился в больницу — не рассвело, темно, зима. И вот вспомнил: в справочной, у окошка, как вошел с улицы, увидел Ивана — тот сидел на стуле, спал, шапка валялась у ног... — Погоди, — повторил Лев Ильич, — давай поговорим, второго такого разговора не будет. Я его тоже не выдержу, верно, хватит. Какое тебе дело до Нади?

— Отстань от меня, сам выясняй с Любой отношения.

— Нет, подожди, — начал распляться Лев Ильич, — ты мне ответь. А впрочем, как знаете. Сниму квартиру, заберу девочку — она-то уйдет со мной, а вы тут...

— С тобой?! — вскричал Иван. Он встал, вцепился в край стола. — Ты девочку не трожь. Она моя... Надя.

— Как твоя? — почему-то шепотом спросил Лев Ильич. — Твоя?

— Вот так. И не трожь ее.

— Ты что говоришь? — у него голос сорвался. — Ты о чем, Ваня?

— О том самом. — Иван смотрел ему прямо в глаза, лицо у него горело, он выпрямился, будто сбросил наконец с плеч тяжесть. — Надоело мне, хватит!

— Ты... шутишь? Ты прости меня, я ничего тебе никогда... Зачем ты так, Ваня...

— Прости и ты меня, Лева, сам вынудил. Не твоя она, Надя.

— Не моя?

— Помнишь подвал в больнице, когда я тебя впервые увидел? Ты думаешь, я не вижу, только ты нас?.. В родильном доме...

— Врешь,— очнулся Лев Ильич.— Неправда.

— Да уж правда, Лева.

— А как... докажешь?

— Математически. У нас у всех троих одна группа — первая. А у тебя вторая. Я знаю.

— Какая... группа?

— Крови,— сказал Иван.— Хватит об этом.

Лев Ильич попытался встать, ноги не держали. И тут звонок ударил — он все время его ждал, знал, вот-вот.

Иван пошел открывать.

«Мама дома?.. Дядя Ванечка, ты себе представить не можешь, какой дурак твой претендент!» — «Какой претендент?..»

Лев Ильич со страхом ждал, что они сейчас войдут, но из кухни не было другого выхода. «Кабы в окно...» — мелькнуло у него.

«...Тот самый пижон из МИМО,— тараторила Надя,— сам же жениха приискал? Понимаешь, как он сказал, что будет дипломатом и поедет в Европу, Америку, я ему говорю: давай фиктивно поженемся, мне нужно за границу на недельку, друга повидать. А где он? — спрашивает. А я говорю: в Израиле. Ты что, говорит, я с еврейскими изменниками не хочу знаться, меня из дипломатов попрут. И тебе, говорит, советую: забудь про таких. А с нееврейскими изменниками как? — это я спрашиваю. Я, говорю, дружбе не изменяю. И с карьеристами знаться не хочу». «Надя, Надя,— вздохнул Иван,— что ты несешь, уши вянут». — «А что, неправда? Если ему главное карьера...»

— Папа приехал! Из командировки?

— Нет,— сказал Лев Ильич,— я ещё в командировке. То есть... мне нужно...

— Куда нужно? — Надя впилась в него глазами, глянула на Ивана.— Что это у вас? — Иван подтирал пол у стола. Надя забрала у него из рук тряпку.— Что тут случилось?

— Да ничего не случилось, что ты пристала! — Иван в сердцах громыхнул чайником. Лев Ильич пошел из кухни, надел пальто и взял портфель.

— Папа! — крикнула Надя. Он был уже на площадке.— Пап! — Она вцепилась в его пальто.— Ты куда? Я не пушу тебя. Никуда не пушу.

— Мне правда нужно, Наденька. Я и так опоздал. Заговорились.— Он пытался оторвать ее руки.

Они прошли марш лестницы и остановились у окна.

— Я знаю,— зашептала Надя,— вы с мамой ссоритесь. Вы разойдетесь, да? Разойдетесь?

— Не знаю. Может быть. Мы еще поговорим с тобой.— Он оторвался от нее и через ступеньку побежал вниз.

— Папа! — крикнула Надя, свесившись через перила.— Мне очень нужно поговорить! Сегодня. Или завтра.

— Хорошо,— сказал Лев Ильич, гулко было на лестнице.

Он уже был внизу, и тут, открывая дверь в подъезде, остановился. «Но почему вторая? Это у нее, у Любы вторая, а у меня всегда была первая группа!..»

— Господи,— сказал он вслух,— какой ужас.

Сзади хлопнула, закрываясь, дверь. Он опять был на улице.

## 8

Он никуда не сворачивал, шел и шел.

«Если идти прямо,— подумалось ему,— ни разу и никуда не свернуть...» И он уцепился за эту мысль и попытался развернуть перед собой карту города, в котором жил. И представил себя как бы в карьере: обнажившиеся пласты ушедших вглубь, никогда не способных вернуться на поверхность пород — слезавшихся, уплотнившихся под тем, что тысячелетиями их давило... Не тысячелетия, но века — всего десятилетия, память услужливо подсказывала облик улиц, которыми он сейчас шел, в пору его юности, детства, он пытался вспомнить, что было тут до него и еще раньше. Почему-то прежнее показалось куда ближе, душевней, будто раньше он мог бы звякнуть в колокольчик у ворот и ему б кинулись навстречу, провели в дом, о нем доложили... Ну, так преувеличивать едва ли стоит, со свинным рылом да в калашный ряд!.. Пусть не так, не отворили бы ворот, но какое-то необъяснимое душевное волнение ощутил Лев Ильич, думая о городе — о том, каким он был. А тут — мертвые, бешеные улицы, бессмысленно разрезавшие живое тело города, брызжущие грязью машины, летящие сквозь будочки и особняки, кладбища — по могилам, не вздрагивающие перед храмами и монастырями. Сколько их было тут, Господи!.. Зато легко идти,— усмехнулся он,— раньше бы закружился в улочках и тупиках... Куда же меня вынесет, если прямо? И он представил себе одну улицу, другую, двинулся в третью, а по обеим сторонам возвышалась темная стена, глаза у нее вспыхивали мертво,

казенно, не тем огоньком, что светит в пути, не дает заблудиться, где ждут и всегда рады. Страшное механическое чудовище держало его цепью, позволяя до поры шагать между домами, обманывая якобы свободой передвижения — далеко не уйдешь, некуда податься.

Отчаяние затопило его, он было усмехнулся, представив со стороны свою нелепую фигуру с портфелем, в чмокающих ботинках, но что-то и сил не было усмехаться.

— Можно вас на минутку, гражданин?..

Лев Ильич дико посмотрел на стоящего перед ним человека — невысокого, в солдатской шапке без звездочки, с опущенными ушами, в старенькой телогрейке, давно небритого и пьяноватого.

— Позвольте, я вас спрошу, а там путь свободный, не опоздаете.

Лев Ильич жадно всматривался в него. Они стояли возле залитой огнями витрины магазина.

— У меня дело такое... Вчера вернулся. Четыре года — будь-будь. А домой... Не могу я домой! Не примут — зачем я им? Найдется у вас... хоть рублик?

Лев Ильич смотрел на него не отрываясь.

— Рубль много, перебрал. Копеек тридцать, десять... или сигаретку?..

Лев Ильич полез в карман, вытащил бумажки, все, что были у него: он разменял Танину десятку — пачку сигарет только и успел купить.

— Возьми... — но тут же устыдился, полез в другой карман, выгреб мелочь. — Возьми, возьми, худо тебе, брат?

Они отошли под арку, от света, от бегущей, мчащейся мимо улицы.

— Вот как! — сорвался мужичонка. — Не думал, что и здесь люди есть. Ты... Я второй день — ну пропил, что было. Там волки, а тут почище. Там не боялся, а тут — боюсь! Даже не знаю, чего тебе сказать...

— Ладно. О чем ты? Так вот я вернусь — может, тебя встречу.

— Ты что! — вскричал мужичонка. — Там!.. Не дай тебе того попробовать...

— Да ладно, — спешил Лев Ильич, — от сумы да от...

— Не думай — и говорить нельзя! Я, может, чудом живой — волки там, не люди.

— Ты знаешь, — все торопился Лев Ильич, — ты ступай домой, я задумал, поверил, тебя ждут дома... В магазин зайди, хочешь, вместе пойдем? Купи чего — дети-то есть?

— Дети? Какие дети. Были дети. Баба третий год кобеля себе нашла.

— Ну а мать, мать-то жива? — жадно спрашивал Лев Ильич.

— Мать больная, куда ей на меня глядеть...

— Вот-вот, увидишь! Давай пойдем, платок купим. Эх, денег у меня больше нет!

— Знаешь что, — сказал мужичонка, — возьми-ка ты свои деньги. А мне рублевочку. — Он разжал ладонь и стал разбирать скомканные бумажки. — Ты сам, я гляжу, плохой. Самому надо...

— Ты что? — вскинулся Лев Ильич и бросился от него по улице прямо в толпу. — Спасибо тебе! — крикнул он, оборотясь на темную фигуру под аркой, шагнул на мостовую и двинулся через дорогу, не глядя на мчавшиеся машины: «А! Не заденут!» Он знал теперь, куда идти.

«Вот случай! — кричало в нем. — Знак!..» Рука, протянутая, когда земля из-под ног уходит. Не забывай, помни, всегда знай, твоя беда — три копейки цена, всегда есть люди, которым хоть в прорубь головой. Что у тебя?.. Отняли что-то?.. Ну и правильно, если можно отнять. Если всерьез — не ему, не Льву Ильичу плохо, в Иванову шкуру он бы сейчас влезть не захотел. Вот кому худо. Он даже на мгновение подумал: не позвонить ли? — да отмахнулся, он не в силах помочь, с тем, что у того на душе, самому разбираться. «Да не самому!» Много ль сам нараспутываешь, коль не помогут, когда протянутую руку не различишь. А увидишь, обопрешься — шагай спокойно, звони — и тебе откроют, а там люди, у них своя беда-печаль, значит, и тебя поймут, для тебя найдется доброе слово. А машины — Бог с ними, от них тоже польза. Были б деньги, остановил машину — вон подмигивает зеленым огоньком, в два счета б долетел. Деньги! Он и так добежит. Жалко, позвонить нет мелочи — да ладно, там ему всегда рады. А не рады — все равно хорошо будет.

Ему в голову не могло вскочить, что может прийти и не застать Сашу. Это самый-самый первый его товарищ. Еще в детстве они вместе жили на даче на Клязьме, «Графа Монте-Кристо» читали, потом не виделись, а встретились уже в университете: Саша — историк, они ровесники, а куда Льву Ильичу, — тот все на свете читал, голова хорошая, ясная, эрудиция не для показухи, знал человек много. Он и книги Льву Ильичу давал, записывал, правда, да в срок просил уложиться, а срок любой — сам назначай. Библиотека у него замечательная, отцовская, тоже был историк русский, вовремя помер, сидел бы. Саша рассказывал, они пришли за отцом через полгода, как его похоронили — накладка вышла, не очень и засмутились: «А мать, мол, где?..» Ну а матери, к счастью, не было, уехала к родне в Ленинград. А Саше лет десять — не поживишься. Так и библиотека сохранилась, и квартира хорошая. И мать жива-здоровая.

Что-то, правда, было промеж них последние годы, потому и не виделись. Его стала обижать Сашина покровительственность, постоянная усмешка. Но привык, смирился, тот и верно все на свете знает, а он — Лев Ильич — ничего. А что знал вроде бы, у Саши было записано, и выходило не так много, да и как-то беспорядочно проходил Лев Ильич свой собственный университет: исторические книжки таскал, тогда и Библию взял и держал чуть ли не год, пока Саша не рассердился, строго напомнил, и литературу вокруг христианского рассеяния... «А зачем тебе?» — спросил Саша. — Ты вроде далек от этих проблем?» Верно, далек. Но все меньше охоты было приходиться к нему. Хотя хорошо там было: уютно, тихо, устойчиво; у него, у Льва Ильича, да и у всех его приятелей, которые выколачивали свои квартиры, набивали дешевой ли, дорогой мебелью, чужой и случайной, так прочно, укорененно ни у кого не было. Другой раз сидишь, утрешься: настольная лампа — бронзовая, спокойный полумрак, золотые обрезы книг, мягкие кресла, Ангелина Андреевна пригласит к столу, у нее домашнее печенье, серебряные ложечки, посуда... Жены у Саши не было, так и остался старым холостяком, всем на удивленье. «Наука — моя суженая», — отшучивался Саша, когда к нему приставали.

Да, вспомнил Лев Ильич, кто-то говорил, он не зря занимается русской древностью — он верующий человек! Несомненно, не зря Феликс Борин и Вадик Козицкий его носили, узнав про нашу дружбу, чего только не наговаривали...

Он уже входил в высокий подъезд, всего и осталось три, что ль, дома на Молчановке, окруженной, стиснутой, задавленной нелепыми коробками-небоскребами — тупыми и равнодушными, мертвыми.

Саша открыл дверь. И будто вчера расстались — ничего в лице не двинулось. «Ого, лысеет, — отметил Лев Ильич, — благородно, со лба...» Лицо у Саши спокойное, брови темные над светлыми глазами, румянец, как у девушки, во всю щеку. Был он в белой рубашке, в галстуке, а сверху теплая вязаная куртка, мягкие штаны, домашние туфли — крупный, солидный человек.

— Здорово, профессор! — бросился к нему Лев Ильич. — Не ждал? Не рад?

— Заходи, заходи, Лева... Жалко, не позвонил... Ко мне тут один человек должен заглянуть.

— Ну вот я и есть тот человек. — Лев Ильич уже раздевался, довольно потирал руки, слобным теплом его охватило: «Никак печенье дадут?...» — Мама здорова?

— Слава богу. Спасибо. А что ты такой встрепанный да... — не нашел слова Саша.

— Не стесняйся, все так и еще хуже. Когда люди сто лет знакомы, а встречаются в десять лет раз — коль все хорошо, друг про друга и не вспоминают...

Они прошли в кабинет, ботинки Льва Ильича утонули в мягком ковре, он сидел в кресле, лампа мягко освещала стены в книжных шкафах, портреты на стенах. Икон что-то не видно? Ну да, студенты — он и правда профессор или доцент...

Лев Ильич встал и протопал по коврику.

— Я гляжу, у тебя портреты новые... Флоренский! Я такого не видел... А это кто? Раньше у тебя Соловьев был?

— Был, — Саша неопределенно отмахнулся. — Спасибо, Флоренского знаешь. А это — Розанов. Слышал? — снисходительно обронил он.

— Я прочел недавно «Столп», — сказал Лев Ильич, рассматривая портрет: Флоренский был без очков, щурил близорукие глаза под тяжелыми веками, длинные, до плеч волосы, большой крест на груди.

— Ишь ты? Ну и как?

— У меня не было в жизни большего потрясения.

— Так что — понравился? — удивился Саша.

— Не то слово. «Понравился!».. Меня спасла эта книга, если хочешь знать.

— От чего спасла?

— Долго рассказывать, поверь — и все. Наверное, есть книги и повыше, читал. Но... далеко, абстракция, а здесь — мое, со мной разговор, в самую точку. Мы с тобой его встретить могли — детьми...

— Странно, — буркнул Саша.

— Да, кстати! — вспомнил Лев Ильич. — У меня был смешной разговор — не смешной, грустный скорее, что делать, есть и такие люди. Что вот, мол, Россия под татарами враз сникла, не только военную мощь и потенциал смяли, но и душой завяла, не просто дрогнула — внутренне сдалась, хотя татары, пройдя ее мечом и кровью, ушли к себе, так сказать, автономию предоставили. А князья в орде христарадничали, отдали святыню, о сопротивлении — двести лет и не помышляли. Я чувствую, знаю — не так, но ведь и факты...

— Детский разговор. И дети испорченные. Ясно, кем испорчены. Факты... А смерть князя Михаила Черниговского, не дрогнувшего пред Батыею, когда предложили поклониться идолу, не факт? А Роман Рязанский — перед Мангу-Тимуром,

принявший смерть на костре, а великий князь Михаил Ярославич, убитый Узбеком, растерзанный татарами в орде?..

— Вот-вот,— обрадовался Лев Ильич.— Я знал, что так, темнота моя! А то, понимаешь, разговор: евреи, мол, перед Римом не дрогнули, пока их не истребили и Иерусалим не перепалили, но все равно через семьдесят лет у них Бар-Кохба, а ведь великий Рим — не кочевники. А русские, мол, князя за ярлыком к этим самым кочевникам...

— Вон оно что,— усмехнулся Саша.— Так бы и говорил, а я в таких дискуссиях не участвую, доказывать русское мужество перед еврейским хитроумием не берусь. Уволь.

Лев Ильич сидел в кресле, Саша за письменным столом поигрывал ножом слоновой кости.

— Почему «хитроумие»? Бар-Кохба был воин — ничего не скажешь.

— Поговорили. Если б не Россия и добрались татары до Рима, хоть и в пору его величия... Кочевники! Нелепо и говорить.

— Конечно! — радовался Лев Ильич.— Карамзина вспомнить, кроме Батые — Тамерлан, если б они добрались до Европы...

— Надо бы кой-кому мозги вправить.— Саша опять усмехнулся.

— И все-таки что-то тут мне неясно. Дело не в отдельных фактах мужества, пусть они и характерны, а если любишь, душу народа объясняют. Но смириться внутренне, добровольно, из страха, забыв реки крови, варварство, низость, идти за подачкой — а ведь не год, не десять, даже не сто лет. И ведь тысячи и тысячи людей. А какие пространства — где там Орда, за тридевять земель! А мы еще перед евреями недоумеваем — современными я имею в виду, которые в немецкие печи шли, как стадо. Или это христианское смирение — здесь, в России?..

— Я тебе сказал,— резко оборвал Саша.— Я параллели проводить не намерен. А что до того, что государственная катастрофа и народное бедствие, ни с чем не сравнимое — «погибель земли русской», как современник выражался, что это народ сломило — невежество лишь или, как сам выразился, отсутствие любви — да откуда она в тебе, любовь? Для русской культуры татары не стали переломом, не остановили ее... Запустело то, что было уничтожено. Из Киева на полукии Северо-Восток, как историки говорили... Какая же дикость, если в самом страшном тринадцатом веке, кроме летописи, Патерик Печерский начинался, Толковая Палея — кстати, противоиудейская полемика. А литургические труды митрополита Киприана, а то, что в его время на Руси был установлен праздник Григория Паламы — это ль не свидетельство духовной мощи?.. Тебе не понять! А сколько рукописей, какой поток их хлынул, сколько переписывалось в монастырях, а творения Святых Отцов: аскетика Василия Великого, Исаак Сирин, «Лествица» Иоанна Лествичника, Максим Исповедник, отрывки творений Симеона Нового Богослова, творения об исихии... Не токмо переписывалось — было кому читать! Да уж четырнадцатый-то век — век преподобного Сергия! А расцвет иконописи? А спор между Москвой и Царьградом, а эсхатологические ожидания, апокалипсические настроения, первая идея о «Третьем Риме»? Какое же духовное оскудение — немыслима в ту пору в Европе духовная высота, напряженность! Вот что характерно, что объединило и спасло народ... Зачем это тебе? — оборвал себя Саша.— Если ты про Бар-Кохбу...

— А что Бар-Кохба? — обозлился Лев Ильич. «Сколько знает, подлец! Хотя, может, и пугает, врет, в Европе Данте был...» — Продемонстрировал, между прочим, наглядно, что есть народ, с которым при помощи палки не поговоришь и на колени не поставишь. Тоже, кстати говоря, Пятикнижие существовало, Слово Божие в душе народа сохранялось, да и не двести лет, а четыре тысячелетия! И Вавилон, и Ассирия, и Египет, и филистимляне...

— Договорились,— встал Саша,— очень люблю еврейский интерес к русской истории: что-нибудь вынюхать, а потом перевернуть исподтишка... Ты извини — ко мне, слышу, пришли...

— Саша! Сашенька! К тебе гость... Батюшки, Левушка пожаловал? Что же со старухой и поздороваться забыл? Негоже...— Ангелина Андревна, все такая же высокая, прямая, с седыми локонами, чопорно одетая, как в концерт — даже туфли на высоких каблуках.

— Виноват, Ангелина Андревна.

— Сколько же лет и не вспоминал нас?

— Познакомьтесь — мой старый приятель.

— Костя! — Лев Ильич содрогнулся: «Ну, плохо мое дело...»

— Да уж не знакомы ли вы? — удивленно смотрел Саша.

— Имел удовольствие.— Костя был во вседневном своем пиджачке, в белой рубашке, при галстуке.

— Однако... Ну что ж, прошу, садитесь.

— А у меня печень к чаю, — улыбалась Ангелина Андревна. — Домашнее. Полчаса вам на разговоры... Простите старуху, мешать не буду. Лева, а вы — коварный мужчина! — она кокетливо улыбнулась, даже пальчиком погрозила и вышла.

«Ну что я взелся! — корил себя Лев Ильич. — Почему он должен меня понимать — что он обо мне знает, кроме того, что в юности брал у него книги?» Но чем-то не понравился ему Саша, впрочем, он сам себе еще пуше не нравился.

— Я вам принес «Раскол старообрядчества». Благодарю вас, Александр Юрьевич. Хорошая книга. То есть хорошего в ней ничего нет, все известно — жалкая никонианская идея, попытка оправдать то, против чего вопиют факты, здесь же собранные, но сам свод материала... И знаете, что мне пришло в голову — в развитие, кстати, нашего с вами разговора? — Костя сидел на краешке дивана, выпрямившись, поглаживал усы. — Идея о безблагодатности сегодняшней православной церкви, иерархии — всего лишь чиновной, она объясняется не революционной пошлостью, но корнями уходит куда глубже. Именно, так сказать, характеристическое явление нашей церковной жизни. И дело не в слабостях, не в разврате и сребролюбии попов и епископов, испокон века у нас прославленных теми подвигами. Это лишь следствие — не причина. Уже в семнадцатом веке знали, что благодать взята и вовсе отнята, что даже вода живая осквернена, что только упованием и плачем можно спастись. И перерыв священства у никониан, а отсюда и прекращение тайнодействия. «Вертепом разбойников» уже Аввакум называл ту церковь, а потому «суетно кадило и мерзко приношение». И что бы мы о расколе ни говорили — здесь истина, потому, коль «вертеп», какая ж благодать? И не в исправлении книг дело, не в обряде — в сути. Поэтому и стало все возможно, от Петра до Куроедова — велика ли разница, когда в истоке замутнено и осквернено?..

— Вы... так сказать, несколько упрощаете... — тянул Саша. — Но впрочем, а почему б и не так? Пусть резко, пусть максимализм, но коль забрезжила истина.. А ведь, пожалуй, вы и правы. А?.. Град рухнул, мечта о хилиазме сокрушена — Третий Рим кончился, а Четвертому не быть, ибо все скверна, и церковь — не церковь, и тайны божественные — не тайны, и крещение — не крещение, и учение — неправомерно. Нет Града — рухнул. А богоносность — она поверх всего, вот в чем фокус! Очень верно!

— Погодите, — встал Лев Ильич. — Как верно? А разве мечта о Граде, Третьем Риме — православная мечта? Разве Град — не в горнем Иерусалиме? А богоносность эта откуда, кем придумана — нет об этом ни в Писании, ни у Святых Отцов. Или я ошибаюсь — есть? То есть в каком-то метафизическом смысле, в мистических размышлениях о судьбе народа, чуде его церкви, но ты употребляешь как некий богословский термин...

— Вы подумайте! — всплеснул руками Саша. — Ну кто бы мог такое от такой... ожидать?

— Какой «такой»? — со вспыхнувшей злостью спросил Лев Ильич. — Договаривай. От валаамовой ослицы, что ли?

— Лев Ильич очень живо реагирует, я уже заметил, что как только заходит разговор... — попытался смягчить Костя, но Лев Ильич ему не дал.

— Подождите! Шут с ней, с ослицей, у нас старые счета, посчитаемся. Я хотел бы понять... Эта книга... — Он подошел к столу и раскрыл книгу, принесенную Костей. — Эту я не читал, но про раскол кое-что помню — у тебя и брал! Еще Костомаров заметил, что раскол хоть и гонялся за стариной, но был явлением новой, а не древней жизни. В этом парадокс раскола — не я, историк какой-то сказал. От бессилия и упадка — не от силы веры, потому и за обряд цеплялись, отсюда и кошмары, и пресловутая странность русской души здесь берет начало — до изуверства включительно, и путаница, — потому и примстилось, что Третий Рим оказался царством дьяволовым. Это не старая Русь, а мечта о ней, погребальная грусть — отсюда надрыв и раздвоение раскола, отсюда — и романтизм, не зря декаденты кинулись к расколу... Погодите! — крикнул он, когда Саша сделал движение заговорить. — Нет тут никакой почвы, наоборот — да помню, читал, очень точно ложится на мое православное понимание. Это исход из истории, из соборности — вот тут в чем дело. Не обряд, а антихрист — вот в чем тайна раскола, отсюда и апокалиптика... Мечта о Граде на земле? Да чем ты тогда лучше жалких иудеев, они и споткнулись на мечте о тугошнем царстве Божием? Третий Рим, второй, десятый — какой Рим, когда мир во грехе лежит и нужно заповеди соблюдать? Как ты их соблюдешь, коль станешь Рим сооружать?

— Лев Ильич, вы очень сбивчивы и уходите от темы, мной весьма скромно затронутой, — опять постарался успокоить его Костя. — хотя, может быть, моя мысль о благодати не так скромна...

— Да что вы, Костя, пугаете меня! — отмахнулся Лев Ильич. — Как могла оскудеть благодать или даже быть отнятой... Саша напомнил о веке преподобного Сергия — что ж, на нем она и почил? Не от него ли, отца этой земли, подтекла она прамехонько

к преподобному Серафиму, да и за пять веков между ними было ей на кого снизойти? На церкви русской она от века — врата ада не одолели!..

— Лева, я тебя просто не узнаю! — Саша разводил в недоумении руками. — Ты чем эти годы занимался, откуда такие... религиозные реакции?

— Лев Ильич крестился неделю назад, — вставил Костя. — Сильное потрясение для непосредственной натуры. Мы с ним объяснялись на этот счет.

— Крестился?! Да не может того быть!.. Мама! — крикнул Саша, шагнув к двери и распахивая ее. — Ты слышишь? Иди-ка сюда!..

— Что случилось, Сашенька? Ты такой встревоженный! Чай на столе...

— Ты слышишь, мама, Лева выкинул номер — крестился! Ну прямо к нашему недавнему разговору...

Ангелина Андревна вглядывалась в Сашу, пытается понять.

— Лева?.. Да, это случается. Вот и у Юрия Владимировича, покойного твоего отца, был приятель, забыла фамилию... тоже выкрест. Еще до революции, потом стал крупным нэпманом. Не помогло. Сгинул, как многие...

— Мамочка, ты прелест! — расхохотался Саша. — В самую точку! А?.. Идемте чай кушать, хотя по такому торжественному случаю можно и наливочку, а, мама? Ту, заветную?..

Они сидели в столовой, за большим овальным столом, накрытым белой хрустящей скатертью. Над столом люстра: «Паникадило восемнадцатого века, — вспомнил Лев Ильич, — музейная вещь». Серебро, рокфор, ветчина, сверкающее в вазочках варенье. Ангелина Андревна внесла графинчик с темно-алым напитком.

— Все как ты просил, Сашенька!..

— Ну и отлично, мама. Прошу, приступим... — Саша налил всем из графинчика и встал, высоко подняв рюмку, хрусталь вспыхнул алым пламенем. — Я прошу выпить за моего старого приятеля. Помню его кудрявым черномазым мальчиком в красном галстуке...

«Что врешь-то, — обозлился Лев Ильич, — мы и не видались, когда я учился в школе...»

— ...Я вспоминаю его чернявым студентом, пусть простит меня, но из песни слово не выкинешь, просиживающим штаны за конспектами по основам марксизма-ленинизма. И вот он перед нами: поседевший, в новом качестве — бесстрашно шагнувший в православие...

— Что уж ты, Саша, как на поминках? Тон такой... — брякнула Ангелина Андревна. Лев Ильич посмотрел на нее с нежностью.

— Напрасно, мама! Лева как бы заново родился. Ты б послушала, сколько в нем пылу и жару, страсти, готовности ломать и преобразовывать по своему разумению нашу глупую старую церковь... За тебя, Лева!..

«Надоело ль меня хватит? — размышлял Лев Ильич. — Однако я тут отогрелся, ничего не скажешь. Почему все у меня теперь не так выходит, все, что было прежде, стало быть, надо переоценивать?»

— Прекрасный напиток, — сказал он. — Вы мастерица, Ангелина Андревна.

— Еще бы, Лева, наш старый семейный секрет. Что-то я не поняла Сашенькиной речи, что ты, Левушка, затеял ломать и строить?

— Саша по обыкновению шутит, имея в виду сделать дурака из своего собеседника — с ним тогда легче разговаривать.

— Юпитер! Ты сердисься... — погрозила пальчиком Ангелина Андревна. — Ветчину очень рекомендую. Свежая, от Елисеева.

— Я лучше рокфора, если позволите, ладно уж... — Наливка была крепкая, Льву Ильичу ударило в голову, сегодня он совсем ничего не ел.

— Ну что ты, Лева, ты теперь русский, можешь смело наваливаться на ветчину. — ухмыльнулся Саша.

— Сейчас Великий пост, — подал голос Костя, густо намазывая ветчину горчицей. Саша покраснел.

— Да? — подняла брови Ангелина Андревна. — А я обрадовалась — и ветчина свежая, и очередь небольшая, и сегодня продавец-душка, мой всегдашний поклонник...

— Видишь ли, мама, как писал сто лет назад Достоевский, еврей без Бога немислим. Это с одной стороны. А с другой, тот же наш великий писатель обронил, что мудро и вообразить себе что-нибудь раздражительней и шепетильней образованного еврея. Наш дорогой друг и представляет нам полную, так сказать, иллюстрацию неумирающей правды слов нашего классика. Как только совместить Христа с раздражительностью? Положим, Достоевский не Христа имел в виду — Иегову, так надо понимать. А ты как думаешь, Лева?

— Я думаю об этом примитивно, хотя и благодарю за комплимент насчет моей образованности.

— В чем же твой примитив?



— В том, что Христос был рожден от еврейской женщины, да и апостолы были ее единоплеменниками. не говоря о праотцах и пророках, вообще об избранном — Кем избранном? — народе.

— Не слишком глубокая мысль, тем более едва ли свежая.

— А ты убежден, что здесь, я имею в виду в христианстве, свежая мысль ценнее, как, скажем, в случае ветчины?

Костя хмыкнул, попытался спрятать улыбку и закашлялся, даже слезы навернулись. «Может, он горчицы хватил?» — развеселился Лев Ильич. За столом никто, разумеется, не обратил на это внимания.

— Вы помните, Костя, мысль Василия Васильевича, — обратился к нему Саша, когда тот справился с кашлем, — что еврейская идея об их личной богоизбранности весьма преувеличена или, как он выразился, «чуть-чуть в отношении их лукава»? Дело в том, говорил Розанов, на которого ты сегодня в первый раз имел удовольствие посмотреть, что у Соломона, кроме Суламифи, других «Суламифей» было великое множество. Израиль же настолько был самонадеян, так убежден, что у Господа он, конечно, один, что «одна девица», что Соломон, кроме как на нее, и глядеть ни на кого не захочет, что ту историческую объективность проглядел. А у Соломона было семьдесят цариц, семьсот жен и девиц без числа. Бедняжка Суламифь была всего лишь одной из девиц, а отнюдь не царица — а там и Персия была, и Египет, несомненно, да уж и матушка-Русь, надо думать. Так что стоит ли преувеличивать единственность и мистическую судьбу этого народца? Пора, пора царице поставить несколько замешкавшуюся служанку на свое место. Давно пора.

Лев Ильич даже позабыл о своей злости, он был поражен:

— Ты это сам говоришь или Розанова цитируешь?

— Я его излагаю, — скромно ответил Саша. — Быть может, не совсем буквально, но за верность мысли ручаюсь.

— Какая память у Сашеньки! А?.. Что ж ты гостям не наливаешь? Очень серьезный разговор за столом, хотя и красиво — Суламифь, Соломон, девицы без числа, цыгане...

Лев Ильич посмотрел на Ангелину Андревну: «Куда это я попал?»

— Неубедительно излагаешь, — сказал он. — У Соломона девиц было без счета, но Суламифь-то была одна, первая. И Библия ее канонизировала. Если, разумеется, Библию полагают Священным Писанием, а не материалом для исторических спекуляций.

— Священное Писание — согласен, но кем и для кого написано? В том и дело, что и «Бытие», и «Исход», и «Законы», и увлекательная история племени — замечательно, но нам, прости, какое дело? У нас печенег были, а у них филистимляне. А то, что она «единственная» или, ты сказал, «первая» — ты откуда узнал? Это он ей на ушко прошептал: «Единственная моя!» Чего не шепчут в такие-то минуты. Всей любви у Суламифь — всему их роману, современным языком скажем, несколько дней, ну чуть больше — и году не было. А остальные годы? Где он, «избранный народ», из Палестины куда? То в Испанию, то в Польшу, то к нам, то в Америку. Какой же «единственный», когда и передохнуть им Господь не давал? А где их храм, где Иегова, по их представлениям, только и обитает? Разрушен храм, две тысячи лет его нет — не на небесах же, в горнем Иерусалиме — у христиан там Храм. Или, может быть, в современном Израиле — у Моше Даяна?

— Не понимаю, — сказал Лев Ильич, — ты в Бога веришь?

— Фи, Лева, что за вопросы? — Ангелина Андревна была явно шокирована.

— Простите, Ангелина Андревна, но я действительно не понимаю Сашу.

— Не понимаешь? Но почему-то на свой счет воспринимаешь, извини за слабую рифму. Лишнее подтверждение мысли об обидчивости. Так разговора не получится. Хотя тема серьезная, права мама, не для стола, и острая. Ну что делать. Ты отдаешь себе отчет, как опасно сегодняшнее массовое — а я не преувеличиваю, иначе б не стоило разговора, — массовое обращение евреев в православие?

— Не понимаю. Чем, кому опасно? Что здесь, кроме радости, оттого, что сбывается обетование?

— Да погоди ты с «обетованием», не до мистики, когда к сердцу подбираются!.. Мало нам растления политического, государственного, идеологического, научного, растления искусства, литературы, растления семьи, быта — что еще осталось? Душа народа, несмотря на вековой ужас, оставалась православной, еще Иван Киреевский называл «народным началом» — и верования, и народный быт, обычаи, та самая «неминуемая старина», заповедный круг мыслительности. То самое, что для Самарина было сердцевиной — фокусом, из которого бьет народный русский ключ. Что старо, то свято, что старье, то правье, что истари ведется, то не минется, ветхое лучше есть! Так-то. А потому я с вами, Костя, не вполне согласен, церковное сознание народа вопреки всему сохранилось — и Петровская реформа ничего с ним не в состоянии была поделать, то лишь насилие, напугали наше духовенство, сделали из него

чиновное сословие, но это отдельные люди, как болезнь, эпидемия — реформы, вольтерьянство, нигилизм. Но в том же восемнадцатом веке уже и очнулись: и в святителе Тихоне Задонском, и в Паисии Величковском — он уже в восемнадцатом веке перевел «Добротолубие». Одним словом, чудом, но сохранилось, держалось, на ниточке, на волоске...

— Что же дальше-то, Сашенька? — любопытствовала Ангелина Андревна.  
— А дальше совсем Бог знает что может произойти! Если сегодня евреи действительно хлынут в церковь, в православие, затопчут, запакосят больную, но еще живую религиозную душу народа — как в нашей литературе или журналистике, как сто лет назад хлынули к освободившемуся от крепостничества мужику, воспользовавшись его слабостью, простотой, пусть пороками, чтоб тут же и оплести, закабалить, да так, что он небось и помещика-самодура, коль был такой, со слезами умиления вспоминал... Что будет? Чем еще заполнится русское сердце — вечным брызжанием, жалобами, мелочной злобой, суетливостью, ненавистью? Чему они изнутри церкви нас научат — что все мы братья и все равны? Так мы еле-еле научились не слушать, когда нам про это радио твердит с утра до ночи. А если из церкви понесется гнилой, жалкий гуманизм, чтоб нам же потом — «братьям» и усесться на шею... Пострашнее, чем кровь источать у младенцев. Там все на глазах — попробуй-ка! А тут исподтишка, незаметно, под маркой братского единения, соборности — вон как наш православный друг только что заметил! Мы и проснемся однажды евреями.

— Это как же так? — испугалась Ангелина Андревна. — Ну помилуй, почему я стану ни с того ни с сего еврейкой?

— Оттого, мама, что еврей искони, онтологично, как богословы говорят, знает о своей избранности, что он один, видишь ли, у Бога — вон как Лева единственность Суламиной защищал, а все остальные прочие — рабы, которых, смотря по обстоятельствам, надо или эксплуатировать, или истребить. Еврею все равно будет дана победа над миром — обещано. И те обещания непреложны, как апостол Павел сказал, лучше б он Савлом оставался, да и остался, надо думать! Пусть они своей земли лишились, потеряли храм, политическую личность, рассеялись по всему свету — все равно, вопреки ясной всем очевидности, они ждут своего часа — будет, будет! Мало чудес в Библии о том наворочено? Еще и сейчас подтверждения: государство еврейское — не чудо, наша эмиграция — не чудо? Вот оно, сбывается пророчество! Так пусть бы и уезжали. — Сашу уже явно несло. — Так нет же! Они и тут, в последнем нашем прибежище, хотят источники замутить, напакостить...

— Сашенька, голубчик! Ну что ты так нервничаешь, тебе вредно. Какие там евреи, их и всего-то раз, два и обчелся. Сколько нас — я плохо знаю нынешнюю арифметику, но сколько-то миллионов, а их — Лева — раз, кто там еще?..

— Да оставь ты Леву в покое, не про него речь. Погляди, побледнел, опять обидится. Я в принципе, в принципе! И очень ты заблуждаешься насчет количества. Евреи, с одной стороны, соблюдают чистоту крови — у них еще с библейских времен повелось, но лишь по мужской, заметь, только по мужской линии. А по женской — напротив, они с радостью, с азартом распространяют еврейство. Сколько мы знаем — а сколько не знаем! — смешанных браков до самых заядлых антисемитов включительно, и сейчас, а если в историю углубиться — никто от того не может уберечься!..

— Саша, а ты как же, неужто и ты?..

— Подожди, мама, Бог сохранит. Не обо мне, не о Леве речь. Мы-то знаем, как сильна еврейская кровь, она все шире захватывает человечество, прорастает его — вот где песок-то морской! В мире сегодня уже и нет народа, — может, китайцы только, — с чистой, незагрязненной кровью, быстрота неимоверная. Поэтому как бы мал, сравнительно, ни был процент чистокровных евреев в мире, процент еврейской крови в человечестве растет с космической скоростью. И скоро она заглушит иную кровь, сожрет ее, как кислота, тут и капли достаточно. Вы поглядите на лица людей вокруг, на манеру писать, мыслить — не евреи ли? Вот они, пророчества и обетования — только о чем? Вот что значит: мир проснется однажды еврейским. А что с ними поделаешь, простая арифметика, средство одно могло бы быть — поголовное оскотление...

— Ты что говоришь? — тихо спросил Лев Ильич.

— Да не говорю я, а излагаю, ну, может, со своими заключениями и развитием мысли. Слава тебе Господи, опыта предостаточно. Не я — Флоренский так думал.

— Кто? — спросил Лев Ильич.

— Да, кстати, тот самый Флоренский, которого ты прочел, и он тебя потряс или спас. Теперь и его зачислишь к антисемитам?

— Где он это говорил? — У Льва Ильича сердце ухнуло и круги пошли перед глазами.

— Книгу, что ль, дать? Пожалуйста, просвещайся, только у меня читай, а то и книги этой нигде нет, говорят, евреи посжигали.

— Ты, Саша, их какими-то злодеями выставляешь, — заступилась Ангелина Андревна. — Есть и среди них порядочные люди. Приятель Юрия Владимировича... ну надо ж, никак не могу вспомнить фамилию!..

— Что это я, верно, разошелся, — опомнился Саша. — Даже и неприлична такая горячность. Давайте еще выпьем семейной наливочки, ничем посторонним не испорченной, ручаюсь — чистый продукт, этечественный. Может, я преувеличиваю, увлекся, нет такой страшной опасности? Какая от тебя, Лева, опасность, простодушный ты человек... Давайте за Россию, что ль, выпьем, забывают про нее, а ей, может, хуже всех, да столько еще предстоит... — Он выпил и посмотрел на Льва Ильича. — Не пьешь, обиделся. Я хоть и говорил, что к тебе это не относится, что мы решаем проблему в принципе, а ты не поверил. Я было хотел еще одной темы коснуться, близкой, но с другой стороны освещающей то же самое. Не очень, правда... Мы с тобой, мама, недавно обсуждали... Так что держись, Лева, докажи, что Достоевский не прав и устарел со своими замечаниями про еврейскую обидчивость и раздражительность. Полегче тема, чтоб не забираться в дебри... Мысль о том, почему не любят евреев, все не любят...

Где-то Лев Ильич недавно слышал то же самое, не мог вспомнить, кто это ему говорил, чуть ли не вчера...

— ...И плохие и хорошие, и русские и немцы, и большевики и католики... Ты что улыбаешься?

— Вспомнил, — сказал Лев Ильич. — Мне вчера то же самое недоумение высказывал один алкаш, в тяжелом был похмеле. Он архангела Гавриила играет в мистерии. А товарищ его... простите, Ангелина Андревна, беса, одним словом.

— Как мило! — откликнулась Ангелина Андревна.

— Вот видишь, — продолжал Саша, — и спившийся актер, и ученый трезвенник — все. Но «ведь что-нибудь значит же слово все!» — как восклицал Белинский, которого Достоевский по близкому случаю процитировал.

— Как ты поразительно цитируешь и излагаешь, — заметил Лев Ильич, он чувствовал, знал, что сейчас произойдет что-то ужасное, безобразное, но, может, он еще выдержит?.. — безо всякого понимания духа и мысли текста! Даже удивительно, вроде наукой занимаешься... Может, ты и Флоренского так же процитировал... — голос у него дрогнул.

— Извини, не достиг, чтоб тебе угодить. Прости, что цитирую не так, как тебе хочется.

— Саша недавно получил премию за свой последний труд — ЦК комсомола, — вставила Ангелина Андревна.

— Поздравляю, — сказал Лев Ильич. — А говоришь, не достиг.

— Благодарю, а юмор не принимаю. — Саша явно и откровенно был раздражен. — Так вот, обо всем, чтоб закончить. Тоже, кстати, манера перебивать... Почему? — спрашиваю я риторически. Почему все-таки их так не любят? Не потому же, что ростовщики, корыстники, есть и поэты, бессребреники. Не оттого, что чернявые — есть и блондины, да и чернявого почему б не полюбить? Да и не похожи бывают, ежели одна четверть — кварталеры, или восьмая часть — как тут отличить? И однако сразу чувствуется, вот в чем дело.

— В чем же, Сашенька, прямо из головы вон — память-то! — любопытно смотрела Ангелина Андревна.

— А в том, извини, что запах есть. Да, да! Не примитивно, я б иначе не осмелился за столом, но и не слишком чтоб фигурально — реальность, одним словом. Есть. И нормальному человеку тот запах — я в принципе, в принципе говорю! — мерзтителен.

— Ты что? — прохрипел Лев Ильич.

— А! Не нравится? Прав Достоевский!.. А чего злиться? Когда речь о неграх, о классическом запахе негра — не возражаешь, пошучиваешь? Вся американская литература уже сто лет об этом размышляет — и ничего! Кушаем, а здесь не нравится. Выдал бы свою дочь за негра? А я, если б была, за еврея обязан?..

— Ах ты сволочь кацапская!.. — прохрипел Лев Ильич и, поднявшись, через стол ухватил его за галстук, за рубашку, рванул вверх, на себя, что-то затрещало, вытащил его на стол...

Зазвенела посуда, упал стул, Ангелина Андревна страшно закричала.

— ...Вы меня извините, Костя, но рассуждать, рассуждать... Теперь все мое спасение — в рассуждении, иначе... лучше и не думать. Или вы не согласны?.. Я на вас смотрю и понять не могу, мысль ускользает, бьется, схватили ее — и нет, улетела. Что за странность? Вы как вошли, я вздрогнул, напугался. Не то чтоб я вас терпеть не мог, что вы мне сделали? Хотя конечно, как же! Я не успел вам признаться: вы

меня едва не погубили. Вы ли? — вот вопрос. Вопрос вопросов, между прочим... Пойдите, Костя! Хорошо мы с вами чайку попили с домашним печеньем!.. Ну, я вам скажу, много повидал, но такого... А если б вас не было? А я еще копаю против вас и нелюбезности говорю — что, кабы не вы? ну что бы я еще там натворил?.. А вы крепкий паренек, не ожидал, на вас гляючи — как вы меня удержали, оторвали, вывели, я и не помню ничего — черная кровь ударила в голову! Вот она, еврейская кровь! Верно профессор сказал — крепкая кровь, как кислота! Я ему хоть морду-то разбил? Как он, бедняжка, студентам покажется? А если студентки? Конфуз! А мама, голубушка, и фамилию никак вспомнить не может? А севрский фарфор? Это во Франции, что ли, город такой Севр? Вы были, Костя, во Франции?..

— Лев Ильич, может, мы лучше утром обсудим? Вы в горячке, больны...

— Спасибо, Костя. Я вижу, вы человек благоразумный и твердый — в принципах и в поступках. Это первое дело, если проверять верность принципов — так нас и марксизм учит, прав профессор, я на нем штаны просидел. Теория — она практикой проверяется — критерий, одним словом. Но что мне от того пользы — подзаработал на марксизме — купил другие штаны, а где он теперь, марксизм я имею в виду? Он-то, может, и на месте. Я за ним не слежу, да и штаны есть, а вот я где? Где я, Костя?..

Лев Ильич огляделся; мысль летела, он и на минуту не мог ни на чем сосредоточиться, остановиться, будто сорвался с ледяной горы, только фиксировать успевал, что перед ним мелькало: едва успеет заметить, а оно мимо просвистит.

— Это ваша комната?

— Снимаю. Не я снимаю, мой товарищ снял и уехал на год, я полгода живу, и платить не нужно.

— От жильцов, — сказал Лев Ильич. — Это то самое и есть — «от жильцов», так, что ли, в художественной литературе? Я все думал — от каких же жильцов? Или такое русское выражение, а нацмену не понять? Нацмен все равно нацменом останется, даже если и языка родного не знает, спит только с блондинками и свиной закусывает, а?.. Ничего вы его с ветчиной приделали, православие, скотина, защищает, прости меня Господи! Я тоже хорош, пост соблюдаю. Или ветчину трескать нельзя, а морду бить можно? Тоже в русле народного характера — по Киреевскому и Самарину: помолиться, а потом морду бить дружку, который тебя наливочкой потчует? Большое благочестие, ничего не скажешь: «пшеница чистого благочестия» — так, что ли, говаривал тишайший Алексей Михайлович? Небесный домовладыка насеял ниву нашего православия пшеницей чистого благочестия, а завистливый враг всеял куколь душевредный... Опять слово нацмену непостижимое — «куколь»! Ну что может сие означать? А я в споры пускаюсь — самонадеянность какова, несомненно жидовская — куколь не превзошел, а Сашуню и вас порицаю... Да какая там благодать!.. — сорвался он вдруг и замолк, как об стену лбом его хватило.

Теперь, уже трезвея, он огляделся вокруг. Комната была небольшая, уютная, хоть и не слишком жилая. Форма, что ли, приятная — квадратная комнатуха об одно широкое окошко. Он сидел на пружинном матрасе, брошенном на пол. У окна весь правый угол в иконах — с пола до потолка устроен иконостас, а сверху с крюка спускалась лампада на цепях. Теплился огонек. Другой угол завален книгами. Мебели словно бы никакой: старенький кухонный стол, такие теперь валяются по помойкам, и на нем книги, рукописи; венский стул с обгрызненными ножками — вот и вся мебель.

— Богато живете, — сказал Лев Ильич.

Костя не ответил. Он такой же был — застегнутый, чинный, сидел на венском стуле, курил сигаретку. «Как он меня лихо скрутил, — вспомнил Лев Ильич, — какой молодец! Что б я еще там натворил? И так достаточно...»

— А что, Костя, мой друг серьезный специалист — в своей области я имею в виду? Я-то не читал его сочинений.

— Три копейки цена. Библиотека у него хорошая. Уникальная. И книжки легко дает... Вас вроде отпустило? А то я думал, что с вами делать?.. Специалист! Советская порода — я их про себя называю клопами, промышленными на русской культуре. Вы думаете, ваш ученый друг много знает? Какой смысл в его знании? По мне, лучше ваша живая путаница, нежели его основательность — к чему она приложима? Он все прочел и все знает-помнит, высокой культурой окормляется — да не в коня, выходит, корм. Он не хочет, не способен признать христианскую истину — она его мироощущение в корне отрицает. Но тем не менее все свои построения основывает именно на христианских идеях. Вот в чем фокус. Понятия вечности, смирения, отрицания мира — для него Вавилонская башня, отсюда жалкий национализм, настоенный вроде бы на православии, столь же ему чуждом, как и иудаизм, скажем. И тем не менее, заметьте, токует, он и академиком станет, и авторитет будет — как же, защитник и глашатай русской духовной культуры!.. Сегодня на культуре можно подзаработать, и неплохо, как видите. Стол-то какой? А что до ветчины — помните анекдот про Филарета Московского?.. Как он Великим постом пришел в дом, а на столе курица.

Хозяева, естественно, чуть не в обмороке. А он спокойноенько прошествовал к столу, отломил ножку — и с аппетитом, похваливает... Вы как-то странно развиваетесь — быстро, но... Я с любопытством наблюдаю до встречи к встрече. Откуда такая ортодоксальность? Интеллигент, из гуманизма, с еврейскими комплексами — правее папы?

— Не вы ли — папа?

— Тяжко вам придется. Лев Ильич. Я раньше думал, обойдется, укоренитесь, если, конечно, какой-нибудь отец Кирилл не собьет. Но теперь понял: чем дальше, тем хуже будет.

— Куда хуже, — сказал Лев Ильич, — такая карусель... — Его опять начинало трясти. И Костя сидел странно, и в голове у него путалось: зачем он сюда попал, почему именно Костя его спас? Да и спас ли, так ли это называется? От чего спас, он уже позабыл. Говорит вроде разумно, не согласиться нельзя... — Значит, в пост курицу с ветчиной не возбраняется, особенно если с горчицей, или Филарет без горчицы сжевал, чтоб хозяев не огорчать? Значит, на православии можно и в погроме подзаработать, и у атеистов? Стерилизовать евреев для предохранения от загрязнения крови — за это можно академика получить? Филарет Московский, если мне память не изменяет, один из столпов нашего православия? Или... А Флоренский... скажите, а Флоренский? Скажите, Костя, правду, не солгите, а, Костя?.. — Льву Ильичу показалось, он повис, одной рукой цепляется за проволочку. Он видел, как она посверкивает перед глазами: медная, слабенькая... А если оборвется — внизу развеселая шла гульба, знал Лев Ильич, что его там ждет.

— Да что вы заклинились на Флоренском? «Столп», который вас привел в такой восторг, — это вы у отца Кирилла, что ль, прочли? Декадентские измышления, юношеские. Не зря он потом в ГОЭЛРО служил, в те годы, когда в русских церквях комиссары из поповских детей — вот она благодать-то наследственная! — православный народ причащали самогоном, а Матерь Божию привечали матюгом...

— А... то, что... Саца говорил, он на самом деле... Флоренского цитировал?.. — тоненько звенела проволочка в душе Льва Ильича: за что ему еще оставалось цепляться?

— Смешной эпизод. Существует переписка Розанова с Флоренским. Они друг перед другом изощряются в ерничестве. Флоренский поглубже будет, остается при этом верующим, а Розанов спокойноенько сигает в яму, смелости ему не занимать. Знаете что, Лев Ильич, я как хозяин проявлюсь, ложитесь-ка, завтра поговорим — вы не в себе.

Он вышел из комнаты, тут же вернулся, притащил коврик, шубу, бросил на пол, а Льву Ильичу положил на матрас одеяло и подушку.

— Ложитесь, а я здесь, мне на полу удобней. Да я и хозяин. Спите, я сейчас свет потушу...

— Значит, он его цитировал? — спросил Лев Ильич. — Вы мне скажите, это его слова?

— Какие слова? О том, что еврейская кровь замутила весь мир и что средство одно — оскотление?

— Да! — вырвалось у Льва Ильича: ломалась, трещала у него в пальцах проволочка.

— Но он же добавил при этом, Флоренский, что это средство годится лишь при условии нашего отречения от христианства.

— Добавил! — захохотал Лев Ильич. — Неужто добавил? Ах, душка, прелесть наша — Столп! Добавил! Во как жиды допекли! Чего же в таком случае ждать от советского православия?.. Да пропади они все пропадом!..

Он разжал пальцы, ухнул вниз, и поразился, какое это наслаждение — губить себя, гробить, ему и с женщиной никогда так самозабвенно-отчаянно не было. «Эх!..» — кричало в нем.

...Странный свет был в комнате, Лев Ильич понять не мог, откуда он падает — вроде бы не из окна. Лампадка освещала иконы — лики не разобрать, а свет словно бы снизу, рассеивался из-под стула, на котором восседал Костя, а сам был в темноте. Знакомо-странно сидел: верхом на стуле, ноги выбросил вперед, переплел, а руки назад спрятал. Лицо Лев Ильич различал с трудом, но он явно ухмылялся, зубы скалил.

— Что смеешься? Доволен? — спросил Лев Ильич.

— Да, много ты мне сегодня доставил удовольствия, я хоть и ожидал чего-то такого, но — спасибо, утешил!

— Ты мне такую штуку разъясни, — Лев Ильич рад был, что он его не гонит спать, поговорить охота, — как ты вдруг оказался у Сашуни и как раз в тот момент, как я зашел, — не специально ли, признайся?

— Как не специально? За тобой и притащился.

— Так и думал. А почему, что за надобность — забота обо мне? — Лев Ильич знал, что он ответит.

— Фу, какой прилипчивый! Недостойно тебя. Я притащился! Это ты ко мне бежишь, с того самого воскресенья, как с отцом Кириллом рассоплился. С того

момента и кинулся ко мне — и в ресторан, и на похоронах, на поминках, с Танюшей чуть было не позабавился, Лидочку пощупал — а дальше, когда в тебе еврей заговорил, а тут еще-кровь...

— Какая кровь?

— Да ладно кокетничать — какая! С одной стороны, все человечество запакостили, а с другой — квас-то как тебя облапошил! Чья доченька — еврейка или русская?

— Она моя, — сказал Лев Ильич. — Пусть трижды его кровь, я не мальчик, так-то не забывайся. Это раньше я бы себе голову на этом разбил, а теперь, в пятьдесят лет, кое-что понимаю. Да я об этом и думать не хочу, не то что с тобой разговаривать.

— Однако говоришь. Вот тебе и русский Иван. Ты его за человека не считал, для допинга возле себя придерживал, а оказалось — он тебя, а не ты его. Вернее, он ее, а тебя и не знаю кто...

— Я ведь могу и морду набить, — сказал Лев Ильич, ему лень было шевелиться.

— Перестань! Чтоб ты драться начал, тебя долго надо заводить. Другой бы на твоём месте после первого же «здравствуй» «прощай» сказал. А ты ждал, пока полную рожу наплевали — за негров обиделся. А чего за евреев не обижался? Ты кто будешь по нации?

— Православный, — сказал Лев Ильич.

Костя расхохотался:

— Уморил! Как ты сказал?.. Ну не уникальный ли ты экспонат, прямо в окна ТАСС тебя выставлять на всеобщее обозрение, подтекстовочки сочинять не нужно! Пареньку в ковбеечке внушал, что русский — Пушкин, бережок с осокой; старику, давно из ума выжившему, прямо для душегубки! — православным представился, со смирением принимал поношения — да ведь и от русосты тоже! Перед поганым актеришкой мудрецом изгалялся; у Танюши в спальне праотцев вспоминал; дома матадором прикинулся — настоящим мужчиной. А у своего профессора оказался нормальным жиденком — за русскую культуру цеплялся, лучше бы Бар-Кохбой фигуриал! Ну кто ты такой после этого?

— Я тебе сказал, — Лев Ильич начал сердиться. — Ты меня не собьешь второй раз!

— Во второй раз? Тебя и сбивать не нужно. У меня такой легкой командировки не бывало, всегда мозгами приходилось шевелить, а тут день приезда, день отъезда — деньги на бочку.

— Много ль за меня получишь?

— Знаешь, как ни странно, ты у нас ценишься: евреи, перекарасившиеся в православие, нынче в цене. Если с тобой поработать, мозги тебе прочистить — труда, как видишь, много не надо, ты такое в церкви натворишь, что ты, этому Саше не снилось! Да ему плевать, словоблудие под ветчинку, что он, за православие, что ль, переживает?

— Скучно с тобой. — Льву Ильичу и верно стало скучно.

— «Вся тварь разумная скучает» — классик по близкому поводу заметил. И кто верит, и кто не верит, и кто наслаждался, и кто не успел, и всяк зевает да живет — и всех вас гроб, зевая, ждет!

— Я думал, ты что-нибудь новенькое скажешь, мне от тебя стихов не доставало. Про запахи повтори.

— А что? Признайся, тебя не Флоренский с ног сбил, не за негров вступился — этот запах тебя и сокрушил. Между прочим, закон художества — нелепость гораздо сильнее действует, ее и опровергнуть невозможно. Как опровергнешь? Нет, мол, ничем я не пахну — понюхайте! А он принимает: извиняюсь, мол, не хочу вас огорчать, но — пахнет. Вот ты и проиграл.

— Я и говорить про это не хочу.

— Врешь. Давай об заклад побьемся, что будешь разговаривать?

— Какой же заклад, когда мне и ставить нечего. Весь я перед тобой. Разве ботинки рваные.

— Так-то самоуничжаться едва ли следует. Перебор. А душа бессмертная — она что-то стоит или ты и в этом усомнился по причине, так сказать, обонятельной? «Нюхает — знакомый дух!»

— Это еще откуда?

— Здрасьте! Русский, бережок с осокой — ты вроде своего академика щеголяешь эрудицией — а тексты? Пушкина не узнал?

— Ты еще Баркова вспомни.

— Фи! — как сказала бы мама Александра Юрьевича. Пушкин всегда Пушкин, хоть про царя Никиту, хоть про Матерь Божию...

— Так и знал, что кончишь ты пошлостью.

— Нет уж, извини. У нас разговор серьезный, я не зря, готовясь к командировке, перелистал классика. Думаешь, эрудицией намереваюсь подавить — я не твой профессор. Оставим Александра Юрьевича в покое, там еще лапенька подрабатывал на атеизме, что же требовать от его несчастного отпрыска, когда ему главное, чтоб

маменька не заметила, что папеньки давно нет — на ветчину от Елисеева надо заработать? Да и отца Павла великую тень не будем тревожить. Когда вокруг идет гульба и, говоря словами того же поэта, два яблока, что висят на ветке дивной, дверьми зажимают или могут невзначай наступить на них сапогом — не только в ГОЭЛРО кинешься! Судить нам не велено. А наш гений, шалун, он-то с молодых ногтей ходил к причастию, на позлащенные оклады любовался, елеем да миром его умащали. И Святых Отцов почитывал, и в историю государства Российского погружался — для него никогда не было пустым звуком, в оборок не впадал, чтоб потом оживать, как некоторые его коллеги из выкрестов. Вот где фокус, или, говоря понаучней, православный феномен. Одной рукой, так сказать, «Отцы пустынноики и жены непорочны», а другой — «меж милых ног супруги молодой» — вот чему удивляться! Представь себе: по воскресеньям к обедне, в пост — говенье, высокие споры с Чаадаевым, Гоголем, тем же Киреевским, размышления, хоть и не нашел у него, наверное, про богоносность — «спасенья верный путь и тесные врата». Не Сапё твою, одним словом, чета — умнейший муж России. И прочее и прочее. И вдруг — да не мальчиком, не в лице — в расцвете: «Иосифа печальная супруга», «ленивый муж свою старую лейку», «легкий перст касается игриво до милых тайн», «невинности последний крик и стон», «от матери проказливая дочь берет урок стыдливости покорной и мнимых мук, и с робостью притворной играет роль в решительную ночь», «грешит — прелестна и томна», мохнатый белокрылый голубок «над розою садится и дрожит, клюет ее, кольшется, вертится, и носиком, и ножками трудится», и то как «колени сжав, еврейка закричала», и то, как досталась «в один и тот же день лукавому, архангелу и Богу»... Что, как дети говорят, умылся? Знаешь про кого стишки, напомнить?

— Я не пойму, хоть все это и омерзительно, ушел бы, да сил нет встать и деваться некуда, — зачем ты меня этим травмишь?

— Не понятно! Ах, какие мы добродетельные да благочестивые, ну прямо Танюша — вот-вот из-за стола вспорхнешь!.. Затем хотя бы, что твоя трагедия — чепуха! Подумаешь, страдания — твоя дочь или твоего друга, русская или еврейская у ней кровь, все равно она твоя, а прочее для тебя не важно, ты же в душе интернационалист! А здесь: Всевышний-то, «как водится, потом признал своим еврейской девы сына»!.. Что скажешь? Не Евтушенко сочинил, не из нынешних героев-безбожников с русскими псевдонимами или гордящихся своим еврейством, не скрывающихся, если, конечно, такие есть, я не большой специалист, Саша их сразу разносит!.. Ладно, ладно, не сердись, не кидайся. Возвращаюсь к литературной теме. Не нынешние рифмоплеты — Пушкин сочинил, солнце русской культуры, искони замешанной на православии! Еще не понимаешь?.. Иль придуриваешься, хочешь, чтоб я тебе на пальцах разъяснил? Неужто, думаешь, я из одной пошлости повторяю непристойности о Божьей Матери, да я б даже и не осмелился, у нас, между прочим, тоже строгости, духовная цензура. За бессмысленное богохульство могут сурово наказать — лишат, к примеру, премиальных на весь год, будешь христардничать или у серафимов-херувимов на побегушках... Что ты! Здесь своя идея, весьма живая для тебя, как я понимаю — в самую точку... Ты чем сейчас сокрушен — если мы всерьез разговариваем?

— Чем?.. — Лев Ильич и верно не знал чем.

— То есть, может, вместе, накопилось: и ботиночки прохудились, и деньжонок нет, и ночевать негде, и с дамой переспал, а поступаешь не по-джентльменски — даже не позвонил, и жена, как выяснилось, одна, так сказать, в отсутствие супруга не скучает, и дочка — не то дочка, не то не поймешь кто, в каком-то вы странном родстве... Несомненно, влияет. Но тут другое. Ты идейный человек, для тебя идея — вот что дает крылья. Тебя не подмоченность православия сокрушает, это ты спокойно глотаешь, подумаешь, мол, недостаток благочестия, богохульство! Тут ты себя утешаешь: искусство, мол, имеет много гитик, у гения есть право на эксперимент, Бог поругаем не бывает — у тебя много лукавства в запасе. Но есть и идея — вот ты чем гордишься...

— Не тyani, — заинтересовался было Лев Ильич, даже глаза раскрыл пошире и в неверном свете на Костяных брюках опять различил клетку. «Вот пакость, подумал он, униформа, что ль, у них?»

— Злиться-то зачем? — издевался Костя. — То говорить не хочешь, а то вдруг — не тyani? Я знал, что не остановишь, надо было, конечно, заклад выудить — не душу! — душа там, где ей и положено, а чего ни то поматериальной!

— Да я сейчас сморгну, — сказал Лев Ильич, — и тебя не станет. Чушь какая-то.

— Чего ж до сих пор не сморгнул?.. То-то что не чушь... Видишь ли в чем дело, — важно сказал он, — придется опять обратиться к нашему классику. Дело вот в чем...

— Что-то мне кажется, ты еще не придумал, о чем собираешься говорить.

— Эвона! Не придумал. Да я как только тебя увидел давеча в кабинете перед академиком, все про тебя понял, чего, разумеется, с самого начала не знал. Здесь и

хитрости никакой нет — у тебя на личности написано. Ты вот в любви России клянешься — и поэзия, и женщины, и земля — до православия включительно. Неужто, думаешь, твоя любовь дорога? Любить, между прочим, каждый может, даже тот, кто и не способен на это — вот в чем парадокс-то. Тебе и яблоки эти райские зажмут дверью, а ты верещать будешь: люблю, дескать, хоть совсем оторвите. Да я таких, прости за термин, жиденят навиделся. А меня едва ли в антисемитизме заподозришь. Одним словом, чудеса. Почему, зачем, чего им приспичила эта любовь — тут и разбираться не пытайся, потому они все равно не объяснят — поговори с ними! Нам, мол, и снег дорог, и лагерь на Колыме, и что морда заплыванная, в крови — а другого рая не хотим. Даже и неинтересно, потому глупость. Пусть себе любят! Ты вот какой феномен объясни: почему они себе позволить не могут, чего Пушкин разрешал? Ты же не усомнишься, как бы сейчас в своем раздражении ни был ослеплен, что Россию-то он знал и любил поболее, чем десять тысяч еврейских братьев. А что такое для русского человека — самого темного и забитого — Божья Матерь? Да и христианин он был. Если все им написанное прочитать, да не «Отцы пустынноики» или «Странника» — все подряд, там сама структура насквозь христианская, более того — православная. Но ведь позволил себе! Или Розанов, которого ты не знаешь, к своему стыду, а между прочим, гениальный писатель, не мое мнение — общепринятое.

— Знаю, — буркнул Лев Ильич. — Читал.

— Да? Вот скромник! Что ж у Саши молчал? Тем проще. Такой был русский человек, так углублен в православие и им просвечен, но — гулял над бездной, не только не боялся, нарочно другой раз ниточку привяжет за ноги — подержите, мол, кому охота, а сам на самое дно опустится — не робел, что оборвется. Профессор излагал пустяки, там пострашней есть. Хорошо, коль знаешь. Или был такой Печерин, современник Пушкина, стал монахом в Европе: «как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья» — во как брякнул. Кто бы так из наименов осмелился сказать про Россию, пусть он тут десять поколений имеет? А Чаадаев?.. Вот в чем фокус-покус. И это, поверь, подороже любви, в которой бессмысленная экзальтация да пустота: скажи тышу раз «люблю» — согреешь кого?

— Что-то мудрено говоришь, — действительно не мог взять в толк Лев Ильич.

— Все не понимаешь? Или понять не хочешь? Ты давеча на «запах» обиделся — ну, скажем, бестактность, да и не слишком прилично к столу. Ты пытался несчастного Володю в ковбеечке убедить, что ты русский, он тебе, разумеется, не поверил да махнул рукой — какой из тебя солдат, оставайся тут гнить, жалко, что ли. Но сможешь ли ты когда-нибудь о России, о православии рассуждать так, как Пушкин или Розанов могли себе позволить, чтоб в тебе не было и грамма подобострастия, жалкой, рабской любви, которая в глубине — пусть далеко и так запрятана, что и сам не найдешь, да мне-то видно! — в глубине этой самой лепечет: я такой же, такой! Вот в чем тут дело. А потому тебя всегда будут считать чужим, хоть ты и рожу займей другую, хоть в лаптях ходи до самой смерти, зарабатывая тем, что лапти плети, хоть кроме кваса да лебеды и не лопаи ничего. И нечего обижаться. Ты знаешь, почему обиделся? Да потому, что никакой ты не русский и не еврей, а всего лишь интернационалист, вчерашний пионер. «Все люди братья!» — вот что в тебе с молодых ногтей гремит и покоя не дает. «Все люди братья!» — а они не хотят к тебе в братья — вот чудо-то. А ты набиваешься, хлопочешь, подлаживаешься, ловчишь, водку не закусываешь! — а что толку? Тот старик верно тебе сказал о евреях: один купил «Жигули», но позабыл, чего позабывать не след, что нельзя еврею пьяному садиться за руль, не положено, еврейская трусость не зря придумана: что русскому здорово, то жидам смерть!

— Ах ты сволочь, гниль! — Лев Ильич нашарил в темноте мокрый ботинок и запустил в него.

Грохнуло, зазвенело, он ничего не мог сообразить в темноте — все не утихло. Сбросил одеяло, жарко ему было, душно. Щелкнул выключатель: Костя стоял перед ним в трусах, с крестом на волосатой груди, моргал глазами.

— Это сосед. В ночную смену работает. Возвращается и считает долгом возвещать о своем появлении. Как же класс-гегемон! Ничего не сделаешь, я тут не прописан... Это вы, что ль, ботинком зафутболили?

Лев Ильич не ответил. Он увидел перед собой стул, а на нем Костин пиджак и штаны, свисавшие на пол. «Господи, — подумал он, — какая во мне сидит пошлая литература, одна литература, а больше ничего нет...»

Лев Ильич боялся пошевелиться, чтоб не разбудить Костю. Так и лежал с открытыми глазами, прислушивался к себе. Уже рассвело, город за окном давно



проснулся, идет нормальная жизнь, а у него и жизнь и мозги набекрень. Он с ужасом, с содроганием вспоминал вчерашний день: разговор с Иваном, Надю, вцепившуюся ему в пальто, крик Ангелины Андревны и ночной кошмар. Прав Иван — как бы до больницы не добраться. Все сразу станет просто: Феликс с Вадиком Козицким апельсинов притащат, новый анекдот, а он им потешную историю о своих однопалатниках, Таня — бутылку кефира, цыпленочка табака зажарит, да и Саша как-нибудь мимоходом, по дороге в университет на лекцию — передаст домашнее печенье Ангелины Андревны, о чернявой врачихе пошутим... А может, верно, надо жить как все, зачем выделяться? Выделился, сразу навалилось, а не хуже людей жили, были свои недоразумения, но до такого-то свинства не доходил? Не в той ли попытке начать новую жизнь и заключена причина... «Причина чего? — спросил он себя. — Разве Иван в эту неделю появился, а трагедия с Надей, коль она существует, а не просто бред, а с Любой?..» Ну хорошо, все и без того было, но жить-то не мешало? Существовал себе милый стареющий человек — некий Лев Ильич, были у него друзья-приятели, славный дом, уважение на службе, книги почитывал, водочку попивал, за дамами в свободное время ухаживал, не жадничал...

— Ну что тебе надо от меня?! — выдохнул он неожиданно для себя вслух, так и не поняв, кому «тебе».

Костя повернулся под шубой и глянул на Льва Ильича ясными, будто и не спал, глазами.

— Пробудились? Ну как?

— Перед вами стыдно. За вчерашнее ладно, ночью не давал спать.

— Покаяние — первое дело, только у вас оно, гляжу, становится профессией: стыдно, совестно... Что ж мне было выгнать на мороз, когда не в себе? Эх, Лев Ильич, отдались бы мне в руки, я б вас наставил на путь истинный... Впрочем, зарок дал, хватит с меня, ни на кого не стану тратить силы — пустое... — Костя встал, натянул штаны, вытащил постель, вернулся. — Давайте, пока гегемон спит — он до полудня проваляется, если брюхо не заболит, жена и мальчонка ни свет ни заря умотались, чтоб кормильца не тревожить. А мы сейчас кофейку сварганим... Хотите побриться?..

Они сидели за столом посреди комнаты; Костя сдвинул к краю книги, рукописи, притащил табуретку, кофе в кастрюльке, аромат пошел по комнате. Хлеб да сахар поставил. Лев Ильич побрился, ему стало полегче — день начался, и слава Богу. За окном валил снег, от того еще уютнее.

— Вы чем, Костя, занимаетесь?.. — благодушно спросил Лев Ильич, но вспомнил, что уже однажды спрашивал, а тот рассердился. — Я просто вашей комнате позаவிдал, отрешенности: стол, книги — и никого.

— А вы попробуйте, — ответил Костя. — Тем более и комната чужая, и стол не мой. Своему вчерашнему дружку завидуйте, там все свое — и комнатуха, и стол, и книги.

— Ну коли сердитесь, можете не отвечать. Простите.

— Нет никакого секрета. Встаю, пока тишина, до полудня читаю, думаю, кое-что записываю. Потом приходится уходить — гегемон, проснувшись, первым делом включает радио на полную мощность, телевизор — все детские передачи смотрит, и одновременно магнитофон. Никакого смирения не хватит. Ну а вечером опяте книги, размышляю.

— И давно вы так?

— Как?

— Такой образ жизни?

— Лет пять.

— Ну а... простите — кофе, хлеб?

— Этот мизер сегодня не проблема. Приятели из института, где я когда-то работал, реферирование подбросят — день, другой повоююсь, месяц живу, еще что-то. Жалко, языков не знаю — тогда б и вовсе думать не о чем. Проблема ветчины существует только у нашей интеллигенции, отсюда их высокие страдания: что можно продать за ветчину, а что вроде считается нельзя. То есть продать-то все равно продают, но по поводу чего надо покомплексовать, чтоб перед собой не так было совестно, да и ореол переживаний...

— Так вот... один и живете?

— Уж не откровенности ли вы от меня хотите услышать?

— Простите... А дальше? Всю жизнь так намереваетесь?..

— Вы имеете в виду, как я собираюсь реализовать свое существование? Я его уже реализовал. Вы знаете что-нибудь о живом опыте, умном делании, созерцании, тайных посещениях Духа? — Костя допил кофе и закурил сигаретку.

— Куда мне до таких глубин.

— Так-то, — глянул на него Костя. — А когда с тобой такое происходит, неужто можно о чем-то ином думать, прикидывать или строить планы на будущее? Не от меня зависит.

— И все-таки даже вы, с тем, что с вами происходит, не можете отрешиться от мира. Ну, скажем, «гегемона» не замечать?

— Не могу, — ответил Костя и не улыбнулся. — Думаете, поймали, и я завяну от такой белиберды? Не может быть святого, которого бы не настигали испытания, а стало быть, сомнения, искушения. В том и дело, что они не напрасно посылаются — вразумляют и очищают.

— «Гегемон», положим, не такое уж испытание, вы нашли выход — взяли да ушли погулять. Бывают пострашней...

— Что вы о том знаете, что со мной бывает?.. Ладно, — резко оборвал он. — Вы на еврействе споткнулись, кикнулись, как нынешние молодые люди говорят, думаете, это действительно серьезно?

Теперь Лев Ильич на него повнимательнее посмотрел: хорошее лицо, глаза умные, пронзительные, но... горячие, очень одержим своей идеей.

— По-вашему, пустяк?

— Да вы крещеный человек или нет? — вскинулся Костя. — В Господа Иисуса Христа, в смерть Его крестились или чтоб прослыть православным? Карьеры тут быть не может, мода вроде бы тоже к вам отношения не имеет... Тогда зачем — для душевного комфорта?

— Не пойму вашей горячности, — смотрел на него Лев Ильич.

— Горячности? Вы же мне на благодать указываете, которая и тут и там, а в церкви хоть со щами ее хлебай! Какая благодать, когда стоило ученому приспособленцу перед вами распустить перья — вынегрет из мелкотравчатых идей и рассуждений, — и вы тут же скисли, ну дали ему в морду, а можно бы плюнуть да забыть. Но вы в альфе и омеге усомнились! Знаете почему?

— Почему? — спросил Лев Ильич.

— А потому, что не туда вы крестились, и про благодать в связи с этим и говорить нелепо. Теперь вы со своей еврейской обидой нянчитесь, а накануне вас русская идея воодушевляла — летали! Что вы к России привязались? Этот краснобай вчера русские подвиги перечислял: в семнадцатом веке «Добротолюбие» перевели, творения Святых Отцов, еще что-то. Он за это деньги получает — перечислял. Великий подвиг! Семнадцатый век! А кто написал «Добротолюбие», не в семнадцатом веке — поране, а кто были Святые Отцы? Небось греки. А Киприан не болгарин ли?.. Может, и Библию в России написали? Что вы расплакались, чем тут есть гордиться? Если вам непременно национальную гордость охота испытывать, так по мне лучше евреем быть, чем русским — тут стыда да сраму не оберешься...

«Батюшки! — вздрогнуло что-то у Льва Ильича. — Так он же ночью то же самое толковал — про то, кто имеет право... Кто «он»?..» — ужаснулся Лев Ильич.

— Погодите, Костя, — сказал он в недоумении, — откуда вы знаете подробности о нашем с Сашей разговоре — Киприан, творения Святых Отцов? Вас тогда еще не было, я помню, как вы пришли.

— Помните? — сощурился на него Костя. — А о чем по дороге лепетали, когда я вас тащил, позабыли?.. «Благодать от Сергия летит через пять веков к Серафиму, а за пять веков на ком-то она почилала...» Так, что ли, я вас цитирую — сам слышал. «Почилала!» Конечно, почилала. Свет и в нашем жутком мире светит — в том и обетование Господне, но Россия тут при чем, русские?

— А кто же Сергей был или Серафим?

— Рабы Божьи, христиане, святые люди, а не русские, мордва, черемисы. Если вас так заботит, отправляйтесь в наркомнац — было такое, помнится, учреждение, Сталин наркомом... О чем речь, я никак в толк не возьму? И вы это искушением называете?

— Что ж, по-вашему, проблемы национальные — не живые, разве случайно все на них спотыкаются, а сколько крови через ту кровь пролито...

— Да мне-то что до нее! — крикнул Костя. — Мало ли за что люди друг другу глотки перегрызают? Потому я вас и спрашиваю: крещеный вы или так, время проводите?

— Крещеный, — сказал Лев Ильич. — Только я в православие крещен и для меня церковь — та, что где-то за углом, в переулке. Пусть ободранная. И священник в ней — не святой, а такой, как я — грешный и несчастный человек, и те же проблемы каждый день кидают его на землю, когда он молит Христа или Матерь Божию о заступничестве.

— Ну, пошли-поехали! За углом, Христа он молит. А если ему Христос не даст, о чем он Его просит — да уж наверное не даст! Куда он побежит? Что там еще за углом, приглядитесь-ка? А там дадут и много не попросят — тридцать серебряников — цена не изменилась!

— Так о том и благовест, — успокоился Лев Ильич, это он понимал. — Те же проблемы у людей и люди те же.

— Нет, не о том благовест,— сказал Костя,— не для того Господь принял на Кресте муку, чтоб оправдывать ваши мерзости, и не для того дары существуют, чтоб так ими распорядиться. Несчастливая русская церковь: ее Троцкий расстреливал, Сталин рассеял по лагерям, добивал, а потом кой-кого приголубил, растлевал, Хрущев опять навел шороху, да и теперь та же игра — за веревочки дергают. Несчастливая церковь — святая, гонимая! Вы у своего ученого приятеля что-то о расколе говорили, стало быть, знаете, читали, хотя слова у вас пустые, литературные: надрыв, раздвоенность, антихрист, апокалиптика... Думаете, этими словами можно выразить ужас и падение народа и его духовенства в том славном семнадцатом веке, когда проявились «надрыв» и «апокалиптика»? Или назовем вещи своими именами, вспомним, что тогда происходило — без Троцкого и Сталина, без Петра и чудовища Феофана, в той самой церкви, на которой благодать...

— Вы о чем, Костя?

— О том, что не было мерзости, которая бы не расцвела в ту пору, а вы это мило называете «надрыв» и «раздвоенность»? Бесчинства, пьянство, надругательство над святыней, кошунственные языческие игры по христианским праздникам, драки и самоубийства, брань, самый безобразный блуд — крещеных с некрещеными, сестрами, кумами, а иные, как современник говорил, и «на матери своя крестная и на дочь блудом посягают»... Это, так сказать, в мирской жизни. А в церкви, в той самой, что за углом? Верили любой нелепости, волхвованиям — а ведь семнадцатый век, не десятый! Ко причастию не ходили годами, десятилетиями, духовных отцов не имели, в храмах ругались, а то и дрались, похищали церковную утварь, пастырей поносили, избивали... А само духовенство что творило, напомним?... И венчали не по христианскому обычаю — просто за деньги, в монастырях жили в блуде — да не в сектах — в православии! А пьянство, которое на Руси всегда было, но ведь в среде духовенства особо! А сколь, мягко говоря, сребролюбивы были попы да высшие иереи... И тому подобное. Забыли иль не читали? А ведь я вам сообщал факты, собранные не заезжим злопыхателем, не каким-нибудь де Кюстином — отечественный свод, с самыми патриотическими охранительными идеями собиралось, чтоб доказать, как, несмотря на отдельные безобразия — это и раньше так писали! — все-де благочестиво в этом королевстве...

Лев Ильич молчал. Он далеко-далеко опять услышал смехок и боялся шевельнуться, чтоб не напомнить о себе.

— Странно, Костя,— выговорил он наконец,— откуда в вас такая неприязнь, недоброжелательство, злорадование?

— Откуда?.. Может ли, по-вашему, древо злое плоды добрые творить? Вот вам ваша церковь за углом. Да что там, вы меня еще в русофобы запишете — а на Западе? Не зря же все — от Боккаччо и Рабле до Анатоля Франса и, простите, Мопассана — все о том же, о том же самом! Кто греховодник, пьяница и плут — не аббат, не кюре?

— Что вы всем этим... хотите?..— Такая тоска взяла Льва Ильича за горло: вот тебе и уютная комнатка, снег за окном, кофе на столе...— Наше духовенство не на высоте, отстало? Еще Пушкин об этом писал, что из того? Но разве он обвинял в этом кого-то, а не себя, не так называемое общество, не принимавшее священника за то, что он носит бороду, кинувшееся в Вольтеры, а потом и в Белинские?.. Разве не Россия страшной ценой действительно спасла Европу, христианство от монголов? Факты говорят о страшном падении? Есть и другие факты, в то же самое время — святость, религиозная идея монархии... Тот же Пушкин заметил: а разве Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчей во языцех? Но разве Евангелие от того менее изумительно? Зачем вы подбираете эти свидетельства, якобы правду — что она вам говорит?

Костя стоял спиной к окну — темно было, пасмурно, а тут и совсем лица не разглядеть, и это почему-то пугало Льва Ильича...

— В человеке существует некое чувство, которое и делает его человеком по преимуществу в отличие от всякой другой твари,— начал Костя, как лектор.— Назовем это чувство космическим — так принято. Чувство, которое дает человеку возможность ощутить его личную связь со всей вселенной, ощутить Божий Промысел в каждом событии, с ним происходящем. Есть в человеке и другое чувство, ему противостоящее — тоже в мире твари уникальное,— чувство рассудочности, которое в наше время стало преобладающим, хотя, казалось бы, развитие науки должно обострить в человеке именно космическое чувство. Преобладание рационализма — аномалия, но именно ему средний человек и оказался подвержен. Средний, ибо гениальность всегда видит здесь тайну. Вам понятна моя мысль?

— Да-а... — с унынием произнес Лев Ильич.

— Все это очень просто,— продолжал Костя.— Невероятно просто, а потому и соблазнительно для каждого... Что такое соблазн? о чем возможно соблазниться? Всего лишь о том, что идет вразрез с общепринятым, с человеческим разумом, что

невозможно доказать. Может ли быть что-нибудь пошлее околохристианских сочинений до якобы высокого богословия включительно, тщавшихся доказать, что доказать принципиально невозможно? От истории Иисуса Христа начиная. Потрачены сотни человеческих жизней, таланта, крови — а что доказано? — еще Киркегор так ставил вопрос. Что некий человек, рожденный жалкой еврейкой, женой плотника, был Богом, Тем Самым, что создал мир в шесть дней и всю эту вращающуюся вселенную со всем, что в ней открыто и что ждет предстоящих открытий, во всей ее чудесной стройности и миропорядке. Ну не нелепо ли доказывать, что Тот Самый Бог ходил по земле в образе последнего из людей и кончил жалко и позорно? Может ли человеческий разум с этим хоть на мгновение согласиться? Да ни за что на свете! Чудеса, которые Он творил, даже если я допущу, что они действительно были, что это не обман и не образ, не метафора, — что из того? Разве Он совершил главное, что сделал бы каждый на Его месте, чтоб навеки привлечь к Себе сердца, души, разум людей? Гордо отказался, построил на этом всю Свою философию — и потерпел поражение. Не тем, что Его распяли, это-то и привлекло к Нему в конечном счете, но тем, что народ — не только жалкое племя иудеев, но все человечество не пошло за Ним, даже став христианским, осталось тем же жалким, запутавшимся, творящим мерзости стадом. Ну не соблазн ли, не безумие называть Богом этого несчастного? Где доказательство, что Он — Бог, кроме Его собственных слов, которые Он твердил не то чтоб без скромности, но порой и безо всякого смысла и связи хоть с чем-то? Да, в том, что Он говорил, а за Ним записывали, много пронзительного и поразительного, но еще больше банальностей и несуразицы. Да, конечно, за две тысячи лет изо всей этой несуразицы вышелушили некое обетование, назвали его Преданием — но разве это доказательство, а не все тот же соблазн и безумие?.. Тут-то я и подожу к самому главному, ради чего отнимаю ваше время. Вы следите за моей мыслью?

— Конечно, — сказал Лев Ильич, — более того, я не могу ей не сочувствовать...

— Даже так? — вскричал Костя. — Ну что ж, благословляю нашу встречу! Хотя пока что ничего нового, я всего лишь «излагал», как говорит наш вчерашний друг, правда, по-своему... Что же дальше? Самое невероятное из того, что могло произойти и что в человеческую голову уложиться просто не в состоянии — непостижимость земной жизни Бога стала учением, Церковью, некоей соборностью... Какая соборность! — крикнул он. — Из кого она собирается? Ну не парадокс ли, что ученики Христа, которые вели себя с Ним на протяжении всего общения только так, как и могли себя вести люди, — до сна в Гефсимании и предательства, создали Церковь, отдав в руки людей то, к чему они и прикасаться не то чтобы не смеют, но и не способны? Не способны понять и уразуметь, могут услышать сердцем... Но если услышать только сердцем, то к чему обрядность, тома сочинений и катехизисы, делание идола из Того, Кто не может быть идолом? Математически-богословские доказательства истинности догматов, язычески-непреложные свидетельства бытия Божия?.. Последний из людей, жалкий раб, простак, не сумевший даже разобраться в человеческой психологии, сделавший все, чтоб не только не завоевать, но отвратить от сути богопознания! Сегодняшние христиане, верующие и благочестивые, не во Христа Иисуса верят, а в некоего великана-чудотворца, восседающего одесную Отца, вяжущего и разрешающего, но к Тому, Кто ходил среди нас — не две тысячи лет назад в Иудее, а здесь, по этим улицам! — к Нему имеет ли хоть какое-то отношение тот их Христос?..

— Откуда вы знаете, Костя, — очнулся вдруг Лев Ильич, — откуда вам известно о других, может, и они...

— Они! — засмеялся Костя. — Они взяли Слово Божие, сделали его камнем института, в котором ложь и мерзость была уже изначально, ее и не могло там не быть. Когда мы говорим о бесстыдстве и падении священства — русского ли, западного — разве это потому, что они священство? Да потому, что они люди!

— В этом и дело, — вставил Лев Ильич, — это и доказательство...

— Опять доказательство! Люди не изменяются оттого, что повесят крест на пузо, такими же остаются — язычниками и развратниками. В свете креста это ясней и не скроешь. Потому и бьет в глаза мерзость богоносного народа, а так-то ведь он не хуже других... Смелость нужна, и если мы через полвека настолько осмелели, что говорим о неудаче советского эксперимента, унесшего сто миллионов жизней, готовы начать сначала, будто бы того и не было, то нужна лишь тысячекратная смелость мысли, и тогда мы сможем сказать, что и два тысячелетия Церкви были всего лишь экспериментом, к несчастью или к счастью, но не удавшимся.

— Это Лютеру пятьсот лет назад пришло в голову.

— Лютеру! Что такое протестантизм — не та ли самая Церковь, только без отупляющего невежества? Не хватило у него смелости. И я знаю, почему не хватило.

— Но нет ли тут у вас... проговорения? — осторожно сказал Лев Ильич. — Вы отрицаете не просто историческую Церковь со всем ее безобразием, даже не просто

богословие со всеми его, скажем, достижениями, но и живой опыт Церкви, Предание — а ведь это опыт того же созерцания? Сами говорите, что христианство живо святыми, а ведь они Камень, Столп именно Церкви?

— Христианство живо Иисусом Христом, Который ходил по земле в простоте и униженности, а не в том выдуманном образе, облеченном в болтливо-языческие представления о Боге, не имеющем к Нему ровно никакого отношения. Вы отдаете себе отчет в том, что разговаривать с человеком имеет смысл только тогда, когда ему веришь, а иначе и время тратить не след?

— Да... разумеется, — кивнул головой Лев Ильич. «Вот оно, сейчас и произойдет», — подумал он.

— Я видел Его. Он приходил ко мне — Тот самый бедный Человек, рожденный еврейской женщиной...

— Конечно. — Лев Ильич еще цеплялся, хотя уже поблескивало перед глазами. — Конечно, в этом и есть основа веры, убежденность в том, что Он всегда с тобой, с нами, что стоит протянуть руку, вздохнуть о Нем...

— Да не вздохнуть! — Костя даже ногой топнул в раздражении. — Здесь, на вашем месте, сидел и говорил мне то, что я теперь — не сейчас еще, будет знак — скажу людям...

— Поймите! — вскинулся Лев Ильич, и от этого его движения, которого он не остерегся, хотя знал, что нельзя шевелиться, что он уже разбудил в себе то, что и называть боялся... — Поймите, но ведь вы снова себе противоречите? Если я вам поверю, это и будет доказательством, тем самым, которого быть не должно. Зачем же вы добиваетесь этого — вы лишаете меня соблазна, на котором, по вашему же слову, стоит вера?

— Не доказательство! Я вам сообщаю факт о моем избрании...

— Но я не у вас чувствую присутствие Бога, а именно там, за углом, где Он тем не менее от века, где Его легкая поступь, гонимость и к этой жизни неприспособленность — в самом облике несчастной церквушки, в ее оставленности, жалкости, невероятном сочетании падения и святости — в русском храме...

— Ну что мне с вами делать! — вскричал Костя в бешенстве. — Морду, что ль, вам набить? Вы и тогда не поймете, за свою лакейскую любовь будете цепляться!..

И Лев Ильич снова сорвался. Он понял это ускользнувшим сознанием, хотя и не шевельнулся, не двинулся, но что-то в нем ухнуло и оборвалось.

Костя сидел теперь, покачиваясь, на венском стуле, выбросив перед собой переплетенные ноги, и хохотал — весело, искренне, но злобно-удовлетворенно, как бы припечатывал приговор Льву Ильичу.

— Уморил, — сказал Костя, отсмеявшись. — Неужто думал всерьез достать меня драным ботинком? Что за манера женская? Был у меня такой случай в жизни: одна дама, разгорячившись, сняла с ножки туфельку на каблуке, как сейчас помню, и запустила. Ну и смеялся я, враз помирились, но то — дама, к тому же прехорошенькая... А тут...

— Врешь ты все, — сказал Лев Ильич, — со мной, а не с тобой был случай.

— Неужели? Надо ж, как вошел в образ! Ты б еще чернильницу нашарил, даром что весь в литературе — вот бы хорошо! Всю бы ночь и сегодня на день хватило, дверь бы оттирал. Даже жалко... Ладно, — оборвал он себя. — Хватит шутки шутить, у меня больше времени нет. Сам понимаешь: день приезда — день отъезда, проживешься — расчету нет. Будем считать проблему исчерпанной. Как тебя запишем? Да не по паспорту, у нас свобода, в пределах разумного, конечно, без демократических безобразий... Надеюсь, не русским, или ты все еще себя к богоносному народу причисляешь — мало тебе жидовской морды, убежденности в твоей неполноценности до физиологии включительно? Или дальше будем лакействовать, пылинки счищать с барского плеча — да уж какие пылинки, пятна кровавые! Или в таком унижении для тебя самая сладость? Мы и про это говорили. Или мечтаешь с русскими дамочками побаловаться — Суламифь для тебя не подходит, томная да вялая, тебе славяночку подавай — оторву, Лидку, чтоб море по колено, через то надеешься и в богоносность проникнуть? Как же, в бездне греха святость и видится! Как в церквушке за углом, еще при Алексее Михайловиче благолепно сооруженной? Море народное разгулялось, вышло из берегов, плеснуло мерзостью через край, а на Западе умиллилось: какой размах, глубины, какая загадка — шарман!

— Что тебе от меня нужно? — с тоской озирался Лев Ильич.

— Заплачь, так тебе Москва и поверила. Слушай, а может, я тебя недооцениваю, может, ты не из простодушия, не от распутства, не из лакейского надрыва — идею имешь? Милое дело, между прочим, вроде моей командировки — и дело делаешь, и тебе не без радости! Кстати, великоросская традиция, из семнадцатого века, а по секрету скажу, гораздо ране. Помимо, так сказать, плотских утех, они грубые, примитивные, а ты у нас человек мистический, метафизик по утрам с кофеом вкушаешь — так вот, помимо плотских, чтоб и мистические удовольствия, а?

— Что ты хочешь? — только и мог повторить Лев Ильич.

— Да не хочу я, чудак-человек, я тебе пытаюсь тебя объяснить. Ты ведь у нас неофит, еще зеленый... Ты еще никого не крестил?.. Нет? А-яй, нехорошо. Или, может, с твоей маман начнем?.. Что морщишься — не нравится, старовата? Там, однако, своя бездна — не пожалеешь!.. Может, ты меня не понял, простоват — бабеночку я имею в виду, что за кассой в столовке углядел, блондиночку, она твоей крестной матерью обернулась, а? Когда ее увидел в первый-то раз, ты разве ее за мать посчитал — комнатку представил с канареечкой, ее в некоем милом беспорядке, себя рядом, а? Неужто позабыл?.. Вижу, вспомнил. Я тебе как мужик мужику: такая баба русская, когда она в возраст входит, соком наливаются, то, что ядреностью зовут, такой, извини, шарман — в такую метафизику окунешься!.. Ну хорошо, хорошо — не хочешь, давай доченьку тебе подыщем, девочку, с глазками быстренькими, раскосенькую, тоненькую. Подружки у твоей Нади поспевают длинноножки, их крестим, а там... такая начнется очаровательная бездна, прямо из семнадцатого века да с горечью века двадцатого: инфантильность, слезы, лихорадка, бесстыдство — мы тебя враз запишем русским, все будет в ажуре. И плоть, так сказать, не в обиде, и мистическое чувство улаговорено, и главная еврейская миссия выполнена — в смысле крови я имею в виду.

— Ты можешь что-нибудь кроме мерзостей из себя выдавить?

— Извини. Я пытаюсь в тебе хоть что-то значительное раскопать — не удается. Уровень действительно примитивный. Но ведь и тут традиция. В христианстве изначально пошла пуганица — с самого рождения Господа во образе человека. Помнишь, давеча стишки вспоминали, как надменный бес, которым архангел и Господь грешили, то есть не бес, а... ну понял, одним словом? А с кем грешил? То-то. Кем же мы Его после этого запишем, если не по паспорту, а по сути? Прав твой ученый друг, нечего первородством гордиться, это мне скорей заважничать...

Лев Ильич не выдержал, рев, грохот раздался в нем, его швырнуло вверх и в сторону. Он закричал и кинулся на того, кто называл себя Костей...

— Вы что, Лев Ильич? — услышал он голос Кости, как об стену его опять хватило. — Я вас предупреждал, никакого смирения не хватит: «гегемон» пробудился...

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о зем-ну-ю ось...» — ревели за стеной. Лев Ильич вытащил грязный платок, вытер лоб и лицо.

— Надо уходить, — сказал Костя, — не поговоришь, да и что толку, не напрасно зарок себе давал. Пустое все...

Лев Ильич шагнул из комнаты прямо в ревуший коридор — в этой комнате он больше и минуты не мог бы пробыть. На кухне, у окна, среднего роста малый в нижней рубашке, выпущенной поверх штанов, босиком, повернулся ко Льву Ильичу, поморгал сонно, не ответил на вежливое: «Здравствуйте».

— Курить есть?

Лев Ильич достал сигареты. «Лакействуешь?» — спросил он себя.

— Сигареты... А «Беломора» нет?.. И сука моя шляется. Давай сигареты, что делать.

— Не надоело? — спросил Лев Ильич.

— Чего? — вытаращился малый.

— Песня эта.

— Самому тошно. А чего делать? — Он глядел в окно на летящий снег. — Хорошо, кому с утра, а в ночь? И выпить нельзя. Я вон выпил — три месяца «Беломор» стрелял. У меня работенка хорошая, башли дает, а с этим делом нельзя... — он скребанул грязным ногтем по горлу. — Ты дружок, что ль, этого?

— Вроде.

— Эх, ученые люди! Козла бы забить, трое, да я б четвертого мигом нашел — милое дело... Может, правда поставить другую пластиночку — про крокодила Гену?.. — Он зашлепал из кухни.

— Господи! — сказал вслух Лев Ильич. — Неужто это и есть очищение, изживание своей пакости? Но почему так мучительно, кровью, кусками сердца? Хватит ли меня, Господи...

## 11

Он часто потом думал об этом, важно ему было, дорого, но не мог в точности вспомнить ощущение ли, мысль, которая его именно в ту сторону и толкнула. Еще когда стоял у окна, на кухне, разговаривал с «гегемоном», сообразил, где находится и как выбраться отсюда, в темноте-то, когда Костя тащил его, он ничего не мог понять-запомнить. А тут понял, сориентировался. Но когда шагнул из подъезда на мостовую, неожиданно для себя свернул совсем в другую сторону...

Он за угол свернул, не понимая, не задумываясь, подчиняясь тем не менее четкому, услышанному в себе движению, а может, и всего лишь оттого, что ничего у него больше в ту минуту не оставалось, кроме надежды на то, что там...

Он даже не удивился, ее увидев, — так и должно было быть. Беленькая да трогательно домашняя, она стояла наверху, на самом склоне когда-то бывшего здесь холма, один переулочек круто сбегал вниз, а другой шел криво, по самому взгорбку. И дома вокруг стояли крепкие, начала века, доходные. И сразу вспомнил: бывал здесь, сколько раз ходил мимо, знал город в пределах кольца; вспомнил, что и построена она в том самом семнадцатом веке при Алексее Михайловиче, когда проросла пшеница чистого благочестия куколом душевредным. И построили ее миряне — те, что жили вокруг, на этом холме, да не в доходных домах, а в собственных, что тогда тут стояли. «Какие же дома тогда были?..» Построили обшденочкой, так с тех пор и называется Обшденской — за день возвели, деревянную, конечно. Потом перестроили, выложили камнем... Вспомнил, вспомнил Лев Ильич, хоть и не был в ней никогда.

Он уже вплоть подходил, она на него надвигалась — белая в летящем снегу, а на широкой паперти, больше в притворе, стояли бабки, руки тянули. «А у меня нет ничего, как на грех, ни копейки!» — вспомнил Лев Ильич и остановился, стыдно, неловко стало — все-то он не о том.

Из дверей легко вышел юноша. Лев Ильич сразу и назвал — «юноша»: высокий, хорошего баскетбольного роста, отметил Лев Ильич, светлый, да не оттого, что пшеничные волосы падали на лоб, а изнутри ясный, но без улыбки, сосредоточенный, в себя ушедший. Легко сбегал с паперти, снегом его враз облепило, мелочь раздавал... «А как же мне?» — думал Лев Ильич. Юноша обернулся назад на Кирилла Сергеича, спускавшегося со ступеней.

«Вот оно! — изумился Лев Ильич. — Вот почему свернул сюда...» Он бросился к паперти, а Кирилл Сергеич уже его увидел, но следом за ним семенила женщина, не старая, в шляпке, что-то нашептывала, он приостановился на паперти, под снегом благословил ее, она налету поцеловала ему руку, а он весело смотрел на Льва Ильича. Тот подбежал вплотную, Кирилл Сергеич перекрестил его, а он схватил его за руку обеими руками.

— Как хорошо! Я знал, я потому и шел сюда...

Кирилл Сергеич внимательно на него смотрел.

— Ну и отлично. Очень рад. Снег-то — зима! — Они стояли возле паперти. — Иди-ка сюда, Игорь, — кивнул он юноше. — Я тебя со Львом Ильичом познакомлю. Рекомендую — Игорь Глебович, Машин сын...

— Здравствуйте, — сказал Игорь. — Вы такой и есть, как я думал, — он улыбнулся широко, открыто, с интересом и не скрывая глядел на Льва Ильича.

Они вышли на улицу возле троллейбусной остановки.

— Лев Ильич, не хочется расставаться, а у нас с Игорем дело, должны навестить старика больного. Далеко ехать...

Льву Ильичу мутрно стало, как подумалось, что они его оставят на улице.

— Я знаю, куда вы едете, — сказал он. — Маша рассказывала. Если удобно...

— Поехали. Сейчас в метро, верхней будет...

Народу, как всегда, было много, их втиснули в вагон, Игорь широкой спиной загораживал, улыбался. Лев Ильич рассмотрел его получше: чистое лицо, ямочки на щеках, а уже отвердевает к подбородку, и серые глаза — спокойные, без суеты, не навязчивые.

— Каких молодцев растим, — кивнул на него Кирилл Сергеич, — с таким не страшно, крепко стоит.

Он тоже был другим, непривычным, попроще, хотя все-таки не свой брат — священник, видел Лев Ильич, как на него поглядывали. А что в нем, что его выдает? Шляпа? Мало ли кто теперь в шляпах. Скромное пальто, не дешевое, но московшвеевское... Борода? Кто ж нынче без бороды! Глаза зоркие, думающие, ни на минуту мысль не оставляет, не о своем затаенном, сейчас он явно Львом Ильичом был занят. Эта, что ли, всегдашняя готовность повернуться к тебе всем существом, и не с грошовой помощью, а по самому для тебя существенному, что другой раз и сам еще в себе не успел отметить, еще не испугался, а он уже заметил... Тут и опыт, конечно, — радостно, счастливо думал Лев Ильич, — профессионализм, верно, но не сумма приемов, не выработанное практикой умение с ходу раскусить человека, а любовное, изнутри понимание, способность думать за другого, а потому и понять по-настоящему...

— Алексей Михалыч попросил отслужить панихиду, — говорил Кирилл Сергеич. — День у нас такой. Он обрадовался, что Игорь вернулся, очень ждет. Панихиду в Обшденском храме, у него свои соображения... Вам Маша рассказывала?

— Алексей Михайлович? — переспросил Лев Ильич. — Я не знал, как его зовут.

— Очень плох? — спросил Игорь.

— Плохой. Я был позавчера. Боюсь, и поста не переживет... А как у вас, Лев Ильич, вы дома теперь?

— Край у меня, отец Кирилл. А что за краем...

— Хорошо, что встретились, поговорим. Мы там недолго, как ты, Игорь?

— Я долго не могу, у меня сегодня...

И тут Льва Ильича осенило, у него сразу возникла даже не мысль, а предчувствие, как только увидел этого юношу. Нет, не предчувствие, мечта: «а что бы, если...»

— ...Этой весной должно решиться, может заберут в армию. Я раньше не хотел, в артисты думал — я в Одессу летал на кинопробы, им армия не помеха, вытащат. Но мне не хочется сниматься. — Игорь рассказывал о себе охотно, с откровенной готовностью. — Вот и отец Кирилл...

— Какой там актер! — живо откликнулся Кирилл Сергеич. — Ты подумай, что будешь играть? Ну представьте актерскую ситуацию: тройная нагрузка на душу. Кроме двойной жизни, третья, совсем отношения ну ни к чему не имеющая. Убивание себя в другом, не в себе искать, не вычищать собственную личность, в другом, через другого... Про себя забыть. А придет пора вспомнить — где он, я?

— Лев Ильич, вы не подумайте, что отец Кирилл старорежимный ретроград, у них с мамой своя идея, — улыбнулся Игорь.

— Не пугай меня, выдержи, — не принял шутку Кирилл Сергеич. — Коль театр — сила, а эта истина давно известная — кафедра, трибуна, и ты возглашаешь чувства добрые... Но — добрые! А если с той же кафедры и тоже во всю глотку...

— Так вы же современный театр не знаете! Можно ли с таким жаром говорить о предмете, который не знаешь, да может, в современных пьесах...

Тут как раз двери раздвинулись, повалил народ, Игорь не удержал напора, их притиснуло к стеклу.

— Ага! — засмеялся Кирилл Сергеич. — Проврался! Вот у тебя руки и подломились. Современных пьес мне не доставало...

«Господи, ну как с ними хорошо! И разговор человеческий...» — смотрел на них Лев Ильич.

— Верно говорят, что пропасть между отцами и детьми непреодолима, — сказал Игорь. — Ничего, мы...

— Да нам выходите! — вскричал Кирилл Сергеич.

Они выбрались из вагона, поднялись наверх. Лев Ильич зажмурился от света, солнца, ударившего ему в глаза, — там была метелица, теснотища, грязь, а тут ширь, голубое небо в летящих облаках, город — не город: дома высоченные, а разбросаны, улицы — не улицы — поле, дороги в разные стороны, автобусов целое стадо — другая страна!

— Я здесь никогда не был, — сказал Лев Ильич, — даром что в Москве всю жизнь прожил.

— Далеко... Вон наш автобус! — И Кирилл Сергеич, смешно загребая ногами, побежал к остановке. Они успели втиснуться, их прижали к заднему стеклу, только теперь свет был не мертвый электрический, а яркий, солнечный.

— ...У меня, понимаете, Игорь, с дочерью беда. Боюсь ее потерять: дома не живу, а там совсем не те влияния, какие-то странные мальчишки из МИМО. Вы б с ней познакомились, другой мир показали, с отцом Кириллом ее свести.. В церковь... Ну, это мечта слишком большая.

— А сколько лет дочери? — спросил Игорь и покраснел.

— Шестнадцать вот-вот. В девятом классе.

— Пожалуйста, познакомлю ее с хорошими ребятами. Артистов не боитесь?

— Я вам верю, — сказал Лев Ильич.

Кирилл Сергеич слушал с одобрением.

— Слава Богу, — сказал он. — Что может быть выше, чем стать ловцом человек...

Они приехали. Еще надо было пройти, петляя между одинаковыми скучными домами. Но такое было солнце, свежий весенний ветер — как в море, вспомнилось Льву Ильичу, да не где-нибудь на юге, а в настоящем, Японском море, весной, когда снег еще в распадках, на бурьх от прошлогодней травы сопках, а в проталинах появляются уже цветы — белокопытник.

Кирилл Сергеич посерьезнел, молчал всю дорогу от автобуса, да и Игорь не разговаривал.

Дверь открыла женщина — немолодая, высокая, надменность в лице, молча поклонилась и прошла с Кириллом Сергеичем на кухню. «Лариса», — вспомнил Лев Ильич.

— Кто там? — хрипло раздалось в квартире.

— Это я, дед, — откликнулся Игорь, раздеваясь. — Мы с отцом Кириллом. Дай пальто сниму. — И он прошел в комнату.

Лев Ильич остался в коридоре, не жилком, пыльном, запущенном, холсты торчали из антреселей, из распахнутого старого шкафа. Из кухни вышла Лариса.

— Извините, у нас видите что... Проходите в комнату.



Лев Ильич шагнул в открытую дверь. Солнце било в комнату, слепило, он зажмурился от неожиданности.

Старик полулежал лицом к двери на широком диване, на белых высоких подушках: темное лицо, давно не бритое, в глубоких морщинах, лихорадочный взгляд неприятно ожег Льва Ильича. Но он не его сначала увидел, мгновением позже, и тут же снова оторвал от него глаза. Над диваном висело большое полотно, без рамы — холст на подрамнике...

Он увидел падающую церковь, часть ее, передней стѣны не было, купол с крестом, горящим сейчас в солнечных лучах... Но она падала, падала, и уже тот крен немислимым стал. И все падало, покосилось: клирос, алтарь с распахнутыми Царскими воротами, иконостас над ними, а еще выше, в темноте, под куполом — угадываемое распятие,— все падало вместе с рушившимся храмом. Но он не был пустым, Лев Ильич сразу понял, а потом осознал детали. В храме был кто-то, кто непостижимым образом удерживал церковь, которая падала, не могла не упасть. Он был большим, в половину церковной стѣны, прозрачный — не человек, не птица, и крылья в полтора раза больше — живые, нежные, теплые, упершиеся в стѣны. Льву Ильичу показалось, он слышит, как они хрустят, обдираясь о камень, обламываются. Он проник, прошел сквозь стѣны, обозначился в сгустившемся воздухе — обозначился только для художника, никто другой того б не увидел, и было несомненно, что вот-вот он снова исчезнет в струящемся солнечном свете, растворится в нем, пройдет сквозь стѣну, но удержит церковь, выровняет немислимый крен. Художник с поразительной смелостью передал пространство: и само здание — плоскость снятой стѣны, завершающейся куполом с крестом, и глубину открывшегося храма, и дальнюю глубину за Царскими воротами, и бестелесно-прозрачное тело ангела, сквозь которое видны были и часть иконостаса, и распахнутые Царские ворота — и все это в струящейся, плывущей золотистой дымке... Лев Ильич смотрел в глаза ангела. Они и были центром картины, приковали внимание, как только он шагнул в комнату: боль, немислимая печаль, страдание за него — Льва Ильича... Он шагнул к стѣне.

— Что это? — спросил он, с недоумением глядя на старика.

Тот не спускал с него лихорадочно горящих глаз.

— Увидел? Нравится?

— Что это такое? — повторил Лев Ильич; Игорь сидел на диване у старика в ногах и тоже смотрел на Льва Ильича.

— Это ваш отец, Игорь, да? Конечно... Глеб Фермор. Я видел одну картину... у Маши. Как же так? То самое, что я ждал, не надеясь и надежду потеряв...

— Слышите?! — закричал старик. — Слышали, что человек говорит? Лариска!.. Лариска, иди сюда... А, батюшка!.. Здравствуй, батюшка. Все приши, сбежались смотреть на старика. Помрет старик, долго не протянет... Слышали, что человек говорит?..

Лариса стояла в дверях, освещенная солнцем, сухая, прямая, смотрела на старика, и Лев Ильич не смог бы прочесть на ее лице ничего, кроме раздражения и неукротимости.

— Чего раскричался? Тебе нельзя кричать, назло, чтоб врачей вызвать, чтоб всю ночь плясать возле тебя?

— Не надо мне врачей. Слыхала, что говорит: Фермор здесь нужен! Посмотри, как человека перевернуло...

— А я переверну ее сейчас... — Она шагнула к стѣне, подняла руку, но взглянула на Льва Ильича и остановилась. — Моя картина — не Фермора. Знаете, Кирилл Сергеич, как дело было? Я не рассказывала, ну раз до того дошло... Он вообще-то быстро работал, а тут месяца два — больше, не получалось... Да и сомневался, есть ли право писать ангела — не было права, что говорить! Как-то вхожу в комнату, он бледный, бешеный, редко таким видела, он ее уже с мольберта сбросил, рвет — вон шов-то заклеивала. Я было сунулась, он и меня отшвырнул. А тут звонок в дверь — телеграмма. Он вышел, а я ее за шкаф, выскочила, заговорила его, он вроде забыл, а может, вид сделал, что забыл. Больше разговора о том не было... Чья, выходит, картина?

— Игоря, — сказал старик. — Хорошо, вы все здесь. Маша нет, зато человек новый, понятиям будем считать. При нашем разговоре свидетель.

— Дед, может, отложим разговор до другого раза? — поднял на него глаза Игорь. — И ты поуспокойсья...

— Не будет другого раза. Я помру не сегодня, так завтра. Мне главное было до сегодня дожить и панихиду чтоб отслужили. Отслужили, как просил?

Кирилл Сергеич подошел к нему, благословил, старик поцеловал ему руку.

Все молчали.

— Я думаю, Лариса Алексеевна, нам нужно поговорить, — сказал Кирилл Сергеич. — Алексей Михалыч нас пригласил, его желание. А дни и сроки не нам ведомы.

— Говорите, ежели охота. А у меня дела. — Она повернулась выйти.

— Лариса! — крикнул старик. — Ты... сядь. Пойми, я помираю... Не жалости прошу! Я сказать должен.

— Ты все сказал. И мне, и всем, кому слушать есть время... Ну что он меня изводит? — крикнула Лариса, на щеках вспыхнули красные пятна, глаза зажглись, как у старика.— Ему только нянька нужна была — сначала Маша, потом на мне помирился, все равно было, как там у меня... — голос у нее сорвался.— Ну что он к Фермору привязался, на что ему эти холсты?! Ценитель какой! Да пропадет все — ясно тебе? Сколько ты сидел, что ничего не понял? Мало, не вбили тебе в башку, да надо бы понять до того, как посадили, когда все, что сделал, чем жил,— все забрали, поломали. Куда там! Ему и тюрьмы мало, и надзирателем служить надо, и на Глеба мало нагляделся, да и сейчас... Ну хорошо, слушаю, может, что новое скажешь?..

Она села, но вдруг затряслась и зарыдала в голос. Игорь кинулся было к ней, но она его оттолкнула и выбежала из комнаты.

— Я вам должен сказать... — начал старик, как бы ничего не заметив.

— Дед! — Игорь стал перед ним.— Ты и меня ставишь в дурацкое положение. Ну что мы о наследстве ведем спор, как в кино? Почему я наследник? Как есть, так и есть: то, что тут — тут, а у мамы — пусть там и остается.

— Сядь,— сказал Кирилл Сергеич,— и помолчи.

— Я вам должен сказать,— повторил старик, никак не прореагировав на Игоря,— то, чего никому не говорил, Лариса, конечно, знает, но я хочу, чтоб она при вас услышала. И при гражданине, первый раз зашедшем в дом... — Он помолчал, прислушиваясь.— Она сейчас придет,— продолжал он.— Я полгода знаю, что должен помереть, но положил себе до этого дня дожечь и чтоб панихиду отслужили в Обыденской, как она просила. Она венчалась в той церкви — твоя мать, батюшка. Не помню, говорил ли тебе про это?

Лев Ильич глянул на Кирилла Сергеича. Тот сидел на стуле возле старика. Льву Ильичу показалось, он побледнел.

— Она завещала мне разыскать сына. Эту ее последнюю просьбу я выполнил. Не я, у меня сил тогда не было, а твоя мать, Игорь, за что я ей на всю жизнь благодарен и никогда и т а м о той милости не забуду. И не одна разыскала, а с твоим отцом. Он не только отыскал тебя, батюшка, но когда ты из небытия воскрес и родился заново, он и к этому руку и сердце приложил. А потому они — Маша и Фермор — соединились, что им Бог послал любовь. Я и это почел знаком, и никакой обиды у меня не было. Я ее завешание исполнял. И если она теперь видит нас оттуда, то на тебя, батюшка, глядя, радуется. Может, она об этом и не мечтала, а может, это она и вымолила, а за то и обо мне оттуда вспомнит, а мне ее молитва очень необходима, потому что когда ты, батюшка, придешь меня исповедовать да соборовать, а будет это в ближайшие дни, ты далеко не отъезжай, то поймешь, как мне нужна ее молитва. Очень во мне много злобы, а сил нет...

Вошла Лариса и тихо села у двери. Старик поднял на нее глаза, голос у него был слабый, он задыхался.

— Это первое дело, которое мне на этом свете было положено сделать. Есть еще одно... — Он замолчал, закрыл глаза, и Лев Ильич подумал, что он уснул. Но он открыл глаза и спокойно, без лихорадочности, обвел ими присутствующих.— Ко мне приходил Фермор,— сказал он тихо.— Не здесь, а на той квартире, за месяц до того, как исчез. Он пришел и сказал: «Я, Алексей Михалыч, перед вами виноват, и ваше дело прощать меня или нет. Но у меня растет сын, и про то говорить с вами не хочу. Меня скоро не будет, сказал он, а больше как к вам, мне прийти не к кому. Маша еще девчонка, а Лариса мне свою обиду не забудет. Так ли я жил, не так — плохо жил, и сына не успею вырастить — а кто из него получится, сказать сейчас нельзя. Я, сказал он, всю жизнь работал, а как — и про это сказать не могу, но была у меня мысль: своего отца, и своего деда, и прадеда своего — связать со своей жизнью и с жизнью сына. В живописи это сделать сложно, и как мне удалось, про то не мне судить...»

Лев Ильич поднял глаза на картину. Солнце переместилось, косо скользило по стене, вспыхнули, как живые, крылья у ангела, но, видно, нашло облачко, и картина враз потускнела — страшно стало на нее глядеть.

— «...Я не знаю, что со всем этим делать, сказал мне Фермор. Может, конечно, заберут — и в печку, тогда, мол, так и быть должно, и думать не надо. А если нет? Я, мол, не знаю, сможете ли вы, Алексей Михалыч, понять, а сможет ли мой сын, того совсем не знаю. Но прошу вас проследить, а не успеете, ему передайте, а если не ему, то на ваше усмотрение — кому решите. Мне, сказал он, видится, что страну эту, совсем пропащую, что-то держит — что? Есть ли у меня право это выразить? Наверное, нету. Но я и то отсутствие права как мог написал. А может, и оно принесет пользу, потому что если хоть кому-нибудь я это помогу в себе увидеть — он уже и покался. А покался, значит, спасается. Один человек, конечно, не вся Россия, но ведь и она из людей состоит — один да один да еще один...»

Он опять замолчал и снова закрыл глаза. Все в комнате ждали. Даже Лариса подняла голову и смотрела на отца.

— И вот сегодня,— заговорил он снова, явно было, что это давалось ему с трудом,— я дождался — не зря помирать не хотел. Новый человек, первый раз этого гражданина вижу, сказал, чего Глеб Фермор хотел, да не услышал... При его сыне сказал: Игорь слышал — мне передавать те слова не надо. Выходит, что я и это... мне завещанное, исполнил. Я, Лариса, не знаю, уничтожат их здесь или нет, картины... Что Марию застрелили здесь — знаю. Что Фермора тут убили — мне тоже известно. И что ради чего они жили — и Фермор, и Мария — не пропало. Вот три свидетеля — гляди. Ради них они жили. Как же мы можем... самовольно решить, что он... что ему в голову не приходило?.. Вы почему сегодня ко мне пришли — я вас, новый гражданин, спрашиваю? — обратился он вдруг ко Льву Ильичу.

— Мы с ним случайно встретились возле Обыденского храма,— сказал Кирилл Сергеич.— Лев Ильич наш добрый знакомый, очень хороший человек, крестник Маши, а мой духовный сын.

— Вот!..— старик хотел, видно, опять крикнуть, но не смог.— Вот... Лариска, как сошлось. У Обыденской. Маши крестник и Марии сына — сын...— У него из глаза выкатилась мутная слеза и затерялась в щетине.

— Хорошо,— поднялась Лариса.— Зло во мне. Красиво рассказал, да и Фермор мог красиво говорить. Только жизнь с вами для меня красивой не получилась...

«Вон на кого она похожа,— осенило Льва Ильича,— на Любу! И слова похожи...»

— ...Все ты всем выполнил,— она взялась рукой за дверь,— перед всеми чист, даже для России постарался. Про меня только позабыл. Да ведь и Фермор забыл. Что ж я буду его живопись спасать — да пусть остается, пропадает! Все равно все пропало...

## 12

Они больше не разговаривали. Молча вышли, забралась в автобус и в метро. Долгая поездка, как за город.

— Ты не домой? — спросил Кирилл Сергеич у Игоря.

— Нет, мне... нужно, одним словом, попозже буду.— Игорь выскочил на подороге.

— Трудно,— сказал Кирилл Сергеич как бы себе самому,— трудно не судить других. А ведь судя других, мы всего лишь напрасно трудимся — легко ошибиться и еще легче согрешить. В нас обязательно есть тайная мысль, она и ведет в таком осуждении: как ты считаешь, человек должен поступить, мысль всего лишь о себе, не о нем.

— Вы о Ларисе Алексеевне? — спросил Лев Ильич.— Я тоже про нее думаю. Какая обида в человеке — неуголенняя и не способная себя утешить.

— Скорей о себе. Со стариком все — он завершил жизненный круг. А у нее тягость впереди. Когда останется одна, без постоянного раздражителя, которым только и жила. С картинами... Вам действительно понравилось? Мысль не показалась нарочитой, навязчивой?

— Не знаю, не успел подумать. Мне это не важно. Главное, в самую точку... Мне очень нужно с вами поговорить.

И Лев Ильич начал рассказывать. В метро, в толкучке... Потом они вышли. Лев Ильич осознал себя на скамейке: бульвар, еще светло. Он рассказал все с того момента, как расстался с отцом Кириллом, поцеловав крест: ресторан, Таня, Любин звонок, похороны, старик еврей, поминки, дикари-актеры и Володя в ковбоекке, Иван и Надя, Саша и... Вплоть до того, как, стоя у окна на Костиной кухне, подумал, хватит ли у него сил. Ничего не пропустил, да и не мог бы, он так слушал его, Лев Ильич и тени любопытства не почувствовал, только сострадание, не жалость, а живую боль.

Он кончил. Кирилл Сергеич молчал.

— Мне это Костя сказал,— повторил Лев Ильич,— что искушения бывают полезны, очищают. Он о себе говорил: нет человека, которого бы они не посещали, но у меня нет на это сил. Я вам откровенно, не жалуясь, как факт.

— Не будем про Костю,— сказал Кирилл Сергеич,— это тяжкая история. Кто-то заметил, что одинаково опасно знать Бога, не сознавая своего ничтожества, и сознавать свое ничтожество, не зная Бога. Если второе ведет к отчаянию, то первое непременно к гордыне. Как помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали?.. Давайте лучше о вас. По слову апостола, Бог не только не допускает искушений сверх силы, но дает и силу их перенести. Я очень понимаю вас и, наверное, моя вина, должен был предвидеть, что вы об это расшибетесь... Знаете что, Лев Ильич, я сегодня должен быть в одном доме, соберутся люди, интеллигенты — сомневающиеся, негодующие и просто любители поболтать. Но польза несомненная. Я сейчас позволю, что приду попозже, а то они ждут.

— Как же, если ждут...

— Нет, нет,— перебил Кирилл Сергеич.— И разговору об этом нет.

Они пересекли бульвар, остановились возле телефонных будок. Кирилл Сергеич вытащил записную книжку. Лев Ильич набрал номер Маши.

«...Объявился. Тебя Вера разыскивает. Телефон оставила. Ну как ты, что?..»

— С твоим Игорем познакомился. И подумать не мог, что у тебя такой парень...

«Ты про меня чего только не думал. Парень как парень. Дурачок еще».

— Я обязательно приду. Я тут с отцом Кириллом.

«А!.. Ну слава Богу. Вы не у наших ли были? Как там?»

— Плохо...

Кирилл Сергеич рядом все еще разговаривал. Лев Ильич подумал и набрал другой номер.

«Алло? — услышал он. — Веру?.. Сейчас будет вам Вера...»

«Лев Ильич! Господи, как хорошо!.. Ты мне очень, очень нужен...»

— Прости меня...

«Перестань! Я хочу тебя видеть. И хочу, и нужно, — повторила она. — Приходи сейчас».

— Сейчас не могу.

«А когда можешь?»

— Попозже.

«Записывай адрес... Приходи в любое время, хоть в двенадцать часов... Записал? Придешь?»

— Приду, — сказал Лев Ильич и повесил трубку.

Они опять вышли на бульвары. Начиная смеркаться, подмерзло, темнели следы на свежем снегу.

— Я так и знал, что вы на этом споткнетесь, и не смог вас ничем предупредить! Моя, моя в том вина... — повторил Кирилл Сергеич. — Ну да уж чему положено случиться... Не велика, говорят, заслуга остаться в благочестии, когда ничто от него не отвращает. А великие это искушения или малые — не нам судить, а малые еще посерьезней. Чтоб не переоценивать себя, на себя не полагаться.

— А на кого тогда — к вам каждый раз бежать?

— На Бога. А больше у нас с вами никого нет. Я вам о себе расскажу, почему я осмеливаюсь говорить хотя бы так, как намереваюсь. А то бы совсем права не было. Вы помните Федора Иваныча? Это как раз случилось, когда меня Маша с Фермором разыскивали. Алексей Михалыч верно сказал, если б не Фермор, неизвестно, что б со мной и было. Время помните какое — еврейские дела, таким пахло ветерком... Вы были в Москве?

— На Дальнем Востоке.

— Да? — глянул на него Кирилл Сергеич. — Знаете, наверно... У Федора Иваныча всегда были свои дела на кладбище, тоже фабрика, я вам скажу, знаменитое кладбище, не как Новодевичье — музей, высшие сферы, а тут — самая коммерция. Он хоть и последний человек по чиновной линии, а по сути первый — многое от него зависело. Он там всю жизнь, все знал. Мрачный был человек, никому не открывался, мне иной раз думалось — большой грех у него на душе, страшный... Однажды приходит к нам женщина. Еврейка. Старая, жалкая... Федора Иваныча она знала, он много лет присматривал за могилкой. С порога начала плакать: прихожу, а там люди, копают... Я, говорит Федор Иваныч, ничего не знаю. Как же, всегда, мол, к вам приходила. Было ко мне, а теперь не так. Вы же человек, должны понять, там муж и сын похоронены. А фамилия? Эппель, Абрам и Михаил. Вот что, гражданка Абрам, говорит Федор Иваныч, зачем ко мне домой пришли? Я всегда к вам приходила. То, мол, было, а теперь идите, пока я по-доброму говорю... Как на грех, я тут оказался. Федор, мол, Иваныч, вчера приходили, просили у вас место, вы нашли забытую могилку — какая же забытая, вот она, живой человек... Он на меня: ты чего, мол, лезешь? Тогда я говорю: идемте, гражданка, в контору, выясним. Не смей, говорит, не лезь не в свое дело. Я перед ним всегда робел, благодарность чувствовал, знал, что он не отец, подобрал, вырастил. Пошли с ней. Она плачет, в толк не возьмет, что случилось с Федором Иванычем. И в конторе концов не найти, но чувствую, есть концы, их специально прячут. Вижу, лгут ей в глаза. Идемте к могилке, говорю. Приходим. Действительно, люди, ждут могильщика, Федора Иваныча, его участок. А могилка без оградки, без памятника, летом, может, и цветочки, а тут весна — такая бедность, ржавая табличка валяется рядом. Она как увидела ее, схватила, зарыдала в голос. Я им объясняю, так, мол, и так — ее могилка. А ты кто такой? — важные, в шляпах, такие в машинах ездили. Да и сейчас пешком не ходят. А тут Федор Иваныч подходит, они ему, видно, резко что-то сказали, он налился кровью, подошел к ней, вырвал табличку... Я не слышал, что он сказал, но она как в столбик взола. Вокруг пусто — ни души, в дальнем углу кладбища, лес, черные деревья, и дело под вечер. Потом он подошел ко мне, я его тогдашнего лица вовек не забуду. И ударил... Я не

сразу пришел в себя. Очухался — никого. Ни тех — в шляпах, ни Федора Иваныча, ни женщины. И таблички нет...

Они остановились на перекрестке, впереди была площадь, развороченная грязь, открылось движение, и лавина машин, разбрызгивая жидкую кашу, хлынула мимо. Они переждали и перешли на следующий бульвар.

— ...Больше я не был дома, — сказал Кирилл Сергеич, — а потом меня Маша нацпа.

— Как здесь жить страшно... — думал вслух Лев Ильич. — Вы говорите, любовь? Ведь и ее чем-то нужно кормить. Иначе она будет абстракцией, риторикой или... как я услышал, лакейством.

— Страшно, — согласился Кирилл Сергеич. — Не знаю, правда, нужно ли кормить любовь. Чем? Доказательствами, объяснениями? Или она есть, или ее нету, тут ничего не поделаешь. Простите за резкость...

Они сели на скамейку, мимо шли люди, зажглись фонари. «Неужто у каждого что-то подобное? — думал Лев Ильич. — Как они живут с этим?..»

— Серьезная жизнь, — сказал Кирилл Сергеич. — Или страшная. Это как угодно. Только ведь и обманывать себя нельзя. Но если сможешь преодолеть — увидишь свет, тот самый, который и во тьме светит. Смотрите, какая луна!

Лев Ильич глянул: оказывается, и небо было, и луна взошла...

— Я вам первому это рассказал, — продолжал Кирилл Сергеич. — Даже Дусе не говорил. Самому страшно вспомнить. Чтоб вы поняли, у меня есть право об этом думать. Хотите узнать, что и как я думаю?..

Он помолчал. Лев Ильич закурил и вдруг успокоился. «Нужно как-то со всем этим жить», — сказал он себе.

— Я священник, — начал Кирилл Сергеич, — мне приходится ежедневно говорить с десятками людей — и на исповеди, и так, по разным случаям. Чаще всего люди жалуются — то у них плохо, это нехорошо: болезни, обиды, горести, страсти, падения — с радостью редко кто приходит в церковь. И о евреех много разговоров. Живет, представьте, человек в коммунальной квартире, пять, а то и семь человек в комнатухе. Дети, родители, старики. А сосед еврей, вдвоем с женой, в двух комнатах. Приходит женщина в магазин, стоит в очереди — устала, раздражена, а из-под прилавка продавщица-еврейка что-то такое «своему» отпускает. Или на работе — мастер-еврей не так вывел прогрессивку. А ведь вся жизнь из этого и складывается: дома, в магазине, на работе. Везде еврей! Они нас давят, всюду продвигаются, от них житья нет — мало их Гитлер поубивал!.. Вот вам элементарный и, заметьте, самый распространенный антисемитизм. Что тут объяснишь: что в соседней квартире, наверно, наоборот — русский живет в двух комнатах; в соседнем магазине русская продавщица то же самое выделывает; а к тому, что нашу жизнь сегодня пакостит, к власти, евреев и близко не подпускают? Разве объяснишь человеку, если весь его мир ограничен кухней, если все проблемы этим кончатся, если он голоден, живет в тесноте, болен, сын пьет — и он раздражен на весь свет? Что тут объяснишь, когда корень даже не в социальном уродстве, а в том, что человек не утверджен в любви Божией, не знает, что все мы Его создания — евреи, язычники... На уровне кухонном мы эту проблему не разрешим, тут даже говорить неинтересно. Говоря проще, антисемитизм непременно в неверии, а все остальные объяснения — исторические, социологические, до физиологии — лукавство, чтоб не сказать больше. Но есть другая сторона — высшая, о которой мыслить важно, потому что в ней тайна, существенная для каждого христианина...

Он опять замолчал, а Лев Ильич думал о том, какое ему счастье выпало встретиться с этим человеком.

— Я думаю, — сказал Кирилл Сергеич, — что и русский шовинизм, и еврейская исключительность коренятся в робости мысли, чтоб не сказать трусости, в неспособности сказать себе правду. Это удивительная тайна, меня всегда поражает стройность, законченность замысла — как чудо какого-нибудь из постигнутых человеком законов природы: о движении звезд, о сохранении энергии, или система элементов. Если говорить догматически, евреи внеисторический народ — основной ствол человечества, его онтология — Евангелие от Луки в обратной генеалогии возводит евреев к Адаму. Разумеется, если речь о родословии веры — не просто о крови... Но если взять и историческую точку зрения — с Авраама, то и тут нет никакого противоречия, ибо нам дано Откровение о Боговоплощении Христа — по человечеству иудея, Сына Давидова. Этот народ существует тысячи и тысячи лет, а где другие — греки, римляне, вавилоняне? Народ поклоняется Единому Богу, из рук Которого он получил Закон, сохранил Книгу, заключающую в себе этот Закон, во всех превратностях своей истории. Как это произошло и стало возможным? Почему именно этот народ, не другой — всего лишь по произволу, прихоти, или потому что он лучше прочих?.. Если вы будете внимательно читать Библию, то увидите одну странность — эта Книга, которую евреи тысячелетия с таким трудом сохраняли, их же самих бесконечно

обличает, причем с такой огненной яростью, никакому антисемиту и не приснится. Им предсказаны самые страшные беды и испытания — и не просто как результат стихийных бедствий, но за их собственные пороки и преступления перед Законом. Об этом говорится беспощадно, страстно и подробно. Зачем они хранили эту Книгу, выставившую их, мягко говоря, в таком неприглядном свете? А потому, что кроме проклятий и разоблачений там есть и другое: непререкаемое свидетельство избранничества. Кроме того, Книга написана не просто, вернее, ее простота не всем доступна, и желающий может прочитывать ее как хочет... Понимаете? Зачем соблюдать Закон — все равно сбудется. словно не Бог избрал их для Своего Замысла, а они сами стали народом избранным, и им остается лишь дожидаться обещанного. Потому страшные пророчества и сбылись, что народ не захотел их услышать, ими пренебрег; Библия, как и было предсказано, осталась для евреев Книгой запечатанной. Но именно поэтому они Ее и сохранили: увидели в ней всего лишь Обетование о своей исключительности и примитивно-земно понятое предсказание о своем могуществе. Господь знал, что так будет, в силу чувственности и плотскости они ничего другого не увидят в чудесах, сопровождавших их историю. Они так были в этом уверены, что не заметили Мессию, о Котором Господь через пророков их бесконечно предупреждал. Библия и сегодня для них запечатанная Книга. Бог потому их и избрал, что Ему все было о них известно, их непонимание и сохранило Завет, они и в рассеянии остались Ему верными, понесли всему человечеству, ожидая для себя чуда только здесь — на земле...

— То есть обманул их? — с недоумением спросил Лев Ильич.

— Почему? Разве им не был дан Закон, который следовало всего лишь соблюдать, и разве не явлены чудеса, свидетельствующие о непреложности обещанного в случае исполнения Закона? Разве они избрали себе Бога, а не Он их? «Вы будете Моим народом, а Я буду вашим Богом», — вот что сказал Господь. А потому следовало не требовать и ждать, а всего лишь исполнять Закон... Какой же обман, разве вы не видите — надежду? Он послал Сына Своего Единородного, о Котором предупреждал в этой Книге бесконечно — и о месте рождения, и о Его проповеди, и о том, как Он будет предан, оклеветан, замучен, даже о том, что Ему дадут желчь и уксус, проколят копьем, что Он воскреснет в третий день, сядет одесную Отца и все народы Ему поклонятся. Разве это обман, а не Замысел, не пророчество? Мессия, Которого они со всей своей страстью ждали, был для них всего лишь тем, кто явится их наградить, а не Тем, Кто возвестит через них Новый завет в с е м, призвав к покаянию и очищению. Но кроме того Замысел и в том, что если б столь страшный для них, а вернее — для их страстей смысл им открылся, они б не хранили Слова, если б они поняли и полюбили Мессию, их свидетельство не было б столь ценным, абсолютным. А то, что они распяли Спасителя и по с ю пору Его не признают, именно это и делает их свидетелями истинными, а пророчество безупречным.

— Но не кажется ли вам, — спросил Лев Ильич, он был потрясен, — что такое толкование делает Израиль всего лишь... инструментом, средством, но не целью?

— Не Израиль, — сказал Кирилл Сергеич. — Я, может быть, излишне горячо говорю, простите. Не Израиль, а евреев, не сумевших проникнуться духовным смыслом Обетования, стремящихся извлечь только выгоду из своей веры. Я бы гордился, будь я евреем, что принадлежу народу, среди которого явился Спаситель, рожденный еврейкой. В этом и есть трагическая антиномия истории избранного народа — единственная в своем роде. В нем всегда были отпавшие и истинно верующие, праведники, апостолы, понесшие благовестие всем языкам... Трагедия в том, что среди них всегда были гонимые, вплоть до погромов и газовых камер, и гонители — вплоть до воинствующего, ставшего властью атеизма... Вы говорите, средство — не цель? Чем же была Смерть на Кресте — разве не средством спасти человечество, человека, павшего еще в доисторические времена?.. Разве Господь не дал избранному народу свободу в выборе меж добром и злом — дал им Закон, но они им пренебрегли, дал им пророчества о Сыне Человеческом, но они Его распяли! Сам облик Того, Кто был Богом, Его жалкая жизнь и позорная смерть, путь, к которому Он звал, требующий оставить все, ради чего они жили и страдали, — все это настолько противоречило тому, что им, как они полагали, было обещано, что тут и сомнений не оставадно: «Распи! Распи Его!..» Вы говорите, мое толкование? Скорее это традиционное для христианина прочтение Откровения — и для католиков, и для современного православия...

— В чем же тайна? — спросил Лев Ильич.

— В том, что Обетование, данное Аврааму, сохраняет свою силу и по сей день, ибо родство евреев с Христом и Его Матерью, связь крови не может быть прервана — по слову апостола, если корень свят, то и ветви. Самое важное — непрерываемость избранничества, Израиль не только спасется, но спасается, потому что еврей постоянно приходит ко Христу. Это и есть святой остаток,

кто несет на себе тяжесть двойного креста — распинаемые за Христа и со Христом. Израиль спасется, и это невероятный процесс, с которым связаны пророчества о конце времен. Здесь тайна и здесь трагедия — помните Евангелие от Иоанна? «Бог Свет истинный, иже просвещает всякого человека грядущего в мир. В мире бы, и мир тем бысть, и мир Его не позна. Во своя прииде, и свои Его не прияша. Елице же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его: иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася...»

Лев Ильич поднял голову: они сидели на бульваре, в центре города, мимо торопливо шли по своим делам люди, над ними сияла луна, а в ушах звенели слова апостола: «В мире бы, и мир тем бысть, и мир Его не позна...»

Он схватил руку Кирилла Сергеевича и крепко, благодарно сжал ее.

## 13

Дверь редакции оказалась запертой, он позвонил. Таня ему открыла:

- Я знала, что вы придете!
- Работаете, бедняга?
- Работаю... А вас ждет товарищ!
- Какой товарищ?

В машбюро ярко горела лампа, было накурено, возле столика с машинкой сидел паренек — краснощекий, тонкошей, со смешным хохолком на макушке.

— Здравствуйте, Федя! — обрадовался Лев Ильич. — Вы меня извините, никак не мог раньше.

- Это вы меня извините, подумал, вдруг застану.
- Ну и отлично. Танюша, ты мне еще можешь одолжить — до завтра?

Они сидели втроем под яркой лампой. Таня за машинкой переключала бумажки, и Лев Ильич вдруг заметил, что она их складывает, раскладывает, а потом снова... «Что за нервность такая?» — удивился он.

— Я спросил отца Кирилла о тебе... — сказал Лев Ильич.

— Ой! — вскрикнула Таня.

— Сказал, что ты хотела бы с ним поговорить, у тебя нет духовного отца и ты не решаешься...

— Неудобно...

— Он человек умный, тонкий, лучше нас все понимает. Он спросил, где ты хочешь поговорить — в церкви или у него дома?

— В церкви, наверно, что же я домой пойду?

— Стыд какой, — брякнул Федя. — Я околесицу нес, а Таня, оказывается, в церкви... бывает.

— Ой! — засмеялась Таня. — Такой чудак...

— Это он тебя клеил — так, что ль, у вас это называется? — сказал Лев Ильич.

— Я к вам, Лев Ильич, собственно, по делу, — нахмурился Федя. — Вы не могли бы встретиться с одним моим знакомым?.. Он...

— С Костей? Я с ним навстречался...

— Почему с Костей? С Марком. Потрясающий человек. С обостренными гражданскими реакциями, обнаженная совесть — общественная... Деятель, одним словом. Он примерно ваш ровесник, что-то есть общее, в смысле искренности... Он, понимаете, не бессмысленный атеист, из тех, кто признает существование материи, но совершенно не знает, материальна ли сама материя.

— Ну а какую роль вы мне отводите?

— Поговорите с ним! Если сдвинуть такого человека...

— А что я ему скажу? Материальна ли материя — он сам в этом сомневается. Приведу доказательства бытия Божия? Он их не хуже моего знает. У каждого свой путь. Как рассказать о том, что чувствуешь сердцем, перевести в слова, когда каждое слово ложь? Мы на каждом шагу лжем. Я сейчас сколько раз солгал? Два, три? И то, что узнал вас сразу, а сам позабыл о вас, и то, что о Тане беспокоился, а сам сюда за деньгами прибежал — деньги мне нужны. А зачем? Зачем они мне — вечер, поздно, а завтра у нас зарплата? Затем, что я и сейчас лгу, хотя знаю точно, что сегодня сделаю, что не только нельзя делать, но чего и не хочу... Да и тут солгал — в каждом слове! Что не хочу, солгал: не хотел бы, не бежал сюда сломя голову...

— Лев Ильич, милый, что с вами, — Таня прижала руки к груди, — вы о чем?

— О чем?..

А действительно — о чем? О чем он все это время думал, когда шел с отцом Кириллом по бульварам, потрясенно слушал его на скамейке, луну над собой увидел и путь под ней?.. Слушать-то слушал, а в нем все время тот голос звучал: «Значит, придешь?..»

— Знаете,— сказал он,— я ничего с утра не ел — чашку кофе выпил в одном хорошем месте, не к ночи будь помянуто. Может, мы что-нибудь сообразим?

— Давайте чай, у меня баранки!

— Какой чай-баранки! Сидите, я мигом...— крикнул он уже из коридора.

Он только не понимал, почему оттягивает, если знал с того самого мгновения, как услышал ее голос в трубке, да нет, раньше знал, и даже не когда Маша давала ему телефон, а как только Игорь сказал, что кто-то его разыскивает. Вот с того самого момента он знал, как и что с ним будет...

Портфель он забыл в редакции, по дороге у него все валялось из рук... Таня убрала машинку, чайник стоял на столе, он вывалил две банки консервов, копченую треску, яблоки, хлеб, вытащил из кармана бутылку.

— А это для тебя,— положил перед Таней кулек с трюфелями.

Они выдвинули столик на середину комнаты, сидели под яркой лампой, Лев Ильич давно не был таким возбужденным, острил, смеялся над своими остротами.

— Сидим? — поднял стакан Лев Ильич.— Я хочу странный тост произнести, серьезный. Не за женщину, сидящую среди нас, хотя и следовало бы — не только в традиции, но и по делу. Эх, Федя, рассказать бы вам, что мне открылось в Тане, какая душа из этих современных глаз глядит, ежели туда посмотреть. Да не так, как мы женщине смотрим в глаза, а как на человека положено глядеть — как мы на икону смотрим, потому как человек и есть храм Божий...

Они оба с удивлением смотрели на него.

— Помните, Федя, разговор у отца Кирилла, который вы затеяли? Вечный, проклятый, карамазовский вопрос, на чем русские мальчики себя потеряли, а через сто лет снова себя нашли. Как бы, однако, опять не потерять?..

— Лев Ильич, давайте за вас выпьем,— сказала Таня.— Я вижу, вам плохо, вы... какой-то потерянный.

Лев Ильич как бы споткнулся, замолк и к себе прислушался — тихонько в нем что-то позвякивало.

— Что ты, Танюша, я никак выразить не могу, сбиваюсь, мы лучше за Федю выпьем. Очень рад, что вы познакомились и со мной согласились выпить. За вас, Федя, чтоб вам найти свой путь. У меня едва ли получится — поздно.— И он с жадностью проглотил водку.

Оба они были смущены его горячностью.

— Вы меня странно трактуете,— сказал Федя.— Я совсем о другом думал и спрашивал. На этот вопрос вообще не нужно отвечать, потому что если ответить, то и христианства никакого нет, если, конечно, христианство воспринимать всерьез, а не как умственную гимнастику или ощущения после сытного обеда.

«Кабы мне так в его нежном возрасте...» — подумал Лев Ильич.

— Может быть, я и заблуждаюсь,— продолжал Федя,— я это абстрактно понимаю, а в церковь идти у меня духу нет, но я понял: не может быть благополучия не только в жизни, но и в душе не может быть никакого комфорта. Крутом страдания — их не отнимешь. Но веру они не отрицают и не способны отрицать, только раскрывают ее глубже, их надо на себя брать. Потому я и хочу, чтоб вы поговорили с Марком, я ему никак не могу объяснить, он считает, что нужно освободить человека от страданий, но разве это возможно?

— Через чужие страдания почему бы не шагать...— сказал Лев Ильич.— Красиво говорите, Федя, но я, простите, не девушка. Как вы чужие страдания возьмете на себя, ее, скажем, замуж? А когда азарт пройдет?.. За столом говорить — недорого стоит, надо жизнью право заработать.

— Немного вы все заработали, я ваше поколение имею в виду,— разозлился Федя.— Десятки стреляете. Я не про деньги, в принципе. По мне, лучше право юности, оно чище, повыше сомнительного права житейской мудрости, замешанного на лжи, которое почему-то называют опытом, а потом плачутся на седину.

— Крепко,— сказал Лев Ильич,— поделом, хотя мог бы с вами и поспорить. Но рассуждения никого не убедят, пока лоб не расшибешь. Я лучше с другого конца к вам подъеду.— Он налил водку себе, а потом Федю и Таню.— Я так и не смог сформулировать свой тост, верно вы сказали, себя пожалел. Не в страдании тут дело, а в том, что в каждом из нас живет скотина...

— Так я же не о том...

— В человеке есть тайна, никакая, конечно, не материальная, тайна, которой названия я не знаю. Есть, на себе проверил. Та самая, из-за которой я все время лгу — не другим, это пустяки, распушенность, о чем тут говорить — выгони лгуна за порог или пожалей, как Таня, и все дела. Но почему человек себе лжет? Все понимает, а лжет — и не раз, не два, ему разъяснено, знает, что плохо будет, а все равно соврет, причем самым подлым образом. Дьявол это, что ли...

У Тани в глазах стояли слезы, но Лев Ильич не остановился: полезно, пусть задумается, а то снова обожжется...



— Такая история о тайне, может, не объясняет, но о ней несомненно свидетельствует. Современная история. Был такой человек, жил во Франции: огромной учености, таланта, обаяния, праведности. Один из крупнейших современных католических богословов. Трижды монах: католический священник, монах, член ордена Иисуса. Кардинал К. Ему дали кардинальскую шапку гонорис кауза в силу его особенного благочестия и заслуг. Или как-то еще, не знаю. Он, и став кардиналом, не изменил образ жизни: кафедры не занял, молился, работал, жил один. Замечательный человек, блестящий писатель. И вот сенсационное сообщение — он уже глубокий старик, желтая и красная пресса безумствуют: кардинал К. завершил жизненный путь на чердаке, в мансарде по-ихнему, — в постели проститутки.

— Господи, что ж он с собой сделал, зачем? — вскричала Таня.

— Ага! — подхватил Лев Ильич. — Вот она, православная реакция! Дай, Таня, я тебе ручку поцелую... В том-то и дело — зачем?.. Может, вранье, желтая клевета, хотя Ватикан не опроверг сообщения. Но если вообразить, что правда? Неужто он всю жизнь об этом думал, страдал — и когда молился, и когда сочинял богословие, и когда служил в храме? А может, и не знал, что в нем живет эта мысль, тихонько зреет, прорастает? А может, дьявол еще на чем-то его поймал?.. Вот где тайна жизни, не доступная никаким рассуждениям. А вы говорите — через чужие страдания, брать их на себя... Человек так способен повернуться, что и во сне не приснится.

— Я никак не услезу за вашей мыслью, — с недоумением сказал Федя. — Что же, выходит, христианство — это всего лишь, ну не оправдание, так объяснение пакости, жиющей в нас?..

Лев Ильич не успел ответить, отворилась дверь, всунулась старушонка в платочке, с желтым лицом, узкие щелочки глаз шарили по комнате.

— Дверь внизу нараспахку, а тут вон оно что... — сказала она, поджав губы.

— Ксения Федоровна, присоединяйтесь, вас-то нам и не хватало! — крикнул Лев Ильич.

— Мне к вам словно бы незачем. Я на посту. А Таня зачем?

— Я ей материал диктую, — сказал Лев Ильич, — уморил бедняжку, затеяли перекусить.

— Вижу, чего ты затеял, я давно за тобой наблюдаю.-- Она остро глянула на стол сквозь свои щелочки, за которые редакционный курьер — веселый, заполошный малый — прозвал ее «совой», и прикрыла дверь.

— Ой! Лев Ильич, будут неприятности, — охнула Таня. — Завтра же Крону доложит, он и так на вас...

— Пес с ним, с Кроном, — сказал Лев Ильич, — что ж я, на свои или на твои деньги не имею права...

Ему вдруг стало спокойно, уверенно — просто. Он почему-то вспомнил Ивана, когда тот стоял против него и глядел в глаза, сняв с себя камень, который таскал шестнадцать лет. Позвякивание, что он ощутил в себе, налилось звоном — кремнистая дорога позванивала под ногами или, может быть, звезды звенели, что высыпали, освещали ему путь?.. Он увидел себя бредущим этой дорогой со всем, что в нем было, что он теперь с беспощадной ясностью называл в себе. Но он не ужаснулся, он понял неизбежность такого пути.

Он встал и посмотрел на них радостно и счастливо.

— Оно совсем не в том, Федя, христианство, не в объяснении, и конечно, не в оправдании пакости человека. А в том, что человек выходит в путь с невыразимым грузом грехов и слабостей. Он их раньше не знал и не видел, не понимал в себе, а здесь, под этими звездами, на этой неисповедимой дороге — все обнажается. Это и есть мой крест, как я его понимаю, чудовишный груз, накопленный чуть не за полвека, да еще и до меня. Я бы и не мог переродиться мгновенно, долгий путь, в котором, колья выдержу, буду сбрасывать и сбрасывать со своих плеч всю эту мерзость. И оставленная, брошенная на обочине, она станет свидетельством подлинности, несомненности пути, свидетельством для одних и, конечно, соблазном для других. Но только так и должно быть: кто верит — поймет, а кто не верит — все равно не поймет. Сам верь и тогда увидишь, что каждое испытание на благо. Не собьешься. И ничего не надо бояться — иди себе и от радости не отказывайся...

— Какой вы неожиданный человек, — сказал Федя. — Мне трудно вас понять.

Ему открыла дверь высокая женщина в алой кофте, жгучая брюнетка с намазанными яркими губами и большими, как бусины на ее груди, чуть навькате, темными, мерцающими в полутьме коридора глазами. Где-то он видел ее, но вспомнить не мог, че был знаком, но где-то непременно встречались ему и эти глаза, и тубы, и бусы на

высокой груди — как не запомнить. Звонко затявкала собачонка — длинноухий спаниель, белый, в рыжих пятнах, с весело дрожащим обрубок хвоста.

— А вы Лев Ильич, — сказала женщина. — Марфа, нельзя! Не съешь мужчину.

— А вы... — начал Лев Ильич и замолчал, попался.

— Слышишь, Веруш, какие пошлы мужчины? Приходит в дом к женщине, когда добрые люди давно спят, а имя позабыл, а то и не спрашивал — разве им имя от нас нужно? — Она легко повернулась, подняла руку, широкий рукав кофты упал до плеча, и щелкнула выключателем.

Коридор наполнился мягким светом, вспыхнули бусы, глаза и серьги в маленьких розовых ушах женщины, иконы, занимавшие весь простенок между дверьми от пола до потолка — отлично отреставрированные, как в музее, ослепительно красивые, подле них небрежно брошенные на инкрустированный перламутром столик меховое пальто, шапки... В дверях комнаты стояла Вера — худенькая рядом с этой женщиной, в джинсах, черном свитере под горло, бледное скуластое лицо, гладко зачесанные волосы, открытый ясный лоб, грустные глаза, морщинка между светлых бровей косо рассекла переносицу — Лев Ильич прежде не видел эту морщинку. Он смотрел на нее словно впервые, она была совсем не такой, какую он думал сейчас встретить, к которой бежал с самого утра, придумывая новые и новые препятствия по дороге. Он тут же подумал, что, может быть, она кажется другой, потому что и дом, в который он попал, оказался совсем не тем, и встреча их виделась ему не такой, и что он, в сущности, ничего о ней не знает...

— Здравствуй, Верочка, — сказал Лев Ильич, стянул с головы кепку и шагнул к ней, пытаясь выделить ее, отстранить от совершенно ненужного ему дома и женщины в алой кофте.

— Спасибо, что пришел, — сказала Вера и поцеловала его, едва коснувшись нежными губами. — Я на тебе выиграла бутылку джина: Юдифь сказала, что ты не придешь, а я знала, что тебя увижу.

— Неравный спор, — засмеялась Юдифь, — я вас видела только издалека, а Веруше повезло больше. Но поскольку я и не надеялась выиграть, то все в выигрыше. — Особенно я, — поклонился Лев Ильич, — хотя у меня странное ощущение лошади, на которую делают ставки.

Вера покраснела.

— Чудак-человек, я загадала...

— Прекрасный разговор! — смеялась Юдифь. — Раздевайтесь, Лев Ильич, проходите в комнату, а я вам сейчас овса подсыплю. Или больше чем на сено вы не рассчитывали?

— Совсем на другое рассчитывал, — искренне сказал Лев Ильич. — Овса я точно не стою.

Он двинулся вслед за Верой в комнату, под стать передней: картины в золоченых рамках, тяжелая, из серого бархата с кистями, штора, инкрустированный столик, обитые серым бархатом кресла изогнули спинки, такой же диванчик, изукрашенный комод с бронзовыми часами... Собачонка прыгнула на диванчик и, покрутившись, улеглась на сером бархате, свесив рыжие уши.

— Кто это? — спросил Лев Ильич.

— Моя приятельница, хорошая, своя баба. Она из твоего профсоюза — в журналах печатается, по искусству — Юдифь Эппель.

— Эппель? — вздрогнул Лев Ильич.

— Ты должен ее знать, у вас общие друзья, она в университете преподает, профессор.

— Не знаю. Сегодня я слышал эту фамилию. Там была не та... Эппель. И профсоюз не тот.} И история другая.

— А тут нет никакой истории. Ее муж работает вместе с Лепендиным, а сейчас за границей на конгрессе, куда Лепендина, если б он и захотел, не пустили бы. Теперь-то что... А с этим все нормально.

— Несомненно нормально.

— Ты про это? — она кивнула на мебель. — Они такие сумасшедшие любители — всю жизнь собирают, меняют, продают, а это совсем свежая. Есть какой-то закрытый магазин, или склад, куда попадают вещи уехавших евреев — с таможни, еще как-то. Если какие придирки, люди все бросают. А у нее связи...

Лев Ильич смотрел на Веру во все глаза: она говорила спокойно, просто информировала Льва Ильича о хобби своей милой приятельницы, и Лев Ильич подумал, что дело, наверно, даже не в точке отсчета, а в каком-то ином знании, которое ему не открыто, — есть ли у него право возмущаться? За эти дни он достаточно получил уроков, перестал себе доверять. Все было так, но садиться в эти кресла ему почему-то не хотелось.

Вошла Юдифь, толкая перед собой стеклянный столик на колесиках, а на нем бутылки, закуски, фрукты.

— Вот вам и овес, — она ослепительно улыбнулась; поверх кофты на ней был кокетливый фартучек, туго облежавший крутые бедра, затянутые в черные брюки. — А как вам мое стойло? Между прочим, «Людовик Пятнадцатый», рококо, видите? Нет уже пышности предшествующей эпохи — барокко Людовика Четырнадцатого, нет тяжеловесности стиля «Буль», смотрите, какая вычурность и грациозность!

— Прекрасно, — бормотнул Лев Ильич.

— И что особенно характерно, — продолжала Юдифь, — полное отсутствие прямых линий, все углы округлы, все ножки изогнуты... А диван? Золоченое дерево. Скорей это двухместная козетка, а по бокам два кресла. Какие подлокотники — чувствуете?.. Приглядитесь к комоду — часы настоящие, хотя и не работают, руки не доходят, — того же времени. А китайский лак, а пейзаж с пагодами?.. Ящички выдвигаются — смотрите, как неожиданно разрезается композиция! Столик декоративный — видите, как инкрустирована доска? — но вполне может служить для дела, как, впрочем, и диванчик. А бронзовые завитки на ножках?.. Обивку пришлось сменить, а гобелен был великолепный — гирлянды цветов в корзинах, пастушки, но так их высидели! Серый бархат, по-моему, удачно?

«Все-таки после реставрации...» — успокоился Лев Ильич.

— Очаровательно. А сеть можно?

— Даже лечь, испробовано, — тонко улыбнулась Юдифь. — Вы не в музее, я к вещам отношусь вполне утилитарно, хотя, как видите, с известной долей эстетизма. Во всяком случае, больше смысла, чем коллекционировать этикетки от бутылок или денежные купюры — кстати, ненамного дороже... Вы обычно — с тоником?.. А может, вы есть хотите, сознавайтесь? Давайте шей? Такой мужчина, как вы, в любое время готов съесть тарелку шей.

— Спасибо. Не будем нарушать стиля — какие щи на мебели Людовика Пятнадцатого? Я против эклектики.

— Браво! А вы мне нравитесь! Жаль, что я на вас смотрела издалека. Еще не все потеряно, вот она скоро...

— Перестань, Юди, — резко оборвала ее Вера, — не надо об этом.

Лев Ильич удивленно взглянул на нее: у Веры потемнели глаза, резко обозначилась морщинка на переносице.

— Пардон. Прошу вас, поухаживайте за несчастными дамами. Рекомендую с тоником.

— Спасибо. Я по рабоче-крестьянски, — Лев Ильич наполнил хрустальный бокал джином — что ему оставалось, как не пить. Эх, не так, не так все у него выходило!

— Какова выдержка! Или воспитание? — болтала Юдифь. — Хотя бы удивился человек — пьет джин, предлагают тоник, и ни единого вопроса: откуда, почему? Или вы ежедневно джин?

— Действительно, — спросил Лев Ильич, — почему и откуда?

— Благодарю, напросилась. Знали такого кинорежиссера-документалиста Х? Очаровательный человек, умница, ходу ему настоящего не было, пришлось уехать.

— Он в Израиле?

— С какой стати! В Лондоне, пока не устроен, но масса предложений, покупает дом в чудном месте, кое-что вывез, пишет очаровательные письма — веселые, блестящие. Я думаю, цензура только отгачивает остроумие таких людей, верно, Веруш?.. Правда, Георгий едва ли к нему заедет — мой муж сейчас в Англии на конгрессе, он человек осторожный, хотя невероятно обидно! Представляете, двадцатилетние друзья, еще со школы — быть в одном городе и не увидеться! Мы с Георгием говорили об этом, я ему сказала: а если ночью, в матросском кабачке, за бутылкой рома — случайная встреча? Он мне ответил, что там в каждой таверне кабатчик — лейтенант ГБ. Может это быть?

— Едва ли, — сказал Лев Ильич, — я б скорей поверил про спикера палаты лордов, чем про кабатчика — джин слишком хорош для этого. А впрочем...

— То-то, что впрочем. Я считаю, мы должны быть ответственны, полоса умеренного либерализма, которую мы переживаем, требует с нашей стороны поддержки — зачем дразнить гусей? Могли бы вы представить себе такой вечер в нашей юности — и себя боялись, а сейчас говорите что в голову взбредет. И есть чем гостя, хоть и позднего, встретить и на что усадить.

— Убедительно, — сказал Лев Ильич. — А называется «умеренный либерализм»?

— Мое определение, — скромно сказала Юдифь. — Продолжим о джине. Чтоб очаровательное письмо не показалось ностальгическим смехом сквозь невидимые миру слезы, наш приятель сдобрил его не менее очаровательной посылкой. Между прочим, любопытно с психологической точки зрения. И не только с психологической. — Юдифь раскраснелась, ее глаза сверкали. — Вы способны к серьезному разговору?

— Сделаю попытку, — учтиво поклонился Лев Ильич.

— Попробуйте объяснить такой парадокс. Эмигрантка Цветаева пропадала в Париже от голода и ностальгии, ее письма печальное свидетельство. Но не прошло и полвека, а новая эмиграция посылает нам джин и блещет остроумием! Чем вы это объясните?

— Я думаю, прежде всего разницей между Цветаевой и новой эмиграцией. Или, чтоб быть точным, между Цветаевой и вашим корреспондентом.

— Если не хотите задуматься... Не кажется ли вам, что изменилась вся ситуация — и здесь, и там, что мир стал другим и мы уже не те? Нет России, по которой так красиво убивалась Цветаева, а наш образ жизни, — она со спокойной гордостью окинула прекрасными глазами комнату, — стремительно сближается с западным. Корни ностальгии вырваны, из чего ей возникать, о чем плакать и на что жаловаться?

— Это ваша точка зрения или вы трактуете своего корреспондента?

— Я объясняю принципиально новую ситуацию. Только не говорите, что кто-то еще живет в коммунальной квартире, а кого-то посадили или не взяли на работу. Не все живут в коммунальной квартире.

— Не все, — согласился Лев Ильич. — И не всех посадили.

— Вы напрасно иронизируете. — Юдифь сама налила себе джин, позабыв про тоник. — Прошло всего два десятилетия, раньше действительно все жили в коммуналках и все сидели, а кто не сидел — могли взять в любую минуту... Давайте говорить по чести: сегодня-то берут за дело — не за анекдот или по анонимкам, такого нет? Вы хотите, чтоб за два десятилетия у нас Гайд-парк был, да и нужен ли он в этой стране, тоже еще вопрос.

— Юди, с кем ты споришь? — спросила Вера. — Тебе никто не возражает.

— Я твоего приятеля насквозь вижу. Вы, наверно, из тех критиканов, которым все плохо: не выпускают евреев — антисемитизм, и выпускают — антисемитизм. Сажают — произвол, и не сажают — произвол. Кого-то, мол, посадили! И машин ни у кого не было — плохо, а теперь у каждого третьего «Жигули» — все равно плохо, «Жигули» не «мерседес». И...

— Нет, — перебил Лев Ильич, — я не из тех. Я другой.

— Тогда из тех евреев, которые хотят хлебнуть того рая, где у всех доллары и можно не работать?

— Я из других евреев, — кротко ответил Лев Ильич.

— Ну что ты к нему пристала, Юди? — повторила Вера. — В конце концов он ко мне пришел.

— Пардон. Сейчас я вас оставлю, воркуйте. Не обращайтесь на меня внимания, Лев Ильич, я не с вами полемизирую. У меня много оппонентов, хамов, о которых я говорю, — до чего надоело их ныть! Вы были на Западе?

— Нет, — ответил Лев Ильич, — Таллин моя крайняя западная точка.

— Очаровательный город. Как сказал один остроумный человек: за граница, только деньги наши. А я была в Париже, в Италии, в круизе. Мило и красиво. Но какая там грязь: в аэровокзалах курят и бросают сигареты на пол, сама видела! Омерзительные эмигрантские листки, в которых печатаются наши сбжавшие гении... Да это, если хотите, просто безнравственно — сыпать соль на наши только-только зажившие раны. Вы понимаете, о ком я говорю?

— Догадываюсь.

— Я думаю, мы кой-кому на Западе можем дать сто очков вперед. У них каждый может жить по-человечески, а устроить себе сносное существование в нашей мерзости, — она опять взглянула на свою мебель, — и остаться при этом человеком — пусть попробуют!.. Народ у нас правда омерзительный — блюдо. Да и вся страна ему под стать.

— Своеобразный у вас патриотизм, — сказал Лев Ильич. — Впрочем, это не патриотизм — мировоззрение.

— Какое ж, по-вашему, у меня мировоззрение?

— «Людовик Пятнадцатый», — сказал Лев Ильич и налил себе полный бокал джина.

Юдифь встала.

— Вострый у тебя мужичок, Веруша, как надоест или куда уедешь, оставь адрес. Я его чуть причешу — все бабы от зависти поумирают. Ладно, пошла, желаю приятных мгновений. Завтра не буди — до одиннадцати буду спать.

Она вышла, блеснув глазами на Льва Ильича. Но тут же снова распахнула дверь:

— Лев Ильич, вы завтра свободны?

— Завтра?..

— Завтра, в пятницу вечером?

— Н-не знаю, как будто...

— Делаю вам официальное заявление. Прошу завтра вечером ко мне. Можете без смокинга. Имеет быть небольшое суаре. Отказов не принимаю.

Она вышла, на этот раз совсем.

Вера сидела на диванчике, черный свитер резко выделялся на сером бархате обивки, курила, глубоко затягиваясь. Сидела спокойно, легко, так привычно откинувшись на серую спинку, будто была здесь не случайно, и эта комната с ее идеологизированным мардерством могла быть и ее — а может, и у нее такая же, ну не «Людовик XV», так «чаппендейль»? «Но разве красивая мебель — это плохо? — спросил себя Лев Ильич и ответил: — Конечно нет, но это не мебель, а мировоззрение».

— Она очень хорошая баба, — сказала Вера, — верный товарищ, с ней просто. А я теперь ценю людей по тому, насколько они легко идут навстречу — сами предлагают деньги, комнату — безо всякого любопытства и лживого сочувствия...

Лев Ильич молчал. Он был несказанно благодарен ей за то, что она поняла его, защищает себя от него, а значит, права была его память, а не то, что ему здесь увиделось. Он подумал, что, может быть, осведомленность о ее жизни, которую он представлял себе так приблизительно, ему на самом деле совсем не нужна — что она способна прибавить к его знанию, которое ему дороже всего? Когда встречаешься с женщиной, прожившей без тебя целую жизнь, следует верить ей или нет, всякая попытка узнать правду помимо той, что она тебе сочла нужным открыть, непременно разрушит с таким трудом сооруженное или вдруг возникшее перед тобой здание, любопытство здесь безрассудно и безответственно, если оно не мальчишество или не пошлость...

— Но я хотела тебя видеть совсем не для того, чтоб знакомить со своей подругой, а потом ее тебе объяснить. Ты где жил это время — я и домой тебе звонила, и на работу?

— Нигде, — сказал Лев Ильич. — У меня столько было за эти дни — каждый день как десять лет. Как твой мальчик, выздоровел?

Вера посмотрела на него с благодарностью:

— Да, все хорошо.

Лев Ильич чувствовал, что она никак не решится начать разговор, ради которого, по всей вероятности, он был ей нужен, но поскольку и представить себе не мог, о чем она собиралась с ним говорить, то и не знал, как ей помочь. Он понял — и не разумом даже, не чувством, а особым знанием, дающимся опытом, еще в тот момент, как вошел в эту квартиру, что случилось что-то исключавшее саму возможность того, что вело его сегодня с самого утра. И не в роскошной мебели было дело, не в самонадеянно-пошлой болтовне хозяйки, — он понял это, когда Вера поцеловала его. Не нежность это была, а поглощенность какой-то затаенной мыслью, которую она и сейчас не решалась высказать.

— Я могу тебе чем-то помочь? — спросил он.

Вера вздрогнула и посмотрела ему прямо в глаза. И тут он впервые за этот вечер увидел ту самую женщину, которую встретил в поезде, к которой бросился, забыв обо всем после своего ночного кошмара, и не ошибся, потому что именно она взяла его за руку и привела к тому, что перевернуло всю его жизнь.

— Не знаю... Я ведь затем и хотела тебя видеть. Кроме того, что хотела... — сказала она, все так же напряженно в него глядя. — Не знаю. Мне нужны не деньги, не комната — это я и у Юдифи всегда могу получить. У меня и без того есть. И деньги я зарабатываю, и квартира...

— Может, поэтому она так легко тебе помогает?

— Может быть... Нет, перестань — она хорошая баба... Спаси меня, Лев Ильич...

Она попросила его об этом с такой безнадежностью, очевидно настолько убежденная, что сделать ничего нельзя, и даже не вопрос и не то, как это было произнесено, а сама она, глянувшая на него с такой откровенной безысходностью, настолько не соответствовали это комнате, еще звучавшему в ней нелепому разговору с хозяйкой, что Лев Ильич вздрогнул, поднялся, сел подле нее на диванчик, сбросил собачонку на пол и обнял ее.

— Что с тобой, Верочка, я ничего про тебя не знаю, кроме того, что ты мне говорила, — от чего тебя спасать? Рассчитывай на меня во всем и до конца...

Он тут же пожалел о последних словах, они были неправдой, а лгать ей было нельзя; ну было ли ей хоть какое-то место в том, что открылось ему сегодня, или он будет готов отказаться ради нее от единственной дороги под звездами? «А для чего ты сюда прибежал, зачем так торопился под этими звездами?..» Ему показалось, она его поняла, почувствовала фальшь и неуверенность. Она мягко отстранилась и закурила еще одну сигарету.

— А я совсем про тебя ничего не знаю. Ты мне и того, что я тебе, не сказал. А я должна решиться. Завтра, нет, в понедельник последний срок.

— Что решать, Верочка? Какой срок?.. — с недоумением смотрел на нее Лев Ильич.

— Скажи мне, — спросила Вера, — как ты думаешь: Цветаева, окажись она сегодня в Париже или Лондоне, какие бы она писала письма — те же, что в тридцатые годы, или такие, как приятель моей Юди?..

Как же так, думал Лев Ильич, вглядываясь в ее побледневшее лицо и полные чужой ему заботы глаза, разделенные резкой морщинкой, как могло получиться, что именно эта женщина привела его ко Христу, или он опять начинает судить, полагая свою тайную мысль о другом способной другого объяснить, свидетельствуя и здесь только о себе?..

— Ну о чем ты спрашиваешь, — сказал он, — разве ты не слышишь ответа в самом этом вопросе?

Она взглянула на него еще раз, и ему показалось, он видит уходящую, исчезающую из ее глаз надежду на что-то, что он так и не смог понять.

— Налей мне этой гадости, — попросила Вера.

— Батюшки! — глянул он на часы. — Ты знаешь, сколько времени?

— Можешь остаться, — безразлично сказала Вера. — Юдифь в этом не сомневалась.

— Юдифь? — переспросил он, как бы впервые услышав имя, пробуя его на вкус. — Какое странное имя — Юдифь...

И он внезапно понял, оно-то и мучило его с самого начала, как только он его услышал, войдя в переднюю, когда вокруг еще крутилась собачонка с рыжими ушами, в золотых пятнах, как с картины Веласкеса, и он вешал пальто возле неправдоподобно красивых икон, смотрел на потухшую Веру, не решавшуюся его о чем-то спросить, хотя это было так для нее важно... И по какой-то дальней, непостижимой ему сразу ассоциации он вспомнил ее рассказ об отце, залитом кровью только что застреленного ее деда...

Все, что случилось с ним за эти дни, начиная с похорон дяди Яши, ожило перед его глазами, завязалось узлом, труба зазвенела, кони зацокали копытами по булыжнику мостовой — вот где его начало, подумал было Лев Ильич с печалью и тихим восторгом. «Э, нет...» — усмехнулось в нем что-то, тебе так хочется, поищи-ка в другом месте, оттуда услышишь трубу, коль еще будет охота, если ее не заглушит... «А что может ее заглушить?..» — спрашивал он себя с напряжением и услышал, как сначала тихо-тихо, а потом все громче забренчал в нем старенький, разбитый роуль. «Что это?» — подумал он со страхом. «Узнал?..» — спросил его тот же смехок...

— Слушай, Верочка, хочешь, я расскажу о себе, как ты, — помнишь?.. Ну что с тобой?!

— Валяй, — кивнула Вера. — Прекрасная будет ночь, во всяком случае, для Юдифи неожиданная. Сварить кофе?

— Хорошо бы. Джин меня не берет, наверно, оттого, что выпил перед тем.

Уехал стеклянный столик на колесах с закусками и бутылками, Вера принесла кофейник, красивые чашки.

— А может, еще джину — там осталось?

— Постой! — вспомнил Лев Ильич. — Я притащил водку, конфет для тебя — из головы вон!

Он растелил газетку на столике Людовика XV, выставил бутылку водки, развернул копченую треску и высыпал пакет с трюфелями.

Вера подняла на него глаза полные слез.

— Все пропало, — повторила она, — все-все пропало...

— Да о чем ты, Верочка? Смотри, как хорошо! Бог с ними, с этими креслами — если б на них нельзя было сидеть, а то не все ль равно?

Но было не все равно, и он это прекрасно понимал.

— Как красиво, — сказал он, глядя на странные фигуры, пытаясь понять сюжет висевшей над диванчиком картины в глубокой золотой раме. — Уж не Ватто ли, чтоб стиль соблюдать?

— Едва ли, — не глядя ответила Вера, — на Ватто даже у нее не хватило бы пороуху.

— Как это поразительно не имеет ни к чему отношения, — подумал вслух Лев Ильич, — хотя сидеть удобно, глядеть приятно, а пить вкусно — неправда, что джин гадость, отличный напиток. Только зачем?

— Ты не поймешь, тут нужны другие мозги. Но когда это уже есть, не откажешься и хочется еще лучше.

— Как лучше? — не понял Лев Ильич.

— Ты разве не находишь, что этот, ну, скажем, Ватто и бархат придают особый эффект твоей копченой треске на газете, а если бы это был наш нормальный ужин, мы затосковали и я бы вспомнила, что ты загубил мне жизнь...

— Эффект? — вздрогнул Лев Ильич. — Не нахожу. Я люблю треску. А газету я подстелил, чтоб не испачкать стол. Ты издеваешься надо мной?

— Я над собой... плачу, — непонятно сказала Вера и легко выпила. — Вот водку я люблю, даже такую — теплую. И на газете, и под Ватто. Валяй рассказывай, а то мы сейчас поругаемся. Это совсем будет глупо.

— Я обязательно должен самому себе рассказать — подперло. Не знаю... смогу ль уложить, тут... несоединимость... Или я на что-то надеюсь, страшно навсегда врать, смелости не хватает. Ты говоришь, что хочется лучше?..

— Это не я говорю, народная мудрость: про рыбу, которая ищет, где глубже...

Вера улеглась на диванчике — милая, домашняя, очень на месте здесь в своих джинсах.

— У меня совсем другая история, и чтоб понять, почему мы тем не менее встретились, у меня, конечно, мозгов не хватит. Но ведь главное, что мы встретились?

— «Встретились, встретились, встретились...» — пропела Вера, перевернувшись на спину. — Какой печальный глагол, почти как «расстались».

— Ты сегодня совсем другая... — сказал Лев Ильич.

— Так ведь и ты уже не такой. Ну, будешь рассказывать или давай водку пить?

— Знаешь, впервые я задумался обо всем этом, когда тебя услышал — про деда, о том, как его убили, о придуманной твоим отцом вине перед убийцами. Только в голове вконец потерявшегося человека могла возникнуть такая мысль. Я понимаю, всякое может быть покаяние, такое тоже, что говорить — каждый за всех, во всем и перед всеми виноват. Но придуманная твоим отцом вина — неправда, а правду о том, что произошло, никак выразить не в состоянии. У меня есть право говорить, потому что во мне так перемешалась еврейская кровь — безо всяких иных примесей: кровь благочестивых местечковых евреев, возводящих свой род к знаменитым, еще на памяти матери раввинам и цадикам, с кровью барышников, конокрадов, торговцев живым товаром, комиссаров — тех самых, о которых тебе рассказывал отец, первых советских партийных интеллигентов, взявшихся заново открывать и перделывать мир после того, как они сбросили с плеч кожанки и кинули наганы в ящики письменных столов. Я никогда об этом не говорил, даже, видишь, не думал, но моя пора пришла...

Лев Ильич поднял бокал, но передумал, не стал пить, прислушиваясь к тому, как пошленький мотивчик вырастал в нем, заглушая цокот копыт и звон трубы — дребезжащий старенький рояль гремел все громче; он ощутил запах пыли, которую подняли танцевавшие пары, запах дешевой пудры, духов, пота... Какой уж там Ватто и Людовик XV!

— Здесь поразительный феномен, очень многое способный объяснить в том, что у нас произошло за эти полвека, — сказал он, усилием воли отогнав наваждение. — Ну как объяснить огромный, никак не преувеличенный современным антисемитизмом процент евреев в русской революции? Начиная с народолюбия, они объяснились, но тогда единицы, вон и Достоевский заметил одного бесенка, а дальше — в начале века, а после первой революции, а в семнадцатом, в двадцатых годах — с самого низа, а больше наверху, на первых ролях? Самое простое социально-психологическое объяснение: развитие капитализма, демократизация страны, разрушение национальных перегородок, черты оседлости — как пар в пробитом пулей паровозном котле, ну и энергия, темперамент, все слабости и пороки вместе: честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, комплекс униженности, неполноценности... И это на фоне русской неповоротливости, добродушного к собственной жизни пренебрежения, лености мысли и поступков, — ну как не проиграть такой марафон!

— А не заносит тебя? — повернулась к нему Вера. — Не кажется, что твои обобщения дурно пахнут?

— Не кажется, — отрубил Лев Ильич. — Нанюхался, не боюсь. Ты представь этих кучерявых мальчиков, вырвавшихся из пропахших селедкой и нищетой местечек, сбивших пейсы, оплеванных, после недавних погромов, представь их перепоясанными пулеметными лентами, в коже, с алыми бантами, с маузером или шашкой в руке. Кто был ничем — тот стал всем! Это ли не питательная среда и ситуация для любого честолюбия? А ведь не на разбой они выходили, за униженных и оскорбленных, за обездоленных — романтика бандитизма, напоенная самым слезливым чело-векколюбием! И опять преимущество в марафоне: у этих мальчиков не было никакой укорененности, им ничего не стоило ломать все подряд — «до основания, а затем!» — они, что ли, строили или их деды?.. Знаю, знаю, и укоренные постарались, да разве я хочу сказать, что русская революция со всем ее ужасом до массового святотатства включительно — еврейское дело? Я тебе, а верней, себе пытаюсь объяснить еврейское участие в ней, твоего родителя хочу освободить от его несуществующей вины. Для русского человека революция была сродни оккупации — и чужие песни, и чужой флаг, и чужая философия, и уничтожение святынь, и латышские штыки. Да, русскими руками те храмы корезжили да поганили, но разве был референдум — как ты определишь массовость? Пример с Учредительным собранием такой показательный. Большевикам изначально была противопоставлена массовость, они тут же все бы проиграли. Я уже не говорю о том, на чьи деньги была сделана революция, — то, что не на русские, несомненно... Своей кровью платила Россия за чужие идеи. Для русского человека скорее характерно было некое оцепенение — отдал Россию русский человек, так будет верней и справедливей...

Да, не было более кровавой и страшной революции, при всей высоте веры преподобного Сергия и чистоте молитв преподобного Серафима — никто и никогда так чудовищно, как здесь, не кощунствовал и не надругался над собственными святынями. Но за тот иудин грех Россия сама ответит, если считать, что еще не ответила, что еще мало. Но для еврейских мальчиков никакой святыни тут и быть не могло. Пока те цепенели, эти все портфельчики порасхватали. И заметь, самые мерзкие кресла занимали юноши из благочестивых еврейских семейств. Попробуй возрази, когда тебе скажут, что в ЧК, ГПУ до НКВД включительно рябит от еврейских фамилий? Но это констатация, социально-психологическое объяснение. А ты задумывалась когда-нибудь о том, почему все-таки так легко еврейская молодежь кинулась в революцию — помимо комплекса мальчиков из местечек? Почему патриархальные евреи, курицу не способные резать — резника приглашавшие, так легко смирились с тем, что их сыновья становились кровавыми убийцами?.. Да потому, что социализм с им обещанным раем на земле, поразительно близок иудаизму, — здесь, при нашей жизни, для нас, не для всех, а только для нас. Не все ли равно, как мы себя назовем: пролетариями, большевиками или советскими гражданами? А остальные — подохните! Большевики, навсегда ушедшие из еврейского дома с его субботой и благочестием, никогда не почитались отступниками. Это крестившегося называли мешумедом — я уже по своему опыту знаю. А чекист, палач-изувер или преуспевающий в столице бонза — свой, родной сын, пусть он по субботникам камушки или бревна с места на место перетаскивает. А ведь кроме того, у вчерашних учеников хедера еще оголтелый атеизм, невежественный, злобный, до издевательства над Писанием, которое их предки таскали в Ковчеге Завета, тщательно хранили, а родители до сих пор перелистывают старыми руками, то самое Писание, которое и для выкреста Книга из книг. Но все равно, изуверам-невеждам приберегали кусочек пожирней: «Вы слышали, кем стал наш мальчик?» А выкресту... Ладно! Русский сионизм, давший мировому еврейству в начале века столько рыцарей и идеологов, заложивший фундамент сегодняшнего государства в Палестине, — захлебнулся, у нас его как не бывало. Какая Палестина, Иерусалим — синица в небе! — когда рядом, рукой подать — Петроград и Москва, реальный рай на земле, своими руками вдребезги разбитое, для себя приспособленное царство справедливости. Абстрактная еврейская мечта обрела плоть и вкус — кровь была реальностью... Ты говоришь, дурно пахнет, а какой еще может быть запах? Я только один факт напоминая, о котором все стыдливо умалчивают, — лес, мол, щепки, издержки революции, но такая в нем характерность, такое для всего последующего пророчество — такая слезинка, ничего другого не надо — в первый же год революции все стало очевидным...

Лев Ильич проглотил водку и залпом выпил остывший кофе.

— Жалко, Юдифь спит. Ты б ее потешил своими рассуждениями.

— Ты же говорила, она своя баба?

— Сомневаюсь, что вы с ней своими окажетесь, да и что-то трудно для тебя хоть кого-то подыскать. Разве родня...

— Погоди, сейчас я и до родни доберусь. Один факт из сотен, тысяч, миллионов фактов: убийство Государя Императора — обычный, естественный для революции акт — монарх-изменник, надежда и зная реставрации и интервенции. Англичане казнили короля, во Франции конвент поименным голосованием решал судьбу Капета. Но у нас не было казни, а было гнусное, трусливое убийство с предварительно продуманным издевательством, убийство всей семьи — жены, девочек, большого малолетнего сына, прислуги. Омерзительное сокрытие следов преступления, сжигание трупов... Кто проводил эту акцию, кто ею руководил в Екатеринбурге, кто всем этим дирижировал из центра, который якобы был поставлен перед фактом? Почему наши интеллигенты, евреи-гуманисты предпочитают молчать об этом, оскорбленно машут руками, называют антисемитизмом стремление раскрыть и проанализировать всего лишь историческую правду? Все-таки почему это сделал недоучившийся студент Яков Юровский, лично застреливший Государя, а не кто-нибудь другой? Почему общее руководство екатеринбургской акцией осуществлял председатель губкома, старый большевик Шая Голощекин, вместе с Юровским выполнивший разработанную Яковом Свердловым директиву, да и Екатеринбург назван Свердловском не в награду ли за этот подвиг? Случайность, совпадение? Здесь, как в фокусе, все и сошлось. Такого рода акции, а я убежден, что она стала пророчеством для всей нашей жизни, и осуществляются чужими руками, руками самых грязных наемников, для которых страна, по которой они гуляют, всего лишь территория и идеальное место для реализации честолюбия.

— Я не понимаю тебя, — с недоумением проговорила Вера. — Ты хочешь сказать, что Юровский был тем, кем он был, потому что... был евреем?

— Я хочу сказать только то, что говорю, пока я факт констатирую. Да, в том подвале были и русские солдаты, и латыши, и венгры — все их имена, как ни



старались скрыть, остались для истории. Они и стреляли, и штыками докалывали, потому что пули, к их ужасу, отскакивали от великих княжен, у них на груди были защиты драгоценности. Эти солдаты гоготали над ними, издевательски водили до ветру, а потом замывали кровь в подвале. Но именно Юровский разрабатывал дьявольскую операцию, докладывал о каждом шаге в губком и в Петроград, получал директивы и добро. Он выстрелил первый и убил Императора, державшего на руках сына. И когда мне говорят, что об этом не надо писать, что в такой стране, как Россия, с исконным якомбы в крови антисемитизмом, это вызовет его новую вспышку, — я этого понять не могу. Вот я о чем. Скрыть правду, запретить исследователю ее обнародовать — не сыпать соль на раны, как говорит твоя подруга? Но разве правда оттого, что ты ее скроешь, перестанет быть правдой? Значит, тебе она безразлична, лишь бы про нее другой не знал, и тогда ее как бы нет, можно спокойно пощипывать джин с тоником...

— Это ты о себе рассказываешь? — прервала его Вера.

— Прости, на другое сорвался. Зато теперь тебе все станет ясно. Главное, не бояться и себя не жалеть...

И Лев Ильич начал свою историю.

— Представь Москву: еще с булыжником, с извозчиками, первый этаж особнячка, маленькие комнатухи, раскаленные белые изразцы голландских печей, шкафы, набитые книгами. Представь мальчика, каждое утро которого начиналось с того, что мама целовала его, брала к себе и там, в ее комнатухе, на широкой тахте, под полкой с таинственно мерцавшими золотом корешками «Брокгауза и Ефрона» с иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой, он чувствовал себя в особом мире, защищенном тихой любовью от всего на свете. А за стеной, в кабинете отца, шла другая жизнь: отец боролся с духами, они наполняли свистом и визгом его забитый книгами кабинет со столом, заваленным рукописями. Порой духи материализовывались в гостей, они приходили вечером, сидели в столовой под абажуром, пили чай или вино — не водку, это он почему-то запомнил, а потом нестройно пели, и тогда ему слышалось, как тоненько звенит труба. Он долго не засыпал, и до глубокой ночи цокали копыта извозничьих лошадей, позванивал трамвай, пробежавший мимо окон; он и засыпал под это цоканье и дребезжанье, глядя на догонявшие друг друга пятна света на потолке — они тоже соединялись в его представлении со звоном трубы: не трамвай, а труба блестела в чьих-то руках, а он никак не мог увидеть, кто ее держит... Иногда духи принимали облик огромного старика с большой черной бородой — провинциала в высоких сапогах со старым саквояжем. Он входил в дом с усмешкой, иронически поглядывал на отца, нежно целовал мать и вытаскивал из кармана обязательного красного сладкого петушка для мальчика. В доме все сразу менялось: отец говорил тихо, рано исчезал из дому, гости не приходили, а старик пошучивал, за обедом ставил перед собой непремennую бутылку водки, сам ее выпивал, а уезжал после скандала с отцом, который происходил за закрытыми дверями в его кабинете, и мальчику всегда казалось, кто-то из них останется там с проломленным черепом — там что-то гремело, падали стулья, наконец старик с грохотом швырял дверь, сыпал проклятьями, бранился как извозчик по-русски, кричал что-то по-еврейски, стоя допивал в столовой свою водку и, набив саквояж, не застегнув его, напяливал шапку и уходил, но прежде еще раз уже в пальто ногой распахивал дверь в отцовский кабинет, чтоб крикнуть что-нибудь язвительное и громовое...

В доме все затихало, боялись смотреть на отца, мама дрожащей рукой гладила мальчика по голове, целовала, а наутро начиналась обычная жизнь: опять гремел в кабинете отцовский голос, он выходил напряженный, звонкий, дергал мальчика за ухо, делал ему «козу», но мальчик знал, что и на него есть свои страхи, а значит, за пределами дома идет совсем другая жизнь.

Однажды духи приняли обличье не только реальное, но одновременно грозно-заманчивое. Он забрался в их дровяной сарай, и в куче старого хлама среди поломанных стульев и ободранных чемоданов нашел наган — настоящий, ржавый, с вращающимся барабаном. Он принес его отцу и молча стоял перед ним — маленький, вровень со столом, заваленным бумагами, и со сладким ужасом думал, что отец расскажет ему, сколько он поубивал людей из этого нагана. Отец удивленно поднял брови, дунул в ствол, над столом поднялось облачко рыжей пыли, коротко рассмеялся и, держа наган за ствол, протянул обратно: «Держи. Только не выноси из дому».

Наган так и остался среди его игрушек, пока его не нашли при обыске, и отец, шевельнув бровями, усмехнулся, правда невесело... Отцу подарили наган в восемнадцатом году, в Кронштадте, он непременно должен был выстрелить — это не только литературный закон.

Разумеется, я ничего не понимал тогда об отце и о том, с кем он сражался в своем кабинете. Я даже не уверен, знал ли он в себе этих духов, демонов, или они, войдя в него, не оставили в нем и места сопротивлению. Я и духами их, конечно, не называл,

но отчетливо чувствовал, что дом населен чудовищами, сказочными злыми существами, которым однажды открыли дверь, а на то, чтоб выставить их, сил не было.

Я понял и их про себя назвал значительно позже, через двадцать лет: отца помертно реабилитировали, вернулась из лагеря мама, мой дядя — я его три дня назад похоронил... Тогда я и получил в университетском хранилище книги отца — он был историком, много писал о Франции. Любопытное это было чтение: разговор с отцом, который уже не мог состояться. Все очень академично, хотя и слишком страстно для историка, размышляющего над событиями полуторавековой давности. Но почувствовал ли я в этих книгах его личность — то, что и было мне важно? Страх, предчувствия конца, понимания его неизбежности было сколько угодно. «Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них», — цитировал отец Сен-Жюста. Им с а м и м — вот что здесь самое важное, вот в чем был страх, вот о чем шептали и визжали демоны, выползавшие из углов нашего дома. А то, что шлепнули кого-то — да не кого-то! — с первых дней нашей революции их считали тысячами, потом сотнями тысяч, а еще при отце пошел счет на миллионы — кто их считал! Шлепали, ставили к стенке, брали на мушку, списывали в расход, отправляли «к Духонину», разменивали, ликвидировали... Миллионы людей изгонялись из построенных их дедами домов, подснежники и ландыши весной пахли тлением, и казалось оскорбительным, что земля зеленеет, когда она должна быть только красная от крови... Думал он об этом, касалось это его? Нет, должен был я себе сказать, потому что не смог найти в тех книгах и намека на покаяние, а только громогласные, только их предупреждавшие цитации: «Великий народ революций подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита. Металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с печью — вы все погибнете в пламени...» Это Дантона он цитировал. Разумеется, они не умели обращаться с печью, а кто умел, такого умельца не было в истории. И страх был только оттого, что топить эту печь было уже нечем. Приходила их пора...

— Не было покаяния, — повторил Лев Ильич и налил себе водки. — Иначе он бы не чувствовал себя хозяином в городе, по которому, случалось, гулял со мной, так свободно и широко он всегда шагал, шутил с девчонками, задирали мальчишек, раскланивался с десятком прохожих — всех он знал и его все знали. А ведь это был тот самый город, что уже давно пошвырял своих сыновей в ту печь на невиданную перепапку, разбавляя живую хворост медью колоколов, сброшенных с колоколен взорванных соборов, — но ей всего было мало, она жаждала крови. Но однажды я узнал, чего он еще боялся, и тогда демоны, романтически звеневшие для меня трубами, позвякивавшие уздечками, гремевшие копытами разгоряченных бешеной скачкой лошадей, обернулись жалкими бесенятами, фальшиво наигрывающими пошленький вальс на разбитом рояле. Мне помог случай... Ты еще не спишь?

— Нет, что ты, — сказала Вера и посмотрела на него подавленно и безнадежно, — ты очень художественно рассказываешь, я только не могу понять твоего азарта...

— Мне помог случай, — повторил Лев Ильич. — Как-то, уже после реабилитации отца, я разговорился с теткой — его двоюродной сестрой, тоже отбухавшей свои восемь лет. Я хотел поехать в Витебск, откуда отец родом, чтоб навести кой-какие справки, просил ее совета — кого бы поискать, сказал, что помню, будто бы в тамошнем музее революции была целая экспозиция об отце, дяде, даже про деда. Дед, мол, из простых рабочих, кузнец, потом стал привилегированным рабочим — классический персонаж рабочей аристократии, боролся с предпринимателем за копейку, а дети пошли в большевики. Целый исторический роман о пролетарской семье. Во мне еще нет-нет тоненько позванивала труба... Тетка, всегда сумрачная и замкнутая, хохотала как безумная. «Ты что?» — спросил я. «Насмешил — пролетарская семья, кузнец, боролся за копейку...» И рассказала. Дед не зря так редко бывал в Москве, его не случайно так странно встречали, никому не показывали, а потому всякий его приезд кончался скандалом. Была пора чисток, коммунисты выворачивали перед ячейками белье, а оно редко у кого оказывалось чистым. У деда имелся большой собственный дом в центре Витебска, а кроме того публичный дом в слободе и еще такой же чуть ли не в Минске. Он вел жизнь широкую и разгульную, швырял деньги, покупал, менял и перепродавал живой товар да и сам снимал пробу. Знаменитый был человек в Витебске — Исаак Гольцев. И была у него дама — Юдифь ее звали, потому и вспомнилось, завязалась для меня здесь эта история. Женщина явно незаурядная, экзотической внешности и поразительного разнообразия способностей. Настоящая драма, удивительно, как дед бабушку не прибил, она было характер проявила. Юдифь сначала была в том веселом доме, потом тапершей — брэнчала на рояле, экономкой, а потом дед ее возвысил. Или не знаю, может, она прибрала его к рукам, но к самой революции все дома оказались записанными на ее имя. Может быть, фиктивно, мужчина не мог быть содержанием публичного дома. Так ли, нет, но и дед и отец с дядей только тем и спаслись. Потому отец так боялся деда и упоминания о нем,

потому, когда в музее открыли экспозицию, отец тут же помчался туда, чтоб прикрыть — «из скромности», а на деле — чтоб лишний раз о себе не напоминать. «Если тебе так приспичило узнать про деда, — сказала мне тетка, — разыщи Юдифь, она тебе кое-что порасскажет, показать уже едва ли сможет...»

Лев Ильич замолчал, отломил кусок копченой рыбы.

— Бедный Лев Ильич, — сказала Вера. — Бедный, бедный человек... Ты все это хочешь на себя повесить?

— А на кого же, я один был у отца, а у дяди Яши две дочери. — Он сел к ней, наклонился и увидел широко раскрытые, ясные, холодные глаза. — Ты что? — спросил он, вздрогнув от неожиданности.

— Ничего. Скверная я баба, подлая.

— Ты о чем, Верочка? — с тоской спросил Лев Ильич.

Он раздвинул шторы: брезжил рассвет — крыши, крыши в снегу... На подоконнике лежала книга в мягком кожаном переплете. Он раскрыл ее и охнул восхищенно.

— У тебя нет?.. Хочешь подарю? Моя. Да, да, обязательно, что же тебе дарить...

— Что ты, Верочка, я... мечтал о Евангелии, а тут с приложениями, — листал он книгу, — толкования, карты. Что ты, такой подарок...

— Я тебе надпишу. Есть ручка?

Опять он всю ночь был занят собой, а с ней что-то происходило, он не мог взять в толк, о чем она ему все время говорила, не договаривала, что-то ждала, но так и не дождалась...

— Вьзми, — сказала Вера. — Дай я тебя поцелую. — И вышла из комнаты.

Он раскрыл Евангелие. Поперек форзаца летящим почерком было написано:

«Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначала, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей —  
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,  
Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи.

На память о нашей встрече — во дни печальные Великого поста. Храни тебя Бог! Вера».

Она вошла в пальто.

— Пойдем отсюда. Бутылку забери, а то неловко.

Они тихонько вышли, дверь щелкнула. Неожиданной оказалась ночь для Льва Ильича. Молча прошли квартал, остановились у троллейбусной остановки. Где-то он и вчера здесь был... Вера взяла его за руку.

— Лев Ильич, сделай мне.. доставь мне радость. Напоследок. Я знаю, тебе не захочется, но сделай — вдруг я еще...

— О чем ты, Верочка, мне так стыдно, я всю ночь говорил о себе.

Она не слушала его.

— Я знаю, тебе не хочется, но приходи сегодня вечером, как она просила...

Лев Ильич не успел ответить, Вера схватила его второй рукой за рукав пальто, потом оттолкнула.

— Саша!

— Какой Саша? — вздрогнул Лев Ильич и обернулся.

Прямо на них шел высокий, в расстегнутом пальто, без шапки чернокудрый красавец с бараньими глазами, весело улыбался. Узнал Льва Ильича, глаза загорелись откровенной злобой, ненавистью... И Лев Ильич его узнал — он и тогда, когда провозжали Валерия, так же глянул на него.

Саша поклонился Вере и круто свернул в сторону.

— Как неприятно... — Вера закусил губу.

— А в чем дело? Я его знаю.

— Это близкий друг Лепендина, сейчас живет у нас, мы рядом, в переулке... В такую рань, мы вместе, и меня не было дома...

— Может, догнать его, что-то сказать?

— Ну что ты! В конце концов, мы могли встретиться случайно, как и с ним...

(Окончание следует)

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС БОЖНЕВ  
(1898 — 1969)

\*

## ИЗ КНИГИ «БОРЬБА ЗА НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ»

\* \*

\*

Одни и те же каменного улья  
Нас давят стенки или потолки,  
Но мы на двух, на двух разложим стульях  
Мои одежды и твои чулки,

И нежности у нас настолько хватит,  
Что, простыни прохладные постлав,  
Мы ляжем на несдвинутых кроватях,  
Друг другу снов спокойных пожелаем...

Почувствовавши плотские уколы,  
Отрадно будет зубы крепко сжать  
И на матраце тощем и бесполом  
Под девственной простыней лежать.

И нас разделит навсегда без боли  
Не грозный ангел острием меча,  
Но деревянный неширокий столик  
И белая на столике свеча...

\* \*

\*

Как утомленный почтальон,  
Идущий в тихом переулке,  
Как церемонный котильон,  
Звенящий в дедовской шкатулке.

Как солнечный пушистый снег,  
Ногами загрязненный очень,  
Как лошади усталый бег,  
Когда ей путь не укорочен.

Как женщина среди детей,  
Не захотевшая ребенка,  
Как радостнее всех вестей  
С любимым волосом грбенка.

Как вымазанное лицо  
Немолодого трубочиста,

Как выкрашенное яйцо  
Пасхальной краскою лучистой.

Как холодеющий тюфяк  
Под не окоченевшим телом,  
Как одинокий холостяк  
В публичном доме оголтелом.

Как разорвавшийся носок,  
Заштопанный неторопливо,  
Как юноша, что невысок,  
И девушка, что некрасива.

Как проволочные венки  
На торопливом катафалке,  
Как телефонные звонки  
И в черной трубке голос жалкий.

Как улыбающийся врач,  
Болеющий неизлечимо,  
Как утешение — не плачь,  
Когда печаль необлегчима.

Как ангел Александр Блок,  
Задумчиво смотрящий с неба,  
Как полумертвый голубок,  
Мечтающий о крошках хлеба...

\* \*  
\*

Чтоб стать ребенком, встану в темный угол,  
К сырой стене заплаканным лицом,  
И буду думать с гневом и с испугом —  
За что наказан я и чьим отцом...

Я своего отца почти не помню,  
Увы, не он меня так наказал,  
Но сделается вдруг мой угол темный  
Светлей, чем солнцем озаренный зал;

И предо мной сквозь грязные обои  
И неправдоподобные цветы  
Вдруг просияет небо голубое  
И спросит голос — сын мой, это ты...

И я скажу, бросаясь на колени, —  
Да, это я, и я хочу, отец,  
В сердечных и душевных преступлениях,  
Во всем тебе сознаться наконец...

И я сознаюсь... словно перед смертью...  
О, грех один... О, как сознаться в нем...  
Сознаюсь... И возрадуются черти...  
И стыд глубоким обожжет огнем...

Но строго скажет добрый голос отчий —  
На этот раз прошу тебе грехи  
За то, что с каждым днем светлей и кротче  
Свидетельствуют о тебе стихи...

И будем долго говорить друг с другом,  
И я пойму, что я любим отцом...  
Чтоб стать ребенком, встану в темный угол,  
К сырой стене заплаканным лицом.

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

\*

## ТРИФОНОВ, ШУКШИН И МЫ

**К**аждому из нас вольно рассуждать. Значит, вольно и выбирать исходные точки этих рассуждений — сопоставлений, параллелей, а если удастся, то и выводов.

Любое суждение о литературе можно, наверное, начать с Гомера или Аристотеля, с Толстого или Достоевского, с Петрова или Иванова.

Есть писатель, а есть и его место в моих (ваших) суждениях о литературе, место не всегда постоянное, скорей произвольное, зависящее и от того, что именно, как именно вы хотите о литературе сказать сегодня.

Одним словом — плюрализм. Пользуясь им, я пусть и не без сомнений, но определил название и тему своей статьи. Определив их, я по ходу дела хочу провести некоторые исторические аналогии.

Скажем, такую: во всех учебниках говорится, что революции 1917-го предшествовал год 1905-й, год «репетиции». По аналогии горбачевской перестройке предшествовала хрущевская оттепель.

И до и после Хрущева перемены происходили вслед за смертью партийных вождей (перестройке предшествовали одна за другой три смерти), и тогда и теперь перемены происходили не снизу, а сверху и определялись они интересами обновления все той же правящей партии.

Отсюда и тогда и ныне совершенно необычным оказалось положение «левых демократов». И тогда и теперь по прошествии некоторого времени в партии возникло, мягко говоря, недоверие к собственному обновлению, и вот с этого-то момента между «тогда» и «теперь» уже начинают возникать серьезные различия. Они прежде всего в том, что тогда отступления от провозглашенных более или менее, но все же демократических принципов начались еще до того, как возникали демократические течения и движения, тогда демократия уходила в диссидентство. Теперь дело другое, теперь демократов у нас множество, демократических воззваний и митингов — сколько угодно, но дело за самым главным — за деловитостью нашей демократии, за ее умением делать дело. Демократические идеи, прежде чем стать реальной политикой и реальной властью, всегда проходили определенную школу либо в высокодисциплинированных легальных, а часто и нелегальных партиях, либо — в теневых кабинетах оппозиции, но ни той, ни другой школы у наших нынешних демократов нет, хотя и есть совершенно реальные предпосылки к тому, чтобы принять власть.

Нет более непримиримых противников, чем вчерашние союзники и коллеги, компромисс между ними особенно труден еще и потому, что они слишком хорошо знают друг друга, потому что они воспитаны на одной и той же партийной логике, а компромисс, по существу своему, должен иметь место между разными логиками и методиками.

Однако же перейдем к литературе непосредственно, пора...

Уже пять лет как бушует перестройка, а новых и значительных имен литература пока что не дала, мы все больше перебиваемся теми произведениями, которые десятилетиями были известны только по самиздату. В отличие от этой та, первая, столь политически робкая оттепель, когда никто и не помышлял об отмене постановлений ЦК КПСС касательно журналов «Звезда» и «Ленинград», создала совершенно новую и весьма значительную литературу, признанную во всем мире и сильно воздействовавшую на тогдашнее, да и нынешнее наше сознание.

Чем это объяснить?

Думаю, тем, что пришедшие тогда в литературу писатели обладали исключительными биографиями, можно сказать — очень сильными биографиями, вот они и сумели пробить бреши в крепостях застойного режима.

Все началось с военной литературы, с младшего и среднего, только что демобилизованного офицерского состава, который еще на фронте, еще в Германии где-то, мечтал об истинном обновлении своей родной страны. Вспомним Некрасова. Солженицына. Многих-многих других.

Политически, реально эта мечта не свершилась, но в литературе прорыв совершился огромный.

Конечно, писатели-офицеры отдали дань — и не могли не отдать — повестям о настоящих людях, героям-победителям, но тут же они стали писать о войне уже как о величайшей трагедии человека и человечества, а когда так, они и сомкнулись с писателями немецкими, австрийскими, итальянскими. Некрасов и Ремарк — тому пример. Для того и другого война — это не только победа победителей и поражение побежденных, но трагедия тех и других. А дальше это жестокое противостояние между людьми было осмыслено новой литературой не только в войне, но и как общее явление, как общий трагедийный принцип нашей истории последних десятилетий, и за военной темой возникла тема деревенская, и опять-таки и прежде всего тема коллективизации все в том же значении насилия одних людей над другими людьми.

Это было тем более естественно, что большинству военных писателей события начала 30-х биографически, если так можно сказать, духовно и по крови, были, быть может, даже ближе, чем война: ведь большинство из них вышло из деревни.

Война была для них просто войной, коллективизация была их жизнью, судьбой родительской, сестринской и братней.

Дошло и до 1937 года, до его трагедий, до самиздата, который эту тему вынес на своих плечах и передал следующему писательскому поколению, таким прозаикам, как Трифонов, как Битов.

Эти вписали 1937-й в быт своих современников, своих родителей, над судьбами которых они думали, думали, а потом, как говорят у нас, и вовсе «задумались».

Литература «трудового подвига» ко времени Трифонова и Шукшина уже сгинула (оба они этому немало способствовали), но что еще оставалось, так это чувство причастности писателя и его героев к делу и к деловитости, если на то пошло, то и к строительству социализма. Нынче-то — как? Если уж социализм не строим, то и делом мало кто занят, больше — митингами, бесконечными обсуждениями текущего момента и деятельности президента. Вот в чем, можно сказать, люди нашли себя. Надолго ли?

И Трифонов и Шукшин писали, в общем-то, о банальных случаях и банальных людях, если уж не самых маленьких, так о самых средних, ординарных. Чем банальнее была история, тем, иногда кажется мне, она больше привлекала их внимание, а значит, и наше. Читаешь Трифонова, и сначала кажется, что все-все и уже давно-давно знаешь о его героях, но оказывается — нет, еще не все. Оказывается, ты способен, но уже вместе с автором, при его участии, пережить пережитое, увидеть-услышать неувиденное-неуслышанное. Секрет прост, и секрета, собственно, нет: все это потому, что тебе внушено сочувствие к героям повести, потому что тебя привлекает более глубокое, чем до сих пор, понимание людей даже в том случае, если кто-то из них тебе никак не симпатичен.

У продолжателей Трифонова уже не так, там другое, там автор ставит своей задачей заинтересовать читателя, и это желание явно доминирует над сочувствием. «Вот еще как эта шахматная (шашечная) партия может быть разыграна, притом что дебют давно известен!» — думается мне, когда я читаю нынешних «младобютописателей».

\* \* \*

«Изображать еще не значит преображать, и обличение еще не есть исправление». Этот нейтральный тезис Владимира Соловьева, кажется мне, более других соответствует творчеству того и другого писателя. Для их времени он, этот тезис, кстати говоря, и не был таким уже нейтральным, в какой-то мере он был даже и революционным, поскольку противостоял сугубо воспитательной и на редкость активной литературе соцреализма.

Этот тезис, воплощенный в творчестве Трифонова и Шукшина, уже был для нас, более старшего поколения читателей и писателей, непривычным: герой повести вовсе и не герой, он тип и не положительный и не отрицательный, а — какой же? «Такой, какой он есть». Однако это не так-то легко было в то время понять: мы и себя-то воспринимали не столько такими, какие мы есть, сколько такими, какими должны быть, с точки зрения светлого будущего.

Тем интереснее были эти сравнительно молодые писатели, кто, изображая, и в мыслях не имел воспитывать, тем более — исправлять, но именно потому, что они этого не хотели, они нас и направляли и исправляли. Ведь те, кто все еще хотел влиять на нас упорно с великим энтузиазмом политпросветчиков, уже надоели нам до

чертиков, вот и стали Трифонов и Шукшин едва ли не самыми читаемыми писателями, по крайней мере в среде интеллигенции.

Было в них и нечто общее и нечто разное, было как раз то, что позволяет, думается мне, их и объединить в границах одного литературного явления, и сопоставить по художественным манерам, а главное — по типажам, которые они в литературе создавали.

Их судьба — это тоже судьба нашего времени, его знаки и приметы.

У того и у другого отцы были репрессированы, тот и другой относились к окружающей их действительности без восторга, в меру избалованно, тот и другой пытались в начале своего творчества понять, чем же все-таки была революция, гражданская война. Трифонов в память отца-революционера написал «Отблеск костра», Шукшин в память одного из своих родственников — роман «Любавины». Факт в своем роде примечательный. Мы к нему еще вернемся.

И то и другое произведение не создали авторам репутации серьезных писателей.

Трифонов был интеллигентом, жителем городским, литературно образованным прозаиком, и только прозаиком. Жизнь его была обычной городской жизнью.

Шукшин — мужичьего семени, самых разносторонних талантов: прозаик, актер, режиссер, драматург, певец и плясун. Жизнь его была тяжелой, очень похожей на те писательские судьбы, из которых в свое время складывалась так называемая разночинная литература в лице Решетникова, Глеба Успенского, Златовратского и многих других.

Теперь же — о главном для меня, о том, каких героев выбрали эти писатели.

Трифонова я ни здесь, ни дальше не цитирую — нельзя. Его надо или не читать совсем, или читать так, как он писал: обстоятельно, без выкрутасов, с сюжетом от и до, с характерами от и до...

Да, Трифонов был классическим бытописателем. Приходит догадка: не на нем ли уж и закончилась-то русская традиция бытописания? Закончилась достойно и как бы все еще вызывая к своему продолжению. Вызывая сердечную боль — неужели продолжения-то этой традиции ни в конце XX века, ни в начале XXI так и не будет? Ведь мы же без быта не живем?

Прочитываешь «Обмен», «Долгое прощание», «Дом на набережной» — и будто ты героев этих повестей не из книги узнал, а из совместной с ними и долгой жизни в коммуналке. Мало того что узнал самих, так еще и родственников их близких и даже не очень близких повидал не раз.

Манера нынче уже не современная — никакой экстравагантности.

Герой Трифонова — это, как и сам писатель, человек городской, интеллигентный, трудно, а то и трагически переживший сталинские времена. Если сам он и не сидел, не был в ГУЛАГе, так почти что нечаянно кого-нибудь туда посадил, если он жив, то и не знает — радоваться этому обстоятельству или огорчаться. Вместе с тем все эти люди, больше или меньше, но искренние, склонны к анализу и своего прошлого и своего настоящего, и по этой именно причине они с трудом вписываются, а то и вовсе не вписываются в окружающую их действительность, в советское столь неискреннее общество.

К чему же они приходят? Чаще всего ни к чему и ни к кому, они уходят от общества, погружаясь в самих себя. Это герой, в общем-то, классический и вечный для мировой литературы. Вряд ли существует такой интеллигент, который никогда не просчитывал бы подобного варианта применительно к самому себе, вот ему и интересны все обстоятельства и атрибуты этого состояния. Как это происходит где-нибудь на Западе — он знает, читал, «другая» литература «оттуда» ему мало-мальски, но известна, она переводилась-издавалась у нас беспрепятственно, а вот каким образом ушел в себя сосед по лестничной площадке, так ушел, что и не здоровается больше, и на собрания ЖЭКа не ходит, и «Правду» вот уже год не выписывает, — это надо бы узнать.

Таков один из множества подобных вариантов и сюжетов Трифонова.

И что там говорить, сдается мне, что для Трифонова приход в литературу был одновременно его уходом в самого себя. Спокойным, обдуманном уходом, и не абсолютным — постольку поскольку общество продолжало его интересоваться как предмет исследований и наблюдений.

Мне это близко. Другого такого же дотошно городского писателя я и не знаю. Бытописателей деревенских уже в ту пору было достаточно, а вот городских... он был тогда один такой.

И если возникнет когда-нибудь вопрос: с 70 — 80-ми годами по чьим произведениям стоит знакомиться? — Трифонова в первую же очередь и придется назвать.

Конечно, у каждого литературного поколения складывается свой собственный взгляд на литературу; и вот уже нынче бытописанием трифоновского толка никто не занимается — для этого, говорят, есть история и мемуаристика, из реальной же жизни писателю пристало извлекать лишь нечто экстравагантное, какую-нибудь



малоизвестную, еще лучше полностью запретную до сих пор ситуацию — художественность прежде всего должна быть интересной, а потом уже художественной. Вот Трифонов и вышел из моды. Хотел бы, правда, заметить, что мода-то самому Трифонову всегда была чужда, но что верно, то верно: письмо у него ровное, спокойное, выбрать из него «показательную» цитату почти невозможно.

Я и не выбираю.

Совсем другое дело — герой Шукшина. Этот, как говорят у нас в Сибири, «силом влезит» в общественную жизнь, ему с детства внушили, что советскому человеку это очень нужно, и он уже вкусил от роли общественника. Именно в этой роли он побывал в таких-то и таких-то кабинетах, а такой-то и такой-то начальник здоровается с ним за руку.

Даже и так могло быть: поначалу роль общественника была ему до лампочки, но нужно ведь делать вид. Однажды вид сделан, ну а после уже и в самом деле человек становится общественником, еще каким!

Наконец, просто хочется быть не как все. Жил-жил Иван Иванович, и вдруг выясняется, что точно таких же Иванов Ивановичей миллион. А это — обидно! Особенно под конец жизни.

Ах да сколько еще было причин такого же рода для того, чтобы стать общественником?! По всем этим причинам и является на свет божий шукшинский (советский) чудик.

«Карл Маркс вон какую вывел теорию из прибавочной стоимости? А я, советский человек, чем хуже? Маркс устарел, а я всего три года пять месяцев как на пенсии!» И выводит философ Н.Н. Князев или кто-то другой теории справедливого советского государственного устройства, справедливого советского общества, справедливого советского пенсионного законодательства. Ведь и в те уже давние времена как-никак, а признавалось, что справедливость у нас в дефиците. И вот Н.Н. Князев — явление если уже не массовое, так, во всяком случае, распространенное. К тому же к «чуждизму» людей подталкивала вся наша общественная жизнь, если только это была жизнь.

Ведь десятилетиями человека эксплуатировали, объясняя при этом, что имеет место вовсе не эксплуатация, а трудовой энтузиазм, десятки лет ему внушали, что он полноправный гражданин самой свободной в мире державы, десятки лет он подписывался на внутренние займы — где же за все это отдача? Материальная и духовная? Ни той, ни другой нет, но ведь та и другая обязательно должны быть? И вот уже Н.Н. Князев, Иван Иванович, или другой какой-то гражданин СССР привык жить не тем, что есть, а тем, что должно быть: социализма нет, но он должен быть, справедливости нет, но она должна быть, воровство есть, но при социализме (которого нет) воровства быть не должно.

Из этой чудесной логики, из этой прекрасной действительности как не явиться чудикам!

Знал, знал Василий Макарович цену собственному открытию, догадывался, когда не пошел в деревенскую, исключительно даровитую прозу (а ведь мог бы, конечно), но пошел и в рабочую (тоже вполне мог бы, поскольку хватил пролетарской доли в пролетарском государстве). Социалистический и даже критический реализм, импрессионизм, психологизм — ничто его не привлекло, он со своими чудиками был сам по себе.

И действительно — потенциал-то какой, возможности какие у шукшинского чудизма! Кинетическая энергия какая, только сумей пользоваться! Можно представиться нежным таким и незлобным шутником, а можно — жестоким политиком, глобальным эгоистом. Уже само происхождение чудика — не только его личная черта, но и глубоко литературная, глубоко общественная.

Чудизм может быть безвредным, безграмотным, наивным, а может быть и давным-давно сложившейся школой злословия. В разные времена и в разных странах он проявлен по-разному, в советской современности он — пока что шукшинский.

Мистер Пиквик — это вполне приватная парадоксальность, внешне не претендующая на общественную значимость, в то время как советские чудики именно из этой претензии исходят, эти претензии прежде всего и делают их теми, кто они есть. Кроме того, одно дело верх и даже изысканность интеллигентности, другое — ее низ и полное ее отсутствие, одно дело особняк и клуб, другое — сельсовет и колхозная контора, до предела примитивизированное с помощью высоких идей общество. Когда это общество окончательно сгинет, перевоспитается, тогда судить о нем человечество будет по разным писателям, по разным литературным типам — по шукшинским чудикам тоже. И вот чудики будут представлять нас с вами, черты нашего характера. Ну а если так, значит, они присущи — в потенциале или в кинетике, это уже другое дело, — и человечеству в целом. Да так оно и есть, и сегодня многим-многим чудикам мы делегируем свои права и судьбы — посмотрите-ка на наши парламенты! На Советы всех уровней. Или их там не видно на трибунах? Впрочем, к парламенту мы хоть и кратко, но еще вернемся, а сейчас заметим, что чудик Шукшина больше или меньше,

но всегда чей-нибудь делегат, всегда трибун, больше или меньше, но всегда актер. Вот и Егор Прокудин, трагическая фигура повести и киноленты «Калина красная», вернувшись в «нормальное» общество из мест отдаленных, начинает «новую» жизнь именно с актерства. А тот же Н.Н. Князев, человек и гражданин, автор «конкретной мысли», разве не актер? Да что там говорить — откройте любую страницу!

Я открываю: 199-я, третий том собрания сочинений:

«— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился... — Петька встал, нагнулся, выпрямился. — А раньше если нагнулся, то не разогнешся» («Петька Краснов рассказывает»).

И ведь это уже театр. Во всяком случае, столько же театр, сколько и проза. И чуть-чуть, но уже чудачковатый театр-то.

Полистаем еще:

«Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?

— Тут чьей-то про гасударство, — с мстительным злорадным чувством говорил Князев. — Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тычке хоть полторы извилины есть...» (рассказ «Штрихи к портрету»).

И опять — театр с тем же оттенком.

А вот повесть «До третьих петухов», речь идет о чертях:

«— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас ключья полетят. Стать!

Черти изумились... Смотрели на Ивана».

И все тут на своих собственных местах, в этом прозаически-театральном письме, автор создан для чудиков, чудики — для автора, и таких же, как у Шукшина, так же от народа делегированных, ни у кого больше нет. Ну разве вот еще Живой в одноименной повести Бориса Можаява. Отголоски чудизма — да, я нахожу у Крупина, у Пшеничникова, у Кривоносова, у Евсеенко, но только отголоски. В прошлом чудики были гигантские — у Гоголя, например. Но мы думали, что гоголевские типы ушли в прошлое навсегда. Оказалось, что в России — не навсегда, что здесь они только преобразились, кажется, для того лишь, чтобы искать (и находить!) своих художников. Уж не есть ли это наша российская судьба? Столь интересная и поучительная для всего мира, но не для нас самих.

\* \* \*

Писатель только в том случае писатель, если его творчество переживет его. Без этого он — публицист. Пусть и своеобразный, но публицист — современный для современников.

Конечно, еще при жизни Трифонова и Шукшина было ясно, что кто-кто, а они-то уж получили повестки «туда» и к «тем», то есть к нам, их пережившим.

У меня к этим писателям, кроме литературоведческого, есть еще и свое житейское отношение, я знал и того и другого, и знакомства эти — серьезные обстоятельства моей жизни, моего сознания.

Пришлось мне переписываться и с Марией Сергеевной Шукшиной после смерти сына ее Василия, встречаться с его родственниками, пришлось бывать в селе Сrostки — на его родине, которая была его неизменной любовью и болью.

Ну а мимо большого дома на набережной Москвы-реки я и нынче езжу на работу, воспринимая его как действующее лицо «Дома на набережной».

Но воспоминания — совсем особый жанр, я бы даже сказал — в чем-то антагонистичный литературоведению, и об антагонизме такого рода никогда не следует забывать, а раз так, возвращаюсь к вопросу: как и в чем эти писатели существуют сегодня среди нас? Как и ради чего все еще живут в нашем сознании, в нашем образе жизни?

Увы, если шукшинский чудизм в свое время ограничивался сельской или пригородной местностью, то нынче он обрел государственное значение. Неожиданность эта недолго была для представителей чудизма неожиданностью, они быстро освоились, приобрели масштаб, тот самый, о котором, в общем-то, они мечтали, но всерьез в свою мечту все-таки не верили. И вдруг открылись небывалые возможности: митинговые, всех уровней депутатские, национальные и националистические, всяческого рода партийные и те публицистические, которыми изобилует наша теперь уже бессчетная (как в самых цивилизованных странах) пресса, которая идет на «свободный» рынок по цене рубль за газетную полоску, что говорит и о сумме, заплаченной издателем тому или иному бумажному комбинату.

Амбициозные шукшинские чудики могут быть и безобидными и очень обидными.

Они развиваются в разных направлениях. Шукшин же сделал свое дело, открыв их как некую социально-психологическую группу нашего общества, которую никто другой еще не заметил, не задумался — что бы они могли значить?

Будучи первооткрывателем, он и письмо и метод должен был применить особый — не аверченковский и не зощенковский, свой собственный — незлобивый и значительный.

Нашему литературоведению еще предстоит изучить неповторимую иронию прозы Шукшина, ее потенциальные возможности, ее социальную природу.

Может быть даже, что именно в этой иронии Шукшин более самобытен, чем в чем-либо другом.

У героев Трифонова, у тех другая судьба, они не артистичны и за депутатские мандаты не боролись, в то время в голову не приходило, ничьими делегатами не были, но время-то их тоже не забыло, хотели они того или нет, но как были они, люди, ушедшие и уходящие от общества в себя, как были героями всей мировой литературы, так ими и остались. Тихими, до поры до времени незаметными, но остались.

Пришли новые писатели, и старую эту классическую тему, которой принадлежал, в которую свято верил Трифонов, эти новые подхватили, своими способами понесли в будущее.

Из этих новых назову пока что только двоих — Т. Толстую и Л. Петрушевскую, назвав, сразу же отмечу, что если Трифонов относился к своим интеллигентам вполне интеллигентно, то эти две женщины поступают с ними как хотят, произвольно. Захотят сделать из интеллигента уroda — сделают, глазом не моргнут. И нельзя не согласиться — имеют на то творческое право, имеют, потому что такова действительность, не писатели, а действительность создает чудиков, эгоистов и злодеев, а гораздо реже добряков и альтруистов. Но не в этом даже дело. Дело в том, что для трифоновского интеллигента его судьба — это сознание собственного несчастья, судьбы героев Толстой и Петрушевской воспринимаются этими героями просто как жизнь, без оценки этой жизни. Тут они сходны между собой — торговаться с жизнью, требовать от нее то, чего она дать им не может (или не хочет), заключать с жизнью договор о взаимных обязательствах уже по одному тому нехорошо и даже безнравственно, что бессмысленно. Отсюда и сама нравственность меняет кожу.

Еще недавно такая логика признавалась «очернительством действительности», да и нынче слывет за чернуху, но эту терминологию если кто и сможет опровергнуть, так только сама жизнь — писатели здесь опять-таки ни при чем, и вот они это «ни при чем» используют с полным правом.

И Петрушевская о своей героине:

«Она оказалась не в силах достойно вынести свалившееся на нее презрение и равнодушие мужа, и даже прежняя ее, школьная ориентация защищаться пощечиной от оскорбления не вернулась к ней» (Рассказ «История Клариссы»).

И то же Толстая о своем герое:

«Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона, тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Кларой» (рассказ «Круг»).

Петрушевская:

«...к концу того нашего первого пребывания в ресторане, год назад, я как-то расположилась к нему, стала считать его своим хорошим другом и приятелем и совершенно забыла все свои мысли насчет того, зачем ему все это нужно... Я начала отвечать ему в том же духе, что блондины нравятся мне за деликатность в обращении, а брютеты за то, что у них много денег, и так далее» («Странный человек»).

Толстая:

«Очень они тогда приятно провели время в ресторане, познакомившись, и Владимир, еще не знавший, на что он может с Зоей рассчитывать, был щедр... Это уж после он стал экономить, деловито просматривал меню, брал себе только одно мясное блюдо, недорогое, и в ресторане не задерживался. Напрасно Зоя сидела с томным видом, сделал небрежное лицо, как бы слегка насмешливое, отчасти задумчивое — предполагалось, что по лицу пробегает мимолетные оттенки ее сложной душевной жизни» (рассказ «Охота на мамонта»).

И там и здесь это не эпизоды жизни и не только сиюминутность, но и сама жизнь, сам сюжет. Дальше этих сценок дело, по существу, и не пойдет, содержание развиваться не будет, свое прошлое герои тоже нигде не вспомнят — у них его и не было.

Нет, повторим еще раз — у героев Трифонова не так: у них прошлое было, пусть и мучительное, но их создавшее, за ними по пятам шедшее. За Трифоновым следовал

Битов, у него прошлое может играть роль, да еще и какую — вспомним хотя бы «Пушкинский дом». Но о Битове надо бы говорить не по ходу дела...

Петрушевская и Толстая совершили очень серьезное социальное, психологическое, нравственное, да, пожалуй, и демократическое открытие — открытие поколения без прошлого.

Что вспоминать поколению Толстой и Петрушевской, поколению интеллигенции брежневских времен? Если люди не сидели в психушках и в лагерях, если не были диссидентами — значит, жили «ничего»: в школы бегали и в магазины, в магазинах была колбаса, сыр был. А вопросов — кто ты, откуда — не было. То ли ты интеллигент, то ли ты чиновник, чернильная душа? И различить-то было трудно, кто есть кто, для большинства просто и невозможно.

На селе была своя схема жизни, в армии — своя, различия не более чем профессиональные и никак не духовные. И когда я читаю Петрушевскую и Толстую, я читаю не о том, что у героев их произведений есть, но о том, чего у них нет, и вижу, что нет у них ничего, кроме сиюминутности. А это как раз и значит, что они не только без прошлого, но и без будущего.

У Петрушевской о будущем есть прекрасный рассказ «Новые Робинзоны»: семья сооружает в глухом лесу землянку, чтобы жить в ней впредь (по-видимому, когда перестройка достигнет апогея), другого присутствия будущего в рассказах этих двух авторов я не обнаружил.

Очень точно, думается мне, пишет критик Инна Борисова о Петрушевской, о «бездременности» ее рассказов, о том, что любой ее рассказ может быть начат с любой произвольно взятой точки — с любого дня, месяца и года нашего времени — и так же произвольно на любой точке может быть закончен, о том, что «каждый ее сюжет из гула возникает и в гул возвращается» — в гул той уличной толпы, которую едва ли не все мы за неимением другого приравниваем к обществу. Ведь общество и толпа для нас все еще почти что синонимы, примерно такие же, как митинг и парламент.

Интересно — что-то эти писательницы скажут о годах 90-х апогейно-перестроечных, как увидят они наше общество, искалеченное в самом акте своего рождения, непутевое, расхристанное, плюралистическое сверх головы, но уже и не тот вакуум, который их герои и героини еще вчера собою заполняли, а если бы не заполнили, то даже и вакуума и того бы не было.

Таково сегодняшнее продолжение трифоновской традиции.

\* \* \*

Ну а кто же в наши дни идет вслед за Шукшиным? Кто и как?

Ищу, не нахожу ответа и думаю: никого нет, никто — никак. Почему бы это?

А не по той ли, в самом деле, причине, что продолжатели его героев — это нынче герои уже и не литературные, а реальные, те, о ком мы только что говорили? Те, кто не ушел в себя по пути, отмеченном Петрушевской и Толстой, но кто, может быть, и с чувством безнадежности и с чрезмерной амбициозностью, но ищет принципы подлинно общественные, а точкой отсчета в этих поисках служат им все те же самые, первой оттепели чудиковские откровения? Что, если так?

Еще раз хочу спросить: на выборах-то в народные депутаты не чудики ли то там, то здесь — в разных областях, краях, республиках и центрах — набрали большинство голосов? Приглядитесь-ка к голубым экранам. Не узнаете?

Я то и дело узнаю. Сумбур тот же, наскок тот же, отсутствие культуры и демократических навыков то же. Шукшинского мужика Дерябина, который за отсутствием трибуны письменно сообщает в райисполком о том, что «диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулочек?.. есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации», я лицезрю едва ли не ежедневно. (И автора «конкретных мыслей» о государстве Н. Н. Князева — тоже.)

Конечно, насчет попа мужику Дерябину пришлось бы нынче быть поосторожнее, пришлось бы заметно перестроиться, но это только говорило бы о его «новом» демократизме.

А недавно и один председатель подкомитета Верховного Совета СССР говорил мне: «Гут у нас были представители с конгресса США, а я сказал прийти еще с нашей Академии наук ЭС ЭС ЭС ЭР!»

Правду сказать, я нынче больше всего поражаюсь не одному, а двум провидцам: Шукшину, но того более — Платонову.

«Котлован» и «Чевенгур» Платонова — это же не что иное, как нынешние каналы Волга — Чограй, Дунай — Днепр и Обь — Арал в проекте.

Миллиарды ухлопали мы на погубление Арала и достигли результатов Чевенгура. (Так предусматривалось проектом, так и осуществилось.) Теперь те же деятели получают миллиарды на «восстановление моря». Тысячи километров копали с юга на

север, будем копать с севера на юг: социализм на деле. Великие сталинские стройки коммунизма сегодня. Платонов — сегодня.

И вот уже возникает и другой злободневный вопрос: кто же третий-то, какой такой писатель встанет между Платоновым и Шукшиным? Пространство между ними слишком велико, и литература не должна допустить здесь пустоты, нельзя не почувствовать, что между чудиками Шукшина и платоновскими преобразователями мира существует еще кто-то и кто-то, какие-то персонажи, до сих пор не открытые, не осознанные, не включенные в литературный реестр. Платонов — это философия. Если хотие — это наука, наука предвидения; Шукшин — это новое бытописание, не более того, но уж и никак не менее. Но опять-таки — кто же в пространстве между ними?

Шукшин смотрит на своих героев не извне, не с высоты фантазии, а исключительно из них самих, понимая, что ему их писать, но ему же их и играть, в них перевоплощаться. Он знает, что ему нельзя перевоплотиться в фантазию. Еще он знает, что самая страшная мечта — это мечта о всеобщей справедливости, отвлеченная от конкретных людей, от тех же чудиков, знает, что умный аферист — очень опасный человек, а посредственный чудик аферисту на руку — он готов аферу изобличить, но тут же готов с нею и поиграть, покричать ей «ура».

Что же дальше?

Этот вопрос не возникает у героев Петрушевской и Толстой именно потому, что у них нет прошлого, они его не чувствуют, не имеют.

А вот герои Платонова, Трифонова, Шукшина — те с прошлым, причем с одним и тем же. Ведь все мы зациклены на гражданской войне, от нее произошли, с нее начали. С гражданской войны, с октября 1917-го страна наша перекинулась на войну, названную раскулачиванием и коллективизацией, с коллективизации перешли к следующим репрессиям, с репрессий к войне Отечественной, не прекращая при этом войны внутренней, присуждая голодных людей к семи годам тюремного заключения за то, что они после уборки хлеба собирали в поле колоски. Дальше — расправлялись с вернувшимися из Германии пленными и угнанными, с бесконечными «заговорщиками» и «заговорами», с диссидентами, с «психически больными». Ну а сегодня что? Что, нет сегодня у нас убийств и массовых погромов? Происхождение сказывается... От гражданской войны пошел и «Котлован» и «Чевенгур», честное служение бесчестной действительности и реальные жертвы ирреальной идеи. Недаром же и Трифонов и Шукшин не могли миновать «истоков» и, не будучи участниками гражданской войны, о ней писали, хотели понять — что там было-то? Может быть, хотели ее оправдать: трудно ведь, просто невозможно поверить в уродливость своих начал, своего происхождения.

О Платонове и говорить нечего, едва ли не во всех его крупных произведениях мы встречаемся с участниками гражданской войны, с победителями, с теми, кого победа искалечила на всю жизнь, кто свою победу так и не смог осмыслить. И опять-таки: глядясь и сегодня в лица друг друга — разве на них нет следов крайней растерянности вчерашних победителей?

Так что же дальше? Наша перестройка — по сути дела, только этот вопрос, и больше ничего.

Литература не нужна там, где нет достаточно проблем для существования общества (такая ситуация, кажется, кое-где уже и сложилась), литературы не может быть и там, где проблемы жизни для нее совершенно непосильны — она гибнет под их грузом.

\* \* \*

Удивительно, что сегодня никто не пишет так, как сто десять лет тому назад писал русский философ Константин Леонтьев:

«...испытавши все возможное, даже и горечь социалистического устройства (разрядка автора.— С. З.), передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование...»

И еще: «Если же та часть человечества, которая захочет испытать на себе блаженство (?) вовсе новых общественных и экономических условий, устроится свободнее нашего, то она будет повержена в состояние как бы признанной в принципе и узаконенной анархии...»

Никто нынче так не пишет, даже передовые плюралисты, и потому теряется время. Время, которое есть собственность каждого из нас, равно как и каждого живого существа. Время, которое уравнивает в правах на жизнь все живое.

Время — собственность номер один, эта собственность неизбежна, и потому она делает неизбежными все другие собственности и права — на землю, воду, воздух, на орудия труда и труд как таковой, на все составляющие духовной жизни, такие, как образование, религия, убеждения.

Но, будучи нашей собственностью, время может быть экспроприровано, путем тюремного заключения, например. Социализм, через который мы все прошли, был преступен прежде всего тем, что счел преступным человечество и его историю, его историческое время, а себя объявил временем не только новым, но и истинным. Так появился краткий курс истории коммунистической (большевистской) партии, который оказался кратким не только потому, что книга была небольшая и тем самым как бы бросала вызов всем на свете многочисленным историям, но и потому, что сама-то история человечества была сокращена здесь до объема записной книжки товарища Сталина. И все мы оказались в странном заведении тюремного утопизма, который лишал нас времени во всех его измерениях — прошлого, настоящего, будущего.

Теперь, освободившись только в настоящем, мы вынуждены догонять свое прошлое, так же как и ушедшее далеко вперед будущее, но настоящее, обремененное столь трудной, а может быть, и вообще неисполнимой задачей, под ее грузом тоже становится несвободным или же свободным формально, на словах, а не в действиях. И так мы ограничены этой несвободной свободой, другой же у нас пока нет, мы только и сделали, что высунули нос из краткого курса, а в литературе мы вынуждены пройти сперва Трифонова и Шукшина, прежде чем достигнем Платонова и Булгакова. Нельзя ведь развернуть свиток времени произвольно, в обратном порядке или с середины.

Конечно, в нашу казарму-утопию почти все послесталинские годы проникали еще и самиздат и подпольная, то есть издаваемая на Западе литература, но и то и другое становилось собственностью исключительно индивидуальной; нас же интересует, чем обладало все эти годы общество, вернее — масса советских людей. Думаю, что и сегодня далеко не все прошли Трифонова и Шукшина, их произведения, осознали общественный и нравственный потенциал этих произведений.

Неправдоподобно настоящее, лишенное прошлого и будущего, но эта неправдоподобность была бы еще больше и невероятнее, если бы не та, первая оттепель. Если бы не она, так мы, верно, начинали бы нынче не с Юрия Трифонова и Василия Шукшина, а с Всеволода Кочетова и Анатолия Софронова.

Предполагаю, что так же, если не хуже, обстоит дело и в экономике, поскольку в принципе нет и не может быть экономики хаоса. И вот сегодня я все еще читаю такого рода энциклопедические справки: экономические категории — это, дескать, капитал при капитализме и хозрасчет (без капитала! — С. 3.) при социализме; экономическая эффективность достигается при социализме «путем всемерной интенсификации производства», использование экономических законов в интересах общества «возможно только при социализме».

И это словарь новейший, издания 1990 года! В экономике нашей неизвестно даже, с кого сегодня и начинать-то — с Адама Смита или с Абалкина? А может быть, все-таки с Чанова?

Крутым счетом семьдесят лет мы были существами подопытными, но вот нам предоставилась возможность самим проводить опыты. Над кем же? Опять-таки над собою.

\* \* \*

У литературы есть преимущество: ее нельзя лишить гласных (или негласных, это уж другой вопрос) размышлений о самой себе. Примеры тому — хотя бы Лосев, хотя бы Бахтин, Лотман, Лихачев...

И не только они — в каждом писателе, в каждом гуманистике и читателе литература живет, занимает то или иное место в сознании, каждый определяет и то пространство, какое сама литература, по его мнению, занимает в окружающем мире.

Мне это пространство представляется заключенным где-то между логикой и верой.

Живем-то мы всегда между этими двумя понятиями. Может быть, и неплохо было бы жить только одним из них — нельзя, не получается; но и соединить их вместе, соединить вплотную не получается тоже. Сами же по себе они не могут соединиться, для этого нужен некий специфический материал, воспринимающий и то и другое.

Таким материалом является искусство — литература, думается мне, прежде всего.

Путь от молитвы до алгебры и обратно был, видимо, нам предназначен именно через искусство, через то пространство, которое искусство занимает.

При этом нельзя, невозможно себе представить, что в пространстве алогичности и безверия искусство чувствовало бы себя уютно, как дома, нельзя и того, чтобы искусство искало и находило защиту или у логики, или у веры; оно должно то и другое защищать в их единении и ни в коем случае — в разъединении. Для разъединения более чем достаточно и других, провокационных сил. Откуда же искусство черпает возможности для исполнения своей титанической роли, своего предназначения?

Из своей собственной истории.

Ничья история — ни науки, ни веры, ни тем более политики и экономики, ни революций и эволюций — не стоит так устойчиво на ногах, как история искусств.

Этой истории упрекать себя не в чем, сомневаться в себе, проклинать себя незачем — только в ней и существуют однажды достигнутые на все времена безусловные ценности.

Исторические эпохи могут быть внеисторическими уже по одному тому, что они предаются то одной только вере и утопии, лишенной логики, то логике, лишенной веры.

Истинные ценности, такие, скажем, как Библия или Коран, исходили ведь не только из веры, но и из логики своего времени, именно поэтому они тоже произведения искусства.

Искусство всегда с кем-нибудь из персонажей своей собственной истории — с легендами Гомера или с логикой Аристотеля, с Пушкиным или с Гёте, и эти кто-нибудь как были, так и остаются великими сегодня и в сегодняшнем искусстве, в сегодняшних вере и логике. Пока искусство существует, они в нем будут жить, а может быть, переживут и его.

В науку и технику приходит Эдисон, и вот нет уже надобности помнить об Уатте; после Рембрандта, Гёте и Пушкина искусство попросту уже не могло бы существовать без них, их забыть. От Великих и Величайших этот принцип распространяется и на искусство, на литературу в целом, предоставляя нам возможность начинать свои суждения с любой точки, с любых имен.

Вот я и начал с Трифонова и Шукшина, путешествуя в пространстве, предназначенном для литературы.



**Читайте в 1992 году:**

**И. С. КАРПОВ**

**По волнам житейского моря**

Автобиографическое повествование крестьянина, выразительный человеческий документ — о судьбах русского народа и Церкви в XX столетии. Предисловие Г. В. Маркелова. Подготовка текста Г. В. Маркелова и С. С. Гречишкина.

# ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ШРЕЙДЕР

\*

## СИНДРОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ

### I. Лагерь как принцип

**В** тот удачный день, описанный Александром Исáевичем Солженицыным, заключенному Ивану Денисовичу Шухову удалось не только пронести в барак сделанный им ножик, но и тут же загнать его, а на вырученные деньги купить махорки. Наиболее несуразным мне показалась при первом чтении этой повести не бессмысленность и жестокость лагерного заключения по нелепому подозрению или оговору (за годы советской власти это стало бытом), не тяжесть лагерного труда (мы привыкли, что у нас физический труд тяжел и унизителен). Несуразной мне показалась цена стакана махорки — в 10 или 20 раз меньшая, чем на вольном рынке. В лагере, оказывается, действовала своя экономика. Она была возможна именно потому, что свободный товарный обмен лагерной зоны с волей был невозможен. Рабочая сила в зоне практически ничего не стоит. Самодельный ножик Ивана Денисовича ни потребительской, ни меновой стоимости на внешнем рынке не имеет. Но в изолированном лагерном мире действовала своя экономика, и ножик этот был там вполне ходким товаром. Махорка не выращена в лагере и не доставлена туда оборотистым купцом — она прислана эку в подарок родней. Он продал ее по принятой в лагере цене, ибо деньги родственники не имели права ему прислать. Но вообразим себе, что начальство неожиданно смягчило лагерный режим. Прекратились массовые расстрелы заключенных, начались посещения визитеров «с той стороны», да и экам дали возможность посетить вольные края. И тут-то выяснилось, что на начисленные за лагерный труд гроши нельзя купить билет на самолет, а продажа производимых подневольным трудом товаров не дает средств для покупки того, что нужно бы закупить на воле. Вопреки Марксу трудовая стоимость как затрата рабочего времени не желает превращаться в полноценную меновую стоимость, ибо время в лагере расходуется на этапы, на переключки, на шмон, на оформление нарядов, да еще за счет каторжного непроизводительного труда эзков содержится огромное количество охраны, политвоспитателей и всяческого начальства. Такой труд может и оплачиваться только нищенски. Столкновение лагерной экономики с рыночной приводит к кризису и фрустрации. На цены начинает давить внешний рынок, а структура производства остается прежней — лагерного типа.

Все это лишь часть непременно возникающего «синдрома освобождения» — реакции сознания на ситуацию ломки или хотя бы ослабления лагерной системы, казавшейся до того незыблемой.

Социальная структура лагерной системы в предельно лаконичной и отчетливой форме обрисована в рассказе Варлама Шаламова «В лагере нет виноватых». И главное, в нем впервые ясно сформулирована фундаментальная мысль: «...лагерь — не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни... Лагерь... мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве социальном и духовном... Чужими судьбами в лагере еще легче распорядиться, чем на воле».

Разница между положением человека в лагере и вовне — это прежде всего разница в осознании собственного положения. Нормальный ээк отдает себе полный отчет в том, что он заключен за колючей проволокой. Нормальный советский человек старался не осознавать своего положения заключенного (в государственных границах, в границах, дозволенных паспортным режимом, или даже в пределах села, как прежде беспаспортный крестьянин), ибо осознание реальности было для нас равносильно государственному преступлению. Требовалось верить, что мы жили в самой лучшей на свете стране и в самом передовом обществе. Проявить в этом вопросе сомнение означало поставить реальность выше идеологических требований, а этого идеологи-



ческая структура допустить не может. В основе «внешнего лагеря», то есть того, что еще остается вне собственно лагерной зоны, лежат основные принципы идеологической структуры. Именно идеология лежит в основе тотальной несвободы, сводящейся стальными цепями не только поведение каждого человека, но и его внутренний мир. Любая попытка высвободиться из этих цепей, создать для себя хотя бы минимальное пространство свободы чревато практически неизбежным попаданием во «внутренний лагерь» — в один из островков архипелага ГУЛАГ. Лагерная система нашупала самую определяющую точку в сознании человека, воздействие на которую в зародыше уничтожает его внутреннюю свободу и тем самым делает возможным манипулирование людьми как лишенными собственной воли марионетками. Эта точка — осознание своего положения как заключенного в лагере, как насильственно подчиненного господствующей идеологии и не смеющего сделать даже мысленный шаг в сторону от предписываемого идеологическими требованиями.

Брат двадцатичетырехлетней Галины Ивановны К. был арестован перед войной. За неделю она стала седой. Это вызвало гнев представителя «компетентных органов», к которому она ходила хлопотать о брате. Он заявил, что та сознательно хочет продемонстрировать себя пострадавшей от советской власти, и потребовал, чтобы она немедленно покрасила волосы. Она исполнила требование властей, чтобы избежать обвинения в антисоветчине.

Столь же недопустимым считалось для обитателя ГУЛАГа даже само признание лагерного режима жестоким. Это была государственная тайна, разглашение которой могло бы нанести вред Советскому государству. Наиболее полно аналогия внутреннего и внешнего лагеря реализовалась в 30-е годы, когда заключение стали называть перековкой, а на строительство Беломорканала, дабы воспеть происходящее там, отправилась целая бригада писателей, выпустивших затем позорнейшую книгу о том, что им предписывалось там увидеть. (Во времена ежовщины о перековке у нас уже не вспоминали, а о том, что реально происходило с заключенными, не только писать, но и разговаривать не полагалось.)

Было бы любопытно проанализировать, как реализовалась та же идея перековки в гитлеровских концлагерях до тех пор, пока они не стали лагерями уничтожения. Есть все основания считать, что там эту идею принимали более серьезно, чем в советских лагерях: после относительно короткого (по нашим меркам) срока лагерного перевоспитания многие бывшие заключенные вполне успешно вписывались в идеологическую систему национал-социализма. По многим свидетельствам, это особенно легко удавалось людям коммунистической и социалистической ориентации. У нас же в перековку осужденных по политической (58-й) статье начальство всерьез не верило.

Всякая идеологическая система, ставящая идею (теоретическую конструкцию) выше всего — жизни, нравственности, Бога, — основана на простейших принципах, которые должны воплощаться теми, кто эту систему организует и составляет.

Первый состоит в том, что идея определяет, какой должна быть реальность.

Второй утверждает первенство того, что должно быть, над тем, что есть и может произойти. Считаться следует лишь с должным, а не с сущим. Это уже ведет к оправданию любых жертв ради идей, уничтожение всего и вся, не соответствующего идеологическим установлениям.

Третий принцип системы заключается в том, чтобы совершенно стереть различие между должным произойти в силу объективных законов мира и должным в смысле законов нравственных. Поэтому человек, совершающий нечто недопустимое с точки зрения требований идеологии, не просто нарушает нравственный долг, но вступает в противоречие с законами самой действительности. Он нарушает не правила поведения, но законы самого космоса (какими они представляются идеологии), и, следовательно, его карает не человеческий закон (требующий соблюдения определенных процессуальных норм и юридических гарантий), но как бы объективный ход исторического процесса, сметающего любого со своего пути, как мчащийся поезд сбивает неосторожно попавшего на рельсы пешехода. Необходимость поддерживать общую погруженность сознания в идеологическую структуру объясняет несурзность системы наказаний в идеологическом обществе. Смысл наказания не в его справедливости, а в его неотвратимости при любой, даже неосознанной попытке переступить идеологические догмы — будь то собирание голодным крестьянским мальчиком колосков на убранном колхозном поле или чтение «идеологически чуждой» литературы.

Все названные принципы должны не осознаваться, а выступать в качестве неявной установки, не подлежащей критической рефлексии. Ведь должное важнее того, что есть на самом деле, поэтому должное не следует сопоставлять с реальностью. Принципы идеологической системы исполняются, а не анализируются. По крайней мере до тех пор, пока мы сами остаемся в рамках этой системы. В этой определенности есть известный комфорт: человек освобождается от необходимости личного

выбора, от усилий постижения смысла собственного бытия. Свобода всегда дисконфортна, ложится бременем как ощущение ответственности за свой индивидуальный, не предпроектируемый естественноисторическим процессом выбор.

В рамках идеологической общественной структуры, напротив того, предусмотрен социальный механизм, доводящий до сведения каждого, что именно в данный момент является закономерно необходимым и чему должен всячески способствовать каждый, входящий в сферу влияния этой структуры. Обычно принимается в качестве постулата, что некоторая достаточно большая группа (передовой класс, высшая раса, приоритетная религиозная общность и т. п.) является естественным носителем правильного идеологического сознания. Точнее, не собственно сознания, а низших инстинктов типа классового чутья или расового чувства, не подконтрольных критическому анализу. Однако столь большая группа не может формулировать обязательные мнения, она их только ощущает интуитивно. Да при этом далеко не все представители данной группы находятся на передовом уровне. Поэтому их функции делегируются «передовому отряду», а от имени передового отряда эту функцию быть рупором должного делегируют небольшой группе предводителей. В идеальной идеологической структуре эту функцию исполняет самый главный предводитель — «вождь и отец», чье слово уже представляет окончательную (на данный момент) истину в самой последней (доступной для обработанного сознания) инстанции.

Отдельная личность лишается права на поиск собственного мнения, то есть на индивидуальное мышление и опыт, в том числе права на ошибку. Последнего права лишены и вожди вплоть до самого верхнего уровня.

Такова «идеальная» схема, действовавшая у нас в сталинские времена, которая затем стала постепенно размываться. Все началось с осуждения культа личности, процесса, приведшего к утрате первоначальной чистоты идеологизированного отношения к миру, что до сих пор вызывает бешеные приступы ностальгии по утраченным принципам. Попытки выбрать из Ленина и Сталина кого-то одного как представителя идеологии в ее абсолютной чистоте и сиянии истины также нарушают эту чистоту. Более того, попытки списать преступления Сталина на кого-то из его подчиненных — Яковлева, Кагановича или кого-нибудь еще — объективно служат тому же размыванию идеологической схемы, разрушая образ непогрешимого авторитета идеологической истины. Где же искать источник должного, коль скоро о намерениях хозяина уже нельзя судить по действиям его слуг?

О том, насколько размывлось идеологическое сознание сегодня, свидетельствует помещенная в «Правде» филиппика, направленная против выходящих ныне из КПСС. Их уже не называют идеологическими врагами, не предают анафеме как нарушителей миропорядка, но упрекают в том, что они оставляют партию в трудный для нее час. Необычно здесь уже то, что отношение человека к идеологии подвергается не идеологической, но этической оценке на основе вечных нравственных правил типа «не обижай слабого».

Это свидетельствует только о том, что и сам защитник идеологии уже не чувствует (как его несгибаемые предшественники) несовместности идеологии с этическими началами, когда по идеологическим причинам нельзя было быть «добреньким» с «классовыми врагами». Идеология всегда отрицала возможность опоры на вечные этические ценности. Но, оказывается, по отношению к партии следует быть «добреньким» и не обижать страдальцу. Я искренне радуюсь, обнаруживая такие взгляды, ибо призыв «милость к павшим пробуждать» никогда не бывает неуместным, хотя несколько иначе представляю себе исполнение этого призыва в данном случае. Но мне нравится, что уже идеологию защищают не с позиции ее безусловной правоты, а на основе необходимости быть добрым и благородным. Тем самым добро и благородство становятся выше любой идеи. А это уже не вполне идеологизированная точка зрения. Конечно, для нормального человека субъектом этического отношения оказывается другой человек, а не политическая организация. Но это простительное следствие застарелой идеологической замутненности сознания, в котором возникает романтический образ партии как некоей прекрасной дамы, которой следует хранить рыцарскую верность. Писал же литературовед Г. Ленобль в 1966 году, что наивысший художественный подвиг и наивысшая творческая радость — создать средствами искусства образ партии. Так и хочется пожалеть Шекспира, Данте и Толстого, которым это было не под силу из-за отсутствия таковой в их время. Хотя Данте принимал участие в партийных распрях гвельфов и гибеллинов — сторонников папы и императора, — но воспевал он все-таки свою Беатриче, а не партию. Но те партии были нормальными политическими объединениями, выражающими интересы определенной части страны (слово «партия» и происходит от латинского pars — часть, родительный падеж — partis). Подобные партии и не претендуют на монопольное владение идеями, которой суждено спасти человечество.

Идеологизация сознания как лишение внутренней свободы — это лишь один из столпов, на которые лагерная система опирается. Два других — это экономика и

атеизм. Вернемся к тому эпизоду с Иваном Денисовичем, с которого начался этот разговор. Его глубинный смысл я понял, когда впервые выехал за пределы социалистического лагеря, имея при себе обмененные на две тысячи рублей в советском банке такое же примерно количество франков. Чтобы получить валюту по льготной цене для туристов, мне пришлось десять дней отстоять в очереди. (Кстати, по нынешним временам срок совсем пустячный, несерьезный.) В заявлении я должен был написать, что прошу продать мне валюту, но это была не покупка, а получение льготы, которую раз в год предоставляют советским туристам. Действительно же купить свои франки я мог бы разве что за пятикратную цену, и притом нелегально. Как же было не ужаснуться, когда за билет электрички от аэропорта Шарль де Голль до центра Парижа мне пришлось сразу же выложить 35 франков, то есть 35 моих родных рублей, а по реальному курсу — 150 рублей. Тут я понял, что две тысячи рублей — это ничтожно мало по здешним ценам. Оказалось, что мои пять месячных профессорских зарплат составляют всего четвертую часть месячной зарплаты среднего французского научного работника (а ученые на Западе — это не самый обеспеченный слой). Так что билет по здешним масштабам цен стоил не столь дорого — всего четыре кружки пива в недорогом баре, но с другой стороны — это полрубашки на дешевой распродаже. В общем, на полученные в обмен на хорошую пятимесячную зарплату франки недели две-три можно было бы просуществовать во Франции на довольно нищенском уровне. К счастью, друзья приютили меня и обеспечили питанием почти на каждый день, так что я имел возможность даже купить кое-что из одежды и хороший диктофон. Но ведь и Иван Денисович мог при удачном раскладе, выйдя из лагеря, найти приют у друзей или родичей, а там при его-то мастеровитости и сноровке он подыскал бы себе заработок, вполне обеспечивающий сносное по нашим скромным меркам существование вне зоны. И все-таки лагерная экономика создает такой барьер на пути к свободе, который можно перескочить лишь при поддержке извне и способности работать не как эзк, но как пришло свободному человеку.

Иван Денисович и в лагере не утратил навыков мастера. Но удача описанного одного дня его лагерной жизни просматривается в первую очередь в том, что в этот день его рабочие навыки неожиданно оказались востребованными. И вчитайтесь в текст Солженицына: Иван Денисович единственный в бригаде, кто умеет работать по-настоящему. Это не случайно: там, где нет свободного вознаграждения за труд, заводятся паразиты. Там действует принцип «кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет — и за двоих потянет» (А. И. Солженицын, «Раковый корпус»).

Иван Денисович один из немногих, кто тянет, и на него-то и наваливается главная тяжесть работы. Это общее свойство лагерного труда, где выгоднее уклоняться от работы, а не трудиться. Разумеется, если выгода состоит не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы минимальными усилиями обеспечить себе выживание. Но поскольку в лагере (и во внутреннем и во внешнем) серьезно заработать честным трудом невозможно, то те, кого не интересует работа сама по себе, предпочитают второй вариант.

Впервые попав на рабочее место в Специальном конструкторском бюро (впоследствии переименованном в научно-исследовательский институт), я сразу столкнулся с тем, что реальную работу в лаборатории, насчитывающей десяток-полтора инженеров, выполняют в лучшем случае два-три человека. Остальные «подают гирпичи» — нехотя выполняют техническую работу от сих до сих (хотя занимают должности, предполагающие самостоятельные разработки) и получают почти такую же, а то и большую зарплату, как и тянущие. Поскольку реальный заработок в лагерных условиях определяется не заработной платой, а раздаваемыми привилегиями — менее изматывающая работа, лучший паек, некоторая свобода передвижения и даже перспектива освобождения (во внешнем лагере спектр привилегий несколько шире: служебные квартиры, дачи, машины, заграничные поездки и т. п.), служители системы лишены свободного сознания. Внутреннюю независимость человеку дает собственность, а не получаемые привилегии. Беда не столько в том, что материальные блага распределяются в нашем обществе несправедливо, а в том, что получение этих благ нисколько не раскрепощает личность, но только ее поработает.

Привилегии — это очень удобный для лагерной системы способ вознаграждения, ибо они не столько зарабатываются, сколько даруются системой и потому в любой момент могут быть отняты за малейшее инакомыслие.

В лагере, как пишет В. Шаламов, убывает не маленькая пайка, а большая. Большую пайку дают на самых тяжелых работах (например, на золотых приисках Колымы) тем, кто выполняет норму. А это верный путь к превращению в человеческий шлак — в доходягу, не способного ни к какой работе и обреченного на быструю гибель. На этих работах трудовые навыки Ивана Денисовича бесполезны так же, как бесполезны любая квалификация или образование.

Равно так же большая часть человеческих способностей и навыков остается невостребованной и во внешнем лагере, ибо личная самореализация нуждается в

свободном поиске точки приложения сил. В лагере же человек должен делать только то дело, которое ему предоставляет система, и делать его так, чтобы не нарушать предписаний этой системы. А она не только не нуждается в свободном предпринимательстве, но и страшится его. Ибо свободное предпринимательство (от частного крестьянского хозяйства или торговой деятельности до свободного занятия научными изысканиями) создает экологические ниши для не зависящего от системы существования. Потому-то неуклонно уничтожались частные крестьянские хозяйства, любая независимая коммерческая деятельность, подавлялась свободная пресса, душилась самостоятельная мысль.

Иисус предупреждал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе» (Матф. 6: 19-20). Отказ от низшего ради высшего — естественный путь совершенствования человека, имеющий цену только как его свободный поступок, как подвиг. Насильственное же изъятие собственности, лишение человека права владеть заработанным и распоряжаться им по своему усмотрению (в том числе и возможность добровольно отказаться от собственности) ведет не к его духовному совершенствованию, но к порабощению и подчинению разбойниками, живущими за счет награбленного. Про них никак не скажешь, что они «собирают сокровища на небе». И на земле они никаких сокровищ не приумножают. Принцип Шарикова «все поделить» лишает общество экономических стимулов к труду, заменяя их насильственным принуждением. В результате все усилия людей направляются не на процесс создания материальных богатств, а на элементарное физическое выживание.

В средневековой Европе существовали законы, запрещающие отбирать за долги рабочие инструменты мастера. Лагерная система отобрала у мастера его орудия труда, предоставляя ему по своему усмотрению казенные. Серьезное отношение к собственному труду, стремление овладеть мастерством (будь то мастерство земледельца, работника технического производства или ученого) оказываются экономически неоправданными. Куда выгоднее служить укреплению системы — например, делать карьеру по общественно-административной линии. Здесь достаточно послушания, способности угождать начальству. Для такой карьеры высокий профессионализм только вреден. Но и эта карьера вовсе не делает человека свободным, ибо получаемые им блага не заработаны им, но лишь предоставлены в пользование. Утрата достигнутого положения лишает человека всех привычных благ. Казенная мебель, казенная дача, казенная машина — всего этого он не имел возможности заработать, приобрести в собственность. По существу, он такой же нищий, как эзк, спящий на барачных нарах, и столь же не свободен внутренне.

Несвободный работник — плохой работник, он старается не лучше трудиться, а лучше устроиться. Между тем любому работнику как воздух необходимы ресурсы личной свободы, которые не даются человеку извне, но возвращаются внутри. В лагерном обществе они утрачиваются.

Наша наука долго жила на ранее накопленных ресурсах свободы, но они все время истощались, а сегодня почти полностью выветрились. Про одного известного ученого говаривали, что до войны он был самым дурным человеком в своем институте, а после — самым лучшим в том же институте. Он не менялся, менялось окружение.

Лучшие авиационные и ракетные конструкторы — Туполев, Петляков, Королев, Глушко и другие — проработали в шарагах (тюремных конструкторских бюро) и там создавали великолепные проекты самолетов. Они могли творить за счет накопленного ресурса свободы, который в тюрьме отнюдь не исполнялся, но позволял отстаивать правильные технические решения и искать новые подходы в своем деле. Человек, заранее воспитанный в страхе перед начальством, боящийся не угодить власти имеющим, к научно-техническому и любому другому творчеству не способен. Стати, название шарага после войны стало применяться к любым закрытым научным и конструкторским институтам. Это слово выражало царивший в так называемых почтовых ящиках дух несвободы.

Страна пока еще достаточно богата учеными-исполнителями высокой квалификации, способными успешно работать в традиционных направлениях. А вот принципиально новые направления возникают почти исключительно на Западе... Это тоже результат несвободы, порождаемый не только внешним давлением, но и обязательством участвовать в укреплении лагерной системы.

В течение всей моей служебной карьеры меня поражало несоответствие между тем объемом зла, которое любой начальник может причинить своему подчиненному, и теми ничтожными возможностями сделать добро, которые остаются в его распоряжении. Он легко может отказать в просьбе (подчиненный бесправен, как эзк), но способствовать ей — это значит добиваться и согласовывать вопрос во многих инстанциях, заведомо запрограммированных на отказ. Принцип лагерного поведения: страшитесь делать добро. Добро нейтрально к идеологии, не способствует ее укреплению, даже напротив — как бы ставит конкретного человека выше ее предпа-

чертаний. Моего прежнего директора просили достаточно близкие к нему люди оставить на работе талантливого сотрудника, который прощтрафился тем, что хранил какие-то бумаги одного из диссидентов. Сам по себе директор был человек, в общем-то, незлой и по собственной инициативе не стал бы выгонять сотрудника. Но заступаться перед «компетентными органами» за кого бы то ни было не принято. Это бросает некую тень на заступающегося — дескать, тот не вполне уверен в мудрости органов. Лагерь жестоко карает любое заступничество за другого. В данном случае директору кара явно не грозила, но сработал обретенный навык.

Лагерная система не только одних вынуждает к изнурительному труду, одновременно избавляя других от необходимости интенсивной работы. Получение благ определяется не интенсивностью и качеством работы, но занимаемым местом. При выборе службы человека прежде всего интересуют связанные с ней привилегии — можно ли получать продовольственные заказы, бывают ли «библиотечные дни», дают ли садовые участки, есть ли детский сад и т. д. Эти привилегии он будет там получать более или менее независимо от прилагаемых усилий. Все это у нас принято называть социальной защищенностью. Между тем это не столько защищенность людей, сколько защищенность системы от социально активных элементов, от попыток что-то существенно улучшить. Человек, склонный к новаторству, изобретательству, анализу эффективности труда, обречен этой системой на мытарства. Человек, стремящийся увеличить собственное благополучие, должен либо стремиться к высшим местам в иерархии системы, либо идти на прямое нарушение писанных законов.

Когда эти люди находят друг друга и блокируются, возникают мафиозные структуры. Такие структуры, с одной стороны, кровно заинтересованы в сохранении и упрочении лагерной системы, а с другой — нуждаются в определенном просторе для своих действий: в некоторой степени открытости к внелагерному миру (в частности, для того, чтобы использовать накопленные там блага в большей степени, чем это удастся прямым грабежом путем захвата и освоения прилегающих территорий). Тем самым само наличие активных мафиозных структур объективно расшатывает лагерный порядок. Ведь стремление к улучшению условий собственной жизни несовместимо с самоподчинением идеологии. Последняя приобретает в таком случае чисто инструментальный характер как средство подчинения общества. Это не вполне соответствует природе идеологических структур, требующих веры-доверия от своих adeptов на всех уровнях. Профанация идеологии лишает идеологическую систему первоначальной цельности — необходимого условия ее действенности. Идеологический лидер не может позволить себе обладать ни личной порядочностью (ориентироваться на естественные человеческие ценности), ни привязанностью к простым радостям жизни, ибо они тоже связаны с внутренней отдаленностью от положительного, хотя и относительно низменного. Любое признание человеческих ценностей лишает идеологию ее абсолютизма в тотальном отрицании всего, что делает человека человеком.

Еще один важнейший столп лагерной идеологической системы — это безудержный и грубый атеизм, отнюдь не являющийся вольномыслием, но, напротив, насильем над свободной мыслью. Ревнители идеологии очень быстро сообразили, что само существование «вертикальной ориентации» — соотношение себя с Абсолютом как высшей сущностью — несовместимо с идеологическим принципом первенства должного (предписываемого от имени идеологии) над сущим. Нравственный закон внутри нас, которым восхищался Кант, уподобляя его звездному небу над головой, не может стоять выше требований идеологии и опирающейся на нее власти. Иначе личность получила бы метафизические основания к сопротивлению, незаконным требованиям самозванных властителей. И власть должна была бы обладать соизмеримой с нравственным законом метафизической укорененностью, хотя бы в качестве гарантии прав личности и нравственного устройства жизни. Но если общественная структура нуждается в санкции Абсолюта, то сама она уже не абсолют. Представление о христианском государе как помазаннике Божиим несовместимо с ассиро-вавилонским представлением о царе как земном Боге. Власть или общественная структура, опирающаяся на Абсолют, ставит себе самоограничение в этом Абсолюте. Абсолютизм идеологии допустим лишь при условии, что никакого иного Абсолюта не существует. Не случайно во внутреннем лагере не могло быть и речи об отправлении религиозного культа или чтении священных книг.

В лагере внешнем храмы всех вероисповеданий беспощадно рушились, а священнослужители жестоко преследовались, пока Сталин не решил во время войны использовать религию как запасную идеологию для укрепления государственной власти. То была идеологическая уступка, создавшая некоторые возможности для религиозного просвещения, подрывающего абсолютизм официальной идеологии. Реальность военных условий вынудила считаться с собой, поскольку прежние лозунги

во многом оказались скомпрометированы успехами гитлеровской военной машины. Но буквально сразу же после победы начался новый идеологический зажим, антирелигиозная пропаганда стала снова набирать обороты, а Церковь еще более контролироваться государством. Идеологическая структура нашла способ сосуществования с церковной иерархией в той мере, в которой последняя готова была служить укреплению режима, а не проповеди Христа. Официальная Церковь получила право (а точнее — обязанность) представлять государство на различных международных встречах, но приходские священники по-прежнему были лишены права проповеди слова Божьего, права осуществлять апостольскую миссию среди верующих и неверующих. Зато «научный атеизм» входил в качестве обязательного предмета в программу всех вузов, что фактически означало открытое исповедание своей веры несовместимым с получением светского высшего образования. Библия и другие религиозные книги, по сути дела, получили статус нелегальной литературы. Издания Патриархии можно было достать только по знакомству, зарубежные — изымались на границе нашими доблестными таможенниками, о чем громогласно сообщалось в газетах. Еще хуже обстояло дело с Кораном, который верующему мусульманину полагается читать на арабском языке. В отличие от Библии, остающейся Библией в переводе на любой язык, перевод Корана — это уже не Коран, но пересказ его содержания. Перевод письменности исламских народностей с арабского алфавита на латиницу (а потом и на кириллицу) сделал арабский текст Корана практически недоступным для большинства верующих.

Церковь у нас никогда не была отделена от государства, как это официально декларировалось, но государство делало все, чтобы отделить ее от народа. Поработить народ, превратить его в инструмент для осуществления социальной утопии, заставить его принять как должное массовые репрессии можно, только отняв у него ориентиры духовной свободы. Гибель религии — это уничтожение духовных начал народной жизни, ведущее к антропологической катастрофе — искусственному созданию особого типа людей, лишенных духовного начала и неспособных к нравственным оценкам происходящего. Такими людьми удобно манипулировать, но они непригодны к реальному устройству общества.

## II. Возможен ли демонтаж системы?

Вообразим себе автономно существующий ГУЛАГ, в котором начальство решило провести радикальные реформы, имеющие целью превратить лагерную систему в нечто напоминающее цивилизованное общество или по крайней мере некий социум, способный контактировать с остальным миром. Не будем строить предположений о том, что было здесь побудительным мотивом — собственная потребность в цивилизованной жизни, пробудившаяся вдруг совесть или невозможность дальнейшего самообеспечения системы ввиду ее полной экономической несостоятельности... Главное — лагерь объявлен свободным обществом. Что же произойдет дальше?

Прежде всего мало кто сможет покинуть свой барак, поскольку почти ни у кого нет никаких средств оплатить дорогу или прокормить себя на воле: нет ни накопленных денег, ни навыков зарабатывать свободным трудом. Преодолеть экономический барьер в состоянии либо уголовные элементы, которые начнут грабить и убивать, либо те, у кого на воле подготовлена соответствующая база друзьями и родными. Большинству же как-то придется обустраиваться в новых лагерных условиях, а для этого срочно потребуются формировать новые социальные структуры, обеспечивающие возможность прокормиться и защитить свою жизнь и с трудом обретаемое имущество. (В принципе либерализация лагерного режима создает условия для образования созидательных начал, способных уже не на стремление к переделу имеющегося, но на накопление новых средств. Но для этого она должна быть как минимум последовательной и продолжительной по времени). Первыми, конечно же, организуются уголовные элементы, блатари, ибо они единственные, кто сохранял свою социальную структуру в тяжелых лагерных условиях. Социально организованные воры в законе в условиях смягчения режима способны терроризировать всех. Правда, бывалые люди рассказывали и о ситуациях, когда политическим удавалось собраться и дать отпор уголовным группам. Тем не менее опасность того, что не желающие работать уголовники начнут систематически обирать тех, кто попытается в новых, либерализованных условиях чем-то заработать себе на жизнь, а не просто надеяться на лагерную баланду, предельно велика.

Что до остальных лагерников, то у них чрезвычайно развит социальный инстинкт неприятия любой видимой формы самоорганизации, хоть сколько-нибудь не вписывающейся в официально существующие структуры. Поэтому в первую очередь начнут возникать объединения, не требующие заметных общественных форм. Это будут организации преимущественно клановые: земляческие, национальные или религиозно-национальные. Оно и понятно: когда нет возможности личного выбора социаль-

ной группировки, тогда люди объединяются с теми, с кем они соединены естественными узами — языком, религией, образом жизни, общей судьбой. В спор вступают не убеждения, а привычки. Разделение на консерваторов и реформаторов, сторонников жесткого порядка и либералов является результатом осознанных убеждений. Пока же такое разделение еще оформляется и лидеры соответствующих программ набирают сторонников, основные конфликты принимают форму столкновений национальных и религиозных группировок.

После семидесяти лет идеологического наркоза стали болеть старые раны. Боль вызывает неизбежную реакцию, а обида за причиненное лагерной властью разорение приобретает порой самые уродливые формы — взрывов национальной ненависти, острой ксенофобии, поисков обидчиков в представителях других наций. Подобными чувствами легко манипулировать, их легко трактовать как повод для подавления любых проявлений национального самосознания, обвинений в национализме и экстремизме. Лагерная система умеет эффективно использовать национальные антипатии и противоречия, но она несовместима с национальными интересами никакого народа. Она разрушает любую культурно-созидательную национальную общность. Можно приводить длинные списки людей самых различных национальностей, служивших формированию и укреплению этой системы (и очень часто становившихся затем ее жертвами), но ни один из них не выступал в этой роли как представитель интересов какой-либо нации или народа. Это были люмпены, оторвавшиеся от национальной традиции и стоящие вне какой бы то ни было культуры. Шариковы и швондеры национальности не имеют. Они способны только уничтожать культурное достояние любой нации.

Многое уже говорилось и писалось о покаянии. Боюсь, все мы оказались в ситуации, когда утрачена способность к этому духовному акту. Принести покаяние способны только люди, а не толпа бывших заключенных. Быть может, стоит признаться самим себе, что на развалинах рушащейся лагерной системы живет отнюдь не единый народ, которому долго внушали, насколько он велик, а сложный конгломерат этнических общностей. Из них еще только могут сформироваться народы, призванные восстановить культурное достояние предков.

Охранительная структура может либерализоваться, но она в принципе не может стать демократической. Евгений Онегин провел либеральные реформы в своем поместье: «...ярем он барщины старинной оброком легким заменил; и раб судьбу благословил». Наследник Онегина мог легко эти реформы отменить — крепостное право это допускало. Характерный признак либерального охранительства — сильная зависимость уровня допускаемой в обществе свободы от конкретных лиц, обладающих властью над другими.

При жесткой лагерной системе охрана получает гарантированное довольствие и ее действия связаны той же жесткой структурой. При смягчении режима она менее подвержена контролю системы, а гарантии на ее содержание снижаются. В результате охранительные структуры могут заняться самообеспечением и потому стать деструктивными. Сегодня для нас уже стали привычными случаи продажи оружия на сторону и иные неконтролируемые действия сил правопорядка. Пока мы остаемся в рамках либерализованного лагерного режима, эти тенденции будут только усиливаться. Беда в том, что повевший ветерок свободы проходит лишь как бы по поверхности нашего общества, но не проникает в его поры. В результате люди делают ставку не на развитие духовной свободы, правового сознания, защиты личности и собственности, но на альтернативные охранительные структуры, способные «навести порядок». Ничего удивительного, что наиболее популярными в массовом сознании оказываются борцы, с коррупцией и привилегиями, разоблачители аппаратных тайн. Вполне типичное поведение несвободных, но возмнивших себя свободными людей...

Итак, все названные уже особенности лагерной системы остаются при ее демократизации сверху, поскольку остается сама природа власти — основанной на симбиозе идеологического, экономического и силового принуждения. Ее ослабление высвобождает силы сопротивления, но еще не создает возможности самоорганизации нелагерного типа. Бунт в лагере бессмыслен, ибо при неудаче он только укрепил бы механизмы лагерного принуждения, а при удаче создал бы альтернативные структуры того же лагерного типа. Могло бы смениться содержание идеологии, но не сами принципы идеологической системы. Еще Достоевский в легенде о Великом инквизиторе предостерегал от опасности такой идеологизации христианства, когда сама личность Христа становится мешающей идеологической власти Церкви. Когда лагерная система допускает деятельность Церкви, то тем самым одновременно создается возможность не очищения сознания от идеологических пут, а новые изощренные способы манипулирования людьми, но уже через послушных церковных иерархов. Этому в огромной степени помогает укоренившееся убеждение в том, что какая-то

идеологическая опора необходима: во что-то надо верить. Человек, отождествляющий религиозную веру с принятием идеологических догм, легко становится субъектом идеологического манипулирования. Помнится, я очень удивился, встретив однажды на обряде крещения в православном храме свою бывшую коллегу, чьи убеждения мне казались весьма далекими от религии. Она радостно сообщила мне, что недавно вступила в КПСС и начала посещать церковь. Синхронность событий не столь парадоксальна, как может показаться. Сегодня оба эти акта выражают лояльность к власти и готовность послушания. Христианская покорность в подобном случае направлена не на Иисуса Христа и Его Церковь, а на примирение с идолопоклонством, на готовность принимать как должное то, что вещается от имени идеологической системы. Из христианства берется лишь один пласт — покорность, но изымается представление о том, что Иисус Христос есть Путь, Истина и Жизнь. В свое время атеистический гуманизм из двух главных заповедей Христа — о любви к Богу и любви к ближнему — оставил только последнюю, чем и открыл прямую дорогу к самоуничтожению человечности и в конечном счете человечества. Любовь к ближнему вне любви к Богу привела к тому, что сам круг ближних стал выбираться под давлением господствующей идеологии, а «дальних» (врагов народа, классово чуждых, инородцев и т. п.) разрешалось уничтожать сколь угодно жестокими средствами, поскольку делалось это исключительно ради блага ближних.

Разумеется, если от христианства (или другой религии) оставить лишь фрагмент, то его легко можно превратить в инструмент идеологического воздействия. В «Трех разговорах...» Владимира Соловьева Антихрист предлагает представителям трех основных христианских вероисповеданий оставить им культ, религиозное искусство, богословские исследования, лишь бы только они ему поклонились. Более того, Антихрист предлагает старцу Иоанну, папе Петру II и протестантскому богослову профессору Паули объединить все три конфессии под его началом. Обрисованная Вл. Соловьевым ситуация представляет собой притчу-предупреждение о существующем соблазне для христианских церквей стать на службу Антихриста, отказавшись от Христа, — восстановить утраченное единство, объединившись под Антихристом. Далее Вл. Соловьев указывает истинный путь к единству христианских конфессий — общее неприятие Антихриста в общем приверженстве ко Христу.

Лагерная система пытается использовать христианскую покорность и радостное принятие страдания как жертвования собой в качестве еще одного (запасного) средства манипуляции людьми. Атеистическая идеология превращает своих адептов в послушные орудия маанипулирования. Христианские мученики не были послушными орудиями власти, когда шли на смерть. Их принятие страданий являлось сопротивлением языческой власти, требовавшей от подданных ее обожествления. Христианская покорность всегда являлась актом осуществления суверенной духовной свободы, самосохранения суверенной личности.

Подвиг христианских мучеников изменил ход мировой истории. В конечном счете современная демократия, современные представления о свободе и суверенности человека порождены всей историей христианского мира и оплачены кровью мучеников. Их духовное сопротивление власти-идолу привело к торжеству христианства над языческим государством. В результате государственная власть оказалась соразмеренной с вертикальной соразмерностью бытия и, уже как следствие, ограниченной законом.

В лагерных условиях наиболее действенными оказываются не евангельские, а иные заповеди, о которых писал В. Шаламов: «Никому не верь, ни на кого не надейся, никого не бойся». Эти заповеди помогают заключенному выжить или достойно умереть, но на них нельзя ничего созидать. Партнерство в предпрятии невозможно без доверия к партнерам, затевать какое-либо дело можно лишь с надеждой на успех, а проводя свои начинания, следует остерегаться препятствий как источников возможной неудачи. Заповедь бесстрашия относится к духовной сфере, а не к коммерческой деятельности. Сделать ее основой повседневного существования можно лишь в ситуации полной небезопасности бытия, когда страх голода, побоев, смерти делает каждого соучастником лагерных мерзостей — предателем, стукачом, а то и просто захребетником, паразитирующим на чужом несчастье. В нормальной жизни нужно каких-то вещей побаиваться — в лагерной это непозволительная роскошь. И остается роскошью даже при смягчении режима, когда открываются дополнительные соблазны включиться в сотрудничество с лагерными властями. (С одной стороны, как бы участвуешь в улучшении ситуации, а с другой — укрепляешь лагерные порядки, да еще создаешь им дополнительный декорум, если твоя репутация пока не замарана. Тут наиболее точно выразился Андрей Дмитриевич Сахаров, хорошо понимавший законы системы, — «поддерживаю условно». Иными словами, поддерживаю, пока это улучшает положение дел, но себя с существующим структурами не отождествляю...)



В условиях лагеря нужно всегда ждать худшего и радоваться, если худшее чудом не наступило. Мы все проходим испытания абсурдом, и опасно надеяться, что абсурд прекратится как по мановению волшебной палочки. Надежда опасна как путь примирения с дурной и неразумной действительностью. Действовать надо вопреки окружающей нас безнадежности, принимая ее как испытание, которое неизбежно предстоит пройти. Путеводной нитью здесь должны стать слова молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», — слова, выражающие не только согласие с Божиим промыслом, попускающим зло, но и уверенность, что не в этом абсурде заключается воля Бога, а в требовании к нам не примиряться с абсурдом, противоречащим изначальной сущностной гармонии мира.

Либерализация лагерной системы дает обществу одну великую возможность — религиозного просвещения, открывает путь для массовой проповеди. Это вызвано стремлением системы к самосохранению — гибнет человеческий материал, неоткуда уже появиться новым Иванам Денисовичам, способным честно и умело трудиться даже и в лагерных условиях. Характерно признание, которое сделал один из идеологических работников: «Я в Бога не верю, но это не имеет никакого значения. Важно делать все, чтобы люди не били друг друга молотками и не употребляли наркотиков». Полагаю, что он говорил искренне. Такая позиция гораздо лучше, чем высказанная лектором-атеистом (умиравшим от запущенного рака): «Пусть лучше народ пьянствует, чем в Бога верит».

Разумеется, Церковь улучшает нравы и посещение церковной службы действует на прихожанина существенно благотворней, чем профсоюзное собрание по поводу принятия сокобязательств. Но у Церкви есть главная задача — евангелизация общества. Сам Иисус Христос заповедал апостолам (а через них и всей своей Церкви): «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Марк, 16:15). Христианские миссионеры проповедовали Евангелие в самых глухих и диких уголках земли. Но ведь проповедь в лагере не допускается. Даже когда Церкви разрешили легальное существование, она была практически лишена возможности проповеди. Пытались проповедовать отдельные священники, как, например, покойный Александр Мень, убитый по странному совпадению как раз перед тем, как он должен был начать цикл телевизионных бесед-проповедей.

Помнится, некий молодой православный священник жаловался мне, что за годы идеологического подавления, или, как ныне принято говорить, застоя, Церковь разучилась работать с паствой и теперь это умение надо заново восстанавливать, дабы не превратить Церковь в своеобразное «бюро ритуальных услуг», где создается лишь видимость христианской жизни.

Сегодня впервые за многие десятилетия нам дано услышать независимый голос Церкви по вопросам общественного устройства. Христианское отношение к политическим проблемам Прибалтики выразил в своих выступлениях в центральной прессе Патриарх Алексий II. Громадный резонанс вызвала позиция владыки Вильнюсского и Литовского Хризостома, послужившая укреплению добрых отношений между литовцами и русскими, чуть было не испорченных окончательно незаконными действиями самозванных групп. Вот что написала мне о Хризостоме коллега из Литвы: «Он оказался вернейшим и чистейшим другом Литвы. Когда парламент был окружен и вот-вот должна была разразиться срежиссированная бойня, он находился в парламенте, с нами, с толпой, и призывал русских не поддаваться агитации Сатаны и не проливать кровь безоружных людей... голос отца Хризостома услышала вся Литва и многие русские».

Христианство несет в себе такой духовный заряд, который дает ему силу действовать вопреки любой идеологии, дает силу провозгласить свое несогласие с самым жестоким лагерным режимом.

Как только идеологическая система допускает несогласие с собой, она теряет всемогущество над умами. То, что под идеологическим гипнозом могло выглядеть хрустальным дворцом или хотя бы контуром будущего дворца, воспринимается адекватно — как негодный для жилья барак. И тем не менее привычка к утопическому мышлению остается. Разрушение утопии порождает утопические мечты о способах ее преодоления. Один из этих вариантов состоит в идее, что утопия дала нечто ценное, заслуживающее сохранения в дальнейшем. В действительности же «лучшее», что мы дали миру, это автомагистраль Калашникова, танки для Ирака и АЭС черновильского типа. Даже в области физико-математических наук, где положение советских ученых наиболее выигрышно, практически все новые направления возникли на Западе. Наши работы составляют малую долю среди наиболее известных научных публикаций, а цитируются всерьез лишь те, что появились в престижных западных научных журналах. Советская биология до сих пор еще не оправилась после лысенковщины, а положение общественных наук в СССР просто не подлежит обсуждению.

Лагерное общество делает из талантливых ученых, мечтающих об исследовании космоса или разгадке тайн материи, вполне приличных оружейных мастеров, как это произошло с Королевым, Курчатовым и другими. В сущности, наука развивается у нас лишь постольку, поскольку она служит военно-промышленному комплексу. Иного в лагерных условиях и нельзя ожидать. Лагерь-то работает главным образом на содержание охраны. Военно-промышленный комплекс пожирает интеллектуальные ресурсы страны, уцелевшие от идеологического подавления. И этих ресурсов уже не хватает даже на осмысление последствий столь однобокого развития науки, когда никто не считается с результатами самовольных экспериментов на АЭС, продажи оружия террористическим режимам и других самоубийственных действий. В сфере же искусства принцип жесткого, диктаторского управления творческим процессом и вовсе привел едва ли не к полной культурной деградации. В результате сегодня мы оказались на развалинах культурной традиции, полученной в наследство от дореволюционных времен.

В последнее время все чаще приходится слышать от иных политологов и публицистов предложения такого рода: давайте, мол, вернем наше общество к исходной исторической точке — к 1917 году, как будто бы лагерного режима вовсе не было. Сохраним державу при отказе от идеологии. Увы, думаю, это несбыточная мечта: нет уже того человеческого материала, из которого строилось когда-то могучее государство. Нет крестьянства, купечества, дворянства, интеллигенции, то есть не существует русского народа, составившего когда-то основу — стальной хребет Российской империи. На развалинах лагеря дворцов не построишь. Империя создавалась несколькими столетиями исторического развития, и вернуться в прежнее Российское государство за здорово живешь, простым пожеланием политического руководства никак не получится, как бы мы ни старались сохранить имперские территории.

Российская империя имела значительный кредит доверия у населения своих окраин. Были, конечно, и польские восстания и восстание Шамиля. Но подобные события, во-первых, воспринимались как чрезвычайные, а во-вторых, не приводили к массовым депортациям населения, насильственной русификации. Окраины сохраняли свой национальный облик, а Польша и Финляндия даже имели особый правовой статус — более демократический, чем в центре. Ныне после многих лет коммунистического геноцида перспектива остаться в либерализованном лагере мало кого соблазняет. Боюсь, удержать окраинные народы в составе единой империи можно уже лишь насильно, штыками. Только вряд ли это принесло бы реальные дивиденды центральным территориям. Вольно нам, конечно, мечтать о том, что вся российская история с февраля 1917 года — это только сон, приснившийся государю императору Николаю Александровичу накануне предполагавшегося отречения. Проснувшись наутро, он ужаснулся привидевшейся ему жуткой перспективе, остался на престоле и совершил множество полезных для страны политических деяний. Только не станем забывать: исторические мечтания — вещь бесплодная. Если мы и можем еще куда-либо вообще вернуться, то, во всяком случае, не в Российскую империю 1917, а тем более 1913 года. Скорее уж в разоренную, но сохраняющую надежды Россию 1613 года, когда на престол был возведен юный Михаил Романов. У той России не было ни Прибалтики, ни Украины, ни Молдавии, ни Кавказа, ни КПСС. Империю только предстояло строить, и целый ряд исторических ошибок еще оставался не совершённым.

Быть может, нас ожидает даже и восстановление монархии. Однако я сомневаюсь в ее способности сегодня вновь собрать и объединить под своим началом территории бывшей империи. Время для этого ушло, и, видимо, окончательно, безвозвратно...

### III. Куда мы идем?

Итак, либерализация лагерной системы не меняет ее основы и даже не делает ее существенно более пригодной для житья. Основное достижение либерализации — это представившаяся возможность всерьез задуматься над тем, во что мы, собственно, превратились и куда зашли. Для огромного количества людей в нашей стране открылось, что за пределами нашего социалистического лагеря не только существуют нормальные люди, но что и живут они гораздо в более человеческих условиях, чем мы. Пришло и массовое осознание того факта, что до октября 1917 года россияне вовсе не жили в условиях тяжелой эксплуатации и повального страха за свою жизнь и свободу. Эксплуатация, духовное подавление и страх пришли именно в октябре. Стало вдруг понятно, что ленинский расстрел и Кровавое воскресенье — отнюдь не норма дореволюционной жизни, но трагические события, возмутившие и всколыхнувшие в свое время всю страну. (Расстрел же рабочих в Новочеркасске у нас вообще не заметили, как не вызывали серьезного возмущения в СССР и другие массовые

убийства. Именно революция с ее апологией насилия приучила не замечать преступлений против народа, оправдывать их интересами государства.)

Всего за каких-нибудь пару лет оказалось, что русская культура создавалась не только теми, кто обладает пропиской на территории СССР. Более того, российская эмиграция сумела сохранить очаги культуры, практически разоренные в нашей стране. Эмиграция уберегла от уничтожения русскую религиозную философию, великую литературу. И главное — эмиграция оказалась той неотъемлемой частью России, которой удалось вырваться из лагеря. У нее были и есть свои трудности, свои идейные конфликты. И я вовсе не считаю, что именно эмиграция выработает способы спасения нашей страны. Но ведь заключенному всегда очень важно иметь на воле своих близких, от которых можно получить хотя бы привст и посильную духовную помощь.

Либерализация системы помогла нам освободиться и от неизбежности «двойного сознания», заставляющего принимать происходящее как должное и соучаствовать в укреплении лагерной системы хотя бы молчанием, подтверждающим согласие с царящей жестокостью. Такой принуждающей неизбежности больше нет (во всяком случае, мы должны исходить из этого). Пора наконец распрямиться, обрести человеческое достоинство. Задача в том и состоит, чтобы из бывших обитателей лагерной зоны, находящихся в преддверии антропологической катастрофы, превратиться в жизнеспособный народ или союз народов. Для России это означает прежде всего необходимость новой евангелизации — освоения заново христианских начал жизни, сделавших ее когда-то великой страной. Речь идет не о том, чтобы опять загнать всех жителей в Днепр, Волгу или плавательный бассейн «Москва» и совершить над ними таинство крещения. Для этого есть храмы и будут, я уверен, открываться новые. Сделать всех поголовно верующими христианами просто нереально. Огромные территории нашей страны являются традиционно исламскими, и нам необходимо искать пути дружественного взаимодействия различных религий в общей задаче духовного просвещения. Даже в традиционно христианских странах подлинные христиане всегда составляли меньшинство. Важно, что именно они определяли нравственный климат общества и возможности культурного устройства.

Вера и духовное освобождение даются не принуждением, а благодатью. Христианизация — это духовная, а не политическая задача. Она требует непрестанных и длительных усилий. Но у нас нет времени ее откладывать, ибо уже явственны приметы апокалипсиса. Уже нет времени для повторения провалившихся социальных экспериментов и политических амбиций. Спасать сейчас нужно не государство и не систему, а людей.

Апокалипсис — это не исторический и не политический прогноз. Это христианское видение смысла истории во втором пришествии Христа, «паки грядущего со славою, судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца!». Готовы ли мы предстать перед этим судом — вот вопрос, стоящий перед каждым из нас. Вопрос, который в конце концов определяет смысл наших действий здесь и теперь.



*Литература и искусство*

**СТРАННАЯ ВЕЩЬ, НЕПОНЯТНАЯ ВЕЩЬ**

Василий Аксенов. Ожог. М. «Огонек» — «Вариант». Советско-британская творческая ассоциация. 1990.

Василий Аксенов. Остров Крым. Роман. «Юность», 1990, № 1 — 5; М. «Огонек» — «Вариант». Советско-британская творческая ассоциация. 1990.

... **И** действительно странно. Почти одновременно временно легализованы два наиболее известных сочинения Василия Аксенова. Написаны были они друг за другом: «Ожог» (1969 — 1975), «Остров Крым» (1977 — 1979). Единство авторской манеры несомненно, слог Аксенова будет опознан всяким, кто помнит его давнюю прозу, — не так уж и изменился он в «подпольных» романах позапрошлого десятилетия. То есть, конечно, изменился: шутки — солонее, эпизоды — рискованнее, интимные описания — нагляднее. Но все же Аксенов есть Аксенов — та же фактурность, та же эlegantность, та же неровность, если не сказать расхлябанность, та же «потаевная», но такая очевидная — сентиментальность. Красивые супермены, взыскующие истины и расщвыривающие книшмя книшащих пошляков, прячущие за иронией и победительностью юношеский идеализм, время от времени срывающиеся в запой или истерику, с тем чтобы после вновь собраться, белозубо улыбнуться, применить прием каратэ и просвистеть последнюю музыкальную новинку. Слайдово-рекламная роскошь южных пейзажей, чередующаяся со слайдовой лиричностью пейзажей московских. Гротеск, но в меру. Цинизм, но напускной. Жизнелюбие, сквозящее в каждой строчке, даже если кошмар, даже если ненависть, даже если отчаяние дышат в словесном месиве, — все равно почему-то весело. Герои не перестают острить, вещный мир не перестает сверкать, автор не перестает «ловить кайф» от самого письма, а читатель — от самого чтения, хотя, отложив книгу, может почти мгновенно утратить прежнее чувство легкости, музыки, полета, счастливой необязательности, почти наверняка только что испытанное.

Аксенова хочется пародировать. И не потому, что к тексту его возникли претензии (хотя они могут и возникнуть), наоборот. Энергичная, искрящаяся, «резвоскачущая» проза подхватывает и несет читателя — ты вливаешься в промокивающий поток, ты уже не замечаешь, что от автора, а что от тебя самого, не думаешь, Аксенов ли подхватил на московской улице анекдот или улица «позаимствовала» байку у щедрого писателя, тебе хочется пере-

смешничать, дурачиться, петушиться, играть словами, чередуя сленг с жестоким романсом, приклатненный говорок с хрустальной лирикой, хочется играть в аксеновскую игру, а это значит, кроме всего прочего, утрировать и без того далеко не нейтральный тип аксеновской речи. Почти физиологическая радость охватывает тебя оттого, что словами можно описать все: пляж, автобус, драку, генерального секретаря, портвейн, черную икру, белую лошадь, зеленую траву, красные бригады, джазовую импровизацию, газовую зажигалку, бюстгальтер, авоську с апельсинами — и так по всем буквам алфавита, странам и континентам, цветам спектра и нотам хроматической гаммы. Слова блестят, как свежевывмытые фрукты или машины, слова звенят, как гитара и ручей, слова кочевряжатся и комикуют, как герои Аксенова. Словом: «Жизнь моя, милый друг, течет... в эмпиреях: барышень много, музыка играет, шпандарт скачет». И впрямь кино, в котором всегда лето.

Аксенов — поэт каникул, сознательного самообмана, которому подвластен едва ли не каждый из нас и без которого жить несколько затруднительно. Хочется праздника, и он создается из подручного материала, из наличествующих обстоятельств места, времени и образа действия. И чем сумрачнее, бесцветнее, тяжелее будни, тем ярче праздник — путешествие затоваренной бочкотары, творческий экстаз гениев из «Ожога», эйфория острова О'кей накануне превращения его в географический и политический полуостров в составе СССР. «Каникулярность» аксеновской прозы не в особенности сюжета — уж чего-чего, а нормального хеппи-энда в его книгах нет. «Каникулярность» — в слогe, в юморе, в легкости, в том, что даже убоодки и прохвосты выписаны с такой изобретательностью и красочностью, что порой (правда, не всегда) забываешь испугаться, в том, что игровое начало постоянно преобладает над психологической достоверностью. И что такое наши вакации? Если день прошел бездарно, то пойдем вечером в кино, а лучше даже и не вечером, а прямо сейчас. Поэзия каникул легко превращается в поэзию прогула, бегства, нарушения общественного приличия. В

«поздние шестидесятые» зыбкая грань, отделяющая каникулы от прогула, отпускника от беглеца, остроумие от антисоветчины, перестала быть зыбкой. Либо она исчезла согласно справедливым пророчествам антигеров предшествующей эпохи («Сегодня парень в бороде, а завтра где? В Энкаведе?»; знали бы, над чем шутили анонимные остряки, аксеновские почитатели и герои — товарищи-то сигнализировали вполне обоснованно<sup>1</sup>). Либо превращалась в железную стену, отделяющую чистых «отдыхающих» (ибо конституционное право на отдых священно, как и все остальные права, той же конституцией гарантированы) от нечистых «прогульщиков». Танки прошли по пражской брусчатке — среди прочего оказалась раздавленной и аксеновская бочкотара. Прежний баланс нарушился — прежний стиль остался.

Тогда Аксенов и написал два неподцензурных романа, дав полную волю словам и оставаясь самим собой — узнаваемым по лобой на глаза полавшейся фразе. День выдался настолько муторный, что писатель сбежал в кино, то есть запустил на своих страницах фабрику грез. Романы получились стилистически схожие, абсолютно для оных лет непреходимые, шокирующие тех, кто хочет быть шокированным. Всего этого и следовало ожидать. Удивительно другое.

Стоит только вырваться из приятного плена, покинуть иллюзион, вернуться домой, а проще говоря — закрыть книгу Аксенова, как ловишь себя на странном чувстве. Все стало иначе, чем во время чтения. Там мажорный карнавал, фейерверки и фиоритур — здесь...

Здесь — по-разному. И это еще удивительнее, чем катастрофический переход от пребывания в мире Аксенова к его осмыслению. Похожие романы (слог, секс, анекдот, буффонада, сатира, ненависть к советско-сановному быдлу) приводят к поллярным результатам. После «Ожога» — ожог. После «Остров Крым» — похмелье и неуважительная по отношению к автору радость: наконец-то присхали.

Впрочем, в меру ли я объективен? Не слишком ли доверился собственным давним пристрастиям? Проще говоря, не подвожу ли сейчас хитроумные подпорки под элементарное «нравится» («Ожог») — «не нравится» («Остров Крым»). Думаю, что нет. Сам прозаик достаточно ясно противопоставил свои книги, подав читателям вполне внятный смысловой сигнал заключительным абзацем романа «Остров Крым».

Итак, Крым оккупирован, героини похоронены — вечный и всезнающий гебешник, полковник Сергеев готов арестовать главного героя: «В душе его была тревога, он часто поглядывал на светящийся циферблат своих часов... Вдруг что-то случилось с современным механизмом: стрелки, секундная, минут-

ная и часовая, закрутились с невероятной скоростью, словно в бессмысленной гонке, а в рамках дней недели стали выскакивать одно за другим: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг...

Перед нами финал «Ожога», но в «теновом» варианте. В «Ожоге» главный герой, именуемый в последней части романа Пострадавшим, в самом оживленном месте Москвы неожиданно испытывает «чувство Близости К Чему-то», останавливается его автомобиль, замораживает его возлюбленного, а вместе с ними останавливается, замораживает, замирает весь движущийся многомиллионный город (нескончаемость предшествующего движения, так сказать, автомобильно-транспортная душа Москвы, запечатлена чуть выше с завидной экспрессией).

«Все смотрели в разные стороны, в разные углы земли и неба, откуда, как им казалось, должно было возникнуть Ожидаемое: в тучах ли, за гранью ли крыш, в странной ли раковине метро... Мгновенная и оглушительная тишина опустилась на Москву, и в тишине этой трепетали миллионы душ, но не от страха, а от Близости встречи, от незадуманного чувства.

Сколько это продолжалось, не нам знать. Потом все поехало».

В «крымском» романе героя вытеснил провокатор, абсолютное одиночество стало на место «одиночества со всеми», уость (Сергеев не видит, что происходит вокруг) сменила панорамную широту, время не замерло, но катастрофически убыстрилось вплоть до исчезновения. В Москве произошло чудо, осязаемое лишь на фоне обыденности, к которой и вернул нас писатель последней фразой. В Крыму чуда не произошло, произошло что-то другое. Может быть, конец света для отдельно взятого полковника госбезопасности, может быть, оповещение читателей: роман закончился, забудьте.

Контраст несомненно сознателен. Смешно полагать, что мастер, гордящийся и даже бравирующий своим мастерством, «случайно» повторил собственное финальное решение в «негативе». Попробуем разобраться, о чем же просигнализировал Аксенов.

«Ожог» — произведение откровенно лирическое. Это плач по ушедшей молодости, по тем вольным прогулкам, которым больше не суждено повториться. Плач неоткрыт от самоиронии, горечи, стыда и чувства потерянности, словом, всего того комплекса, который носит в себе главный герой. То, что герой этот то расщепляется на пять персонажей (физик Аристарх Куницер, врач Геннадий Малькольмов, саксофонист Самсон Саблер, скульптор Радий Хвастинцев, писатель Пантелей Пантелей, объединенные общим отчеством: Аполлинариевич), то становится неким Академиком (кличка, под которой известен герой в «Мужском клубе» — сборщик завсегдаев пивного ларька на Пионерском рынке), то отступает в страшное колымское прошлое (юноша фон Штейнбок), то получает симво-

<sup>1</sup> Так же обоснованно, как и те, что были тревогу три-четыре года назад. Знали, что делали, предсказывали, сегодня «этим» Гумилев понадобился, завтра они Солженицына попросят, а послезавтра на руководящую роль заманутся. Как в воду глядели.

лическое имя Пострадавший, то оказывается средневековым ландскнехтом, — лишь усиливает автобиографический план книги. Собственная судьба и судьба поколения предстают как вариации и тема. Этот конструктивный принцип несколько назойливо заявлен уже в начале романа, в главах с одинаковым названием «ABCDE», описывающих один и тот же эпизод, происходящий в одном и том же месте и в одно и то же время: Саблер (Куницер, Малькольмов, Хвастышев, Пантелей) встречается со своей любовницей Машей Кулаги и приятелем-американцем Патриком Танделжетом.

В дальнейшем каждый из героев-двойников обретает свою сюжетную линию: так Маша Кулага, дочка белого офицера, выросшая на Западе и время от времени наезжающая на историческую родину, оказывается любовницей Малькольмова (в полуфантастической ретроспективе мерцает сюжет о начале их любви — служба в ООНовском госпитале в какой-то из африканских стран, охваченной гражданской войной); к скульптору Хвастышеву цепляются потаскушки-гебешницы Кларка и Тамарка; с саксофонистом связан ленинградская история начала оттепели; еще один роман, на сей раз с доктором Ариной Беляковой, она же Марина Влади, она же колдунья из известного фильма; ну а Куницер влюбляется в лаборантку Нину, которая...

Вот в том-то и дело. «Которая», «который» или подобные союзные слова можно было неплести на каждое предыдущее предложение, потому что каждый из четырех сюжетов бесконечно ветвится, уходит якобы в сторону, все дальше — и вдруг побегі разных сюжетных линий вновь сливаются, и оказывается, что мы в толпе привычных лиц. В валютном «Национале», где Академик (перед тем как оказаться Хвастышевым) встретится с Кларкой и Тамаркой, гардеробщиками служат бывшие колымские палачи Чепцов и Лыгер. А дочь Чепцова (вернее, как выяснится позже, Лыгера, Чепцовым вовремя преданного и проданного) Ниночка — та самая любовь Куницера. А воскрешает Чепцова — почему и как он в очередной раз умер, рассказывать долго, — разумеется, Малькольмов, тратя на воскрешение палача магическую «лимфу-Д», недавно им изобретенную. И так далее.

Работают не только ассоциации — понятно, что каждый из любовных сюжетов оказывается частью биографии собирательного героя. Работает не только колымская ретроспектива: юноша фон Штейнбок, сын заключенных и воспитанник сталинского ада, — общее прошлое героев, их начало, а стало быть, и их единая судьба. Работает и изощренно сложный сюжет. Герои знают и не знают друг друга, они тождественны и различны, недаром же метят их единой меткой стукачи и начальники, недаром все они под подозрением и на грани срыва, недаром попадают они в один и тот же «Мужской клуб», в один и тот же пьяный загул с посещением Крыма (пока еще полуострова) и после новых приключений и катастроф — в одно и то

же пятидесятое отделение милиции, оно же «Полтинник»<sup>2</sup>.

Совершенно одинаковые ситуации! Подумаешь, сорвали выстраданный концерт. Подумаешь, оказалось, что ближайший друг долгие годы был осведомителем, а теперь, удрав на Запад, рассказывает о своих деяниях по Биби-си. Подумаешь, избрал бомбу для того самого государства, которое давит таких же правозащитников, как ты сам, некогда это движение начинавший, а сейчас оказавшийся из-за своих ученых заслуг вне прицельного огня власти. Подумаешь, оживил палача, того палача, что терзал самых близких тебе людей, садистски мучил тебя, а теперь насилует собственную дочь. (Впрочем, последнего обстоятельства Малькольмов не знает — знает об этом Куницер, но он Чепцова не оживлял.) Подумаешь... Ясно, что после таких «нормальных» дел увидишь один на пятерых сон — «кучу разноцветных котят на зеленой мокрой траве», клубок судеб — клубок судьбы.

А может быть, судьбы эти не различают антагонисты героев?

«Он меня не помнит! Это поразительно! Но ведь он же «работал со мной!» Я был объектом его главных забот! Его мучительных подозрений! Точкой приложения всех его талантов!» — размышляет герой, узнав в самолетном попутчике бывшего Главного Жреца. Но герой негодует на забывчивость бывшего властелина зря. Тот и прежде не слишком отличал Хвастышева от Малькольмова, Вознесенского от Рождественского, Неизвестного от Безмяяного. «Поедешь в Пизу, Пантелей, — хрипло говорит он, — устроишь там выставку, да полее, не стесняйся. Потом лети в Аахен и там на гитаре поиграй чего-нибудь крамольного для отвода глаз. А после, Пантелюшка, отправишься к засранцу Пикассо». Да, не различал Главный Жрец своих подопечных, а может, и прав был? Все, мол, одним миром мазаны: все на коротком поводке гуляли, все по мере сил укрепляли престиж родной власти, все юродствовали по дозволению и рвались в осведомители, вестимо за-ради «свободы и творчества».

Есть и такой смысл в горьком романе Аксенова, и немаловажно, что проблема эта была осознана, нарочито заострена и проговорена тогда, и не литературным соглядатаем, злорадно сплетничающим о чужих реальных и мнимых грехах, не помня о собственных. Проблема осознана и выговорена Аксеновым — одним из тех, кого обвиняют во флирте с властью люди жившие и живущие с ней в законной и нерушимой любви. Но все же суть неузнавания не в этом.

Дело в том, что ошибся как раз герой Аксенова: не бывший Главный Жрец был перед ним, а заурядный старый холуй, сопровождающий холуя молодого. В старом рассказе «За-

<sup>2</sup> Кстати, Аксенов не изменил своей романтической любви к милиции — вспомним очаровательного Ваню Ермакова из рассказа «Товариш Красивый Фуражкин» Милиционер — это вам не сотрудник спецслужб (наших или чужих), он ясен, весел и, в общем, всегда свой парень.

втраки 43-го года» Аксенов уже писал о подобной ошибке — неразличимы для его взгляда, для взгляда его друзей, близнецов, двойников все эти мучители, палачи, «потомки марсиан». Всем, кто вырос из юноши фон Штейнбока, в каждом гардеробчике и швейцаре мерещится магаданский садист с позабытой фамилией.

Аксенов действительно безжалостен и к палачам давней выковки, и к их новейшим — на пору создания романа — наследникам. Только совершенно не радует его эта безжалостность, жгущая сердца героев. Простить тех, кто убивал и мучил, кто искорежил судьбу страны и судьбы миллионов, он не может, что делать с собственной яростью и болью, он не знает. Знает, что убивать нельзя никого — потому и расходует Малькольмов свою «лимфу-Д», материалистический эквивалент души, на воскрешение Чепцова. Знает, что без возмездия не будет ему и его героям покоя — потому и погибает в итоге Чепцов, ведь нежити душа только помеха.

Выход ли это? Для беллетриста — наверное: на то и сюжет, чтобы развязывать мировоззренческие узлы, с которыми иначе не справиться. Но в том-то и сила «ожога», в том-то и жгучая его суть, что сюжетная, «игровая» развязка истории Чепцова не снимает глубинной боли, не отменяет неразрешимого для Аксенова вопроса и, что не менее важно, не имитирует его разрешения.

Навязать героям (а это значит выдать за свое убеждение) всепрощение Аксенов не может. Его грешники милосердны, но они не христиане, и прекрасно это знают. Мальчик фон Штейнбок может молиться, когда постигает его страшная беда — новый арест матери. Во взрослых ипостасях он светлеет душой, когда с ним говорит о Боге являющийся по мере психологической надобности и сюжетному произволу автора Саня Гурченко, таинственный герой магаданской эпохи, партизан, беглец, одолевший Берингов пролив, католический священник, успевающий и в Рим, и в Прагу 1968 года, и куда угодно. Но Саня Гурченко — мечта, если не вымысел повзрослевшего фон Штейнбока. Без Саня и его, сознаемся, приторных, хоть и сдобренных иронией (без этого у Аксенова нельзя!) толкований нет к Богу пути ни одному из пятерых аксеновских грешников. И вновь подчеркнем: этого писатель не скрывает.

Искренность, бывшая своего рода фирменным знаком авторов исповедальной прозы, высмеяна много раз. Смеется над ней и сам Аксенов. Но от этого роман его не перестает быть открыто исповедальным, более того — исповедальность педалируется, становится осознанным приемом. Впрочем, не Аксеновым открытым.

Был некогда в театре «Современник» спектакль по пьесе Аксенова, в котором Олег Табаков играл буфетчицу. Табаков в соответствующей униформе мелькает и на страницах «Ожога» — правда, здесь пьеса передана неназванному сочинителю, а alter ego Аксенова — Пантелей Пантелей — даже и в зал не пошел, остался в кабинете директора театра. Легкий автобиографический штрих должен **вызвать у читателей волну ассоциаций:** пьеса

называлась «Всегда в продаже», а это очень похоже на название польского фильма<sup>3</sup>, весьма популярного сначала в очень узких, а потом и во вполне нормальных кругах. Анджей Вайда в фильме «Все на продажу» рассказал о своей и своих актеров боли, наваждениях, мечтах, страхах — название стало безнадежным и единственно возможным творческим приемом. Его-то и взял у Вайды Аксенов.

Итак — «все на продажу». Я не случайно пытался обходить стороной одного из пятерых персонажей, живущего на равных с остальными в первой книге, доминирующего во второй, обреченного нести на себе груз несчастий и страстей всех пятерых — в книге третьей, что названа странной аббревиатурой «ППП». Далее дана расшифровка — «Последнее приключение Пострадавшего», но дана она для того, чтобы мы не поверили, а прочитали иное: «Пострадавший Пантелей Пантелей», а потом сказали про себя — «Пострадавший Василий Аксенов». «ПВА» звучало бы скверно: кажется, клей такой есть?

Аксенов отдал Пантелею свое колымское отрочество (кто из читателей «Ожога» не читал «Крутой маршрут» и кто не знает, что Евгения Гинзбург — мать Василия Аксенова?), отдал свою писательскую судьбу, свои отношения с властью, свои замыслы. Но все это мелочи. Главное в другом: он отдал Пантелею свою любовь, то есть написал обжигающую книгу о своей постыдной, прекрасной, неодолимой, комичной и победившей все любви. Написал так, чтобы читатель был уверен: Аксенов — это Пантелей. И, что гораздо страшнее: Алиса — это...

Жутковатый это жанр, «роман с ключом». Вот и в «Ожоге» узнаешь то одного, то другого реального персонажа из московской элиты — понимаю, почему медлили издатели, понимаю, почему лучшая книга Аксенова не появилась в каком-нибудь массовом журнале. Конечно, эстрадная броскость в изображении более чем известных людей пугает, конечно, слишком близки те не очень ивысканные сцены, что происходили в неназванном, но узнаваемом ЦДЛ. Обжигает. Подуть хочется.

Но перед тем как вступать за прототипов и дуть на горячее, задумаемся. Пощадил ли, приукрасил ли Аксенов себя? Себя, валяющегося в мусорном ящике, пьющего с подлезцами, кивающего начальникам? Себя, не находящего правильные ответы на вечные вопросы? Себя, жалкого и грешного? И не только себя — свою Алису?

Ст. Рассадин, в принципе высоко оценивший «Ожог», пишет об одном его эпизоде с приметным раздражением: «Герой наконец-то

<sup>3</sup> «Восточноевропейские» мотивы — как политические (прежде всего Пражская весна и позор августа 1968-го), так и культурные, играют в «Ожоге» значимую роль: Польша и Чехословакия такие же «окна в Европу», как и фильм «Колдунья», в котором тоже присутствует благодаря Марине Влади «вся география»: Запад, Восточная Европа, Россия. Тема «пограничного пространства» и в восточноевропейской и в балтийской огласовке вообще близка Аксенову, достаточно упомянуть его пьесу «Цапля», история замысла которой вмонтирована в «Ожог». Все это подкрепляет предложенную ассоциацию.

совокупляется с возлюбленной, а автор описывает, как и что именно у нее в таинственной, пардон, глубинке, деется. Это не любовь, даже не страсть физического акта, это познания выпускника медицинского вуза по части гинекологии» («Октябрь», 1991, № 1). Описание действительно шокирующее, и прав Рассадин: неэротическое, расчетливое, рассудочное. Так это же и есть ужас Пантелея, ужас самого Аксенова! Разве все то, что наговорено нам о его любви, — не кошмар, не бред, не стыдоба? Разве можно так о б э т о м? Разве это переносимо? Ведь Алиса не только вечная любовь Пантелея, девочка-полонянка из колымского ада, Россия и Европа, отражение всех тех героинь, что проходят по роману, покидаются их возлюбленными. Не только лучезарное видение, но еще и московская элитная шлюха, жена сановитого академика, гуляющая направо и налево, наконец, предательница — бросила же она Пантелея после драки в тени дома на Котельнической набережной. И это все о живом человеке? О любимой? Потому-то и «все на продажу», потому-то и «ожог». Та последняя беспощадность сочинительства, за которой — провал.

Аксенов в веселом, звонком романе заглянул в пропасть. Только потому не смотрятся в «Ожоге» чужеродными телами «колымские главы». Они органично сосуществуют с остальными, бросают особый свет на сегодняшние события и впитывают в себя энергию, идущую от современности. Взросление в сталинские годы, юность, связанная с «радужным» временем дозволенных «оттепельных» прогулок, зрелость, чреватая срывом, отчаянием, ожогом, — звенья одной судьбы, а двойники героя, похожие и одновременно непохожие на него, — участники единой драмы, в которой каждый совиновен каждому. Не только страшное детство и искристая молодость, но и общая вина (потому и ложатся в третьей книге судьбы четырех двойников на плечи Пантелея, потому и в ответе он за слезы вроде бы и незнакомой ему Ниночки Чепцовой) соединяет героев, вовлекая в их круг читателей, по мысли автора — людей того же поколения. Думаю, однако, что «рожденными в тридцатых» дело не исчерпывается: сколь ни важны в «Ожоге» реальные приметы реальных времен, сколь ни мощен отпечаток эпохи на страстях и страстишках, воспарениях и провалах Пантелея и иже с ним, роман не сводится к «летописи одного поколения». Потому что ожог испытывает всякий совестливый человек, как всякий совестливый человек проходит сквозь ледяной холод одинокого отрочества, сквозь эйфорию молодости с освобождающей любовью и компанейской безалаберностью, мажорным нонконформизмом и искренними надеждами на будущие свершения, наконец, сквозь горький момент отрезвления (вполне логично сопровождающийся порой беспорядным пьянством), тоски и безнадежности. «Красиво» (кто-то скажет — «пижонство») выстроенный игровой роман оказывается при ближайшем рассмотрении «открытой книгой», scandalальная хроника московской элиты таит в себе слово о человеке и его измотанной душе, крик боли от ожога

уходит в бесконечность, и минута очищения, посетившая Москву в финале романа, дарует надежду на обретение духовного простора, подобного тому, когда «вдруг стало видимо далеко во все концы света».

Вот этого-то простора и нет в романе «Остров Крым». То есть географически он куда как просторен: Москва — Париж — Нью-Йорк — Индия — российские глубинки и еще много разных местностей посещаются героями этого сочинения. К тому же к свободе перемещений, присущей жителям «буржуазного мира», добавлена свобода географической организации самого этого мира: исходный пункт романа — островное положение той территории, на которой оказалась в конце гражданской войны белая армия с черным бароном. Ну а географическая воля ведет к волености исторической — блестящей выдумке писателя, согласно которой белые, благодаря счастливой случайности, дурашливому подвигу английского лейтенанта Бейли-Лэнда отбили в 1920 году красных и зажили, после ряда необходимых злоключений, вкупе с англичанами и татарами, в свое удовольствие. Так вот и жили, пока не попали вновь в объятия советского медведя, а все из-за Андрея Лучникова — первого крымского супермена и главного героя «островного» романа.

Казалось бы, и парадоксальная игровая гипотеза, и сам «плавающий» остров подразумевают простор, а не нет. Самолеты летают быстро, герои бегают шустро, события развиваются резво — а теснотища невыносимая. Видимо, для простора нужны не только расстояния, но и что-то другое. Например, герой.

Герой вроде бы есть: ловкий, крепкий, свободолюбивый, православный, мучающийся и честный. И страсть у него тоже есть — к России. И сюжет у героя с Россией закручен лихо, не хуже, чем у него же со спортсменкой-сексапилькой-телекомментаторшей Татьяной Луниной, эту же Россию, видимо, символизирующей. Все вроде бы на месте. И все вкривь.

Легче уследить за неуловимыми перетеканиями друг в друга близнецов из «Ожога», чем припомнить последовательность эпизодов «крымского» романа. Прыгают перед глазами яркие цветные пятна: вот Лучников выигрывает автомобильную гонку, вот советские функционеры поддают в банке, вот славная постельная сцена, вот реализаций лучниковского права на ностальгию на российских проселках, вот и оккупация плавучего острова... Ничего не пропустили? Да пропустили, конечно — выгрезвитель, визит Лучникова к белому генералу, в тридцатые годы завербованному советской разведкой; драка с супругом возлюбленной; обсуждение судьбы острова «на самом верху» — московском, разумеется; секс-приключения Татьяны Луниной в Крыму; режиссер Гангут в антисемитской компании... Картинки в калейдоскопе крутятся, а в каком их порядке расставить — не все ли равно.

«Он (или я?) заходит в магазин «Суперсам» — фраза из «Ожога», немислимая в романе о покорении Крыма. Никакого «я» здесь нет и тем более нет никакого вопросительного знака. Есть «он», Лучников — спаситель ду-



битель, покоритель и есть его «сюжет», сводящий на нет счастливую свободу начального аксеновского озарения. Сюжет, мучительно продирающийся через вороха вещей, каскады приключений и горы идеологического хлама, но от того ни на минуту не обретающий непредсказуемости.

Сюжет прост: Лучников хочет спасти Россию, присоединив к ней Крым, захлебывающийся от избытка и разъедаемый изнутри демократическими неурядицами. При этом герой понимает, что и его самого, и его единомышленников-одноклассников, и сам остров ждут скорее всего очень крупные неприятности — порядки брежневской эры знакомы ему досконально. Обстоятельства до поры до времени Лучникову враждебны: островные «патриоты» устраивают охоту на журналиста-«большевизана»; кремлевские старцы отнюдь не мечтают о поглощении «Восточного Средиземноморья», как именуются на официальном новоязе остров Крым; оборотистый американский кинопромышленник Октопус-Осьминог готов сделать из горящей идеи эстетическую конфетку — фильм-супербосвик; ближайшие друзья, привыкшие верить в Лучникова и следовать за ним, с трудом прячут усмешки — слишком уж зациклился их корифей на идее Общей Судьбы. Но всякое противоядиеistine лишь на пользу американизированному страстотерцу — в конечном итоге его энергия подчиняет себе все и вся, и над деморализованно-благополучным, демократично-изобильным, расхристанно-счастливым островом вспыхивают волшебные буквы — SOS. Это значит — «Союз Общей Судьбы», ну а другую расшифровку, надеюсь, можно не выписывать, и дети знают, что такое SOS.

«Спасение» приходит в виде оккупации: согласно московскому лицемерию — это военно-спортивный праздник «Весна», согласно фантазиям обезумевшего от горя Лучникова — это съёмки Октопусом «суперфильма». Искусство превращается в жизнь, плюквенный сок течет кровью, вполне натуральным образом гибнут Татьяна Лунина и американка со славянскими корнями Кристина, две возлюбленные героя. Нет России, нет Америки, нет плавучего острова.

Впрочем, апокалипсис лишен своего главного свойства — всеобщности: сын Лучникова со своей американской женой, успевающей в самый ответственный момент родить ребенка («жизнь продолжится»), под руководством бывшего нарушителя границ московского хиппаря Бен-Ивана ухлывает на катере в далекие края. Симпатичные летчики с хармсовскими «парными» фамилиями, посланные уничтожить беглецов, обаятельно нарушают зловещий приказ:

« — Я ее (ракету. — А.Н.) вон туда шамальну,— сказал Макаров и показал куда-то в мутные юго-восточные сумерки.

— Ясное дело,— сказал Комаров.— Не в людей же шамаль».

«Воплотив в жизнь» бессмысленный приказ, отданный, кстати, исключительно в силу взаимной подозрительности добродушных, в сущности, армейцев, Комаров «ленгивым наглым тоном» докладывает по рации.

« — Вас понял,— ответил ему старший матрос Гуляй, хотя отлично видел на своем приборе, что задание не выполнено».

Это к вопросу о человеческой неистребимости: молодежь весело удирает в открыто-обжитый мир, свирепость российских законов компенсируется их неисполнением.

Жизнеутверждающий «молодежный» эпизод — лишь дополнительный блик в строго оформленном сюжете, выросшем из идеологической конструкции. «Остров Крым» — книга обреченности, отчет о капитуляции перед якобы однозначной историей. Поэтому меня удивляет, когда в романе видят доказательство преимуществ капитализма над социализмом (русские могут создать эффективную экономику, далее непременно что-нибудь про две Кореи и две Германии) или историю о грядущей гибели либерального Запада (тут что-нибудь про два Вьетнама и «разрядку»). Конечно, и первое и особенно второе (условно говоря — «солженицынское») прочтения не бесосновательны вовсе — даром что противоречат друг другу. Аксенов умный писатель, и чем болезненно-напряженной, чем однозначней его идея, тем больше иронических противесов появится в тексте, тем тщательнее будет проведена маскировка.

Только что из того? Каркас все равно проступает сквозь архитектурные излишества — читатель нынче иронично различает умело, нас этому учат со времен предисловия к «Герою нашего времени». И никакая «американизация» пространства не может скрыть «исконно-поисконной» проблематики романа о мифическом острове. Андрея Лучникова можно наделить внешностью с рекламы «Мальборо», он все равно будет «русским интеллигентом», с рефлексией, страстью «идти вразрез» и неизбежным чувством вины перед «народом», понятие о котором так же абстрактно, как понятие об «интеллигенции». За взыскующим родины плейбоем стоят тени кающихся дворян, чисто-глазых бомбометателей, сеятелей «разумного, доброго, вечного», реформаторов неререформируемого — одним словом, всех тех, кто в прошлом веке довел страну до ручки. (Надеюсь, что иронично чувствуют не только читатели Аксенова, но и мои читатели.)

«Остров Крым» построен на стереотипах «мифа о России»: страдающий революционер с чувством собственной обреченности; таинственная «масса», темная и просветленная одновременно; серафическая потаскуха, демонический чекист и как итог — непрременная участь страны быть «совдепией». Никто не хочет тоталитаризма, но все само идет к тому, а супермен Лучников с фатализмом Печорина избегает опасности для того, чтобы узреть катастрофу, почуянную им прежде других. Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет. Скучно. Скучно потому, что с самого начала все ясно. А коли так, то прахом пошла блестящая — не боюсь повториться — сюжетная завязка, из свободного чувства истории вырос фаталистический монстр. Стоило ли отбиваться в тысяча девятьсот двадцатом, чтобы сдаваться в тысяча девятьсот каком-то? Игра с детерминизмом совмещается худо — хуже, чем историософия с вестерном.

Плоха не гибридизация жанров — плоха идеологическая заданность; плоха не «мальборообразность» Лучникова, а простота его внутреннего мира; плохо не то, что Аксенов приглядывался к стереотипам западной культуры, а то, что не смог отказаться от вполне отечественных стереотипов в представленных о российских материях.

«„Ожог” и „Остров Крым” — прямо-таки вопиют о том, что их автор собирает чемоданы», — написал в «Литературном обозрении» (1991, № 2) Виктор Топоров. С точки зрения фактографии суждение бездоказательно, с точки зрения этики — ущербно, главное же — к делу никак не идет и даже его запутывает. Взгляд на Россию извне, отмеченный В. Топоровым в обоих романах, есть симптом сверхзахваченности «родной спецификой».

Аксенов мучается «русской загадкой», не замечая, что она задана культурной традицией, а его мучения вписаны в сверхсценарий той же традиции. Вместо того чтобы действительно оторваться от набора стабильных параметров национального мифа, писатель пробует завалить старую конструкцию американским шприцпотребом.

Не в том беда, что партократы и антисемиты изображены без психологических нюансов (диалектика души никогда не была прерогативой Аксенова), — беда в том, что писатель перестал ощущать ограниченность собственного метода, выронил проблему, осознанную в «Ожоге». Не в том беда, что гремят рок-музыка, раскручиваются постельные приключения и пересказываются анекдоты, — беда в том, что все это повторяет «Ожог», а тяжесть «глубокой концепции» не дает шутке стать шуткой. Не в том беда, что Аксенов ироничен, — беда в том, что ирония его слишком серьезна. Нет простора. Нет непредсказуемости. Нет лирики.

Самое интересное, что «крымская» катастрофа (имеется в виду поражение романа, а не островной республики) Аксеновым, видимо, была по-своему осознана уже в ходе сочинения. Отсюда вся кинематографическая линия и безумие Лучникова, увидевшего в оккупации киносъёмку. Аксенов заранее испугался, что роман его прочтут как чистую развлекуху. Боялся правильно: так и смотрится он в трехмиллионной «Юности» с иллюстрациями Михаила Златковского. Страх этот и заставлял накачивать историософией подтекст, утяже-

лять символику, клепать тоскливые пейзажи российского бездорожья.

Не помогло. Перекос не выправляется другим перекосом. Получилось два романа — один для «октопусовского» фильма и метропного чтения, другой — для умудренных интеллектуалов. Один — совсем исхирикавшийся, другой — серьезный до скудворота. Одиссей прошел между Сциллой и Харибдой, Аксенова чудовища разорвали пополам. Может быть, поэтому в романе остался только «он» — авантюрный эквивалент героя, а как напоминание об улетевшем «я» — шум неукротимого словесного потока, несущего и несущего читателя к финальному выбору: легкое или тяжелое похмелье? слабая, но приятная замутненность или мучительная мигрень?

Большинство выбрало первый вариант. У меня получилось иначе, и, естественно, я испытываю неловкость. Может, напридумал лишнего? Может, не так уж фатален мир пришвартованного к СССР Острова? Может, возможны варианты?

Оказывается, да. Из рецензии Виктора Малухина («Знамя», 1991, № 2) я узнал о сегодняшней версии романа — Аксенов переработал его в киносценарий с новым финалом. Покорение Крыма здесь меняет ситуацию в сверхдержаве и возносит Андрея Лучникова на московский олимп, откуда он и вещает: «Братья, сестры, друзья! Как члену Крымской Думы и Председателю Всесоюзного специального комитета мне выпала историческая честь провозгласить Новую политику нашей Великой нации! Имя ей — Перестройка!» Час от часу не легче.

Или и впрямь мы обречены на вечное мифологическое блуждание меж реформенных и контрреформенных сосен, натужно-ироническое повторение пройденного под залихватский мотивчик «Все действительное — разумно!». Или и впрямь прогулки наши ограничены жестким поводком залежалых до-модельных «концепций»? Или и впрямь выше головы не прыгнешь, а за волосы себя из болота не выгатишь?

Похоже, что так, коли мы предпочтем «Остров Крым» «Ожогу», историю в комиксах — поэзии и свободе, а вычитанное во вчерашних газетах «завтра» — тому завтра, которое все-таки наступит. Странная вещь, непонятная вещь...

Андрей НЕМЗЕР.

\*

## ПОЭТИКА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Александр Иванченко. Автопортрет с догом. Роман, повести. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1990. 400 стр.

Александр Иванченко. Путь Шестого патриарха. «Литературная газета», 8 августа 1990 года.

**А** в самом деле: кому в последнее время повезло так, как Александру Иванченко? Провинциал — но замечен и признан столичными авторитетами после первой же крупной

публикации (роман «Автопортрет с догом»), да еще и в провинциальном опять-таки журнале «Урал». Успех? Но почему тогда так трудно гробятся к печатному станку неизвестные

читателю романы Иванченко — «Солнечное сплетение» и «Монограмма»? Почему в его новую (вторую) книжку, изданную в родном почти Свердловске (сам Иванченко живет в Красноуральске), попали лишь публиковавшиеся уже, обкатанные на журнальных страницах тексты? Чем все это объяснить?

Объяснений можно отыскать немало. Но вряд ли все сведится к сугубо внешним причинам (специфика литературной ситуации, жизнь вдалеке от столичных редакций и т.п.). Давно замечено, что поэтика автора как бы в свернутом виде содержит в себе «программу» дальнейшего существования его произведений в культуре и истории.

В этом смысле поэтика прозы А. Иванченко — задача со многими неизвестными. Вот, к примеру: что общего между артистически-ироничным стилем «Автопортрет с догом», холодноватой притчевостью в кафкианской манере «Техники безопасности-1» и жестким натурализмом повести «Рыбий Глаз»? Если же дополнить этот ряд текстами, оказавшимися за пределами рецензируемой книги (повестью о детстве «Яблоко на снегу», выдержанной в тоне как бы наивной исповедальности; романом «Солнечное сплетение» с его надрывно-болезненным потоком сознания; романом «Монограмма», один из пластов которого целиком состоит из перифразов и переложений сакральных буддистских поучений), то поневоле разведешь руками от этой стилиевой пестроты.

Повесть «Техника безопасности-1» заканчивается своеобразной автоаннотацией: «Так в... учении о технике безопасности, книге о стиле, притчах о человеке гласит парабола первая...» «Книга о стиле» — может быть, это подсказка? Но какая странная: ведь нигде в повести не идет речь о стиле. Все совсем о другом, о том, как мучается непонятной виной некий человек, едущий в поезде. Как скрывается он от людей в черном — исполнителей преступной воли государства («государственных преступников» по определению автора) и как наконец, избежав всех опасностей, он обретает то, чего ему так не хватало, то, без чего он испытывал мучительную неполноценность, — наручники. Лишь надев их, он, как поясняет сам А. Иванченко, «с облегчением вздыхает и обретает некую мнимую свободу». Этот человек страдает не оттого, что его преследуют (да и преследуют ли?), но оттого, что его несвобода неокончательна, что его жизненное пространство незамкнуто. И только в наручниках он, никем не арестованный, адекватен сам себе. Наручники освобождают от неопределенностей, страданий, опасений. Сомнительная, конечно, но свобода. Абсолютной же свободой, в понимании героя, обладают только «государственные преступники» — в этом их отличие от прочих смертных. Здесь типичное для массового сознания представление о свободе как о неограниченном произволе. На мой взгляд, это полнос, от которого Иванченко неизменно отталкивается, непрерывно помня о его реальности.

Но есть в «Технике безопасности-1» и другая версия свободы. Как ни парадоксально, возникает она в сценах с узником, обреченным на долгие тюремное одиночество. Этот узник

духовно обжил свою камеру, он превратил ее в свое единственное пространство, он научился видеть в трещинах на стене «чудо архитектуры», он понял красоту узора паутины. Это все не избавляет его от тоски по воле, он не обманывает себя миражами. Но «он даже не знал, хочет ли он теперь той свободы, той видимой, внешней, отвратительной свободы, в которой он почувствовал бы себя теперь узником. Не разорвало ли бы оно его, это разреженное пространство той маленькой свободы, ибо разница давлений между его внутренней и внешней свободой была бы огромна».

«Техника безопасности-1» закончена в 1979 году, и вряд ли можно заподозрить Иванченко в желании поэтизировать тюрьму. Нет, он о другом пишет — о том, что делает человека внутренне свободным даже в тюрьме; о великой способности человеческого воображения и таланта наполнять чуждое пространство своей музыкой, превращая тем самым чужое в свое, незаемное, истинное. Не здесь ли, в повести семидесят девятого года, выросло то, что через десять лет Иванченко не без жесткости сформулирует в ответах на анкету «Вопросов литературы» (1989, № 11): «...необходимо накопление личной свободы (рядка автора. — М. Л.); «темницы рухнут» не по мановению доброго царя или другого мифического освободителя, то есть не по воле извне, а под действием расширяющейся вселенной человека, под давлением развивающейся свободы разума». И даже так: «...несвобода внешняя существует лишь постольку, поскольку существует внутренняя несвобода».

Так, может быть, повинуюсь тому же «категорическому императиву», и сам Иванченко безоглядно бросается каждый раз заново отыскивать язык, систему образов, манеру и тон повествования единственно для того, чтобы осваивать чужое духовное пространство, превращая его в свое, будь то внутренний мир современного отшельника-интеллигента («Автопортрет с догом») или фантомы и гротески «тюрьмомороженного» сознания («Техника безопасности-1»), морок полуживотного существования («Рыбий Глаз») или духовный космос буддистской философии и культуры («Монограмма»? Может быть, именно так художественно реализуется максимальная этическая программа «накопления личной свободы»? А главным накопителем в этом случае оказывается, конечно, не столько литературный персонаж, сколько сам автор.

Но как с этой стратегией согласуется избранный Иванченко художественная тактика? Вот еще одна загадка его прозы. Ведь, несмотря на стиливые и стилистические скачки, этот прозаик остается верен давно уже найденному им принципу изображения человека и мира вокруг него. У Иванченко никогда нет прямого портретирования души и жизни человека — прямое описание, как правило, замещается проникновением в пластику жеста, в интонацию и манеру речи, в стиль быта, в вещи, окружающие человека, даже в имя героя, вернее, в те ассоциации, которые оно вызывает. Этот прием распространяется и на композицию произведений Иванченко: скажем, о внутреннем мире главного героя «Автопортре-

та с догом» мы узнаем скорее опосредованно, чем прямо, — через то, как он сам описывает знакомых, жену, собаку, приемную дочку. О его же душевной боли мы догадываемся по шутливому рассказу, «написанному на Центральном телеграфе». В «Технике безопасности-I» фантазматические гротески замешают, а точнее сказать, укрупненно материализуют мимолетные — но важные — состояния психомоторики персонажа. В «Рыбьем Глазе» отвратной картиной внешней судьбы Пудова замещено искреннее отчаяние этой когда-то живой души.

И всегда так. Никогда — напрямик.

Вероятно, таким образом Иванченко защищается от агрессии стереотипа, всегда прущего напролом, а шире — от всего чужого, холодного, «государственного», банального, не замечающего внутренней стороны явления, довольствующегося общеизвестным, а значит, в конечном счете от всего, покушающегося на внутреннюю свободу авторского мировосприятия. Иванченко очень настойчиво старается прорвать оборону стереотипов. Но как? Двигаясь как бы окольно, как бы от частностей отталкиваясь, он изнутри одухотворяет их, насыщает своими ассоциациями, фантазиями, импровизациями — и тем самым незаметно, вроде как черным ходом, проникает в чужой мир, уже подчинив его замкнутые в себе законы своей художественной логике. Не всегда это получается, согласен. Но замысел всегда таков. Причем характерно, что ассоциации и комментарии Иванченко, как правило, эстетически акцентированы: он как бы испытывает своего персонажа и его автономную реальность на совместимость с красотой, и если совпадение возникает — это и есть момент истины, ведь именно так рождается посреди холодной пустоты «счастливый, выхваченный из вечности образ, который больше никогда потом не повторился, но который зато никогда потом и не был опровергнут ничем...». Это еще и миг высокой свободы, ибо только тут автор достигает слияния мира души с миром действительным. Для Иванченко путь к этой гармонии лежит только через поэтику. «В конце концов, справедливое, доброе, гуманное — это только частный случай эстетического» — на этом Иванченко стоит твердо.

Вполне естественно, сам процесс добывания автором своего из чужого, сам путь эстетического высвобождения духовной энергии, запертой в узких рамках привычного, общепринятого существования, становится важнейшей темой всей прозы Иванченко. Наиболее очевидно этот сверхсюжет проступает в «Автопортрете с догом»; потому-то в этом романе так сильна театрализованная рефлексивность повествования, так настойчива эссеистическая тональность, так изыщны волные отступления от фабулы, прежде всего обнажающие собственно поэтическую механику письма. Более того, в «Автопортрете...» письмо, сам текст оказывается единственным, в сущности, «духовным плодом» всей жизни талантливого «лишнего человека», то есть письмо, эстетически оправданное слово, опять-таки замещает жизнь героя романа.

Вместе с тем, как ни странно, с постоянством звучит в прозе Иванченко и мотив сомнения в возможностях слова и искусства вообще. «Пустой лист, голое пространство, абсолютное молчание мне всегда казались бесконечно более содержательными, чем выраженное посредством их искусство, ибо все воплощенное, по существу, является лишь ограничением нашего сознания» — так размышляет герой «Автопортрета...», и, похоже, Иванченко подарил ему собственные любимые воззрения. И здесь нет парадокса или непоследовательности. Поэтика Иванченко вызрела на почве безвременья, и удушливость этой более чем реальной и более чем неуязвимой исторической атмосферы вынуждала и вынуждает нагружать художественность заведомо непосильными задачами; поэтика оказалась единственной на д е ж н о й средой, как бы по самой своей природе наиболее защищенной от окружающего хаоса, фарисейства и распада. Именно слово у Иванченко призвано сделать то, что почти невозможно в реальности, — духовно завоевать, гармонически осмыслить чуждое пространство существования, пусть даже самое маленькое и тесное, но жизненно необходимое как пространство внутренней свободы. То есть поэтическое слово принимает на себя груз философии жизненного поведения. Это, конечно, придает авторскому слову глубину. Но это же и подчеркивает ограниченность собственно эстетических средств. Потому что все-таки для философии, а тем более конкретной программы жизненного поведения нужны какие-то иные, и главное, практические, не словесные лишь опоры. Но какие?

А, скажем, тот инструментарий, что так тщательно отработан и выверен в культуре буддизма и в других религиозно-философских системах Востока, не подойдет?

Так примерно в общих чертах я объясняю себе логику, которая подвела Иванченко к последнему по времени написания произведению — «Монограмме», «буддистскому» роману воспитания. Отрывок из этого романа уже опубликован в «Литературной газете», весь роман вскоре должен быть издан «Советским писателем». Поэтому позволю себе несколько предварительных замечаний. В «Монограмме» в отличие от «Автопортрета...» в центре не столько процесс все более и более герметичной изоляции внутреннего «я» от жизни и от судьбы, но прежде всего конкретные способы с о з и д а н и я глубинной, духовной сути человека. Буддизм и буддийская философия возникают в романе как метафора совершенно парадоксального разрешения этой задачи. Более того, буддийская философия и даже непосредственная практика медитаций рисуются в романе чуть не как единственно возможный в сплошь отчужденной действительности вариант «накопления личной свободы», кропотливого взращивания экзистенциального «я» — не через обособление от мира, а через максимальное, самоотреченное растворение в нем так, чтобы весь мир стал плотью и существом «я». Вот почему история жизни героини рассказа Лиды, ее раскулаченной и сосланный матери нередко выглядит в «Монограмме» как своеобразные иллюстра-

ции — наглядно-зримое подтверждение истинности буддистских сутр и иных текстов, обильно цитируемых Иванченко. А сливаются две эти линии — линия Лиды и философский сюжет, связанный с буддизмом, — в новелле о Шестом патриархе (ее-то и напечатала «Литературка»).

Остается ли Иванченко верен себе в новом романе? Безусловно. Находит ли он новые убедительные аргументы в пользу своей художественной философии? Очень сомнительно. Потому что, по-моему, сила Иванченко в поэтике, а не в технике медитаций, в образах, а не в образцах для подражания. Но разве его одного сдвинувшееся время подтолкнуло к прямому слову поучения и разве не может это слово оказаться целительным для чьей-нибудь истерзанной отчаянием души? Разве один Иванченко, а не вся «новая волна» ощущают сегодня кризис художественности, остро переживая тот факт, что даже слово, вошедшее в себя щедрый опыт разных языков культуры (таково и слово Иванченко), все-таки не в состоянии стать реальным противовесом расширяющемуся хаосу духовной безъязыкости, стихии экзистенциального мрака?

Можно соглашаться и не соглашаться с позицией Иванченко, можно осуждать и одобрять совершенный им выбор. Важно понять, что сам этот выход за пределы поэтики не произволен, но по самому серьезному счету закономерен. Он необходим, хотя и необязательно плодотворен. Ведь вера в слова в тех или иных ее версиях — крайне существенная часть утопического сознания. Может быть, именно поэтому крах тоталитарной антиутопии совпадает с трагическим ощущением исчерпанности не только традиционных форм культуры, но и традиционных, священных, представлений о литературе и ее месте в жизни общества. Иванченко и другие авторы «новой волны» первыми осознали приближение

этого «прерыва постепенности». Осознали и взяли на себя тяжкую и неблагодарную задачу — строить мост через этот провал, через эту трещину, двигаясь в неизвестность, порывая с традицией, насмешничая над ней и в то же время постоянно оглядываясь на нее и сверяясь с ее опытом, то и дело срываясь и возвращаясь на исходную точку...

Естественно, каждый строит этот мост по своему проекту и в своем направлении. Не исключение и Иванченко. Причем та художественная формула свободы, которую он так настойчиво воплощает в своей прозе, странно диссонирует с сегодняшними (именно сегодняшними, «постсоциалистическими») общепринятыми представлениями. Он учит одушевлять и тем самым насыщать свободой свой привычный обжитой мир. А мы в буквальном смысле заново открываем Америку. Он моделирует в своей поэтике путь самопостроения личности по закону красоты. А мы почти готовы вновь запеть «отречемся от старого мира...». Не потому ли так вызывающе звучат в нынешнем общественном контексте слова Иванченко о том, что «накопление... личной свободы может произойти только в результате отказа от желаний, во всяком случае через решительное сокращение потребностей, что уже напрямую связано с отказом от материалистического взгляда на мир», так как «всякий... интеллектуальный и духовный выход человека вовне означает угнетение внутренней свободы, а в итоге — духовную смерть»?

Он рискует быть не понятым и, что еще хуже, не услышанным. Он не боится быть неуместным. Его поэтика органически отторгает то, что он сам называет компромиссами с духом. Что ж тут поделаешь? Вероятно, для таланта это нормальное состояние...

**Марк ЛИПОВЕЦКИЙ.**

Читайте в 1992 году:

**ДАНИИЛ ХАРМС**

«Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние»

Записные книжки. Письма. Дневники. 1928—1939.

Публикация Владимира Глоцера.

## КОРОТКО О КНИГАХ

\*

**I. УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР. Притча. Роман.** Перевод с английского Д. Вознякевича. «Подъем», 1989, № 10 — 12; 1990, № 1 — 5.

Воронежский журнал «Подъем» сделал подарок русским ценителям Фолкнера, опубликовав хороший и полный перевод малоизвестного у нас романа «Притча». Познакомившись с книгой, читатель узнает, что американский писатель был не только певцом Йокнапатофы, «большой реки, тихо текущей по равнине». Прочная привязанность к «глубинке» не мешала автору осваиваться в мировой культуре. Недаром критики сравнивают его то с Руссо, то с Бальзаком, то с Диккенсом, то с Достоевским, то с Джойсом.

«Притча», законченная в 1953 году, как бы подводит итоги целому направлению западной литературы, вызванному первой мировой войной и представленному романами Барбюса, А. Цвейга, Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя... Вообще-то может возникнуть вопрос: почему после второй мировой войны художник обращается к предшествующей ей первой, к исчерпанной, казалось бы, теме? Есть тут и чисто личная причина — Фолкнер и начинал свое творчество с романа «Солдатская награда», героем которого был человек, искалеченный в боях 1914—1918 годов. Главное же в том, что романист чувствовал: первая мировая фактически определила судьбы всего XX века, понять ее значит проникнуть в тайны нашего времени. Вот почему его роман назван так многозначительно (и вместе с тем так просто) — «Притча». Это книга не только о войне — хотя и о ней в первую очередь, — но и о всей жизни человеческой, о разных народах и странах, о тысячелетиях человеческой истории. Отсюда типично фолкнеровская громоздкость повествования, раздражающая подчас пышно-неторопливая развернутость описаний, пространность риторических речей и философских диалогов персонажей. Любой сколь угодно «мелкий» тип в романе — это образ, обремененный грузом ассоциаций-метафор исторического, социального, религиозного, культурного плана. Какой-нибудь сержант из войсковой шеренги, появляющийся на мгновение в первой главе книги, описывается так, что мы видим в нем сразу и живого человека, и «эмблему» воина, его архетип, каким он был еще во времена Цезаря, при Наполеоне и т. д.

В основе романного сюжета — сниженный, моментами доходящий и до дерзкой профанации парафраз евангельской жизни Христа — сколько уже было подобных переделок в мировой литературе! На этот раз в роли «Сына

человеческого» выступает незаконнорожденный сын генерала и французской крестьянки, капрал Стефан, который взбунтовал свой взвод против войны. Его ждет казнь по приговору военно-полевого суда. Последний разговор отца с сыном передает в концентрированной форме смысл романа: это диалог оппонентов-единомышленников, которые в равной мере трагически обречены, но и парадоксально преисполнены надежды «паче чаяния». Умудренный жизнью старый генерал с горечью толкует о том, что агрессивность — это такой же неизбывный признак человека, как и пол. «Характерным свойством войны является ее гермафродитизм: первопричины победы и поражения кроются в одном теле... это наиболее расточительный и роковой порок». Здесь звучит голос самого Фолкнера, уточняющего мысли, высказанные им в Нобелевской речи: «Я верю в человека в пределах его способностей и ограниченности... он должен выстоять, пока хотя бы не изобретет, не придумает, не создаст для своей замены лучшего орудия, чем он сам». И далее завет отца идущему на казнь сыну: «Ты будешь богом, властвующим с помощью гораздо более сильного средства, чем обыкновенные страсти и стремления человека».

Тело расстрелянного капрала Стефана вскоре исчезает из гроба (подобных прямолинейных переключек с Новым заветом в романе много), а затем оно найдено и перевезено в Париж, в могилу Неизвестного солдата. Бунт против войны, попытку братания воюющих армий осуществляет человек, увлеченный примером Стефана, ревностный поклонник его, похожий по одержимости своей верой на апостола Павла. Он не имеет имени в романе и называется связным — по военной должности. Но в этом слове и символика — связь между людьми высшего духа, протестующими во имя добра против насилия. Связной страшно искалечен при артобстреле, его жестоко избивает толпа около могилы Неизвестного солдата, ибо он выкрикивал антимилитаристские лозунги. Но он смеется в лицо «патриотам» и гордо провозглашает финальные слова романа: «Трепещите. Я не умру. Никогда». Есть в этой фигуре что-то от эффектных поз и фраз героев Гюго. Можно находить в романе и еще какие-то стилистические несовершенства, композиционные излишества (например, историю о хромоногой лошади — чемпионе скачек, которой место скорее в сборнике рассказов Фолкнера) и другие недостатки. Но все они — вкупе с несомненными достоинствами книги — образуют типично фолкнеровский поток мощной прозы, испол-

ненной страсти и огня, неутолимого желания разбудить в людях доброе, подвинуть их к поискам света.

**II. ГЕНРИ МИЛЛЕР. Тропик Рака. Роман. Перевод с английского Г. Егорова. «Иностранная литература», 1990, № 7, 8.**

О романе Джека Линдсея «Страстная пастораль» (1951) один польский критик выразился так: «Вот наконец настоящая марксистская порнография». Но далеко ей до «Тропика Рака» (1934) американца Генри Миллера, бывшего под цензурным запретом в США вплоть до 60-х годов. Вот уж это всем мениппеям мениппея — с чудовищным разгулом «материально-телесного низа», с «фаллическим» юмором и абсолютной серьезностью автора, пытающегося сказать последнюю правду о мире. Язык не поворачивается называть такую книгу романом, хотя бы в том смысле, какой вкладывал в этот термин О. Мандельштам («...композиционно замкнутое... повествование о судьбе одного лица»). Нет, это скорее саморазвертывающийся по-структуралистски текст о тексте и об авторе этого текста, пытающемся своим отчаянным «письмом» преодолеть себя, а заодно и взорвать мир и тем самым обновить его.

Генри Миллер — отчаянный анархист, плевать он хотел (если смягчить его крепкие выражения) на капитализм и социализм. Но он обожает жизнь и страшно переживает за нее. У него «скромное» желание: «записать все (! — В. В.), что было опущено в других книгах» мировой литературы, создать «новую Библию — Последнюю книгу» с такой «начинкой», «чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей». Увы, автору не суждено сотворить этот «супертекст», хотя чувствует он в себе силы необъятные, диапазон его культуры, творческих усилий грандиозен. Своими вдохновителями в литературе он считает Рабле и Уитмена, ему близки и дороги Роден, Ван Гог, Матисс, Пруст, Достоевский, античное «досократовское» искусство с его трагикомедийными персонажами, «полукозлами, полутитанами».

Все громы и молнии, которые мечет новоявленный «полутитан» Миллер в окружающее его прогнившее общество, оборачиваются в лучшем случае огнем сатирических острот, блестящими «смачного» юмора, а в худшем — вереницей непристойных эпизодов, надоедающими уже к концу книги портретами русских, еврейских, французских шлюх. Конечно, талант писателя велик, его художественному темпераменту можно лишь позавидовать. Но до «новой Библии» дело явно не доходит.

В чем же причина того, что не решил он своей сверхзадачи? Очевидно, в том, что автор, как и тысячи его коллег по искусству, не мог преодолеть ту великую и страшную силу, которая в философии стала называться с XIX века отчуждением. Оно, оторвав человека от природы, вергло его в «первородный грех» утвования и гордыни, все разрастающийся по мере усложнения нашей жизни, упрочения

всякого рода перегородок — классовых, национальных и других — между людьми.

Миллер понимает, что «идеи должны побуждать к действию, но если в них нет жизненной энергии, нет сексуального заряда, то не может быть и действия». Эта мысль взята писателем у Платона, толковавшего об эросе — родителе мысли. Однако наивный американский «провинциал», увлеченный своими мужскими подвигами в парижских борделях и в мире богемы, не желает замечать, что современный эрос давно стал рынком, местом купли-продажи, деформирующим и любую идею и носителя ее. Точнее говоря, художник видит все уродство окружающего и должным образом клеймит его, но настолько велико для него «материально-телесное» обаяние этой самой действительности, что автор, без остатка погружаясь в нее, то и дело забывает о им же прокламированном титанизме духа.

Тем не менее сам процесс неразрешимых борений мысли и плоти, одолевающих автора, и становится текстом в книге Миллера, порождает лучшие страницы этого неровно написанного произведения. С каким блеском воссоздает писатель символическо-реалистический (и в чем-то сюрреалистический) образ Парижа с его гротескной красотой и безобразием, светом и мраком, с его дворцами и притонами, сверкающими улицами и грязными закоулками! Этот Париж — «девка» с ее вульгарно-неотразимым очарованием и, если сконцентрироваться на синекдохе, с ее «причинным местом», которое в свою очередь вырастает у автора в гиперболу «черной дыры», могущей поглотить мир. Бесподобен юмор художника, по-раблезиански (или, если хотите, по-бахтински) снижающего любую высокую топику. Особенно хорош эпизодический образ индуса, сторонника Ганди, который не понял, для чего предназначено биде. И эта «скатологическая» деталь служит трамплином для иронически-горькой мысли автора о проблематичности Абсолюта в нашей жизни.

Следует поблагодарить «Иностранную литературу» за то, что выбор журнала пал на отличный перевод этого знаменитого романа, сделанный в 60-е русским эмигрантом Георгием (Джорджем) Егоровым.

**III. ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС. Любовник леди Чаттерли. Роман. Перевод с английского И. Баргова и М. Литвиновой. «Иностранная литература», 1990, № 9 — 11.**

Эта книга тоже из ряда «реабилитируемых» у нас. В свое время ей пришлось бороться за место под солнцем и на родине, в Англии 20 — 30-х годов, еще не успевшей полностью расстаться с викторианской моралью. Осуждался роман и М. Горьким, назвавшим Лоуренса «бездарным попом» половой морали. «Это очень плохо сделанная, очень скучная книга... — утверждал автор «Жизни Клима Самгина». — Ее соль — откровенное и детальное описание полового акта... оно вызывает чувство недоумения какой-то внутренней неинтересованностью автора и отсутствием в нем эротического пафоса».

Верны или нет претензии Горького, но давался роман Лоуренсу тяжело. Автор трижды переписывал его, и третий вариант оказался последним произведением писателя. Опубликованная в 1944 году вдовой художника первая версия книги по-своему интересна, но явно слабее «канонического» текста.

Нынешних читателей уже не так скандализуют «смелые» страницы романа, и появляется возможность более или менее уравновешенной оценки его — в перспективе тысячелетий европейской культуры. Становится понятно, что «Любовник леди Чаттерли» — это современный вариант «Дафниса и Хлоя», английская пастораль в лесу, со всех сторон теснимом мрачным индустриально-шахтным пейзажем. Это элегия по умирающей «старой, веселой Англии». Кто же ее убивает? «Винувата жизнь, что вокруг: злобные электрические огни, адский шум и лязг машин», «все хрупкие, нежные создания природы обратятся в пепел под огненной струей металла...».

Что может противопоставить автор страшному веку НТР? Лишь «нежную, хрупкую» плоть человека, одушевленного желанием «жить разумно и красиво, без мотовства». Впрочем, писатель тут же признает: «но это невозможно», не согласятся современные люди на скромную сельскую идиллию. Ну что же, значит, человечество обречено на трагедию. И тем яростнее, неистовее жаждет художник обрести выход для своих героев в царстве пола и плоти. Здесь строит он свою религию — почти как В. Розанов, только не с библейским, а с антично-языческим уклоном. Лоуренсовские влюбленные, егеря Меллорс и аристократка Констанция Чаттерли, окружены ореолом вакхического буйства, дионисийской оргии. Но их праздник печален, ибо они одиноки на своем пиру. Леди Чаттерли должна порвать со своей средой, если она хочет сохранить эту любовь. Меллорс — сын шахтера (как и сам Лоуренс), но он давно уже чужд вчерашним братьям по классу. И если в первом варианте романа он становился рабочим и коммунистом, то в последней его версии мы

видим героя фермером, охотно доящим коров, наслаждающимся цветением трав на лугу.

Романист стремится соединить три стихии в образах своих героев: их идеологический «заряд» (мысли и высказывания об истории, политике, социальных проблемах), житейское «нутро» (ноттингемширский диалект в речи Меллорса, пропадающий в русском переводе, аристократические замашки леди Чаттерли) и мистико-языческие поэзию пола. Укрытое в лесу от безобразного мира промышленности и от барской усадьбы соединение влюбленных есть некий сакральный акт, поддержанный природой и призванный эту природу оплодотворить (недаром местом встреч служит лесная сторожка егеря и волвер для крошечных птенцов фазана). Отсюда и роскошное цветение эротических метафор, вызвавших недовольство реалиста Горького: английская «грамматика любви», «электрические разряды» страсти, погружение в «океанские пучины» и т. д. А наряду с этим поэтическим рядом — вполне натуралистические подробности плюс сдержанный и по-британски основательный эротический юмор, какой мог бы понравиться Свифту или Филдингу.

Как всякая идиллия, эта книга по-своему утопична. Комичны мечты Меллорса о том, что неплохо было бы закрыть все шахты да одеть всех мужчин-британцев в красные в обтяжку панталоны и белые камзолы, вот тогда бы они почувствовали себя носителями мужского начала. Что-то оскар-уайльдовское и честертоновское чувствуется в этом высказанном с полной серьезностью пожелании. Но, должно быть, это и хорошо, что держится в английской литературе сильная эксцентрическая традиция, не дающая островитянам уходить целиком в бизнес и прочие деловые заботы. И, кроме шуток, ныне Лоуренс может быть прочитан как борец за чистоту интимных отношений, за здоровое потомство, за экологически чистую среду. То есть за все то, что мы и могли бы называть современной идиллией.

В. Вахрушев.



# РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

\*

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. Реформаторы: Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель. Изд-во «Жизнь с Богом». 1990. 137 + XI; 100 + XV; 177 + 47 стр.

Книги, написанные Д. С. Мережковским незадолго до смерти, впервые изданы в годы войны на немецком и французском языках. В русской зарубежной периодике печатались (посмертно) только отрывки из книги о Паскале. Настоящее издание — первая полная публикация на русском языке трех книг Д. М., тщательно подготовленная профессором Иллинойского университета Темирой Пахмусс и приуроченная к 50-летию со дня смерти автора.

АРХИМАНДРИТ СОФРОНИЙ. О молитве. Сборник статей. Париж. YMCA-PRESS. 1991. 207 стр.

В первой части автор, афонский духовник, рассматривает молитву как путь познания, нескончаемого творчества и преодоления трагизма человеческого существования. Во второй архимандрит Софроний на основании опыта великих подвижников и своего духовного опыта описывает практику молитвы Иисусовой

ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Автобиографические заметки. Посмертное издание. Предисловие и примечание Л. А. Зандера. 2-е издание. Париж. YMCA-PRESS. 1991. 165 стр.

Учеником и последователем о. С. Булгакова собрана мемуарная проза мыслителя, автобиографические отрывки из книги «Свет Невечерний», статьи, заметки, письма к духовным детям. Издание дополнено иллюстративным материалом.

ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Христианство и еврейский вопрос. Париж. YMCA-PRESS. 1991. 171 стр.

В сборнике собраны все статьи мыслителя по еврейскому вопросу. Автор предисловия Н. А. Струве подчеркивает: «Если не считать отзыв о кошунственном антисемитизме молодого Маркса, все остальные высказывания С. Булгакова, сделанные печатно или приватно, были вызваны определенными историческими событиями: в 1915 г., переселением в военном порядке десятков тысяч евреев из прифронтовой

полосы; в 1922 г., по выражению И. Бикермана, «неизмерным и непомерно рыльным участием евреев в истязании полуязычной России большевиками»; наконец, в 1941 — 1943 гг. истребительным гонением евреев нацистской Германией». К последнему периоду жизни о Сергия относятся работа «Расизм и христианство» (стр. 19 — 140), а также догматический очерк «Гонение на Израиль» (1942) и статья «Судьба Израэля как Крест Богоматери» (1941).

П. Н. ЛУКНИЦКИЙ. Асимиана. Встречи с Анной Ахматовой. Том 1. 1924 — 1925 гг. Париж. YMCA-PRESS. 1991. 347 стр.

Первый том из предполагаемого трехтомного издания ежедневных записей П. Н. Лукницкого, друга и секретаря А. А. Ахматовой в 20-е годы, — о встречах и беседах с А. А. Содержит также множество ценных сведений для творческой биографии Н. С. Гумилева.

EFIM ETKIND, GEORGES NIVAT, JL'JA SERMAN, VITTORIO STRADA. La letteratura russa del Novecento. Problemi di poetica. Napoli. Istituto Suor Orsola Benincasa. 1990. 143 p.

В двуязычном (русско-итальянском) сборнике представлены доклады, прочитанные на симпозиуме по изучению русской литературы XX века (Неаполь, май 1988). Е. Эткинд в работе «Единство „серебряного века“» выявляет общие для разных школ и направлений этой эпохи первоэлементы. И Серман в докладе «Горький в поисках героя времени» анализирует роман «Жизнь Клима Самгина» как художественную летопись идейной борьбы начала века Ж. Нива, сопоставляя «Дар» В. Набокова и «Мастера и Маргариту» М. Булгакова (статья «Два «зеркальных» романа тридцатых годов»), находит в них определенный параллелизм (озгмические силы зла творческим словом писателя). В. Страда в статье «„Доктор Живаго“ как исторический роман», уточняя жанровую трактовку романа, вскрывает в нем связь между лирическим и историческим началом.

Составитель А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати». Цена одного номера по подписке на 1992 г. — 4 р. 70 к., за год — 56 р. 40 к.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев  
Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 17.08.91 г. Подписано к печати 10.09.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.) 28,02 уч.-изд. л.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР».  
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Диaposитивы изготовлены в редакции газеты «Курортный вестник», отпечатано в типографии № 2 комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

Тираж 895.000 экз. (3-й завод 360.001—610.000 экз.). Зак. 01420111. Цена 2 р. 10 к.

*В 1992 году «Новый мир»  
предполагает опубликовать:*

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);  
**ПЕТР БАЛАКШИН.** Финал в Китае (фрагменты книги);  
**МИХАИЛ БЕРГ.** Через Лету и обратно (путевая проза);  
**АНДРЕЙ БИТОВ.** Япония как она есть (повесть);  
**АНДРЕЙ ВОЛОС.** Кудыч (повесть);  
**В. ГАВРИЛИН.** Мысли о музыке;  
**В. ДОМОГАЦКИЙ.** Кладовка (попытка консервации);  
**АНАТОЛИЙ КИМ.** Кентавр (роман); Рассказы;  
**М. КУРАЕВ.** Зеркало Монтачки (повесть);  
**АЛЛА ЛАТЫНИНА.** Что разрушать и что консервировать?  
**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Новая повесть;  
**ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.** И Аз воздам (роман);  
**ФРАНСУА МОРИАК.** Во что я верю (перевод с французского);  
**МАРИНА ПАЛЕЙ.** Рассказы;  
**ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА С ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙАР;**  
**Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Время ночь (повесть); Рассказы;  
**МИХАИЛ РОШИН.** Америка (фрагменты книги);  
**Н. САРРОТ.** Дар речи (перевод с французского);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.** Апрель Семнадцатого (заклю-  
чительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»); Статьи, интер-  
вью, выступления;  
**АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ.** Из философского и поэтического на-  
следия;  
**ПИТИРИМ СОРОКИН.** Современное состояние России (из на-  
следия);  
**СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ.** Осужденный жить (фрагменты автобиографиче-  
ской повести);  
**АФАНАСИЙ ФЕТ.** Из деревни (очерки);  
**ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ.** Рассказы;  
а также другие произведения.  
Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».